



Софиевка носит имя красавицы-гречанки с острова Хиоса, вышедшей замуж за графа Феликса Потоцкого. Этот магнат, принадлежавший к одному из наиболее знатных родов шляхетской Польши, захотел создать для своей жены на Украине маленький Версаль. И в степной стране появился изумительный парк в 107 десятин. Он был закончен в годовщину смерти Екатерины II, положившей конец Речи Посполитой. Особенность этого парка – его расположение в холмистой местности среди скал, размытых двумя речками: Уманкой и Каменкой. В парке два пруда: Верхний и Нижний, соединённые подземным каналом со шлюзами. По каналу при свете факелов можно было проехать на лодках. Посреди верхнего пруда – остров с живописным павильоном, окружённым стройными и мощными пирамидальными тополями. Посреди нижнего пруда бьёт из скалы высокий фонтан. На берегу – Пропилеи. Вдоль берегов Каменки – ярко-зелёные луга, окаймлённые рощами. В тени деревьев, под навесом скал белеют мраморные статуи греческих богов, героев и трагиков. Это – Елисейские поля. То тут, то там слышится журчание ручьёв, шум каскадов, смешивающийся с шорохами листвы.

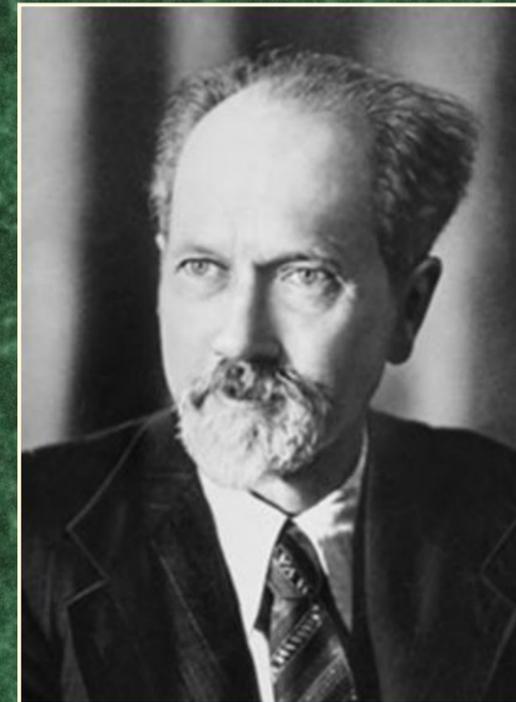
(Николай Павлович Анциферов «Из дум о былом»)



Феномен Анциферова

А. Л. ГОЛОВЦОВ

А. Л. ГОЛОВЦОВ



Феномен Анциферова

*Моей изумительной кареглазой Маше –
жене, другу, помощнику –
посвящаю эту книгу*



Женщина – это приглашение к счастью.

(Шарль Бодлер)

В тишине её тела таился
Снежный цветок пушистый,
У неё на плечах лежала
Пятном молчанья и розы
Тень её ореола.
Её певучие гибкие руки
Свет преломляли...
Бессонная, она воспевала минуты.

(Поль Элюар)

А. Л. ГОЛОВЦОВ

Феномен Анциферова

Гатчина
2014

Головцов А. Л. Феномен Анциферова. – Гатчина Ленинградской обл.: Издательство ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский институт», 2014. – 476 с., 136 фото.

По духу и букве книга эта, написанная прекрасным русским языком, есть продолжение прежней работы её автора А. Л. Головцова – книги «Дом над парком». Как и предшествующая, нынешняя книга являет собой сборник новелл-эссе, объединённых темой жизни и творчества историка, писателя, культуролога Николая Павловича Анциферова (1889–1958), его малой родины (города Умани, парка «Софиевка»), и повествует о неординарных людях и увлекательных событиях близкого и давнего прошлого, в той или иной степени связанных с этим замечательным человеком.

ISBN 978-5-86763-341-7

© Головцов А. Л., 2014
© Головцов В. Л. Эссе «У обелиска близ Чёрной речки», 2014
© Оформление. Издательство ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский институт», 2014

Зачин

С того часа, как в мой внутренний мир вошёл – нетленными духом и словом – Николай Павлович Анциферов (в земной жизни – писатель, краевед, энциклопедист), пребываю, зачарованный, в силовом поле его интеллектуально-нравственного обаяния и, восхищаясь этим значимым явлением в моей духовной жизни, определяю его как «*феномен Анциферова*»¹.

За термином этим укрываю, во-первых, собственную оценку доброго события в жизни всякого эрудированного, мыслящего человека, вдруг открывающего для себя вне ряда общепризнанных корифеев отечественного прошлого неординарную личность, на первый взгляд негромкую и невидную, но после незримого, через литературное наследие, соприкосновения с нею становящаяся необычайно притягательной – силой её талантов, моральных и духовных качеств, душевности, простоты и непритязательности. (И черта истинно русского человека – не знал мести, не умел ненавидеть Николай Павлович.)

Во-вторых, недюжинная личность, подобная Анциферову, раз озарив неофита, и далее – своим земным послесвечением – влияет на его духовную жизнь, становится его безголосым собеседником и советником в осмыслении вопросов личной и общественной жизни, в принятии житейски важных решений. Опытами своей жизни убеждает он вновь обращённого в примате «*мира внутреннего*» над «*миром внешним*», факторе чрезвычайно важном для тех моих современников, моих однодумцев, кто – во исполнение тютчевского завета – стремится отгородиться от мерзостей текущего бытия в мире внутреннем, наполненном лицами и событиями, идеями и образами, воспоминаниями о нашем прекрасном прошлом (всё более и более от нас отдаляющемся), о нашей великой стране, так много нам давшей:

Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, –
Внимай их пенью – и молчи!..

Внутренний мир Николая Павловича Анциферова, необычайно богатый и многогранный, отражён в его мемуарной книге «Из дум о былом», ставшей для меня «*книгой между книг*». Писать её автор начал в первые послевоенные годы, завершил – незадолго до своей кончины, наступившей в 1958 году.

Издана книга была только в 1992 году усилиями замечательного человека, ленинградца Александра Иосифовича Добкина, положившего на свой воистину подвижнический труд немало сил – творческих, физических, психических, – обработавшего и обобщившего огромный массив информации об авторе и круге его общения. Низкий поклон за это Александру Иосифовичу, увы, так мало – неполных пятьдесят лет – пожившему, скончавшемуся в 1998 году.

Предлагаемая читателям книга «Феномен Анциферова» есть органичное продолжение моей первой книги «Дом над парком», посвящённой жизни и творчеству глубоко чтимого мной человека. В новой книге, в отличие от предшествующей, затрагивающей преимущественно личную жизнь Николая Павловича, больше пишу о лицах и событиях, тем или иным образом с ним связанных, о его малой родине – Умани. Помимо литературных и архивных источников использовал в своём литературном труде материалы от частных лиц, благодарность которым суммирую в заключительной части книги.

Киев – Новосёлки, февраль 2014 года

Урок по истории Умани

В круг общения Дмитрия Семёновича Леванды и Павла Григорьевича Анциферова (соответственно директора и инспектора Уманского училища земледелия и садоводства) в 1886 году включился и пять лет в нём пребывал их «свойственник» по уму и образованности директор Уманской мужской прогимназии, профессиональный историк и географ Климентий Иванович Турчаковский. Об уровне его эрудиции, о глубоком знании предмета изложения свидетельствует написанный им прекрасным русским языком «Краткий очерк истории города Умани», который он разместил в журнале «Киевская старина» за 1888 год, скромно укравшись за псевдонимом К. И. Т-ий²:

«Умань лежит под 48° 50' с. ш., простираясь по обоим берегам реки Умы, или Уманки, получающей своё начало близ села Пенижкова; ниже Умани речка эта сливается с Ятранью и впадает в р. Синюху, один из левых притоков Южного Буга. В самой Умани она соединяется с другой незначительной речкой, Осташёвской, а далее за городом – с речкой Каменкой. Возвышенные берега этих рек, там и сям пересечённые балками, и местами небольшие леса сообщают всей местности, среди которой лежит Умань, довольно живописный вид. Чернозёмная почва местности залегает на обыкновенной глине, под которой простирается пласт серого гранита, годного лишь для изготовления небольших колонн, надгробных памятников. О речке Уме, давшей, вероятно, название Умани, в первый раз упоминается в исторической хронике под 1497 годом. В этом году русские князья Михаил и Константин Острожские, поразивши на голову татар на берегах р. Сороки, в Брацлавищине, преследовали их до истоков р. Умы и тут истребили их всех до одного. В этой кровавой битве погиб и сын крымского хана, Ахмат.

Несомненно также и то, что в половине XV века окрестности нынешней Умани принадлежали, на основании дарственных грамот литовских князей, выходцу из Волыни Семёну Кошке и другим знатным и в то время ещё православным фамилиям – Четвертинским, Корецким, Козарам, Красносельским, Семашкам и др. В описываемое время Уманщина находилась под мощной охраной литовских князей и была свободна от набегов крымских татар, а потому начала быстро заселяться слобожанами. Но эта первая эпоха заселения продолжалась недолго. „После счастливых лет настали лихие времена“, – говорит современный летописец...»

Климентий Иванович Турчаковский родился в 1847 году в селе Щасновка Волынской губернии в семье священника. Окончив в 1869 году курс Житомирской гимназии, он поступил в Петербургский университет, полный курс которого – со степенью кандидата – завершил в 1873 году. Послужив только несколько месяцев в Череповецком реальном училище, Климентий Иванович в 1874 году был переведён на должность учителя истории и географии в Кишинёвскую гимназию, основанную в 1833 году и бывшую на то время (и до закрытия в 1908 году) единственным светским заведением в Бессарабском крае. В ней учились в основном дети дворян и чиновников; кроме предусмотренных уставом учительских предметов, а также законоведения и греческого языка здесь некоторое время (с 1835 по 1865 год) изучался молдавский язык³.

Долгое время (с 1863 по 1871 год) Кишинёвскую гимназию возглавлял выдающийся русский педагог Кирилл Петрович Яновский. В одно время с Турчаковским в эту гимназию пришёл и читал в ней (вплоть до 1885 года) курс русской словесности Иван Семёнович Нечуй-Левицкий, украинский писатель и переводчик.

«...Со вступлением на ханский престол Менгли-Гирея добрые отношения Крыма к Литве были порваны; с этого времени начинается длинный ряд татарских набегов на Уманщину. Население её, по всей вероятности в это время ещё незначительное, или сделалось жертвою ясыра, или же погибло в многочисленных битвах с татарами на полях уманских и брацлавских. Колонизация края прекратилась; возникшие было там и сям в стране цветущие поселения исчезли навсегда с лица земли, и единственным воспоминанием о них служили впоследствии лишь так называемые урочища и селища. Начиная со второй половины XV века в нынешнем уманском уезде снова залегала «безлюдная степь под названием „Уманщина“, и там, где недавно проходила торговая дорога, соединявшая берега Днестра и Днепра, теперь тянулись «татарские шляхи». Земли, оставшиеся свободными после гибели владельцев, как никому не принадлежащая собственность, были приобщены к коронным владениям Речи Посполитой. Той же участи подверглась и уманская степь, в которой не раз теперь разыгрывались кровавые сцены. Так, в 1558 году здесь были разбиты наголову татары.

Но если уманская степь служила удобным полем для татарских вторжений в южную Русь, то, с другой стороны, в ней иногда находили себе временное убежище предводители козацких отрядов во время то и дело возобновляющейся национальной борьбы южной Руси с поляками. Так, в конце XVI века в этой дикой степи некоторое время держался с отрядом козаков Наливайко, известный предводитель козацкого восстания, вспыхнувшего при самом начале введения унии. Но уже в царствование короля Сигизмунда III (1587–1632), когда татары были усмирены и некоторое время богатые землевладельцы снова приобрели в собственность земли в уманской степи, последняя вторично начала заселяться людьми...»

Следующий после Кишинёва этап жизни Климентия Ивановича Турчаковского связан с Одессой, куда он переехал в 1878 году преподавать в Ришельевскую гимназию. Это учебное заведение много лет действовало в составе знаменитого Ришельевского лицея, вплоть до 1865 года, когда он был преобразован в Новороссийский императорский университет. С отделением от университета Ришельевская гимназия переехала в нанятый её руководством дом на углу Садовой и Торговой улиц, превратившись из учебного заведения для детей привилегированного сословия в классическую гимназию, открытую для ребят всех сословий и вероисповеданий (с годовой платой за обучение в семьдесят рублей). После двух лет работы в Ришельевской гимназии Турчаковский получил, в 1880 году, назначение инспектором (заместителем директора) четырёхклассной Измаильской прогимназии, но из-за мучившей его болезни ноги в том же году вышел в отставку.

«...На сейме 1588 года было постановлено привести в известность земли, оставшиеся не заселёнными как в Киевщине, так и Брацлавщине, особенно в местностях, чаще других подвергавшихся нападениям татар, а все такие земли раздать в собственность частным лицам для заселения. В 1609 году снаряжена была комиссия под покровительством Валентина-Александра Калиновского, которой поручено было объехать «уманский грунт» и сделать сейму доклад о его пространстве; комиссия определила точно границы уманской пустыни: «Она лежит, – писали комиссары, – милях в 10 с лишним от Брацлава, между татарскими шляхами, называемыми Кривошаровский и Удицкий», – затем следует точное определение её граней по речкам и урочищам от верховья речки Кублича до впадения Синюхи в Буг и оттуда до верховья речки Бабанки. «Итак, – говорят комиссары, – вся окружность этой пустыни с урочищами и речками, впадающими в р. Уманку, простирается на семь миль». Вслед за тем сеймовым актом 1609 года «пустыня, называемая Уманью», пожалована в вотчинное владение брацлавскому, винницкому и звенигородскому старосте Валентину-Александру Калиновскому, оказалось только, что председатель комиссии ошибся в определении её объёма, пожалованная ему пустыня имела в действительности не 7 миль (49 вёрст), а до 300 вёрст в окружности.

С первой половины XVII века уманская степь снова стала заселяться, и к этому же времени относится возникновение Умани как населённого пункта, который появился сначала в виде села, а затем постепенно развился в местечко и город. Население Умани в то время составляли, главным образом, греческие, армянские и еврейские купцы. Окружённая степями, Умань часто подвергалась набегам татар, а потому для защиты от неприятелей в ней построен был замок, обнесённый рвами и валами. Замок охраняли козаки, набравшиеся Калиновским из местных жителей. Весною 1629 года уманские козаки, преследуя татар после произведённого ими грабежа в уманских хуторах, настигли их в степи, когда они возвращались в Крым с ясырём, и разбили наголову. Ещё более крупное столкновение с татарами в пределах Уманщины произошло в 1644 году; на север-

ной границе этой области, между Вороным и Ахматовом, гетман Конецпольский и Иеремия Вишневецкий разбили 20 000 орды, ворвавшейся в Украину под началом перекопского мурзы Тугай-бея, известного впоследствии в качестве усердного союзника Хмельницкого...»

Выйдя в отставку, Турчаковский занялся серьёзным лечением своего недуга – полтора года ездил на лечебные процедуры к Николаю Ивановичу Пирогову, занимавшемуся в последние годы частной практикой в своём имении Вишня, неподалёку от Винницы. После смерти выдающегося хирурга (5 декабря 1881 года) Климентий Иванович продолжил лечение в Вене, в частной клинике тамошней знаменитости – профессора Вильрота. Здесь он выдержал шесть тяжёлых операций, в результате которых у него отняли левую ногу, заменив её протезом. Получив возможность относительно свободно передвигаться, Турчаковский вернулся на службу учителем в Ришельевскую гимназию, одновременно став преподавателем географии и коммерческой статистики в Одесском коммерческом училище и председателем педагогического совета в частной женской гимназии Матео. За время работы в Одессе Климентий Иванович перевёл с немецкого языка «Морфологию земной поверхности» Оскара Пешеля, издал переведённую с французского языка «Наглядную географию» А. Слюйса, брошюру «География как предмет школьного образования».

«Когда в 1648 году вспыхнуло восстание Хмельницкого, богатая и хорошо управляемая Умань, служившая местом убежища для брацлавской шляхты, после непродолжительной осады была взята козаками под предводительством Кривоноса и уманского полковника Ганжи; с того времени Умань надолго переходит во власть козачества. Когда Хмельницкий разделил Малороссию на полки, то в числе полков, находившихся на правой стороне Днепра, был и уманский. Он обнимал нынешний уезд уманский, восточную часть гайсинского и липовецкого и западную часть звенигородского. В нём было 13 сотен. Умань была полковым городом этого полка – тут находилось его полковое правление и полковые старшины: полковник, обозный, асаул, писарь, судья и хорунжий. В уманском полку, находившемся в эпоху Хмельницкого под началом полковника Иосифа Глуха, было 3 472 козака. В 1651 году, после несчастной для козачества битвы под Берестечком, Глух, узнав, что союзники Хмельницкого, татары, разбежавшись из-под Берестечка, начали в его полку грабить, догнал их на Синих Водах и жестоко поразил 10 000 этих хищников.

Заключённый Хмельницким с поляками Белоцерковский мир был нарушен, и в 1652 году война снова вспыхнула. Весною в 1653 году Умань была осаждена поляками, находившимися под начальством Станислава Потоцкого и Стефана Чарнецкого; они заняли так называемый новый город и несколько раз ходили на приступ, но взять старого города не могли: его защищал храбрый винницкий полковник Богун. Но во время штурма сгорела значительная часть старого и нового города. В том же году Умань посетил антиохийский патриарх Макарий проездом в Москву. Когда высокий путе-

шественник приблизился к городу, жители, по обычаю того времени, встретили его с хоругвями и зажжёнными свечами, в присутствии полковника и войска. Патриарх присутствовал на богослужении в церкви, потом был в гостях у полковника и на другой день отправился в дальнейший путь. Есть известие, что в это время в Умани было 8 церквей...»

(«Киевские епархиальные ведомости», 1874 год)

В октябре 1883 года по вызову тайного советника Сергея Платоновича Голубцова, бывшего попечителем Киевского учебного округа, Турчаковский перешёл на службу в Киевскую первую гимназию, одновременно заняв должность председателя педагогического совета в частной женской гимназии Эмили Янст.

О высоком уважении, которым пользовался Климентий Иванович у гимназистов, свидетельствуют воспоминания его воспитанников, в частности Владимира Онуфриевича Кудленко (выпускника 1889 года, капитана, командира роты Сто тридцатого Херсонского полка): *«Остался у меня в памяти образ учителя Турчаковского; это был художник-лектор, уделявший почти всё время на рассказ, в дополнение к учебникам, и лишь некоторое время на опрашивание, т. е. поверку наших успехов»*. Георгий Лонгинович Львович (выпускник 1885 года, заведующий Особым отделом полицейской части канцелярии наместника Кавказа) вспоминает психологическую подавленность гимназистов после одновременного введения преподавания трёх новых предметов – греческого языка, алгебры и истории:

«Такое одновременное введение в программу 3-го класса трёх серьёзных предметов было крупной ошибкой в педагогике того времени; неокрепший ум 12-летнего ребёнка не в состоянии был удерживать логической нити каждого из преподаваемых предметов. Получалась какая-то растерянность; бросаешься от одного предмета к другому, и в конце концов половина программы усваивалась чисто формально, как, например, новые языки, русская литература, история. Вероятно, такое поверхностное изучение истории постигло бы и наш выпуск, если бы в бытность нашу в 6-м классе к нам не был назначен учитель Турчаковский, который открыл нам глаза, что суть истории не в эпизодах Беллярминова и Иловайского, а в законах жизни человека и общества. Метод его преподавания был чисто прагматический; он рекомендовал нам массу книг по своему предмету, живо развивая перед нами картины исторических событий и заставляя нас писать сочинения на исторические темы. Не забуду никогда того смятения, которое охватило наш 7-й, когда однажды, придя на урок, Турчаковский дал нам написать тут же в классе сочинение на тему: «История образования городского населения в Западной Европе в Средние века». Конечно, результаты получились весьма печальные»³.

Осенью 1884 года Турчаковский был избран советом Киевского университета на вновь открывшуюся кафедру географии, но вынужден был отка-

заться от этого заманчивого предложения из-за новой болезни, открывшейся у него и мучившей его на протяжении двух лет.

«...В том же 1653 году, в октябре, Хмельницкий назначил Умань местом жительства для бывшего молдавского господаря Василия Лупула, который и поселился здесь со свитой в 50 человек, но вскоре Хмельницкий узнал, что Лупул завёл тайные сношения с поляками; в наказание за эту интригу он выдал Лупула в плен крымскому хану и выпроводил его из Умани в Крым. В Умани с 4 по 17 декабря ожидали возвращения Хмельницкого из Жванецкого похода царские послы.

В 1654 году, после присоединения Малороссии к России, когда царь Алексей Михайлович из-за Малороссии объявил Польше войну, Станислав Потоцкий снова подступил к Умани, где в то время находился Богун и Глух. Расположившись в хуторах, польский гетман посылал Богуну увещание вступить с ним в переговоры, но Богун не отвечал ему. Осаждавшие отошли от Умани, разорили и сожгли несколько окрестных поселений, и ушли.

В 1655 году, зимою, соединённое польско-татарское войско снова обступило Умань, находившуюся под защитой полковников Богуну и Зеленского. Город Умань в то время был обнесён тремя высокими валами и тремя сухими рвами. Кроме 12 000 козаков, там были вооружённые крестьяне и мещане; по известию, сообщаемому современным польским историком (Rudażki, I, стр. 258), в этом городе было 30 тысяч жителей – число, по мнению Костомарова, преувеличенное. Богун приказал полить валы водою; покрывшись льдом, они сверкали, как стекло, при утреннем солнце. На приглашение Потоцкого сдаться и покориться, уманчане, говорит современник, «показали нам своё повинование пушечною пальбою». На другой день осаждавшие ходили на приступ, но безуспешно. Тогда неприятели начали бросать в город гранаты, но произвести пожар им не удалось. Козаки покрывали крыши домов мокрыми кожами и к тому же настала сырая погода. Неприятели, однако, овладели первым валом и вступили в ров, но Богун сделал вылазку и обратил в бегство огромную толпу врагов. В это время получено было известие, что Хмельницкий с большими силами козаков и царской рати идёт к Умани от Белой Церкви, с целью обойти осаждающих. Поляки покинули Умань и двинулись под Охматов на встречу Хмельницкому. Тогда Богун выступил из крепости и ночью ударил в тыл отступавшим. Эта внезапность до того поразила неприятелей, что они смешались, оставили Хмельницкого и вступили в сражение с Богуну. Три тысячи жолнеров погибли в этой сечи. Богун между тем с козаками разрезал ряды неприятелей и соединился с Хмельницким...»

В 1886 году Климентий Иванович Турчаковский принял место инспектора в Уманской четырёхклассной прогимназии и в том же году был утверждён в должности директора той же прогимназии, преобразованной в шестиклассную.

Перечень личного состава прогимназии даёт представление не только о её педагогах, но и о читаемых ими предметах⁴. Законоучителем помимо православного священника Николая Лукича Фаворова был ксёндз Андрей Яковлевич Мирецкий. Географию и историю в прогимназии преподавал Александр Трофимович Нежулий-Белоусов. Латинский язык был в ведении Ивана Николаевича Троицкого, математика – Корнилия Климовича Пелеховича, немецкий язык – Фридриха Гейне, русский язык – Николая Фёдоровича Грембовского, французский язык – Сигизмунда Генриховича Роттена, древние языки – Владимира Брониславовича Покривицкого, чистописание и рисование – Михаила Гавриловича Гриффена. За приготовительный класс отвечал Илья Иванович Бельгаузен, за гимнастику – поручик Михаил Иванович Гришиневский, врачевал детей и педагогический персонал Викентий Игнатъевич Квятковский, письмоводителем прогимназии был Андрей Игнатъевич Поплавский.

«...После смерти Хмельницкого следует то печальное время в истории Украины, которое известно под именем „руины“; особенно тяжело было положение той части края, которая лежала по правой стороне Днепра, после того, как в 1667 году заключён был Андрусовский договор между Россией и Польшей, по которому Малороссия, против своего желания, была разорвана на две половины. Обстоятельство это повело к ужасным смутам, терзавшим эту страну в течение почти всей второй половины XVII века. Крайнее непостоянство политических симпатий составляет одно из главных явлений в жизни Малороссии в рассматриваемую эпоху: одни тянули к Москве, и такие составляли огромное большинство населения, другие готовы были поддаться Турии, иные не прочь были снова примкнуть к Польше. Отсюда непрерывные колебания то в одну, то в другую, то в третью сторону. То же происходило и в Умани, бывшей в описываемое время одним из важных укрепленных пунктов Малороссии на правом берегу Днепра. Так, в 1664 году Умань, где тогда засел запорожец Сацко Туровец с его козаками и отрядом царской рати, передалась на сторону России и твердо держалась против соединенных сил правобережного гетмана Тетери и его союзников – татар и поляков, чему немало, впрочем, помогли и хорошие укрепления города. Тетеря должен был снять осаду. В следующем году уманцы, предводительствуемые полковником Иваном Сербиним, вторично отбили нападавших, а потом выступили из Умани, отвоевав много сёл, захваченных под свою власть покровителями гетмана Тетери. В том же году после бегства Тетери в Польшу, когда в западной Малороссии открылось поле для честолюбцев, искавших гетманской булавы, один из козацких предводителей, Степан Опара, хитростью овладел Уманью и здесь, при поддержке татар, провозгласил себя гетманом правобережной Малороссии. Но против Опары выступил другой искатель власти – Пётр Дорошенко, бывший генеральный асаул в войске Тетери; Дорошенко получил гетманство при помощи татар. Это было в 1665 году. С тех пор до 1667 года история южнорусского народа главным образом вращается около этой личности...»

Первые шаги по учреждению в Умани прогимназии городская дума сделала 16 ноября 1880 года, когда обратилась с соответствующим ходатайством в министерство народного просвещения. Последнее отреагировало 7 июня 1882 года внесением предложения в Государственный совет о выделении из казны средств на содержание прогимназии в размере 13 050 рублей ежегодно. Высочайшее разрешение от 8 февраля 1883 года «Об учреждении в городе Умани четырёхклассной мужской прогимназии» было опубликовано в ближайшем номере «Журнала Министерства народного просвещения». Тогда же инспектором училища был назначен магистр филологии латинист статский советник Эдуард Яковлевич Ронталер, человек известный в учёном филологическом мире. До уманского назначения он был инспектором Второй мужской гимназии в Одессе, в типографиях которой за несколько лет успел напечатать «Руководство по изучению латинского синтаксиса» и «Русско-латинский словарь» (1875 года издания), перевод «Пир Трималхиона» Петрония (в 1880 году).

«...Целью всех стремлений Дорошенка было соединить всю Малороссию под властью России, но вследствие условий Андрусовского договора цели этой он не мог достичь и поставлен был в трагическую необходимость действовать в одно и то же время против Москвы и против Польши. Кроме того, ему приходилось ещё вести борьбу и со своими. Так, в 1669 году Запорожье выбрало гетманом правобережной Малороссии Суховиенка, который пригласил татар и вступил во владения Дорошенка. Шесть полков, и в числе их уманский, покорились ему. Обстоятельство это побудило Дорошенка предложить подданство Малороссии Туриции. По настоянию козаков, Суховиенко отказался от гетманства, но вслед за тем гетманская булава досталась уманскому уроженцу и полковнику уманского полка Михаилу Ханенку, который в этом звании был утверждён Польшей. Таким образом, в Малороссии явилось разом три гетмана: двое на правой, один на левой стороне. Город Умань, бывший некогда резиденцией Ханенка, несколько раз переходил из рук в руки то от Ханенка к Дорошенку, то от Дорошенка к Ханенку. В 1672 году Дорошенко, возвращаясь от Каменца в Чигирин, шёл мимо Умани и остановился в Христиновке. Уманцы, державшиеся Ханенка, собрались на раду и рассудили, что теперь Дорошенко опасен для них и что надобно ему поклониться. Послали ему в гостинец «скоромного и постного провианта» и разных напитков. Ханенко в это время не было в Умани, а его место занимал полковник Белогруд. Он выехал вместе с духовными и мирянами на поклон Дорошенку. Дорошенко принял их ласково, но упрёкнул за то, что они поддались Ханенку и Польше. В заключение угостил депутатов обедом и отправился в Чигирин, а через полторы недели потребовал в Чигирин некоторых знатных уманских козаков и приказал их кого повесить, кого расстрелять, а жену Ханенкову и Белогрудову прислать в Чигирин. Эти поступки вызвали наконец ропот среди уманцев.

Тогда Дорошенко прислал в Умань 2 полка – компанейцев и серденят. Гарнизон этот уманцы должны были содержать за свой счёт, и, сверх того, они обязаны были по распоряжению Дорошен-

ка, снабжать татарский отряд шапками, полушубками и сапогами. Поборы эти в связи с бесчинствами, которые позволяли себе серденята и компанейцы, вызвали в Умани открытое восстание. Дело происходило в 1673 году на второй день Пасхи. В этот день был обед, устроенный братством в Воскресенской церкви; на обеде присутствовали многие знатные жители и начальные люди компанейцев и серденят. Во всём городе много пили по случаю праздника. Когда полковники серденятский и компанейский возвращались верхом с пира, пьяные стали задирать их на улице оскорбительными словами, а когда они начали отмахиваться нагайками, пьяные бросились на них с кольями; на помощь полковникам явились компанейцы и серденята. Ударили в набат. По этому сигналу каждый хватал в руки самопал и спешил на улицу, где между тем происходил на всех пунктах бой. Весь гарнизон Дорошенка был истреблён поголовно. Один из полковников был убит, другого уманцы отправили в Чигирин к Дорошенко...»

Первоначально, сообразно полученным из казны средствам, планировалось открыть только два первых класса прогимназии (из расчёта сорока рублей годовой платы за обучение). Однако отцы города тряхнули мошной, добавили недостающих полторы тысячи рублей, давших возможность прогимназии стать четырёхгодичной. К концу лета 1883 года был закончен ремонт здания, в первые десять сентябрьских дней прошли вступительные экзамены, после чего состоялось открытие нового учебного заведения в доме поручика Солодова на Софийской улице. Аренда этого здания обходилась городской казне в две тысячи ежегодно, что было весьма накладно для неё. В 1885 году министерство юстиции предложило министерству народного просвещения принять от него на баланс здание базилианского монастыря, в котором размещался окружной суд, для перевода в него прогимназии. Однако предложение это не прошло из-за расположения монастырского здания в самом центре города, что было неудобным для учебного заведения⁵.

И только в 1886 году, когда с приходом на директорскую должность Турчаковского прогимназия была преобразована в шестилетнюю, это стало поводом к началу строительства для неё отдельного учебного корпуса. В начале ноября 1888 года городская дума передала министерству народного просвещения земельный участок с расположенной на нём усадьбой общей площадью в тысячу двести тридцать саженей под строительство для прогимназии собственного помещения.

«...В отместку за это Дорошенко в 1674 году призвал на Умань турок. Вместе с турками к Умани прибыли Дорошенковы старшины и стали делать уманцам предложение сдаться, обещая милость. Уманский полковник Яворский, соблазнившись таким обещанием, отправился в турецкий стан на поклон: его объявили пленным и заковали. Умань осталась без начальника. Турки требовали безусловной покорности. По этому требованию в турецкий стан прибыли полковые чины, знатнейшие козаки и мещане. Турки объявили всех пленными и принялись палить по городу. Уманцы храбро

защищались. Тогда турки повели под замок шанцы от Грекова леса, насыпали валы вровень с городскими, палили из пушек и в то же время посредством подкопа взорвали часть замковой стены. Уманцы заложили пролом возами, навозом, землёю. Но турки проникли в город подземным ходом. Уманцы отчаянно отбивались от турок с заборов, с кровель жилищ; кровь лилась потоками, турки умерщвляли всех. Остаток храбрецов столпился около городских ворот, называвшихся Рашевскою брамою, и там они защищались, пока турки всех не перебили; некоторые заползли в погреб; турки натащили туда соломы, зажгли и всех подушили дымом. Есть известие, что с козацких старшин турки сняли кожу, набили её соломой и отослали султану, находившемуся под Ладыжином. Место, где находился турецкий лагерь под Уманью, до сих пор называется Турком.

Так погибла Умань в 1674 году. В то же время истреблены были Гростянец, Маньковка, Малое Полонное и другие городки и сёла, а жители их угнаны были в турецкую неволю...»

По более позднему мнению некоторых уманских краеведов, усадьба на Дворцовой площади, переданная прогимназии, прежде была частью дворцового комплекса Станислава Щенского Потоцкого. Некоторые старожилы (на начало двадцатого века) утверждали, что во времена военных поселений эта усадьба была только приспособлена для нужд военного ведомства. Сохранились воспоминания повара Потоцких, согласно которым возле дворца была веранда с колоннами и ступенями, которые вели в ухоженный сад. Говорили о существовании подземного хода, который соединял дворец Потоцких с военным собором (позже он был обнаружен).

«...С этого времени до конца XVII века город Умань оставался пустым. В конце этого века вся вообще правобережная половина Малороссии превратилась в такую же безлюдную пустыню, какою она была в начале XVI столетия. «Где прежде были красивые города и сёла, – говорит современник, – там теперь нельзя было встретить ни человеческого жилья, ни человеческого лица, только дикие звери скитались по краю да местами встречались кучки человеческих костей, для которых покровом служило одно небо». Такова была в конце XVII века вся правобережная Малороссия, которую в начале этого столетия называли второю обетованною землёю. Об Умани до нас дошло известие, относящееся к 1686 году; по свидетельству современного документа, город лежал в развалинах, жителей в нём вовсе не было, на окрестных же полях кочевала татарская орда.

Вследствие перехода жителей на левый берег Днепра, козачество на правом его берегу исчезло. Попытка, сделанная польским правительством к восстановлению его здесь, не имела успеха, но она произвела в крае новую суматоху. В начале XVIII века в Киевщине и Брацлавщине стали составляться самовольные отряды удальцов из шляхты и простого народа, начавшего снова переходить из-за Днепра. Отряды эти, известные в XVIII веке под названием гайдамаков, продолжают старую борьбу с Польшей, с целью добиться

соединения правого берега с остальной Малороссией, находившейся уже под властью России. Борьба эта сопровождалась такими же бесчеловечными жестокостями с обеих сторон, как и во время гетманства Дорошенка. Поляки, занятые войной со Швецией, не могли собраться с силами для восстановления порядка в крае. Напуганное междоусобной войною население снова бросилось уходить из своей родины – кто в Молдавию, кто на левый берег. При таких условиях г. Умань, доставшийся в начале XVIII века по наследству во владение фамилии Потоцких, хотя и начал заселяться вновь, но вообще медленно, задерживаемый в своём развитии набегами гайдамаков. Так, в 1737 году, вторгшись в Умань, они ограбили город и мучительно перебили евреев. В 1750 году, 12 ноября, когда в городе съехалось много шляхты по случаю отпуска, гайдамаки снова напали на Умань, с целью отомстить Потоцкому за бесчеловечные поступки начальника надворной милиции, Ортинского. Ворвавшись неожиданно в город, гайдамаки произвели несколько убийств, сожгли несколько домов и затем ушли, угнавши весь принадлежавший городу скот и несколько десятков лошадей. После этого набега о гайдамаках не было слышно в Уманищине в продолжение без малого 20 лет, и Умань снова начал оживать...»

Помимо руководства Училищем земледелия и садоводства с этим учебным заведением связывали Турчаковского и общие сотрудники – читавший в прогимназии немецкий язык Фридрих Яковлевич Гейне по совместительству работал и в училище, общим для обоих учебных заведений был священнослужитель Николай Лукич Фаворов (как настоятель училищной Свято-Мариин-Магдалинской церкви, он в 1889 году крестил в ней новорождённого Николая Анциферова).

В это время Турчаковский написал помянутый выше «Краткий очерк истории города Умани», закончил свой трёхтомный труд «Учебник начальной географии» (для трёх первых классов гимназии). В 1889 году эта работа была удостоена малой премии императора Петра Великого.

«Городом в то время управлял поставленный Францишком Потоцким комиссар Младанович, человек деятельный и энергичный. По его распоряжению в Умани снова построен был замок, обеспеченный палисадом и снабжённый тремя воротами; в воротах стояло по две пушки. Для защиты города был сформирован полк надворных козаков, под начальством полковника Обуха, численностью в 2 600 человек; полк этот рекрутировался и получал содержание на счёт местного сельского населения. Такие частные полки, называемые надворной милицией, или надворными козаками, содержали в то время многие из богатых владельцев. Вообще около 1768 года Умань была лучшим, хотя и маленьким, городком во всей западной Малороссии: русские, турки, армяне и евреи вели в ней значительную торговлю; 60 посессоров арендовали уманскую волость и постоянно жили в городе, опасаясь оставаться в деревнях вследствие частых гайдамацких набегов.

Городу было даровано магдебургское право, и в нём установле- на ярмарка с 24–29 числа июня, на которую, кроме местной шляхты, съезжались купцы из России, Турции и Крыма; приходили на ярмарку и запорожцы и привозили множество возов с различного рода рыбой, солью, сыром, вязигой и рыбьим жиром. Было, кроме того, основано в Умани на счёт владельца базилианское училище. Вообще это было время всё большего и большего заселения Умани и Уманщины, как вдруг последовала катастрофа 1768 года, кровавыми буквами запи- санная в летописях Умани. Пройдём молчанием подробности этой кровавой драмы. Заметим только, что она стоила жизни 15 ты- сячам жителей Умани, не говоря уже о тех тысячах несчастных, которые, после уничтожения под Уманью гайдамацкого отряда, по- несли кару кто мечом, кто виселицей. Причиной ужасной „Уман- ской резни“ были всё те же печальные отношения, сложившиеся в Малороссии исторически, в течение предшествующих двух веков, и если гайдамачество проявилось в форме разбоя и насилия, то не надобно забывать, что само оно было вызвано также насилем».

Прежде всего усилиям Климентия Ивановича Турчаковского обязана Уманская мужская прогимназия достаточно быстрым возведением для неё основной части учебного корпуса, площадь которого позволила организо- вать шестилетнее обучение вместо прежнего четырёхлетнего. В конце ноября 1888 года была утверждена смета строительства, к которой были добавлены прибыль от части билетов Государственного банка и пожертвования частных лиц, а также специальные средства в шесть тысяч рублей, так что общая сум- ма строительного капитала превысила пятьдесят три тысячи рублей. В каче-



стве строительных материалов были дополнительно использованы дерево и кирпич от разобранных старых строений усадьбы.

Торжественная закладка здания прогимназии состоялась 16 мая 1889 года. В правом крыле, в северном углу сооружения, была положенная в фундамент бронзовая позолоченная памятная доска, а под ней несколько серебряных рублей чеканки 1888 го- да, один полтинник и один четвертак.

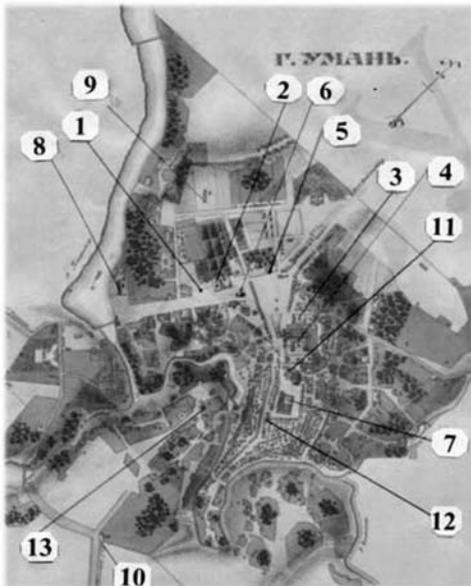
В этом же году стараниями Турчаковского прогимназия приобрела одиннад- цать квадратных саженей земли соседней усадьбы Лабенского для расшире- ния внутреннего двора.

Изначальным проектом предусматривалось соорудить здание под гим- назию, но средств хватило только на шестиклассную её (прогимназическую) часть. В конце сентября 1890 года состоялось освящение новопостроенной прогимназии, а в следующем году Климентий Иванович Турчаковский, пере- дав дела новому директору, Владимиру Николаевичу Корсенскому, переехал к новому месту работы, в Златополье.

«Катастрофа 1768 года служит как бы гранью, отделяющую бурный кровавый период в истории Умани от новейшего, мирного, когда последовало вторичное восстановление города и началось спокойное, уже непрерывающееся, его развитие. Но до какой степени город упал после 1768 года, это видно, между прочим, из того, что даже в самом конце XVIII века в нём числилось всего 1 415 жителей, в том числе 136 д. христиан и 1 279 чел. евреев. С целью распространения среди малорусского населения католической веры, на средства владельца имения Щенного Потоцкого базилиане построили каменное здание для монастыря и при нём основали 6-классное училище по образцу таких же училищ, существовавших в то время в Каневе, Клеванин, Межиричье, Межибоже, Каменеце-Подольском и Баре. Базилианское уманское училище привлекало на свои скамьи многочисленных учеников из шляхетских семейств всей южной Киевщины и Подолии. Когда в 1827 году правительство сочло нужным сократить чрезмерное число униатских монастырей, то решено было уманский монастырь оставить ввиду его численной школы впрямь до устройства в крае школьного дома на более рациональных основаниях.

О направлении училища можно сказать то же, что и о всех средних учебных заведениях юго-западного края до 1831 года; это были училища сословные, дворянские и, в отношении национальном, исключительно польские. Относительно уманского училища назовём имена двух более известных его воспитанников – это польский поэт Богдан Залесский и известный полуфанатик, полуюродивый, псевдоисторик и псевдоэтнограф Духинский. В 1793 году Умань вместе со всей западной Малороссией присоединена к России. В 1795 году, по желанию Щенного Потоцкого и на его средства, начато устройство Софиевского сада, продолжавшееся 10 лет; в том же году Умань назначена уездным городом. В 1831 году последовало закрытие базилианского монастыря и училища. В 1834 году Умань, вместе с прочими поместьями графа Александра Потоцкого, конфискована и поступила в казну, а в 1839 году сделана военным городом, главным в пяти округах Киевского и Подольского военных поселений. В бытность Умани центром военных поселений положено начало его внешнему благоустройству, для чего в 1842 году учреждён в нём строительный комитет и назначен от казны вспомогательный капитал в 15 000 рублей. Из этого капитала разрешена в 1849 году выдача бедным жителям Умани безвозвратных пособий на постройку домов. Затем важнейшими событиями в истории Умани более близкого к нам времени были: закрытие военного поселения, основание училища садоводства и земледелия, перенесение в Умань окружного суда, возникновение частного женского училища и, наконец, учреждение уманской прогимназии летом 1883 года».

Поработав год директором златопольской гимназии, Климентий Иванович Турчаковский в 1892 году перешёл в Харьковский учебный округ, в Острогжскую шестиклассную прогимназию. На это время приходится его актив-



План-схема города Умани, 1840 год
(время военных поселений)

- 1 – дом для приезда начальников
- 2 – дом для начальника дивизии
- 3 – дом для начальника округов
- 4 – дом для помещения штаба начальника округов и окружного комитета
- 5 – костёл
- 6 – театр
- 7 – Гостиный Двор
- 8 – пивоваренный завод
- 9 – кирпичный завод
- 10 – дом для помещения стражи по питейному сбору
- 11 – каменная соборная церковь
- 12 – каменная приходская церковь
- 13 – деревянная приходская церковь

ная работа в только что возникшем педагогическом отделении Харьковского историко-филологического общества. Он вошёл в состав его членов, задумал перевод объёмной педагогической энциклопедии Баумейстера и предложил педагогическому отделу издать его, но предложение это по недостатку средств не было осуществлено. Известно, что во второй половине ноября 1896 года в актовом зале острогожской гимназии Турчаковский прочёл последовательно две лекции о Галиции: «Историко-географический очерк Галиции» и «Галиция в политическом, этнографическом и материальном отношениях». Думается, это были лекции высокого профессионального класса, но, к сожалению, тексты их не сохранились.

Скончался Климентий Иванович Турчаковский, для своего времени заметный научный и педагогический труженик (ныне, увы, практически забытый), на рабочем месте, в острогожской гимназии, 9 января 1897 года. В этом же году в Умани по проекту известного архитектора Владислава Владиславовича Городецкого в полном объёме было довершено (при Турчаковском начатое) строительство учебного здания мужской прогимназии, вскоре преобразованной в гимназию.

Приложение

К новелле-эссе «Урок по истории Умани»

«В конце времени Крымской войны мне пришлось быть в с. Полонецком, в 10 или 12 верстах от Умани. Дорога от Умани в это село идёт местами вдоль берега реки, в одном месте которого с высокого гранитного обрыва, сажень в 7–8 вышины, прыгали кантонисты в воду во время своего ученья плаванью. Вблизи этого берегового обрыва была и приспособленная специально для этого ученья постройка: высоко возвышающийся над водою помост на сваях; с этого помо-

ста прыгали кантонисты, начинавшие своё ученье плаванью, и продолжали на обрыве берега. В этом месте однажды, в конце лета, произошёл суд крестьян над ведьмами. Ведьм было, кажется, пять; крестьяне сначала хотели бросить их в реку с помоста, на который с берега была устроена лестница, но начальство роты кантонистов не позволило этого, и судившие отправились к обрыву. Волна, сопровождавшая судбище, осталась в отдалении; судьи раздели судимых донага, связали им руки и ноги, опоясали их концами длинных верёвок и, держа концы в руках, бросали судимых ниц лицом с обрыва в воду. После сбрасывания наблюдали, не выплывет ли обвиняемая на поверхность воды; если не выплывает, то её вытаскивали верёвкой на берег и, объявляя невинною, предоставляли ей одеваться. Если же брошенная в воду женщина выплывала тотчас, то её объявляли ведьмою, вытаскивали из воды и с криком гнали в село неодетою. Ведьм оказалось две. Суд происходил около полудня, и на него собрался народ из многих окрестных деревень. Что было дальше, неизвестно.

П. Е.»

(«Киевская старина», 1883 год)

Памятливый Хршонщевский

Антоний Хршонщевский, 1770 года рождения, на протяжении многих лет служил при дворе Станислава Щенского Потоцкого, в Тульчине. На своём жизненном пути значимых исторических вех, связанных с роковыми годами выживания его отечества, он, судя по всему, не оставил. Известно только, что был он участником Польского восстания 1830–1831 годов, за подвиги в котором благодарные соотечественники наградили его золотым крестом *Virtuti Militari*.

В старости, проживая в имении помещика Головинского, в Стеблёве, Хршонщевский занялся сочинением мемуаров, которые остались не законченными в связи со смертью автора, случившейся в 1854 году. В оставшейся после него рукописи помещено описание жизни Станислава Щенского Потоцкого, сначала в родовой столице – Кристинополе, затем – в новой, им учреждённой в местечке Тульчин. В труде своём Хршонщевский использовал слышанные им свидетельства от Вероники Кребс, дочери уманского коменданта Младановича, погибшего во время трагически знаменитой Уманской резни 1768 года. После гибели отца Вероника жила и воспитывалась в доме Потоцких, многое видела и слышала в нём, многое пересказала автору мемуаров⁶.

Впервые, на языке оригинала, рукопись Хршонщевского была опубликована в 1857 году. В 1874 году в журнале «Русский архив» был напечатан сокращённый русский перевод воспоминаний, снабжённый обильными и содержательными комментариями историка Юго-Западного края Иосифа Иосифовича Ролле. Составившаяся таким образом совокупная публикация стала ценным источником сведений общественной и бытовой сторон жизни правобережной части Украины во второй половине восемнадцатого века.

Часть первая. Немного о докторе Ролле

Иосиф Иосифович Ролле (печатавшийся под несколько замысловатым псевдонимом D-r Antoni J.) был сыном французского эмигранта, поселившегося в начале девятнадцатого столетия в Подолии и служившего в экономии князя Любомирского. На полученной в подарок от князя земле Ролле основал деревню Генриховку, в которой в 1830 году родился его сын Иосиф-Антоний. Окончив винницкую гимназию, Иосиф Иосифович поступил в 1849 году в Киевский императорский университет Святого Владимира, в котором прошёл полный курс наук на медицинском факультете. По окончании курса, в 1855 году, он практиковал как психиатр в клиниках Берлина и Парижа⁷.



Со студенческих лет Иосиф Ролле планировал своё дневное время таким образом, что львиную его долю посвящал чтению исторических книг, преимущественно посвящённых прошлому его малой родины. В 1861 году он поселился в Каменце-Подольском, где прожил безвыездно около тридцати последних лет своей жизни, занимая себя в равной мере как медицинской практикой, так и собиранием, классификацией и обработкой местных исторических материалов. Далее, печатая свои исторические монографии в польских периодических изданиях, доктор Ролле, по мере их накопления, формировал из них отдельные тома под общим заглавием «Исторические рассказы». Первый том подборки монографий вышел в свет во Львове в 1875 году, последний, двадцать первый том, – в конце 1893 года, за несколько месяцев до кончины автора.

Источниками материалов для исторических трудов доктора Ролле служили, во-первых, издания Киевской археологической комиссии, описи актов книг Киевского центрального архива и, во-вторых, фамильные архивы дворян Подольской губернии. Кроме того, состоя в течение многих лет весьма деятельным членом Подольского губернского и Епархиального историко-статистических комитетов, он активно использовал проходивший через его руки материал для своих краеведческих штудий.

Скончался Иосиф Иосифович Ролле в начале января 1894 года. Кончина его была отмечена печальным и благодарным словом в некрологе, размещённом в журнале «Киевская старина».

Часть вторая. Кристинопольский период жизни Потоцких

Построение генеалогического древа Потоцких автор записок начинает от королевского ротмистра Николая Потоцкого (умершего в 1613 году), выводя от него две линии: гетманскую, зачин которой дал его старший сын, Андрей, и примасовскую (или архиепископскую), начавшуюся с другого сына, Степана⁶.

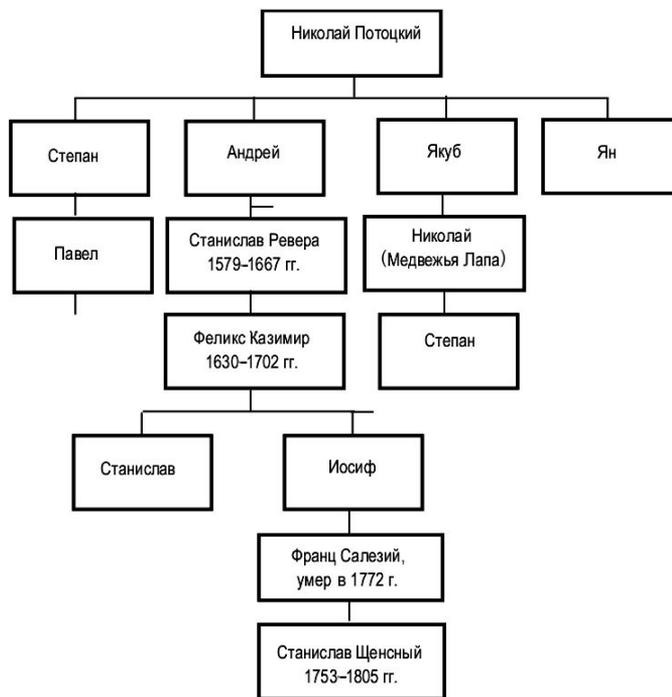
Хршонщевский не упоминает ещё двух сыновей Николая Потоцкого – Яна, умершего бездетным, и Якуба с единственным сыном Николаем, имев-

шим характерное прозвище Медвежья Лапа. Последний в должности польного гетмана коронного Речи Посполитой подавлял успешно «козацкое» восстание 1837–1838 годов (перипетии которого отображены в повести Гоголя «Тарас Бульба»). Затем он сражался неуспешно с войском Богдана Хмельницкого, поднявшего в 1648 году антипольское восстание. В ходе этого противостояния Николай Потоцкий побывал в плену у мятежного «козацкого» гетмана и умер от боевых перегрузок в 1651 году (сын его, Степан, в 1648 году скончался от ран, им полученных в начисто проигранной поляками украинцам битве под Жёлтыми Водами).

Ветвь Потоцких, известную под именем примасовской (или Золотой Пилявы), образовал не сам Степан Потоцкий (старший), а его сын, Павел, получивший прекрасное образование на родине и в иностранных университетах. Он сражался с Богданом Хмельницким, попал в плен к украинскому гетману и по его приказу был отведён в Москву, где прожил пленником четырнадцать лет. Освобождённый в 1667 году (после заключения Андрусовского мира), Павел

Потоцкий с женой-«московкой» вернулся на родину и вскоре, как человек высоких духовных достоинств, был назначен посланником от Речи Посполитой к папе римскому. Сам он примасом (или архиепископом) не был, но таковыми стали его прямые потомки (*primas regni* в Польском государстве был первым лицом после короля и во времена междуцарствия управлял делами страны, из чего и следует его дополнительное титулование – *interrex*).

Потоцкие из Тульчина входили в гетманскую линию помянутого выше Андрея Потоцкого, чей второй сын, Станислав Ревера Потоцкий, после смерти двоюродного брата Николая (прозванного Медвежьей Лапой) в 1652 году, сменил его на посту польного гетмана коронного. В 1654 году Станислав сделал следующий карьерный скачок – стал великим гетманом короны Речи Посполитой и в этом высоком чине с переменным успехом отстаивал на поле боя интересы своей страны (за время своей славной военной карьеры поучаствовал



Упрощённое генеалогическое древо Станислава Щенсного Потоцкого (по Хршонцевскому)

в сорока шести битвах и скончался, покрытый ранами и наградами, в феврале 1667 года).

Сын его, Феликс Казимир Потоцкий, 1630 года рождения, был богатейшим магнатом своего времени, активно участвовал во всех войнах, которые во второй половине семнадцатого столетия вела Польша за сохранение своих территорий. В 1702 году недолго, несколько месяцев прежде своей кончины, побыл он коронным гетманом. После себя оставил четырёх сыновей, из которых для истории Уманского края более других интересны Иосиф (Юзеф), истории известный как стражник великий коронный, и Станислав, бывший воеводой белзским и стражником великим литовским.

Иосиф Потоцкий, начав серьёзную часть своей карьеры краковским каштеляном, скоро достиг высшей государственной должности – великого коронного гетмана; затем – во внутрипольской борьбе за престол и корону – активно соучаствовал её полярным сторонам. Скончался он в 1751 году, оставив после себя единственного сына – Франца Салезия. Ему – молодому, получившему прекрасное французское образование, – его дядя Станислав подарил Умань. У него, племянника, ставшего киевским воеводой, бывший белзский воевода, который, несмотря на два брачных союза, к исходу своего жизненного пути остался бездетным, провёл, вплоть до последнего часа, дни своей печальной старости.

«Киевский воевода получил Уманьское имение не по наследству, а в подарок от своего дяди Станислава, Белзского воеводы, которому оно тоже было подарено женою Морштына, урождённую Потоцкою... Возвратившись из заграничного путешествия, переодетый по-французски, он случайно встретился с одним монахом (реформатором), пользовавшимся особенным расположением Белзского воеводы. Монах уверил Салезия, что бездетный его дядя готов ему, невзирая на других наследников, завещать Умань и Тартаков, но с условием, чтобы он возвратился в польской одежде. Потоцкий послушал доброго совета, явился к дяде в кунтуше, и немедленно же Умань с окрестными деревнями перешла в его руки».



От брачного союза Франца Салезия Потоцкого с Анной (также из Потоцких) в 1753 году родился единственный сын-наследник, Станислав Щенсный Потоцкий (кроме него у супругов Потоцких было ещё четыре дочери – Мария, Людовика, Антонина и Пелагея). Рос первенец под родительским кровом баловнем, что не мешало ему вырасти отнюдь не изнеженным сибаритом, а молодым человеком крепкого телосложения и здоровья. Наставником его был ксёндз Вольф Пиар, *«человек умный, священник добросовестный»*, развивший в своём высокородном воспитаннике *«глубокое религиозное чувство, любовь к людям и отеческую заботливость о крестьянах»*.

«Воспитанник Вульфа, будущий владелец Умани, Тульчина, Брагилова, Могилёва, Кристинополя, Тартакова, Дукли, Хоростко-

ва, Струсова и Великих Очей, староста Сокольский, Рубешовский, Опалинский, Гайсынский, Звенигородский, всю юность провёл безвыездно в родительском доме. Но этот дом был великолепным дворцом, куда беспрестанно съезжались польские магнаты. Главная прислуга, кроме комнатной, составленной из детей мелкопоместной шляхты, состояла из тридцати дворян, между которыми Злотницкий (впоследствии генерал Русский), хотя тоже владевший недвижимым имением, но, как по общественному положению, так и по материальным средствам, принадлежал к последнему разряду. Дворецким был сперва один из князей Четвертинских, а после него – Страковский, староста Завидецкий. Дворцовая милиция состояла из пехоты, драгун, уланов и казаков. Офицеры, служившие в этой милиции, вследствие распоряжения сейма, получали от короля дипломы на чины и носили темляки такие же, как и народное войско».

Так была организована жизнь киевского воеводы Франца Салезия Потоцкого и его семейства в его родовом дворце, располагавшемся в Кристинополе. Это местечко, находившееся в Жолкевском округе Галиции, занимало прекрасное природное положение – над живописным Бугом с простирающимися за ним лесами и полями. Основателем местечка был Феликс Казимир Потоцкий, назвавший приглянувшуюся ему местность именем своей первой жены, Кристины Любомирской; здесь он умер в 1702 году и был похоронен в местном костёле; за ним в отведённое судьбой время рядом с отцом и дедом легли сначала коронный стражник Иосиф, затем и внук – Франц Салезий Потоцкий, почивший в бозе в 1772 году.

Покойная и налаженная жизнь обитателей Кристинопольского дворца была основательно нарушена в 1770 году, когда вспыхнувшая в Турции эпидемия чумы, собирая по дороге страшный свой урожай, стремительно приблизилась к Галицкому краю. Чтобы предохранить от страшной заразы своё имение, киевский воевода охватил его карантинной цепью стражников.

«К цепи этой примыкало имение кастеляна Комаровского, дочь которого Гертруда, девица чудной красоты, была любимой гостью стариков Потоцких. Привлекательная её наружность разбудила глубокую страсть в сердце молодого Станислава. Но чума прервала все сношения между соседями; любовник был в отчаянии: ему была тягостна принуждённая, вызванная предосторожностями, разлука. И вот он начал жаловаться матери на изнеженность физического воспитания и стал просить, чтобы она, с целью укрепления его сил, дозволила ему верхом объезжать цепь стражи. Мать с трудом согласилась, поручив сына надзору Страковского, Завидецкого старосты, игравшего роль попечителя во время этих прогулок».

С этого времени Станислав стал часто выезжать будто бы для осмотра карантинного кордона, но всякий раз, отъехав подальше от родительского дома, заворачивал к Комаровским. Влюбившись в Гертруду, он однажды попросил у кастеляна руки его дочери и получил от того согласие. Сопровож-

давший молодого пана Сераковский не вмешивался в развитие его романа, надеясь, видимо, со временем получить от поднадзорного молодого господина достойную оценку своей лояльности. В результате, утаив от родителей свой принципиальной важности поступок, Станислав Щенсный Потоцкий в августе 1771 года тайно обвенчался с Гертрудой Комаровской⁶.



Постоянные отлучки Щенсного заметили придворные Потоцких, сумевшие выяснить истинную причину поездок молодого хозяина за пределы Кристинополя; обо всём этом они донесли воеводе. У того в это время гостила Мария Мнишек, жена краковско-го кастеляна, имевшая свои виды на Щенсного как на завидного жениха для своей дочери, Юзефины. Гостья присоветовала озлобившемуся Францу Салезию отправить Щенсного за границу, затем тайком вывезти Гертруду Комаровскую из дома родителей и поместить её в Львовский девичий монастырь, где настоятельница была родственница Мнишков; затем, переждав некоторое время, расторгнуть брак сына с инокиней Комаровской.

Щенсный почувствовал приближение опасности, не зная, правда, в какой форме она проявится, как повлияет на его жизнь с молодой женой. Находясь постоянно в состоянии нервного перенапряжения, он во время разговора с отцом потерял сознание, что дало тому повод нанести сыну решающий удар.

«Тогда воевода велел удалиться посторонним. Все вышли из комнаты, только девица Младанович, впоследствии майорша Кребс, осталась, спрятавшись за ширму из любопытства... Отец, тронутый сочувствием к страданиям сына, говорил ему тихим, нежным голосом: „Поведение твоё предосудительно; знаю обо всём, но скрываю от матери; удар был бы слишком сильный, он может её убить, и потому, если ты не желаешь её смерти, то согласишься на разрыв этой связи, а я тебе даю честное слово денег не жалеть и богатыми подарками вознаградить твою жену за понесённую потерю“».

При всей внешней своей крепости внутренне Щенсный Потоцкий оказался слабым и безвольным, неспособным ради спасения любви и семьи воспротивиться воле самонадеянных, горделивых родителей. Он подчинился отцовскому требованию, возможно, надеясь покорностью своей оградить Гертруду от преследования и на то, что со временем всё образуется и он получит родительское дозволение на продолжение семейных отношений с любимой женой. Как бы то ни было, но с моральной точки зрения совершил он по отношению к любящей его женщине трусливое и подлое деяние, приведя предательством своим её – брошенную и беззащитную – к мучительной гибели.

«Исполнение этого незаконного приказа пало на долю Вильчика и Домбровского, начальников дворцовых казаков. Они сделали ночное нападение на дом Комаровских и дочь их, тогда уже беременную, вынесли из комнаты в одной только юбке и, завернув в пуховые подушки, посадили в крытые сани.

На пути своём они наткнулись, у опушки леса, на крестьянский обоз с дровами, состоявший из 300 подвод; дорога узкая, проехать не было возможности; поневоле пришлось долго ожидать. Опасаясь, чтобы крестьяне не слышали криков и стонов увозимой Потоцкой, похитители так тщательно накрыли её пуховиком, что когда, по удалении обоза, его сняли, то нашли только мёртвое тело – бедная жена Станислава умерла вследствие задушения, а может быть, и от страха».

Чтобы скрыть следы преступления, ставшие убийцами похитители, посоветовавшись, бросили мёртвое тело в прорубь находившегося поблизости пруда; о случившемся доложили хозяину, который спешно отправил их в другие свои имения, подальше от молвы и дознания. (С сыном убийцы Бильчика автор воспоминаний познакомился во время их общего обучения в Уманской базилианской школе; позже видел его священником в селе Махновка, входившем в состав Уманского имения.)

Через несколько месяцев после убийства, одним весенним утром, приказчик фермы Потоцких, вблизи которой было совершено злодеяние, увидел плывущее между льдинами пруда женское тело; в утопленнице он опознал дочь кастеляна Комаровского, находившуюся в розыске. С помощью своего работника фермер вытащил тело Гертруды Комаровской на берег и спешно закопал его неподалёку. (За проявленные сообразительность и оперативность старший Потоцкий щедро вознаградил своего работника.) Щенный, узнав об убийстве жены, пытался было покончить с собой – находясь в состоянии умопомрачения, попытался перерезать себе горло, но камердинер Бистецкий успел отобрать у него нож и перевязать рану.

«Станислав Щенный, по смерти родителей, женился (в 1794 году) на Юзефине Мнишек, дочери Краковского кастеляна. Отец оставил ему громадное имение, но и немалые долги и кроме того уголовный процесс с Комаровскими. Утверждали, будто бы суд повелел вынуть из гроба тело воеводы и повесить его на виселице, в чём я, однако, сомневаюсь. Станислав подарком нескольких деревень успокоил Комаровских, и дело это кончилось само по себе».

В двадцатых годах девятнадцатого столетия польский поэт Мальчевский изложил трагическую участь Гертруды Комаровской в поэме «Мария. Украинская повесть», выдержавшей более десятка изданий и переведённой на французский язык. Подробности процесса «Комаровские против Потоцких» изложил некий Крашевский в двухтомнике под названием «Старостина Бельзска», в котором использовал самые верные исторические источники – письма киевского воеводы и его родственников. Ещё один автор – Детюк – в работе «Грамоты старого Детюка», изданной в Вильне, утверждает, что тело Гертруды найдено было сельским священником и тот, вопреки посулам и угрозам Потоцких, отказался тайно похоронить утопшую, донёс об открывшемся злодействе начальству и родителям погибшей.

Иосиф Ролле оспаривает версию Детюка, утверждая, что Комаровские так и не узнали, какая страшная участь постигла их любимую дочь, и все

их попытки разыскать место её захоронения оказались тщетными. На все вопросы по этому поводу, которые официально задавались Францу Салезию Потоцкому, тот неизменно отвечал, что о похищении дочери кастеляна Комаровского он ничего не знает. Действительно, во всех материалах судебного процесса нет и слова о похищении молодой женщины его переодетыми служителями.

Только такая влиятельная личность, как киевский воевода Потоцкий, могла привести дело к нужному для него исходу. Правда, стоило ему это «правосудие» немалых денег. При этом не следует упускать из вида, что сама семейная драма разыгралась в разгар Барской конфедерации, в которой Франц Салезий Потоцкий был заводилой, что конфедератам помогал и был с ними в наилучших отношениях командующий русскими войсками в регионе Михаил Никитич Кречетников.

Комаровские же хотя и беспрестанно протестовали, но не пользовались расположением «общественного мнения», безгласного и полностью зависевшего от магната Потоцкого; не было у них протекции какого-либо покровителя, равного могуществом их противнику. Процесс между Потоцкими и Комаровскими, начавшийся в конце 1771 года, был приостановлен в 1774 году, уже после смерти воеводы, и окончательно был «потушен» ответчиком только в 1777 году. Станислав Щенский Потоцкий компенсировал убийство своей первой жены Гертруды щедрым подарком её брату – местечком Витков с тремя окрестными сёлами, расположенными в Белзском воеводстве.

Часть третья. Тульчинский период жизни Потоцкого

После первого раздела Польши, к которому его исполнителей подтолкнули барские конфедераты, галицийские владения Щенского Потоцкого оказались в австрийской части размежёванной Польши. Сложившаяся ситуация была ему не по душе, и он принял решение продать часть своих владений, оказавшихся под Австрией, и перебраться на принадлежавшие ему земли в Правобережной Украине, отошедшей от Польши к России. Во исполнение этого замысла он провёл операцию по земельному обмену.

«Потоцкому не нравилось Австрийское правительство; при том же он хотел иметь чистое, от долгов свободное имущество, и потому заключил с маршалом конфедерационного сейма Понинским следующее условие: взял у него Звенигородское староство, ему же отдал своё имение, расположенное в Галиции и состоявшее из 100 с лишком сёл, с тем чтобы маршал выплатил все его долги. Потоцкий во время этих переговоров проиграл Понинскому несколько десятков тысяч червонцев. Тульчинский вельможа не играл уже во всю свою жизнь дороже 30 к. за фишку».

Операцию по перенесению центра своих владений из Кристинополя в Тульчин Щенский Потоцкий доверил некоему Адаму Мощенскому, в своё время приставшему к его двору и втёршемуся угодливостью своей в доверие

к главе дома. Этот проходимец, именовавший себя майором, прибыл на место переселения и *«начал с удаления всех официалистов (служителей по хозяйству) и арендаторов, которые не предупредили несчастья, т. е. не дали ему подарка»*.

В числе прогнанных Мощенским оказался старый шляхтич Гиновский, имевший некоторые права на четыре деревни. В своё время отец Щенного, желая устранить претензии Гиновского, отдал ему в пожизненное владение село Красноставку. Теперь же бедный старик, выгнанный магнатом из последнего своего пристанища, переуступил свои права генералу Ивану Львовичу Чернышёву, командовавшему русскими войсками на Украине. Генерал, при содействии русского посланника в Варшаве, завёл против Потоцкого имущественное дело, которое началось в земском суде, продолжилось в трибунале и завершилось в суде сеймовом. Кстати, делом этим интересовалась Екатерина II, о нём она писала в декабре 1780 года русскому посланнику в Варшаве, Стакельбергу:

«Господин тайный советник Стакельберг. Вам известно, без сомнения, дело нашего генерал-майора Ивана Чернышёва с хорунжим коронным графом Потоцким, и что он по сие время не мог одержать окончания оногo. Мы препоручаем вашему попечению и прилежному настоянию, чтоб он в просьбе своей скорейшее получил решение по самой справедливости, уполномачивая нас сказать от имени нашего его величеству королю польскому, что мы подтверждение его о доставлении правосудия помянутому Чернышёву примем знаком искренней его к нам дружбы, так как можете вы внушить этим особам, до коих дело касается, что мы, не требуя в пользу нашего подданного ничего иного, кроме правосудия и непродолжительного конца, примем их подвиг в том с особливым благоволением. Равным образом не оставьте вы его и в других надобностях, где он к заступлению вашему прибегнуть может. Пребываю навсегда к вам благосклонной. Е к а т е р и н а.

С.-Петербург, декабря 26, 1780 г.»

Да свершится правосудие, даже если погибнет мир! Судебную победу одержал Потоцкий, истратив на её достижение два миллиона злотых, не считая вознаграждения ходатаю по его делам в суде, всё тому же майору Мощенскому.

Перебравшись в свою новую столицу, Щенный Потоцкий вступил в полосу напряжённых внутрисемейных отношений, вызванных сексуальным голодом, который никак не могла утолить его супруга-нимфоманка. Пыталась она достичь «утоления» совокупно с Юрием Михайловичем Виельгорским, представителем Речи Посполитой при петербургском дворе, но супруг её было настроившийся роман скоро оборвал. Имея на руках явную улику в виде перехваченной им фривольной записки расслабившегося любовника, взбешённый Щенный приказал Юзефине собирать вещи и возвращаться к родителям, но та слезами и мольбами выпросила себе прощение у роконосного супруга – вспылчивого, но отходчивого.

«Потоцкий, пока не влюбился в Софию Витт, был верным мужем и не имел никаких побочных связей. Вторая его жена поэтому могла и умела пользоваться его привязанностью долгое время. Её величественная наружность, приятный взгляд, тихий, вкрадчивый голос, плавные движения, острый и весёлый без нарушения приличий нрав; при том слепое повиновение мужу, умение отстранять всякий, даже самый ничтожный, повод к подозрительности супруга – всё это располагало к ней его сердце, по природе доверчивое. Однако блестящая и полная привлекательности внешность Юзефины Потоцкой, при многих добродетелях и отличных свойствах, прикрывала огненный темперамент, коего она, по-видимому, будучи ещё девицею, не могла сдержать. Придворные говорили, что крепкий блондин Клембовский, прибывший с нею из Кристинополя в качестве дворецкого, был первым её обольстителем...»

Последующий период жизни Станислава Потоцкого в Тульчине, вплоть до 1788 года, был самым покойным и плодотворным в его жизни. Проявляя заботу о крестьянах, он делал регулярные объезды своих обширных поместий, выслушивал просьбы и жалобы народа. Он освободил сёла от обременительных для селян арендаторов, оставив их не более двадцати, все же остальные поместья напрямую подчинил себе, разделив их на огромные фольварки, в состав которых входило по несколько селений. Своим селянам он установил один день барщины в месяц на одну хату и один день в год на приведение в порядок дорог и мостов. Внешне сёла во владениях Потоцкого выглядели небедными, ухоженными и аккуратными. Так было при Потоцком, после него – всё кардинально изменилось.

«Везде свобода, изобилие и весёлые лица. Летом, вечером, сельские улицы оживлялись пением девушек и музыкою молодёжи, танцами и трепаком посреди всеобщего смеха. В праздники утром набожность в церкви и разгул по полудни собирали в корчмах народ здоровый, рослый и прилично одетый... Ныне пропал и след этого богатства, и бедность угнетённого народа ещё более поражает при взгляде на каменные палаты новых владельцев».

Станислав Щенный Потоцкий, как настоящий хозяин, сохранял для потомков своих леса, расширял их, высадив, в частности, более миллиона саженцев итальянских тополей. Он первым на Украине заложил английские парки и, будучи хорошо знаком с садоводством, разводил различные сортовые фруктовые деревья. Занимаясь усердно животноводством, он скрестил венгерскую и валашскую породы крупного рогатого скота и вывел новую, более продуктивную породу; истратил немалые деньги на закупку тысячи породистых испанских овец; слыл он отличным коннозаводчиком – лошади «от Потоцкого» были очень популярны в Европе.

В Тульчине он устроил центральную «экономическую контору», в которой сосредоточил все финансовые и экономические дела своих имений. Зная хорошо бухгалтерский учёт, он самолично контролировал все денежные траты, вёл денежные счета, приручил своего сына Станислава работать в конто-

рах. Но более всего Щенный Потоцкий любил верховую езду и охоту. Одно из своих селений он полностью освободил от барщины, обязав его обитателей поставлять ему кандидатов в стрелки и ловчие, проходивших подготовку под руководством его егерей. Занимало его устройство зверинцев, в которых содержались лоси, олени и дикие козы.

Был Щенный большим любителем музыки и танцев, имел хороший оркестр, руководимый лучшим на то время в Польше композитором Феррари. В пище был он неприхотлив, отдавая предпочтение простым польским кушаньям: гречневым пирогам со сметаной, молоку с мёдом и кукурузе.

В межчеловеческих отношениях был будущий устроитель парка «Софиевка» малообщительным и малобеседливым, *«неоднократно он проводил целые часы в задумчивости, устремив глаза в один пункт».*

«Несмотря на многие свои достоинства, он, надобно сознаться, имел два больших недостатка: упрямство и лень. Твёрдая воля составляла отличительную его характеристику; но она была полезна лишь там, где он был прав; в противном же случае это было просто непреодолимое упрямство. Отсюда-то и печальный конец его жизни».

Граф Фёдор Гаврилович Головкин

О Софии Витт-Потоцкой, давшей имя знаменитому уманскому парку, писано-переписано немало, и за два столетия этой «описи» накопился достаточный объём информации, позволяющий судить о внешних и внутренних «параметрах» жизни виртуозной гречанки, чтобы отметить также противоречивые, зачастую друг друга исключаящие факты её жизни. Ближе других к истине сведения, полученные, что называется, из первых уст, – от лиц, знавших *«прекрасную фанариотку»*, общавшихся с ней и закрепивших свои наблюдения и оценки в мемуарных записях, как это сделал граф Фёдор Гаврилович Головкин, и сделал это до злости язвительно (как, впрочем, и в отношении большей части персонажей своих мемуаров). Их содержание и стиль написания, проистекающие из свойств характера автора, очень точно определил один из первых оценщиков его трудов, французский исторический писатель Перей (в последующем переложении на русский язык историка Николая Карловича Шильдера, приведённом в 1896 году на страницах журнала «Русская старина»):



«Чтение рукописи превзошло наши ожидания, и заключающиеся в них любопытные, часто в высшей степени новые подробности о лицах и событиях представились нам могущими дополнить и осветить некоторые неопределённые и тёмные стороны истории XVIII столетия; в этом отношении они драгоценны, хотя, тем не менее,

следует с крайней осторожностью строить на них какие бы то ни было заключения и не давать обаянию неизданного ослеплять себя. У Головкина, говоря пошлым, но прекрасно обрисовывающим его выражением, – самый злой язык, какой только можно встретить. Он отзывался дурно о всех друзьях и недругах; никто не защищён от его критики, он одинаково ненавидит прежний порядок вещей и империю, революцию и реставрацию. Если ему не нравятся все разнообразные формы правления, то и политические деятели и монархи тоже являются предметом его обвинений и, должно сказать правду, его злости. В его глазах ничто не пользуется обаянием».

Сохранившиеся фрагменты воспоминаний Головкина свёл воедино француз Боннэ и, снабдив полученный текст обширным предисловием (фактически параллельным историческим трудом), издал составившуюся книгу под названием «Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания и анекдоты». Проблем с переводом у издателя не было – родным языком мемуариста был французский, и не только потому, что галломания была первейшим бытовым элементом жизни русского дворянства, но и потому, что граф Фёдор Гавриилович Головкин *«...родился в Голландии, от матери – уроженки Нидерландов и от отца смешанной национальности. Последний, граф Гавриил-Мария-Эрнст Головкин, начал свою карьеру в рядах швейцарской гвардии французского короля, под фамилией маркиза де Феррассьер, и кончил её в чине генерал-лейтенанта на службе Нидерландов. Нет поэтому ничего удивительного в том, что его сын Фёдор, родившийся в 1766 году, сделался космополитом».*

Заграничным происхождением граф Фёдор обязан своему прадеду, Гаврииле Ивановичу Головкину, ровеснику, другу и сподвижнику Петра I, поднимавшему по лестнице государевой службы до чина государственного канцлера и возвысившему тем самым в общественном мнении вес своего старинного дворянского рода: *«Сын мелкого помещика Алексинского уезда, он под конец своей жизни был графом двух империй: русской и австрийской – и обладал 20 000 крепостных крестьян. Его сын, Иван, занимал некоторое время пост посланника в Голландии. Он не оставил по себе никаких следов, заслуживающих внимания».* Нет,



к сожалению, сколь-нибудь значимых сведений в открытых исторических источниках о сыне Ивана Головкина, носившем, как и дед, имя Гавриила (или Гаврила). Но вот уж о внуке его, графе Фёдоре Гаврииловиче, оставившем свой мемуарный след в истории, житейской информации предостаточно. Из его воспоминаний, в частности, можно узнать, что в 1788 году семнадцатилетним юношей он был послан родителями в Берлин для занятия науками (прежде всего богословскими) и довершения своего домашнего образования: *«В этой столице славился в то время салон вдовствующей графини Камеке, старшей сестры моего отца, и я имел возможность изучать одновременно науки и светскую, и отчасти придворную жизнь, так как принцы крови часто оказывали моей тётушке честь своим посещением. Это имело последствием, как часто бывает в жизни, много хорошего и дурного».*

В Берлине в 1781 году увидел молодой граф Фёдор красавицу гречанку Софию Витт (будущую Потоцкую) и, помянув много позже это событие в своих дневниковых записях, описал *cum grano salis* (с крупинкой соли) разнообразные события из жизни этой незаурядной женщины, в том числе порождённые ею матримониальные проблемы:

«Кто не слыхал, тридцать лет тому назад, об этой прекрасной гречанке? Кто её не видел, когда она путешествовала по всей Европе? Что касается меня, то я её видел в 1781 году в Берлине. Она раньше была рабыней в Серале, пока Боскамп, поверенный в делах Польши в Константинополе, не увёз её оттуда; впоследствии он её уступил человеку неизвестного происхождения, по имени де Витт, который возил её по всем большим городам. Когда возникла война между Турцией и Россией, она очутилась в главной квартире в Яссах, где она так сумела опутать Потёмкина, что его племянницы её приревновали. Она пребывала там под видом его подруги, желающей его цивилизовать, и вложила в это столько прелести и хитрости, что вполне подчинила себе князя. Его племянницы опасались больше за своё влияние, чем за его сердце, но их беспокойство и маленькие интрижки не могли её сбить с позиции. Она последовала в 1791 году за князем в Петербург и получила там, в подарок, прелестный дворец, роскошные экипажи, туалеты, не оставлявшие желать ничего лучшего, и звание графини Священной Римской империи. Вопреки строгому придворному этикету, князь её даже лично представил государыне, которая, на следующий же день, одарила её прелестным бриллиантовым ожерельем. Весь двор лежал у её ног, и низость льстецов дошла до того, что в то время, как Её Величество принимала в аудиенции дипломатический корпус, граф Кобенцль, австрийский посол, прогуливался в кабриолете с г-жой де Витт под самыми окнами императорского дворца. После смерти князя Потёмкина, её нового друга, она удалилась в поместья, которые он ей подарил, и разговоры о ней на некоторое время притихли.

В одном из этих поместий, соседнем со знаменитым владением Тульчиным, с ней познакомился граф Потоцкий. Его сердце, уже так давно свободное от увлечений, востыло к ней любовью, которая довела его до самых сумасбродных и непристойных действий, причём в числе его соперников оказался его старший сын. У поляков такого рода дела устраиваются быстро; заговорили о разводе и принудили графиню Потоцкую дать своё согласие. Она перестала пользоваться милостью; к тому же её язык создал ей много врагов, а её чрезмерные расходы – много кредиторов, так что ни граф Шуазель-Гуффье, ни я, оставшиеся ей верными, не могли ей ни в чём помочь, ни даже дать ей совет. Однажды её спросили о ходе её разводного процесса: «Увы! – ответила она, – граф Потоцкий настаивает на том, что он не отец своих детей. Но это прибавляет лишь несправедливости и злословия к роковой печати их законности».

Павел I, который не любил г-жу де Витт, отнёсся к ней отрицательно. Несмотря на то, вновь испечённая графиня Потоцкая

появилась при Дворе. Но насколько она была хороша собою в очаровательном греческом костюме, настолько она показалась смешной в придворном туалете и с манерами великосветской дамы. Можно было сказать, что эта комедиантка была восхитительна в роли горничной-любовницы и некрасива, даже противна, в роли Нинеины при Дворе. В то же время настоящая графиня Потоцкая старалась утешиться или отомстить, распуская разные остроты, которые окончательно отдалили её от Двора и от столицы»⁸.

Часть первая. Немного о Головкиных

В родовом древе, поднявшемся из корня «птенца гнезда Петрова», первого русского канцлера графа Головкина, две его ветви отпочковались в зарубежье. Кроме помянутого старшего сына канцлера, Ивана Гавриловича Головкина, приехал в Голландию и прижился в ней следующий его отпрыск, Александр Гаврилович. *«Будучи ещё почти ребёнком, он попал в число лиц, которых Пётр I отличил своею особою милостью, и был в 1711 году не более двадцати двух лет назначен чрезвычайным посланником при берлинском дворе, где он пробыл до 1727 года. В 1715 году он женился на графине Екатерине Дона, заключив этот блестящий союз благодаря могучей протекции царя. Заслуги графа Александра перед Россией – многочисленны и нашли себе должную оценку. На его долю главным образом выпала задача вести переписку с немецкими учёными, которые приглашались в Петербург для пополнения ими рядов вновь созданной Академии Наук».*

Александр Гаврилович Головкин в 1713 году встречал и сопровождал в Берлине царя Петра I со свитой, приехавшего в гости к своему другу прусскому королю Фридриху Вильгельму I и получившего от него (точнее – вытребовавшего у него, как пишет Фёдор Головкин) несколько подарков. Особо ценным среди них была янтарная комната, изготовленная в 1709 году мастером Андреасом Шлютером по заказу предыдущего прусского короля – Вильгельма I.

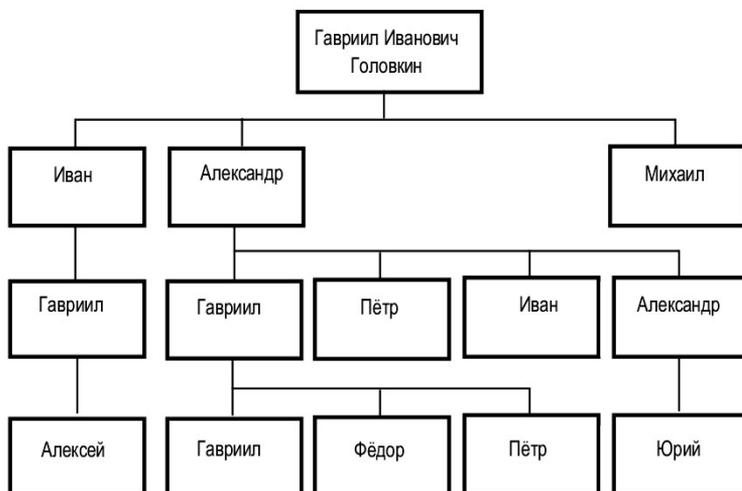
«В числе последних, как мне передавали, была одна языческая богиня в крайне неприличной позе: во времена древних римлян такими изображениями украшали комнаты новобрачных. Эта статуя считалась большой редкостью и, в своём роде, самой красивой на свете... Пётр без обиняков выпросил себе эту статую и ещё несколько других вещей у короля Фридриха, который не решился отказать ему в его просьбе. То же он сделал относительно одного кабинета, разукрашенного панелями из янтаря, который тоже, к общему огорчению, пришлось отправить в Петербург. Пересылка этого драгоценного подарка из Берлина в Мемель выпала на долю графа Александра Головкина...

Кабинет из янтаря был щедро оплачен Петром I, который послал для гвардии прусского короля тридцать пять великанов, лодки, кубок, выточенный им самим...»⁸

(*A propos!* «Доплачивать» за янтарную комнату, почти век спустя, привелось императору Александру Павловичу, отправившему в счёт погашения задолженности прусскому императору Фридриху Вильгельму III, большому любителю русских военных песен, целый хор солдат-песенников.)

Граф Александр Гавриилович Головкин, прослужив после царского визита ещё несколько лет в прусской столице, переехал в Париж, где долго не задержался. Далее он выехал в Гаагу, поближе к своему брату, Ивану Гаврииловичу, и жил в столице Нидерландов до конца дней своих.

Третий – по нисходящей возраста – сын канцлера Головкина, граф Михаил Гавриилович (1699 года рождения), Россию-матушку не покидал, и карьера его на государственном поприще,



Упрощённое генеалогическое древо Головкиных
(мужская линия)

подвигаемая родительской государственной значимостью, развивалась стремительно и, как поначалу казалось, беспроигрышно. Дополнительный толчок темпу служебного движения придала Михаилу Гаврииловичу его женитьба (по инициативе царя Петра I) на Екатерине Ивановне Ромодановской, дочери всеильного князя-кесаря Ивана Фёдоровича, «заведовавшего» Преображенским розыскным приказом и в период царских отлучек из столицы представлявшего верховную державную власть. Благополучно пережил граф Михайло и времена царствования наследников Петровых – его жены Екатерины I, внука его Петра II, дочери его сводного брата Иоанна, Анны Иоанновны.

Роковую политическую ошибку граф совершил после смерти царицы Анны, случившейся в 1739 году, в пору недолгого правления её племянницы, Анны Леопольдовны, выступавшей в роли регентши наследника престола, своего малолетнего сына Иоанна VI. По предложению правительницы Михаил Гавриилович Головкин, честолюбивый движимый, принял должность вице-канцлера императора-ребёнка. И этим поступком он сломал себе жизнь – после произведённого Минихом ночного переворота и последовавшего контрпереворота дочери Петровой, Елизаветы Петровны, последовали осуждение и ссылка Миниха, Остермана, Левенвольде и Михаила Головкина.

«Головкин был присуждён к обезглавливанию, но на эшафоте ему была объявлена монаршья милость; но какая милость! Он был лишён дворянства и чинов и сослан на поселение с конфискацией всего своего имущества. Его супруга, Екатерина Ивановна Головкина, поставила судей в некоторое затруднение. Это была женщина такого знатного происхождения и такой высокой нравственности, окружённая к тому же таким почётом, что суд не решался постановить о ней приговор; а так как её муж ограничивался в сношениях с ней одним уважением, то ей предоставили выбор: или следовать за ним в ссылку, или же развестись с ним. Но она его любила неблагоприятным и пожелала следовать за ним в его несчастье. Тогда и её огромное состояние было подвергнуто конфискации...

Головкины, с высоты своего положения и восточной роскоши, пали в глубокую нищету и были переданы в руки одного лифляндца, поручика Берга, которого я впоследствии знал генералом и комендантом Риги. Он сопровождал их до Иркутска, где его ожидал приказ передать надзор за ними другим лицам. Там теряется их след... Г-жа Головкина мне потом рассказывала, как они сначала питались кореньями и малоизвестными снадобьями, которые им доставляли шаманы или жрецы кочующих в этих обширных и пустынных странах инородцев; её муж вскоре скончался, но ей, с помощью тех же преданных слуг, удалось набальзамировать его труп и сохранить его в землянке, которую они выкопали. Там они оставались в течение более чем двадцати одного года»⁹.

Царица Елизавета пыталась приблизить к себе находившихся за границей братьев опального Михаила Головкина, предлагала им в России чины и награды, но те, имея за пример перемены царской милости участь младшего брата, возвращаться на родину не решились. Как пишет граф Фёдор Головкин, «...все эти попытки и обещания милостей успеха не имели. Кончилось тем, что был заключён договор, согласно которому Генеральные Штаты в знак благодарности за некоторые услуги, оказанные им на Суассонском конгрессе, предоставили в пожизненное пользование знаменитый замок в Рисквике».

Овладевшая престолом Екатерина II приказала вернуть из ссылки вдову графа Михаила Головкина, но прошло два года, прежде чем её нашли на бескрайних сибирских просторах.

«Она наконец прибыла в Москву и привезла с собою прах своего мужа, позаботившись первым делом предать его земле со всеми почестями, подобавшими ему по праву рождения и должностей, которые он занимал при жизни. Но их состояние уже давно было роздано фаворитам покойной императрицы. Тогда Екатерина II пожаловала ей четыре тысячи душ и пенсию в четыре тысячи рублей. Она поселилась в древних хоромах своего отца, «князя-кесаря», но вскоре после того ослепла. На мой вопрос, не произошло ли это от несчастного случая, она ответила: „Несчастный случай! Я не переставала плакать в течение двадцати трёх лет!“»⁹

Екатерина Ивановна Головкина уговорила императрицу разрешить её зарубежным родичам вернуться в Россию, и та просьбу её исполнила. Жившим в Голландии сыновьям канцлера было дано знать, что они могут вернуться на историческую родину при гарантии их полной безопасности, что их имущество будет им возвращено, что им будет позволено остаться в реформатском вероисповедании. Те, свыкшись с комфортным бытом приютившей их страны, от предложения царицы почтительно отказались, решив отправить в Россию («на ловлю счастья и чинов») своих сыновей. «В 1783 году было наконец решено, что мой брат, я и мой двоюродный брат, граф Юрий, поедут на родину для того, чтобы поступить на службу и собрать остатки состояния, которое было почти уничтожено». Не последнюю роль в милостивом отношении императрицы к братьям сыграла её благодарная память – вспомнила она прилюдно, во время «малого приёма», на который были допущены братья Головкины, как ей, тринадцатилетней, приехавшей на карнавал в Берлине и не имевшей для увеселения достойного наряда, тётушка Головкиных, графиня Камеке, подарила прекрасное бальное платье.

Спустя год после приезда в Россию граф Юрий Александрович Головкин, 1762 года рождения, составил весьма выгодную для себя брачную партию – женился на Екатерине Львовне Нарышкиной, дочери представителя почтенного и богатого рода обер-шталмейстера Льва Александровича Нарышкина, отвечавшего по роду службы своей за императорские конюшни, великого мастера каламбуров, нравившихся императрице. (Брат жены графа Юрия Головкина был знаменит тем, что жена его, урождённая княжна Мария Антоновна Четвертинская, была любовницей Александра I и при живом муже имела от него детей.)



Общественное положение и полученное в Париже у тамошних философов-энциклопедистов образование способствовали быстрому карьерному росту графа Юрия. Начав с офицера лейб-гвардии Преображенского полка, в 1787 году он, как камер-юнкер высочайшего двора, сопровождал императрицу Екатерину в её путешествии в Крым. В 1792 году он был пожалован в действительные камергеры, в декабре 1796 года был назначен императором Павлом I сенатором и произведён в чин тайного советника (и был впоследствии отмечен в мемуарах не менее язвительного, чем его троюродный брат Фёдор, Филиппа Филипповича Вигеля):

«В начале 1805 года было решено послать графа Головкина во главе многочисленного посольства в Китай, надеясь путём удачных переговоров заставить китайцев возвратить нам Приамурский край, уступленный Китаю во времена Анны Иоанновны и Бирона, когда немцы так хорошо соблюдали интересы России. Может быть, выбор пал на Головкина потому, что он был обер-церемониймейстер, а китайцы из всех народов мира наиболее привыкли к церемониям, но я сознаюсь и даже убеждён в том по сие время, что в этом деле с самого начала ничего твёрдо не было решено. Графа Головкина послали в Китай... так себе... на всякий случай... наудачу».

Предлогом для посольства было намерение русского правительства поздравить цинского богдыхана (императора Цзяцина) с восшествием на престол, случившимся девять лет назад, и известить его (также запоздало) о воцарении Александра I. Фактическими же целями посольства были установление прочных торговых связей между Россией и Китаем и попытка уговорить китайскую сторону уступить северному соседу реку Амур.

Посольская миссия Головкина оказалась, дипломатически выражаясь, неудачной. Ещё не покинув пределы России, её глава получил протест китайского правительства против многочисленности посольской свиты и вынужден был уменьшить её состав. По прибытии посольского каравана в город Ургу встречающие китайцы ознакомили русского посла с обязательной церемонией представления верховной власти – войти в помещение, где висел портрет сына Поднебесной, на четвереньках, с привязанной к спине подушкой, на которой должна была лежать верительная грамота. Посланник ответил китайской службе протокола, что на такое унижение он пойдёт, если получит разрешение от своего государя. В результате на следующее после первого общения с местной службой протокола утро все подарки, которые граф Головкин привёз для китайцев, были разбросаны возле его палатки. Русской миссии ничего не оставалось, как вернуться в Иркутск и там до декабря 1806 года дожидаться от императора Александра I, раздражённого провалом посольской миссии, возвращения в Петербург.

Свой долг граф Юрий Головкин исполнил как честный человек, но тем не менее эта экспедиция сделала его всеобщим посмешищем и нанесла ущерб престижу России на Дальнем Востоке. В результате царской немилости граф Юрий Головкин был отправлен в бессрочный отпуск, проводить который отправился за границу. Возвратившись на государеву службу, он исполнял должность русского посланника в Карлсруэ, Штутгарте и Вене; в 1820 году в составе русской делегации, вместе с управителем иностранной коллегии графом Карлом Васильевичем Нессельроде, он участвовал в работе конгресса Священного союза в Троппау; далее, начиная с 1822 года, девять лет находился в очередном отпуске.

Император Николай I, благоволивший графу Юрию Головкину, назначил его в 1831 году членом Государственного совета и обер-камергером; последние двенадцать лет своей жизни он был попечителем Харьковского учебного округа. Счёты с земной жизнью Юрий Александрович Головкин свёл 21 января 1846 года в возрасте восьмидесяти трёх лет и был погребён в своём имении Константинове, что на Харьковщине. С ним – из-за отсутствия у него наследников мужского рода – оборвалась родовая линия Головкиных. Его единственная дочь, Наталья Юрьевна, жена князя Александра Николаевича Салтыкова, получила по царскому указу за год до смерти отца право именоваться княгиней Салтыковой-Головкиной.

«Граф Юрий Александрович был тоже порядочный хвостун; это был настоящий тип салонного кавалера восемнадцатого столетия. Высокого роста, стройный, он в девяностолетний возраст держал себя как человек пятидесяти лет; каждое утро он совершал

прогулку по Невскому проспекту и каждый вечер посещал гостиные, любезничал с дамами и ухаживал за всеми мужчинами, имевшими влияние при Дворе. Возвратившись в Россию, когда ему было восемнадцать лет от роду, он никогда как следует не научился говорить по-русски. В царствование императора Павла он был сенатором, и, когда в том департаменте сената, где он заседал, какой-то процесс был решён неправильно, все сенаторы этого департамента получили выговоры, „за исключением – как было сказано в Высочайшем указе – тайного советника Головкина, по той причине, что он не знает русского языка, причём указать ему на необходимость изучить этот язык как можно скорее“»¹⁰.

Так характеризовал последнего из Головкиных князь Пётр Владимирович Долгоруков, историк и публицист, один из крупнейших специалистов по русской генеалогии, затронувший своим саркастическим пером многих соотечественников, до него живших и ему современных. В своих писаниях он перемыл косточки чуть ли не всем Головкиным, превзойдя в части злоречия и экивоков не только колкого на язык представителя их рода, графа Фёдора Головкина, но и самого мэтра этого «жанра» – Филиппа Филипповича Вигеля.

Видимо, недобрым качествам природы князь Пётр Владимирович Долгоруков (1816 года рождения) обязан в равной мере как своей наследственности, так и угнетающему воздействию на его психику сиротского детства (сразу после его рождения умерла мать, год спустя – отец) и его природной хромоте (из-за неё он получил кличку Вапсал – «колченогий»). Некоторое время он воспитывался в Пажеском корпусе, но в возрасте пятнадцати лет был исключён из него за скандальные (гомосексуальные) привычки. Известно, что в Петербурге в 1836 году князь Пётр Долгоруков делил одну квартиру с другим любителем «азиатских забав», князем Иваном Сергеевичем Гагариным, будущим писателем, католическим священником и членом ордена иезуитов. Эту любовную пару современники подозревали в авторстве анонимного пасквиля, ставшего причиной вызова на дуэль Пушкиным Дантеса в ноябре 1836 года. (Графологические экспертизы, проведённые уже в советское время, кажется, эти обвинения устранили.)



Князь Пётр Долгоруков нигде не служил и, проживая доходы от отцовских имений, посвятил себя составлению и исследованию генеалогий российских дворянских родов. В 1859 году он тайно и навсегда выехал за границу, где опубликовал книгу «Правда о России», перенасыщенную критикой реалий отечественной жизни, действий русского правительства. Лишённый за это Сенатом княжеского титула, прав и состояния, Пётр Долгоруков в добровольном изгнании более всего опасался за судьбу оставшегося в России сына Владимира, обещая, в случае репрессий против своего отпрыска, выступить в печати с «сокрушительными разоблачениями». Царская власть нашла дру-

гой путь давления на диссидента – в 1861 году на страницах русской печати появились обвинения его в роковой травле Пушкина, на что Долгоруков ответил опровержением в герценовском «Колоколе».

В своих заграничных сочинениях (прежде всего в историко-мемуарных записках) любитель генеалогии Долгоруков, переполненный неприязнью к своей родине, впервые высветил запретные страницы истории русского самодержавия, давая им порой спорные (до сих пор) оценки: *«По Долгорукову, среди царствующих, да и не царствующих, Романовых были сплошь незаконнорождённые, или плоды адюльтеров: и сам Пётр I, и его дочери от Екатерины I, и дочери соправителя Петра I, Иоанна V, и Пётр III. А уже Павел I, предполагаемый сын Екатерины II и С. В. Салтыкова, вообще чухонский младенец, поскольку мертворождённого ребёнка Екатерины тут же подменили первым попавшимся новорождённым»*¹⁰.

Остаток жизни отставной князь Пётр Владимирович Долгоруков (скончался он в 1868 году) провёл на Швейцарской ривьере и в своём вынужденном анахоретстве, вероятно, не раз с иронией отмечал, как приезжающие на местные целебные воды его прежние русские знакомые избегали его общества.

Часть вторая. Граф Фёдор Гаврилович Головкин и его мемории

Граф Фёдор Гаврилович Головкин прибытие на землю предков, в Петербург, ознаменовал неординарным поступком, написав в стихах прошение императрице с перечислением заслуг представителей рода Головкиных перед державой; он отправил своё сочинение в царскую резиденцию по почте (что, кстати, было запрещено во избежание утечки «в народ» конфиденциальных сведений). Тем не менее легкомысленная эпистолярная эскапада юного «возвращенца» цели достигла, и был граф Фёдор царскою волей в начальном чине камер-юнкера представлен к дворцовому ничегонеделанию, детали которого позже описал его приятель Николай Шателен: *«Он ходил по императорскому дворцу с полною свободою, как член царского семейства. Иногда он принимался за устройство императорского ложа, взбивал подушки, приводил в порядок одеяла и т. п. Однажды императрица сказала ему: „Право, граф, я думаю, что вы превосходите лучшую голландскую горничную“»*. Доводилось также начинающему царедворцу по необходимости сопровождать императрицу Екатерину по дворцовым залам, читать ей какую-нибудь книгу, развлекать подрастающих цесаревичей.

Был вхож граф Фёдор Головкин в круг наследника престола Павла Петровича, не раз участвовал в собраниях и увеселениях его малого гатчинского двора, о хозяине которого он записал немало интересных сведений, в частности историю его первой печально закончившейся женитьбы:

«Екатерина выписала в С.-Петербург ландграфа Дармштадтского с его тремя дочерьми, чтобы великий князь выбрал себе между ними супругу. Он избрал самую некрасивую, но самую умную, наречённую впоследствии великой княгиней Наталией...»

Молодая великая княгиня в весьма короткое время вполне овладела умом великого князя, что одинаково не понравилось как императрице, так и народу; первой, потому что она ей показалась интриганкой, а второму, потому что она им, видимо, пренебрегала. Никто тогда не предвидел, что её карьера скоро кончится, так как никто не знал, что её мать скрыла то обстоятельство, которое препятствовало ей дать престолу наследника. Мне впоследствии в Германии сообщили об этом следующее: принцесса родилась с естественным наростом хвостца, который увеличивался с ростом и становился весьма тревожным. По этому поводу были опрошены первые хирурги Европы, но безуспешно. Наконец явился какой-то шарлатан из Брауншвейга, осмотрел ребёнка и обещал удалить этот нарост. Он велел изготовить род сиденья из железа и посадил туда бедную крошку с такою силою, что хвостец переломился и провалился во внутрь тела. Девочка чуть не умерла от этой операции, но хотя её тогда вылечили, она должна была умереть с выходом замуж; действительно, при первых же родах ребёнок был остановлен внутренним препятствием, о котором никто не знал и которое нельзя было устранить. Великая княгиня высказала в последние минуты необычайный героизм, требуя, чтобы ею пожертвовали ради ребёнка. Это был сын, но жертва матери не могла его спасти»⁸.

С началом Шведской кампании 1788 года Фёдор Гаврилович получил возможность проявить себя в чине генерал-адъютанта при главнокомандующем графе Иване Петровиче Салтыкове, и его боевые решения в условиях пересечённой местности начинающий офицер оценил как неудовлетворительные: *«Единственная война, которую можно вести в Финляндии, – это война небольшими отрядами, ибо помимо времени, когда озёра замерзают, там нет ни одной местности, где можно было бы развернуть в боевом порядке три тысячи человек».*

В эти годы Фёдор Головкин перезнакомился со многими интересными личностями, так или иначе оказавшими воздействие на ход тогдашних исторических событий, с теми, кто общался, был связан с Софией Витт-Потоцкой. Таким в первую очередь был Людвиг Кобенцль, австрийский посол в России: *«Граф Людовик <Людвиг> имел особое пристрастие к светской жизни и к тому же столько находился в движении, что нельзя было понять, когда он работает. Больше всего же любил французскую комедию и, к несчастью для своего положения, требующего достоинства, сам играл в ней в совершенстве, а когда не мог играть, повсюду говорил только о ней».* О нём, как играющем комедию (в политическом смысле), презрительно выразилась императрица Екатерина, напутствуя на дипломатическую работу Фёдора Головкина полунамеком не брать пример с австрийского жизнелюба. *«Кобенцль был расслаблен бессонными ночами и обильною пищею, ибо одна любовь, которую он старался проявить к женщинам, считавшимся в моде, не могла быть причиною его смерти в пятидесятилетний возраст».*

Принц Шарль-Жозеф де Линь (1735 года рождения), австрийский военный деятель, писатель, во время Русско-турецкой войны находился в лагере

князя Потёмкина, где познакомился с Софией Витт. Был он очень дружен с Александром Васильевичем Суворовым, с которым находился в переписке, которого считал военным гением, называя его в шутку Александром Филипповичем (иначе – Александром Македонским). С большим сочувствием относился он к древнему еврейскому племени, предлагал создать для него отдельное государство в землях Палестины (как следствие реализации «греческого проекта»); инициировал он и создание отдельного еврейского конного полка в составе войск князя Потёмкина.

«Карл, князь де Линь и князь Священной Римской империи, был в то же время и первым грандом Испании, кавалером ордена Золотого Руна, капитаном немецкой гвардии германского императора, фельдмаршалом и пр., что в связи с его высоким происхождением, огромным, отчасти уже растраченным, богатством, большим проницательством и весёлостью характера, а также многочисленными путешествиями и нравственностью, приспособлявшейся к случаю, сделало из него то, что обыкновенно называют большим баринном, и создало ему знаменитость, которой недоставало лишь таланта и призвания. Его молодость прошла между Венским двором... и Версальским двором, где король и принцы называли его фамильярно Шарло. Через князя де Линя австрийский император Иосиф II... вёл через его посредство разные переговоры с Россией – не без задней мысли отказать в случае надобности от его слов; он назначал его также в армию, где Линь проявлял храбрость и деятельность... Князь де Линь был высокого роста и хорошо сложен, с лицом, которое, вероятно, когда-то было очень красиво, но со временем изнежилась. В двадцатилетний возраст он, должно быть, был большим щёголем и фатоват. При первом знакомстве его манеры казались необыкновенно изящными, но на другой же день он начинал проявлять удивительный цинизм»⁹.

К концу правления Екатерины II, когда благодаря дружбе с Платоном Зубовым, последним фаворитом императрицы, граф Фёдор Головкин достиг вершин придворного положения, он совершил непростительный для царедворца (но понятный для совестливого человека) поступок – вмешался в судебную тяжбу между наследниками князя Любомирского и князя Потёмкина, в своё время купившего у польского землевладельца часть его территорий, но позабывшего при жизни за них рассчитаться. Неосторожность Головкина обошлась ему почётной высылкой в Неаполитанское королевство, другом Зубовым устроенной, на освободившуюся должность русского посланника. К новому месту службы он отправился осенью 1794 года, заехав по дороге в Берлин, где очень озаботился проблемой назревавшего окончательного раздела Польши между её соседями – Россией, Пруссией и Австрией, и высказал по этому поводу прусскому королю Фридриху своё нелицеприятное мнение: *«Но что может быть ужаснее с нравственной точки зрения, как видеть трёх монархов, считающих необходимым приступить к разделу и рассуждающих в то же время о бескорыстии и честности в ведении дел? Что может быть*

неосторожнее, как сближать границы трёх держав, которым и без того представляется достаточно поводов к ссоре?»

Судя по всему, об этой недопустимой для дипломата речи прусский король не сообщил «русской коллеге», раз посланник Головкин не был с полдороги возвращён в Петербург. Повод к такому действию русского правительства он дал год спустя, когда в очередной раз нарушил дипломатический этикет и в присутствии придворных неаполитанской королевы Каролины осмелел её в памфлете. Во устранение возникших межгосударственных трений посланник Головкин был смещён с занимаемого поста, отозван в Россию и отправлен в ссылку в находившуюся в Лифляндии крепость Пернов.

Свои неаполитанские впечатления он отобразил в ряде им выписанных литературных портретов лиц, которых он видел, о которых много слышал в италийских краях, в частности о поныне знаменитой леди Гамильтон:

«Сэр Вильям Гамильтон был уже в течение тридцати одного года английским посланником в Неаполе, когда я туда приехал в том же звании. Он в Европе, и даже у себя дома, считался учёным, хотя он вовсе не был особенно сведущ... Он первым браком был женат на дочери лорда Кэскарта, женщине высокого ума. Его вторая жена так различалась от первой своим происхождением, нравами и средствами и сыграла столь различные и публичные роли, что она заслуживает специального упоминания.

Она в молодости была проституткой в Лондоне, называлась Гарт и попала в Италию благодаря молодому Гревиллю, племяннику сэра Гамильтона. Когда влюблённым, вследствие разразившегося над молодым человеком негодования его семьи, нечего было есть, девушка, в расцвете молодости и красоты, стала служить в Римской академии моделью художникам, получая полчервонца за каждую позировку, и такими образом поддерживала хозяйство. Тем временем дядя не переставал писать племяннику грозные письма, на которые тот всегда отвечал, что достаточно взглянуть на предмет его страсти, чтобы простить ему. Наконец у дяди любопытство преодолело гнев, он приехал в Рим и увидел эту диковинку. Скоро между ними состоялся торг. Дядя заплатил все долги племянника, который возвратился в Англию, а девица последовала за дядей в Неаполь и осталась под его покровительством. Какая-то почтенная старушка, под видом матери или тётки, руководила её воспитанием, сама нуждаясь в нём не менее молодой девушки. Мисс Гарт выучилась итальянскому языку и музыке. Её покровитель заставил её повторять академические позы, которые впоследствии доставили ей знаменитость. Сначала на эти представления допускались только интимные друзья, но успех этих поз подзадорил страсть дяди, и желание навсегда обладать этой девушкой заставило его на ней жениться...

Эта женщина кончила своё поприще тем, что сделалась любовницей адмирала Нельсона, была предметом самых грубых карикатур и стала опекуницей единственной дочери этого морского Дон Кихота. Она пополнила до безобразия и умерла в 1815 году от удара в Канне, в Нормандии»⁹.

В крепости Пернов, расположенной неподалёку от Риги, Фёдор Головкин прожил не более года, и некоторое время неустроенность быта с опальным графом разделяла его жена, Наталья Петровна, урождённая Измайлова, сочинительница романов (их качество супруг оценивал с изрядным скепсисом): *«Но Пернов и мелкота моего образа жизни показались ей ужасными. Напрасно я ради неё решился изменить свои привычки: я гулял, читал и решился даже повести или, вернее, по случаю грязи перенести её до одного сарая, где ярмарочные актёры давали представление, но её здоровье ухудшилось, её настроение портилось, она не захотела ехать в Москву к своей семье, а её горничная из Парижа, мало подготовленная к пленениям и ссылкам, своими истерическими припадками окончательно превратила наше жильё, напоминающее немного каземат, в возмутившуюся Фиваиду».*

В Петербург супруги Головкины вернулись только после кончины императрицы. Император Павел I приветил пострадавшего от его матушки графа Фёдора Гавриловича и назначил его церемониймейстером, но при *«строжайшем запрете острить»*. С 1797 года он в течение двух лет был секретарём последнего польского короля Станислава Понятовского, находившегося в почётной ссылке в Петербурге, записывал и редактировал его воспоминания.

«Первая мысль, озарившая Павла I по восшествии на престол, состояла в том, чтобы опозорить память своей матери; средствами для этого он избрал – во-первых, вскрытием из могилы останков Петра III, хотя последствия показали, что он не считал для себя его сыном, а во-вторых, – всевозможными соболезнованиями князю Зубову, занимавшему, при смерти императрицы, положение фаворита...

Между прочим, он издал указ, от которого его ненависть к покойной императрице ожидала большого успеха, но который вызвал только всеобщее удивление, а именно: он разрешил приносить жалобы на прошлое и обращаться, с полным доверием, к ступеням трона с претензиями, прекращёнными при предшествующем царствовании... Несколько дней спустя выскочки, из которых состоял тайный совет, желая нанести чувствительный удар дворянству, коим они уже начали пугать государя, убедили его издать указ, предоставляющий крепостным право возбуждать жалобы против своих господ. Огонь не действует быстрее. Возмущение в Новгородской и Тверской губерниях так разрослось, что надо было поспешить отправкою туда князя Репнина с шеститысячным отрядом, чтобы обуздать восставших...

В числе указов, следовавших один за другим, был один столь необыкновенный, чтобы не сказать ненавистный, для высших классов... Этим указом было запрещено выходить во фраке, и можно было появляться на улице не иначе как в мундире, присвоенном по должности, и со всеми орденами, если таковые имелись. Круглые шляпы, панталоны, сапоги с отворотами – всё это было строго запрещено, и указ этот подлежал немедленному исполнению...

17 января 1798 года последовал указ о князе Потёмкине, которого все считали настолько же забытым, насколько он уже давно

был покойником. Этим указом предписывалось разрушение памятника, воздвигнутого в его честь покойной императрицей в Херсоне, причём в указе разъяснялось, что подданный, управление которого было столь порочным, не мог заслужить подобной чести. Говорят даже, что его останки были брошены в воду. Мнение на счёт управления этого временщика было единодушно, но каково оно бы ни было, он, хорошо или плохо, всё же основывал города, углублял порты, строил верфи, Черноморский флот был великолепен, и это колоссальное творение нельзя было уничтожить мстью над несколькими камнями. Император, который первоначально возымел мысль разрушить Гаврический дворец, но потом решил сохранить его, хотел только доказать, что это решение происходило не от излишней деликатности или от уважения к предшествовавшему царствованию, а из экономических соображений»⁸.

Граф Фёдор Гаврилович Головкин при дворе императора Павла продержался до января 1800 года, когда (скорее всего, из-за своего несдержанного языка) был выслан из столицы с обязательством жить в своих имениях. В царствование императора Александра Павловича он много путешествовал по Европе, жил поочерёдно в Париже, Флоренции, Вене, Берлине, лишь изредка приезжая в Россию.

По свидетельству современника, *«принимался всюду с раскрытыми объятиями до тех пор, пока наконец его злой язык не создавал вокруг него пустоты, он вращался постоянно в высших светских и политических сферах того времени, по-видимому, считая себя необычайным государственным и дипломатическим умом, так как попеременно он упрекает всех монархов и даже Венский конгресс за то, что они не следовали его советам. Но это чрезмерное и смешное самолюбие не лишает ценности его тонких наблюдений, остроумных характеристик и сообщаемых им новых фактов».*

За границей Фёдор Гаврилович писал свои мемуары, издал рыцарский роман «Княгиня д'Амальфи», вёл обширную переписку со многими известными людьми: с Иоанном Каподистрия (русским и греческим государственным деятелем, министром иностранных дел России в 1816–1822 годах, ставшим первым правителем независимой Греции в 1827 году), графом Жозефом де Местром (французским католическим философом, литератором, политиком и дипломатом), мадам де Сталь, которая писала своему русскому другу, что его *«отсутствие – большое горе не для сердца, а для ума; где он – там движение и жизнь, которые исчезают вместе с ним».* Умер граф Фёдор Гаврилович Головкин в 1823 году в Женеве; после себя наследников не оставил.

Династия русских Комаровских

Генерал-адъютант Евграф Федотович Комаровский, возведённый в 1803 году в графское состояние, передал, согласно существовавшим установлениям, высокий фамильный титул своим прямым потомкам – обильно разветвившимся (и поныне ветвящимся) отросткам им заложенного родового кор-

ня, – достойно служившим Отечеству на военном и гражданском поприще, в сфере науки и культуры.

Осенью 1812 года граф Комаровский побывал в городе Умани и, сопровождаемый его владелицей графиней Потоцкой, с превеликим удовольствием осмотрел в её честь устроенный Софиевский парк.

Часть первая. Уманская экскурсия графа Евграфа Федотовича Комаровского

Как ни стремился в боевые ряды граф Евграф Федотович Комаровский после 24 июня 1812 года, когда всеевропейская орда Наполеона Бонапарте, одолев реку Неман, навалилась на Россию, был он отправлен императором Александром Павловичем в Подольскую и Волынскую губернии собирать лошадей для русской армии. Выехав 8 сентября 1812 года с группой чиновников из Петербурга и обогнув Москву – уже занятую французами – по протяжённой северной дуге, он сделал недолгую остановку в Туле, откуда донёс государю *«как о Тульском полке конных ратников, так и об объявленном желании ямщиков Московской дороги служить против общего врага России».*

По приезде в Житомир, бывший центром Волынской губернии, генерал-адъютант Комаровский объявил местному губернатору Михаилу Ивановичу



Комбурлею и губернатору Подольской губернии графу Сенпри высочайшее повеление и указ Правительствующего сената о том, что означенным губерниям рекрутский набор в действующую армию заменяется поставкой лошадей. *«За всякого рекрута положено было взимать или трёх кирасирских, или четырёх драгунских, или пять уланских, или гусарских лошадей».* Впрочем, на месте выяснилось, что достижению «плановых показателей», заданных царской волей, мешают некоторые обстоятельства:

так, стало известно, что добрая половина прежде запланированного числа рекрутов уже набрана (в ущерб более актуальной «лошадиной силе»), что эпидемия чумы, проникшая в некоторые поветы Подольской губернии, ограничила возможности набора. Но тем не менее работа столичной группы сборщиков пошла, и отобранные на месте боеспособные лошади перегонялись – усердием уже призванных рекрутов, офицеров и нижних чинов, квартировавших в крае запасных эскадронов, – к сборному пункту, в Житомир. Всего командой Комаровского было набрано более тринадцати тысяч лошадей, каждая из которых обошлась казне в среднем по двадцать пять рублей.

Не только активной государевой службой наполнялась жизнь графа Комаровского в Житомире; разнообразили её значимые для горожан и гостей города события – развесёлые встречи и проводы задерживавшихся передохнуть в городе ополченских полков из Нижнего Новгорода, Пензы и Рязани, проезд через Житомир великой княжны Екатерины Павловны, многолюдный пикник, организованный в честь высокого столичного гостя графом Ильинским в своём имени Романово, и, наконец, групповая экскурсионная поездка в Умань.

«Мы любопытны были видеть известный по описанию в стихах одним из лучших польских поэтов славный сад, называемый Софиевкою. То же самое общество, которое было в Романове, кроме М. И. Комбурля (поскольку сад этот находится в другой губернии, в Киевской), отправилось в путь. Софиевка находится близ местечка Умани, принадлежавшего графу Станиславу Потоцкому, первейшему богачу бывшей Польши. Мы нашли в Умани героиню и тогдашнюю помещицу Софиевки, графиню Потоцкую, бывшую графиню Витт. Там находился также князь Алексей Борисович Куракин. Он назначен был государем в председатели комиссии, учреждённой по случаю чумы, в тех губерниях тогда существовавшей. Хозяйка сама показывала нам этот прелестный сад. Он расположен в овраге, а потому аллеи устроены в три этажа. Богатство вод удивительное. При самом въезде, на большом пруде, бьёт фонтан, не ниже Сампсона, что в Петергофе; несколько каскад падают с высоких скал; но что всего примечательнее, это подземный канал. На довольно большое расстояние, гуляя в саду, он вовсе не приметен, ибо поверху его посажены деревья и сделаны дорожки, только видно в некоторых местах, что сделаны отдушины, для доставления света и воздуха в канал подземный, по которому мы ездили в большой лодке. В конце канала устроен резервуар, который помощью насосов наполняется водою, и лодка поднимается до поверхности воды, находящейся в большом пруде. Этот механизм похож на устроенный в Вышнем Волочке для поднятия барок в канал. В саду находится множество редких растений, которые видны в самых жарких климатах. В то время случился в Умани отставной прежней польской службы поручик Мецель, основатель и учредитель Софиевки; он имеет большие познания в гидравлике. Мецель рассказывал мне, что, находясь при графе Потоцком, бывшем главным командиром всей Польской артиллерии, приехали они однажды в Умань и пошли с ружьями на охоту. Войдя случайно в овраг и увидя множество источников воды, граф Потоцкий, остановясь, сказал Мецелю: «Нельзя ли из этого оврага сделать гулянье? Мне хочется подарить его жене моей и называть её именем; чтобы издержки тебя не останавливали, я готов всё что ни потребуется на это употребить, только чтобы Софиевка была из первых садов в Европе». Имев в распоряжении своём такие неограниченные способы, Мецель хотел и своё имя сделать известным. Выписав из чужих краёв лучшего садовника, принялись за работу, на которой, по словам Мецеля, несколько лет находилось по 800 человек ежедневно, и на издержки ассигнованы были доходы со всего староства Уманского, в которых находилось несколько тысяч душ.

Мы провели три дня в Умани и были как нельзя лучше угощаемы графиню Потоцкою»¹¹.

В Петербурге работой графа остались довольны до чрезвычайности, что выразилось в пожаловании ему – в августе 1813 года – ордена Святого Владимира второй степени и утверждении его в должности главного армейского

ремонтёра на двадцать две губернии России (ремонтom в то время называлось пополнение выбывших из боевого строя лошадей).

Получив новую должность, граф Комаровский с супругой переехал в избранный им центр своей будущей деятельности – в Орёл, поближе к семейному поместью в селе Городище. Много позже в нём, уже выйдя на пенсию, Евграф Федотович начал составлять записки о своей жизни, и писал он их не для широкой публики, а прежде всего для любопытства и назидания детей своих (которые после смерти своего видного родителя эти записки опубликовали).

Родился Евграф Федотович Комаровский 18 ноября 1766 года в Петербурге в семье чиновника дворцовой канцелярии, происходившего из старинного издавна православного рода, в семнадцатом веке переселившегося из Польши в Россию. Он получил прекрасное образование в известном в Петербурге пансионе Масона, где товарищем его был племянник князя Александра Андреевича Безбородко – Виктор Павлович Кочубей (впоследствии также князь). (Француз Масон, как известно, был одним из учителей великих князей Александра и Константина.)

Состоя (с 1787 года) на службе у князя Безбородко, молодой Комаровский участвовал в известном Таврическом путешествии императрицы Екатерины II, в ходе которого – из Киева в марте 1787 года – он был послан в Париж с царскими подарками министрам французского двора. Позднее он ещё несколько раз ездил в чужие края с дипломатическими поручениями. Исполняя одно из них, он привёз в Петербург портрет будущей императрицы Елизаветы Алексеевны, что сделало графа лично известным её будущему супругу, цесаревичу Александру Павловичу.

В Измайловском полку, к которому Комаровский был приписан ещё с малолетства, он начал служить с 1794 года адъютантом шефа этого полка, великого князя Константина Павловича. В первых числах марта 1800 года, с началом Итальянской кампании, полковник Комаровский, в свите великого князя Константина, вольно определившегося в состав корпуса Суворова, отправился к месту боевых действий. (Попутно от императрицы Марии Фёдоровны сын получил наказ привезти из Италии *«разных шелков и сыра пармезана, до которых императрица была охотница»*.)

Прежде театра военных действий великий князь заехал – в начале апреля – в Вену, где встреченный русским послом графом Андреем Кирилловичем Разумовским провёл обязательные протокольные встречи, поучаствовал в официальных завтраках, обедах и балах (тогда как неутомимый Суворов с «солдатушками – бравыми ребятушками» громил французов).

«Между тем лишь только граф Суворов приехал к армии, как начались победы; всякий день бюллетень объявлял о каком-нибудь выигранном сражении, так что граф Дерфельден сказал мне: „Надобно просить великого князя ехать поскорее к армии, а то мы ничего не застанем; я знаю графа Суворова, теперь он уже не остановится“»¹¹.

Прибыв к армии, Константин Павлович с группой сопровождения стал в её ряды и принял участие (1 мая 1799 года) в неудачном для русской армии

сражении под Бассиньяно. За событие это полковник Комаровский, командовавший в этой баталии батальоном, получил выволочку от фельдмаршала за то, что, как адъютант великого князя, позволил тому рисковать своей жизнью. Позже суровый реприманд от фельдмаршала получил и сам великий князь, после чего он, обидевшись, со свитой только наблюдал за ходом боевых действий. *«Словом, вся эта кампания была не что иное как самая приятная прогулка: в самом деле, мы приехали в Верону в конце апреля, а 6-го августа была славная баталия при городе Нови, на границе Генуэзской республики».*

Регистрацию боевых дел цесаревича Константина Павловича (с их героической окантовкой на будущее) будущий историк Евгений Петрович Карнович оценил следующим образом:

«Главными описателями подвигов великого князя в Итало-швейцарской кампании являются, во-первых, Суворов в своих реляциях и в приказах по армии и, во-вторых, Комаровский, адъютант и неразлучный спутник Константина Павловича в том походе. Комаровский в 1811 году напечатал, без подписи своего имени, в издаваемом тогда «Военном журнале» описание похода русских в Италии, и разумеется, что в этом описании первым действующим лицом является Константин Павлович. Конечно, суровая историческая критика может отнестись недоверчиво к этим главным источникам, но едва ли позволительно сказать это не только при отсутствии каких-либо против них опровержений, и особенно ввиду тех отзывов о личной храбрости Константина Павловича, которые впоследствии долго, хотя и не без некоторых противоречий – например, со стороны партизана Давыдова, – слышались среди его товарищей по оружию».

За три месяца боевых действий армия Суворова очистила от неприятеля все владения Венецианской республики, всю Ломбардию и Пьемонт. Затем последовал вынужденный и бесцельный, по инициативе австрияков предпринятый, Швейцарский поход – знаменитый переход Суворова через Альпы, через перевал Сен-Готард. В переходе этом вместе с великим князем переваливал через горные вершины и его адъютант Комаровский.

Вскоре после прибытия русской армии, через Швейцарию, в Австрию великий князь, как дисциплинированный волонтер, отправил Комаровского к Суворову (уже получившему от Павла I титул генералиссимуса и князя Итальянского) за разрешением покинуть армию. Генералиссимус, резонно заметив, что он сам во власти великого князя, попросил его адъютанта передать встречную просьбу – прислушаться к его оценке западных союзников России:

«Между тем он спросил прежде, вероятно, о моём имени и отчестве, назвав меня оными и показав мне стул, стоящий подле стола, а сам сел на канаве против меня и, облокотясь обоими локтями на стол, закрыл глаза и сказал мне: „Садись, слушай и перескажи его высочеству, что я буду говорить“. Князь начал свой разговор о тогдашней политике всех дворов. Говоря об Англии, он сказал:

«Сия держава старается поддержать только вражду против Франциии всех прочих государств, дабы не дать ей усилиться, ибо одна Франция может соперничать с Англиею на морях; политика её лукава». В доказательство тому князь Суворов привёл, что Английское министерство, завидуя успехам нашей армии в Италии, домогалось и интриговало, чтобы она послана была в Швейцарию, где, по малолюдству своему, армия наша могла погибнуть. Сверх того, Английский флот, блокировавший Геную, допустил Французскому гарнизону, там находящемуся, морем получить и сигурс, и продовольствие. «Австрийская политика... самая вероломная... <...> Австрийцы дорого заплатят за их вероломство! Один наш император поступает как прилично высокому союзнику, безо всяких видов корысти... <...> Мы увидим, что будет с Австрийцами, когда бич их, Бонапарте, возвратится в Европу». (Бонапарте тогда был в Египте.)»¹¹

На родину Евграф Федотович вернулся в конце декабря 1799 года, вернулся в чине генерал-майора, «в Анненском кресте на шею, бриллиантами украшенном, с командорским крестом Иоанна Иерусалимского, с пенсионом по 300 рублей в год из почтовых доходов и с орденом в петлице Св. Лазаря и Маврикия». Как и другие успешные представители свиты великого князя, был он обласкан императором Павлом, отметившим особо его успешные действия как командира батальона в сражении с французами. Впрочем, царские милости длились недолго. В начале мая 1800 года все адъютанты цесаревичей Александра и Константина приказом их родителя были отстранены от должностей своих и высланы служить подальше от столицы.

Генералу Комаровскому выпала должность коменданта крепости в Каменце-Подольском. На месте его приветливо встретил подольский военный губернатор граф Иван Васильевич Гудович, «чрезмерно гордый, старинного века вельможа, особливо против Поляков». Здесь Комаровский познакомился с Софией Потоцкой и её двумя мужьями – действующим и вышедшим в тираж.

«Я видел однажды за столом у графа Гудовича то, что только можно видеть в одной Польше: жену, сидящую между двумя мужьями. Это была графиня Потоцкая; по одной стороне у неё сидел граф Потоцкий, а по другой – граф Витт, прежний её муж, и чтобы довершить сию картину, напротив графини сидел бискуп Сераковский, который делал её развод и совершал второй брак»¹¹.

Положение губернатора Гудовича в Каменце-Подольском, где доминировала – числом и общественным мнением – польская община, было тем более непростым, что император Павел, получив скипетр и корону, всячески ограничивал как былых соратников своей матери, Екатерины II, так и сами достижения её царствования. По этой причине он в определённой степени сочувствовал полякам, потерявшим при матушке-Екатерине государственное устройство; по этой же причине граф Гудович, которого поляки считали одним из виновников раздела их родины, скоро был отставлен от управления Подольской губернией.

Обструкции каменец-подольских поляков подвергался и граф Аркадий Иванович Морков. Видный русский дипломат (брат генералов Ираклия и Николая Морковых), он в конфликте канцлера Безбородко и последнего фаворита императрицы Платона Зубова принял в 1792 году сторону последнего. (Смена «шефа» скоро принесла Моркову титул графа и четыре тысячи крестьян в Подольской губернии, а также многочисленные денежные подарки, которые он стремительно израсходовал на мадемуазель Хюсс, знаменитую и очень расточительную французскую актрису, с которой он сожительствовал.) Ненавидели поляки графа Моркова прежде всего за то, что он принимал деятельное участие в дипломатической подготовке второго и третьего разделов Речи Посполитой и лично подписывал соответствующие конвенции в 1793 и 1795 годах. Используя политическую ситуацию, пытались некоторые из местных поляков притязать на недвижимость графа в крае. В этой житейской коллизии изнервничавшемуся Моркову помог генерал Комаровский, добившийся для него заступничества великого князя Константина, который по дороге к австрийской границе ненадолго остановился в Каменце-Подольском. За оказанную услугу граф по-своему пытался отблагодарить холостого Комаровского, попытавшись женить его.

«Графу Моркову вздумалось было женить меня на одной из дочерей графа Потоцкого, бывшей потом за графом Шоазель и умершей женою А. Н. Бахметева; дело кончилось одною только корреспонденциею между графом Морковым и графинею Потоцкою. Фамилии, кажется, не хотелось, чтоб девица вышла замуж не за католика, – да я и сам не очень желал быть женатым на Польке, имея перед глазами множество примеров их непостоянства»¹¹.

В Петербург генерал Комаровский вернулся уже после насильственной смерти императора Павла, устроенной ему присягнувшими подданными 11 марта 1801 года во вновь выстроенном Михайловском замке (был монарх сначала шарфом придушен, а затем ударом табакерки в висок добит). Передав дела по управлению крепостью генералу Гану, генерал Комаровский на исходе июня 1801 года *«полетел в Петербург»*, где поверг себя к стопам государя и благодетеля, назначившего его своим генерал-адъютантом (по этому случаю в послужном листке Комаровского появилась запись – *«генерал особого доверия»*).

Должность генерал-адъютанта для деятельного Евграфа Федотовича Комаровского не стала банальной придворной синекурой – стечение внешних обстоятельств, личные качества и служебное положение генерала сделали его основоположником внутренней стражи в России (в современной интерпретации – внутренних войск). Процесс становления новой полицейской структуры занял почти десять лет, и её окончательное организационное оформление произошло летом 1811 года. За этот период в личной жизни и служебной деятельности её создателя случился ряд значимых событий. В январе 1802 года, в дни коронации императора Александра I в Москве, Евграф Федотович Комаровский обвенчался с Елизаветой Егоровной Цуриковой, дочерью предводителя орловского дворянства, получив в качестве приданого за ней

село Городище. В том же 1802 году он был назначен помощником столичного генерал-губернатора по полицейской части и в этой «дополнительной» должности упорядочил в Петербурге службу уличных будочников и городских пожарных.

В 1803 году генерал-адъютант Комаровский очень достойно сопровождал, предварительно встретив у границы, приехавшего в Петербург австрийского эрцгерцога Палатина, за что по последовавшему представлению высокогородного гостя был удостоен титула графа Священной Римской империи. Далее, отпросившись у государя от полицейской должности, граф Комаровский занялся сооружением капитальных казарм для квартировавших в столице гвардейских полков – Семёновского, Измайловского, Конногвардейского, Кавалергардского. (Прежде солдаты гвардейских полков жили в так называемых светлицах, которые выстраивались в линию по обе стороны улицы, и в каждой из них размещалась одна рота.)

«Образ жизни моей был единообразен до 1811 года Июля 7-го, когда я, по высочайшему приказу, назначен был инспектором вновь учреждаемой Внутренней Стражи и помощником по сей части военного министра, которым был тогда Барклай-де-Толли. Государь, прежде назначения моего, приказал мне рассмотреть постановление о Внутренней Страже и с моими замечаниями передать военному министру. Потом всё сие внесено было в Государственный Совет и получило высочайшее утверждение. <...>

С начала последнего образования Государственного Совета и учреждения Комитета Министров государь председательствовал всегда как в Сенате, так и в Кабинете Министров. Когда было внесено в совет положение о Внутренней Страже, император приказал прочесть оное и сам объяснял выгоды сего учреждения...»¹¹

Постановление о внутренней страже предписывало сформировать на базе армейских военных батальонов внутренние батальоны с включением в их состав «*губернских рот и штатных команд*», в которых, по словам Комаровского, «*люди не исправляли ни малейшей службы*». Были определены задачи нового войскового подразделения – «*отправлять всё то служение, которое для охранения внутреннего спокойствия нужно, как то: содержать при разных городах караулы, провожать... рекрутов, водить колодников и действовать по требованию гражданского начальства на поимку воров, истребление разбойников, восстановление нарушенного порядка в селениях*»¹².

В послевоенные годы Комаровский (генерал-лейтенант с 1816 года) продолжил совершенствовать структуру внутренней стражи, введя в 1817 году в её состав специальные подвижные подразделения – конные жандармские дивизионы и команды. Формировались они прежде всего по качественному критерию: офицеры и нижний состав в них подбирался из «*исправнейших, способнейших и преимущественно служивших в кавалерии*». Конные жандармы, согласно положению, «*были непременно употребляемы для удержания полицейского порядка*» на народных гуляниях, на ярмарках, на крупных церковных праздниках. Им также поручалась охрана и сопровождение транспор-

тов с грузом особой ценности и важности, поимка и конвоирование опасных преступников. Позже в задачи внутренней стражи была включена и пожарная служба¹¹.

«До 1819 года я, безвыездно из Петербурга, занимался устройством вверенного мне корпуса, а с сего года я начал делать мои инспекции.

В половине лета государь поехал в Варшаву, куда позволил и мне также прибыть. Осмотрев Псковский, Виленский, Гродненский и Белостокский батальоны, я приехал в Варшаву прежде императора. Подал его высочеству цесаревичу рапорт о состоянии командующего мною корпуса, чем великий князь очень был доволен»¹¹.

В катастрофическое наводнение 7 ноября 1824 года, по завершении бешеного удара стихии, Александр I вызвал самых надёжных людей из своего окружения и, наделив их чрезвычайными полномочиями, поручил каждому из них заняться восстановлением определённого района столицы, оказанием помощи всем пострадавшим: *«Я призвал вас, господа, чтобы вы подали самую деятельную и скорую помощь несчастным, пострадавшим от ужасного вчерашнего происшествия, – и у него приметны были слёзы на глазах. – Я уверен, что вы разделяете мои чувства сострадания», – и продолжал говорить с таким чувствительным красноречием, что мы сами были чрезмерно тронуты»¹⁰.*

Комаровский с подчинёнными ему офицерами внутренней стражи организовал срочную спасательную операцию – силами приданных ему военных и бригад добровольцев были разобраны завалы и извлечены из-под них пострадавшие. Разосланные в окрестные деревни нарочные вернули в город стекольщиков, печников и плотников, которые в преддверии зимы разошлись по домам, были развёрнуты полевые кухни для обеспечения горячей пищей бездомных жителей. Евграфу Федотовичу удалось избежать возникновения эпидемий, не допустить скачка цен на самые необходимые товары, которые торговцы пытались продавать по взвинченным ценам.

В 1825 году во время восстания декабристов генерал Комаровский был на стороне «закона и порядка», выступив против мятежных полков, собравшихся на набережной Невы и отказавшихся повторно – после присяги Константину Павловичу, прежде этого отказавшемуся от престола, – присягнуть его брату, Николаю Павловичу. Рискуя жизнью, Комаровский объезжал каре мятежников, требовал прекратить *«охватившее их безумие»*. Характерен ответ одного из солдат (и поныне актуальный): *«Вам изменникам-генералам нужды нет каждый день присягать, а мы присягою не шутим»*. После подавления мятежа Комаровский организовал охрану пленённых офицеров, их конвоирование в Петропавловскую крепость; был членом Верховного уголовного суда, разбиравшего дело декабристов.

Благодарность нового императора к абсолютно преданному ему генералу Комаровскому длилась немногим более двух лет. Далее наступила царская немилость, последствия которой с обидой и болью, с серьёзным нарушением здоровья пережил Евграф Федотович:

«Между тем сопряжённые с званием командира отдельного корпуса Внутренней Стражи разные неприятности, мне сделанные, которые основаны были на одних только слухах, принудили меня наконец просить государя об увольнении от сего звания. При производстве меня 25 июня 1828 года в генералы от инфантерии в приказе сказано было, чтобы мне остаться только в звании генерал-адъютанта, а 13 октября того же года повелено присутствовать в Правительствующем Сенате; 6 декабря 1828 года назначен в корпусные командиры Внутренней Стражи генерал от инфантерии Капцевич, а до сего времени я всё командовал корпусом.

После жестокой болезни, продолжавшейся несколько месяцев, по просьбе моей, государю угодно было в апреле месяце 1829 года отпустить меня до излечения болезни, с получаемым мною содержанием, которое состоит в 4 000 рублей жалованья по чину генерала от инфантерии, 5 000 рублей в год столовых денег по званию генерал-адъютанта и в провианте на 12 денщиков.

Я воспользовался сим отпуском и приехал с матушкой-тёщей, с женою и с дочерью моею, графиню Софьей Евграфовной, сюда, в Городище, 21 июля 1829 года»¹¹.

О возможных причинах царской немилости рассуждает внук попавшего в опалу графа, Николай Егорович Комаровский, в своих мемуарных записках¹³. В них современный читатель, переживший трагедию слома социально справедливого общественного строя могучей страны и разбазаривания её территорий, найдёт картины становления капиталистических отношений, схожие с теми, что он видел и пережил в так называемые перестроечные годы. Одна из них, многоплановая в проявлении, но единая по сути, – это трудность (практически невозможность) для нравственного, честного человека, вынужденного заниматься самостоятельным делом («бизнесом»), опуститься ниже своего морального уровня, жить и действовать по закону «человек человеку – волк». Именно такую житейскую коллизию пережил граф Комаровский (дворянин-крепостник, гуманно относившийся к своей человеческой собственности) в названном ему императором Александром Павловичем мануфактурном деле.

«Окончательное поселение деда в Городище обусловилось не единственно преклонными летами и общей усталостью от придворной петербургской жизни, но и причинами чисто материального характера, побудившими его заняться устройством личных дел... Однажды ещё Государь Александр Павлович в благосклонной с ним беседе высказал деду сожаление, что вообще богатое русское дворянство совсем не содействует, за малыми исключениями, мануфактурной производительности страны. Вслед за этим Государю угодно было ему выразить своё желание, чтобы он в этом случае подал добрый пример и построил бы суконную фабрику вблизи Петербурга. При этом Государь обещал заранее сбыт сукон для своей гвардии. Дед не замедлил исполнить желание Государя и купил большую площадь земли между Большой и Малой Охтой, в той местности, где и поныне существует Комаровский переулок, един-

ственно уцелевший от всей этой затеи, принялся строить суконную фабрику. Огромных денег стоили машины, выписанные из Англии под руководством родоначальника известной нынешней фабрики Горнтонна, разбогатевшего на этом предприятии, и первое время фабрика бойко работала, снабжая сукнами всю гвардию, расположенную в Петербурге и окрестностях...

Сама по себе мысль Государя вполне основательна, а само предприятие являлось бы, безусловно, выгодным, но требовалось, чтобы во главе его стоял делец, ведущий все тонкости коммерческого дела, а этого-то и недоставало. Дед мой был человек прямой, в душе военный, весьма для своего времени образованный и говоривший свободно на нескольких европейских языках, но он не был человеком коммерческим, страдал излишней доверчивостью и имел самое поверхностное понятие о ведении обширного торгового предприятия, требующего от лица, поставленного в его главе, не только глубоких познаний, но в то же время и известной эластичности совести, необходимой особенно для ведения дел с казной.

Назначенный личным доверием Государя стать во главе Корпуса внутренней стражи с целью прекращения тех злоупотреблений, которые допускались его предшественниками, вроде известного генерала Тришатного, мой дед Евграф Федотович не мог считать достойным своего звания раздавать интендантству взятки, сопутствовавшие обыкновенно всякую казённую поставку. В этом мне самому пришлось убедиться при виде негодных сухарей и гнилой капусты, принимаемых интендантскими чиновниками и доставляемых нашим солдатам, героям Плевны и Шипки, во время Турецкой кампании 1877–78 годов. Но об этом впереди.

Как я уже говорил, дед мой не был человеком, способным стать во главе какого-либо серьёзного коммерческого дела, и ему пришлось довериться людям, всего чаще из желания им помочь и их пристроить, жестоко злоупотребившим его доверием. В то время как Евграф Федотович жил при дворе, противодействуя, насколько мог, интригам Аракчеева, фабрика его приходила в упадок и целые состояния управляющих возникали на развалинах этого полезного, но неудавшегося предприятия...

Ко всем невзгодам неудавшегося предприятия на Охте следует также отнести и инородную конкуренцию, которой зарождавшаяся в то время и не окрепшая ещё наша отечественная производительность, конечно, противостоять не могла. На бумаге всё, казалось, шло хорошо, что и утверждалось представляемыми деду отчётами, на деле же всё предприятие из года в год приносило лишь убытки и облагало его большое земельное состояние непроизводительными долгами. Как я уже говорил, удаление Евграфа Федотовича на покой было вызвано отчасти расстройством его имущественных дел»¹³.

Указание мемуариста на личность Аракчеева как на причину служебных неурядиц деда может свидетельствовать, что всесильный временщик по-иезуитски представил императору те немалые трудности, с которыми в это время

столкнулся начальник внутренней стражи. Негативные явления в деятельности этого нового полицейского учреждения, вызвавшие недовольство монарха, в значительной степени определились порядком комплектования его личного состава из отсеиваемых из армии порочных и неспособных к полевой службе офицеров. Об этом прямо и самокритично граф Комаровский написал в письме императору от 17 ноября 1827 года:

«Всемиловейший Государь.

Поражённый гневом Вашего Императорского Величества, лишённый счастья Вас видеть, дерзаю пасть к стопам милосердного монарха. Зная Ваше, Государь, правосудие, я чувствую, что мог навлечь на себя гнев Вашего Величества не иным чем как беспорядками, оказывающимися в Корпусе внутренней стражи, которым семнадцатый год командуя. Я был бы выше всякого выражения дерзновенен и поступил бы даже против совести, если бы осмелился сказать, что беспорядки в нём не существуют. Но благоволите, Всемиловейший Государь, с обыкновенною Вашею прозорливостью вникнуть в причины, от коих они происходят. Сей корпус, расположенный по пространству всей России, кроме Сибири, учреждённый для соблюдения общественного спокойствия и для доставления места воинам, лишившимся силы служить в поле, пополняется штаб- и обер-офицерами незаслуженными, ранеными и изнеможёнными на службе, но людьми большею частью молодыми, кои могли бы ещё служить в армии, но не терпимы в оной по своей нравственности, или худшими из произведённых в офицеры за выслугу лет, ибо хорошие из них оставляются в тех же полках, в каких служили. Таковые-то штаб- и обер-офицеры определяются не только в батальоны, но и в уездные, этапные и прочие инвалидные команды, коих числом до шести сот и в коих, за неимением лучших офицеров, они делаются отдельными начальниками, не имея при этом никакой прислуги, ни казённой, ни собственной; они впадают в преступления употреблением нижних чинов в собственные работы. При таком составе корпуса я постоянно употреблял все зависящие от меня способы к сохранению в нём возможного порядка и устройства: поощрение хороших, строгий надзор, неупустительное наказание проступков. Смею сказать, что ничего пренебрежено не было. Некоторые, хотя по числу всего корпуса, конечно, немногие, удостоены были Всемиловейших наградений, как от блаженной памяти Государя Императора, так и от Вашего Императорского Величества. Всем инвалидным командам делается по шести смотров в год, два раза командирами инвалидных команд, один раз батальонными, два – бригадными и один – окружными генералами, сверх того я почти ежегодно осматриваю лично во всей подробности, сколько по состоянию и по множеству их можно успеть, батальонов и команд; дабы иметь батальонных командиров сколько можно хороших, о назначении их представляются мною не иначе как по испытанию их в познании службы и способностях; ни одно незаконное действие и злоупотребление, которые только открыть была возможность,

не было оставлено без преследования и соразмерного наказания, о чём свидетельствует множество военно-судных дел, из корпусного штаба в Аудиторский департамент поступающих.

Все сии меры и старания, по изложенной мною причине, не были одинаково достаточны, чтобы внести и сохранить в Корпусе внутренней стражи то устройство, которое желать надлежало, чрез что я ввергнут ныне в самое ужасное положение, какое только вообразить себе можно.

Одушевлён же будучи ревностию к службе Вашего Императорского Величества и желая посвятить оной все дни моей жизни, в полном уповании на Ваше правосудие и милосердие, беру смелость, Всемилостивейший Государь, всеподданнейше просить о перемене моего назначения и о употреблении меня по такой части, которую Вашему Императорскому Величеству избрать будет благоугодно.

*Вашего Императорского Величества верноподданный
граф Е. Комаровский, генерал-адъютант.
Ноября 17 дня 1827 года»¹¹.*

На документе есть резолюция Николая I: «20 ноября. Справится гр. Комаровский сенатором ли?» В конечном итоге эти несколько слов решили судьбу графа.

В городищенском имении семья Комаровских жила в просторном – по задумке Евграфа Федотовича выстроенном – доме, окружённом пышным парком английского стиля, с обширным прудом в нём и разбитыми на французский манер садами (по проекту знатока ландшафтного искусства Менеласа). Не отягощённый служебными заботами глава семейства посвятил себя воспитанию и жизнеустройству детей, непреходящим хозяйственным хлопотам, написанию мемуаров, культурному досугу, непременной частью которого были спектакли в его крепостном театре.

«В известные дни в году не только соседи и местная администрация, но и всё сколь-нибудь выдающееся в губернии обязательно собирались в Городище. К таким дням принадлежал день именин Евграфа Федотовича, умевшего со всеми быть весьма обходительным и гостеприимным... Дед мой умер в 1843 году в городе Орле. Узнав о его смерти, крестьяне Городища и окрестных деревень по собственному почину явились в 35 вёрст в город и на руках отнесли его тело в Городище, где он похоронен в построенной им кладбищенской церкви»¹³.

Записки графа Комаровского, им написанные в Городище, достались его сыну графу Павлу Евграфовичу Комаровскому, усердием которого они были опубликованы в 1867 году в журнале «Русская старина».

Принадлежавший Евграфу Федотовичу дом в Петербурге (угловой дом у Симеоновского моста) он незадолго перед смертью продал графу Кушелеву для оплаты долгов, накопившихся за время существования Охтинской фабрики. Для покрытия остальной, весьма внушительной, части долга (более двух миллионов рублей) император Николай, исходя из того, что мануфактур-

ным делом граф Комаровский занялся по желанию императора Александра, учредил «Высочайшее попечительство» над всем оставшимся после Евграфа Федотовича имуществом. Первыми попечителями были утверждены граф Владимир Фёдорович Адлерберг, тогдашний министр двора, и Михаил Николаевич Муравьев. Впоследствии попечительствовал над имуществом покойного генерала его зять, Алексей Владимирович Веневитинов.

«Так как большинство долгов было казне, то Высочайше утверждённое попечительство имело назначение принять в своё управление всю земельную собственность деда в трёх губерниях и выплатить все казённые и частные долги с процентами из дохода имений, не отчуждая при этом ни одной десятины из общего владения. Попечительство исполнило добросовестно и блистательно свою задачу и, выдавая часть доходов семье деда, уплатило все долги, лежащие на имениях, в продолжение 20–25 лет. К 1867 году включительно покончило свою деятельность и передало в распоряжение его наследников свободное уже ото всех долгов имущество Евграфа Федотовича»¹³.

Часть вторая. Граф Егор Евграфович Комаровский

Об особенностях начальной поры жизни графа Егора Евграфовича Комаровского, начавшейся в 1803 году, его сын, граф Николай Егорович Комаровский, рассказывает следующее:

«В 1808–1809 годах мой дед Евграф Федотович отправился в Париж в сопровождении бабушки Елизаветы Егоровны и своего старшего сына, моего отца, которому было тогда 6 лет от роду. Не вполне установлено, была ли эта поездка предпринята для исполнения секретного поручения императора Александра Павловича к Наполеону I; но известно, что дед был принят Наполеоном и вступил в сношения с тогдашними французскими политическими деятелями. Дабы не оставлять моего отца одного во время обязательных выездов бабушки, к нему был нанят молодой француз по имени Пелисье, в качестве так называемого в те времена тегип, т. е. дядьки, обязанность которого состояла водить гулять отца по садам Парижа и показывать ему всё, что могло интересовать ребёнка его лет. Когда снова вспыхнула война 1809 года, дед мой немедленно должен был оставить Париж и по усиленной просьбе этого самого Пелисье и привычке к нему моего отца решил взять с собой 20-летнего француза, который и отправился в путь на козлах дорожной кареты. Пелисье подлежал набору в военную службу и мог быть узнан и задержан по дороге, занятой уже передвижением французских войск, но, благодаря открытому листу, полученному дедом от Наполеона, дело обошлось благополучно, и в Петербурге Пелисье снова вступил в исполнение обязанностей дядьки при отце. Но вскоре дед мой заподозрил ментора в шпионстве и отправил его обратно

во Францию, где на этот раз он и поступил на военную службу. Вторично он явился уже в 1854 году в чине дивизионного генерала, а затем маршала под стенами Севастополя. Мне известно, что отец мой интересовался тогда, что было общего между бывшим дядькой и французским маршалом, и, как оказалось, это было одно и то же лицо. Как потом говорил отец, он бы охотно упрощил вторично деда не отпускать Пелисье, только на этот раз уже из России»¹³.

Если не брать во внимание плоды менторства изгнанного за «шпионство» дядьки-француза Пелисье, то азы образования граф Егор Евграфович Комаровский некоторое время получал в известном в Северной столице Иезуитском пансионе (или коллегииуме), располагавшемся в ту пору в доходном доме на углу выходящей на Екатерининский канал Итальянской улицы.

Иезуиты, появившиеся в России в допетровские времена, оставались в ней и после того, как в 1773 году была издана булла папы Климента XIV о роспуске их ордена и прекращении его существования. Императрица Екатерина II, решению папы вопреки, разрешила иезуитам сохранить свою организацию и владения на территории Российской империи. Её сын император Павел I, любивший на досуге потолковать со своим любимцем, иезуитом Габриэлем Грубером, об объединении православной и католической церквей, доверил его собратьям по ордену просветительскую деятельность в западных губерниях России, а в 1801 году добился от своего тезки, папы Павла I, согласия на их пребывание в России. В том же году иезуитам было разрешено проживать в Петербурге, где им была передана церковь Святой Екатерины с приходом в десять тысяч верующих, и было разрешено учредить школу для приходских детей (преимущественно родовитых семей – Голицыных, Строгановых, Барятинских, Прозоровских, Гагариных, Вяземских).

Главное внимание в Иезуитском пансионе уделялось изучению латинского языка, «...успехи в русском языке были рассчитаны на пребывание учеников среди их семейств, куда они отпускались по праздникам»; вторым предметом изучения была история. Что же до правил внутреннего распорядка – «с одной стороны, дисциплина, не допускающая ни малейшего исключения в раз установленном порядке, поддерживала авторитет Иезуитов среди учеников, а с другой же – их осмысленное и терпеливое преподавание, сопряжённое с приветливым и ласковым обращением, чуждым всякой формальности, невольно увлекают детей и располагали в их пользу своих воспитателей». Благодать эта длилась ровно до той минуты, когда открылось запрещённое иезуитам обращение в католичество учеников.

«Отцу моему было всего 13-14 лет, когда в один прекрасный день было объявлено всем воспитанникам, живущим в Иезуитском пансионе, что они свободны и могут возвратиться в дом своих родителей, так как сами воспитатели, патеры Иезуиты, должны были немедленно оставить Петербург. Сидящие в карцере ученики были в свою очередь торжественно выпущены на свободу ввиду внезапной невзгоды, постигшей самих наставников. В ту же ночь Иезуиты должны были выехать из столицы.

Дело было так. Один из воспитанников коллегии молодой князь Гагарин находился в домово́й церкви Министерства Народно́го Просвещения, Министр которого приходился ему близким родственником. По окончании службы Гагарин демонстративно отказался приложиться к кресту, объяснив, что он не может целовать ненастоящий крест, а на вопрос, какой же он считает таковым, убеждённо ответил, что настоящий крест есть тот, которому поклоняются его воспитатели патеры Иезуиты. Случай этот немедленно был доложен Министром Государю, который тут же приказал в 24 часа убрать Иезуитов из Петербурга, считая эту меру лишь справедливым возмездием за невыполненное Иезуитами обещание не производить католической пропаганды среди православных воспитанников их коллегии»¹³.

После изгнания в 1815 году иезуитов из Петербурга и закрытия их учебного заведения отрок Егор Комаровский продолжил образование дома, под началом эмигрировавшего из Франции гувернёра Барона, впоследствии основавшего в Москве частное мужское училище. (*«В 1820 году мой отец поступил юнкером в л.-гв. Конный полк, а его почтенный воспитатель открыл пансион, в котором, между прочим, воспитывался брат отца, дядя Граф Павел Евграфович».*)



Наставничество француза дало молодому графу Комаровскому высшую тонкость светского обращения; особенности же французской педагогики, в смысле того, что именуется *belles lettres* (беллетристикой – изящной словесностью), наложили особый отпечаток на условия воспитания и последующий образ мыслей Егора Евграфовича, на выработку его кредо. Основой его познания были древние языки, всеобщая история и литература, и, как отмечает современник, *«мышление его носило на себе явные следы богословской диалектики иезуитов»*. Он знал в совершенстве произведения древних писателей (преимущественно – латинских), а *«французским языком владел устно и письменно с тем изяществом, которое способствовало прелести его остроумной беседы»*.

О преобладании французского языка в жизни высших слоёв русского общества свидетельствует рассказ графа Егора Комаровского, который во время событий 14 декабря 1825 года в строю конной гвардии, бок о бок с отцом, участвовал в решающей атаке кавалерии на мятежников, окруживших памятник Петру Великому. После того как выступление декабристов было подавлено, часть верных правительству войск стала бивуаком на Сенатской площади. Устроившись у одного из костров, разложенных по случаю мороза, юнкер Комаровский стал свидетелем разговора двух его однополчан, которые обсуждали слухи об аресте товарищей-конногвардейцев, называя некоторые фамилии (к примеру, князя Александра Ивановича Одоевского). Переживая за участь своего соученика по Иезуитскому пансиону, Александра Аркадьевича Суворова (внука фельдмаршала), и, видимо, имея повод считать его возможным участником мятежа, Комаровский долго не решался спросить

о судьбе друга у одного из соседей по костру, которому вполне доверял, опасаясь другого малознакомого ему офицера. Чтобы удовлетворить своё любопытство, Комаровский задал вопрос приятелю на русском языке, которого не знал третий конногвардеец, гревшийся у огня, человек вполне русский по происхождению и по фамилии.

Молодой князь Суворов, действительно, проходил по делу декабристов, был арестован, но вскоре освобождён и назначен флигель-адъютантом императора Николая I. В этом чине, находясь при особе государя, он участвовал в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов вместе с другом отрочества Комаровским, бывшим адъютантом при принце Евгении Вюртембергском (племяннике жены Павла I, императрицы Марии Фёдоровны). В этой кампании в одном с Комаровским строю конной гвардии принимал участие кандидат математических наук будущий теоретик славянофильства Александр Степанович Хомяков. Завязавшееся под пулями и ядрами знакомство двух ровесников-интеллектуалов скоро переросло в дружбу единомышленников, связанных общими литературными, историческими, философскими интересами, общей – искренней и глубоко осознанной – любовью к России.

Устройством личной жизни Егор Евграфович если и занимался, то долгое время делал это не очень активно. Не исключено, что потере его интереса к слабому полу способствовала Анна Алексеевна Оленина, в своё время не приласкавшая влюбившегося в неё молодого графа. Факт этот она отметила в своих дневниковых записях, «боднув» попутно сестру незадачливого поклонника: *«Что касается собственной моей персоны, то за мной ухаживал молодой Титов, и граф Комаровский ко мне равнодушен. Что до его сестры, то она в последний раз была смешна со своими знаками внимания»*. Не только начинающий литератор (и «архивный юноша») Владимир Титов и граф Егор Комаровский остались безразличными прелестной капризнице – Александр Сергеевич Пушкин, после двух лет любовного увлечения Анной Алексеевной предложивший ей (в 1829 году) руку и сердце, получил от неё решительный отказ.

Семейным человеком граф Комаровский стал после возвращения из Турецкого похода, и, весьма вероятно, тому поспособствовал его боевой друг Александр Хомяков, давно друживший с поэтом Дмитрием Веневитиновым, с сестрой которого обвенчался Егор Евграфович, чем безмерно обрадовал своих родителей:

«Старший сын мой, Егор Евграфович, обрадовал меня своею женитьбою на девице Софье Владимировне Веневитиновой, что последовало в Москве 9 февраля 1830 года. Я из Городища ездил в Москву, чтобы быть свидетелем сего счастливого для семейства и потомства моего события. Мы же испытываем плоды сего события тем, что приобрели премилую и прелюбезную для нас невестку»¹¹.

Женитьба ввела Егора Евграфовича в кружок московских славянофилов, с которыми у семьи Веневитиновых были многолетние и близкие отношения. Начало им положил Дмитрий Веневитинов ещё в годы своего студенчества в Московском университете; они продолжились с поступлением его

в 1824 году на службу в Московский архив коллегии иностранных дел. Молодые сотрудники архива, среди которых было много прежних друзей Веневитинова, образовали свой внутренний профессиональный клуб, члены которого занимались чтением, разбором и описанием древних рукописей, а преимущественно – беседами на философские и литературные темы. Этих молодых людей Александр Сергеевич Пушкин в третьей главе «Евгения Онегина» назвал нарицательно *«архивными юношами»*. Свои литературные занятия с привлечением архивных материалов Веневитинов своеобразно преломил в одном из отрывков собственного перевода гётевского «Фауста»:

...Иногда пороешься в пыли,
И, право, отрывать случалось
Такой столбец, что сам ты на земли,
А будто небо открывалось.

В Первопрестольной Веневитинов страстно увлёкся Зинаидой Волконской, красавицей и умницей, славившейся разносторонними талантами, прозванной Пушкиным *«царицей муз»*. Родители поэта, оценив глубину чувства своего сына к замужней женщине (к тому же отличавшейся вольнолюбивыми настроениями – именно у неё в доме провожали уезжавшую вслед за мужем в Сибирь Марию Волконскую её друзья – Пушкин и Одоевский), добились его перевода в Петербург, на державную службу. В горький час расставания Волконская подарила Веневитинову перстень, найденный при раскопках Геркуланума и Помпеев в 1796 году. Тот прикрепил его к часам, решив надеть на палец только при женитьбе или перед смертью. Скоро случилось второе. При въезде в Петербург в октябре 1826 года Дмитрий Веневитинов был арестован. И хотя на следующий день его освободили из-за отсутствия улик, ночи, проведённой в каземате Петропавловской крепости, здоровье поэта не выдержало (*«и без того потрясённое нравственным волнением несчастной любви»*). Тиф стал последствием злосчастного ареста, и Дмитрий Веневитинов, на двадцать втором году жизни, скончался 15 марта 1827 года. Долго потом друзья его (Хомяков, Шевырёв, Погодин) собирались в Москве на поминальную по нём трапезу, перебирая в памяти строки веневитиновского «Завещания», незадолго до кончины им написанные:

Вот глас последнего страданья!
Внимайте: воля мертвеца
Страшна, как голос прорицанья.
Внимайте: чтоб сего кольца
С руки холодной не снимали; –
Пусть с ним умрут мои печали
И будут с ним схоронены.

Сближение Комаровского со славянофилами было тем более естественным и органичным, что вступил он в среду сердцем болеющих за судьбу русского этноса людей как с ними единосущный, глубоко православный человек, уже смолоду бывший на равных с лучшими представителями отечественной литературной элиты. О степени этого равенства, в частности, свидетельствует

датированное 25 декабря 1823 года письмо двадцатилетнего графа Егора Комаровского к солидному возрастом, богатому поэтическим и переводческим опытом Ивану Ивановичу Козлову, автору перевода стихотворения Томаса Мура «Вечерний звон», переложенного на музыку композитором Александром Алябьевым:

«...Обращаюсь снова к новому альманаху. Не говоря о ваших стихах, о величественных переводах Жуковского, мне кажется (простите ещё раз мою смелость), что проза вообще не уступает поэзии. Не есть ли это подтверждение мнения, что наш прекрасный русский язык достигает наконец своей зрелости?..

На днях я имел большое удовольствие, под впечатлением которого ещё и теперь нахожусь. Жуковский был настолько любезен, что посвятил мне несколько минут. Одно только обстоятельство смутило мою радость; когда я видел его в последний раз у моего отца, он мне обещал зайти ко мне, и, по милости моей болезни, я не мог его предупредить: принял его в халате и туфлях, и эта с моей стороны невольная неловкость крайне меня мучила; я был и рад ему, и вместе с тем совестился, и лихорадило меня...

Но, Боже мой, сколько в нём добра и добродетелей! Я решился затронуть струну фатализма, и что же, по его мановению и эта струна издала чудный звук. Он доказал мне, что в сем мире ничего не остаётся без возмездия, и указал на отношение человека к Божественному Провидению... Я упомянул о несчастном Батюшкове. «Ах, – сказал Жуковский, – не сомневайтесь в том, что и это испытание Неба получит своё возмездие. Не думаете ли вы, что этот помутившийся ум будет лишён в своё время высшего блаженства?» Он рассказывал мне, что только его одного Батюшков принимает с удовольствием»¹³.

О том, насколько близкими и доверительными были отношения между Егором Комаровским и Пушкиным, судить трудно, но общались они, судя по всему, достаточно часто. Возможно, познакомились они через супругу графа или через её брата-поэта, с которым дружил Александр Сергеевич, и часто с ним встречался в кругу его домашних.

*«А. С. Пушкин, в бытность свою в Москве, запросто посещал дом Веневитиновых, как и прочие их друзья и товарищи – Черкасские, Сумароковы, Аксаковы, Соболевский и др. С бабушкой Анной Николаевной он считался каким-то родством, каким именно – не знаю, не потому ли, что её мать была урождённая Мусина-Пушкина. Он, впрочем, всегда звал бабушку *ma tante*, а её детей – *cousins* и *cousines*. Вообще Пушкин был принят у Веневитиновых как родной и хотя был старше Дмитрия Владимировича, но очень был с ним дружен и говорил, что он единственно страшится его критики своих стихов. В доме Веневитиновых он впервые читал своего «Бориса Годунова».*

Как известно, до своей женитьбы Пушкин отличался самым весёлым и беспечным характером, и многие эпизоды из его моло-

дости остались в преданиях семьи Веневитиновых. Нянюшка Анна Степановна, бывшая в те времена ещё, кажется, в разряде сенных девушек, хорошо помнила молодого Пушкина и рассказывала мне, что когда Александр Сергеевич являлся в дом на Мясницкой, то он иной раз прямо, не заходя в гостиную бабушки, отправлялся в девичью, где по часам и балагурил с горничными, восхищая их своими экспромтами из обыденной их жизни. К несчастью, старушка-няня уже не помнила этих экспромтов, но она не забыла, что внимание Пушкина было постоянно обращено на её подругу, черноокую и красивую Феклушу. Куда-то она девалась, эта Феклуша, потревожившая, быть может, мимолётно сердце юного знаменитого поэта?»¹⁴

Издатель «Русского архива» Пётр Иванович Бартенёв в мартовском номере журнала за 1879 год разместил очерк о событиях лета 1831 года – о диалоге между Комаровским и Пушкиным по поводу Польского восстания.

«Летние месяцы 1831 года принадлежали к тяжким эпохам новейшей русской истории. Шла ожесточённая борьба на западной окраине, внутри России свирепствовала холера...

Покойный граф Е. Е. Комаровский рассказывал, что в это время однажды встретил он Пушкина на прогулке, задумчивого и тревожного. «Отчего не веселы, Александр Сергеевич?» – «Да всё газеты читаю». – «Что ж такое?» – «Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году!» Действительно, за поляками стояла против нас вся Европа, завистливая и злорадная, на тот раз под водительством Франции; а про ближайших соседей, по-видимому, помогавших России, можно было сказать: «Их дружество почти на ненависть похоже». Русская стойкость одолела, и Варшава сдалась 26 августа 1831 года»¹⁵.

Другой брат Софьи Владимировны, Алексей Владимирович Веневитинов, в письме к супругам Комаровским от 6 октября 1831 года, рассказывая о литературных новостях, помимо прочего сообщал: *«Я расскажу Вам кое-что, что Вас насмешит, – Пушкин пишет историю Петра Великого, а Погдин написал трагедию о нём. Вы подумали бы наоборот».*

Супруги Комаровские не раз принимали Пушкина у себя дома на набережной Фонтанки (ныне – дом номер тридцать четыре), много раз встречались с ним в салоне Карамзиных, особо чтившемся петербургскими любителями литературы. В любой вечер недели (а не в особо назначенный день – журфикс) в нём без особых церемоний ждали гостей; в нём, именовавшемся *«семейным приютом муз»*, волею хозяев позволялось общение только на русском языке; здесь никогда не играли в карты. В одном из писем Николаю Михайловичу Карамзину, помеченном 18 октября 1836 года, его дочь от первого брака, София Николаевна, сообщала:

«Вчера, в воскресенье, Вяземские и Валуевы „по древнему и торжественному обычаю“ у нас обедали и после обеда тоже желали послушать твоё письмо. Они шлют тебе тысячу нежно-

стей; «но воля твоя», счастье их выглядит очень скучно и очень безжизненно. Вечером Мари устроила у себя чай, были неизбежные Пушкины и Гончаровы, Соллогуб и мои братья. Мы не могли туда поехать, потому что у нас были гости: госпожа Огарёва, Комаровские, Мальцов и некий молодой Долгорукий, друг Россетов, довольно бесцветная личность. <...> Как видишь, мы вернулись к нашему городскому образу жизни, возобновились наши вечера, на которых с первого же дня заняли свои привычные места Натали Пушкина и Дантес, Екатерина Гончарова рядом с Александром, Александрина – с „Аркадием“, к полуночи Вяземский и один раз, должно быть по рассеянности, Виельгорский, и милый Скалон, и бестолковый Соллогуб...»

Что до других эпизодов общения Комаровского с Пушкиным, то известно, что в середине января 1837 года они встретились в магазине на Невском проспекте и Александр Сергеевич попросил графа, известного своей начитанностью, указать ему какую-нибудь книгу о дуэли.

Граф Егор Евграфович Комаровский, как и все его братья, приходился четвероюродным братом Михаилу Юрьевичу Лермонтову: его мать Елизавета Егоровна по материнской линии была племянницей деда поэта Михаила Васильевича Арсеньева и, соответственно, племянницей Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (тем знаменитой, что всю себя посвятила воспитанию своего гениального лишившегося матери внука). Факт такой родственной связи подтверждает, в частности, письмо Алексея Илларионовича Философова к жене Анне Григорьевне, к слову, племяннице бабушки Михаила Юрьевича. Приехав осенью 1834 года по делам в Орёл, полковник Философов (на то время адъютант великого князя Михаила Павловича) встретил там графиню Елизавету Егоровну Комаровскую и о результатах своего с нею общения извещил свою супругу:

«Скажи тётушке Елизавете Алексеевне, что графиня Комаровская, узнав, что я здесь, захотела со мною познакомиться, что и исполнила на дворянском бале, о котором я тебе писал. <...> Она много говорила мне хорошего про тётушку и про связь её с нею, ничего нового, однако, я от неё не узнал, потому что в хороших умственных и сердечных качествах и доброте тётушки я давно уверился. Спрашивала про Мишу, хвалила его, и я ей вторил – сожалела, что он до сих пор ещё не офицер, требовала разъяснения и проч. Словом, из короткого разговора с этой дамою я заключил, что она должна быть ума необыкновенного, но такого, который тяжёл для тех, которые с нею беспрестанно бывают вместе, – отборные слова, округлённые фразы, чистейший французский язык и проч.

Что тётушка Елизавета Алексеевна думает делать? Когда же Мишу её произведут – и куда?»

Графиня Комаровская, которая «спрашивала про Мишу», выпускника Школы подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, была хорошо осведомле-

на о состоянии дел в этом элитном военном училище, равно как и её супруг, упомянувший его в своих записках: *«Второй сын мой, Павел Евграфович, после нахождения его 3 года и 4 месяца в школе гвардейских подпрапорщиков в лейб-гвардии Измайловском полку, произведён был 7 сентября 1832 года прапорщиком в лейб-гвардии Гренадёрский полк»*. Беспокойство же графини за небезразличного ей Михаила Лермонтова было вызвано тем обстоятельством, что к концу осени 1834 года тот ещё не получил первого офицерского чина, хотя выпуск Школы юнкеров состоялся в начале августа того же года. (Впрочем, беспокоилась графиня понапрасну – вместе со всем выпуском 22 ноября 1834 года юнкер Лермонтов высочайшим приказом был произведён в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка.)

Оставив военную службу и поселившись у отца своего, в Городище, граф Егор Евграфович Комаровский весь досуг свой посвятил развитию познаний и неутомимому чтению, используя для этой цели богатую родительскую библиотеку, делая многочисленные выписки из читаемых книг, газет и журналов.

«Вскоре по удалении деда на покой, отец мой оставил военную службу и в свою очередь переселился в Городище вместе с своей женой и старшим, ещё единственным тогда, сыном Евграфом. Богатая библиотека конца 18-го и начала 19-го века, находящаяся в Городище, преимущественно исторического содержания, в которой почти все сочинения полны пометками отца, свидетельствует о его исторических работах во время пребывания в деревне. Всеобщая история была всегда его любимым предметом изучения, и все свои досуги, уже на моей памяти, он посвящал своему научному труду “La philosophie de l’histoire”.

Для нас отец сам составлял древнюю историю. Написанная на чистом и изящном французском языке, она живо передавала нам и запечатлевала в детской памяти все эпохи цивилизованного Древнего мира и увлекла наши воображения описанием героических войн древности. Историю Средних веков отец написал для нас по-русски. В ней подробно и ясно передавалась в хронологическом порядке средневековая история всех народов Европы и Азии и излагались в простом и понятном для юношеского возраста описании все исторические факты, имевшие влияние на последующие мировые события, подробно уже изучавшиеся по учебникам Новейшей истории»¹⁴.

(В написании истории Древних и Средних веков для своих детей граф Егор Комаровский, вероятно, повторял опыт переложения прошлого для детского и юношеского возраста, предпринятый ранее госпожой Ишимовой, высоко оценённый Пушкиным. В двадцатом веке примером такого исторического воспитания стало написание всемирной истории индийским политиком и первым президентом страны Джавахарлалом Неру для своей дочери Индиры Ганди.)

По смерти графа Евграфа Федотовича молодые Комаровские в 1843 году переехали в Петербург и поселились в бельэтаже дома Оржевского, что на Фонтанке. В столице глава семейства поступил на государственную служ-

бу – стал цензором в Петербургском комитете иностранной цензуры и эту должность занимал до конца земных дней своих.

«Долгие годы Городище оставалось необитаемым, как бы застыв ещё во времена своего прежнего патриархального барства и сохраняя безмолвно приветливый вид своих садов и строений. Впервые посетив его в самом конце 60-х годов прошлого столетия, я застал ещё многих дворовых и крестьян, доживающих свой век при старинной усадьбе, вспоминая с грустью о счастливых временах и как бы ревниво оберегая все предания доброй старины, связывающие их с бывшими господами»¹⁴.

В Российской империи основные функции цензуры, до её системной реорганизации в 1860 году, выполняли специальные комитеты при министерстве народного просвещения. Отдельно действовала цензура для иностранных произведений – её комитеты располагались в основных транзитных торговых центрах страны – Санкт-Петербурге, Варшаве, Вильно, Киеве, Одессе. Столичный комитет иностранной цензуры был головным и, помимо основных функций цензорства, рассматривал (утверждал или корректировал) постановления других комитетов, разбирал спорные случаи, руководствуясь в принятии решений цензурным уставом 1828 года, всеми текущими установлениями, а также распоряжениями императора, министров внутренних дел и народного просвещения (плюс приёмы формальной логики и нравственно-политические понятия в разрешении особо спорных случаев). Комитет на еженедельных заседаниях рассматривал доклады цензоров и предложения региональных комитетов о возможности разрешения на распространение в России различных заграничных изданий. По каждому поступающему в комитет изданию принималось одно из четырёх возможных решений: *«разрешить к распространению и переводу»*, *«разрешить с исключением для публики отдельных мест»*, *«запретить для публики»*, *«запретить совершенно»*¹⁶.

Мнение членов цензурного комитета не всегда было единым и однозначным, как, к примеру, в случае рассмотрения ими в конце 1844 года драмы Фридриха Шиллера «Дон Карлос» в переводе Михаила Михайловича Достоевского, более известного как литературный критик и редактор издаваемых братьями Достоевскими журналов «Время» и «Эпоха». Цензоров не устроило то, что *«в настоящей книге есть некоторые рукописные дополнения в переводе из оригинала, которых в прежнем издании недоставало и в которых встречаются слишком выдающиеся речи»*. Ими исключались из текста резкие высказывания против монархии или даже малейшие намёки на них, а к рассмотрению десятой сцены пятого действия драмы, как особо нетерпимой, подключилась канцелярия министра народного просвещения – в ней уверившийся в предательстве сына-наследника испанский король Филипп замышляет сыноубийство и ведёт по этому поводу диалог с *«Великим инквизитором»*.

Чашу весов в пользу выхода в свет невымаранного перевода Михаила Достоевского склонил – умным, страстным, дипломатичным – докладом министру просвещения Аврааму Сергеевичу Норову начинающий цензор Комаровский:

«В этой сцене находится знаменитый ответ Великого инквизитора, замечательнейшее место во всей трагедии. Королю, недоумевающему, может ли сыном жертвовать своей державе, старец напоминает, что сын Божий умер на кресте жертвою Вечному правосудию. Нет никакой причины запретить этот стих. Тут нет ни кощунства, ни изуверства, а просто выражение мрачного, чистосердечного фанатизма. <...> Одно только, отзыв Великого инквизитора годится только для чтения, а на сцене в устах актёра был бы неприличен, зрячая толпа испугалась бы того, что, конечно, возмутит всякого образованного читателя»¹⁶.

Стиль изложения и суть вышеприведённой рецензии свидетельствуют о том, что вопреки исстари сложившейся оценке цензоров как прежде всего церберов (по примеру мрачно знаменитого Александра Ивановича Красовского, во всём подготовленном к печати видевшего одну крамолу) ими всё же были преимущественно люди сильного интеллектуального и нравственного склада¹⁷. Так, в комитете иностранной цензуры служили звёзды русской поэзии – Яков Петрович Полонский, Аполлон Николаевич Майков; с апреля 1858 года его начальником был назначен изумительный Фёдор Иванович Тютчев, сгруппировавший вокруг себя за пятнадцать лет деятельности на этом поприще (вплоть до его кончины в 1873 году) слаженную команду цензоров-просветителей. Его оценка профессиональных и моральных качеств цензора Комаровского была такова, что в 1859 году он добился повышения его в должности до старшего цензора (и в последующих своих продолжительных отлучках из столицы и из России без тени сомнения оставлял его вместо себя руководить комитетом иностранной цензуры). И тому есть немало письменных подтверждений, в частности письмо графа Петра Александровича Валуева (на то время министра внутренних дел) от 10 июня 1864 года в адрес Тютчева: *«Спешу уведомить Ваше превосходительство, что не вижу препятствий к поездке в Москву, которую Вы предполагаете совершить. Гр. Комаровский получит Ваши инструкции на счёт временного исполнения им должности...»*

Чуть позже, в начале августа 1864 года, получив известие о кончине Елены Александровны Денисьевой (своей невенчанной жены, матери троих его детей, его последней музы), Фёдор Иванович Тютчев, пребывая в лихорадочном, мятущемся состоянии, выговорил себе очередную служебную отлучку и, получив на неё согласие министра, написал в извинительно-благодарственной тональности своему заместителю Комаровскому: *«Таков, дорогой граф, ответ министра на моё предложение. Мне остаётся только ещё раз поблагодарить вас, и очень искренно, за ваше любезное доброе желание, которым я не злоупотребляю. Тысячу свидетельств почтения и преданности. Ф. Тютчев».*

В письме к Якову Петровичу Полонскому от 8 декабря 1864 года (из Ниццы) Фёдор Иванович, в частности, просил: *«Мне бы почти хотелось, чтобы меня вытребовали в Петербург именем нашего комитета, к чему, кажется, есть и причины – вследствие нездоровья графа Комаровского – что он, бедный?»*

Сохранился дружеский шарж на Фёдора Ивановича Тютчева и Егора Евграфовича Комаровского, выполненный художником-любителем графом Фредро, коему граф Николай Комаровский уделил немало места в своих записках:

«Граф Фредро, родом поляк и ревностный католик, был человек весьма умный, блестяще образованный, с наружностью, напоминающей тип Бурбонов, и отличающийся добрым и неизменно весёлым нравом. У нас и в семье Веневитиновых он был, что называется, своим человеком. Отец мой его очень любил и вёл с ним, преимущественно за обедом, бесконечные споры о непогрешимости папы римского и о его светской власти. Споры эти никогда, конечно, не принимали личного характера и велись исключительно на почве богословия, в котором отец мой был глубоким знатоком, самым благодушным образом...»



К своим разнообразным дарованиям Фредро присоединил замечательный талант карикатуриста. Некоторые его карикатуры сохранились. На одной из них увековечен и я, ещё мальчиком, под именем Нектабануса»¹³.

Новый род занятий, предполагавший постоянное прочтение новинок иностранной литературы, соответствовал не только характеру воспитания графа, но и его личным предпочтениям. *«С этих пор он особенно углубился в книги и с помощью богатого материала, обусловленного служебным положением, развивал свои теории о прошлом и будущем Православного Славянства и России, зародившиеся в его мыслях ещё при первых встречах с представителями Славянофильского направления»* – Хомяковым, братьями Киреевскими, Погодиным, Шевырёвым, Кошелевым, Соболевским...

К этой же поре относится начало заметного участия Комаровского в интеллектуальном и художественном кружке братьев Михаила и Матвея Виельгорских, на котором беседа Егора Евграфовича *«всегда отличалась привлекательной силой»*.

«Темой этих бесед большею частью бывали вопросы религиозные и богословские, так как граф Комаровский был человеком глубоко верующим, а сношения с Славянофилами ещё более укрепили в нём стойкую приверженность к Православию. Имея случаи часто встречать у Виельгорских посещавших их иностранцев и иноверцев, в числе которых бывали строгие и убеждённые последователи католичества и протестантства, и преследуя свою заветную мысль о назначении православного Востока, граф Комаровский вступал по этому поводу в горячие споры, отличавшиеся изысканною вежливостью в внешних формах и в приёмах возражений и нападок. Диспуты эти не оставляли по себе ни малейших следов горечи или даже личного раздражения. Причина такого миролюбия лежала во французском воспитании графа Комаровского, обладавшего высшею тонкостью

светского обращения. По своей скромности, беспритязательности, по своему глубокому и характеру остроумия граф Егор Евграфович очень напоминает тот тип людей, к которому принадлежал Ф. И. Тютчев, его сотоварищ по цензурному комитету и весьма часто его собеседник в гостиных Петербурга»¹⁸.

Особенно укрепилось в эти годы интеллектуальное и нравственное единство Егора Евграфовича со своим старинным другом Иваном Васильевичем Киреевским, неизменно останавливавшимся у Комаровских в каждый свой приезд в столицу (то ли в доме на Фонтанке, то ли на даче, коей являлось хозяйственное строение бывшей суконной фабрики Евграфа Федотовича, в своё время устроенной им на Охте). Свою знаменитую статью «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России», помещённую в 1852 году в первом самостоятельном издании московских славянофилов «Московский сборник», Иван Васильевич написал в форме открытого письма к Комаровскому. И Егор Евграфович ответил автору частным письмом – оценил труд друга и духовного соратника, дополнив, как знаток проблемы, его тезисы тонкими, выверенными замечаниями и предложениями.

Последняя встреча друзей началась в пасхальные дни 1856 года и окончилась трагически для Ивана Васильевича. Он уже собирался в обратный путь в Москву, но накануне отъезда заразился холерой (смертельное бедствие, терзавшее города и веси России с начала тридцатых годов девятнадцатого века!) и, проболев три дня, умер 11 июня 1856 года на руках у своих друзей – Егора Комаровского и Алексея Веневитинова.

Сам Комаровский пережил друга Киреевского почти на два десятка лет и скончался на семьдесят третьем году жизни – 7 октября 1875 года. Его супруга, Софья Владимировна, урождённая Веневитинова, пережила мужа и отдала Богу душу 13 июля 1877 года, только месяц не дожив до семи десятков лет...

После себя граф Егор Евграфович Комаровский оставил груду рабочих тетрадей, в которых в качестве наследия (и назидания) потомкам изложил, до конца не систематизированные, свои историко-философские взгляды, имеющие предметом всемирную историю и указывающие на место в ней православной веры и её главного носителя – восточнославянского племени.

Часть третья. Записки графа Николая Егоровича Комаровского

Внук Евграфа Федотовича Комаровского и сын графа Егора Евграфовича Комаровского граф Николай Егорович Комаровский родился в 1845 году, а оставил навсегда юдоль земную 8 августа 1909 года. За полгода до кончины, собираясь отъехать в чужие края на решающую операцию, он, будто бы предчувствуя завершение своего жизненного пути, отдал рукопись своих записок в распоряжение Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III, членом которого состоял. Усердием и на средства общества труд его почившего участника был издан в 1912 году.

Грунт своего воспитания Николай Комаровский вместе с братом Алексеем получил дома. Их старшие братья к этому времени – к концу пятидесятых годов – жили собственной, самостоятельной жизнью. Старший из них, Евграф Егорович, участник Крымской войны, вернувшись из Севастополя, некоторое время служил у столичного губернатора Николая Михайловича Смирнова (супруга несравненной Александры Осиповны Смирновой-Россет), а затем отправился на Кавказ, чиновником особых поручений при наместнике края князе Александре Ивановиче Барятинском. Два других брата, Владимир и Дмитрий Комаровские, некоторое время служившие в Измайловском полку, были переведены *«во вновь сформированный в те годы Стрелковый Его Величества батальон, блистательный как по составу офицеров, так и по выбору людей»*.



В летах едва окончившегося детства тринадцатилетний Николай Комаровский был переведён на жительство в семью великого князя Константина Николаевича Романова, воспитываться и обучаться вместе с его старшим сыном Николаем. По обыкновению, воспитание и образование дети Романовых получали только домашнее (хотя была попытка на примере юного наследника престола Николая Павловича сделать его лицейским, для чего, собственно говоря, и был учреждён в своё время Царскосельский лицей). И чтобы малолетние цесаревичи и великие князья набирались ума-разума в коллективном общении со сверстниками, им в соученики подбирались дети высокородных родителей. В числе таковых, усилиями графини Комаровской, в компанию к великому князю Николаю Константиновичу попал её младший брат Николай Комаровский.

Анна Егоровна Комаровская славилась в петербургском высшем свете своей прекрасной образованностью и деликатностью манер, за что, к слову сказать, была высоко ценима как собеседница самим Фёдором Михайловичем Достоевским, и факт этот подтверждает в своих воспоминаниях жена писателя, Анна Григорьевна, урождённая Сниткина:

«Но чаще всего в годы 1879–1880 Фёдор Михайлович посещал вдову покойного поэта графа Алексея Толстого, графиню Софию Андреевну Толстую. Это была женщина громадного ума, очень образованная и начитанная... У графини С. А. Толстой Фёдор Михайлович встречался со многими дамами из великосветского общества: с графиней А. А. Толстой (родственницей графа Л. Толстого), с Е. А. Нарышкиной, графиней А. Е. Комаровской, с Ю. Ф. Абаза, княгиней Волконской, Е. А. Ванлярской, певицей Лавровской (княгиней Цертелевой) и др. Все эти дамы относились чрезвычайно дружелюбно к Фёдору Михайловичу; некоторые из них были искренними поклонницами его таланта, и Фёдор Михайлович, так часто раздражаемый в мужском обществе литературными и политическими спорами, очень ценил всегда сдержанную и деликатную женскую беседу».

По роду занятий графиня Комаровская была камер-фрейлиной великой княгини Александры Иосифовны, супруги великого князя Константина Николаевича, брата императора Александра II. Брачными узами великий князь себя связал в 1848 году, и первым плодом неземной любви великокняжеской четы в 1850 году стал сын, названный в честь деда-императора Николаем. Родители первенца своего не просто любили – боготворили, и в детстве, отрочестве (а позже и в невоздержанной молодости своей) он ни в чём отказа не знал.

«В Стрельне началось моё близкое знакомство с Николаем Константиновичем, старшим сыном Великого Князя Константина Николаевича. Мои младшие сёстры были подруги Ольги Константиновны и её младшей сестры Веры Константиновны...»

С Николаем Константиновичем, или, как его тогда звали, Николой, я проводил всё свободное от уроков время. Рано утром, в сопровождении дядьки, отставного матроса Завьялова, мы ходили гулять на взморье, всего чаще вооружённые монтекристами, и охотились за всякой попадавшейся птицей. В интересах правды должен заметить, что никогда ни одной нам не удалось подстрелить. Впрочем, помнится, что Николай Константинович однажды убил какую-то ворону, которую с торжеством мы принесли во дворец и как трофей охоты уложили к ногам Великой Княгини Александры Иосифовны...

Ежедневно днём мы ездили вместе с Николаем Константиновичем купаться на море, где на мелком месте была устроена купальня... Но когда на пристани был Великий Князь Константин Николаевич, он забирал нас в свою купальню, устроенную на значительной глубине, и поочерёдно бросал в море, чтобы, как он говорил улыбаясь, из нас не вышли бабы и чтобы мы приучились сами выбираться из опасного положения, которое заключалось в этом случае в том, что приходилось проплыть несколько сажень ранее, чем добраться до берега. При сильном волнении нам кидался спасательный круг, и кроме этого на плоту купальни находился матрос, всегда готовый, в случае нужды, прийти к нам на помощь. Помню, как однажды Константин Николаевич сказал мне: «Необходимо уметь плавать, если бы я этого не умел, то меня давно бы съели рыбы». При этом Великий Князь рассказал о несчастии, бывшем с ним близ Кронштадта, когда утонул его адъютант князь Голицын, сын того, что заведовал Комиссиею прошений, и он сам, оставаясь беспомощно на воде в продолжение 5 минут, спасся лишь потому, что умел хорошо плавать. Упомянув о Голицыне, Константин Николаевич набожно перекрестился, прибавив со вздохом: «Как мне жаль его бедного! Я его хотел спасти, но он как ключ пошёл ко дну».

Великий Князь любил иногда участвовать и руководить нашими играми, в которых он всегда старался развивать в нас известную самостоятельность и находчивость.

Вообще в обращении Великого Князя Константина Николаевича чувствовалась большая сердечная доброта, которую он, види-

мо, скрывал под приёмами некоторой внешней суровости, а иногда и резкости»¹³.

Как свой семье человек, 10 августа 1858 года Николай Комаровский участвовал в торжествах по случаю рождения второго сына великокняжеской четы, Константина, – будущего главы Академии наук и поэта, публиковавшего свои стихи под псевдонимом К. Р. *«Но вот при оглушительном треске на огромном небе показался огромный букет из ракет и римских свечей, заблестевший в воздухе тысячами разноцветных огней, оркестр же заиграл протяжный „Коли славен“.* Этим кончился весёлый детский праздник 10 августа 1858 года, оставивший во мне, 50 лет спустя, самое живое воспоминание».

Ещё одно лето, 1859 года, провёл в Стрельне с семьёй великого князя Николай Комаровский, после чего разошлись его пути-дороги с другом детства Николай. Нужно было им обоим продолжать образование. Комаровскому было предложено обучаться в Морском корпусе. Его отец не возражал против такого варианта, однако полагал, что у сына его нет никакого призвания к морской службе, где требуется, помимо прочих качеств, хорошее знание математических наук.

«На вопрос отца, чувствовал ли я в себе призвание к морю, люблю ли вообще морское дело и охотно ли буду заниматься преимущественно предметами математики, я чистосердечно ответил, что хотя и люблю кататься на яхте по Финскому заливу, лазить по мачте и носить морскую фуражку под белым чехлом, но что никакого призвания к морю я не имел; изучения в теории всего того, что нравилось мне на практике морского дела, я особенно не желал, а к арифметике, которую в то время учил, я питал вообще самое искреннее нерасположение. На этом разговоре кончились приготовления к моему поступлению в моряки, и я ещё более убеждённое воссел за латинскую грамматику и перевод “Epitome historiae sacrae” и латинских авторов, не покидавших меня вплоть до моего поступления юнкером в л.-гв. Преображенский полк.

Друг детства и мой вдохновитель по неоказавшемуся признанию к морскому делу Великий Князь Николай Константинович сам недолго сохранил привязанность к морю и впоследствии, вступив в ряды сухопутного войска, в л.-гв. Конный полк, блистательно окончил Академию Генерального Штаба»¹³.

Семейная жизнь великокняжеской четы, Александры Иосифовны и Константина Николаевича, недолго была взаимно счастливой. Скоро высокие государственные интересы уменьшили интерес главы семейства к своей половине, к общению с ней как в части умственной, так и в части исполнения им супружеских обязанностей. Был он личностью незаурядной – сильной, инициативной и волевой; был верным и надёжным помощником брата-императора, неукоснительным исполнителем его воли; в чине генерал-адмирала управлял он морским ведомством России, председательствовал в Государственном совете.

Как опора трона, великий князь Константин Николаевич «присоветовал» царю избавиться от «американской части» Российской империи – Аляски. По этому поводу 16 декабря 1866 года в Санкт-Петербурге состоялось специальное совещание, на котором присутствовали Александр II, великий князь Константин Николаевич, министры финансов и морского министерства, а также российский посланник в Вашингтоне барон Эдуард Андреевич Стекль. Собравшиеся «скорёхонько» одобрили великокняжеское торговое предложение, и уже 30 марта 1867 года в американской столице был оформлен соответствующий договор купли-продажи. По нему территорию в более полутора миллионов квадратных километров продавец уступил покупателю за сумму, чуть превышающую семь миллионов долларов золотом, что в пересчёте составило четыре с небольшим цента за гектар.

Общественное мнение той поры оценивало продажу Аляски как целенаправленный политический манёвр, что отметил в своих дневниках цензор и литератор Александр Васильевич Никитенко: *«Об уступке или продаже наших североамериканских владений Североамериканским штатам говорят некоторые, знающие дело, что это ловкий манёвр нашей дипломатии, направленный против Англии за её враждебную нам политику по так называемому восточному вопросу».*

(Тема бездарной продажи Аляски в пору моей «юности и свежести» активно обсуждалась на бытовом уровне сознательными гражданами Советского государства, но после того как многовековые территориальные накопления семейства Романовых были сведены – без последствий для зачинщиков – к приблизительным размерам государства времён царя Алексея Михайловича Тишайшего, а разбазаривание государственных территорий, земельных ресурсов, прежде всенародного движимого и недвижимого имущества стало банальным элементом нынешней российской действительности, о бестолковом казусе с Аляской вспоминают разве что редкие историки.)

Что же касается великого князя Константина Николаевича Романова, то для него потеря интереса к Аляске имела тот же вес, что и потеря им интереса к прежде обожаемой супруге. Недружественные отношения внутри семейной пары, как учит житейский опыт и самая несложная педагогика, не могли не сказаться на первенце враждующих сторон, не могли не усилить негативную часть его сложной наследственности. Тому стала свидетелем Мария Эдуардовна Келлер (в замужестве Клейнмихель), товарка графини Комаровской по «фрейлинскому цеху».

«Он был старшим сыном великого князя Константина; я уже говорила об нём в моих мемуарах и знала его ещё мальчиком. Как-то летом 1865 года в Павловске, когда я только впервые появилась при дворе, я проснулась утром от ужасного лая собак, сквозь который мне слышалось жалостное блеяние. Я подбежала к окну и увидела следующее: несчастная маленькая овечка была привязана к одному из деревьев в парке, а великий князь Николай Константинович травил трёх огромных бульдогов на несчастное животное. Вся дрожая, побежала я к моей старшей подруге, графине Комаровской. Она была так же, как я, возмущена, бросилась к полковнику Мирковичу,

воспитателю великого князя. Когда он появился на месте происшествия, бедная овечка лежала вся в крови, а великий князь казался очень доволен своим делом. В ответ на упрёки своего воспитателя он только пожал плечами. Великий князь Николай Константинович был тогда очень красивым юношей, с прекрасными манерами, он был хорошим музыкантом и обладал прекрасным голосом. Он хорошо учился. Родители его баловали, особенно его мать, чрезвычайно им гордившаяся»¹⁹.

Помимо книги мемуаров графиня Мария Клейнмихель оставила в наследство согражданам несколько прекрасных домов в Петербурге, лучшим из которых был особняк-дача на Каменном острове (ныне снаружи восстановленный), напоминающий дворец из волшебной сказки. В кованую ограду, его окружающую, вплетён вензель инициалов графини – «МК», а над входом в это монументальное архитектурное творение закреплён герб Клейнмихелей с воспроизведённым на нём горящим Зимним дворцом, подтверждающий, что свёкор графини Пётр Андреевич Клейнмихель за героизм, им проявленный во время тушения пожара 1837 года, едва не уничтожившего царскую резиденцию, особым указом Николая I получил право изобразить её, объятую пламенем, на отличительном знаке своего рода. Второй, менее известный, особняк графини на улице Сергиевской (ныне – улица Чайковского) был выстроен для неё в 1893 году, в так называемом стиле предмодерн; в нём хозяйка строения занимала на втором этаже квартиру из пятнадцати комнат.

Указанной недвижимости графиня Клейнмихель была единственной и полновластной владелицей, так как в браке с директором департамента путей сообщения графом Николаем Петровичем Клейнмихелем, начавшемся в 1873 году, она прожила только пять лет. И кто знает, не сократили ли жизнь её мужу – в его бытность полковником Преображенского гвардейского полка – преобильные возлияния, которым он по молодости лет предавался с друзьями-однополчанами? Один такой кутёж, устроенный офицерским товариществом по случаю поступления в полк новичков-офицеров, описал Николай Егорович Комаровский:

«...Между тем огни тушатся и посредине залы в ротном котле уже пылает жжёнка. Над пламенем в котле лежит большой кусок сахару, который постоянно обливается коньяком и в расплавленном виде капает в горящий коньяк и шампанское. Ещё теснее вокруг кипящего котла сдвигается семья Преображенцев. По команде старшего из присутствующих сюртуки живо снимаются. Цыгане-певцы удаляются угощаться в отдельное помещение, а цыганки рассыпаются между офицерами, как стрелки по кустам. Цыганка Лиза уже не обращает на меня никакого внимания и лебезит со старшими офицерами. Да и мне не до неё. Меня зовёт для особых поручений мой ротный командир, на которого раз навсегда была возложена обязанность варения жжёнки. С растянутым воротником рубашки, подвязанный длинным фартуком, с суповой ложкой на палке в руке, граф Николай Петрович Клейнмихель с важностью

священнодействует около котла, мешая и пробуя варево из различных вин. Его помощники, младшие в чине, суетятся около него: одни откупоривают бутылки, другие очищают фрукты, сортируют вино и проч. Прислуга в таких случаях удаляется. Меня Николай Петрович держит непосредственно при себе, преследуя при этом, видимо, педагогические цели, и то и дело отдаёт приказания: «Лей красное. Сладковато. Пусти мадеры, посуше, дай для аромата ещё бутылки две Ямайки. Вали фрукты». Наконец жжёнка приходится ему по вкусу, достаточной крепости, и он самодовольно произносит: «Туши». Помощники вооружаются бутылками и вливают в котёл вторую дюжину, но уже замороженного шампанского. Жжёнка готова и разливается в стаканы, которые по офицерским группам разносят цыганки. «Знай, Комар, что во время жжёнки не принято выражать восторга битъём посуды», – на всякий случай поучает меня, как новичка, Николай Петрович...

У помощников Клейнмихеля давно руки устали наливать, а цыганки так и лезут с пустыми стаканами, точно на водопое. Стихийное веселье в полном разгаре, душа гуляет нараспашку, но всё чинно, без какого-либо намёка на непристойность»¹³.

По завершении военной службы граф Николай Егорович Комаровский в феврале 1900 года был определён на службу в министерство внутренних дел с откомандированием в Главное управление по делам печати, а спустя некоторое время – в Центральный комитет иностранной цензуры; с 1903 года и вплоть до своей кончины он служил в Главном управлении по делам печати.

Карьерный путь его сотоварища по начальной поре жизни великого князя Николая Константиновича начался с учёбы в Академии генерального штаба, курс которой он завершил с серебряной медалью. Далее служил командиром эскадрона в лейб-гвардии Конном полку. В 1873 году в составе русских экспедиционных войск он участвовал в походе на Хиву. В боевых столкновениях в условиях песчано-глинистой пустыни великий князь проявил незаурядное мужество, за что был награждён орденом Святого Владимира третьей степени и повышен в звании до полковника. Правда, были и другие, совсем не героические проявления в поступках отпрыска дома Романовых в Хивинской кампании, годы спустя отмеченные вьедливой генеральшей Александрой Викторовной Богданович в своём дневнике:

«13 марта 1890 года пришёл Колокольцов. Рассказывал про Хивинский поход. Всё там было на вес золота, и вел. кн. Николай Константинович продавал офицерам вино и консервы. Он почти силой отнял, заставив себе подарить, у хивинского хана его любимую лошадь. Хан потом приехал жаловаться Кауфману, почти со слезами говоря, что должен был отдать племяннику русского царя лошадь, без которой жить не может. Кауфман обещал хану вернуть его лошадь, призвал вел. кн. Николая Константиновича, который стал уверять, что хан ему лошадь подарил, и приказал вернуть лошадь хану. Тогда вел. кн. отправил её Кауфману вместе со своей шпагой, которую Кауфман ему вернул, сказав, что не поцеремо-

нится её у него отнять, когда найдёт это нужным. Вообще трудно было Кауфману с этим великим князем...»

К возвращению великого князя Николая Константиновича из похода в туркестанские земли от семейных отношений его родителей остался лишь внешний декорум добропорядочности и приличия при внутренней их гнилостности. Отец его находился во внебрачной связи с балериной Анной Кузнецовой, незаконнорождённой дочерью великого русского трагика Василия Андреевича Каратыгина, и уже успел потерять родившегося от неё сына-младенца (всего у этой пары родилось пять детей, из которых выжили только две дочери). Великая княгиня Александра Иосифовна, униженная и оскорблённая мужней неверностью, хандрила, часто болела, изводя близких жалобами на их безразличие к её здоровью.

Подстёгиваемый крахом семейных отношений родителей, стремительно покатился в «свою пропасть» их старший сын, и виновницей его окончательного падения стала американская певица и танцовщица Фанни Лир, для которой великий князь Николай Константинович вынес немало драгоценностей из родового гнезда, Мраморного дворца что на Гагаринской набережной. Когда все его воровские проделки были раскрыты, то был он волею дяди-царя исключён из дома Романовых, лишён прав имущества и состояний и навсегда выслан из столицы. (Перипетии жизни великого князя Николая Константиновича Романова в изгнании, в том числе связанные с пребыванием в городе Умани, изложены автором этих строк в предыдущей книге «Дом над парком».)

О князе-изгое постепенно забывали, только судачили иногда в великосветских гостиных, как, к примеру, у всезнающей генеральши Богданович: *«21 июня 1898 года был Пантелеев. Посылают его в Ташкент, чтобы там разобраться в деяниях вел. кн. Николая Константиновича, который при молодой жене вторично женился на молодой гимназистке»*. Вспомнила об изгнаннике из дома Романовых и Мария Клейнмихель: *«Когда вступил на престол Николай II, положение Николая Константиновича улучшилось, и он даже получил право распоряжаться своим имуществом. Как я уже сообщила, Николай Константинович был очень любим туземцами за то, что он устроил им водопровод... Когда вспыхнула революция, он послал восторженную телеграмму Керенскому с выражением радости по поводу наступления свободы»*.

Великая княгиня Александра Иосифовна, долго страдавшая и долго ждавшая часа возмездия, дождалась его только в начале 1890 года, когда отвернувшийся от неё муж, пережив апоплексический удар, стоял одной ногой в могиле.

«Когда умирал великий князь Константин Николаевич, то во время агонии великая княгиня Александра Иосифовна приказала пустить к нему прощаться всех многочисленных слуг. Каждый из них подходил к нему и целовал, но умирающий выказывал насколько мог неприятное чувство, производимое этим беспокойством. Графиня Комаровская попробовала уговорить Александру Иосифовну

отменить это мучение, но великая княгиня отвечала: „Это возмещение за прежнее“».

(Из дневника Александра Александровича Половцова)

Графиня Анна Егоровна Комаровская, так и не устроившая свою личную жизнь, на время описанного выше события была гофмейстериной (старшей над фрейлинами) двора великой княгини Александры Иосифовны.

Уманские прогулки Павла Христофоровича Граббе

Послужной военный список Павла Христофоровича Граббе, родившегося 21 сентября 1789 года в Кексгольме, начинается с учёбы в Петербургском кадетском корпусе и завершается службой наказным гетманом войска Донского и пожалованием ему, по выходе в отставку, графского титула. Между этими приграничными метами жизненного пути выдающегося военного человека – двадцать восемь кампаний, в которых он принимал участие, в том числе: война с Наполеоном в 1805–1807 годах, Отечественная война 1812 года, освобождение Европы от Наполеонова диктата в 1813–1815 годах...



Практически всю свою сознательную жизнь он вёл дневниковые записи, описывая – скрупулёзно и лаконично – всё им виденное, слышанное и пережитое. Перерыв в записях образовался в конце декабря 1825 года, когда, предчувствуя арест за своё непродолжительное участие в Союзе благоденствия, Павел Христофорович уничтожил все написанные дневники и перестал вести их некоторое время. И лишь войдя в возраст написания мемуаров, он по памяти восстановил уничтоженные записи и, присоединив к последующему своему жизнеописанию, опубликовал их совместно в своей книге «Записная книжка графа П. Х. Граббе».

За несколько лет до выступления декабристов, весной 1822 года, полковник Граббе, командовавший Лубенским гусарским полком, был уволен за «явное несоблюдение порядка военной службы» и сослан на жительство в Ярославль. В начале 1826 года его привлекли к следствию по делу декабристов, в ходе которого он четыре месяца отсидел в Динамюндской крепости, после чего был освобождён и возвращён в строй.

С открытием весной 1828 года кампании России против Турции полковник Граббе в составе вверенного ему Новороссийского драгунского полка совершил маршевый переход из Гадяча (что на Полтавщине) через Уманщину к театру боевых действий в Бессарабии.

«26-го Четверг. Переход до Тального. Местечко Льва Александровича Нарышкина, 30 вёрст, Уманского уезда. Прекрасное время, хоть с ветром. Вечер у генерала Квятницкого.»

27-го Пятница. Майор Сергучевский. Переход до Легезина 18 вёрст, графа Александра Потоцкого. Прекрасный день. Квартира у посессора.»

28-го Суббота. Дневка скучная; непреодолимое рассеяние духа. Крайнее разорение жителей от утеснений посессоров. Несколько страниц из Гейнзе и Кёрнера настроили меня несколько лучше»²⁰.

По подборке книг в походной сумке полковника Граббе можно оценить не только его литературные предпочтения, но и умонастроения. Картины бесчеловечного крепостничества, разорения крестьян Уманщины от угнетения их помещиками («посессорами»), виденные начитанным полковником, никак не согласовывались для него, к примеру, с идеями немецкого писателя и поэта Иоганна-Якоба-Вильгельма Гейнзе. Этот, живший с 1746 по 1803 год, видный представитель движения «Бури и натиска» в своём романе «Ардингелло, или Острова блаженных» провозглашает ренессансный культ жизни и красоты, даёт многообещающие картины социальной утопии – равенства и братства свободных людей. В такой же тональности звучат и стихи любимого поэта полковника, Карла Теодора Кёрнера, только двадцать два года прожившего, закончившего свой земной путь в войне с Наполеоном в 1813 году.

«29-го Воскресенье. И я был в Софиевке. Ещё одним изящным впечатлением в жизни более. Рано по утра оставил я Легезин и своего скучного эпохондрика-хозяина; приехал в Умань и прямо к городничему, в котором нашёл почтенного, гостеприимного старика; он удержал меня обедать и поехал со мною показать Софиевский сад, которого первое дерево при нём посажено и первые работы при нём начались. Водомёт был для меня пущен, и в брызгах его чудно играли радуги от заходящего солнца. Гидравликом здесь был Мецель. Весь сад стал графу Потоцкому три миллиона золотых; в оранжерее два прекрасных кипариса. Шлегель – архитектор и смотритель сада.

30-го Понедельник. В 6 часов утра был я уже в саду. Время пасмурное, но тёплое. Два часа провёл совершенно один, но очень приятно. Соловьи, иволги своим пением и журчание падающих вод одни приятным образом нарушали общую тишину.

1-е Мая. Первая гроза. Прискакавший фельдъегерь известил о приезде Государя Императора сегодня ночью или завтра поутру чрез Умань в Елизаветград. Увидит ли он вступающую завтра нашу бригаду? В 4-м часу после обеда с семейством Квитницких, несмотря на дождь, поехали в Софиевку. Не только фонтаны и каскады были пущены, но мы в лодке проехали по подземному каналу. Дождь, к счастью, перестал, и погода, хотя пасмурна, позволила нам приятно окончить нашу прогулку. Вчера вечером бешеный бык убил на улице несколько человек.

2-го Мая. В 7 часов утра выехал за 9 вёрст навстречу бригаде. Дивизионный генерал Пётр Загряжский заехал ко мне. Бригада собралась ко мне в 3 часа. Сильный дождь несколько раз промочил нас. В половине шестого колокола в Умани известили о приезде Государя Императора. При выезде, не выходя из коляски, Государь

смотрел проходящую по три бригаду. Новороссийским полком был чрезвычайно доволен; был бледен и казался утомлённым от дороги.

В 6 часов обедал дома с Петерсом. Первый раз с начала похода проснулся в 7 часов утра»²⁰.

Возможно, регулярные прогулки в парке «Софиевка» разбудили в опытном воине Граббе меланхолию, которая, сложившись с тяжёлыми предчувствиями от близкой сечи с басурманами, разрядилась в стихотворные строки. Родившиеся стихи их сочинитель переправил в альбом Екатерине Васильевне Галаган, урождённой графине Гудович, чьё имение в Прилукском уезде соседствовало с имением Граббе.

«3-го. Погода пасмурная, холодный ветер. Письмо в Секирницы. Листок Е. В. Галаган в альбом:

*Не сетуй, что в твоём альбоме
Я медлил память оставлять:
Я не хотел в приветном доме
Минут последних возмущать
Словами грусти и прощанья.
И принесёт ли он с собой
Прошедших дней минувшу радость?
Найду ли вместе круг родной
И в нём привычной дружбы сладость?
Кто знает – смерть или покой
Пожну я в год сей роковой!*

Посещение дивизионному генералу. Разговор о предстоящей войне. Обед у бригадного г-ла. Неправда, ни для кого нимало не вредная, унижает, однако, в собственных глазах сказавшего её. Хотел под вечер съездить в Софиевский сад, чтобы в последний, может быть, раз им насладиться, но в дверях столкнулся с вошедшим полковником Глазенапом и просидел с ним до вечера приятно»²⁰.

По прибытии Новороссийского драгунского полка к месту сражений, в Малую Валахию, его командир полковник Граббе был переназначен начальником штаба группы войск и в последовавших боевых действиях командовал её авангардом и кавалерией, участвовал во многих блистательных делах против османов, за что был награждён чином генерал-майора, орденом Святого Владимира третьей степени и золотой шашкой с алмазами, на которой было выгравировано «За храбрость».

После победного похода в Малую Валахию в Яссах на многодневном карнавале, устроенном местной знатью в середине февраля 1830 года в честь победителей, сорокалетний Граббе познакомился с Екатериной Евстафьевной Ролла – дочерью бессарабского помещика.

«19-го. Карнавал прошёл в обедах, балах, расстроивших моё здоровье, хотя приятно. Сильные, с морозом вьюги, продолжающиеся вторые сутки. Вчера два часа утра с семьёй доктора Евстафия

Роллы. Борьба мучительной страсти с рассудком. Давно неизвестное мне душевное состояние. Кто одолеет? Письмо от доброго моего брата Карла. <...>

13 апреля я женился. Обряд венчания совершён в Яссах в церкви Св. Спиридона при стечении всего города. Г-л Ридигер и Емерод Бальш были посаженными отцом и матерью. 23-го выехали мы для выдержания карантина с войсками. Маленькая изба на берегу Прута приняла нас. В ней прожили мы двадцать дней, украсив её, сколько возможно было, но наиболее нашим счастьем. Впрочем, нет чистых наслаждений: и здесь были неудовольствия с карантинными чиновниками по поводу свиданий с родителями и знакомыми, из Ясс приезжающими. Но приезд старого моего знакомого барона Франка всё сгладил и остановил последствия, из того произойти могшие.

Оттуда в Кишинёв; первое тяжёлое дело в жизни по Бессарабскому имению моей жены с её дядею. Горькие неудовольствия. Скучный город. Одно развлечение наше были прогулки в саду публичном (память Бахметьева) и в окрестностях города. Они доставили нам много приятных часов. Беременность, первая, – всегда важное и радостное происшествие для молодой жены.

Давши, как я полагал, ход тяжёлому делу, отправились в Вадулеки, имение Сандулаки, того же дяди жены моей, где несколько дней провели приятно, так, как и в деревне Донича, также её родственника. Оттуда в Могилёв, где вступили в настоящий карантин. Отвратительное воспоминание перенесённых там неприятностей, доводивших меня до бешенства, особенно при нездоровье моей жены. Одно утешение наше были ежедневные свидания с добрейшим моим братом Карлом и первые дни с сестрою Мариюю, вышедшей замуж за Македонца, с которым я здесь и познакомился, но, к сожалению, они должны были скоро уехать. Наконец вечные 14 дней карантина прошли, и мы переехали в дом моего брата, который занимал здесь место начальника округа таможен по Днестру.

В первой половине июля отправились далее, пользуясь полученным двухмесячным отпуском.

Прекрасная Подольская губерния; дорога, после пустынь Бессарабии и даже живописной, но весьма ещё недостаточно обработанной и населённой Молдавии, показалась нам, особенно жене моей, непрерывным садом. В Умани дружеское внимание г-ла Ридигера приготовило нам квартиру в доме графа Потоцкого, нарочно отказав нам только в кухне. Восемь дней пребывания здесь, чрезвычайно приятного, выгодно подействовали на здоровье моей жены и возвратили ей весь блеск красоты, прошедшими неприятностями помрачённой.

Софиевский сад, прежде мне известный, получил для меня новую прелесть справедливым восхищением моей жены, мало знакомой с европейскими садами, в числе коих Софиевка занимает одно из первых мест. Ежедневные прогулки в саду, прекрасное время, обеды и вечера у г-ла Ридигера, общество умного и благородного генерала

Плахова, нарочно для нас приехавшего, прекрасная квартира оставили в обоих нас приятнейшие воспоминания кратковременного пребывания в Умани»²⁰.

Покинув Умань, молодожёны три дня добирались до Переяславля. «Уже стемнело, когда приехали в Переяславль. Остановились ночевать в трактире. Немка, которую, благодаря неуместной рекомендации г-жи З., мы взяли в услуги в Умани, глупыми и отвратительными своими странностями расстроила наше расположение духа». Добравшись далее до Прилук, супруги Граббе долго и с трудом добывали там лошадей для дальнейшего переезда в село Секирницы; приехав на место, остановились в дружественной семье Галаганов. В этих краях Павел Христофорович жил некогда в доме первой жены, урождённой Скоропадской (её и их годовалого сына он потерял в одночасье).

Теперь, вернувшись к месту прежнего семейного очага уже со второй женой, он намеревался выделить свою долю из прежде общего – с первой женой – семейного имущества, достроить ранее заложенный им дом. Общение с прежними тещей и шурином оказалось непростым для Павла Христофоровича; в результате сложных переговоров с недавними родственниками он добился передачи ему из наследия покойной жены, за его доплату, деревни Тимчиха Прилукского уезда с недостроенным домом. Завершив имущественные дела, семья Граббе 20 октября 1831 года возвратилась в Умань, где Павел Христофорович встретил своего адъютанта Полля, также недавно женившегося в Бессарабии на сестре жены Граббе.

«Рано приехали в Умань, но какая разница против первого приезда! Теперь должны были остановиться в жидовской корчме и пробыть в ней неделю, пока очистили и приготовили для нас весьма скромную квартиру. К счастью, нашли здесь Полля с женою. Здесь-то получил я известие о новом моём назначении. Затруднительное положение во всех отношениях, особенно насчёт моей жены, оканчивавшей 7-й месяц беременности и осуждённой ещё на дальнейшее странствие, вероятно, много способствовало к жестокой болезни скоро по переезде на новую квартиру и привело меня к дверям гроба. Тронуло меня глубокое участие г-ла Ридигера и Плахова, нарочно приехавшего. Им обязан я благоразумным советом: вместо того чтобы везти жену далее в Заславль, отправить её в Яссы, тоже расстояние, но где у цели её ожидают родительский дом, важнейшие попечения, опытность и все способы большого рода»²⁰.

Самому Павлу Христофоровичу довелось остаться в Умани до середины декабря, до полного выздоровления, после чего он отправился к месту нового назначения, в Заславль, оттуда – в Польшу, на подавление восстания. Там в должности начальника штаба Первого пехотного корпуса он участвовал в сражениях под Минском, Калушиным, в штурме Варшавы. За мужество, проявленное в сражении под Остроленкой, генерал-майор Граббе был удостоен второго ордена Святого Георгия.

Во время Кавказской войны 1839–1842 годов генерал-лейтенант Граббе командовал войсками на Кавказской линии и в Черноморской области. На Кавказе, во время боевых действий в Чечне, он был непосредственным начальником Михаила Юрьевича Лермонтова, представлял его к наградам, ходатайствовал о возвращении опального поэта в гвардию. Лермонтов часто бывал в доме Граббе, отношения их были самыми дружескими. При отъезде Лермонтова в Москву Павел Христофорович доверил ему передать своё личное письмо Алексею Петровичу Ермолову. О гибели поэта Граббе узнал из письма его начальника штаба, полковника Александра Семёновича Траскина, отправленного ему 17 июля 1841 года из Пятигорска:

«Из прилагаемого при сём рапорта коменданта Пятигорска вы узнаете о несчастной и неприятной истории, происшедшей позавчера. Лермонтов убит на дуэли с Мартыновым, бывшим казаком Гребенского войска. Секундантами были Глебов из кавалергардов и князь Васильчиков, один из новых законодателей Грузии. Причину их ссоры узнали только после дуэли; за несколько часов их видели вместе, и никто не подозревал, что они собираются драться. Лермонтов уже давно смеялся над Мартыновым и пускал по рукам карикатуры, наподобие карикатур на г-на Майе, на смешной костюм Мартынова, который одевался по-черкесски, с длинным кинжалом, – и называл его «Г-н Пуаньяр с Диких гор». Однажды на вечере у Верзилиных он смеялся над Мартыновым в присутствии дам. Выходя, Мартынов сказал ему, что заставит его замолчать; Лермонтов ему ответил, что не боится его угроз и готов дать ему удовлетворение, если он считает себя оскорблённым. Отсюда вызов со стороны Мартынова, и секунданты, которых они избрали, не смогли уладить дело, несмотря на все предпринятые ими усилия; они собирались драться без секундантов. Их раздражение заставляет думать, что у них были и другие взаимные обиды. Они дрались на расстоянии, которое секунданты с 15 условленных шагов увеличили до 20-ти. Лермонтов сказал, что он не будет стрелять и станет ждать выстрела Мартынова. Они подошли к барьеру одновременно; Мартынов выстрелил первым, и Лермонтов упал. Пуля пробила тело справа налево и прошла через сердце.

Он жил только 5 минут – и не успел произнести ни одного слова».

На гибель любимого поэта Граббе отозвался с негодованием: «*Несчастливая судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом – десять пошляков преследуют его до смерти. Что касается до его убийцы, пусть вместо всякой кары продолжает носить свой шутовской костюм».*

В Кавказской войне наибольшим успехом генерал-лейтенанта Граббе было взятие штурмом почти неприступного аула Ахульго, резиденции вождя чеченцев Шамиля. За этот стратегически значимый боевой успех Павел Христофорович получил орден Александра Невского. Дальнейшие события на Кавказе развивались для него не столь успешно, и после неудачного чет-

вёртого похода, в сентябре 1840 года, Граббе был смещён с должности. Побыв недолго в Киеве, он уединился с семьёй в своём имении Тимчиха. Привольная сельская жизнь для стареющего генерала была недолгой. Его вновь призвали в поход на подавление Венгерского восстания, после возвращения из которого он получил очередную золотую саблю, украшенную алмазами, на которой в этот раз было выгравировано «За поход на Венгрию, 1849 год».

В несчастливый для Павла Христофоровича Граббе 1853 год он, как член комитета инвалидов, был привлечён к известному делу советника Политковского, растратившего более миллиона рублей инвалидного капитала. Одиозный Александр Гаврилович Политковский, сын сенатора и в молодости неудачливый литератор, государственную службу начал в 1821 году в цензурном комитете министерства внутренних дел, продолжил её управляющим делами совета Главного штаба по военным поселениям. В 1831 году он получил назначение начальником Первого отделения канцелярии «*Комитета, Высочайше учреждённого в 18-й день августа 1814 года*» (под этим витиеватым наименованием укрывался инвалидный фонд, или Александровский комитет о раненых), а в 1839 году стал директором канцелярии. По воспоминаниям современников, был Политковский человеком честолюбивым, дорожил своим положением в свете. Любил он хорошо пожить и гремел по столице своим баснословным богатством, происхождение которого объяснял любопытствующим доходами с имений (которых у него не было) или редким везением в карточных играх (чего также не было).

Как только смутные слухи о растрате инвалидного капитала поползли по Петербургу, ревизионная комиссия в начале 1853 года проверила дела инвалидного комитета и обнаружила большие денежные хищения. Узнав об этом, Политковский вдруг заболел и умер (по слухам – отравился). Когда императору Николаю I доложили о растрате более миллиона рублей инвалидных денег, он распорядился немедленно арестовать председателя и членов комитета, лишить их чинов и орденов, отдать под суд. Первоначальным решением суда Павла Христофоровича Граббе приговорили к трёхмесячному заключению, но монаршей милостью он был помилован:

«Генерал-лейтенантов Граббе и Засса признаю виновными только в том, что, усомнясь в правильности существовавшего порядка в комитете, не довели об этом, как генерал-адъютанты, до моего сведения, за что объявить им строжайший выговор и от дальнейшего взыскания освободить».

В марте 1854 года генерал-лейтенант Граббе в связи с обозначившейся опасностью нападения английского флота на Петербург в начавшейся Крымской войне был назначен главным начальником над войсками в Кронштадте. Позже командовал войсками, располагавшимися в Эстляндии.

После кончины в 1857 году жены Павел Христофорович несколько лет пожил в своём украинском имении вместе с дочерьми, Ольгой и Екатериной. В сентябре 1862 года он получил назначение наказным атаманом Донского казачьего войска. Управлял прославленный генерал казацкой вольницей без насилия и принуждения: «*Я никого не хочу стеснять: кому угодно в церковь –*

иди молись, кто хочет в театр – веселись. Всякий действует по душевному настроению. Ханжой я никогда не был и не буду».

В 1863 году генерал-лейтенант Граббе вышел в окончательную и безоговорочную отставку, получив при выходе орден Святого Андрея Первозванного. В октябре 1866 года он был возведён в графское достоинство и назначен членом Государственного совета. Скончался Павел Христофорович Граббе 15 июля 1875 года в своём имении Тимчиха. После себя он оставил трёх дочерей и двух сыновей; ещё два его сына пали смертью храбрых на поле брани: Александр погиб при подавлении Польского восстания 1863 года, Михаил был убит при осаде крепости Карс в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов.

Писательница Елена Андреевна Ган и её дочери

Июль – август 1839 года уже набравшая известности писательница Елена Андреевна Ган вместе с дочерьми – восьмилетней Еленой и четырёхлетней Верой – провела в Умани, где в летних лагерях находился её муж, капитан артиллерийского полка Пётр Алексеевич Ган. В ту летнюю пору соединившаяся семья жила в капитальной квартире военного городка, располагавшегося неподалёку от Софиевского парка, и можно смело предположить, что прогулки в нём (тогда именовавшемся Царицыным садом) были в распорядке дня маленьких сестёр: будущей соучредительницы Теософского общества, автора книги «Тайная доктрина» – Елены Петровны Блаватской и будущей детской писательницы – Веры Петровны Желиховской.

Отец сестёр, Пётр Алексеевич Ган, 1799 года рождения, представитель старинного немецкого аристократического рода, осевшего в России в середине восемнадцатого века, служил в конной артиллерии и по роду службы своей часто менял места «дислокации». В одну из таких перемен, находясь – в 1830 году – в Екатеринославе, он обвенчался с шестнадцатилетней Еленой Андреевной Фадеевой, имевшей в своём родовом древе ещё более основательные, чем у мужа, генеалогические ветвления.

По линии отца, Андрея Михайловича Фадеева, родословная её восходила к русским столбовым дворянам и лифляндским немцам (один из её дворянских предков отмечен историей среди погибших героев Полтавской битвы). Мать Елены Андреевны, княжна Елена Павловна Долгорукая, принадлежала к одному из самых древних русских родов Рюриковичей, берущему начало от князя Михаила Черниговского, замученного беспощадными степняками в Золотой Орде за отказ поклониться языческим идолищам. Ближайший потомок православного мученика, один из верхнеокских князей, стал родоначальником князей Долгоруковых, среди которых были известные русские полководцы, государственные деятели, писатели (в числе последних – князь Иван Михайлович Долгорукий, посетивший Умань в 1810 году и описавший её в книге «Славны бубны за горами, или Путешествие моё кое-куда 1810 года»).

Была Елена Павловна Фадеева умной, талантливой, образованной женщиной, замечательной матерью для своих детей, сумевшей создать для них

в доме особую атмосферу литературного, художественного, даже научного, интереса, развившей в них привычку к серьёзным занятиям и труду, любовь к природе и искусству, чем во многом определила содержательность их взрослой жизни.

Часть первая. Лебединая песня Елены Андреевны Ган

Умница Елена Павловна Долгорукая «сидела» в девицах до двадцатипятилетнего возраста, пока не явился её глазам несколько запоздалый по тем временам жених – Андрей Михайлович Фадеев (к слову, на два года моложе своей суженой). Был он на время ухаживания за княжной беден, без чина и без видов на карьеру, потому и сватовство его оказалось неуспешным, что, впрочем, не помешало влюблённым, минуя волю родителей невесты, тайно обвенчаться в 1813 году в Киеве. Их первенец, дочь Елена, родилась 11 января 1814 года близ села Ржищева Киевской губернии, в имении бабушки Елены Павловны по материнской (профранцузской) линии. В 1815 году семья Фадеевых переехала в Екатеринослав, где Андрей Михайлович после долгого искательства в Петербурге наконец получил хлебное место члена конторы иностранных поселенцев. В должности этой он прослужил пятнадцать лет, постоянно разъезжая по колониям для исследования нужд и потребностей новороссийских колонистов.

Поздний брак – поздние роды. В возрасте тридцати трёх лет, в 1821 году, Елена Павловна родила вторую дочь, Екатерину; тридцатишестилетней, в 1824 году, она разрешилась от бремени сыном Ростиславом; и, наконец, на исходе её третьего десятка лет, в 1827 году, на белый свет появился последний Фадеевых, дочь Надежда. Последние роды тяжело отразились на здоровье совсем не молодой Елены Павловны. После них она долго и тяжело болела, и до её полного выздоровления все заботы семьи разом легли на тринадцатилетнюю Елену, волей-неволей обратившуюся из ребёнка во взрослую.

Повзрослев вопреки возрастным нормативам, маленькая хозяйка большого дома занялась не только домашними хлопотами, но и серьёзным самообразованием (найти в Екатеринославе учителей, которые бы продолжили начатое матерью дело воспитания, было трудно; на столичных учителей у отца не было денег). Елена Андреевна начала много, но выборочно читать, в это время у неё пробудилось стремление к литературному творчеству.



«В 1830 году ей минуло шестнадцать лет. Она считалась самой хорошенькой девушкой в Екатеринославе. «Прелестно очерченные губы, тёмные брови, каштановые волосы, слегка орлиный, с маленькой горбинкой нос». Но особенно прелестны были её живые карие глаза, необычайная подвижность тонких черт лица и добрая улыбка. Вся фигура дышала жизнью, красотой...»²¹

Безусловно, обладая блестящими способностями и счастливой внешностью, уже заневестившаяся (по причине раннего взросления) Елена Андреевна имела бы большой успех в свете, живи она в одной из столиц, а не в провинциальной глуши, где её таланты могли вызывать только зависть толпы, не терпящей неординарных личностей. И кто знает, когда влюбившийся в неё капитан конной артиллерии Пётр Алексеевич Ган, человек умный и хорошо образованный, сделал ей (в том же 1830 году) предложение, она, приняв его, где-то глубоко в подсознании оценивала предстоящее замужество в том числе как механизм перемены житейских декораций, переезд из провинциальной глуши в столицу. Родители воле дочери если и препятствовали, то, судя по словам Андрея Михайловича Фадеева, очень пассивно:

«В этом году старшая моя дочь Елена вышла в замужество за Петра Алексеевича Гана, артиллерийского штабс-капитана, умного, отлично образованного молодого человека. Отец его, тогда уже умерший, генерал-лейтенант, родом из Макленбурга, принадлежал к старой дворянской немецкой фамилии, а мать, имея восемь человек взрослых детей, вышла вторично замуж за Н. В. Васильчикова, родного брата князя Иллариона Васильчикова. Мы с женой очень неохотно согласились на брак нашей дочери по причине её слишком ранней молодости (ей было всего 16 л.), но я испытал многократно в своей жизни, что того, что определено Провидением, никак нельзя предотвратить»²².

Мечта Елены Андреевны Ган пожить в столице (если таковая была) осуществилась только после шести лет её супружеской жизни, которые она вместе с постоянно увеличивающейся семьёй провела в часто менявшихся местах проживания, преимущественно в малороссийских городах и весях.

Едва молодые успели повенчаться, как Пётр Алексеевич Ган выступил в поход на подавление вспыхнувшего в Польше восстания. Вернулся он к юной жене и только родившейся дочери Елене в 1831 году, после чего молодая чета переселилась в местечко Романьков той же Екатеринославской губернии. Только с этой поры началась по-настоящему замужняя жизнь для Елены Андреевны, будущей «русской Жорж Санд». (Так позже писательницу Елену Ган окрестили литературные критики и читающая публика, которые отметили в её творчестве много общего с творчеством широко известной французской писательницы, защитницы женщин, высказавшейся однажды: «Можно объяснить другим, почему ты вышла замуж за своего мужа, но нельзя убедить в этом себя».)

Муж Елены Андреевны – от природы умный, весёлый, склонный к едкой шутке – по тому времени был личностью весьма образованной: был он основательно начитан, владел несколькими иностранными языками. По натуре своей был он человеком практичным, положительным, чуждым сентиментальностям, восторгам и увлечениям: «Проживши несколько лет с батареей в захолустье, среди товарищей-офицеров, коней, пушек, захолустных помещиков, он давно утратил потребность в поэзии, искусстве, литературе, одним словом, в тех интересах, которыми жила его жена, полная ещё с детства

творческой фантазии и поэтических грёз. Разница вкусов и характеров мужа и жены должны были резко сказаться»²³.

Реконструировать события жизни Елены Андреевны можно не только по воспоминаниям её родственников, близких ей людей, но и по её произведениям, являющимся преимущественно автобиографическими. Так, из первой повести писательницы «Идеал» можно заключить, что в начале своего супружества она пыталась найти точки духовного соприкосновения с мужем, найти в нём отголосок своих чувств и мыслей, но он (резонёр по натуре) зевал, смеялся, прерывал её восторженные мечтания, к примеру, просьбой заказать к завтрашнему обеду побольше ветчины или, устав слушать пение жены под её собственный аккомпанемент на фортепиано, мурлыкал на свой лад какой-то мотивчик, чем возмущал всё существо бедной женщины. *«Всё, чему от детства поклонялась я, было осмеяно его холодным рассудком; всё, что читала, как святость, представили мне в жалком и пошлом виде»*, – говорит героиня другой её повести «Суд света».

В конце 1833 года молодая семья в полном составе совершила первый дальний переезд в какое-то местечко Киевской губернии, куда была переведена батарея Петра Алексеевича. Скоро последовал новый приказ о передислокации батарейного комплекса, после чего семья капитана Гана потеряла уверенную оседлость и начала переключиваться из одного местечка в другое – одним словом, началась та бивуачная жизнь, оценку которой Елена Андреевна, как знаток предмета, вложила в уста героини своей повести «Суд света»: *«Хорошо кочевать об руку с любовью, но если её нет?.. Настало урочное время – и покидай всё, отрывай сердце от всего, с чем оно свыкло, что было ему мило; укладывай чувства в дорожную сумку и иди к чужим людям»*.

В перемещениях и путевых хлопотах в одном из украинских местечек у неё родился сын – любимец Саша. С ним семья переехала вновь в местечко Романьков, там малыш в весеннюю пору простудился, серьёзно заболел. Во дворе была непреодолимая грязь, привезти врача возможности не было – так и угас мальчик на материнских руках. Потрясённая случившейся бедой, Елена Андреевна оставила Романьков, мужа с батареей на конной тяге и уехала в Одессу, куда ранее был переведён на новую должность её отец. Переменив обстановку, Елена Андреевна пришла в себя, отогрелась душой и чувством, познакомилась с интересными людьми, с новыми театральными постановками гастролирующей труппы в местном театре. В Одессе у неё родилась вторая дочь – Вера.

После одесских каникул и нескольких неизменных перемен мест проживания лучом света в тускнеющей жизни молодой женщины блеснул, в 1836 году, приказ капитану Гану отправиться в Петербург для продолжения службы в образцовой батарее. В столице у Елены Андреевны завязались интересные литературные знакомства, она посещала театры, музеи, выставки картин. На одной из них, будучи в компании с братом мужа, Иваном Алексеевичем, она воочию увидела Пушкина.

«Я вдруг наткнулась на человека, который показался очень знакомым... Иван Алексеевич в то же время сжал мне руку, указы-

вая на него глазами, и при втором взгляде сердце у меня забилося... Я узнала Пушкина!.. Я воображала его чёрным брюнетом, а его волосы не темнее моих, длинные, взъерошенные... Маленький ростом, с заросшим лицом, он был некрасив, если бы не глаза. Глаза – блестят, как угли, и в непрерывном движении. Я, разумеется, забыла картины, чтобы смотреть на него. И он, кажется, это заметил: несколько раз, взглядывая на меня, улыбался... Видно, на лице моём изображались мои восторженные чувства!»²¹

В Петербурге привелось Елене Андреевне познакомиться с редактором журнала «Библиотека для чтения» Осипом Ивановичем Сенковским. Тот обратил внимание на талант молодой писательницы, разместил в своём журнале её первые произведения (под псевдонимом Зенеида Р-ва). Этот факт начала литературного пути дочери отметил её отец, по делам службы в это же время находившийся в столице: *«В эту же бытность мою в Петербурге я познакомился с известным Осипом Ивановичем Сенковским, бароном Брамбеусом, по случаю литературных отношений его с старшею моею дочерью Еленой Андреевной Ган, статьи которой он печатал в издаваемой им тогда „Библиотеке для чтения“. Человек он был, бесспорно, замечательно умный и необыкновенно остроумный, но в разговорах с ним проявлялось что-то отталкивающее от него»²².*

В мае 1837 года Елена Андреевна с двумя маленькими дочерьми на руках покинула Петербург и вместе с отцом, назначенным главным попечителем кочующих народов, с сестрой Екатериной (будущей матерью видного русского государственного деятеля Сергея Юльевича Витте) отправилась на юг. В Астрахани к ним присоединилась Елена Павловна (жена, мать и бабушка в одном лице), под чьим началом большая семья Фадеевых-Ган двинулась в Пятигорск, на отдых и лечение. *«Проехав сто двадцать вёрст по почтовому Кизлярскому тракту, мы своротили с него направо, в калмыцкие степи, где нам пришлось продолжать наше странствие преимущественно на верблюдах, выставленных заранее калмыками для нашего проезда, и испытывать большой недостаток в воде. Верблюдов запрягали в экипажи, как лошадей»²².*

Пробыв на водах до начала осени, Елена Андреевна с дочерьми отправилась к мужу, служившему на этот раз в глубинке Курской губернии. На следующий год она вновь, с матерью и детьми, приехала на Кавказские Минеральные Воды, на повторный курс лечения. К лету 1838 года в Пятигорске собралась большая компания вольных друзей-декабристов: Александр Иванович Одоевский, Николай Романович Цебриков, Андрей Евгеньевич Розен... В их круг скоро и очень органично вошла и Елена Андреевна, в круге этом ей глянулся (со взаимностью) Сергей Иванович Кривцов. Это знакомство и искра взаимной симпатии, объединившая на короткий срок общего времяпрепровождения двух замечательных людей, сделали их на всё время общего земного существования неразрывными друзьями.

Сергей Иванович Кривцов, 1802 года рождения, происходил из многодетной небогатой дворянской семьи. После смерти отца воспитанием двух

младших братьев занимался старший – Николай, устроивший их за казённый счёт в швейцарский пансион ученика знаменитого Песталоцци. Второй учебно-воспитательный цикл Сергей проходил в Париже под надзором и за счёт служившего в русском посольстве в Англии старшего брата.



Основательно образовавшись, он вернулся в Петербург и был назначен юнкером в лейб-гвардии Конную артиллерию, дослужившись к весне 1825 года до чина поручика. В столице прижился и со многими раздружился; на первых порах нередко общался с начинающими движение к декабризму 1825 года офицерами, чьи убеждения некоторое время разделял. Во время известных событий на Сенатской площади гостил у брата Николая в Воронеже, где тот губернаторствовал.

Тем не менее Сергей Кривцов был привлечён к следствию по делу декабристов и осуждён «нестрого» – по седьмому разряду к году сибирской каторги с последующим вольным поселением по месту отбывания наказания. Его сибирская эпопея закончилась в 1831 году, когда по «высочайшей милости» он был переведён на Кавказ поправлять ошибки молодости службой рядовым в егерском полку. После нескольких лет боевой жизни с многочисленными военными экспедициями, сражениями и стычками Сергей Кривцов в 1835 году был произведён в унтер-офицеры. Получив некоторую свободу «в личных манёврах» он в поселился в Ставрополе, стал хлопотать об отставке (здесь в 1837 году он познакомился с Лермонтовым).

Летом 1838 года в Пятигорске на водах Сергей Иванович Кривцов познакомился с женщиной своей мечты – Еленой Андреевной Ган и провёл в общении с очаровавшей его женщиной два незабываемых месяца. Расставшись с ней, он писал ей чудного слога письма и получал от неё не менее прелестные письменные знаки взаимного уважения и любви. Первое послание Сергея Кривцова датировано сентябрём 1838 года:

«Буду честен до конца: к этому меня обязывают Ваши достоинства и глубокое уважение, которое я питаю к Вам. Скажу Вам прямо, что до знакомства с Вами я отчасти разделял общее мнение об учёных женщинах, писательницах или bel-esprits. Велико было моё удивление, когда я увидел Вас! Неизъяснимая прелесть, которой дышит вся Ваша личность, наэлектризовала меня и вывела из того нравственного усыпления, в которое я так давно был погружён, божественное пламя Вашего взора, умиряемое нежной чувствительностью и тонкой чуткостью Вашей прекрасной души, подвижность Вашего лица, отражающего малейшие ощущения, – всё выдаёт в Вас женщину, это совершеннейшее существо, венец творения. В Писании сказано: «Бог создал мужчину и почил»; если это правда, то он почил для того, чтобы с новыми силами приступить к созданию женщины. Таково было первое впечатление, которое Вы произвели на меня; наши дальнейшие отношения только усилили то уважение или лучше сказать – то благоговение, которое я питаю

к Вам; и знаете ли? Станным образом самые Ваши недостатки Вас красят, только рельефнее оттеняя Ваши неоценимые достоинства; без них Вы, может быть, были бы ангелом, но перестали бы быть самой собою и многое потеряли бы.

Не подозревая, что Вы имели сильное влияние на меня, Вы омолодили мою душу, Вы воскресили во мне любовь к прекрасному; Вы пробудили во мне гордость, почтив меня своим расположением. Да, я горжусь участием, которое Вы приняли во мне; я знаю, я обязан им исключительно Вашей доброте, потому что моя единственная заслуга – та, что я сумел Вас разгадать; чувство благоговейного уважения, которое я питаю к Вам, явилось только естественным последствием, потому что, узнав Вас, невозможно не предаться Вам сердцем и душою, на жизнь и смерть»²⁴.

Ответила на это письмо Елена Андреевна из села Каменского (что вблизи Екатеринослава). В наполненном нежностью письме она предостерегает своего друга от иллюзий, которые порождает слишком неумеренное воображение, просит не доверять первым впечатлениям, которые порой бывают обманчивы. И всё же чувства её искренни и сильны, как и чувства Сергея Ивановича:

«Я не сумею выразить, как я благодарна Вам за этот знак памяти и доброты. Если бы после всех утех Кавказа, где счёт дням вёлся по удовольствиям, после родственных ласк и общения с приятным кругом людей Вас обрекли на одиночество в какой-нибудь африканской пустыне, только тогда Вы могли бы понять моё нынешнее состояние и радость, которые дало мне Ваше письмо. Я была почти счастлива на Кавказе, особенно в Кисловодске; каждый день августа начертан золотыми письменами в книге моего бытия. Ваше письмо воскресило для меня чудесные дни, прожитые мною на Кавказе, и перенесло меня на несколько часов из моих болот под Ваше прекрасное небо, в очаровательную природу Кисловодска...

Я не узнаю себя в портрете, который Вы нарисовали с меня, его краски слишком яркие, и мне невольно вспоминается фраза, которую Вы часто повторяли: «Всего лучше пишешь, когда пером водит холодный ум»; да и по изысканности деталей этот портрет показался мне мало похожим на набросок, сделанный по первому впечатлению... Прошу Вас, если я имела счастье оставить в Вас приятное воспоминание, сохраните его, не восторгайтесь мною в такой степени... Вы судите обо мне, может быть, по тому, какую видели меня на Кавказе, и Вы рассчитываете найти в моих письмах ту же весёлость, живость и оригинальность, которые делали привлекательным для Вас моё общество? В таком случае Вы ошибаетесь: это не был мой обычный нрав. Вырвавшись из скуки и одиночества Каменского, я – как птица, внезапно выпущенная на свободу, – очутилась среди кавказского общества, совершенно ошеломлённая светом, шумом и тысячью соблазнительных вещей, которые окружили меня, суля давно недоступное мне наслаждение... Видя его, я бросилась очертя голову в водоворот света. В этом-то состоянии опьянения Вы увидели меня и, может быть, составили

себе представление обо мне. Но хотя природа дала мне характер весёлый до сумасбродства, время и обстоятельства сделали его иным – серьёзным, молчаливым, подчас даже угрюмым»²⁴.

Узнав, что хлопоты Сергея Ивановича об отставке удовлетворены и что, уйдя с военной службы, он будет проживать в Болховском уезде Орловской губернии, Елена Андреевна в следующем письме радуется возможности их новой встречи. (Она слышала от мужа, что его Шестая батарея получила приказ – после летних лагерей в Умани переместиться в Болхов, и, похоже, что в нём они задержатся на три года.) В середине апреля 1839 года Кривцов получил официальное уведомление об отставке, но Ставрополь он покинул только в начале лета. По старому адресу Елена Андреевна прислала ему очередное письмо:

«Я еду в Одессу, где думаю пробыть до июля, оттуда отправлюсь прямо в Умань, где встречу с мужем, и мы вместе двинемся в Орловскую губернию. Я еду в Одессу одна с детьми... моё здоровье так расстроено, что здешние врачи советуют мне обратиться к одесским, – вот что заставляет меня оставить мужа и Каменское...

Боже мой! Опять перемена в моей жизни, опять новые места, новые люди, опять я в толпе, которая меня не знает, судит и рьядит по-своему, – долго ль мне скитаться по свету! Знаете ли, Сергей Иванович, мне часто приходит желание поговорить с Вами, Ваш холодный, равнодушный взгляд на все беды исцелял меня, ободрял... Ваше равнодушие и весёлая беззаботность внушают отраду...»²⁴

Надежда влюблённых встретиться в Болхове не осуществилась. Сергей Иванович вернулся в родную Тимофеевку, где провёл всё лето. Елена Андреевна после летнего отдыха в Умани вновь с мужем и его батареей перебралась в Гадяч, небольшой городок Полтавской губернии, по новому месту службы капитана Гана.

Неизвестно, как долго продолжалась было начавшаяся переписка – общение двух сердец. Известно только, что волею судьбы Сергею Кривцову и Елене Ган больше не довелось свидеться.

В 1839 году вышла из печати повесть Елены Андреевны «Медальон» (с характерным дополнением основного названия – «Записки одной больной на Тёплых водах»), доброжелательно принятая читателями и критиками. Но успех нового произведения его создателя не порадовал. Была Елена Андреевна к этому времени совсем нездорова, вдобавок доктор запретил ей заниматься писательством. Сидение в захолустье, где нет ни одного человека, с кем можно было бы делить досуг, лишало её душевного равновесия, и она, взяв с собой детей, уехала на полтора года к родителям, в Саратов, где Андрей Михайлович Фадеев – после Одессы – исполнял должность гражданского губернатора. Здесь у Елены Андреевны родился сын Андрей; здесь, нездоровью вопреки, она написала повести «Суд света» и «Суд Божий».

Весной 1841 года Елена Андреевна с детьми уехала к мужу, вернувшись на Украину из польских губерний. В этот год в «Библиотеке для чтения»

появилась её повесть «*Теофания Аббиаджи*», которая, как писали литературные обозреватели, «*помимо её эстетических достоинств, явилась тем апогеем умственного, нравственного и художественного роста, какого мог достигнуть автор в своей короткой жизни*»²¹. К этому времени Елена Андреевна была серьёзно больна. Она пишет родным: «*Вот неделю слабость такая, что ни стоять, ни ходить не могу, так ноги и подкашиваются, да и на груди иногда бывает очень тяжело*». Доктора настаивают на полнейшем покое, на лучшем питании. Весной 1842 года, совсем больная, она едет в Одессу с детьми, гувернантками и доктором.

В Одессе, несмотря на все заботы и старания врачей, Елене Андреевне с каждым днём становилось всё хуже и хуже, в особенности от кровопускатий, считавшихся медициной той поры панацеей от всех бед. Истерзанная скоротечной чахоткой, она боялась, что не дожждётся приезда родных, и стала писать им прощальное письмо. В нём она благодарила родных за всё и умоляла мать не оставлять малюток. С приездом родных ей стало лучше, даже появилась слабая, скоро угасшая, надежда на её выздоровление. Скончалась Елена Андреевна Ган 24 июня 1842 года. Похоронили её на Старом кладбище, могилу украсили белой мраморной колонной с двумя надписями, взятыми из последнего произведения Зенеиды Р-вой «*Напрасный дар*»: «*Сила души убила жизнь...*», «*Она превращала в песни слёзы и вздохи свои...*»

Часть вторая. Эта фантастическая Блаватская

Теософия – религиозно-мистическое учение о единении человеческой души с божеством и о возможности непосредственного общения с потусторонним миром.

Толковый словарь Ожегова

После смерти Елены Андреевны её родители, согласно последней воле покойной, забрали внуков к себе в Саратов, где у тех началась совсем иная, покойная и налаженная жизнь. Воспитанием двух внучек и внука занялась бабушка с помощью трёх нанятых учителей. Дом Фадеевых посещала саратовская интеллигенция, в числе которых были историк Николай Иванович Костомаров, писательница Мария Семёновна Жукова. Любимым местом для внучек стала бабушкина библиотека, доставшаяся Елене Павловне от её отца. Были в этом обширном книжном собрании книги по оккультизму, сразу увлекшие старшую внучку – Елену Ган.

В мае 1846 года Андрей Михайлович Фадеев интригами саратовского чиновничества был временно отправлен в отставку, после которой отправился в Петербург, надеясь получить там новое назначение. Из столицы он написал старому своему другу, князю Михаилу Семёновичу Воронцову, незадолго до того назначенному царским наместником на Кавказе, и тот предложил ему должность в совете Главного управления Закавказского края, недавно присоединённого к России. Фадеевы, не мешкая особо, уехали в Тифлис обустроить новое место жилья. Внуков они на время оставили на попечение их тёт-

тушки, Екатерины Андреевны, недавно обвенчавшейся с Юлием Фёдоровичем Витте, тогда управлявшим хозяйственной фермой ведомства государственных имуществ. Другая тётушка, Надежда Андреевна, превосходившая возрастом старшую племянницу Елену только на четыре года, так характеризует её:

«Как ребёнок, как молодая девушка, как женщина она всегда была настолько выше окружающей её среды, что никогда не могла быть оценённой по достоинству. Она была воспитана как девушка из хорошей семьи... Необыкновенное богатство её умственных способностей, тонкость и быстрота её мысли, изумительная лёгкость, с которой она понимала, схватывала и усваивала наиболее трудные предметы, необыкновенно развитый ум, соединённый с характером рыцарским, прямым, энергичным и открытым, – вот что поднимало её так высоко над уровнем обыкновенного человеческого общества и не могло не привлекать к ней общего внимания, следовательно, и зависти, и вражды всех, кто в своём ничтожестве не выносил блеска и даров этой поистине удивительной натуры»²¹.

В июле 1847 года внуки Фадеевых с их дочерью Екатериной Андреевной переехали в Тифлис. Перемена среды обитания подстегнула читательскую активность шестнадцатилетней Елены Ган, и она ещё глубже ушла в мистические книги из прадедовской библиотеки. Здесь же она познакомилась и подружилась с князем Александром Владимировичем Голицыным, с которым могла на равных говорить об оккультных предметах, ею усваиваемых. По-видимому, молодой Голицын много знал и много рассказал юной визави о тех краях, которые она мечтала посетить, – о священных местах Греции, Египта, Ирана, Индии.

От матери Елене передалось неприятие неординарной женщиной замкнутого круга угнетающей обыденности: *«Женщину от колыбели сковывают цепями приличий, опутывают ужасным „что скажет свет?“ – и, если её надежды на семейное счастье не сбудутся, что остаётся ей вне себя? Её бедное, ограниченное воспитание не позволяет ей даже посвятить себя важным занятиям, и она поневоле должна броситься в омут света или до могилы влачить бесцветное существование!»²³* Малый срок жизни не позволил Елене Андреевне Ган сформировать свой, приемлемый для умной, волевой женщины круг бытия. Это сделала её старшая дочь, решительная, гордая, своевольная, которой Господь даровал более твёрдый характер, силу воли и умение пренебрегать обязательными для людей её среды общения житейскими правилами.



Характер её был действительно непростым. Однажды ей, семнадцатилетней, гувернантка высказалась в сердцах, что в жёны её, из-за непредсказуемости поведения, никто не возьмёт, и, дабы кольнуть девушку побольнее, добавила, что *«даже тот старик, которого она считает таким безобразным и над которым всю потешается, обзывая оципанной вороной, – и тот не захочет взять её в жёны»²³*. Это был вызов для упрямой и независимой

Елены Ган, ещё не приучившейся отделять зёрна от плевел. Спустя три дня после инцидента с гувернанткой она предстала очам помянутого «старика» с невероятным предложением... взять её в жёны. Позже, остыв после своей эксцентричной выходки, Елена ужаснулась и было попыталась расстроить уже объявленное бракосочетание, но безуспешно. В итоге Елена Петровна обвенчалась 7 июля 1849 года с Никифором Блаватским в селении Джелал-Оглы. Свадьба была по-кавказски пышной и шумной, на неё из Тифлиса прибыл караван гостей в сопровождении двадцати курдских всадников, служивших под началом новобрачного.

С первых часов супружеской жизни Елена Блаватская начала подготовку к бегству в Иран, да выдал её мужу курд, которого она по наивности завербовала в помощники. Три месяца продолжалось внутрисемейное противостояние, в процессе которого жена, помимо прочего, отказывала мужу в исполнении своих интимных обязанностей. Последний месяц супружеских баталий прошёл в Эривани (ныне – Ереван), куда Блаватские переехали в начале сентября 1849 года по случаю назначения Никифора Васильевича тамошним вице-губернатором.

Отношения с мужем у Елены Петровны ухудшались *crescendo*, и в один из сентябрьских дней 1849 года, обманув бдительность охраны, она в одиночку верхом умчалась в Тифлис. (*«Я укрылась у бабушки. Я поклялась, что покончу с собой, если меня вынудят вернуться к нему».*) На срочном собравшемся семейном совете было принято решение отправить строптивую беглянку из портового города Поти в Одессу, где её должен был встретить отец. Далее началась, что называется, история с географией. На рейсовое судно Елена Блаватская сознательно опоздала, но сумела, за приличное вознаграждение, уговорить шкипера английского парусника «Коммодор» взять её с собой до Керчи. Там, обманув бдительность двух сопровождавших её слуг, она, уже совершенно инкогнито, в угольном трюме того же парусника добралась, минуя Одессу, в Константинополь.

В турецкой столице девятнадцатилетняя беглянка встретила и подружилась с графиней Софией Станиславовной Киселёвой. Старшая дочь Софии и Станислава Щенного Потоцкого, давно и навсегда покинувшая Россию и разлюбившего её мужа, Павла Дмитриевича Киселёва, жила преимущественно в Париже, одолевая угнетавшую её ипохондрию путешествиями да играми в карты или на рулетке, до которых была большой охотницей. Об этом порочном увлечении графини рассказывает в своих записках архимандрит Владимир Терлецкий, встретивший её в курортном городке Спа в том же 1849 году, незадолго до её встречи с Блаватской:

«В Спа я встретил также графиню Киселёву, урождённую Потоцкую, женщину пожилую и весьма богатую. Муж её был, если не ошибаюсь, русским посланником в Париже; но не знаю, по какой причине он с ней разошёлся. Киселёва была известная картёжница. Пристрастившись к рулетке, она в одну неделю проиграла 30 000 фр. Узнав об этом, я решился, при встрече на бульваре, ей заметить, что грешно зря бросать деньги, посредством которых можно было бы принести много добра. На моё замечание она сказала

в ответ: «Да, это правда; теа сипра!» – «Лучше было, – возразил я, – сказать себе теа сипра до игры и не играть вовсе; деньги пригодились бы для бедных!» Однако мои слова не подействовали на скупую старуху, проигрывавшую равнодушно за карточным столом значительные суммы. Деньги она держала всегда при себе. Как рассказывали все знавшие её близко, она имела обыкновение носить при себе все свои капиталы, что-то около двух миллионов франков билетами и процентными бумагами. До чего доходила эта страсть к игре, лучше всего характеризует следующий забавный случай. Собравшись на поклонение Святым местам в Иерусалиме, она по дороге заехала в Рим, чтобы испросить благословения у папы. Папа знал об её слабости и, желая возбудить в ней склонность к благоговению, взял с неё обещание никогда не садиться за карточный стол. Недолго думая, она дала требуемое обещание. Страсть к игре оказалась, однако, сильнее данного обещания. Долго она боролась сама с собою. Наконец она не выдержала, найдя исход в чисто иезуитской уловке – она точно не садилась за карточный стол, но играла стоя!»²⁵

(Описывая свою встречу на водах Спа с Софией Станиславовной Киселёвой, униатский миссионер Терлецкий ошибся – бросивший её муж Павел Дмитриевич Киселёв посланником в Париже никогда не был, должность эту занимал его брат – Николай Дмитриевич Киселёв.)

Тягу к карточным играм дочь Щенного Потоцкого проявила ещё в молодости, что свидетельствует в письме к брату дипломат и московский почт-директор Александр Яковлевич Булгаков, побывавший 26 февраля 1824 года в гостях у ещё живших вместе супругов Киселёвых: *«Вчера был я целый вечер у Киселёва. Ну и охотница его жена играть в карты! Мы отдули 8 роберов, и ещё подчивала после ужина. Много говорил я с нею о её обожателе Тургеневе»*²⁶. Позже издатель писем Булгакова в журнале «Русский архив» сделал примечание к этим строкам: *«Много позднее страсть Киселёвой (ур. гр. Потоцкой) к игре оставила по себе память в Гомбурге (под Франкфуртом-на-Майне), игорный след былого времени; там целая улица носит название Киселёвской»*.

Особенности светской жизни тридцатидвухлетней графини, лишённой интимного мужского обхождения, описывает в своих записках сенатор Константин Иванович Фишер, заехавший в 1833 году в курортный Карлсбад:

«Не так вела себя Киселёва. Она влюбилась в графа А. Г. Стrogанова (о вкусах спорить нельзя), и когда он собирался ехать, то она просила его остаться для неё. Получив отказ на бале, она отправилась топиться в речку Тепль, в которую фиакры заезжали для того, чтобы обмыть колёса. Страстная Киселёва могла, стало быть, замочить только фалбалы на своём платье, что она и сделала. Я видел её на обратном пути ночью в платье, которое билось с всплеском около ног и оставляло за собой мокрый след. На другой день весь город видел её окна завешенными турецкими шальями, красною, белую, чёрною и пр. по числу окошек. В знойные дни она

раздевалась донага и прохаживалась по комнатам, – и тогда окна не завешивались. Впрочем, она жила во втором этаже на Alte Wiese, следовательно, без vis-a-vis, но с другой набережной, Neue Wiese, можно было видеть её в зрительную трубку»²⁷.

Объединившись, вдовы соломенные Киселёва и Блаватская в апреле 1850 года отправились в путешествие по Египту, Греции и странам Западной Европы. Так началась первая часть одиссеи Елены Блаватской продолжительностью в десять лет. Из её родственников, кажется, только отец знал, где всё это время находилась его дочь, которой он периодически высылал деньги. Тётушка её, ненамного превосходящая её годами, Надежда Андреевна, по этому поводу отметила в своих воспоминаниях: *«В первые восемь лет она не давала о себе знать родственникам по материнской линии, боясь, что её выследит законный „господин и хозяин“.* Только отец знал о её местонахождении. Он понимал, что никогда не сможет убедить её вернуться к мужу, смирился с её отсутствием и посылал ей деньги туда, где ей проще было их получить».

В Каире, всегда одетая по странной – наводящей на размышления – прихоти денежной компаньонки Софии Киселёвой в мужской костюм, юная Блаватская провела три месяца. За это время она успела освоить начала некоторых местных учений, стать восторженной поклонницей старого копта Паоло Метамона, которого окружающие считали белым магом. Здесь она познакомилась с Альбертом Роусоном, американским художником, начинающим арабистом, которого тоже интересовала мистика и тайна исчезнувшей Атлантиды (с его помощью, кстати, Блаватская пристрастилась к гашишу).

О своём продвижении к оккультному мышлению, о сложной географии своих путешествий по Востоку (вторично она посетила эти края в 1858 году) Елена Петровна много позже поведала в письмах к князю Александру Михайловичу Дондукову-Корсакову, с которым познакомилась ещё в Тифлисе, где князь служил адъютантом наместника. Рассказала она ему о своём проникновении в тексты книг *«по алхимии, магии и прочим оккультным наукам»*, о *«свадьбе астрального минерала с сивиллой»*, о *«комбинации женского и мужского начала»* (то есть о том, что на Востоке называют гармоничным сочетанием «инь» и «ян»; о том, что современный образованный читатель едва ли поймёт без предварительной специальной подготовки).

«В Афинах, в Египте, на Евфрате – повсюду, где я была, я искала мой философский камень... Я была у вертящихся дервишей, у друзей горы Ливан, у бедуинов-арабов, у марабутов Дамаска. Нигде не нашла его! Я изучала некромантию и астрологию, смотрела в кристалл, вызывала духов – и нигде ни следа „Красной девы“»²³.

После первого посещения Каира, с начала осени 1850 года, Блаватская некоторое время путешествовала по континентальной Европе – брала уроки музыки в Лейпцигской консерватории, некоторое время пожила в Париже. Возможно, именно в это время она изучала древнееврейскую каббалу под руководством опытного раввина (с ним она переписывалась до последних дней его, хранила его портрет как драгоценную реликвию).

Весной 1851 года Елена Блаватская вместе со своей крёстной, княгиней Багратион-Мухранской, приехала в Лондон, где в сказочном хрустальном дворце, выстроенном в Гайд-парке, была устроена всемирная выставка. На ней в августе 1851 года она встретила с махатмой (святой у индуистов) Морией, членом индийской делегации. *«Незабываемая ночь! Значительная ночь в Рамсгейте, 12 августа, мой день рождения, – мне исполнилось тогда 20 лет. Я встретила тогда М., Учителя из моих снов»*. Махатма Мория рассказал Блаватской о грандиозных планах по совершенствованию человечества и дал ей понять, что путь к означенной цели будет долгим и тернистым. Он просил её серьёзно обдумать сложность указанной задачи, прежде чем дать согласие на сотрудничество; просил до поры до времени хранить в тайне их встречу. Он предложил ей совершить путешествие в Тибет и там, в Гималайском братстве, подготовить себя к уникальной роли посредницы между махатмами и обыкновенными смертными.

Блаватская практически не вела дневниковых записей, поэтому реконструировать её жизненный путь в те времена, когда она была вдалеке от Европейского континента, вдали от наблюдателей, для её биографов непросто, поэтому в этих частях её биографии так много разночтений. Так, по мнению одних биографов, отследить места её пребывания после первой встречи с Учителем и до первого возвращения в Россию в точности невозможно. Другие, напротив, точно расписывают, что за этот период времени (во исполнение полученного задания) она совершила два последовательных путешествия в Индию.

Биографы-оптимисты утверждают, что Блаватская в первый раз в земли Индостана отправилась сразу после лондонской выставки, избрав, правда, для этого круговой маршрут – через Америку. Знакомство с неведомыми землями она начала в 1852 году с Канады, где надеялась выведать тайны местных шаманов. Индейцы дали несколько уроков гостю, а затем, не попрощавшись, ушли с частью имущества бледнолицей сестры, которая позже грустным слогом указала на *«печальные примеры быстрой деградации американских аборигенов»*. Понесённые потери не умили желания Блаватской учиться новому и таинственному: в Нью-Орлеане она взялась за освоение техники вуду, но скоро оставила это дело, получив от явившегося ей видения предостережение об опасности и бесполезности её занятий.

Дальнейшие странствия привели Блаватскую к древним руинам Центральной и Южной Америки, которые она позже научно описала. Далее она путешествовала океанами: обогнув мыс Доброй Надежды, прибыла поначалу на Цейлон, затем – в Индию. Там она провела около года, пытаясь проникнуть в Тибет, но официального разрешения от английской администрации на задуманный ею горный переход не получила.

В конце 1853 года Елена Петровна вернулась в Англию, где приобрела известность своими музыкальными выступлениями. Здесь она вновь встретила с Учителем и получила от него новые наставления. Летом 1854 года Блаватская была представлена королеве Виктории, после чего отправилась в новое путешествие. На этот раз она начала с Нью-Йорка, затем перебралась в Чикаго, оттуда – через Скалистые горы – двинулась на Дальний Запад

с караваном переселенцев. В Сан-Франциско, простившись с попутчиками, она отплыла в Индию. В этот раз целеустремлённой и неустрашимой Блаватской удалось пробраться в Тибет через Кашмир. В тибетской Лхасе, надёжно изолированной от внешнего мира, она провела три года – «добралась до высших учителей и приобщилась к Древней Мудрости».

В числе событий в жизни Блаватской, имевших место после двух путешествий в Индостан, исследователи относят её работу капельмейстером хора сербского короля Милана, фортепьянные концерты Блаватской в Лондоне и Париже, сопровождение в европейских гастролях ею возлюбленного Агарди Митровича, сербского певца. В Париже её видели в окружении Даниэля Дугласа Юма, знаменитого спирита. В это время скончалась княгиня Багратион-Мухранская, завещавшая своей крестнице восемьдесят пять тысяч рублей золотом.

В конце 1858 года Елена Петровна Блаватская вернулась в Россию и первые полтора года гостила у овдовевшей сестры Веры, в её имении под Псковом. Встречалась здесь с отцом, разнообразила провинциальный быт спиритическими сеансами. Затем переехала в Тифлис, где на беду свою встретилась с бароном Николаем Мейендорфом, как и она стеснённого узами брака, что не помешало им вступить в интимную связь, плодом которой стал сын Юрий (физическим отцом не признанный и только пять лет поживший). В разгар этих событий в Тифлисе неожиданно появился серб Агарди Митрович, к превеликой радости барона, уже остывшего к своей мимолётной возлюбленной. Законный муж Елены Петровны в это время по-прежнему жил в Эривани, ожидая выхода в отставку; несостоявшуюся жену, носившую его фамилию, он давно простил.

Агарди Митровича, сербского басового певца, Елена Блаватская несколько лет сопровождала в его европейских гастролях, завершившихся в Киеве. После года киевской жизни, заполненной концертами сожителя, Блаватская почему-то рассорилась со своим другом юности, местным губернатором Дондуковым-Корсаковым, и вместе с певцом перебралась в Одессу, где после Тифлиса жила семья её тётушки, Екатерины Андреевны Витте. Её сын, Сергей Юльевич Витте, позже вспоминал о своей двоюродной сестре:

«Уехав из Киева и поселившись в Одессе, Блавацкая с Митровичем должны были найти себе средства для жизни. И вот вдруг Блавацкая сначала открывает магазин и фабрику чернил, а потом цветочный магазин (т. е. магазин искусственных цветов). В это время она довольно часто приходила к моей матери, и я несколько раз заходил к ним в этот магазин. Когда я познакомился ближе с ней, то был поражён её громаднейшим талантом всё схватывать самым быстрым образом: никогда не учившись музыке, она сама выучилась играть на фортепиано и давала концерты в Париже (и в Лондоне); никогда не изучая теории музыки, она сделалась капельмейстером оркестра и хора у сербского короля Милана; давала спиритические представления; никогда серьёзно не изучая языков, она говорила по-французски, по-английски и на других европейских языках, как на своём родном языке; никогда не изучая серьёзно рус-

ской грамматики и литературы, многократно, на моих глазах, она писала длиннейшие письма стихами своим знакомым и родным с такой лёгкостью, с которой я не мог бы написать письма прозой... Она обладала такими громаднейшими голубыми глазами, каких я никогда в жизни ни у кого не видел, и когда она начинала что-нибудь рассказывать, а в особенности небылицу, неправду, то эти глаза всё время страшно искрились, и меня поэтому не удивляет, что она имела громадное влияние на многих людей, склонных к грубому мистицизму, ко всему необыкновенному... <...>

Конечно, цветочный магазин, открытый в Одессе Блавацкой, после того как прогорел её магазин по продаже чернил, также был закрыт по той же причине, и тогда Митрович, которому было уже 60 лет, получил ангажемент в итальянскую оперу в Каир, куда он и отправился вместе с Блавацкой. <...> Не доезжая Каира, пароход совсем у берега потерпел крушение. Митрович, очутившись в море, при помощи других пассажиров, спас Блавацкую, но сам потонул. Таким образом, Блавацкая явилась в Каир в мокром капоте и мокрой юбке, не имея ни гроша»²⁸.

Эта трагедия, случившаяся в 1871 году, ничуть не смутила несокрушимую Елену Петровну. Придя в себя, она организовала в египетской столице Спиритическое общество, которое вскоре – после финансового скандала – было распущено. Совершив ряд протяжённых переездов по европейской территории, Блаватская в 1873 году в очередной раз оказалась в Американских Штатах, где познакомилась с людьми, увлекавшимися спиритизмом. В 1875 году Елена Петровна Блаватская и Уильям Кван Джадж основали Теософское общество, которое провозгласило следующие цели:

*«Образовать ядро Всемирного Братства без различия расы, цвета кожи, пола, касты и вероисповедания;
способствовать изучению арийских и других писаний, мировых религий и разных наук, отстаивать важность значения древних азиатских источников, принадлежащих к брахманистской, буддийской и зороастрийской философии;
исследовать скрытые тайны Природы во всевозможных аспектах и в особенности – психические и духовные способности, открытые в человеке»²³.*

В том же году Блаватская начала писать книгу «Разоблачённая Изида», в которой, выступив с критикой науки и религии, заявила, что с помощью мистицизма можно получить достоверные знания. (Первый тираж этой книги, вышедшей в 1877 году тиражом в тысячу экземпляров, был распродан за десять дней.)

После учреждения Теософского общества, действуя по отработанной схеме, Блаватская заключила номинальный брак с американизированным грузином Майклом Бетанелли. Благодаря этому временному союзу, завершившемуся через несколько месяцев после его заключения разводом, Елена Петровна получила американское гражданство.

В феврале 1879 года Блаватская с коллегой Генри Стил Олкоттом появилась в Индии, где задержалась на несколько лет, основав в 1882 году штаб-квартиру Теософского общества, неподалёку от Мадраса. Живя в Индии, Блаватская совершила поездку в Лондон и Париж, где в частых общениях и публичных выступлениях говорила много о своих сверхъестественных способностях, за что была обвинена индийскими журналистами в шарлатанстве. По причине последовавшего скандала в принявшем её государстве и резкого ухудшения здоровья Блаватская навсегда покинула полуостров Индостан.

Вернувшись в Европу, Елена Петровна некоторое время жила в Германии, Бельгии, пока не переехала в Лондон, где засела за писание книг. В 1888 году она подготовила к печати свой главный теософский труд «Тайная доктрина», имевший подзаголовок «Синтез науки, религии и философии»; затем, к 1889 году, были подготовлены «Голос безмолвия» и «Ключ к теософии».

Умерла Елена Петровна Блаватская 8 мая 1891 года. Прах её был сожжён, а пепел разделён между тремя центрами теософского движения: Лондоном, Нью-Йорком и Адьяром (что неподалёку от Мадраса). День памяти Блаватской её последователи отмечают под именем Дня белого лотоса.

Часть третья. Коротко о Вере Петровне Желиховской

Младшая дочь Елены Андреевны Ган, именовавшаяся после второго замужества Желиховской, стала известной писательницей, преимущественно в жанре детской литературы. На её повестях для детей и юношества выросло не одно поколение российских граждан. Писала она и для взрослых; всего её литературное наследие составляет двенадцать повестей, шестьдесят рассказов и две пьесы. Память у неё была необыкновенная. Когда Ганы жили в Полтаве, ей было только два года, но некоторые подробности семейного быта память её запечатлела, и эти памятные картинки из детства она позже описала в своих воспоминаниях:

«Помню, что мама часто болела, а когда была здорова, то подолгу сидела за своей зелёной коленкоровой перегородкой и всё что-то писала. Место за зелёной перегородкой называлось маминим кабинетом, и ни я, ни старшая сестра Лёля никогда ничего не смели трогать в том уголке, отделённом от детской одной занавеской. Мы не знали тогда, что именно делает там по целым дням мама? Знали только, что она что-то пишет...»²³

В этой же книге Вера Петровна дала трогательную картину последнего Рождества, которое она провела с сестрой и маленьким недолго прожившим братиком. Описала занесённые снегом пространства вокруг дома, наглухо закрытые входные двери, жарко натопленную печь, подарки, которые отец привёз из Харькова, из которых наиболее поразили детское воображение только появившиеся тогда фосфорные спички; ими, будто светящимися карандашами, вышила мама на стене шуточные прозвища своих дочерей.

Жизнь в доме бабушки Вера Петровна очень увлекательно описала в своих небольших книжках «Как я была маленькой» и «Моё отрочество». В 1855 году, восемнадцати лет от роду, Вера Петровна Ган вышла замуж за помещика Псковской губернии Николая Николаевича Яхонтова (брата поэта Александра Яхонтова). Через четыре года, в феврале 1858 года, тяжело простудившись на рубке леса, муж её умер; Вера Петровна с двумя детьми на руках вернулась в дом бабушки, в это время уже служившего на Кавказе. Ещё четыре года спустя она вышла замуж (не без приключений, что подтверждает её кузен, Сергей Юльевич Витте) и в этом браке родила трёх дочерей и одного сына.

«...Она была сначала замужем за Яхонтовым, и затем, когда Яхонтов умер, переехала с детьми в Тифлис, в дом Фадеевых, влюбилась в учителя тифлисской гимназии, впоследствии директора гимназии, – Желиховского. Фадеевы, которые были очень не чужды особого рода дворянского или, вернее, боярского чванства 60–70-х годов, конечно, о такой свадьбе и слышать не хотели. Вследствие этого Вера Петровна бежала из дому, вышла замуж за Желиховского, и в доме Фадеевых он никогда не бывал»²⁸.

Унаследовав талант своей матери, Вера Желиховская ещё в Тифлисе начала проверять свои литературные возможности на небольших детских рассказах, которые она поначалу писала исключительно для своих детей. Когда же смерть мужа (в 1880 году) вынудила Веру Петровну искать источник для пропитания её шестерых детей, то таковым стало писательство. Рассказы и повести Желиховской из кавказской жизни публиковались в журнале «Русский вестник», в тифлисских газетах «Кавказ» и «Тифлисский листок».



Весной 1881 года Вера Петровна вместе с детьми переехала в Одессу. Работала она не покладая рук. Писала большей частью по заказам, подчас, что называется, на скорую руку, подчиняясь требованиям издателей, но это никак не сказалось на качестве написанного ею – «...все без исключения произведения Веры Петровны написаны прекрасным языком, просто, правдиво и художественно»²⁹.

Весной 1884 года Вера Петровна вместе с тётушкой, Надеждой Андреевной, ездила в Париж к Елене Петровне Блаватской. Оттуда Вера Петровна прислала в «Одесский вестник» подготовленную ею статью «Е. П. Блаватская и теософисты (Заграничные письма)». Позже, уже вернувшись в Одессу, она опубликовала в газете «Новороссийский телеграф» цикл статей под общим названием «В области оккультизма и магнетизма». В этом же году увидела свет её книга «Необъяснимое или необъяснённое», в которой отразился интерес писательницы к сверхъестественному, к тому, что тогда называли медиумизмом.

Увлечением сверхъестественным, непознанным Желиховская, конечно же, обязана своей старшей сестре, которую она любила до обожания и защищала её имя от чрезмерных выпадов в печати (к примеру, в 1892 году от критики Всеволода Соловьёва в его книге «Современная жрица Изиды»).

«Мнение некоторых людей, будто Вера Петровна разделяла вполне теософические верования и убеждения своей сестры, Елены Петровны Блаватской, положительно ошибочно. Как женщина, склонная по своей натуре ко всему загадочному, чудесному, она чрезвычайно интересовалась всеми необъяснёнными явлениями природы и умственным движением, делами и журналами теософов. Но, во многом не сходясь с ними, она официально никогда не принадлежала к теософическому обществу, всю свою жизнь соблюдая строго обряды и постановления православной церкви, которой она принадлежала всей душой. Близким её приходилось часто слышать от неё, что теософия в своём чистом, нравственном учении очень близка к христианству, но, к несчастью, люди всех религий и всех философских учений всегда сумеют затемнить и запачкать основную идею, и сущность, и святость истины»³⁰.

Осенью 1885 года Вера Петровна переехала в Петербург, где выше был градус литературной жизни, где она могла получить больший заработок. В столице Желиховская вела очень активную, насыщенную интересными для неё событиями жизнь – посещала кружок Николая Ивановича Гнедича; подружилась и часто общалась с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко, Петром Дмитриевичем Боборыкиным, поэтессой Ольгой Николаевной Чюминой; сотрудничала почти со всеми детскими журналами, с журналами «для семейного чтения» «Нива», «Живописное обозрение», «Природа и люди», с журналами «Русское обозрение», «Гражданин», «Север» и прочая и прочая.

В мае 1888 года умер любимый сын писательницы – Валериан. И если этот удар судьбы и не сломил Веру Петровну, но – физически и нравственно – надломил её основательно.

Умерла она в воскресенье, 5 мая 1896 года, в Петербурге в возрасте шестидесяти двух лет от крупозного воспаления лёгких. Согласно последней воле покойной, её похоронили в Одессе, на Старом кладбище. *«Её положили рядом с могилами матери её и сына, прекрасного юноши, кончавшего уже почти курс Института инженеров путей сообщения, на которого она возлагала все свои несбывшиеся надежды. Этим было исполнено последнее и чуть не единственное высказанное когда-нибудь ею личное желание»²⁹.*

Вера Петровна Желиховская никогда не публиковала стихов, но после смерти её в столе было найдено одно стихотворение под названием «Мои часы»:

Часы равномерно тикочат,
Считают минуты и дни;
Ни горя они не отсрочат,
Ни к счастью приблизят они...
Приводят они равнодушно
Рождение, и смерть, и венец
И нашим словам малодушным
Не внемлют, глаголя: «Конец!»²⁹

Пётр Владимирович Алабин

В числе российских граждан, увековеченных в названиях улиц, проспектов и бульваров городов Болгарии, – Пётр Владимирович Алабин, некоторое время бывший первым гражданским губернатором освобождённой от турецких войск Софии. Балканский поход 1877–1878 годов был четвёртой войной, в которой он (прежде кадровый офицер) принял участие уже как гражданское лицо и участие в которой зафиксировал регулярными дневниковыми записями. Вести путевой дневник он приучил себя с Венгерского похода 1849 года; привычке этой не изменил, участвуя в 1853 году в войне с Турцией на территории придунайских княжеств, перешедшей в Крымскую войну 1854–1856 годов. Когда же пришло время писать мемуары, офицер запаса Алабин все свои дневниковые записи объединил в общую книгу «Четыре войны» и опубликовал её.

В Умани Пётр Владимирович Алабин побывал дважды: в молодости и в зрелом возрасте. И оба раза, освободившись от походных дел, он всё своё творческое внимание уделил парку «Софиевка», его первому певцу – польскому поэту Трембецкому.

Часть первая. Венгерский поход 1849 года

Родился Пётр Владимирович Алабин 29 августа 1824 года в городе Подольске, уездном городе Московской губернии, где тогда служил его отец, рязанский дворянин, потом перешедший в таможенное ведомство и переехавший



служить в польский город Белосток. После домашней подготовки Пётр Алабин учился в Белостокской гимназии и в Петербургском коммерческом училище.

Перед окончанием курса в 1842 году, при посещении Коммерческого училища императором Николаем Павловичем, выпускник Алабин напрямую обратился к нему с просьбой о переводе его на военную службу. Государь согласился, и по высочайшему повелению решительный ученик в 1843 году был зачислен унтер-офицером в Тульский егерский полк. Позже, в 1845 году, уже переведённый в Камчатский егерский полк, Алабин был произведён в офицеры и по дороге к месту службы в пограничный Кременец в первый раз заехал в Умань.

«В Софиевке нельзя не вспомнить о Трембецком. Во-первых, доживая свой век то в Умани, то в Тульчине, он воспел Софиевку в пространной поэме, скучной, правда, но в своё время имевшей большой успех и замечательной тем, что в этом польском поэтическом произведении восторженно воспеваются два русских государя: Екатерина II и Александр I. Во-вторых, осматривая Софиевку, встречаем два видимых воспоминания о Трембецком. Одно – каменная колонна, воздвигнутая бывшим владельцем сада, в память названного

поэта. Эта колонна притаилась на берегу живописного ручейка, под тенью дикой груши, двух лип и нескольких ив. Деревья эти – аборигены сада; они ещё видели на месте ныне цветущей Софиевки – голую, каменистую степь, а теперь, будто почётной стражей, окружены большой группой роскошных платанов, американских лип и итальянских тополей...

Другое видимое воспоминание о Трёмбецком – каскад, названный «Три слезы». Ручеёк Каменка пробирается в живописных берегах, на всяком шагу украшенных искусным подражателем природы, и вдруг падает с значительной высоты, разделённый нагромождёнными камнями на три струи, составляющие каскад.

Невольно вспоминается гармоничный стих Пушкина – в этом поистине живописном уголке, навевающим какое-то тихое чувство грусти.

*Журчит во мраморе вода
И каплет холодными слезами,
Не умолкая никогда...*

Предание гласит, что этот каскад не что иное как олицетворение одного из стихотворений Трёмбецкого „Три слезы“, написанного на смерть трёх детей Щенского Потоцкого: Константина, Микулы и Елены»³¹.

В Кременце, пограничном городе Российской империи, служба молодого офицера Алабина проходила в штатном для мирного времени режиме вплоть до конца 1848 года, когда Камчатский егерский полк – как и ряд других воинских подразделений русской армии, размещавшихся в приграничье и в Польше, – был приведён в состояние повышенной боевой готовности. Причиной тому стало вспыхнувшее в марте 1848 года восстание в столице Австрийской империи, за которым последовал революционный взрыв в Венгрии, числившейся за Габсбургами.

Неудачно начавшееся для центральной власти австро-венгерское противостояние приостановилось на время 15 октября 1848 года. В этот день растерянное австрийское правительство согласилось с требованиями революционного венгерского сейма предоставить Венгрии права суверенного государства с условием, что она будет принимать участие в содержании венского двора и дипломатического корпуса, предоставлять австрийскому императору вооружённые силы в случае войны. Этот славный день истории Венгрии её замечательный поэт, лидер радикальной части венгерских инсургентов Шандор Петёфи отметил стихотворением «15 октября 1848 года»:

*Истории венгерской муза,
Воспрянь, возьмись за свой резец!
Отметь великое событие:
День этот грянул наконец!*

Кардинальные уступки имперской власти удовлетворили желания только мадьяр, но не малых народностей Венгрии. Жившие на севере страны трансильванские румыны, словаки, а также хорваты и сербы, занимавшие южный

угол Венгрии, не согласились на революционное изменение государственного устройства, дававшее им политические свободы ценой их национального порабощения восставшими мадьярами. В итоге, венгерская революция, самая последовательная из всех европейских революций 1848–1849 годов, не сумела привлечь на свою сторону внутренние национальные движения, ставшие на сторону австрийского правительства. Составившееся оппозиционное движение возглавил хорватский бан Елачич, по совместительству – генерал австрийской армии. И первая кровь в этой революции пролилась в стычке румынских крестьян с венгерскими солдатами.

После переломного 15 октября 1848 года в делах венгерской революции были отливы и приливы, последний из которых – спустя год после первого из них – случился в апреле 1849 года. На его пике Национальное собрание Венгрии провозгласило государственную независимость, утвердило председателем правительства Лайоша Кошута. Венгерские войска, в состав которых входили также польские добровольческие отряды, нанесли регулярным частям австрийской армии решительное поражение и в конце апреля 1849 года приблизились к границам Австрии.

В этот критический для империи Габсбургов момент её император «коленопреклонённо» обратился к Николаю I с просьбой о спасении, которое видел в присылке в мятежную Венгрию тридцатитысячного корпуса русских. Но царь, числивший себя «жандармом Европы», решил по мелочам не размениваться, и в мае 1849 года стотысячная русская армия под командованием фельдмаршала князя Паскевича вступила в Венгрию; другая русская армия, численностью в сорок тысяч человек, продвинулась в Трансильванию (где тон восстанию задавало воинственное венгерское племя секлеров – потомков гуннов). Столь внушительная подмога австриякам резко ухудшила положение венгерского войска – его главные силы, стремясь избежать окружения, начали отступать от восточной границы в глубь страны.

Камчатский егерский полк двигался в арьергарде армии Паскевича и к боевым действиям привлечён не был. По этой причине путевые заметки, составленные в Венгерской кампании полковым адъютантом Алабиным, стали прекрасным краеведческим описанием тех регионов Галиции и Венгрии, в которых побывал его полк начиная с Тарнополя (ныне – Тернополь).

«Вид на Тарнополь, приютившийся у огромного пруда, очень картинен. Готическая архитектура его костёлов и некоторых домов, придаёт отличный от наших домов характер...»

Сколько я успел заметить, Тарнополь, красотой, чистотой, порядком, не похож на наши русские города; впрочем, говорят, он и в Австрии – один из лучших городов своего разряда. Город основан в XVI столетии Иваном Тарновским, Краковским кастеляном, и назван во имя его: Tarno-polia...»³²

После Тарнополя колонна русских войска, миновав летописный город Теревовлю, наблюдала за городскими окраинами печенежскую могилу, названием своим указывавшую на воинственных степняков, печенегов, в пра-

давние времена вытеснивших из приволжских степей в европейскую сторону племена угров, уступавших им в численности и в пассионарности. (Затем печенегов из этих земель выдавили более сильные половцы-куманы, которых, в свою очередь, в 1240 году рассеяли в юго-западном направлении непобедимые и чудовищно жестокие татаро-монголы.)

В Лемберге-Львове Камчатский егерский полк устроил привал – на несколько дней.

«В каждой географии можно прочесть, что славянский Львов (по-немецки – Лемберг, по-французски – Леополь) основан в то давно минувшее время, когда настоящая Галиция, под именем Червонной Руси и впоследствии Галицкого королевства, была достоянием русских князей.

Основателем Львова, впервые упоминаемого в летописях в 1259 году, называют Льва Даниловича Галицкого, от которого город и получил своё название»³².

Начало городу положил выстроенный князем-основателем замок, вокруг которого начало разрастаться концентрическими слоями предместье. Став центром Галицкого княжества, город в 1340 году пережил первую перемену свободы, покорившись польскому королю Казимиру (на условиях неизменности их православной веры). Позже Львов со всей Галицкой землёй некоторое время находился под венграми, но затем – после судьбоносного для края (и всего русского племени) бракосочетания в 1490 году литовского князя Ягелло и польской королевы Ядвиги – вновь вернулся к Польше и оставался в её составе до её первого раздела, совершившегося в 1772 году. После утраты Польшей государственности Львов с частью Галицийского края прибрала к рукам Австрийская империя, власти которой переименовали город в Лемберг (в 1815 году Россия передала Австрии дополнительно Тарнопольскую и Чертковскую земли).

«Во время стоянки в Лемберге мы исходили его во всевозможных направлениях и нашли, что, если не по обширности, то по изящной наружности своей, по архитектуре зданий, весьма разнообразной – то новейшей европейской, то средневековой, готической, – по величине прекрасно обставленных площадей, по ширине улиц и тротуаров, по обилию садов и вообще по преобладающей в нём чистоте и порядку, он может быть причислен к лучшим европейским городам...»³²

После Львова-Лемберга полк Алабина стал бивуаком возле ещё более древнего, известного с начальной поры классической русской истории, города Перемышля. Из крепостного замка, раскинувшегося на берегу реки Сан, офицеры полка наблюдали прекрасные виды, любовались чудесной городской архитектурой, в том числе старинным кафедральным собором города. В примыкавшем к замку старом парке бродили с конспектами в руках учащиеся двух городских семинарий – католической и униатской, щеголяли свежестью новой одежды юные ксендзы.

«Тут, на этих славных, некогда боевых местах, будущие пастыри душ обдумывают свои проповеди или диссертации, готовят лекции, предназначенные для прочтения в семинарии, и в глубокое смирение опускают долу очи, когда хорошенькая, элегантная галицианка касается их иноческой рясы своим шёлковым платьем, пробегая по узким аллеям сада для утреннего моциона»³².

Последним населённым пунктом австрийской части Галиции, в котором несколько суток был на постое Камчатский егерский полк, стал старинный Самбор.

«Вёрст в 15 не доходя Самбора, при крутом повороте шоссе, мы увидели несколько в стороне от дороги местечко Старее-Место. Говорят и пишут, что тут-то и был первоначально г. Самбор, основанный в древнейшие времена одним из русских князей, и что только впоследствии какой-то польский король, охотясь в лесных окрестностях древнего Самбора, убил оленя на месте нынешнего Самбора и в память этого события заложил тут город, дав ему в герб простреленного оленя, герб, сохранённый Самбором донныне»³².

Небольшой Самбор произвёл приятное впечатление на автора путевых заметок прежде всего его центральной городской площадью, чистой, вымощенной, окружённой каменными домами в два и три этажа. В центре площади – ратуша древней постройки, но «лёгкой и изящной архитектуры». Отходящие от площади улицы, как и положено средневековому городку, узки, но чисты; одна из них ведёт к католическому костёлу, выстроенному в 1370 году «Елизаветой де-Спытко, женой Краковского воеводы». Внутренность изысканно отделанного храма состоит из нескольких образов и скромно убранных алтарей, из почерневших от времени мраморных изваяний, деревянных резных амвонов, исповедали и скамьи для прихожан. Униатский храм, соседствующий с католическим костёлом, автору не понравился.

«Самбор, можно сказать, колыбель счастья Дмитрия Самозванца. По словам некоторых повествователей, здесь впервые признали его царевичем; здесь он влюбился в Марину; здесь он заключил известный контракт с её отцом; здесь она, ещё частным образом, названа его невестою; отсюда Марина поехала в Москву; здесь во имя Дмитрия собрались польские полки, и отсюда они двинулись для водворения Самозванца на Московском престоле. Словом, в чудной судьбе Лжедмитрия Самбору суждено было играть блистательную роль»³².

Русские побыли в Самборе недолго, но время быстро промелькнувшего постоа провели очень весело: рекой лилось венгерское и шампанское в их пирушках с австрийскими офицерами, «утекало» из их карманов навсегда офицерское жалование в городском казино, фланировали свободными вечерами господа офицеры по центральной площади города, слушая полковую музыку.

К границе, разделяющей Галицию и Венгрию, полк Алабина подошёл 10 июня 1849 года. Часть полка вошла в состав созданного оперативного соединения и ушла за границу преследовать отступающие части польского генерала Дембинского; вторая его половина осталась на бивуачном постое в приграничье. Не привыкший к праздному времяпрепровождению Алабин образовавшееся свободное время посвятил изучению быта и истории русинов. Его наблюдения над автохтонными жителями Карпатских предгорий, изложенные в его путевых заметках, хорошо согласуются с работой знатока проблемы, Елизаветы Николаевны Водовозовой, автора книги «Как люди на белом свете живут»: *«Галицких малороссов называют русинами, украинцами, а также русняками, рутенами и даже просто русскими. Русины говорят на малорусском языке, исповедуют униатскую веру и преимущественно живут в восточной части Галиции...»*

История коренных жителей Галицкой (или Червонной) Руси в период длительного в ней польского господства – это грустный и трагический мартиролог, это история постоянного принижения исконной народности края, прежде всего выразившегося в насильственном его переводе в униатскую веру. Чтобы окончательно подавить русин и вытравить из них русский дух, польское правительство и католическое духовенство употребляли все средства, чтобы ввести на Галицкой земле польские обычаи, польский язык, чтобы населить русинские города немцами и евреями.

«Оторванные от лоно нашей церкви деятелями унии, поработанные Польшею, русины целые века страдали под гнётом магнатов и теперь только узрели воскресение своей народности вследствие дарования им конституции австрийским императором, в награду за их постоянную верность его Престолу и за ту активную помощь, какую они оказали правительству при подавлении развившейся в Галиции анархии.

Русский народ в Галиции всё время польского над ним владычества хранил неприкосновенно свои обычаи – свой русский язык, конечно, несколько в искажённом виде (на котором теперь пишутся, однако, стихи, песни, значительные литературные произведения, даже издаётся газета „Зоря Галицка“), – но религия его предков искажилась унией»³².

После перехода Галиции под Австрию положение русин на первых порах несколько улучшилось (в части утверждения их языка, развития образования), но ненадолго – прежнее польское преобладание в крае скоро вернулось и усилилось в ущерб русинскому этносу. Когда же в 1846 году местное польское панство поднялось против австрийского правительства, русины – мягкие и сердечные по натуре – мщением вековечным врагам своим не занялись. Мстили полякам другие их враги – как и русины обездоленные, но более их воинственные – мазуры, считавшие себя потомками пруссов. О том, как они мстили, вырезав до пятнадцати тысяч польских семей, рассказал другой участник Венгерского похода, подпоручик Галицкого егерского полка Верниковский, чей полк, вступив в Венгрию из Польши, прошёл маршем через

поселения мазуров, располагавшиеся на территориях, некогда принадлежавших балтийским пруссам, покорённых и искоренённых германскими крестоносцами:

«Странным явлением в 1846 году было то, что русины, населяющие восточную Галицию, не любимую поляками, не принимали участия в избиении панов и стояли в стороне. Такое безучастие русинов в деле Польского погрома плохо было оценено поляками. Они все меры употребляли к тому, чтобы убить русскую народность и веру народа; преследуют русинов и строят новые планы восстановления Польши с помощью Австрии...

Русские войска в Галиции шли по мирному положению и ещё не испытывали бивачной жизни, а останавливались для ночлегов по деревням, где из любопытства мы расспрашивали мазуров о 1846 годе. Они со всем цинизмом, как бы хвастаясь доблестным делом, преравнодушно рассказывали, как они уничтожали панов и заставляли их умирать в мучениях; кого распинали на досках и вырывали внутренности, кого распиливали досками пополам. Страшные были истязания и страшная была смерть панов; не было пощады ни старым, ни малым; уцелели только те из них, кого они не захватили дома. Когда мы им говорили о том, что погибшие паны были поляки и что не следовало с ними так поступать, потому что они и сами тоже поляки, на это они опять возражали, что они не поляки, а мазуры и цесарцы. Мазуры, коренная отрасль польского племени и говорит на польском наречии, но отрицают своё польское происхождение; а панская над ними неправда поставила их в такое тяжёлое положение, что они в настоящее время стремятся к выселению в Америку и не хотят иметь ничего общего с панами. Им чужда мысль о восстановлении Польши»³².

По описанию Алабина жильё русинов представляет собой бревенчатые курные избы, в которых во время топки «по-чёрному» дым по полу не стелется, а выходит наружу через высоко посаженные оконные проёмы. Иконы, дабы не окуривать их дымом, хозяева домов держат снаружи, над входной дверью. В 1846 году, в год избиения поляков мазурами, нивы русин, и без того скудные, остались невозделанными, последующие два года был неурожай, после которого Алабин наблюдал коренное население края обездоленным и голодным, промышлявшим контрабандой, готовым на любую работу ради куска хлеба.

Позже, по завершении Венгерской кампании, на обратной дороге домой Камчатский егерский полк стал на постой в венгерском местечке Дарог, неподалёку от Дебричина (ныне – Дебрецен). Здесь Алабин, к превеликому своему удивлению, обнаружил и описал уже мадыарскую ветвь русинского племени:

«Нас удивило, что большая часть жителей с. Дарог – православные, хотя не знают другого языка, кроме венгерского, и носят чисто венгерский костюм. По всей вероятности, местное население

состоит из омадьярившихся славян, подавленных полчищами угров при их водворении в крае; доказательством этому, что здешние поселения сохранили доселе свои славянские названия, например Дарог, Берез-Сас, Токай (То-Грай?), самый Дебричин и множество других.

Жители города исповедуют православную веру почти в первобытной её чистоте. Богослужение отправляется по славянским книгам, отпечатанным в Киево-Печерской Лавре или во Львове...

Священник острижен и обрит. Вне церковной службы он в одежде католического ксёндза; во время служения на нём риза, такая же, как у наших священников...

Церквей, подобных Дарогской, в Венгрии насчитывают до 1 500, и 30 монастырей»³².

Ещё одно интересное этнографическое наблюдение Пётр Владимирович Алабин сделал в городе Эспериес, населённом преимущественно словаками. Как сторонники австрийского императора, они встретили русских воинов «с выражением не только приязни, но даже восторга». Эспериес оказался чистым, красивым городом, расположившимся среди покрытых виноградниками гор. В центре города – униатский кафедральный собор, являющийся местом проведения церковных служб грекокатолическим епископом, проживающим в городе, управляющим всем униатским духовенством Венгрии.

Одежда мужской части горожан – широкополые шляпы с низкой тульей, расшитые чёрными шнурами куртки из дублёной овечьей кожи, маленькие гусарские сапожки – навеяла Алабину воспоминания детства. Жители города – эспериесцы – в своё время под именем венгерцев скитались по всей России, вплоть до Восточной Сибири, таская за спиной мешок с так называемыми олейками (то есть лекарственными маслами), а также средствами от тараканов, клопов, моли, иголками, ножницами и всякой всячиной.

«Эти так называемые венгерцы, помним, бывали желанными гостями в наших деревенских захолустьях. Помним, из времён нашего детства, с каким замиранием наших маленьких сердец мы ждали, как начнёт, бывало, развязывать свой короб такой венгерец. С каким любопытством мы рассматривали всякую вещицу из этого короба; с каким удовольствием мы вслушивались в полурусскую речь венгерца, какую-то ломаную и отличавшуюся особенным акцентом. Живо помним, сколько наслаждений доставляли нам, в своё время, эти неутомимые скитальцы. Теперь их не видать у нас, на Руси. Им запретили торговать олейками, главным предметом их прежней у нас торговли, и вот если они и попадают у нас в настоящее время, то или с мышеловками и другими жестяными изделиями, или с красным товаром, большей частью московской фабрикации»³².

В Венгрии Алабин продолжил свою краеведческую работу, изучая и описывая корни коренного мадьярского (или венгерского) этноса. В этих штудиях стал он на сторону модной в то время в Венгрии теории «черкесского следа» в происхождении угров, некогда пришедших на земли Паннонии.

«Мы уже упомянули, что горы, по которым мы теперь скитались, назывались Дарго.

При этом имени в нашей памяти воскресает Кавказ и кавказское Дарго, столь прославленное русским оружием и залитое русской кровью. В этом тождестве названий нет ничего удивительного. В Венгрии множество урочищ, селений, древних фамилий, предметов домашнего обихода и т. д. носят те же названия, что и у кавказских горцев. При том, стоит только хорошенько всмотреться в быт, в домашнюю жизнь, в самую наружность венгерца, чтобы найти в них много общего с бытом, домашнею жизнью и наружностью некоторых племён кавказских горцев. Тот же тип венгерских женщин, что и черкешенок; так же скоро стареются и дурнеют те, как и эти; та же стройность и гордый вид мужчин; та же страсть к оружию у тех и других; то же уменье носить неразлучную, как с теми, так и с другими, бурку. Наконец, венгерцы сказывали нам, что они понимают множество слов из разговора бывших при нашем отряде черкес. Вообще венгры убеждены, что некоторые племена, доселе обитающие на Кавказе, им родственные и что они сами – кавказские выходцы.

Венгерца Де-Бэсс нарочно ездил по Кавказу в 1829 и 1830 годах с целью отыскать там следы родства венгерцев с черкесскими племенами. Он рассказал много любопытного в этом отношении из своего путешествия.

Так, он утверждает, что нашёл на Кавказе племена, выдающие себя за первообраз мадьяр, с восторгом узнавшие в нём мадьяра с дунайских берегов. Де-Бэссу неоднократно повторяли на Кавказе общее поверье черкес, что дунайские мадьяры прежде жили на местах, ныне занятых черноморскими казаками, и что они, будучи тесными каким-то могучим соседом, бежали за Кубань.

Сколько видно из изысканий, доселе нам известных, о происхождении венгров, народ этот, волей или неволей, но впервые появился в Европе вместе с гуннами, в составе полчищ Атиллы. Память о славном походе в чудные западные страны, покорённые полчищами «Бича Божия», должна была жить в племенах этих полчищ, эти полчища составляющих, и вот, от времени до времени, новые орды кавказских мадьяр шли искать счастья и добычи в тех странах запада, которые своими баснословными богатствами обольщали их восточное воображение. Поход одной из таких орд совершился, по сказанию венгерских летописцев и нашего Нестора, в 898 году с восточного берега Днепра на Киев. Венгры при этом побили русских, ограбили Киев, взяв с него богатую дань и присоединив к себе союзных киевлянам куманов и русских искателей приключений, устремились на запад, в Карпатские горы, где и осели, вероятно, обольщённые богатством роскошной природы, напоминавшей им их родные горы, возврат в которые им был уже не нужен или невозможен. С этого, собственно, времени и начинается история венгерского народа»³².

Согласно современным историческим воззрениям, предками венгров (мадьяров) был союз угорского и тюркского народов, которые кочевали

в заволжских степях Южного Урала. В конце седьмого века союз этих племён расселился между реками Дон и Днепр, оказался в составе еврейского Хазарского каганата. В начале девятого века венгры откололись от ослабевшей метрополии, но некоторое время оставались в степях, подконтрольных Киеву. В конце девятого века под давлением могущественных соседей – печенегов, русских и дунайских болгар – венгры переместились в Моравию, где одержали решительную победу над местными племенами и организовали государство Венгрия³³.

Теория «черкесского следа» в истории венгерского этноса, изложенная Алабиным, в некоторых её частях хорошо сопрягается с ныне установившимся взглядом на историю венгерского народа, но ещё ждёт своего фундаментального исследователя.

Основную часть времени на территории Венгрии Камчатский егерский полк провёл в гарнизонной стоянке в городе Кашау. Горожане, с учётом угасания повстанческого движения, принимали непрошенных гостей весьма радушно. Кормили и поили их по всем законам местного гостеприимства, чем дали автору походных записок оценить и описать венгерскую кухню:

«Венгерская кухня пришлась нам не по вкусу: суп с шафраном; на особом блюде холодная варёная говядина и к ней в соуснике какой-то кислый соус; несколько соусов, большей частью приправленных черносливом и изюмом; гора весьма жирного плова, и в вершине этой горы, будто кратер, углубление, наполненное грибным соусом; какие-то ватрушки, только формой похожие на наши; жареные цыплята, поданные на манер телячьих ножек у нас, т. е. обваленные в муке и обжаренные, и т. д. Часть кушанья на свином сале. Хрен в большинстве случаев заменяет горчицу. Пирожное подают прежде жаркого, обыкновенно сопровождаемого разными салатами, в том числе из стручкового перца. Вообще высушенным и истолчённым в порошок стручковым перцем, заменяющим у них кайенну, венгерцы обильно посыпают чуть ли не каждое кушанье, несмотря на то что паприки, т. е. стручковый перец, послужили уже приправой для многих из них. Редиска стоит на столе весь обед, и её разносят после разных кушаний. Вместо кваса – питьё из вишневого сока – очень вкусное. Вино, сладкое и кислое, превосходных качеств, настоящее венгерское, предлагалось в изобилии. После обеда подают чёрный кофе.

По выходе из-за стола, как и у нас в старосветских семействах на Руси, хозяин целуетя с хозяйкой, благодаря её за хлопоты, а гости подходят благодарить хозяев, причём целуют руку хозяйки»³².

Особое впечатление на господ офицеров победившей армии произвело посещение центра венгерского виноделия в городке Маад, где им был устроен роскошный приём с дегустацией вин, сопровождаемой деликатесными заедками. Сам городок произвёл на гостей самое благоприятное впечатление. Виноделие, как основное занятие его жителей, позволяет его обитателям жить в уюте и достатке. Все дома в городке – каменные, хорошо снаружи выбе-

ленные, покрыты железными и черепичными крышами, на углах которых, на небольших шестах, красуются деревянные звёзды. Внутри хорошо обставленных жилищ – удивительная чистота и порядок; в домашнем хозяйстве много животных и птиц.

«Обыкновенно дом венгерца разделён на две половины, большею частью даже и у того, кто победнее. Между этими половинами – большие сени, в которых устроен очаг. В домашней утвари тоже особенность, например, наши вёдра заменяются кувшинами прихотливой формы, с горлушком, закрытым глиняною решёткою, чтобы не сорилась вода. Колодцев обыкновенно очень много, все круглые, наподобие турецких, внутри выложенные кирпичом, вместо обыкновенного у нас деревянного сруба. У каждого почти дома каменный погреб с выходом. Погреба эти, с большим или меньшим числом подземных галерей (смотря по достатку хозяина), с каменными сводами, такими же полами и частыми нишами в стенах. Есть погреба, имеющие протяжение более версты, если считать все галереи. В них хранятся вина, рассортированные по годам, не только многие десятки лет, но даже столетия»³².

В один из таких погребов – на следующий после общегородской дегустации день – офицеров Камчатского полка пригласил позавтракать один из богатейших виноторговцев Маада, еврей Тапфельбатли. Прежде чем усадить гостей за стол, хозяин дома повёл их на экскурсию по подземным галереям для проведения сравнительной оценки качества хранящихся в них вин. За завтраком, к которому были поданы лучшие их образцы, он, ведя общение на польском языке, рассказал изрядно отяжелевшим от выпитого господам офицерам о производстве элитных сортов вин в его крае.

«По рассказам нашего хозяина, лучшие венгерские вина добываются на так называемой Токайской горе, т. е. по кряжу горной цепи Гедялла, составляющей карпатский отрог, ограждающий правый берег р. Тейсы, разделяя долину этой реки от долины р. Гернани.

...Высшие сорта сладкого венгерского вина добывают из винограда, которому дают почти завянуть и обсахариться в лозе до того, что в каждой ягоде остаётся только несколько капель густой сладкой жидкости. Собрав такой виноград, почти превратившийся в изюм, его мнут в кадках (но отнюдь не давят, чтобы не раздавить виноградных косточек), образуя что-то вроде жидкого теста, складывают эту массу в бочки, поставленные на дно, отчего сок выдавливается из этой массы собственною её тяжестью, затем таковой отцеживают и, разбавив его старым, венгерским же, вином, оставляют бродить, подвергая дальнейшей обработке как обыкновенное вино.

Начало виноделия в этом крае относят к глубокой древности. Утверждают, что первые виноградные лозы, привезённые из Греции, здесь насажены по повелению императора Проба около 280

по Р. Х., но общеевропейскую известность и чрезвычайное распространение токайское вино получило только в XVII столетии»³².

Безмятежную жизнь в Кашау офицерам Камчатского полка нарушил приказ содействовать местным властям в исполнении полицейских функций, прежде всего – в задержаниях и арестах участников восстания. Кроме того, австрийские власти привлекли пришлых союзников к конфискации у населения денежных знаков, которыми революционное правительство прежде заменило австрийские купюры. (В результате повторного силового обмена денег многие венгерские семьи остались без средств к существованию.)

Завершилась Венгерская кампания для русской армии не только победой, но и – к исходу похода – вспышкой в её рядах эпидемии холеры, в ликвидации которой армейское начальство показало свою полную беспомощность и безответственность. Госпитальная часть в армии оказалась полностью дезорганизованной перед эпидемическим заболеванием такого масштаба. Для оперативного обустройства госпиталя не оказалось ни денежных, ни материальных средств. В наскоро организованный в Кашау (в лучшем магнатском доме города) лазарет свозили без разбора поражённых как холерой, так и другими заболеваниями солдат. За время эпидемии в Кашау скопилось до пяти тысяч больных при четырёх врачах и десяти фельдшерах медицинского персонала.

«Мы потеряли: убитыми 708 человек, умершими от ран 278 человек, ранеными 2 030 человек и контуженными 127 человек.

Очевидно, таким образом, что в эту кампанию мы бы понесли потерю незначительную, если бы, по несчастью, у нас не появилась холера, от которой у нас заболели более 23 000 человек, из коих умерло 7 788 человек»³².

Воинскую службу Пётр Владимирович Алабин завершил в 1857 году, когда вышел в отставку в чине капитана и перешёл на службу по гражданскому ведомству. Девять лет управлял Вятской удельной конторой, а с начала 1866 года в течение десяти лет состоял управляющим Самарской палатой государственных имуществ. Как гражданин Самары, он самым достойным образом «отметился» в освобождении Болгарии от турецкого ига.

Часть вторая. Балканская война 1877–1878 годов

В апреле 1876 года в Болгарии вспыхнуло антитурецкое восстание, которое через месяц было зверски подавлено отрядами башибузуков, вырезавшими до тридцати тысяч жителей страны. Годом раньше восстала Босния и Герцеговина, а 18 июня 1876 года войну Турции официально объявила Сербия (чуть позже и Черногория), поддержанная сотнями русских добровольцев. В их числе был генерал Михаил Григорьевич Черняев, который (16 апреля 1876 года) неофициально, вопреки запрету дипломатического ведомства России, тайно прибыл в Сербию и принял предложение революци-

онного правительства возглавить армию страны в военных действиях против Турции. Командирами крупных соединений сербов также стали русские офицеры, среди которых находились сыновья Петра Владимировича Алабина, Василий и Иван, – оба гвардейские офицеры. (Василий Алабин командовал ротой в русско-болгарском батальоне.)

Сербская армия являла собой соединение партизанских частей, подчинявшихся лишь своим воеводам и не всегда исполнявших приказы главнокомандующего генерала Черняева. В сербских частях была низкая дисциплина, отсутствовали штабы и интендантская служба, плохо обстояло дело с вооружением. В первую неделю боевых действий сербами были израсходованы все имевшиеся у них боеприпасы, и в дальнейшем добровольцы обеспечивали себя преимущественно трофейным вооружением. Материальная поддержка сербским формированиям шла из России, как за счёт добровольных пожертвований, так и за счёт временно тайного финансирования русского правительства. Координировал эту деятельность Московский славянский комитет, секретарь которого, Анна Фёдоровна Аксакова (урождённая Тютчева), в дневниковой записи от 20 августа 1876 года, помимо прочего, отметила:

«Денежные пожертвования по-прежнему стекаются со всех сторон. С 8 по 17 августа комитетом получено 73 тысячи рублей. Расходы тоже весьма значительны, и комитет готов к ним. На сегодняшний день комитет послал три санитарных поезда, 300 добровольцев, большинство из которых офицеры, не считая других расходов»³⁴.

После двух побед над турецкими войсками в третьем бою – 17 октября 1877 года – генерал Черняев (покоритель Туркестана, штурмом взявший в 1865 году неприступный Ташкент) потерпел первое в своей жизни поражение. За два дня известие об этом событии дошло до Петербурга и отразилось, в частности, в дневнике Аксаковой:

«Утром распространилась весть, что Черняев потерпел сокрушительное поражение. Турки взяли Дуннихские высоты, сербская артиллерия взбунтовалась против Черняева и отказалась сражаться. Русские добровольцы одни рисковали собой и почти все геройски положили свои жизни. Предательски брошенные сербами, за которых сражались, они все остались на поле боя. Сербская линия рубежей была прорвана, Хорватович был остановлен Черняевым. В Москве возникла растерянность, и, надо сказать, распространились сильнейшие упреки в малодушии и проволочках нашего правительства в дипломатических переговорах.

Вечером Гиляров прислал моему мужу телеграмму из «Правительственного вестника», извещавшую, что Игнатъев предъявил Порте ультиматум от имени Государя, который требует от Порты заключения перемирия на двухмесячный срок и немедленного прекращения жестокостей; в случае отказа Игнатъев в течение двух дней покинет Константинополь вместе со всем русским посольством. В Москве приняли этот ультиматум с энтузиазмом; никто

не сомневается, что дело идёт к войне – к войне, которой давно уже требует наша поруганная национальная честь»³⁴.

В развитие ультиматума русского послу правительству Высокой Порты, по предложению Англии и России, с 26 декабря 1876 года по 20 января 1877 года в Константинополе была проведена конференция ведущих европейских государств и Турции. От её правительства европейская сторона потребовала, в частности, предоставить Болгарии самоуправление и гарантировать её населению гражданские права. После того как султан отказался выполнить эти требования, Россия – в апреле 1877 года – объявила Турции войну и ввела свои войска на территорию Болгарии.

Вместе с русской армией реку Днестр пересекла делегация города Самары в составе городского головы Ефима Тимофеевича Кожевникова и гласного думы Петра Владимировича Алабина. Прибыв в лагерь болгарской армии, располагавшийся в румынском городе Плоешти, самарские делегаты вручили её командованию знамя, вышитое инокинями Иверского монастыря (под началом жены Алабина Варвары Васильевны).

«Знамя трёхцветное, с вышитым на нём крестом, в середине которого с одной стороны изображение иконы Иверской Божьей Матери, когда-то потерпевшей в войне с агарянами (нынешними турками), и на другой – иконы Святителей Кирилла и Мефодия, Просветителей Руси. При нём три ленты: белая свободная, а последних: на одной – красной, вышито золотом „Да воскреснет Бог и распогасятся врази“, на другой – голубой, вышито „Самара. Болгарскому народу, 1876 год“ и серебряное копье с изображением в середине обеих сторон восьмиконечного креста».

Через несколько месяцев Пётр Владимирович Алабин, уже как уполномоченный Красного Креста при действующей армии, вторично, с караваном «гуманитарного груза» от земляков, прибыл в Румынию и в городе Торговище организовал пункт обеспечения проходящих санитарных поездов медикаментами и продовольствием. Ближе к концу осени, перебравшись к самому театру военных действий, Алабин в придунайской Зимнице заведовал двумя военными госпиталями. В них он встретился с Николаем Ивановичем Пироговым, с которым был знаком ещё с времён Крымской войны и который в войне текущей спас от ампутации ногу его сыну, Андрею, раненному в боях под Плевной. Ещё некоторое время Пётр Владимирович потрудился в новой должности агента Московского славянского благотворительного общества в Болгарии – оказывал материальную поддержку семьям убитых и раненых болгарских солдат, помогал сиротам, содействовал восстановлению школ и церквей.

В начале декабря 1877 года он получил неожиданное для себя предложение от князя Владимира Александровича Черкасского, возглавлявшего в Болгарии Русское гражданское управление на освобождённых от турецких войск территориях, занять должность гражданского губернатора в Софии. О предложении этом Пётр Владимирович Алабин, как дисциплинированный подчинённый, известил своего непосредственного начальника Ивана Сергеевича Аксакова в письме от 14 декабря 1877 года:

«Предложение, сделанное мне князем Черкасским, принять должность Софийского Губернатора было для меня совершенной неожиданностью. Я не считал возможным отказаться от этого, впрочем, лестного для меня предложения и потому уже, что оставаться под главным управлением Князя Черкасского не в той должности, в какой он желал бы меня видеть...»³⁴

В новой должности помощником Алабина был назначен профессор-славист Харьковского университета, болгарин по национальности Марин Степанович Дринов, который был откомандирован в распоряжение главнокомандующего русской армией. (Позже он, выпускник Московского университета, стал последовательно вице-губернатором Софии, министром народного образования независимой Софии.)

Усилиями Алабина в болгарской столице было открыто несколько военных училищ, организовано обучение болгарских юношей в Елизаветградской военной школе, подготовка для болгарской армии пиротехников (в Петергофе) и оружейников (в Туле). Он организовывал среди русских офицеров и чиновников благотворительные лотереи, концерты, вечера, средства от которых шли на стипендии малоимущим болгарским школьникам и студентам³⁵.

Его энергии и настойчивости Болгария обязана членством в Международном почтовом союзе. Под его началом были разработаны медицинский и аптечный уставы; в дни его управления болгарской столицей был организован первый народный банк, заработали типографии, в которых издавались произведения русских классиков (недостаток болгарских книг на первых порах восполняли русскоязычной литературой высокого уровня).

По инициативе Алабина и Дринова было учреждено Общество публичной библиотеки, главной задачей которого стал сбор пожертвований (деньгами и книгами) в фонд создания государственной библиотеки. По просьбе Петра Владимировича активное участие в делах этого общества принял сын Александра Сергеевича Пушкина, генерал Александр Александрович Пушкин, представивший библиотеке все книги отца, которые он держал при себе³⁶.

Первый гражданский губернатор Софии, имевший достаточный опыт библиотечного дела в России, разработал проект устава Софийской публичной библиотеки и бесплатной при ней читальни. Он возглавил попечительский комитет библиотеки, а первым библиотекарем стал назначенный им Иван Шумков, благодаря деятельности которого в библиотеке было заложено основание отдела восточных рукописей. Открытие Софийской публичной библиотеки состоялось 28 ноября (10 декабря) 1878 года, а читальный зал при ней начал функционировать с 15 января 1879 года. Алабин к этому времени уже покинул Болгарию (в октябре 1878 года). По дороге домой он завернул в Умань – побывал в любимой «Софиевке», помянул добрым словом своего любимца, поэта Трембецкого:

«С лишком тридцать три года я не был в Софиевке, и, может быть, упомянутых видимых воспоминаний о Трембецком в ней и не существует уже ныне, но я ещё видел их, и память о певце этого

живописного уголка ещё сохранилась тогда в преданиях у его обитателей.

...Трембецкий большую часть своей юности провёл в путешествиях по Европе и при дворе Людовика XV. Он получил отличное образование и изучением древних классиков развил свой природный талант до того, что, по словам знатоков польской литературы, произведения Трембецкого навсегда останутся её украшением как замечательные образы лирической поэзии. Обладая живым и мощным воображением, мастерски владея родным языком, в который ввёл множество смелых, счастливых оборотов, Трембецкий умел придать своим произведениям обаятельный колорит классической древности.

Трембецкий при жизни опубликовал весьма немногие свои произведения, и то, большей частью, прозой, постоянно трудясь над разработкой вопросов отечественной истории, но, к сожалению, его труды доселе не обнародованы, так как за полтора года до смерти он сильно заболел и передал все свои рукописи генеральше Потоцкой. Лишившись совершенно памяти от своей болезни, Трембецкий забыл о своих литературных трудах до такой степени, что, когда ему показали том его стихотворений, напечатанный в Вильне, в 1806 году, он, кроме перевода Вольтеровой комедии «Расточительный сын», не признал прочих стихотворений, помещённых в этом томе, за свои. Трембецкому, не утратившему до конца жизни эстетического чувства, в последние годы случалось не раз восторгаться красотами собственных своих произведений, когда их читали ему, и с любопытством спрашивал об имени автора! На вопрос, что заключается в рукописях, им отданных генеральше Потоцкой, Трембецкий отвечал, что никаких рукописей ей, кажется, не отдавал. Между тем известно, что Трембецкий написал историю древней Польши, труд, составивший более 200 листов большого формата, и также отдал их известному Чацкому с тем, чтобы этот труд был напечатан после его смерти. Завещание это не исполнено, и где находится эта, может быть, замечательная рукопись – неизвестно.

...В последние годы своей жизни Трембецкий часто бывал в Софиевке. Она создавалась на его глазах; и несомненно, что в самом процессе этого создания или, лучше сказать, различных поэтических частей этого прекрасного целого, принимало немалое участие пылкое воображение Трембецкого, воспитанное на древних образцах, и его эстетическое чувство, изошрённое в долгие годы жизни при версальском дворе. На создании Софиевки тем естественнее было отразиться влиянию Трембецкого, что этот человек, близкий самому творцу Софиевки – Щенному-Потоцкому, в то же время был приятелем Метцеля, инженерного капитана, вывезенного Потоцким из-за границы, которому, как отличному знатоку садовой архитектуры и гидравлики, и было поручено устройство Софиевки.

...Трембецкий в молодости обладал кипучей натурой и, по собственным его словам, имел до 50 дуэлей на своём веку, все за женщин, за что в Париже был прозван «убийцей маркизов»; но он умер

холостяком, на 90-м году жизни, 12 января 1812 года, сохранив до последней минуты здравый рассудок и никогда ему не изменявшую весёлость. Словом, Трембецкий умер так, как будто бы действительно, говоря его собственными словами, „сознал, что удручённому годами пора перестать быть человеком, и потому так же спокойно лёг в могилу, как после приятной застольной беседы встал бы из-за стола!“»³¹

В Самаре с конца 1884 года до марта 1891 года Алабин занимал должность городского головы. За время его управления городом в нём были построены и начали функционировать чугунолитейный завод, маслобойный завод, типография, пастеровская станция, метеорологическая станция, городской водопровод, городской театр, спичечная фабрика «Волга», кирпичный завод, паровая мукомольная мельница, кондитерская фабрика, мыловаренный завод. Впервые в Самаре для освещения применили газ, начала действовать первая телефонная станция на десять номеров, продолжалось строительство собора.

После жестокой засухи лета 1891 года Самарская губерния оказалась на грани голода. Поступившие от правительства средства на помощь голодающим оказались явно недостаточными, требовалось вдвое больше. В сложившейся ситуации городской голова Алабин вынужденно купил у местного купца низкосортную муку подешевле, которая оказалась затхлой и прогорклой; закупленная у одесских торговцев мука оказалась с примесью трав. Недоброкачественный хлеб вызвал в губернии массовые кишечные заболевания. Разразился скандал – городского голову обвиняли в сговоре с торговцами мукой. Прибывшая в Самару комиссия министерства внутренних дел подтвердила закупку низкосортной муки, после чего летом 1892 года по указу Правительствующего сената Алабин был смещён с должности председателя губернской земской управы. За «*преступление по должности*» на него было заведено судебное дело.

В июне 1895 года Московская судебная палата, заседавшая в Нижнем Новгороде, рассмотрела дело Алабина и оправдала его, а общественность Самары, в знак полного доверия к своему городскому голове, даже вручила Петру Владимировичу икону Господа Вседержителя. Однако решение нижегородского суда вскоре было опротестовано прокурором в судебном порядке и отменено. Было назначено новое судебное слушание, до которого Пётр Владимирович уже не дожил.

Скончался он 10 мая 1896 года, оставив юдоль земную с тяжким грузом неснятых обвинений. Похоронили его в Самаре, на территории Иверского женского монастыря.

Иван Сергеевич Аксаков

Свой тридцать второй день рождения Иван Сергеевич Аксаков, на время события – казначей и квартирмейстер Серпуховской дружины Московского ополчения, двигавшегося в сторону баталий Крымской войны, встретил в Умани.

Был конец сентября 1855 года – пора золотой осени. Но на «багрец и золото» Софиевского парка, тогда именовавшегося Царским садом, доброволец Аксаков, кажется, внимания обратить не успел. хлопоты по размещению слабо организованного воинства в капитальных казармах Уманского центра военных поселений, по обеспечению его пропитанием свободного времени штаб-капитану Аксакову не оставили. Только и сумел он выкроить час-другой после отбоя на обязательное «отчётное» письмо любезным родителям: папеньке («отесиньке») Сергею Тимофеевичу Аксакову (маститому писателю, автору знаменитой «Семейной хроники») и маменьке Ольге Семёновне.

*«1855 года сентября 29-го,
город Умань.*

Уж очень давно не писал я вам, милый мой отесинька и милая маменька: на пути не было города... От Киева до Умани сторона очень интересная, но память постоянно ослабевает от постоянного изменения картин местности, людей, обстановки, впечатлений и ощущений; всё потом мешается и спутывается в голове, и только редкие явления удерживаются в памяти; записывать некогда; часто приходит в голову мысль: вот об этом непременно расскажу в письме, это замечание необходимо сообщить, но бумаги под рукою нет, старое сменяется новым, и только с трудом с помощью маршрута и напряжённой памяти могут выясняться и отдельно прожитые впечатления...»³⁷

Подобные письма – неизменно почтительные и обстоятельные – любящий сын Иван Аксаков писал своим родителям регулярно, на всём пути перемещения Московского ополчения к театру боевых действий несчастной для России Крымской войны.

Часть первая. Подвижное ополчение 1855 года

Незадолго до своей кончины – для современников во многом загадочной – император Николай I, стремясь как-то компенсировать недостаточность рекрутских наборов для стремительно тающей Крымской армии, подписал 9 января 1855 года манифест, коим повелел «*приступить ко всеобщему государственному ополчению*». Согласно царёву слову, ополчение провозглашалось «*общим*» (то есть сформированным за казённый счёт из представителей всех податных сословий, кроме купеческого), «*подвижным*» (то есть для использования далеко от места его формирования) и фактически штатным армейским подразделением из расчёта прикрепления двух ополченческих дружин к одному полку.

В ополчение «забравали», как в армию, преимущественно помещичьих и государственных крестьян; те особо не сопротивлялись, искренне и наивно полагая, что по завершении баталий им будет дана вольная. С этой вековой, неистребимой верой вместе с другими ратниками получали они от интенданта для фуражки ополченческий крест из жёлтой латуни с надписью

«За Веру и Царя» на нём, серую суконную фуражку и армяк с погонами, шаровары в сапоги, холщовую рубаху, кожаный кушак. (У офицеров-дворян кушак был красного цвета, а место погон занимали золотые эполеты.)

Строчные чины получали в качестве вооружения обыкновенный топор и старое («*времён Очакова и покоренья Крыма*») ружьё, после чего во главе офицера, с пехотной полусаблей на боку, становились в походный строй под знамя дружины, представлявшего из себя золотое полотнище из зелёного шёлка, посредине которого сияли золотом вышитые ополченческий крест и ополченческий девиз «За Веру, Царя и Отечество»³⁸.

Иван Сергеевич Аксаков, желая выполнить, как он сам определил, «*историческую повинность*», разделить тяготы, выпавшие на долю отечества, записался в Серпуховскую дружину подвижного ополчения 18 февраля 1855 года (так уж получилось – в день смерти Николая I). В эти дни его встретил и описал Пантелеймон Александрович Кулиш:

«Под Москвой встретил я Ивана Аксакова, штабс-капитана. Он молодец в национальной одежде и радуется, что, выйдя в отставку, получил право носить её. Служить ему трудно, но доволен успокоением совести, которая могла бы сказать ему: «А где ты был, когда решалась судьба твоего отечества?» Хорошо ли, дурно ли распоряжаются сверху – но, по его словам, каждый должен, сколько может, понести общей тяжести, и для совершенства души необходимо иногда делать дело не по своему вкусу, так, чтобы чувствовалось, что трёшь ляжку».

От предложения стать начальником дружины штабс-капитан Аксаков отказался, согласившись на должность казначея и квартирмейстера, более соответствовавшей его прежним профессиональным занятиям. Окончив в 1842 году Императорское училище правоведения – привилегированное учебное заведение для детей дворян, готовившее из них кадры для высшей администрации, – он почти десять лет своей жизни (до отставки в 1851 году) отдал государственной службе, сначала в министерстве юстиции, затем в министерстве внутренних дел.

Начальником Серпуховской дружины был утверждён граф Иван Петрович Толстой, который в должности этой более представлял, чем реально командовал; *de facto* начальствовал над ополчением его молодой заместитель.

*«Суббота 16 апреля 1855 года.
Серпухов.*

...На моих руках хозяйство целой дружины: снабжение людей провиантом, лошадей фуражом, приём и хранение амуниции, вещей, размещение, счетоводство, ведение бесчисленного множества книг, табелей и ведомостей. И всё это необходимо делать по закону, и всё это надобно завести, а канцелярии у нас ещё нет... Граф Толстой превосходный человек, но совершенно неопытный и по хозяйственной, и по строевой части... Набор ратников происходит

совершенно так же, как набор рекрут: идут с такой же неохотой, с такими же усилиями избавиться от ратничества...»³⁷

Участвовать в боевых действиях Серпуховскому ополчению не привелось. По прибытии в Одессу дружина была прикреплена к только формирующемуся Якутскому резервному полку, так и оставшемуся – вплоть до замещения – в резерве, в глубоком бессарабском тылу. Осталось это «небоевое воинство» на исторических скрижалях благодаря памятным письмам, которые – по раз и навсегда установившейся традиции – из похода Иван Сергеевич Аксаков посылал своим родителям.

Письма из ополчения 1855–1856 годов по сути своей являются прекрасным краеведческим исследованием и описанием всего маршрута недисциплинированного воинства из Серпухова – через Украину – в Молдавию. В них – история и география преодолеваемых пространств, особенности культуры и житейского уклада их населения, болевые проблемы народного жития в условиях помещичьего и державного гнёта, а также развёрнутая картина ополченческого быта.

Ополчение собиралось в Серпухове три месяца, и только в середине лета 1855 года отправилась в дальний путь военизированная людская масса – неорганизованная и слабо контролируемая, не знавшая точно, для какой цели и куда её гонят. Провожали дружину по русскому обычаю – с вином, гармоникой и истерическими рыданиями женщин. *«Пока мы шли городом, ратники так успели напиться, что едва, едва можно было поднять их и положить на телеги... Довольно пёструю картину представляла наша дружина: жёны несли ранцы и ружья, патронташи, и рядом с ними их пьяные мужья... Причитаньем и плачем сопровождалось каждое прощанье; многие падали в обморок и лежали долго без чувств на земле».*

Побороть повальное пьянство у ратников смог, кажется, только командир Дмитровской дружины князь Леонид Михайлович Голицын. Сумел он психологически переломить свою дружину, убедив её личный состав, что пеший переход в Киев есть не что иное как паломничество к печерским святыням, *«так что она, как богомольцы, везде служит молебны, а нет ни пьянства, ни буйства».*

«Как обрадовался я Малороссии! Какой приветливый вид этих хат, этих огромных сёл с бесконечными переулками и закоулками! Я был просто счастлив, когда увидел снова это широкое чернозёмное полотно дороги, с лоснящимися полосами от колёс, эти широкие ивы и вербы, эти плетни и гати, этих хлопотливых и без умолку говорящих хозяек, этот певучий и нежный говор»³⁷.

На Украине, по наблюдениям Ивана Сергеевича, ополчение встретили гораздо лучше, чем встречали его в России; почти везде к ним выходили священники с крестом и хоругвями во главе толп любопытствующего народа. В домах хозяйки, принимая гостей на постой, с женской заботливостью готовили им комнаты для ночлега, стряпали всякую всячину, видя перед собой усталых путников, *«отправляющихся на такое дело (Боже! Як страшно!)»*,

как на войну». Ратники же проявляли полную бесчувственность к такому радушию, циничными шутками и грубостями «оскорбляли малороссиянок, требуя ещё от хозяйки, исхлопотавшейся над угощением... как жадные волки на овец, бросаются на горилку, напиваются пьяными до безобразия, а к утру хозяйка с воплем увидит, что в награду за её гостеприимство у ней богацько гусей и кур поворовано и перерезано».

Низкую дисциплинированность своей дружины Аксаков объяснил тем, что к крестьянскому её составу добавлен разлагающий слой из горожан – «правда и то, что у нас ратники большею частью из серпуховских мещан, отданных за разврат и преступления». Именно эта «разлагающая добавка» негативно повлияла на крестьянскую часть дружинников, превратив их, по законам стадности, в некую вызывающе наглую массу. Автор уточнил, что не все из ополченцев такие, что многие ведут себя прекрасно, но обстановка пробуждает в человеке глубоко прежде спрятанные низменные чувствования: «Он не крестьянин уже, не сдерживается честностью своего быта и в то же время не обуздан строгостью военной дисциплины так, как солдат; взамен же отнятого у него нравственного начала общественного быта не даётся ему никакого другого, разве только „духа корпорации“, присущего и шайке разбойников и не имеющего в себе ничего нравственного...»

За несколько месяцев до вступления ополченческих дружин на украинскую землю здесь произошли события, связанные с переменой верховной власти в России после кончины императора Николая I. Свою присягу новому императору Александру II местное крестьянство восприняло как акт выхода его из крепостной зависимости. Об этом, в частности, протоиерей Василий Сикорский поведал в своих воспоминаниях, опубликованных в журнале «Киевская старина» за 1882 год:

«1855 год был двадцатым годом моего священства. Приход мой был село Малая Березна Сквирского уезда Киевской губернии. В этом году последовала кончина Императора Николая I-го. Все служащие и помещики, ближайшие к уездному г. Сквире, были вызваны туда на выполнение присяги на верность императору Александру II. Пристав I-го стана, после присяги в сквирском соборе, возвращаясь в свой стан, в первом селе онаго, созвал местных крестьян и привёл их к присяге. Как известно, крестьяне, по закону, в таких случаях не были допускаемы к присяге – присягали только лица свободных сословий. Неопытный пристав немедленно был вызван в Сквиру, где ему разъяснили неправильность его действий, и хотя подобный случай более не повторялся, но он последовал на последующих волнениях крестьян, о которых я хочу говорить»³⁹.

Необдуманный поступок пристава привёл к тому, что селяне считали, что часть из них (те, которые ошибочно присягнули) уже является вольными людьми, что существует царский манифест, которым всё крестьянство получает волю. Поскольку ознакомление с официальными документами проходило по обыкновению в церквях, где грамотный священник зачитывал их народу,

то прошёл слух, что священники уезда сознательно прячут царский указ об освобождении от крепостной зависимости. В итоге священники подверглись истязаниям и мучениям, от них требовали выдать спрятанный манифест, но те не могли этого сделать из-за его физического отсутствия. Волнения начались в канун праздника Пасхи, в Страстную пятницу.

Волнения приобрели столь широкий размах, что были вызваны войска. Произошли столкновения, со стрельбой, с большим числом погибших. Об этом пишет в своих воспоминаниях ещё один непосредственный участник событий, в них пострадавший, отец Антоний Ковальский, чей рассказ опубликован в том же томе «Киевской старины»:

«Массы народа приближались к нам всё ближе. Впереди шли семь человек рядом, и один из них нёс хлеб на руках на белом платке... Они объявили, что пришли жаловаться на обиды от князя и что хотят быть вольными. Афанасьев требовал покорности, раскаяния, говорил, что никакой воли не будет, пригрозил тяжёлым наказанием. Разговор длился минут десять. Вдруг с правой стороны, в толпе, кто-то, схватившись на ноги, поднял дубинку вверх и вскрикнул: «Гик!» Такой же сигнал сделан и на левой стороне, и мигом вся толпа поднялась на ноги и ринулась вперёд... Крестьяне, подбежав к солдатам, бросились на них и стали отнимать ружья. Унтер-офицер скомандовал: «Пли», но в то же мгновение над ним блеснул топор, и он пал замертво... Между тем раздались выстрелы: толпа заколыхалась, мгновенно поредела, много человек повалилось на землю, иные замертво, другие от ран»⁴⁰.

Побоище скоро завершилось, но некоторое время спустя стали подходить крестьяне из других сёл; противостояние продолжилось ещё некоторое время и спало с приходом подкрепления: «Стало веселее, а особенно когда к вечеру пришёл дивизион улан из Умани». Жертв расправы было немало: «Из крестьян, стоявших по другую сторону Роси и не принимавших участия в волнении, некоторые свидетельствовали, что уходившими из Березны вся река, бывшая тогда в разливе, была запружена, только были видны головы, как будто пни после срубленного мелкого леса». И всё это при том, что, стремясь получить желанную волю, украинские селяне стремились записаться в «козаки», с тем чтобы составившийся список был обязательно послан царю. Этого они добивались от священников, причетников и просто писарей, за это платили деньги, а при отказе прибегали к угрозам, оскорблениям, даже мучениям. Далее, думая, что они будут служить царю, они, как следствие, предполагали, что не должны служить помещикам. Мысль воплощалась в слово, от слова переходили к делу: волновались, не шли на барщину; но тут являлось усмирение, жестокое наказание.

Слова превращались в слухи, слухи облетали большие пространства, видоизменялись, пока не сформировалась окончательная молва, а затем и всеобщее твёрдое убеждение, что указ от царя пришёл, но его не читают подкупленные панамы священники. И последовала народная реакция, которую наблюдал, проходя с ополчением по Украине, Иван Сергеевич Аксаков:

«Когда вышел указ об ополчении и его прочли в церквах, то здешний народ понял его иначе: „Государь призывает всех к обороне, и нас также, хочет, чтобы мы были казаками и обороняли здешнюю сторону от ляхов“. Произошёл бунт, т. е. крестьяне восстали, давши себе слово не пить и заперев все шинки, не стали рубить паницину, уверенные, что они теперь казаки. Помещики и управляющие-поляки бежали... Употребили военную силу, даже пушки, убили несколько десятков людей, бунт кончился, и помещики, и посессоры возвратились. Но народонаселение сильно раздражено. Это просто чутьём в воздухе слышишь, да и на лицах прочесть можно»³⁷.

В начале мая 1856 года Ивана Сергеевича Аксакова, как профессионала ревизионного дела, по приказу свыше перенаправили в Крым в качестве члена *«Высочайше утверждённой следственной комиссии для открытия и дознания беспорядков и злоупотреблений по продовольствию войск бывшей Крымской и Южной армий и по содержанию госпиталей южного края»* под председательством генерал-адъютанта князя Виктора Илларионовича Васильчикова. Ему было поручено собрать все официальные статистические данные о состоянии края, *«чтобы судить о степени разорения его и истощении вследствие разных обременительных повинностей»*.

Крымская война вскрыла нечто худшее, чем техническая отсталость России, – коррупцию тыла. Примеров тому было тысячи, воровали как свои, так и поставщики-чужеземцы. В последнем случае нельзя не вспомнить такую харизматическую фигуру, как Генрих Шлиман, любитель-археолог, открывший во второй половине девятнадцатого века для человечества легендарную Трою. Своё состояние он, удачливый коммерсант, составил в России в пору Крымской войны, поставляя селитру, порох, медь и гнилое обмундирование. Жажда наживы превратила его бизнес в крупнейшую афёру, закончившуюся крупным международным скандалом. *«А вот Генрих Шлиман, военный поставщик действующей Крымской армии, гнал сотоварищам артиллериста Толстого гнилые сапоги, тухлую жратву и расплзающееся оборудование. Россия проиграла войну – зато Шлиман, прежде нищий немецкий мальчик из немецкой многодетной семьи, озолотился и на эти деньги раскопал Трою. Что мало утешило Россию»*. (Говорят, что, когда спустя много лет после «крымских дел» Шлиман обратился к Александру II за разрешением о въезде в Россию для проведения раскопок в скифских курганах, император на поданном прошении написал кратко, но ёмко: *«Пусть приезжает. Повесим!»*)

На месте недавних баталий Аксаков скоро убедился, что виденное им в ополченческом походе обворовывание чиновниками ратников – только «цветочки» в сравнении с «ягодками» безудержной вакханалии казнокрадства, добивавшей гибнущую русскую армию: *«Волосы дыбом становятся, когда вспоминаешь, до какого цинизма доходила страсть к приобретению, к набиванию кармана, в то время как люди гибли тысячами. Там, на стенах Севастополя, геройствуют; на северной стороне, в Бахчисарае, Симферополе, – оргии разврата на заграбленные деньги...»*

«Я раскрываю теперь операцию о топливе сколько могу частным образом (потому что не имею права проводить формальное следствие). Отпускались огромные суммы, целые миллионы чиновникам гражданского ведомства для снабжения войск. Деньги эти чиновники делили с командирами и офицерами, предоставляя солдатам по праву войны добывать топливо где хотят. Поэтому солдаты ломали дома, вынимали всё способное гореть, рубили драгоценнейшие фруктовые сады, вековые деревья (и всё это на самом театре войны), чудные леса и рощи долин. Напрасно бедный владелец умолял, упрашивал пощадить хоть деревья, которые нажить нельзя скоро, офицеры, генералы со смехом отталкивали его, топили его же комнаты его мебелью, кладя деньги себе в карман. Так было и с сеном, и с другими запасами. Казна же с своей стороны денег не щадила»³⁷.

«Мы осуществляем пословицу: спустя лето да в лес по ягоды», – с горечью отмечал Аксаков положение дел, при котором невозможно выявить истинных виновников казнокрадства и разорения из-за того, что «герои» недавних событий покинули край вместе с воинскими частями. Сам он недолго поработал в составе комиссии и по выходе приказа об официальном расформировании ополчения уехал в Москву. «Я получил нынче письмо от Лужковского, моего преемника в дружине, что 29 сентября состоялся высочайший приказ об увольнении меня от службы с переименованием в прежний чин надворного советника».

Работу команды князя Васильчикова продолжила вновь созданная комиссия под председательством московского губернатора Павла Алексеевича Тучкова, которая все результаты расследования передала (в 1858 году) в Генеральный военный суд. Суд признал виновными в должностных преступлениях генерал-интенданта Южной и Крымской армий Затлера и других интендантских чиновников, приговорив их всех к разжалованию в рядовые, лишению чинов, орденов и дворянского достоинства с наложением денежного взыскания в размере начисленного судом казённого ущерба.

На решение суда в части осуждения Фёдора Карловича Затлера в немалой степени повлияла кампания досудебной травли, которую против него устроила периодическая печать и ею сформированное общественное мнение; уже до судебного разбирательства он был назначен козлом отпущения за грехи армейских снабженцев и командиров, «имя которым – легион». Между тем, генерал-провиантмейстер был честным и ответственным человеком, настоящим служакой, до конца исполнившим свой воинский долг⁴¹.

Главным затруднением при снабжении крымских войск необходимыми припасами было отсутствие удобных дорог, особенно в зимнее время, в связи с недостатком перевозочных средств. Оперативность поставок ещё более упала после занятия акватории Азовского моря неприятелем. Много дополнительных забот валилось на плечи Затлера – приведение в порядок почты, посылка транспортов для перевозки больных и раненых с театра военных действий в отдалённые госпитали, доставка войскам дров и леса для постройки землянок, очистка колодцев. Район его действий распространялся на восемь губерний южной России; ему подчинено было множество чиновников интендант-

ского ведомства, преимущественно ему незнакомых и назначенных не по его выбору, производивших значительные операции, ответственность за которые ложилась в результате на генерал-интенданта. Ему же, находившемуся по долгу службы преимущественно в главной квартире, очень трудно было уследить за правильным исполнением своих распоряжений и обнаружить вовремя злоупотребления.

От непомерных нагрузок силы Затлера значительно истощились, здоровье его пошатнулось. Прощаясь с князем Горчаковым, отозванным из действующей армии в декабре 1855 года в столицу, он писал ему: *«Здоровье моё не позволяет мне оставаться генерал-интендантом, но невзирая на то, я не покину армии, а буду распоряжаться в самое опасное, в самое страшное время, в течение зимы и весны, до наступления сухих дорог, зелени и подножного корма, то есть до времени, когда условия продовольствия войск сделаются более лёгкими».*

Под арестом Фёдор Карлович Затлер находился шесть месяцев, после чего, *«во внимание к его особым заслугам»*, засвидетельствованным обоими главнокомандующими в Крыму, князем Горчаковым и сменившим его графом Лидерсом, *«милосердием императора»* приговор был смягчён, и наказание ограничено исключением из службы без разжалования в рядовые, с оставлением денежного начёта (один миллион семьсот тысяч рублей) в полной силе.

Случившееся несчастье глубоко поразило Затлера на всю его последующую жизнь, прошедшую под гнётом тяготевшего над ним несправедливого обвинения, в заботах по восстановлению своей репутации в глазах правительства и общества. Местом своего жительства он избрал Варшаву, где его давно знали и где он пользовался уважением. Наместник Царства Польского граф Берг впоследствии ходатайствовал о нём перед государем и согласно его представлению в декабре 1869 года *«Высочайше повелено было возвратить Затлеру права, беспорочной службой приобретённые, и сложить с него казённый начёт».*

Часть вторая. Иван Аксаков и Александра Смирнова-Россет



Иван Сергеевич Аксаков родился 26 сентября 1823 года в селе Надеждино, на Оренбуржье, став третьим сыном в семье. Детские и отроческие годы его прошли в Москве. В 1838 году он, на отлично выдержав вступительные испытания, поступил в Петербургское училище правоведения, где обучался его брат Григорий. Это новое учебное заведение готовило выпускников к государственной работе. Выпущенный из училища в 1842 году с чином девятого класса, Иван Сергеевич начал службу в Москве, в уголовном департаменте Правительствующего сената; был членом комиссии, занимавшейся ревизией Астраханской губернии в 1843–1844 годах под началом князя Павла Павловича Гагарина, что

подтверждают воспоминания Фёдора Андреевича Бюлера, соученика и сослуживца Ивана Сергеевича Аксакова, секретаря Сената:

«Ещё более, чем училище, меня сблизило с ним то, что почти весь 1844 год мы провели вместе в Астраханской губернии, под начальством ревизовавшего её кн. П. П. Гагарина, чрезвычайно даровитого государственного деятеля, бывшего в прошлое царствование председателем комитета министров...»

«Не могу пройти молчанием, что нас, с правителем канцелярии, было при сенаторе 12 чиновников разных лет и что Аксаков положительно работал более, чем все остальные 11. Он занимался по 16-ти часов в день, постоянно писал, читал, рылся в Своде Законов и лишь когда одолеет, бывало, какое-нибудь трудное дело, то для отдохновения и забавы примется за стихи...»

*Шибко едет вниз по Волге
Небольшая лодка,
В ней сидит князь Оболенский,
С ним табак и водка!..»⁴²*

В 1845 году Иван Сергеевич Аксаков был направлен в Калугу, служить товарищем председателя уголовной палаты. Здесь он встретился со знакомой ещё по Москве Александрой Осиповной Смирновой-Россет, чей муж, Николай Михайлович, был калужским губернатором. Об этой встрече своей с замечательной женщиной юный Аксаков написал в письме своим родителям, начав его восторженным откровением: *«Думал я прежде, что увижу чудо красоты, женщину, в которой всё гармония, всё диво, всё выше мира и страстей. В первый раз в жизни я был, заранее впрочем, очарован, мечтал Бог знает что...»*

Молодой Аксаков, хотя и был внезапно потрясён острым интеллектом несравненной Александры Осиповны, но внутренне сопротивлялся первому своему впечатлению, находил в её репликах что-то оскорбительное, неприятное. Не нравилась ему, к примеру, ирония красавицы по адресу его старшего брата Константина, подчёркивавшего некоторое время своё славянофильство «хождением в народ» в национальном русском костюме. Раздражал на первых порах Ивана Сергеевича тон разговора губернаторской жены с людьми, капризничанье с мужем, её смешная досада, что она не так окружена, как прежде...

«Эта Смирнова – олицетворённый ум, в том нельзя сомневаться; но в том-то и беда. Какой тут источник вдохновения! Замерёт, напротив, всякая поэзия! Моя душа была так внутренне оскорблена, что я не решаюсь ни за что, мне кажется, читать ей свои стихи, где есть хоть малейший оттенок чувства, мечты...»

Старый Аксаков, находившийся в постоянной переписке с сыном и познакомившийся с Александрой Осиповной раньше него, ещё в Москве, в ответном ему письме сообщил, что другой реакции от знакомства сына с этой незаурядной женщиной он и не ожидал, что сам в своё время подпал под её обаяние:

«Два часа с половиной я заставлял её говорить беспрестанно о том, о чём хотел... и что же? Я так же, как и ты, не спал до двух часов от изумления. Я не вполне доверял Гоголю и Самарину; я считал, что они оболъщены, очарованы (и мне говорили многие, что она сирена, очаровательница, волшебница) и сами того не видят. Но я увидел, что тут нет и тени ничего оболъстительного даже ни в каком отношении: я не нашёл в ней женщины; это был мужчина в спальном капоте и чепчике, очень умный и смело обо всём говорящий...»

Спустя две недели после отправки первого разъясняющего и инструктирующего письма Сергей Тимофеевич, расчувствовавшись ещё более, написал сыну новое отцовское наставление, в котором, сокрушаясь о давно ушедшей собственной молодости, дал дополнительную характеристику Александре Осиповне:

«Как чудесно выразил её Пушкин: я сохранила взор холодный, простое сердце, ум свободный и т. д. Я признаю А. О. способною к самым великим поступкам и презирающею оттого, как мелочь, все условия, законы приличия и другую молву. Я готов её признать Наполеоном, но лучше соглашусь иметь её своим царём, чем женой. Стоя на такой высоте, она не могла остаться женщиной. <...> Недоступная атмосфера целомудрия, скромности, это благоухание, окружающее прекрасную женщину, никогда её не окружало, даже в цветущей молодости: она родилась такою. Вот почему всё нежное, удивительное, грустное, неизъяснимое – сладкое в поэзии от неё ускользает. Признаюсь, мне даже грустно, что не могу узнать её близко, не могу проверить своих предположений... Разумеется, она такое существо, какого я не встречал в своей жизни».

Долго ещё молодой Аксаков не подчинялся чисто женскому обаянию Смирновой-Россет. Свои сложные чувствования к ней (кстати, превосходившей его возрастом на целых четырнадцать лет) он изложил в нескольких стихах, написанных в 1846 году в Калуге; объясняет он в них поэтическому адресату, что будто бы разгадал секрет её непреходящего обаяния:

Вы примиряетесь легко,
Вы снисходительны не в меру,
И вашу мудрость, вашу веру
Теперь я понял глубоко!
<...>
Отныне всякий свой порыв
Глубоко в душу затаив,
Я неуместными речами
Покою вам не возмущу.
Сочувствий ваших не ищу!
Живите счастливо, Бог с вами!

Можно понять восторг отца и сына Аксаковых – и ныне, только начнёшь читать об экстраординарной Александре Осиповне Смирновой-Россет, как тотчас же охватывает тебя удивление, с благоговейной оторопью граничащее. И думается: какая же она была, если лучшие из лучших людей России – Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Гоголь, Хомяков, Мятлев – десятилетиями осыпали её цветами, комплиментами, стихами, считая за счастье для себя быть в рядах её поклонников!

Родилась она в марте 1809 года. Её отец – Осип Иванович Россет – происходил из старинного французского рода; воспитывался в Генуэзском морском училище; сражался в рядах русской армии под стенами Очакова и Измаила; вместе со своим другом и родственником Ришелье стоял у истоков Одессы. Его жена, урождённая Надежда Ивановна Лорер, была французенкой по отцу, грузинкой по матери (род князей Цициановых); к моменту рождения дочери Александры ей было только шестнадцать лет⁴³.



В 1814 году, в пору чумной эпидемии в Одессе, умер Осип Иванович. Овдовев, Надежда Ивановна вторично вышла замуж за крепкого закала офицера, чьё отношение к пасынкам и падчерице было таковым, что первоначально они были препоручены заботам и воспитанию бабушки Цициановой (жившей под Николаевом), а затем перевезены в Петербург, где мальчиков Смирновых определили в Пажеский корпус, а Александру – в Екатерининский институт.

По завершении в 1828 году институтского курса с *«вензелем средней величины»* Александра Россет была назначена поначалу фрейлиной вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, а после её кончины в 1830 году – императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Светская жизнь юной фрейлины не ограничилась только пребыванием в окружении царицы, скоро у неё образовался свой круг друзей-почитателей, сообразный её природному уму и образованию.

Часто бывала Александра Осиповна в семье покойного историка Карамзина, где собирался интеллектуальный цвет столицы, где рыцарствующие поклонники обаятельной и очаровательной девушки радовались её присутствию, восхищались её качествами – умом и остроумием, добродушием и простотой общения, *«широтой вкуса, чуть-чуть приправленного едва заметной восточной ленью и усталой меланхолией»*. Здесь в неё – надолго и безнадежно – влюбился Андрей Николаевич Карамзин (сын историографа, погибший в Крымскую войну); здесь её *«черкесские глаза»*, *«...простое сердце, ум свободный, и правды пламень благородный...»* отметил Александр Сергеевич Пушкин:

...Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой чёрной
Писала прямо набело.

В начале 1832 года Александра Россет вышла замуж за Николая Михайловича Смирнова, имея за собой в качестве приданого весь блеск своего

ума, обаяния и красоты (прочную материальную базу вновь созданной семье обеспечил супруг). Далее последовала обыденность семейной жизни молодых супругов, регулярные – с заданной природой частотой – беременности Александры Осиповны, трудные (для её хрупкого организма) роды, радость общения с выжившими малышами, печаль по умершим детям. Послеродовые проблемы требовали долгого пребывания семьи за границей для восстановления сил супруги.

Вернувшись в первый раз в Петербург в 1839 году, Смирновы купили дом на Мойке; в доме этом после бала в альбоме Александры Осиповны отметился Михаил Юрьевич Лермонтов:

...Что делать? – речью безыскусной
Ваш ум занять мне не дано...
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

С 1842 года чета Смирновых вновь за границей, в Италии. Здесь окрепла дружба Александры Осиповны с Николаем Васильевичем Гоголем, начавшаяся ещё в России. (*«Она являлась истинным моим утешителем, тогда как вряд ли чьё-либо слово могло меня утешить. И, подобно двум близнецам-братьям, бывали сходны наши души между собою.»*)

В 1845 году Николай Михайлович Смирнов был назначен губернатором в Калугу. Отсюда потекли от супруги его Александры Осиповны письменные ламентации к её друзьям: *«...Обретаюсь в Калуге... в этом месяце узнала я более о России и человечестве вообще, чем во всё моё пребывание во дворце»*. В Калуге установилось (и до конца дней её продолжалось) общение Александры Осиповны с молодым Аксаковым, начало и ход которого она описала и оценила в письме Сергею Тимофеевичу Аксакову, её старому знакомому ещё по столице:

«Иван Сергеевич все прочие дни меня навещал. Иван Сергеевич не охотник говорить пустяки, а я, признаюсь, до них большая охотница. Бесплодные жалобы на порядок беспорядка общественного мне надоели тоже и тяготят так мою душу, что я с радостью хватаюсь за каждый пустяк. У Ивана Сергеевича ещё много жёсткости в суждениях, он нелегко примиряется с личностями, потому что он молод и не жил ещё. Со временем это изменится непременно, шероховатость пройдёт. Вся жизнь учит нас примиренью с детьми»⁴⁴.

Но как бы ни усложнял младший Аксаков свои отношения со Смирновой-Россет, как бы ни оценивал их в своих стихах, как бы ни противился неповторимому обаянию чудной женщины, он всякую свободную минуту свою отдавал общению с ней, интеллектуально насыщенному для обоих, в минуту сомнений искал совета у мудрейшей. Так было перед его отъездом из Калуги в конце весны 1847 года:

«На прощанье Аксаков меня спросил, что ему делать: продолжить ли авторскую карьеру или продолжить службы в Москве, где

ему предлагали место председателя Уголовной палаты? Я ему отвечала: „А как вы думаете, спросил ли Пушкин, какую карьеру ему выбрать?“ – и я решила судьбу Аксакова, о чём сожалею, потому что он не может ничего печатать без строжайшей цензуры»⁴⁴.

Временные ссоры, которые то вспыхивали, то затихали в пору общения Аксакова со Смирновой-Россет в Калуге, утихли незадолго до расставания бурливых друзей, расстояние успокоило нрав категорического в суждениях Ивана Сергеевича, далее завязались у него с Александрой Осиповной дружеские отношения, продолжившиеся в переписке (из которой, к сожалению, сохранились только письма Аксакова).

Покинув Калугу, Иван Сергеевич Аксаков год пробыл обер-секретарём департамента Сената, а в 1848 году перешёл в министерство внутренних дел, где принял к анализу и исполнению дела, связанные с открывшимися сношениями русских старообрядцев с их заграничными единоверцами. Последние находились за австрийской границей, где в 1846 году учредили так называемую Белокриницкую иерархию.

Основав своё «*собственное священство*», старообрядцы Белокриницкого монастыря замыслили первого своего епископа Амвросия возвести в верховные владыки всех старообрядцев, и австрийское правительство благоприятствовало этим намерениям. Начались активные выезды старообрядцев из Белой Криницы к своим единоверцам в Россию, и в частности в Москву. В ответ из Москвы в Белую Криницу была отправлена депутация. Об этом проведало российское правительство, усилило свои запретительные меры. Наблюдение за действиями раскольников было возложено на министра внутренних дел Перовского, который отправил в Бессарабию для оценки ситуации пунктуального и исполнительного Ивана Сергеевича Аксакова.

По итогам этой служебной поездки Аксаков составил подробный аналитический отчёт, который завершил собственными «*соображениями*», основанными на принципах увещевания и кротости, в частности:

«При очередной недостаточности мер полицейских к преграждению побегов за границу и, следовательно, к предотвращению опасного в религиозном и политическом смысле влияния заграничной лжеиерархии, необходимо отнять самый повод к побегам и для сего оставить на время существование беглых попов русского изделья без преследования, о чём дать знать по секрету местным начальникам, а в особенности Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернаторам»⁴⁵.

Следующая служебная командировка чиновнику Аксакову была выписана в Ярославскую губернию, в которой ему было предписано ревизовать городское управление и обсудить на месте вопросы введения единоверия, которому противился ярославский архиепископ Евгений (единоверие – направление в старообрядчестве, сторонники которого при сохранении древних богослужебных чинов двоеперстия, службы по старопечатным книгам и древнерусского бытового уклада признают иерархическую юрисдикцию Московского патриархата).

В пору ярославской командировки возобновилось общение Аксакова со Смирновой-Россет – уже эпистолярное: «*Какая вы добрая, Александра Осиповна! Как вы меня обрадовали вашим письмом, которое я получил уже недели с три тому назад...*» Истосковавшись по общению с умным, деликатным собеседником, Иван Сергеевич изливает наболевшее человека-мизантропа:

«Я точно разбит параличом в духовном смысле; внутреннее оцепенение тяготит меня так, что до сих пор не могу освободиться от него никакими усилиями. Прошлая зима бросила в мою душу столько сомнения, подорвала столько с таким трудом усвоенных убеждений! Против всех наших теорий и взглядов я поставил вопросы, которых не разрешил мне никто; я потерял всякую веру в человеческие истины и стремления, всякую веру в человека, к которому, неизвестно вам, я всегда был расположен питать достаточное презрение, начиная с себя самого, насквозь мной разобранного... Всё это засело на дне души и даёт тон всей внешней жизни... Одна есть истина, которую я признаю, – христианская; один путь настоящий – путь бессловесный, тот самый, о котором вы говорите в письме; да сил нет!»⁴⁶

Переписка со Смирновой-Россет для Аксакова была что бальзам на душу, дала возможность излить наболевшее понимающему его человеку и получить умный, доброжелательный совет и поддержку.

В это время Аксаков серьёзно изучал и описывал открытую им на Ярославщине секту бегунов; деятельно участвовал в организации возврата в Углич колокола из Тобольска, в делах учреждения Коммерческого училища в Ярославле, объединения любителей старины и истории. Был он накоротко с городской интеллигенцией, читал неоднократно свои стихи в литературных салонах, общался творчески с местной поэтессой Юлией Валериановной Жадовской.

Внеслужебная активность московского чиновника вызвала недовольство ярославского губернатора, Алексея Петровича Бутурлина, инспирировавшего донос на него. В феврале 1851 года, в ответ на предложение министра внутренних дел Льва Алексеевича Перовского «*прекратить авторские труды*», Иван Сергеевич Аксаков подал в отставку. При всей – как показалось друзьям – неожиданности шага писателя поступок его естественным образом вытекал из его умонастроения, из его твёрдо отстаиваемого личного права на нравственную свободу. И ещё, совершая этот крутой житейский поворот, он помнил, конечно, очень важный для него совет Александры Осиповны.

Отойдя от дел служебных, Иван Сергеевич недолго сидел на одном месте: неутолимая жажда деятельности, дух бродяжничества привели его на Украину – Русское географическое общество предложило ему исследовать украинские ярмарки, составить обобщённый статистический отчёт. Командировка длилась более года, до декабря 1854 года. Сама тематика порученной работы Аксакова не увлекла, но, в силу своей способности с головой погружаться в порученное дело, по итогам командировки он представил прекрасный отчёт (за что был отмечен медалью и премией).

«Наконец воротился я из своего странствия, любезнейшая Александра Осиповна, изъездил пять губерний, сделал 7 000 вёрст, коротко познакомился с Малороссией, с этой неотразимо-привлекательной стороной, где природа так добра, так ласкова к человеку, где было так привольно погостить и понежиться моей душе...»⁴⁶

И вдруг – в начале 1855 года, в самый разгар трагической для России Крымской войны, – порвались отношения между старинными друзьями. Аксаков написал не совсем удачное письмо в пору подготовки ополчений, Александра Осиповна прогневалась на показавшееся ей невежливым письмо, Аксаков холодно ответил, и переписка между ними на много лет прекратилась.

Прошли годы. Александра Осиповна после 19 февраля 1861 года (после отмены крепостного права) надолго уехала за границу. Аксаков вскоре начал издавать газету «День»; узнав об этом, она тотчас написала ему доброе письмо, на которое, в марте 1863 года, получила горячий и искренний отклик:

«Какой рой воспоминаний возбудил во мне ваш почерк, дорогая Александра Осиповна. Точно, Бог знает какая бездна лет, какие пропасти и горы легли и встали между мной и тем временем, когда, бывало, списывал я вам целые листы молодого горячего бреда! Я страшно изменился с тех пор, и не к лучшему: я очерствел от всех тех ударов, которые поразили меня, мою семью, всю среду, в которой врацуюсь, и только в этом очерствлении нахожу сил, чтоб жить и действовать»⁴⁴.

(К этому времени ушли друг за другом отец и брат Константин.) В переписке обсуждается вопрос об издании заметок Смирновой-Россет «Записки русского за границей», интересуется материал об Англии (о ней мало кто пишет), о религиозном движении в Англии, обсуждается вопрос передачи ей подписки на «День». В феврале 1866 года он сообщает ей из Абрамцево о своей женитьбе на Анне Фёдоровне Тютчевой:

«Теперь я на месте, у себя, дома, в Абрамцеве, и супружества моего уже считается 6 недель. Знаете ли вы, что вы первая свели меня с Анной? Я познакомился с нею у вас, и именно в Павловске. Думал ли я, слушая 20 лет тому назад ваши рассказы о фрейлинском житье-бытье и о дворцовых обычаях, что пошщу себе невесту именно между фрейлинами и именно во дворце? Впрочем, я потому сблизился с Анной, что она постоянно была там воплощённым протестом и в течение 12 лет торчала во дворце, как заноза, как постороннее тело, не разлагавшееся и не претворявшееся в органическую субстанцию придворного мира»⁴⁶.

В феврале 1875 года Аксаков отправил Смирновой-Россет письмо, в котором, извещая о начале издания новой еженедельной газеты под названием «Русь», просит её о присылке материалов для печати. Через пять лет, письмом от 30 сентября 1880 года, он сообщает ей об установке памятника Пушкину в Москве: «Вот и Пушкину поставлен памятник на площади в Москве.

Решено поставить памятник богато. Целую ручки ваши от всей души. Дай Бог вам поменее страдать от вашего недуга. Не забывайте же вам всем сердцем преданного друга Ив. Аксакова». Это было последнее письмо Аксакова к Смирновой-Россет, страдавшей жестокой болезнью, сопровождавшейся умственным расстройством. Она уже не могла не только сотрудничать в газете «Русь», но даже отвечать Аксакову.

Скончалась Анна Осиповна в Париже 7 июля 1882 года. Иван Сергеевич Аксаков в очередном выпуске «Руси» того года посвятил ей несколько сочувственных страниц:

«Её красота, столько раз воспетая поэтами, – не величаяя и блестящая красота форм (она была очень невысокого роста), а южная красота тонких, правильных линий смуглого лица и чёрных, бодрых, пронизательных глаз, вся оживлённая блеском острой мысли, её пытливый, свободный ум и искреннее влечение к интересам высшего строя – искусства, поэзии, знания – скоро создали ей при дворе и в свете исключительное положение...»⁴⁷

Александра Осиповна Смирнова-Россет завещала, чтобы её похоронили на кладбище Донского монастыря, рядом с супругом, по кончине которого (в 1870 году) она писала: «Сломался якорь моей жизни». Дочери Смирновой-Россет исполнили последнюю волю матери и после её погребения, по просьбе Ивана Сергеевича Аксакова, передали ему записки Александры Осиповны.

Часть третья. Славянофилы Аксаковы

Из двух сыновей Сергея Тимофеевича Аксакова, навсегда запечатлённых исторической памятью в разделе «Русские славянофилы», первым на литературном и общественном поприще заявил себя старший – Константин Сергеевич Аксаков, 1817 года рождения, взбудораживший российских интеллектуалов своими пьесами, статьями и поступками, отстаивавший своеобразие и самобытность России.

«Русская земля шла изначала своим самобытным путём, и вовсе не путём Западной Европы. Католицизм со всеми его последствиями, ставший уделом Запада, отделил навсегда и решительно от Западной Европы Русь, осенённую истинным светом православного учения, Восточного христианства. Другие, с вои результаты должна была явить она, своё слово сказать человечеству. Все особенности, все ошибки Запада были ей чужды, и нравственный недуг (о котором говорили мы выше), постигающий теперь этот Запад, не должен был быть её уделом. Вместо того что же случилось?..

Совершился странный переворот в пользу Запада. Кинут был свой самостоятельный путь, принята была чуждая жизнь с её началами; принята была как предмет подражания, без убеждения, без права, путём кровавого ужаса и соблазнительного разврата».

(Константин Сергеевич Аксаков. «О современном человеке»)

Общественная жизнь старшего из братьев Аксаковых началась в 1835 году, когда он – выпускник словесного отделения Московского университета – начал посещать кружок Николая Владимировича Станкевича. Сближало его с кружковцами общее отношение к крепостничеству, к реакционным течениям в литературе, горячая любовь к творчеству Гоголя, интерес к немецкой классической литературе.



Крепкая семейная традиция, ставшая второй натурой Константина Аксакова, скоро поставила его в противоречие с безоглядным рационализмом русских гегелианцев. Сложившееся в кружке общее воззрение на русскую жизнь и на русскую литературу, «*большую частью отрицательное*», постоянные «*нападения на Россию, возбуждённые казёнными ей похвалами*»⁴⁷, неприятно – до боли – поражали его. Связь Константина Аксакова с кружком оборвалась после кончины Станкевича и отъезда (в 1839 году) активного кружковца Виссариона Григорьевича Белинского в Петербург (к этому времени «*неистовый Виссарион*» переломил свои философические увлечения в сторону страстной, безоглядной критики русской действительности).

Константин Аксаков в эту пору сблизился с кругом старших основателей славянофильства – Иваном Васильевичем Киреевским и Алексеем Степановичем Хомяковым. Теоретические основы их учения он принял полностью как отвечавшими тем его настроениям и симпатиям, которые дали ему родительский дом и воспитание. В этом кругу он сформировался окончательно как идеолог и глава русских славянофилов, в нём он проявил свои лучшие качества публициста, поэта, литературного критика, историка и лингвиста.

Сторонник и последователь старшего брата, Иван Сергеевич Аксаков основательно подключился к разработке и пропаганде идей славянофильства с 1852 года, когда покинул государственную службу и, вернувшись в Москву, целиком посвятил себя литературным занятиям (по примеру отца и брата – в это время Сергей Тимофеевич издавал «Записки об ужении рыбы», а Константин Сергеевич печатал свою диссертацию о Ломоносове).

Смерть отца весной 1859 года, затем старшего брата в 1861 году (на греческом острове Занте от чахотки), безвременная кончина в сентябре 1860 года Алексея Степановича Хомякова, русского поэта, художника, публициста, богослова, философа, основоположника раннего славянофильства, члена-корреспондента Петербургской академии наук, с которым семья Аксаковых была близка более двадцати лет, – всё это Иван Сергеевич Аксаков пережил очень тяжело. До этого ушли из жизни славянофилы Дмитрий Александрович Валуев и Василий Алексеевич Панов, братья Киреевские, переехал в Петербург, на государственную службу, Юрий Фёдорович Самарин. Понесённые утраты, казалось бы, «замкнули» историю московского славянофильского кружка, но Иван Сергеевич Аксаков, волею судеб ставший центральной фигурой славянофильства, не дал увянуть движению, сплотил его участников новым печатным органом – журналом «День», первый номер которого вышел в октябре 1861 года⁴⁸.

Журнал просуществовал до конца 1865 года и был закрыт его основателем... по семейным обстоятельствам: в связи с венчанием (12 января 1866 года) Ивана Сергеевича Аксакова с Анной Фёдоровной Тютчевой, дочерью знаменитого русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева. *«Вот и встретились два одиночества»* – ему было сорок два года, ей – тридцать шесть; объединил их высокий (критического уклона) интеллект каждого, единомыслие и затянувшееся одиночество.

«Мой отец всю свою молодость провёл в Германии, на дипломатической службе. Он там женился первым браком на моей матери, вдове господина Петерсона, после которого у неё осталось четыре сына. Отец мой имел от неё трёх дочерей и потерял после двенадцати лет брака. Вторично он женился также на вдове, баронессе Дернберг, и вскоре после второго брака вернулся в Россию, где и обосновался»³⁴.

Анна Фёдоровна Тютчева (1829 года рождения) после смерти матери в 1838 году поначалу воспитывалась в доме отца, в Мюнхене, затем в доме тёток, в Веймаре; с 1843 по 1845 год училась в Мюнхенском королевском институте благородных девиц. В сентябре 1845 года вместе с семьёй она переселилась в Россию.



В 1853 году была назначена фрейлиной к великой княгине (с 1855 года – императрице) Марии Александровне; с 1858 года (и до замужества) была воспитательницей младших детей Александра II – великой княжны Марии и великих князей Сергея и Павла.

Всё время службы при дворе она вела дневниковые записи на французском языке, которые были изданы позже на её родном русском языке с высоким качеством перевода, позволившим не исказить изящество и глубину мыслей автора, а наоборот – не потеряв точность исходного текста, оттенить его прекрасным русским слогом. Старшая дочь поэта Тютчева внешне очень походила на отца, равно как и внутренне. Фёдор Иванович говаривал, что составляет с дочерью Анной как бы неразрывное целое и что душевные движения взаимно отдавались в них. В Анне Фёдоровне был тот же ум и то же чуткое искание высокого и прекрасного в природе внешней и человеческой; были в ней и родительские трезвость мышления и ирриность ума.

Незадолго до переезда в Россию отец писал ей в Мюнхен: *«Льщу себя надеждой, что с Божьей помощью ты найдёшь в России больше любви, нежели где бы то ни было в другом месте... И когда потом ты сама будешь в состоянии постичь всё величие этой страны и всё доброе в народе, ты будешь счастлива и горда, что ты родилась русской».*

Приехала восемнадцатилетняя Анна Тютчева в Россию, не зная ни языка, ни обычаев, но очень скоро прониклась верой в историческую судьбу великой страны и особенно глубоко приняла православие. Переворот в её «нравственном сознании» сделала брошюра Алексея Степановича Хомякова «Несколько слов православного христианина...» (изданная в Париже в 1853

году), обобщавшая воззрения славянофилов. Позже она глубоко и точно оценила этот труд:

«...Хомяков, однако, не был богословом по специальности, это был просто человек умный, писатель, поэт, учёный и прежде всего душа, глубоко проникнутая богосознанием. Он жил в Москве и стоял во главе той небольшой группы умных людей, которых наше глупое общество прозвало славянофилами ввиду их националистических тенденций, но которые по существу были первыми мыслящими людьми, дерзнувшими поднять свой протестующий голос во имя самобытности России, и первые поняли, что Россия не есть лишь бесформенная и инертная масса, пригодная исключительно к тому, чтобы быть вылитой в любую форму европейской цивилизации и покрытой, по желанию, лоском английским, немецким или французским; они верили, и они доказали, что Россия есть живой организм, что она таит в глубине своего существа свой собственный нравственный закон, свой собственный умственный и духовный уклад и что основная задача русского духа состоит в том, чтобы выявить эту идею, этот идеал русской жизни, придавленный и не понятый нашими реформаторами и организаторами по западному образцу»³⁴.

Эти оценки мудрой женщины, глубокого патриота своей отчизны, и сегодня не просто актуальны – они кричат криком горьким, после того как обрезали Россию до рубежей семнадцатого века иваны, родства не помнящие, выворачивающие страну в западном направлении.

Анна Фёдоровна – как друг, единомышленник, генератор идей – дала новый интеллектуальный заряд Ивану Сергеевичу Аксакову, стала его надёжным помощником в делах Московского славянского комитета. Славянские комитеты России, исповедовавшие преимущественно славянофильство, к началу семидесятых годов превратились в политизированные организации, и Аксаков стал значительной политической фигурой именно как неофициальный лидер комитетов. Он – отставной надворный советник – заставил прислушиваться к себе не только петербургские бюрократические круги (к их неудовольствию), но и правительственные кабинеты европейских стран. На Западе его ценили как славянского Бисмарка, способного объединить разделённое славянство под скипетром русского монарха.

Звёздный и одновременно трагический час для Аксакова настал в период Восточного кризиса 1875–1878 годов. Он начался с восстания боснийских сербов против турецкого ига, далее – в апреле 1876 года – против поработителей поднялись болгары, затем началась Сербо-турецкая война. Турецкие зверства над балканскими единоверцами всколыхнули русское общество, славянофилов, по возвышенным представлениям которых освобождение единоверных славян есть историческое призвание России, дело любви, а не своекорыстных расчётов. По всей России по инициативе славянских комитетов начался сбор пожертвований, началась отправка на театр боевых действий санитарных поездов, добровольцев.

Балканская кампания, стоившая русской армии больших потерь, завершилась 9 февраля 1878 года подписанием предварительного перемирия в Сан-Стефано. По нему Турция теряла почти все европейские владения, на территории которых создавались независимые славянские государства. Однако под давлением западных держав (прежде всего Англии) Россия согласилась на проведение конгресса в Берлине, на котором прежнее перемирие было аннулировано и заменено новым, по западному раскрою. Фактически было предано великое дело освобождения славянских народов, унижены, втоптаны в грязь честь и достоинство великой страны-освободителя по глупости худших её представителей.

«Мой муж глубоко переживал происходящее; по регламенту славянского общества он должен был вести публичное заседание, и он размышлял, воспользоваться ли ему этим случаем, чтобы выразить в своей речи протест от лица тех в России, в ком осталось ещё чувство патриотизма и национальной чести. Он посоветовался со мной и сказал, что знает: если он произнесёт речь, соответствующую его душевному состоянию, то его вышлют из Москвы, тем самым он лишится места в банке и мы останемся без средств к существованию, поэтому он может решиться на такой поступок только с моего согласия. Я ответила, что с теми средствами, что мы имеем, мы можем... мало расходовать и соблюдать строгую экономию, а через пару лет обстоятельства, возможно, переменятся, так что, на мой взгляд, мы можем рискнуть подвергнуться ссылке»³⁴.

22 июня 1878 года Аксаков выступил с большой речью в Московском славянском комитете, которая прогремела на весь мир. Вождь славянофилов обрушился на русских дипломатов, согласившихся на расчленение освобождённой Болгарии на три части, из которых только одна получила относительную независимость. Ему было известно, что все ультиматумы западных государств к России – чистой воды блеф, что реально к войне ни одно из них не было готово. А «железный канцлер» Бисмарк, руководивший Германией, был противником войны с Россией из-за Балкан, которые, по его словам, «не стоят костей померанского гренадёра». Речь Аксакова будто была в набат, была будто кимвал звенящий:

«Не хоронить ли собрались мы здесь сегодня... миллионы людей, целые страны, свободу болгар, независимость сербов, хоронить русскую славу, русскую честь, русскую совесть?.. Ты ли это, Русь-победительница, сама разжаловавшая себя в побеждённую? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница, каешься в святых, поднятых тобою трудах, молишь простить твои победы?..»⁴⁸

Впечатление от речи Аксакова было огромным. Она была опубликована в газете-журнале «Гражданин»; сам Аксаков послал текст речи в Прагу, где она тотчас появилась в чешских газетах. Скоро блестящую филиппику лидера славянофилов стали обсуждать по всей Европе. В России же последовала

ожидавшаяся супругами Аксаковыми реакция правительства. По высочайшему повелению Иван Сергеевич Аксаков был лишён полномочий председателя славянского комитета, а 23 июля 1878 года его вызвал к себе московский губернатор князь Долгорукий («маленький князь») и объявил ему о высылке в имение (его или жены).

«Действительно, обстоятельства вынудили нас три года назад продать наши земли. Те же обстоятельства заставили моего мужа пойти служить в банк. Его служба давала нам средства к существованию.

Но куда нам было ехать?

Муж возразил милейшему маленькому князю, что ни у него, ни у жены нет имений.

– Что же, – ответил князь, – постарайтесь устроиться у кого-нибудь из родных или друзей, потому что, если я доложу в Петербург, что вам некуда ехать, вас вышлют в Архангельск, а это ещё хуже.

Муж попросил несколько дней на размышление»³⁴.

Поначалу Аксаковы вознамерились ехать в имение Тютчевых, находившееся в Овстуге Орловской губернии. Однако выяснилось, что оно пришло в полный упадок и для проживания непригодно. Выручила сестра Анны Фёдоровны, Екатерина, предложившая к услугам Аксаковых свою усадьбу Варварино в Воронежской губернии. С собой Анна Фёдоровна взяла одну из воспитанниц небольшого приюта, который она устроила для сирот – детей погибших в войне с Турцией офицеров (своих детей у неё не было).

В деревенском изгнании Иван Сергеевич не скучал – сочинял стихи, вёл обильную переписку, преимущественно по вопросам русской истории:

«Первоначально Киев сделал Русскую Историю; и Русский язык, и Русский народ зачались здесь: весь этот период и зовут Киевским. Потом стремя Русской Истории обратилось на Север: то уже Владимирский, или, прямо скажем, Московский период...

Итак, некогда Новгород и Киев, Новгородцы и Поляне, были две действительные разновидности, два полюса противоположных, – и Москва явилась действительной точкой замирения двух этих разновидностей...

Путаница ещё увеличивается тем, что на нынешнем разговорном языке берут термины «Малоросс» и «Великорус» то за политические термины, то за этнографические, по произволу. Таким произволом в употреблении этих терминов и затемнением их настоящего смысла опять-таки отличаются Поляки...

Что же такое «Малорус» именно как этнографическая разновидность? Это степь даже до подошвы Кавказских гор, это степные станицы кочевых славянских племён, чуть не со скифами мешающиеся, потом с Хазарами, потом с Половцами. Это Берендеи, Ковуи и прочие Чёрные клобуки «яже зовомне Черкассы» и т. д. и т. д. Все они в эпоху Кия, этого родоначальника рода-племени

Полян, мешались в Черноморских степях с азиатскими народцами-степняками так же точно, как и в княжеские времена. При князьях они уже составляли очень заметную южную примесь, расселённую по Руси...

Когда наконец волны Татарского нашествия схлынули с здешних мест – эти самые станицы, сохранив за собой население от Татар в самом имени казак, и выступили здесь хозяевами южными, казаками Малороссийского типа, Запорожского, а не Донского».

«Ссылка московского патриота» (так москвичи именовали эту историю) продолжалась недолго. Скоро царь сменил гнев на милость и позволил опальному славянофилу вернуться в Москву.

В начале июля 1880 года Иван Сергеевич Аксаков выступил в Москве на торжествах, посвящённых открытию памятника Пушкину. В этом же году он получил разрешение на издание в Москве еженедельной газеты «Русь», которой посвятил остаток своей жизни. Весной 1885 года, утомлённый душевно и физически, Аксаков приостановил издательскую работу и провёл несколько месяцев в Крыму, поправляя здоровье.

Он отдохнул, но не излечился. У него была болезнь сердца, от которой он и умер 27 января 1886 года в Москве, на Волхонке, в доме князя Голицына, в скромном помещении, окнами выглядывавшем на храм Христа Спасителя, на шестьдесят третьем году жизни.

Анна Фёдоровна Аксакова успела издать девять томов статей покойного супруга; в них она систематизировала всё писанное им для различных его изданий; в них – полное изложение его воззрения, как оно вырабатывалось в нём в последнюю, вполне самостоятельную эпоху его жизни.

Завершив этот титанический труд, Анна Фёдоровна тихо сошла в могилу, о чём с горечью писал корреспондент «Русского архива»:

«11-го августа нынешнего года в Сергиевом Посаде скончалась Анна Фёдоровна Аксакова. Прервалась поучительная, самоотверженная жизнь».

Дочь Тютчева, унаследовавшая пламенную веру и трезвость мысли достопамятного отца своего, Анна Фёдоровна на всём пройденном ею жизненном пути явила редкий пример твёрдого, неуклонного исполнения долга и самоабвенного служения ближнему. С ранних лет, находясь при особе Цесаревны, будущей Императрицы Марии Александровны, призванная затем быть воспитательницей Великой Княжны Марии Александровны и младших её братьев, она вся отдалась этому делу и впоследствии, до самой кончины в Бозе почившей Императрицы, пользовалась её дружеским расположением и состояла с нею в постоянной переписке. Оставив двор и выйдя замуж за Ивана Сергеевича Аксакова, она с тем же свойственным ей самоотречением делила все превратности его многотрудной жизни. Никогда не думала она, что ей, с её слабым здоровьем, суждено будет пережить Ивана Сергеевича, одарённого от природы богатырскими силами; и когда непрерывные, чрезмерные труды сломили его, когда все близкие ожидали, что она не вынесет удара, она на-

шла в себе довольно бодрости духа, чтобы приняться за громадный труд издания сочинений своего мужа. Эти девять больших томов, обработанных и изданных ею в два года, при сравнительно незначительной посторонней помощи, свидетельствуют о такой энергии, какая редко встречается и в крепком мужчине, а в этой изнурённой недугом женщине такая энергия казалась чудом...

Господь не благословил её детьми; зато с какою материнскою нежностью занималась она воспитанием нескольких сирот, оставшихся после офицеров, убитых в последнюю Турецкую войну, из которых она составила небольшой приют...

Недаром прожила эта женщина свою долгую жизнь. Подвигом добрым подвизалась она до своего последнего издыхания и воистину заслужила место успокоения рядом с тем, чьё имя носила с такою честью, под кровом святой лавры великого Подвижника земли Русской.

Возстави их, Господи, на земли живых!»

Ты билась с мужеством немногих,
И в этом роковом бою
Из испытаний самых строгих
Всю душу вынесла свою.

Нет, жизнь тебя не победила.
И ты в отчаянной борьбе
Ни разу, друг, не изменила
Ни правде сердца, ни себе.

(Ф. И. Тютчев)

Три судьбы

В августе – сентябре 1859 года, впервые после завершения Крымской войны, император Александр II решил провести крупные учения и инспекционные осмотры военных поселений на Украине. После войсковых манёвров в окрестностях Полтавы он несколько дней отдыхал у князя Михаила Михайловича Долгорукова, в его заложенном и перезаложенном имении Тепловка, в котором познакомился с двенадцатилетней Катенькой Долгоруковой, своей будущей морганатической женой. В Чугуеве ход войскового парада и конных состязаний вместе с русским царём наблюдал и оценивал недавно пленённый вождь кавказских горцев Шамиль. В Умани, сделав оценку смотровой шагистике, Александр Николаевич и его свита любовались Софиевским парком.

«В 1859-м году, во время высочайших смотров в Умани, флигель-адъютант Михаил Леонтьевич Дубельт был однажды дежурным при покойном императоре Александре Николаевиче. Когда лица свиты начали уже собираться у подъезда дворца к обеду, то в ожидании приезда его величества, поехавшего с графом Ламбертом ка-

таться в знаменитый Уманский сад Софиевку, Дубельт, как дежурный, стал отбирать прошения от некоторых лиц из публики. Между прочими стоял отставной унтер-офицер конногвардейского полка, довольно бедно одетый и державший в руках сложенный лист бумаги. На вопрос Михаила Дубельта, в чём дело, проситель объяснил, что хочет просить у его величества пособия на бедность, и тут же добавил, что 14-го декабря 1825 года он служил вахмистром в лейб-эскадроне конногвардейского полка, под командою Графа Алексея Фёдоровича Орлова, и ходил с своим эскадроном в атаку на мятежников. Михаил Дубельт приказал ему стать поближе к подъезду, желая обратить на него милостивое внимание императора. И действительно, когда Государь, подвехав в открытой коляске, стал выходить из оной, то Дубельт, поддерживая его под руку, сказал: «Ваше Величество, – Государь остановился, и Дубельт продолжал: – дозвольте обратить ваше внимание на этого унтер-офицера, который в бытность свою вахмистром в лейб-эскадроне конной гвардии ходил с ним в атаку на мятежников во время возмущения 14 декабря». Его величество тотчас же подошёл к нему и стал задавать ему некоторые служебные вопросы, во время которых Дубельт стоял около императора. Диалог сложился следующим образом: «А сколько лет ты состоял на службе?» Во время ответа унтер-офицера Дубельт говорит Государю вполголоса по-французски: «Donnez lui de l'argent? Il est très pauvre?» – «А Георгиевский крест ты когда получил?» И во время ответа, не смотря на Дубельта, Государь говорит ему: «Donnez lui 50 rubles».

Подобное соединение императорской официальной важности с беспредельною добротою всегда делало величайшую честь обходительности и мягкости сердца покойного Царя-Освободителя.

Назначение Михаила Леонтьевича Дубельта тверским губернатором не состоялось вследствие обрушившихся на него в том же 1862-м году семейных несчастий...»⁴⁹

В этом историческом сюжете, взятом из «Русской старины», выделяются три персонажа: император Александр Николаевич Романов, его флигель-адъютант Михаил Леонтьевич Дубельт и генерал-адъютант Карл Карлович Ламберг. Каждый из них – человек по-своему трагической судьбы.

Часть первая. Александр Николаевич Романов – жизнь на две семьи

Семья такая хорошая вещь, что многие мужчины имеют их сразу по две.

Адриан Декурсель

Установленная императором Павлом I система планирования и устройства семейной жизни для отпрысков царствующего дома (цесаревичей, великих князей и великих княжон), начала которой заложил его знаменитый пра-

дед, предполагала подбор им семейных половинок вне России, преимущественно в германских герцогствах, маркграфствах, королевствах. В полном соответствии с законами мужской физиологии промежутки времени между первым гормональным ударом и заключением брачного союза вызревающие отроки дома Романовых заполняли чередой интимных увлечений. Этому, помимо прочего, способствовала развесёлая простота нравов постекатерининского времени в российской столице – так, персидский шах, приехавший в Петербург вымаливать прощение за убийство русского посла Александра Сергеевича Грибоедова, совершённое его подданными в Тегеране, в спешке забыл «прихватить» свой гарем; эту временную потерю знатный гость столицы с лихвой компенсировал на месте группой очень достойных женщин.

Становясь цесаревнами-царицами и великими княгинями, бывшие немецкие принцессы, герцогини и графини обращались в православие, получали русские имена и отчества и с им присущим национальным прилежанием приступали к исполнению супружеских обязанностей, к регулярному пополнению состава царствующего дома. Так, супруга императора Павла, императрица Мария Фёдоровна, родила десятерых детей; супруга Николая I, императрица Александра Фёдоровна, – семерых. (Особняком в этом алгоритме деторождения стоит император Александр I, чья семейная жизнь с императрицей Елизаветой Алексеевной была лишь внешним декорумом благополучия царствующей семьи – супруги жили порознь.)

Высокая интенсивность деторождения со временем приводила к тому, что личный врач царственной пациентки, во благо её здоровья, рекомендовал ей прекратить интимную близость с царственным мужем. Этим ещё больше стимулировалась внесемейная личная жизнь мужских представителей дома Романовых, несколько затихавшая в первые годы юного супружества, а затем вновь налаживавшаяся вплоть до создания второй семьи. В итоге – велик список внебрачных детей русских царей и великих князей.

(К слову, великими князьями и княгинями в Российской империи считались сыновья, дочери, братья, сёстры, а в мужском поколении и все внуки императора; носили они титул императорских высочеств. Так было до 1886 года, когда император Александр III ограничил число лиц, могущих носить такой титул, только детьми и внуками императора. Правнуки и последующие потомки стали получать титул князя императорской крови.)

В отношениях с женщинами Александр II не был исключением из ряда императорских особ дома Романовых, отличавшихся повышенной чувственностью и влюбчивостью. В частности, из воспоминаний весьма осведомлённой Александры Осиповны Смирновой-Россет известно, что он уже в пятнадцатилетнем возрасте увлечённо ухаживал за фрейлиной матери Натальей Бороздиной (что послужило причиной удаления последней из дворца с последовавшим срочным её замужеством и переездом с мужем-дипломатом в Англию).



В восемнадцать лет Александр Николаевич пережил романтическое к себе обожание со стороны Софьи Давыдовой, к которому он, судя по всему, остался совершенно равнодушен. А в двадцать лет он влюбился самым

серьёзным образом вновь во фрейлину матери – красавицу Ольгу Калиновскую. По этому поводу императорская семья серьёзно поволновалась, что нашло отражение в дневниковой записи Николая I: *«Слишком он влюбчивый и слабовольный и легко попадает под влияние. Надо его непременно удалить из Петербурга...»* По этому же поводу мать наследника, Александра Фёдоровна, записала в своём дневнике: *«Что станет с Россией, если человек, который станет царствовать над ней, не способен владеть собой и позволяет своим страстям командовать собой и даже не может им сопротивляться?»*

Стремясь кардинально переломить ситуацию, родители срочно отправили сына-наследника, в сопровождении его воспитателя, поэта Василия Андреевича Жуковского, в зарубежное турне, на приискание ему постоянной пары. В Дармштадте Александр Николаевич познакомился с пятнадцатилетней Марией Гессенской и, повинувшись выданному ему заданию найти себе невесту, отписал родителям о возможности своего брака с ней. Правда, на пути к этому, казалось бы, приемлемому для Романовых союзу возникло препятствие, связанное с семейным положением родителей потенциальной невесты. Выяснилось, что задолго до рождения Марии её родители давно разошлись *de facto* и истинным отцом принцессы молва называла не герцога Людвига, а его шталмейстера барона де Граней. Николай I, однако, согласился с кандидатурой Марии Гессенской, а на будущее запретил своим подданным поминать пикантные нюансы её генеалогии.

Но прежде чем дело дошло до свадьбы, наследник престола, ближе к завершению своей европейской поездки, успел ещё раз влюбиться, на этот раз в Англии, где двадцатилетняя королева Виктория, повинувшись долгу монарха, решала вопрос выбора мужа, принца-консорта. Факт этот засвидетельствовал в своём дневнике генерал-адъютант цесаревича Семён Алексеевич Юрьевич: *«На следующий день после бала наследник говорил лишь о королеве, и я уверен, что и она находила удовольствие в его обществе... Цесаревич признался мне, что влюблён в королеву и убеждён, что и она вполне разделяет его чувства...»* В свою очередь и королева Виктория в те дни писала: *«Я совсем влюблена в Великого князя, он милый, прекрасный молодой человек...»* Понятно, что перспективы этот экзотический роман действующей английской королевы и будущего русского царя не имел, с чем скоро согласились юные влюблённые и скрепя сердце расстались.

По возвращении домой Александр Николаевич пытался восстановить связь с Ольгой Калиновской, но отец попытку эту пресёк, выдав Калиновскую замуж за супруга её покойной сестры, польского магната Иринья Огинского. (Правда, позже старший сын этой пары, Михаил-Богдан Огинский, будет утверждать, что он – сын Александра II.)

Подведя итоги своей зарубежной поездки, повинувшись обстоятельствам и непреклонной воле родителей, Александр Николаевич вернулся к «дармштадтскому варианту», и 16 апреля 1841 года состоялось бракосочетание его с принцессой Марией Гессенской, получившей при обращении в православие имя Марии Александровны. На то время ему было двадцать три года, ей – семнадцать.

«Когда я впервые увидела Великую Княгиню, ей было 28 лет. Тем не менее она выглядела очень молодой. Она всю жизнь сохраняла эту молодую наружность, так что в сорок лет её можно было принять за женщину лет тридцати. Несмотря на высокий рост и стройность, она была такая худенькая и хрупкая, что не производила на первый взгляд впечатление красавицы; но она была необычайно изящна тем совершенно особым изяществом, какое можно найти на старых немецких картинах, в мадоннах Альбрехта Дюрера... <...> Черты её не были правильны. Прекрасны были её чудные волосы, её нежный цвет лица, её большие голубые, немного навывкат, глаза, смотревшие кротко и проникновенно. Профиль её не был красив, так как нос не отличался правильностью, а подбородок несколько отступал назад. Рот был тонкий, со сжатыми губами, что свидетельствовало о сдержанности, без малейших признаков способности к воодушевлению или порывам, а едва заметная ироническая улыбка составляла странный контраст к выражению её глаз... Я редко видела человека, лицо и наружность которого лучше выражали оттенки и контрасты его внутреннего чрезвычайно сложного «я». Ум Цесаревны был подобен её душе: тонкий, изящный, пронизательный, очень иронический, но лишённый горячности, широты и инициативы...



Она была осторожна до крайности, и эта осторожность делала её слабой в жизни...

Она обладала в исключительной степени престижем Государыни и обаянием женщины и умела владеть этими средствами с большим умом и искусством»⁵⁰.

Такой запомнила цесаревну Марию Александровну её фрейлина (с 1853 года) Анна Фёдоровна Тютчева, ставшая после коронации своей госпожи воспитателем её младших сыновей, Сергея и Павла. Всего в императорской семье было восемь детей, из которых двое умерли при жизни матери. Только семь лет прожила первенец семьи, дочь Александра, родившаяся в 1842 году, а в 1865 году, в возрасте двадцати двух лет, скончался любимец матери, наследник престола Николай.

Последышем Павлом, родившимся в 1860 году, завершается ряд детей императора Александра Николаевича, прижитых им в законном браке, как и его интимная близость с Марией Александровной, которую врачи предупредили, что её от природы слабое сердце следующих родов может не выдержать, и рекомендовали ей, тридцатишестилетней, воздержаться от исполнения супружеских обязанностей. О предохранении от зачатия в то время женщины и думать не могли, поскольку супружескую близость без цели деторождения тогдашние церковные иерархи считали несомненным грехом (вопреки утверждению святителя Иоанна Златоуста: «Брак дан для деторождения, а ещё более для погашения естественного пламени»).

Долгое время в фаворитках императора числилась княжна Александра Сергеевна Долгорукова, приступившая к исполнению обязанностей фрейлины императрицы в тринадцатый год её замужества и в один год с Анной Фёдоровной Тютчевой, которая спустя годы дала содержательную оценку своей младшей товарке по придворной должности:

«В день моего переезда во дворец Цесаревна познакомила с княжной Александрой Долгоруковой, которая уже шесть месяцев исполняла при ней обязанности фрейлины. Это была совсем молоденькая семнадцатилетняя девушка, один из самых сложных и непонятных характеров, какие мне пришлось встретить в течение всей моей жизни. На первый взгляд, эта девушка, высокого роста, худая, развинченнная, несколько сутуловатая, с свинцово-бледным лицом, бесцветными и стеклянными глазами, смотревшими из-под тяжёлых век, производила впечатление отталкивающего безобразия. Но как только она оживлялась под влиянием разговора, танцев или игры, во всём её существе происходило полнейшее превращение.



Гибкий стан выпрямлялся, движения округлялись и приобретали великолепную, чисто кошачью грацию молодого тигра, лицо вспыхивало нежным румянцем, взгляд и улыбка приобретали тысячу нежных чар, лукавых и вкрадчивых. Всё её существо проникалось неуловимым и поистине таинственным обаянием, которое подчиняло себе не только мужчин, но и женщин...

Её нравственное существо представляло те же контрасты, как и физическое. Высокомерная, молчаливая и мрачная, пренебрегавшая всеми житейскими отношениями, надменная, капризная и своевольная, она умела там, где хотела, нравиться, с невозможным воодушевлением пускать в ход всю вкрадчивость своей гибкой натуры, всю игру самого тонкого, самого смелого ума, полного колкости и иронии. Это был фейерверк остроумных слов, смешных замечаний. Она была изумительно одарена, совершенно бегло, с редким совершенством, говорила на пяти или шести языках, много читала, была образованна и умела пользоваться всею тонкостью своего ума без малейшей тени педантизма или надуманности, жонглируя мыслями и особенно парадоксами с особой грацией фокусника»⁵⁰.

В 1862 году Александра Сергеевна, достигшая критических для девушки двадцати шести лет, вышла замуж за тридцатишестилетнего генерал-майора свиты Петра Павловича Альбединского, боевого генерала, участника Крымской войны (по слухам, брак этот для отставленной возлюбленной устроил император). После женитьбы Альбединский сделал блестящую карьеру; супруга же его осталась в истории благодаря замечательным запискам Тютчевой да перу Ивана Сергеевича Тургенева, списавшего с неё, незадолго до её замужества, образ героини своего романа «Дым» – Ирины Ратмировой⁵¹.

Екатерина Михайловна Долгорукова в жизнь императора Александра II вошла стремительно и присутствовала в ней, обожаемая и незаменимая, вплоть до её трагического завершения. Началась эта история с их знакомства в конце лета 1859 года в имении Долгоруковых под Полтавой. Продолжилась она после смерти (в 1863 году) главы семейства, когда по ходатайству овдовевшей Веры Гавриловны Долгоруковой император Александр приказал определить её дочерей, Екатерину и Марию, в Смольный институт благородных девиц, а четырёх сыновей – в столичные военные училища.

В конце марта 1865 года император нанёс традиционный визит в Смольный институт, в ходе которого начальница этого учебного заведения, Мария Павловна Леонтьева, представила ему восемнадцатилетнюю Екатерину Долгорукову – красивую, грациозную, с искрящимися озорством глазами. Высокий гость вспомнил её, удостоил милостиво беседой и... по уши в неё влюбился.

Для развития своих отношений с так понравившейся ему смолянкой Александр Николаевич прибёг к услугам выпускницы Женского института, фрейлины Варвары Шебеко. Через неё он посылал своей новой пассии сладости и фрукты, с её помощью он навещал тайно Катю Долгорукову в лазарете, когда та однажды заболела. Позже сама героиня начавшегося романа описала его прелюдию:

«Несмотря на все заботы директрисы, я так и не смогла привыкнуть к этой жизни без семьи, среди чужих. Я потихоньку теряла здоровье. Император, узнав о нашем приезде в Смольный, навещил меня по-отечески; я была так счастлива его видеть, его визиты возвращали мне бодрость. Когда я болела, он навещал меня в лазарете. Его подчёркнутое внимание ко мне и его лицо, столь идеальное, проливали бальзам на моё детское сердце»⁵².

Первое время, посредническими усилиями Шебеко вопреки, Катя Долгорукова держалась от монарха на расстоянии, затем свыклась со своим новым положением царской симпатии. Её пребывание в Смольном институте стало мешать развитию уже завязавшегося романа, и по инициативе вездесущей Шебеко девушка, не доучившись, оставила институт и поселилась у брата Михаила, уже женатого на очаровательной неаполитанке Луизе Чермемаджоре. Теперь её встречи с влюблённым императором проходили большей частью на пленэре – в парке на Елагином острове, в рощах Петергофа, в Летнем саду. После одной из них, 4 апреля 1866 года, в Александра II стрелял Дмитрий Каракозов, и известие об этом повергло в ужас юную подругу императора:

«В тот день я была в Летнем саду, император говорил со мной как обычно, спросил, когда я собираюсь навестить сестру в Смольном, и когда я сказала, что отправлюсь туда сегодня же вечером, что она меня ждёт, он заметил, что приедет туда только чтобы меня увидеть. Он сделал ко мне несколько шагов, дразня меня моим детским видом, что меня рассердило, я же считала себя взрослой. «До свидания, до вечера», – сказал он мне и направился к решётчатым воротам, а я вышла через маленькую калитку возле канала.

По выходе я узнала, что в императора стреляли по выходе из сада. Эта новость потрясла меня настолько, что я заболела, я столько плакала, мысль, что такой ангел доброты имеет врагов, желающих его смерти, мучила меня. Этот день ещё сильнее привязал меня к нему; я думала лишь о нём и хотела выразить ему свою радость и благодарность Богу, что он спасся от подобной смерти. Я была уверена, что он испытывает такую же потребность меня увидеть. Несмотря на волнения и дела, которыми он был занят днём, он вскоре после меня приехал в институт. Эта встреча стала лучшим доказательством, что мы любим друг друга»⁵².

Решительное (первое интимное) сближение императора с любимой девушкой совершилось в первый день июня 1866 года в павильоне «Бельведер», находившемся в трёх верстах от главного Петергофского дворца. После него он дал своей юной возлюбленной решительное обещание: *«Увы, я сейчас не свободен. Но при первой возможности я женюсь на тебе, ибо отныне и навеки я считаю тебя своей женой перед Богом... До завтра!.. Благослови тебя Бог»⁵³.*

Как настоящий мужчина, слово своё Александр Николаевич Романов сдержал, оставив на память любителя отечественного прошлого некоторый осадок самой сутью своего обещания – жениться, когда появится возможность. Поскольку такую возможность предоставляла только смерть императрицы Марии Александровны, то ожиданием этого события, особо не лицемеря, до последнего вздоха своей богоданной супруги жил император Александр I.



После «Бельведера» встречи любовников на пленэре продолжились, а с сентября 1866 года были перенесены в Зимний дворец, в комнату первого этажа, которая в своё время служила рабочим кабинетом императору Николаю I. Слухи о новом увлечении императора Александра Николаевича стремительно поползли по столице, и, дабы притушить их, итальянская невестка Екатерины Долгоруковой отвезла её к своим родным, в Неаполь.

В июне 1867 года, уступая настойчивым просьбам своего ещё недавнего врага Наполеона III, император Александр II посетил всемирную выставку. Он прибыл в Париж в сопровождении своих сыновей, Александра и Владимира, в субботу 1 июля и остановился в Елисейском дворце. О далее случившемся засвидетельствовал в своём дневнике цензор Александр Васильевич Никитенко:

«26. Пятница. Получена телеграмма из Парижа о новом покушении на жизнь государя. На этот раз это уже поляк, какой-то Б е р е з о в с к и й, уроженец Волынской губернии. Покушение совершилось в Булонском лесу, когда государь ехал в коляске вместе с Наполеоном, с наследником и великим князем Владимиром. Негодяй выстрелил из двухствольного пистолета, который разорвало в руках самого злодея и повредило ему одну из его предательских рук...»

Узнав о случившемся, Екатерина Михайловна, за шесть месяцев разлуки истосковавшаяся по любимому мужчине, приехала в Париж и поселилась в маленькой гостинице на улице Бас-дю-Рампар. Каждый вечер она потаённым маршрутом проходила в Елисейский дворец, в отведённые императору Александру апартаменты. Всё это происходило под негласным надзором французской полиции. Вернувшись в Петербург, она заняла первый этаж роскошного особняка на Английской набережной, который «по случаю» получил от Александра Николаевича её старший брат⁵³.

В столице любимая женщина императора вела скромный и замкнутый образ жизни. Она никогда не присутствовала на званых обедах, не ездила в театр. Посещала лишь те балы, на которых бывал император, – она великолепно танцевала, и смотреть на её танцы для него было большим удовольствием. Дабы она могла бывать при дворе и украшать хотя бы изредка своим присутствием торжественные приёмы, Александр II, ничтоже сумняшеся, назначил её фрейлиной императрицы. Та с холодной улыбкой приняла приветствия своей молодой соперницы, видя в ней лишь очередную, до поры до времени, предмет страсти своего любвеобильного супруга.

Много общались влюблённые эпистолярно, давая во взаимной переписке волю чувствам своим. Вот как, к примеру, их выразил в своём письме от 6 января 1868 года Александр Николаевич Романов (в нём встречается слово «бингерле», которое влюблённые изобрели для обозначения «технической части» своих интимных отношений):

«Только что я проехался в санях, и вот уже я счастлив, что могу снова приступить к своему любимому занятию, перечитав ещё раз, с подлинным наслаждением сердца, твоё милое вчерашнее письмо. Я хочу, чтобы ты знала прежде всего, что я рад, что заставил тебя вчера разделить со мной под конец то подлинное наслаждение счастьем, которое ты всегда умеешь давать мне. Моё письмо должно снова подтвердить тебе, что все наши впечатления совпадают и что вчера нам ещё как-то труднее было расставаться и прервать наше бингерле. Да, конечно, я чувствую, что стал твоей жизнью, я хотел бы только, чтобы ты не забывала, что ты моя и что у меня везде и всюду лишь одна мысль в голове – это ты, мой ангел, моя радость, моё счастье, моё утешение, моя отвага, моё всё. Всё остальное для меня более не существует. О! спасибо, что сказала мне, что твоя жизнь стала дорога тебе лишь из-за меня, – ты не могла бы доставить мне большее удовольствие, ибо это доказало мне, что ты чувствуешь, что любима и что ты стала частью меня. Конечно, существование без тебя стало бы для меня настоящей мукой, и я бы очень быстро последовал за тобой в могилу. Да смиляется над нами Бог и даст однажды нам возможность жить лишь для себя»⁵⁴.

В апреле 1872 года Екатерина родила сына Георгия, а в конце 1873 года – дочь Ольгу. Александр II тайно окрестил новорождённых, после чего, ещё боясь общественного мнения, собственноручно уничтожил акт крещения. После некоторых колебаний он решил дать детям от Екатерины Михай-

ловны фамилию, указывающую на их знаменитого предка, основателя Москвы Юрия Долгорукого, – Юрьевские. Был подготовлен тайный указ, хранить который было поручено генералу Рылееву.

«Указ Правительствующему Сенату.

Малолетним Георгию Александровичу и Ольге Александровне Юрьевским даруем мы права, присущие дворянству, и возводим в княжеское достоинство с титулом светлейших.

Александр.

Царское Село, 11-го июля 1874 года».

После получения нового титула и фамилии Екатерина Михайловна ещё дважды разрешалась от бремени: в марте 1876 года сыном Борисом, недолго пожившим, и в сентябре 1878 года дочерью Екатериной. К этому времени венценосный отец родившихся чад стал чаще и чаще погружаться в состояние тяжёлой меланхолии, доходившей до глубокого отчаяния. Изматывали Александра результаты разрешения Балканского кризиса, завершившегося крахом русской дипломатии после того, как силой русского оружия была освобождена Болгария и приведена к покорности Турция. Став безразличным к мнению окружающих, он переселил Долгорукую с детьми в Зимний дворец, под одну крышу с императрицей⁵³.

Между тем обстановка в столице всё более и более осложнялась. Бурлил столичный люд, бурлил до и после судебного процесса над Верой Засулич, которая в январе 1878 года, проникнув в кабинет градоначальника Трепова, выстрелила в него (правда, не смертельно) за отданный им приказ выпороть провинившегося студента. Судебные слушания по делу Засулич, прошедшие под председательством Анатолия Фёдоровича Кони, закончились оправданием подсудимой присяжными заседателями. В апреле 1879 года учитель Соловьёв покушался на жизнь императора, когда тот прогуливался по набережной. Он сделал в Александра четыре выстрела, но тот, убегая от преследователя, сумел уклониться от пуль.

В сложившейся ситуации император Александр решил на введение военного положения в областях, наиболее сильно охваченных революционным брожением. В Петербурге, Москве, Варшаве, Харькове, Киеве и Одессе были назначены генерал-губернаторы с широкими полномочиями, с правом арестовывать и высылать каждое подозрительное лицо, принимать другие радикальные меры.

Новое покушение на монарха и его свиту произошло в конце августа 1879 года близ Москвы, во время возвращения царской семьи из Крыма. Тогда, по ошибке, террористы подорвали свитский поезд, следовавший впереди царского поезда. В начале 1880 года плотник Степан Халтурин, устроившись строителем на ремонтные работы Зимнего дворца, тайком пронёс в царскую резиденцию три пуда динамита, которым – 5 февраля 1880 года – подорвал дворец. Мощнейший взрыв не задел комнаты, где жила Долгорукова с детьми; большая Мария Александровна в момент подрыва была в бессознательном состоянии. Жертвами динамитчика стали одиннадцать солдат караула, недавно

вернувшихся с Русско-турецкой войны, – герои, за отвагу свою награждённые служить при царе⁵⁵.

Почувствовав потерю контроля над ситуацией в государстве, да и самого желанного государством управлять, Александр II решился на временную передачу исполнительной власти Михаилу Тариеловичу Лорис-Меликову, который был назначен председателем Верховной распорядительной комиссии по охране общественного порядка. Прежде него ещё ни один из подданных русского царя такую власть не получал.

22 мая 1880 года, вконец измученная чахоткой и полным безразличием законного мужа, преставилась императрица Мария Александровна. За её смертью последовало венчание её овдовевшего супруга с княгиней Юрьевской.

«Венчание Государя Императора Александра Николаевича с княжной Екатериной Михайловной Долгорукой, получившей затем фамилию княжны Юрьевской, произошло в воскресенье, 6-го июля 1880 года, в 3 часа 30 минут пополудни в Царском Селе, во временной церкви, с походным иконостасом Императора Александра I. Эта временная церковь была устроена раньше, а именно во время болезни Императрицы Марии Александровны, чтобы её величество могли избежать длинного перехода из внутренних покоев в большую церковь.

Венчал придворный митрофорный священник, сакеларий церкви Зимнего Дворца, Ксенофонт Яковлевич Никольский, очень долго перед этим бывший священником и законоучителем Пажеского Е. И. В. корпуса. В служении участвовал придворный протодьякон Попов; пел псаломщик Ловцов.

Шаферами были: у княжны Долгорукой – генерал-адъютант Александр Михайлович Рылеев, у Государя – генерал-адъютант граф Эдуард Трофимович Баранов. Присутствовал граф Александр Владимирович Адлерберг. Гр. Лорис-Меликов, вопреки показаниям Ровинского, не присутствовал, а был представлен Государем княгине Юрьевской уже впоследствии.

Гр. А. Вл. Адлерберг был противником этой свадьбы и после брака к интимному вечернему чаю более не приглашался»⁵⁶.

После церемонии венчания, во время прогулки в коляске, император, указав на сына Георгия, прошептал: «*Это настоящий русский, в нём, по крайней мере, течёт только русская кровь*». Вечером он составил акт о бракосочетании, засвидетельствовал его собственноручной подписью; далее подписал указ, в котором признавал своё отцовство и создавал детям от Екатерины Михайловны соответствующее общественное положение. Уведомив об этом Лорис-Меликова, он просил его в случае несчастья не оставить без внимания семью Юрьевских⁵³.

Недовольство общества медлительностью Лорис-Меликова вынудило последнего к хитроумной попытке убедить царя, что дарование конституции оправдывает в глазах народа возведение его морганатической супруги в сан императрицы. Об этом (без последствий) он говорил во время поездки царя

в Крым, где тот с женой и детьми жил в Ливадийском дворце. Вернувшись в Петербург, Александр Николаевич сделал завещательные распоряжения, представил в Зимнем дворце морганатическую супругу родным и близким. Решившись на ограничение самодержавия, он создал комиссию под председательством наследника и великого князя Константина Николаевича для составления проекта политических реформ. И хотя мысль об отречении от престола не покидала его, он начал подготовку к коронованию княгини Юрьевской. Но всё это было втуне. В роковой день, 1 марта 1881 года, две бомбы, последовательно брошенные народовольцами в императора Александра II, смертельно ранили его. В этот день Александр Михайлович Рылеев сделал в своём дневнике следующую, с мистическим оттенком запись:

«1-го Марта, после развода в Михайловском Манеже, Государь пил чай у Великой Княгини Екатерины Михайловны, куда тоже была приглашена княгиня Екатерина Михайловна Юрьевская, но не приехала. Убийство совершено на Екатерининском канале.

Венчание Государя с Княжной Долгорукой происходило в 3 ч. 30 м. п. п. д.; последний вздох погибшего Государя произошёл в 3 ч. 33 м. п. п. д.»⁵⁶.

Несколько месяцев спустя светлейшая княгиня Юрьевская навсегда покинула Россию и поселилась с детьми на юге Франции. До конца дней своих она оставалась незамужней; скончалась в возрасте семидесяти пяти лет на своей вилле «Жорж», под Ниццей.

За четырнадцать лет взаимной любви пылкий император Александр II и его возлюбленная написали друг другу четыре с половиной тысячи писем. В последний год двадцатого века их переписка была продана на аукционе «Кристи» за четверть миллиона долларов, по слухам, семейству Ротшильдов.

Часть вторая. Михаил Дубельт и Наталья Пушкина

На время войскового смотра, проходившего в 1859 году в Умани, Михаил Леонтьевич Дубельт имел свитское звание «генерал-адъютант», появившееся – вслед за званием «флигель-адъютант» – в русской армии в 1711 году.



Свитских званий удостаивались состоявшие при высших военачальниках (а с 1713 года и при императорах) особо доверенные военнослужащие, коим поручалось исполнение ответственных личных поручений императора. Строго говоря, свитские звания были только почётными и давались в дополнение к обычным воинским званиям. (Хотя присвоение свитского звания, более высокого по классу, чем имел офицер, означало автоматическое присвоение ему следующего армейского звания.) Так, свитский чин «флигель-адъютант» соответствовал армейскому чину полковника, свитский чин «Его Величества генерал-майор» – воинскому чину генерал-майора, свитский чин «генерал, состоящий

при Особе Императора» – армейскому чину генерала от инфантерии (от кавалерии).

Такое сочетание армейского и свитского званий давало их владельцу при необходимости возможность использовать своё свитское положение для разрешения как личных, так и служебных затруднений. Так было с Михаилом Леонтьевичем Дубельтом, когда он служил начальником штаба корпуса, в состав которого входило несколько дивизий, в том числе одна, квартировавшая в Умани. Штаб корпуса находился в Елизаветграде, а всё управление военными поселениями в это время сосредоточилось в Кременчуге, *«где властвовал граф Никитин и начальник его штаба фон-дер-Лауниц»*.

В своих воспоминаниях Андрей Михайлович Достоевский (брат писателя, служивший в Елизаветграде военным архитектором) об инспекторе всей резервной кавалерии графе Иване Петровиче Никитине написал следующее: *«Графское достоинство сей муж получил в 1847 году, когда во время больших манёвров в Елисаветграде, на которых находился император Николай I, Никитин, как инспектор кавалерии, парадировал на коне, но по старости упал с него. Тогда император сказал приблизительно: «Поднимите скорее графа», – и тут же поздравил его с этим достоинством. Собственно говоря, это был умный, очень симпатичный и добрый старик. Серьёзного зла он никому из подчинённых не сделал. Но он был очень уже стар и часто поддавал под влияние лиц, которых прежде избрал себе в советники и помощники»*⁵⁷.

При Никитине начальником штаба был генерал-лейтенант Василий Фёдорович фон дер Лауниц. Как водилось в те времена, военно-поселенческое начальство имело немало отработанных схем извлечения средств из казённых сумм, которые они безбожно урезали. Одна из схем предусматривала уменьшение реальных трат на строительство новых домов взамен обветшавших. Так было сделано в Елизаветграде, так генерал Лауниц пытался сделать в Умани. Вновь обращаемся к Андрею Михайловичу Достоевскому: *«Тут кстати будет заметить, что в других военных поселениях, например в г. Умани, местное начальство, исполняя такие нелепые словесные поручения лауницов и им подобных, начало ложку обывательских строений и вызвало тем ужасное негодование бедняков, которые, как было слышно, подавали об этом жалобу императрице Марии Александровне. И этому начальству досталось на орехи порядочно. Лауницы же от своих словесных поручений, конечно, отказывались»*⁵⁷.

В ситуации, с которой столкнулся Михаил Леонтьевич Дубельт, начальство военных поселений для извлечения денег использовало другую схему, состоявшую в следующем. Первая Кирасирская дивизия, квартировавшая в Умани, вдруг получила из Кременчуга приказ немедленно – в рамках дивизионного учения – отправиться в Меджибож (там во время Крымской войны она охраняла австрийскую границу) и принять участие в специально назначенных смотрах, использовав для кормления лошадей оставшийся там фураж. Чтобы уговорить Никитина не делать этого, к нему приехал Дубельт (не догадывавшийся, что прогонные деньги начальство уже поделило между собой и давно истратило):

«– Но позвольте доложить Вашему Сиятельству, – возразил Дубельт, – что этой цели можно достигнуть, не передвигая дивизию из Умани, и даже с некоторой выгодой для казны, а именно перевозкою тех самых 15 тысяч четвертей овса из Меджибожа в Умань вольным наймом. Мною исчислено, что эта операция обойдётся в 15 тысяч руб., между тем как дивизия, за два похода, получит по справкам 28 тысяч руб., значит, сохраняется для казны 13 тысяч руб., кроме утраты материальной части от 600 верстового похода.

– Э, батюшка, ты молодой человек и в этих вещах ничего не понимаешь, – сказал граф»⁵⁸.

Не добившись ничего от начальника военных поселений, Дубельт вернулся в Елизаветград, а Первая Кирасирская дивизия – во исполнение приказа – ушла в Меджибож, откуда её командир, генерал Мазуркевич, скоро прислал Михаилу Леонтьевичу отчаянное письмо, в котором умолял его спасти «лошадиный состав» дивизии от грозящего ему падежа. Выяснилось, что начальник поселенческого округа, барон Ган, на всё время дивизионного смотра в шесть недель длительностью обеспечил дивизию только половиной ей положенного фуража, расписавшись за получение всего его количества; недостающая же половина фуража была давно «реализована». Дубельт письмо генерала переслал фон дер Лауницу с просьбой разобраться и навести порядок.

«На это Дубельт получил от фон-дер-Лауница выговор за неуместное вмешательство в дела, до его начальства относящиеся. Тогда Дубельт написал фон-дер-Лауницу письмо, в котором изложил, что в нём соединяются два лица – начальник штаба, подчинённый фон-дер-Лауницу и заслуживший выговор, и флигель-адъютант Государя, имеющий обязанность доносить в собственные руки Его Величества о всех злоупотреблениях и незаконных действиях по службе, даже до его прямых обязанностей не относящихся. Поэтому Дубельт будет ожидать указания генерала фон-дер-Лауница, как ему в настоящем случае действовать»⁵⁸.

В итоге Дубельт получил от своего прямого начальника благодарственное письмо за то, что он открыл ему глаза на совершившееся безобразие, барон Ган был предан суду, а прибывшая из Умани на дивизионные сборы («на кампанент») дивизия получила для своих мощных статью кирасирских лошадей полную дачу фуражного зерна.

Дворянский род Дубельтов, пришедший в Россию в середине восемнадцатого века из Лифляндии, первым заметным представителем в российской истории имел Леонтия Васильевича Дубельта. Он воевал в войне с Францией (в 1806–1807 годах), участвовал в Отечественной войне 1812 года, сражался с супостатами под Бородином, где был ранен. Числился он некоторое время в масонах, был близок (не очень и недолго) к декабристам. В 1830 году Леонтий Васильевич переменял военное дело на жандармское – перешёл на службу в Отдельный корпус жандармов, где стал ближайшим помощником

шефа жандармов – Александра Христофоровича Бенкендорфа. (К слову, по высочайшему повелению Дубельт печатывал кабинет убитого на дуэли Пушкина, затем разбирал его бумаги.)

Его жена, Анна Николаевна, происходила из старинного рода Перских. Познакомилась она с «бесценным другом Лёвочки» в семье Николая Николаевича Раевского. Обвенчались молодые люди в 1818 году, и уже в октябре 1819 года у них родился сын Николай, а в 1822 году – Михаил. После выхода в отставку Леонтия Дубельта «по семейным обстоятельствам» его семья в 1828 году переехала в деревню Рыскино, где находилось родовое имение Перских. Анна Николаевна была особой энергичной и предприимчивой – прикупила соседские земли и повела очень расчётливо, с хорошим доходом хозяйство, что позволило ей купить в столице мужу трёхэтажный дом на Захарьевской улице, в котором тот и проживал вдали от заботливой супруги.

Оба сына Дубельтов военную карьеру начали с Пажеского корпуса. И если первенец Николай сразу порадовал родителей своими учебными успехами и прилежанием, то Михаил оказался проблемным сынком. По окончании Пажеского корпуса, как и брат, он был зачислен в Кавалергардский полк (к Ланскому), состоя в котором сумел основательно «встряхнуться». Прослыл Михаил Дубельт отчаянным картёжником и гулякой, чем очень разволновал родителей. Об этом писала в 1849 году мужу Анна Николаевна, озабоченная будущим одного из прикупленных имений, Власово: *«Так вот в чём дело: Боже сохрани, Коля не успел бы жениться и оставить Власово своему потомству, тогда, по закону, имение переходит Мише. Оно бы и ничего, да Миша-то в карты любит играть. Проиграет Власово – крестьяне и достанутся какому-нибудь картёжнику»*⁵⁹.

Доигрался Михаил Дубельт до такого состояния, что, решив в 1849 году переменить судьбу, отправился на Кавказ в составе Апшеронского полка воевать с горцами, чем ещё больше растревожил материнское сердце:

«Во всех последних письмах твоих, дорогой Лёвочка, я вижу, как ты сокрушаешься о Мишиньке. Но что ж делать, мой ангел, ведь он уже не дитя, надо ему дать волю избирать самому свою будущность, чтобы он после не роптал на нас, что мы помешали его призванию, его страстному желанию отличиться на военном поприще, что мы ему перебили дорогу и тому подобное. Ему 27 лет, как же ему не знать уже, что он делает? Притом жизнь его в Петербурге слишком ничтожна и бесполезна, чтобы не наскучить ему. <...>

Между тем, такая бесполезная жизнь раздражает его, от скуки он блажит и балуется, нрав его делается нестерпимым, и даже страшно подумать, что при таких обстоятельствах, если б не было никакой перемены, он мог бы сойти с ума. <...> Лучше быть убиту. Сумасшествие та же смерть, но какие страдания. <...>

Поэтому я надеюсь, что Мишинька приобретёт на Кавказе любовь начальников и товарищей. Он обворожителен, когда захочет. Я думаю, там немного таких майоров, как он, и, вероятно, его там оценят. <...>

А посылать ему много денег вдруг, я согласна, что не следует. Пусть лучше немножко перебивается, чем слишком много иметь денег на руках. Когда он докажет, что исправился от мотовства, тогда дело другое»⁵⁹.

В конце 1849 года Михаил Дубельт загрустил-затосковал, захотел повидаться с родителями, написал им о желании вернуться в Петербург. Мать, прежде чем принять решение, проанализировала слухи о причинах, побудивших сына уехать с Кавказа, в частности о том, что в Шуше он купил себе дом. Просмотрев газеты, она не обнаружила в списке награждённых за дела против горцев фамилии Дубельта, чему очень огорчилась. Попросила она мужа поговорить кое-где и кое с кем о сыне, замолвить за него слово.

В 1852 году «за отличие в делах против горцев» Михаил Леонтьевич Дубельт был произведён в подполковники⁶⁰. Получив отпуск до мая 1853 года, он приехал к родителям и занялся решением вопроса служебного перевода в столицу и устройством личной жизни. Был приятно удивлён, что его сватовство к Наталье Александровне Пушкиной оказалось удачным. Но это уже другой сказ.

Наташа была последним ребёнком супругов Пушкиных – родилась она 23 мая 1836 года. Вскоре после роковой дуэли Александра Сергеевича её мать, с четырьмя детьми на руках, уехала из Петербурга в своё родовое имение Полотняный Завод, располагавшееся в Калужской губернии. После семи лет вдовства, решившись на второй брак, она вышла замуж за генерал-адъютанта Петра Петровича Ланского, от которого родила ещё трёх дочерей. Её любимицей в новой большой семье по-прежнему оставалась Наташа (или бесёнок Таша), девочка живого и весёлого характера. Отличалась она хорошими манерами, прекрасным знанием французского и русского языков и уже в тринадцать лет поражала окружающих редкой красотой.



Следует сказать, что в некоторых публикациях, посвящённых Наталье Александровне, ставится под сомнение факт, что отцом её был Александр Сергеевич Пушкин. Утверждают некоторые «изыскатели», что во время предположительного зачатия дочери поэт был в отъезде, а жена его в это время пользовалась благосклонностью императора Николая I. В подтверждение этой гипотезы её авторы в числе документальных фактов приводят письма самого Пушкина и многочисленные реплики, которые отпускали в сторону маленькой Наташи родственники и знакомые её семьи. Противники такого рода «клубнички» приводят лишь один неоспоримый аргумент – полное сходство Натальи Александровны с Александром Сергеевичем Пушкиным не только внешностью, но и темпераментом⁶¹.

В шестнадцать лет, по окончании пансиона, Наталья безумно влюбилась – как свидетельствует Сергей Михайлович Загоскин, сын писателя, – в молодого графа Николая Алексеевича Орлова, впоследствии русского посланника в Брюсселе, Вене, Париже, Берлине. Он также любил Наташу, хо-

тел на ней жениться, чему граф Алексей Фёдорович Орлов решительно воспротивился, заявив, что брак его сына с Пушкиной был бы мезальянсом. И – кто знает – может быть, от отчаянья, может быть, в отместку судьбе-злодейке Наталья Александровна Пушкина без особых раздумий приняла предложение Михаила Леонтьевича Дубельта. Тот перед свадьбой навестил маменьку, с восторгом принявшую известие о женитьбе младшего сына. Об этом она написала супругу в письме от 16 апреля 1852 года:

«Дорогой Лёвочка, вчера утром приехал Миша со своей большой собакой Татаром, которая преважно сидела возле него в коляске. Удивительно смиренная собака по величине своей, красавица видом и шерстью и очень мне нравится привязанностью своей к Мише. После первых лобызаний и аханий над собакой пошли расспросы и толки о невесте. Первое дело моё было спросить его имя, а как узнала, что она Наталья Александровна, что мать её Наталья Николаевна, а старшая сестра Марья Александровна – ну я так и залилась страстною охотою женить нашего Николинку на Наташеньке Львовой. И там невеста также Наталья Александровна, старшая сестра Марья Александровна, а мать Наталья Николаевна»⁵⁹.

(Женитьба старшего сына, увы, расстроилась.) Между тем, отчим Натальи Пушкиной, генерал Ланской, и её мать пытались отговорить девушку от союза с Михаилом Дубельтом, указывали на его дикий нрав, на пристрастие к карточной игре. Более года не давали они согласия на брак, дав его только после тяжёлого семейного разговора, в ходе которого дочь гневно бросила матери: *«Одну замариновала и меня хочешь замариновать!»* (Намекала Наталья на сестру Марию, которой шёл двадцать первый год, и она всё ещё не была замужем.)

Мать Михаила Дубельта до свадьбы не дожидая – умерла в самый её канун, в конце зимы 1853 года. В последних своих письмах она, озабоченная будущим молодых, просила мужа помочь грядущей невестке стать фрейлиной (получить фрейлинский шифр), чтобы при малом размере приданого быть обеспеченной, а уж после добиваться через её родню флигель-адъютантства для сына Михаила.

После венчания молодые супруги Дубельты некоторое время жили в Петербурге, в доме отца Михаила Леонтьевича, часто гуляли по столице.

«Весною 1853 года Мих. Дубельт ходил иногда гулять на Дворцовую набережную со своею женою, рождённою Пушкиною, – дочерью поэта, и в сопровождении огромной собаки, именуемой Татаром. Однажды они во время прогулки встретили Наследника престола Александра Николаевича, и при нём была огромная собака Рог, сенбернарской породы. Звери сцепились дракой, что, конечно, наделало много шума и визга. Во избежание подобной сцены, Дубельт не брал более с собой своей собаки, когда считал возможным встретить на прогулке Его Высочество. Однажды отец Дубельта, Леонтий Васильевич, возвратившись домой, и в своей канцелярии, часа в три дня, сказал:

– Бедный Наследник. Он нездоров, и ему сегодня ставили пьвяки.

Натурально, М. Л. Дубельт полагал прогулку для Его Высочества в тот день невозможною, пошёл гулять с женой и взял Татара. На набережной они встретили Наследника, а за Его Высочеством шла его собака Рог, и баталия у Рога с Татаром произошла более ожесточённая, чем предыдущая. Его Высочество кричит: «Рог!», Дубельт кричит: «Татар!», и во время этой суматохи Дубельт сказал:

– Ах, Ваше Высочество, я думал, что я вас сегодня не встречу.

В этот момент собаки отстали друг от друга, и хозяева их поспешили уйти каждый в свою сторону»⁴⁹.

Пожив недолго в Петербурге, молодые супруги уехали по месту службы мужа в Подольск, затем – в Елизаветград, в Немиров, расположенный в Житомирской губернии. Был Михаил Леонтьевич к этому времени уже полковником. Скоро исполнилась и мечта его покойной матушки – в 1856 году он был назначен императорским флигель-адъютантом, а в 1861 году получил чин генерал-майора и был включён в свиту императора Александра II (в том же году возглавил штаб сводного кавалерийского корпуса).

У четы Дубельтов один за другим родились дочь Наталья – в 1854 году, сын Леонтий – в 1855 году, дочь Анна – в 1861 году. Дети подрастали, а вместе с ними росли и карточные долги генерала Дубельта, умудрившегося скоро промотать двадцать тысяч серебром из приданого жены. В семейных отношениях себя он не сдерживал – не раз, дико ревнуя, в пьяной ярости бил жену, топтал её ногами.

В 1862 году Наталья Александровна подала на развод и тем положила конец карьере мужа – его планировавшееся назначение губернатором в Тверь не состоялось. Оставив детей на попечение отчима, она уехала в Венгрию, к тётушке Александре Николаевне, жившей в имении Бродзяны. Через некоторое время Михаил Дубельт, прежде давший согласие на развод, передумал и приехал к жене просить прощения; не получив его, в очередной раз дал волю своему буйному, необузданному нраву. Только через два года после семейного разрыва получила Наталья Александровна от мужа свидетельство на право проживания без него, а через четыре года – свидетельство о разводе.

Ещё только заканчивался бракоразводный процесс, а Наталья Александровна, находясь в Лондоне, уже вышла замуж за немецкого принца Николая-Вильгельма Нассауского, состоявшего в родстве с русским царским домом. Познакомились они ещё в 1856 году в России, на одном из раутов, – Николай-Вильгельм, как представитель своего двора, присутствовал на торжествах по случаю восшествия на престол императора Александра II. Тогда у них и начался роман, который, возможно, стал для Натальи Александровны ускорителем разрыва её отношений с законным супругом.

Поскольку брак немецкого принца с дочерью Пушкина был для него мorganатическим, она не могла получить фамилию особы королевской крови. Возникшую коллизию разрешил зять Николая-Вильгельма, пожаловавший

его жене титул графини Меренберг. Во втором, ставшем счастливым, браке Наталья Александровна родила четверых детей – Софию, Александра, Георга и Николая. Более сорока лет своей жизни прожила она в Висбадене, но в иностранку не превратилась – хорошо говорила на родном языке, любила и ценила всё русское⁶².

(К слову, её дочь София Николаевна Меренберг впоследствии обвенчалась с великим князем Михаилом Михайловичем Романовым, внуком императора Николая I. По этому случаю отец невесты, принц Николай-Вильгельм Нассауский, получил от императора Александра III такую телеграмму: *«Этот брак, заключённый наперекор законам нашей страны, требующих моего предварительного согласия, будет рассматриваться в России как недействительный и не имевший места»*. Вслед за этой невоздержанной депешей Михаил Михайлович Романов был исключён со службы, ему был запрещён въезд в Россию. Новобрачные по этому поводу особо не грустили – перебрались навсегда в Англию, где королева Виктория пожаловала Софии Николаевне и её потомству титул графов де Торби.)

Из редких приездов Натальи Александровны на родину заметным стало её присутствие в 1880 году – вместе с сыном от первого брака Леонтием Дубельтом – на открытии памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Москве. (Кстати, Леонтий Дубельт от отца унаследовал непредсказуемость характера. Обучаясь в Пажеском корпусе, он нанёс удар ножом обидчику, после чего попытался зарезаться, но выжил и всю свою жизнь страдал эпилепсией.)

Умерла графиня Меренберг, она же – Наталья Александровна Пушкина-Дубельт, в 1913 году, в лондонском доме дочери, графини Софии де Торби⁶³.

Михаил Леонтьевич Дубельт после афронта с должностью тверского губернатора в 1862 году подал в отставку, из которой был возвращён на государственную службу в 1884 году. Три года он был комендантом тифлисской Александропольской крепости; выйдя – вторично – в отставку в 1890 году, получил звание генерал-лейтенанта⁶⁴. Скончался он 6 апреля 1900 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Часть третья. Дуэль по-американски

Душа – Богу, сердце – женщине,
долг – Отечеству, честь – никому.

Из «Кодекса чести русского офицера»

Дуэль как неюридическое средство урегулирования личных конфликтов посредством вооруженного строго формализованного столкновения между двумя конфликтующими лицами сурово преследовалась российским законодательством. Царь Пётр I, побывав за границей и понаблюдав там дуэли, вернувшись, ввёл превентивно – ещё до того, как поединки стали практиковаться в России, – суровые антидуэльные законы. Указом от 14 января 1702 года

он запретил любые виды вооружённых столкновений: *«Всем обретающимся в России и выезжающим иностранным поединков ни с каким оружием не иметь и для того никого не вызывать и не выходить: а кто, вызвав на поединок, ранит, тому учинена будет смертная казнь...»* Запрет на дуэль был закреплён царём в 1706 году в «Кратком артикуле», устанавливавшем смертную казнь для дуэлянтов, независимо от исхода поединка. Умягчила в сторону справедливости законы о дуэли Екатерина II. В своем «Наказе Законодательной комиссии» она провела различие между оскорбителем и оскорблённым, предложив наказывать только обидчика, а не казнить всех без разбора, в том числе второстепенных участников.

Тем не менее дуэли постепенно всё более и более проникали в дворянскую среду, становясь механизмом защиты чести и личного достоинства её представителей. Более того, в отличие от европейских стран (где дуэли носили больше ритуальный характер), дуэли в России отличались исключительной жестокостью условий неписаных кодексов. Так, дистанция в дуэльных поединках колебалась от трёх до двадцати пяти шагов, бывали дуэли один на один (без секундантов и врачей), нередко дрались до смертельного исхода, порой стрелялись, стоя поочерёдно спиной к краю пропасти, чтобы в случае ранения дуэлянт не остался в живых (дуэль Печорина и Грушницкого в «Княжне Мери»).

Император Николай I, при всём его отвращении к дуэлям, ответственность за дуэли несколько понизил, но не настолько, чтобы их участники оставались безнаказанными – освобождались от наказания только секунданты и врачи, дуэлянты же заключались в крепость на срок от шести до десяти лет с сохранением их дворянских прав после выхода на свободу⁶⁵.

Чтобы избежать наказания, по крайней мере для одного из дуэлянтов, защитники собственной чести и достоинства стали обращаться к так называемой американской дуэли, участники которой тянут жребий, после чего несчастливец собственноручно сводит счёты с жизнью. Впрочем, как указывает «Энциклопедия Брокгауза и Ефрона», *«...это название вдвойне неправильно: во-первых, потому, что происхождение этого обычая несправедливо относятся к Америке, и, во-вторых, по той причине, что это вовсе не дуэль, в которой противники сражаются равным оружием»*.

Таким способом выясняли отношения герои рассказа Константина Михайловича Станюковича «Американская дуэль» – вытянувший несчастливый жребий морской офицер бросился с палубы корабля в море, его противник прыгнул вслед за ним и не дал утонуть. Таким же способом защитил своё оскорблённое достоинство граф Карл Карлович Ламберт, сопровождавший императора Александра II во время войсковых смотров в Умани в конце лета 1859 года, – через два года, будучи заместителем Царства Польского, он вытянул счастливый жребий в противостоянии с варшавским генерал-губернатором Александром Даниловичем Герштенцвейгом.

Ламберты – древняя французская дворянская фамилия, берущая своё начало из ангулемского рыцарства. Одному из представителей этого рода – Карлу Осиповичу Ламберту – Екатерина II предложила перейти на службу в Россию вместе с младшими сыновьями. Тот принял предложение царицы

и стал русским генералом, прославившим свою фамилию верной и отважной службой государю и отечеству, в том числе в Отечественной войне 1812 года. В конце лета 1825 года Карл Осипович был уволен от командования корпусом по причине болезни. Оставаясь генерал-адъютантом императора Александра I, он находился в Таганроге при его кончине и был назначен начальником траурного кортежа для сопровождения тела императора в Петербург. (Правда, жена покойного императрица Елизавета Алексеевна попросила заменить в кортеже католика Ламберта на генерала православного исповедания.)

Его сын, Карл Карлович, 1815 года рождения, по окончании Пажеского корпуса был выпущен корнетом в лейб-гвардии Кирасирский полк, который нёс службу в Царском Селе и Гатчине. В 1840 году, уже в чине поручика, он был откомандирован на Кавказ, в отряд генерал-лейтенанта Аполлона Васильевича Галафеева, действовавшего в Чечне – на левом фланге Кавказской линии. Около 10 июля 1840 года поручик Ламберт встретился в Ставрополе, где находился штаб командующего войсками Кавказской линии и Черномории, с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, о чём последний, помимо прочего, сообщил своему сокурснику Александру Лопухину в письме от 17 июня 1840 года: *«Я здесь, в Ставрополе, уже с неделю и живу вместе с графом Ламбертом, который также едет в экспедицию и который вздыхает по графине Зубовой, о чём прошу ей всеподданнейше донести»*⁶⁶.

Карьерный рост Карла Ламберта шёл по нарастающей, и в декабре 1854 года он уже был командиром Первой Гвардейской кирасирской бригады, а спустя годы был назначен состоять в свите его императорского величества в звании генерал-адъютанта и числился в гвардейской кавалерии. Во время войсковых манёвров в Умани, в конце лета 1859 года, генерал Ламберт – уже как представитель временного распорядительного комитета по устройству южных поселений – сопровождал Александра I. Заключительным же аккордом головокружительной карьеры генерала Ламберта было производство его в 1861 году в генералы от кавалерии с назначением на должность наместника царя в Польше.

Будущий противник графа Ламберта, Александр Данилович Герштенцвейг, генерал-адъютант, генерал-лейтенант, сын генерала от артиллерии Даниила Александровича Герштенцвейга, родился в 1818 году. По окончании Пажеского корпуса в 1837 году он первую ступень карьерного роста – от прапорщика в лейб-гвардии Преображенском полку до чина капитана – осилил в 1848 году, а через год, перед походом в мятежную Венгрию, получил свитское звание флигель-адъютанта, а после похода – чин полковника. Далее Александр Герштенцвейг исполнял «спецзадания»: усмирал возмущившихся крестьян Новгородской губернии в 1851 году и производил следствие над лицами, *«прикосновенными к вышеупомянутому возмущению»*; неоднократно инспектировал части войск, сопровождал императора Николая I на смотрах в Белой Церкви и Луцке. Весной 1855 года, уже при императоре Александре II, он был произведён в генерал-майоры с назначением в свиту его величества, а в апреле 1859 года пожалован в генерал-адъютанты с присвоением звания генерал-лейтенанта.

В 1858 году Герштенцвейга назначили в комиссию по преобразованию школ кантонистов в военные школы. Состоя в должности дежурного генерала, он был ближайшим помощником военного министра Николая Онуфриевича Сухозанета, на которого имел большое влияние, и дважды удостоился высочайшей благодарности за труды по составлению положений по реформированию пехоты гвардейского и гренадёрского корпусов.

В начале августа 1861 года генерал-лейтенант Герштенцвейг получил назначение варшавским военным генерал-губернатором (так случилось – в один день с назначением графа Ламберта наместником Царства Польского). С этого дня начался отсчёт времени до скорого их столкновения – рокового для одного из его участников...

«В это время назначен был наместником Царства Польского генерал-адъютант граф Карл Карлович Ламберт.

Находясь с ним в довольно близких... отношениях, я получил от него предложение состоять при нём для особых поручений, и он обещал, по приезде своём в Варшаву, сделать надлежащее представление о назначении меня в его распоряжение.

До отъезда своего из Петербурга граф Ламберт жил по набережной р. Мойки, близ Круглого рынка, где я посещал его довольно часто.

В один из моих к нему приездов я встретил выходившего от него генерал-адъютанта А. Д. Герштенцвейга, который, как слышно было, назначался варшавским военным генерал-губернатором и с которым, сколько мне было известно, граф никогда не сближался и стоял в довольно холодных и натянутых отношениях.

Оба в высшей степени самолюбивые и честолюбивые, они не уступали друг другу ни умом, ни ловкостью и знали себе цену, а так как пословица гласит, что рыбак рыбака видит издалека, то возможность подобного назначения меня немало удивила»⁶⁷.

К новому месту службы два высших руководителя Царства Польского прибыли в самый разгар выступлений поляков за восстановление государственной независимости своей родины. Прежние наместники края – князь Горчаков и временно его замещавший военный министр Сухозанет – противодействия нарастающей анархии в стране фактически не оказывали, чем ещё больше распалили народ. Наэлектризованные толпы варшавян чуть не ежедневно маршировали по городу с символически сломанным крестом впереди своих колонн, пели революционные гимны, заполняли костёлы во время подстрекательских проповедей ксендзов⁶⁸.

В день похорон митрополита Фиалковского, 1 октября 1861 года, громаднейшая похоронная процессия, со знамёнами и коронами от всех польских земель, прошла в скорбном, зловещем молчании мимо графа Ламберта. На следующий день действующий в стране «центральный комитет» назначил во всех костёлах Царства Польского панихиды по случаю очередной годовщины смерти Тадеуша Костюшко. В ответ граф Ламберт издал прокламацию, в которой строжайше воспретил провокационные панихиды и присовокупил, что все ослушники будут арестованы и судимы по законам военного времени.

Поляки осмелили приказание наместника, и в назначенное время толпы их заполнили все варшавские костёлы.

К такому повороту событий власти были готовы, и ко всем местам антироссийского религиозного действия, по приказу генерала Герштенцвейга, были направлены войска столичного гарнизона. Почувствовав реальную угрозу, разбежались по домам посетители большинства костёлов, за исключением трёх центральных – кафедрального Свентоянского, Бернардинского и Свентокшиского, прихожане которого забаррикадировались в храмах и настраивались на решительное сопротивление военной силе (тем более что ксендзы уверяли их, что новый наместник – сам правоверный католик и потому не захочет погубить свою душу преследованием *«невинных и безбронных единоверцев»*)⁶⁹.

Ближе к ночи по городу пронёсся слух, что на рассвете исполняющий обязанности митрополита прелат Белобржеский готовится во главе огромной процессии из всего наличного духовенства и верующих при колокольном звоне двинуться к осаждённым костёлам *«для освобождения из-под ареста Христа и всей церковной святыни»*. На срочно созванном по этому случаю военном совете наместник Ламберт, перегретый возмущением, заявил о намерении установить у стен городского замка орудийную батарею и залпами картечи разогнать возмутителей спокойствия. Другие участники совещания, в первую очередь генерал Герштенцвейг, предложили не доводить дело до такой крайности, а взломав двери в костёлах, женщин отпустить по домам, мужчин же предварительно отправить в цитадель, после чего молодых сдать в солдаты, а прочих сослать на поселение.

Вся операция по такой «умеренной» схеме была завершена к трём часам ночи, о чём военный губернатор Герштенцвейг без промедления доложил своему непосредственному начальнику – наместнику графу Ламберту. Тот в свою очередь телеграфировал о происшедших событиях императору Александру II, отдыхавшему в Ливадии. В ответной депеше государь выразил своё удовлетворение оперативным разрешением проблемы диссидентов и, не отрицая необходимости принятых против них мер, попросил, чтобы строгость этих мер не была чрезмерной.

По случаю царского циркуляра граф Ламберт из орла обратился в голубя и почему-то в обход Герштенцвейга приказал подчинённому тому варшавскому обер-полицмейстеру генералу Левшину разобраться с арестованными бунтовщиками, оставив под стражей лишь самых отъявленных из них. Судя по всему, генерал Левшин поручение исполнил с особым рвением и не без удовольствия.

«По приезде в павильон, назначенный для содержания политических преступников, мы нашли из 1 684-х человек только двадцать два человека, которые хватили за колени генерала Левшина, намеревавшегося, по-видимому, освободить и этих...»

Герштенцвейг в страшном гневе накинулся на Левшина.

– Что это значит, генерал?..

Левшин выдержал, осмотрел его с головы до ног и, отчеканивая каждое слово, отвечал:

– *Исполняю приказание наместника, генерал. Граф приказал мне освободить тех, которые, по убеждению моему, я признаю невиновными. Вот я и освободил невинных.*

– *И вы смеете говорить мне это с таким цинизмом?.. Это измена!..*

– *Я прошу ваше превосходительство не возвышать голоса и обдумывать ваши выражения. Я стану отвечать не перед вами, а перед наместником: ему я дам отчёт, и он один мне судья.*

Страшно взбешённый Герштенцвейг выбежал из павильона, вскочил в коляску и крикнул кучеру: „К наместнику!“»⁷⁰

С точки зрения психологии, поведение графа Ламберта в ситуации с освобождением арестованных бунтовщиков – это поступок человека слабой воли и болезненно самолюбивого. Настроенный поначалу на самые решительные меры для восстановления порядка, он скоро согласился на их ослабление, предложенное его непосредственным подчинённым, Герштенцвейгом. Столь же скоро он согласился и с мнением своего августейшего повелителя (относительно не категорическим манером высказанным) не наказывать очень строго арестованных. При этом, щадя собственное самолюбие и не желая признать перед генералом Герштенцвейгом свою непоследовательность в принятии решений, он через его голову выправляет (будто бы его, Герштенцвейга) ошибочные действия.

Чтобы в полной мере оценить внутреннее состояние генерала Герштенцвейга после нанесённого его чести офицера оскорбления, следует знать особенности наследственности генерала. Его отец, генерал Даниил Александрович Герштенцвейг, в 1848 году был отправлен во главе шести дивизий (по соглашению с турецким правительством) в Молдавию, подавить возникшие там беспорядки. Как свидетельствуют очевидцы, ошибка Даниила Александровича в организации перехода войск через реку Прут привела его в такое отчаяние, что он отпросился в отпуск и по пути в Россию, находясь в карантине по случаю холеры, застрелился 14 августа 1848 года. Такая генетическая особенность отца сказалась на судьбе его сына.

«Герштенцвейг, узнав об этом сделанном наместником помимо его распоряжении, страшно взбешённый, тотчас же отправился к нему и без доклада вбежал, так сказать, в его кабинет, где в это время и я находился.

– *Что значат сделанные вами и без всякого моего о том ведома распоряжения об освобождении из цитадели арестованных мною в костёлах? – дерзким тоном и возвысив голос, спросил он наместника. – Если это не есть прямая измена, то в крайнем случае желание показать себя человеком гуманным пред лицом Европы. Когда нужно было карать, то вы на меня возложили обязанность эту, предоставляя одному себе исключительное право милования, и тем преступили вами же утверждённое постановление военного совета.*

– *Прошу вас успокоиться и опомниться, Александр Данилович, – сдержанно отвечал граф Ламберт. – Возложив на вас эту обязанность, я полагал совершенно излишним делать вам такие ука-*

зания, которые необходимы для какого-нибудь ефрейтора, а не для военного генерал-губернатора, особенно же для вас. Если я указал вам идти по известному направлению и вы на пути этом встретили пропасть, то вам следовало её обойти, а не бросаться в неё.

– Ты отрицаешь слова свои и сделанное тобой самим распоряжение, – с запальчивостью возразил Герштенцевейг.

Разговор принимал между ними такой оборот, что я невольно начал бояться за более серьёзные его последствия.

Оба разгорячённые, они стояли друг перед другом, как два лютые зверя. Граф Ламберт, сосредоточенный сам в себе и удерживая свой гнев с чувством достоинства, старался казаться спокойным и не выходить из пределов приличий; Герштенцевейг же, всё более и более возвышая свой голос, терял самообладание и подступал к Ламберту...

Несколько раз пытался я уговорить их, но все старания мои были тщетны, причём Герштенцевейг обратился ко мне и сказал:

– С какого права вы позволяете себе вмешиваться в наши объяснения? Извольте выйти отсюда, это вас не касается.

– Вы забываете, что он не у вас, а у меня, – сказал граф Ламберт, – и я не представляю ещё вам права распоряжаться в моём доме; прошу вас, Борцов, остаться; по крайней мере, вы можете быть свидетелем, насколько забываются и до какой степени наглости иногда доходят благовоспитанные люди.

– А, тебе нужны свидетели! – возразил Герштенцевейг и со словами: – Ты изменник и... – бросился к графу Ламберту, но, зорко следя за каждым его движением, я, к счастью, успел стать между ними и, отстранив Герштенцевейга, тем предупредил дерзкое его намерение.

Воспользовавшись этой минутой, граф, сильно взволнованный, отворил дверь из кабинета и, увидев генерала Хрулёва, сказал ему:

– Вы мне и нужны, Степан Александрович; прошу вас пожаловать ко мне, – причём вместе с ним тотчас же возвратился.

Объяснив генералу Хрулёву всё между Герштенцевейгом и им происшедшее, он присовокупил:

– За сим предоставляю вам, Степан Александрович, решить, что после этого остаётся нам делать, хотя, говоря по совести, я не могу себя упрекнуть ни в чём, что могло бы дать повод подобной выходке Александра Даниловича, который, полагаю, и сам в том должен сознаться.

– Здесь не место ни сознанию, ни отрицанию, а остаётся делать то, что в подобных случаях делается между порядочными людьми: я готов дать вам удовлетворение, – сказал Герштенцевейг.

Хрулёв хотел было привести их каким-либо путём к примирению, представляя вниманию их, что поединок между наместником и военным генерал-губернатором, особенно же при таких обстоятельствах, в каких они и все окружающие их находились в Варшаве, немислим и вызовет страшный скандал, но все усилия его были

*напрасны, и тогда, во избежание огласки, решено было остановиться на американской дуэли, называемой французами *duel à la courte paille*, при чём посредник подаёт противникам два конца носового платка, на одном из которых завязывается узелок, и вытащивший таковой обязан добровольно застрелиться. Посредником этим был генерал Хрулёв, и жребий пал на Герштенцвейга, который и вытащил злосчастный узелок, приведший его к самоубийству»⁷⁰.*

После рокового приговора судьбы Герштенцвейг вернулся домой и всю ночь, не раздеваясь, пролежал в постели. Утром 5 октября 1861 года он выстрелил в себя, но пуля только скользнула по его голове; выпущенная им вторая пробила лоб и застряла в затылке. Страдания Герштенцвейга продолжались девятнадцать дней. Скончался он 24 октября 1861 года на сорок третьем году жизни после того, как врачи предприняли попытку извлечь пулю. Погребли самоубиенного генерала в Сергиевой пустыни близ Петербурга.

Его сын, Александр Александрович Герштенцвейг, в 1866 году, по окончании Пажеского корпуса был командирован в чине корнета в распоряжение командующего войсками Туркестанского военного округа, где дослужился до чина штабс-ротмистра. По печальной семейной традиции он покончил с собой 22 апреля 1872 года. *«Позднее в Ташкенте застрелился и сын Герштенцвейга, и говорят, из того же самого медного пистолета, из которого застрелился отец и дед»⁷¹.*

«Граф Ламберт, потрясённый всеми упомянутыми событиями и целым рядом неприятностей, удручённый болезнью физически и психически расстроенный, не мог быть в нормальном состоянии и находился, так сказать, в состоянии невменяемости; следовательно, весьма понятно, что дальнейшее его пребывание в Варшаве в то время, когда более или менее считал себя невольным виновником и орудием тяжких страданий и неминуемой смерти медленно угасавшего своего ближнего, было для него невыносимо.

Чувствуя себя не в силах нести долее бремя лежавших трудных на нём обязанностей и исполнять их сознательно, он решил оставить злополучный для него город и занимаемый высокий им пост и чистосердечно донёс обо всём государю императору. Затем, не дождавись даже испрашиваемого им разрешения его величества оставить Варшаву, отправился в Лондон, а затем на остров Мадеру, куда вслед за ним прибыла кузина его, маркиза Lapote de Breves, с которой, когда здоровье его несколько улучшилось, он вступил в брак, но вскоре потом скончался»⁷⁰.

Александр Яковлевич Пассовер

Урождённый уманчанин, известный адвокат, блестящий оратор и разносторонний эрудит, Александр Яковлевич Пассовер был страстным книголюбом. Им была собрана огромная коллекция книг по всем отраслям знаний на русском и иностранных языках с большим отделом литературы по истории

и общественным наукам, в том числе по истории России и истории права. В библиотеке этой были редчайшие издания книг по философии, теологии, истории, в том числе на еврейском языке. Пассовера знали лучшие букинисты европейских стран; один из них – берлинский – говорил о своём незаурядном клиенте: «Ах, какой бы из него вышел антикварий!»

После смерти Александра Яковлевича в 1910 году его наследницы передали весь книжный фонд умершего – более тридцати тысяч томов! – библиотеке Академии наук. И ныне книги моего земляка (с владельческой печатью с надписью «*Ex libris | A. J. Passover | jurisconsulti*» в венке из дубовых листьев на титульном листе) служат людям.

«Когда вводилась судебная реформа в Царстве Польском, от расходов в распоряжении министерства осталась сумма в 2 000 рублей. Я просил Палена отдать её на учреждение особого отдела библиотеки министерства... и по получении его согласия приобрёл для неё через посредство Пассовера, бывшего в сношении с лейпцигскими книжными антиквариями, несколько дорогих изданий по весьма сходной цене».

(Анатолий Фёдорович Кони)

Часть первая. История профессионального становления

Александр Яковлевич Пассовер родился в Умани в 1840 году в семье военного врача (дед его также был врачом). Писанных фактов о начальных его годах не сохранилось, известно только, что во второй половине пятидесятых годов девятнадцатого века он поступил на юридический факультет Московского университета. Следует полагать, что материальное положение семьи позволяло сделать столь решительный шаг юному отпрыску. Этому способствовало тогдашнее законодательство, позволявшее еврею беспрепятственно получить высшее образование.



Препятствия же к тому вернулись позже, в царствование Александра III, объявившего вскоре после воцарения: «Ещё не так давно мы думали уничтожить еврейские особенности привлечением евреев в русские учебные заведения; обстоятельства изменились; теперь евреев становится больше в гимназиях, чем христиан». (В 1887 году, 10 июля, министр просвещения Иван Давыдович Делянов издал циркуляр о процентных нормах для приёма евреев в средние и высшие учебные заведения, согласно которому «признано нужным ограничить число учеников из детей евреев в местностях, входящих в черту постоянной оседлости, 10 %, в других местностях, вне этой черты, 5 %, а в Санкт-Петербурге и Москве 3 % всего числа учеников, подлежащих приёму в начале каждого учебного года...»)

До введения означенных ограничительных мер государственная система, начиная с Екатерины II и Александра I, по нарастающей прилагаемых усилий поощряла пополнение интеллектуальной элиты страны за счёт спо-

собных представителей еврейского этноса. Так, вступившее в действие в 1804 году Положение о евреях обобщало прежние законы и регламентировало жизнь евреев в России, позволяло детям евреев обучаться в любых учебных заведениях России. Однако консервативная на то время еврейская верхушка, опасаясь «плодов» предлагаемого светского просвещения, противилась нарушению, как им казалось, вековых устоев национальной культуры; тогда в русских учебных заведениях евреям были чужды и люди, и язык.

Дабы приблизить общее образование к еврейскому быту, новое Положение о евреях от 1835 года позволяло еврейским детям обучаться в русских школах в черте оседлости, а по окончании гимназии поступать в высшие учебные заведения по всей стране. Евреи, получившие степень студента, кандидата, магистра, художника, теперь имели право просить личного гражданства, а получившие степень доктора – потомственного гражданства.

После издания в 1827 году указа о рекрутской повинности и военной службе евреев, определившего им двадцать пять лет рекрутства, а кантонистам, призывавшимся с двенадцати лет, – до тридцати одного года, указом 1844 года были учреждены еврейские казённые училища (с сохранением права евреев обучаться в общих христианских учебных заведениях). При этом был сокращён срок службы при поступлении евреев в рекруты почти вдвое; окончившие же гимназии с отличием и *«оказавшие при поведении примерном особенные успехи в русском языке и словесности»* вообще освобождались от рекрутской повинности. Указ 1861 года допускал докторов медицины, а также докторов, магистров и кандидатов по немедицинским специальностям в службу по всем ведомствам, без ограничения их места пребывания чертой оседлости, и разрешал им *«постоянное пребывание по всей Империи для занятия торговлей и промышленностью»*.

По окончании юридического факультета Московского университета в 1861 году Александр Яковлевич Пассовер был оставлен при альма-матер на кафедре государственного права для подготовки к профессуре, а в 1863 году командирован за границу для усовершенствования юридических знаний. Статья расходов на командировку была определена не на *«суммы государственного казначейства»* (кстати, по этой статье расходов в это же время приготавлился к профессорскому званию в пределах России её будущий историк Василий Осипович Ключевский), а на *«еврейские суммы»*. Эти *«суммы»* составились из специального фонда ректора университета для помощи студентам-евреям и, возможно, из добавки от кассы взаимопомощи, которую еврейские студенты создали в Московском университете в 1865 году.

По возвращении в 1866 году в качестве обязательного научного отчёта о командировке кандидат Пассовер напечатал в «Журнале Министерства народного просвещения» очерк об английском приходе:

«Характеризовать основные учреждения Англии трудно не только потому, что всё английское так непохоже на континентальное: главная трудность заключается в отсутствии определённости в объёме, границах, функции, организации и инстанции самих учреждений. Ни одно положительное законодательство в мире

не делает таких энергических усилий нормировать самые мельчайшие подробности общественной жизни, и между тем нигде общественная жизнь так мало не исчерпана буквой закона, как в Англии...»⁷²

Тогда же он выдержал экзамен на магистра государственного права, однако получить кафедру не смог и потому поступил на службу по судебному ведомству. Некоторое время Пассовер был секретарём прокурора Московской судебной палаты Дмитрия Александровича Ровинского (известного русского юриста, знаменитого историка искусства, почётного члена Академии наук и Академии художеств); исполнял обязанности судебного следователя, а затем был товарищем прокурора в окружном суде города Владимира.

В 1872 году Александр Яковлевич Пассовер добровольно отказался от государственной службы и перешёл в адвокатуру при Одесском окружном суде. Примерно в это же время немало евреев, находившихся на службе государству, поступили схожим образом, и сделали это не в силу ограничительных мероприятий русского правительства, время которых ещё не пришло. Привлекала их возможность заняться профессией, более соответствующей еврейскому уму (и стихии тысячелетнего промысла еврейства в качестве посредника, в данном случае между судом и клиентом), плюс материальные соображения.

Такая метаморфоза стала возможной благодаря судебной реформе императора Александра I, вызвавшей к жизни адвокатуру как свободную профессию. Благодаря этому нововведению адвокат (или присяжный поверенный) был на законных основаниях поставлен в положение, совершенно независимое от органов исполнительной власти. Произносимые в судах речи присяжных поверенных, в силу высочайшего указа Правительствующему сенату, не подлежали никаким цензурным ограничениям, что давало возможность публиковать их в периодической печати. С другой стороны, адвокат («нанятая совесть» в определении Достоевского) сам договаривался с клиентом о размере гонорара, а клиент выбирал адвоката по своему усмотрению, и, конечно же, выбирал из тех, кто половчей, кто был способен защитить его интересы, нередко вне параграфов закона и норм морали.

Переехав в Одессу и став присяжным поверенным, Пассовер быстро занял лидирующее место среди городских адвокатов.

«Его речи – оригинальные по разработке и искусные по диалектике – вскоре завоевали ему известность выдающегося адвоката-цивилиста. К нему стали обращаться за консультациями, приглашали защитником по сложным и запутанным делам. В кассационном Сенате прислушивались к мнению Александра Яковлевича, обнаруживавшего большую эрудицию, широкую точку зрения и тонкий анализ. По преимуществу цивилист, он нередко появлялся и в роли защитника по уголовным делам»⁷³.

Когда в это время в Одессе произошёл еврейский погром, Пассовер стал во главе группы местных юристов-евреев (Михаила Григорьевича Моргулиса,

Ильи Григорьевича Оршанского, Михаила Игнатьевича Кулишера), взявших на себя организацию юридической помощи пострадавшим, а также исследование причин погрома и степени виновности его участников. Уполномоченный потерпевшими, Пассовер предъявил в гражданском кассационном департаменте Сената иск к одесскому генерал-губернатору об убытках, вызванных бездействием власти во время погрома. (Иск этот остался без движения, равно как и собранный материал о причинах и виновниках антиеврейских выступлений.)

С целью сохранения памяти о городских адвокатах Александр Яковлевич Пассовер в 1873 году учредил в Одессе журнал «Мемориал присяжных поверенных»:

«Я полагаю, что и для нас самих в будущем, и для поколений адвокатов, призванных сменить нас, полезно сохранить письменное удостоверение разных случаев, событий и приключений, которые относятся к нашей профессии, ко всему сословию, которые показывают, как в Одессе общество, публика, суд, присяжные понимали задачу и положение адвокатуры, как присяжные поверенные исполняли обязанности, законом на них возложенные, и отстаивали права, тем же законом им присвоенные. Пусть память о том и о другом не пропадёт для истории».

В круговерти времени, революционных и военных потрясений «Мемориал...» Пассовера не сохранился. Известно только, что с него начиналась книга «История русской адвокатуры», изданная в Москве в 1914 году по инициативе и на средства адвокатов в ознаменование пятидесятилетия принятия судебных уставов и образования сословия присяжных поверенных.

В 1874 году Александр Яковлевич переехал из Одессы в Санкт-Петербург, где продолжил работать присяжным поверенным. Здесь он вступил в ряды столичной адвокатуры, здесь он занял выдающееся положение как образованный, талантливый юрист, обладавший обширнейшими познаниями в области русского и иностранного права, особенно английского (результат его научной стажировки в Англии), неотразимой логикой и блестящим умом. Уже с первых профессиональных шагов он серьёзно заявил себя как адвокат – своей защитительной речью по делу одного присутствовавшего поверенного, исключённого из сословия советом присяжных поверенных⁷⁴.

При всей своей громкой известности печатные его труды можно пересчитать по пальцам. Он не публиковался, хотя всеми для того данными обладал. Зимой и летом ходил налегке, при этом, однако, почти никогда не снимал любимых замшевых перчаток. По натуре своей он был замкнутым человеком, семьи не имел, никого не критиковал и никому не давал оценок. Не любил фотографироваться, обожал театр, но всегда ездил смотреть только одну оперу – «Евгений Онегин».

В адвокатской среде, представители которой отличались различным уровнем темперамента и соответствующим ему характером, Александр Яковлевич Пассовер был очевидным интровертом. (В отличие, к примеру, от знаменитого адвоката-экстраверта Николая Платоновича Карабчевского, эмоцио-

нально строившего свои защитительные речи, к примеру: «Господа присяжные заседатели! Страшная и многоголовая гидра – предубеждение, и с нею-то прежде всего приходится столкнуться в этом злополучном деле...» – или однажды во время судебного заседания бросившегося с графином наперевес на жандарма, пытавшегося зажать рукой рот «разговорившемуся» подсудимому-революционеру.)

Ученик Пассовера, Максим Моисеевич Винавер, называл его ипохондриком и отшельником, отмечал, что «дружба, интимность... были ему как бы от природы чужды». Гостеприимством не славился, специально подобранная служанка-чухонка, не умевшая говорить по-русски, выучила только одну фразу для гостей: «Хозяина нету дома».

«В палитре у него не было ярких красок, да и вообще палитры у него не было, – не было у него и лирики: пафоса, страсти, обиды за поруганное моральное или иное общежитейское начало. У него плакалась, страдала и звала к возмездию поруганная логическая последовательность...»

...Процесс – и только он, – видимо, его возбуждал и поднимал. Вот настает момент, когда нужно выступить. До этой минуты худенький человек в застёгнутом на все пуговицы фраке, с адвокатским знаком не в петлице, как у всех, а на груди, в серых замшевых перчатках, сидел там, где-то в толпе, незаметный, опустив голову, закрыв глаза, – исхудалая жёлтая, мертвенная фигура. Настает его очередь, фигура угловатой походкой приближается к кафедре, раздаётся какой-то неясный, никому не слышный робкий шёпот. Невольностораживаешь уши. Не к чему. Через минуту исчез куда-то маленький робкий человек, движения оживают, голос набухает сильными, подчас раскатистыми звуками, глаза раскрылись и блещут своим серым стальным блеском, лицо розовеет, точно молодая кровь в нём играет»⁷⁴.

В рядах столичной адвокатуры Пассовер занимал выдающееся положение. К нему приезжали советоваться по самым сложным и запутанным делам знаменитые адвокаты, судьи, сенаторы. К его защите прибегали города, земства и правительственные учреждения. Многие положения права, впервые высказанные Пассовером, легли в основу руководящих решений кассационных департаментов Сената. Им была создана целая школа известных судебных деятелей, в течение тридцати пяти лет он был бессменным руководителем одной из конференций помощников присяжных поверенных, его неоднократно избирали в члены присяжных поверенных округа столичной судебной палаты. Пассовер был в близких дружеских отношениях со многими корифеями русской литературы, науки и судебного мира, он пользовался огромным уважением и высоким нравственным авторитетом в русском обществе.

«Утром 13 июля 1877 года я был в Петергофе, где накануне обедал с И. И. Шамшиным у Сельского, а затем ночевал у своего старого товарища Пассовера. Я собирался уехать на десятичасовом пароходе, но в Нижнем саду было так заманчиво хорошо, Пассо-

вер был в таком ударе, его замечательный ум так играл и блистал, а день был воскресный, что я решил остаться до часа».

(Анатолий Фёдорович Кони)

Скончался Александр Яковлевич Пассовер 21 апреля 1910 года. Похоронили его на еврейском участке Преображенского кладбища.

Часть вторая. Дело Вальяно

Александр Яковлевич Пассовер был в числе известных российских адвокатов, которые обеспечивали судебную защиту группе жителей Таганрога, проходивших – в 1885 и в 1886 годах – по делу о хищениях в местной таможне. Пассовер на этом судебном процессе защищал – за сверхвысокий гонорар – почётного гражданина Таганрога купца первой гильдии Марка Афанасьевича Вальяно. К делу этому, для вящей убедительности адвокатских действий, он пытался привлечь своего товарища по Московскому университету Анатолия Фёдоровича Кони, что тот засвидетельствовал в своих мемуарах:

«В конце 1884 года ко мне зашёл мой сотоварищ по университету и старый сослуживец по Москве, блиставший остроумием и разнородными знаниями, присяжный поверенный А. Я. Пассовер и стал меня уговаривать выйти в адвокатуру, указывая на то, что министерство, отняв у меня живое слово и поставив меня в „стойло“, обрело мои способности на преждевременное увядание. <...>

Не желая возражать, по существу, против деятельности адвоката в том виде, как она у нас выработалась, я, чтобы отделаться от Пассовера, сказал ему, что выход в адвокатуру без какого-либо готового большого дела представляется рискованным, и упёрся на этом, несмотря на его возражения. Через неделю Пассовер явился снова, как демон-искуситель, и предложил мне прямо защиту вместе с ним купца Вальяно, обвинявшегося в подкупе чиновников для подлога отвесного листка таганрогской таможни, к которому казною был предъявлен иск в полтора миллиона рублей золотом, объясняя при этом, что дело совершенно чистое и строго юридическое, так как Государственный совет уже решил, что лиходатели не могут считаться участниками подлога, совершаемого лихоимцами, и сами по себе за лиходательство не отвечают. При этом на моё заявление о том, что должность несменяемого судьи даёт мне хотя и скромное, но верное ежегодное обеспечение в пять тысяч, он сказал мне, что то же предложит мне и Вальяно. «Но ведь это одновременно, а тут я обеспечен ежегодно», – сказал я, продолжая избегать указывать адвокату на несимпатичные мне стороны адвокатуры как служения частному интересу. Пассовер сделал удивлённые глаза, потом засмеялся и сказал мне с расстановкой: «В день подписания условия о принятии на себя защиты я уполномочен вручить вам чек на сто тысяч. Это и есть ваши пять тысяч ежегодно!» – «Оставим этот разговор», – сказал я, мысленно обращаясь к нему со словами:

«Отойди от меня, сатана». Но он ответил, что не принимает моего отказа и зайдёт через неделю снова. Эта неделя прошла у меня не без внутренней борьбы. Мысль снова получить в своё распоряжение тоскующее и вопиющее по простору слово, получить обеспеченное положение и «наплевать» на правительство, так недобросовестно и упорно меня угнетавшее, заставив его, быть может, не раз пожалеть об утрате когда-то служивших ему дарований, была очень соблазнительна, но старая привычка служить государству и любовь к судебному ведомству взяли верх, и соблазны вскоре улетучились. Я сказал себе словами поэта: «Блажен, кто свой челнок привяжет к корме большого корабля». «Большой корабль» был суд, которому я отдал свои лучшие... годы, и мне было поздно отвязывать «свой челнок». Когда Пассовер пришёл вновь и стал настаивать на истинных причинах моего отказа, я вынужден был объяснить, что для защиты по несложному делу, где нет необходимости разбирать и опровергать улики, вполне достаточно одного защитника, и мой «дар слова» не может даже найти себе применения. «Я понимаю, что для Вальяно, имеющего огромные торговые связи в Англии, важно получить возможность сказать, что обвинение против него было настолько неосновательно и даже возмутительно, что председатель столичного апелляционного суда решился сложить с себя это высокое звание, чтобы пойти его защищать. Таким образом, нужны не мои умение и знание, а моё имя. Но им я не торгую!» И мы расстались. А через год мне, уже в должности обер-прокурора, пришлось давать кассационное заключение по этому же самому делу и настаивать на утверждении обвинительного приговора о том же самом Вальяно».

История дела Вальяно имеет свой исток в конце 1880 года, когда в Таганрог для ревизии местной таможни прибыл помощник инспектора пограничной стражи полковник Алексей Трифонович Озеровский. Выбор кандидатуры проверяющего был не случаен – Озеровский хорошо знал южный Приморский край, нравы его обитателей; здесь, в Екатеринославе, он родился, окончил дворянскую гимназию. Поводом для ревизии стали многочисленные письма одесских купцов в министерство финансов, в которых они жаловались на недопустимо низкие цены у таганрогских конкурентов на колониальные товары, что указывало на их явно контрабандное происхождение⁷⁵.

Прибыв на место, полковник Озеровский скоро обнаружил множественные злоупотребления в импортных операциях таможни, чем не на шутку разволновал как таможенных чиновников («лихоимцев»), так и торговцев («лиходателей»). Чувствуя надвигавшиеся проблемы в личной жизни, стали потенциальные подсудимые прятать концы в воду; крупные конторы некоторых своих «слабонервных» служащих заслали на долгие сроки подальше от города и от ревизора.

Первым не выдержал нервного перенапряжения местный купец Кубиш. Он явился к ревизору и дал письменные показания, в которых, в частности, указал, что в Таганроге вести торговлю «по закону» невозможно из-за того, что крупные купцы ввозят заморские товары беспощинно, побуждая тем самым купцов рангом ниже делать то же самое.

Результаты ревизии Озеровского были переданы следственной комиссии, которая расширила и углубила результаты проведённых исследований. Выяснили следователи, что старшие чины таганрогской таможни вкупе со своими подчинёнными выпускали товар из гавани без обязательного таможенного досмотра, перевозили прибывший товар в пакгаузы по подложным или бывшим в употреблении документам и прочая и прочая... Выяснили также столичные сыскари, что взяточничество в припортовых конторах имело чёткую систему взаимоотношений участников процесса: получатели товаров отдавали половину пошлины «в лапу» таможенным чиновникам, которые перераспределяли «левый» доход внутри своей корпорации по собственным правилам, не забывая вести проводимым операциям особый бухгалтерский учёт.

Команду «*лиходателей*» в организованном таможенном мошенничестве возглавлял грек Марк Вальяно – богатейший и влиятельнейший в Таганроге коммерсант, член правлений многих компаний (в пору начавшегося уголовного дела ему было далеко за семьдесят). В молодости он, простой матрос, начал свою деловую карьеру заурядным портовым маклером, сводившим, ради торговой комиссии, на портовой набережной продавцов и покупателей. Скопив некоторый базовый капитал, Вальяно своё торговое дело начал с небольших партий парфюмерии из Франции, маслин и оливкового масла из Греции. Имя его чаще других стало значиться в морских коносаментах на получение грузов, прибывавших в его торговую контору большими баржами и пароходами. Из суетливого, угодливого посредника он превратился в солидного коммерсанта внушительной комплекции, медлительного в речах и в походке, ему при встрече кланялись местные таможенники, выражая тем самым своё почтение за разработку и практическую реализацию схемы перевода казённых денег в «левую» наличность.

В то время существовало странное правило – после того как чиновники проверят прибывший в порт груз и начислят пошлину, грузовладелец имел право или, оплатив пошлину, забрать товар с парохода, или же, отказавшись от пошлинных расходов, утопить груз на рейде. Вальяно всякий раз, когда таможенные чиновники, проверив товар, объявляли ему сумму сборов, решительно отказывался платить пошлину, соглашаясь на затопление пришедшего в его адрес груза, подтверждая это подписью в соответствующем документе.

Конечно же, «отказной» груз никто не топил. Под покровом ночи его сгружали с парохода на зафрахтованные Вальяно плоскодонные лодки – турецкие фелюги. Те перевозили ставшие контрабандными товары к тому месту берега, где начинался потайной подземный ход в особняк оборотистого дельца. По такой схеме товарооборота Вальяно на каждом пароходе экономил для себя тридцать – сорок тысяч пошлинных рублей, из которых «откатывал» установленную мзду подельникам – таможенникам, капитану судна и другим сопричастным лицам. Сам же экзотический колониальный товар он с большой выгодой для себя сбывал оптовыми партиями владельцам крупных магазинов.

Особой статьёй доходов Вальяно, дававшей ему львиную долю дохода, был ввоз из-за границы фальшивых кредитных билетов, которые поставщики аккуратно впрессовывали в импортируемые карандаши. Однажды из упавшего

ящика карандаши рассыпались, попали в руки возницы, который дома обнаружил их внутреннюю суть. Предъявленные им в банке кредитки были признаны фальшивыми, и событие это, как свидетельствуют очевидцы, стало решающим поводом для начала кампании против Вальяно и его поделщиков.

Началось оно после работы Озеровского и следственной комиссии, в 1881 году, что засвидетельствовала газета «Московский листок» в номере от 24 декабря 1881 года. За решёткой арестованный греческий магнат побыл недолго, что поведала та же газета своим читателям в номере от 8 февраля 1882 года: *«Виновник таможенных недоразумений, купец Вальяно, успел и свободу себе исходатайствовать, и тюрьму покинуть, и залог за себя внести. Правда – залог в миллион, но что значит миллион, если его состояние – 50 миллионов. Нечего и думать, конечно, о том, чтобы дело это дошло когда-нибудь до разбирательства»*. Московская газета сообщала, что дело Вальяно и его поделщиков, поначалу вялотекущее, было передано в суд. (После этого главный обвиняемый решил потратить ещё один миллион на надёжного защитника; именно об этом миллионе говорил Пассовер, предлагая Кони участие в процессе.)

Спустя много лет после указанных событий писатель-сатирик Сергей Званцев (псевдоним ростовского адвоката Александра Исааковича Шамковича) сочинил рассказ «Дело Вальяно», в котором с мощным художественным вымыслом «оправдал» греческого супермиллионера адвокатским искусством Александра Яковлевича Пассовера:

«Говорил он минут пять-шесть, не больше:

– Вальяно ввозил товары, не оплаченные сборами, на турецких фелюгах? Да, господин прокурор это блистательно доказал, и я, защитник, опровергать эти действия подсудимого не собираюсь. Но составляют ли эти действия преступление контрабанды, вот в чём вопрос, господа судьи и господа присяжные!

Тут Пассовер сделал чисто сценическую паузу «торможения», и все, затаив дыхание, замерли. Прокурор заметно побледнел. Пассовер поднял глаза к потолку и, точно читая на пыльной лепке ему одному видимые письма, процитировал наизусть разъяснение судебного департамента Сената с исчерпывающим перечислением всех видов морской контрабанды: лодки, баркасы, плоты, шлюпки, яхты, спасательные катера. Упоминались в качестве средств для перевозки контрабанды даже спасательные пояса и обломки кораблекрушения, даже пустые бочки из-под рома, но о турецких плоскодонных фелюгах не упоминалось.

– Между тем, господа судьи и господа присяжные, – с вежливым вздохом по адресу обомлевшего прокурора сказал затем Пассовер, – вам хорошо известно, что разъяснения Правительствующего сената носят исчерпывающий, да, именно исчерпывающий, характер и распространительному толкованию не подлежат. А поэтому... – он чуть-чуть повысил голос: – поскольку подсудимый Вальяно перевозил свои грузы, на чём особенно настаивал господин прокурор, именно на турецких фелюгах, а не в бочках из-под рома, например,

в его действиях нет, с точки зрения разъяснения Сената, признаков преступления морской контрабанды, и он подлежит оправданию.

Перед тем как сесть, Пассовер в наступившей мёртвой тишине добавил совсем смиренно:

– А если бы вы, господа, – чего я не могу допустить – его не оправдали, ваш приговор всё равно будет отменён Сенатом как незаконный и ввавший в противоречие с сенатским разъяснением».

Нет дыма без огня. Возможно, художественный вымысел, построенный на изустных преданиях жителей Таганрога, имеет реальную основу в части избранной знаменитым адвокатом линии защиты. В целом же уголовное дело «О злоупотреблениях в таганрогской таможне», по которому прошло восемнадцать человек, имело исход, отличный от щедрого писательского вымысла. На рассмотрение присяжным заседателям было поставлено более тысячи вопросов, которые они обдумывали и оценивали три рабочих дня, после чего признали восемьдесят случаев злоупотреблений доказанными.

Стало быть, не помог Вальяно хладнокровный и изобретательный Пассовер, как не помог подельникам главного таганрогского контрабандиста, братьям Андрею и Илье Муссури, нанятый ими московский златоуст Плевако, записи речей которого сохранились: *«Мы уже слишком поглощены фактами: масса мест, весов, коносаментов, тары – готовы задушить нас. За грудой следственных материалов не видно людей. Но вы, судьи, не должны позволить фактам возобладать над собой, вы не бухгалтеры, проводящие счёт пропавшей казённой копейки, вы решители судеб человеческих – вы займитесь не фактами помимо людей, а людьми помимо фактов».* Далее, сделав обстоятельный анализ доказательств по всем эпизодам обвинения, Плевако (не оспаривая вины своих клиентов) пытался убедить присяжных в том, что преступления на таганрогской таможне начались задолго до приезда в город братьев-коммерсантов, что до 1881 года нет никаких данных об их незаконной деятельности.

В итоге одиннадцать подозреваемых были оправданы, остальные – в том числе Вальяно, братья Муссури и несколько чиновников таможни – были осуждены. Гражданские иски в пользу казны были судом полностью удовлетворены. Это подтверждают дошедшие до наших дней судебные документы процесса 1885 года:

*«Представление прокурором Таганрогского Окружного суда
господину прокурору Харьковской Судебной Палаты.*

Вследствие предписания от 29 мая 1885 года за № 5282 имею честь донести Вашему Превосходительству, что 3 сего июня судебный пристав Бураков в моём присутствии приступил к исполнению приговора Харьковской Судебной Палаты о денежных взысканиях осуждённых по делу о злоупотреблениях в Таганрогской таможне, и так как Вальяно, Чуле, Кузовлев, Зубков и Липинский заявили, что они не могут уплатить присуждённой с них денежной суммы, то судебный пристав наложил арест на оказавшееся у них движимое имущество, на деньги и процентные бумаги, представленные некоторыми из них при производстве предварительного следствия по

этому делу во избежание могущего пасть на них денежного взыскания, и вручил им повестки об обращении взыскания на недвижимые имения, на которые также было наложено запрещение при производстве предварительного следствия.

Возвращённые же мне судебным приставом исполнительные листы на взыскания с Айканова и Михайлова, мною доставленных в камеры прокурора, впредь до получения от таганрогского полицмейстера как их, так и в том, что не имеется ли у них в Таганроге какого-либо недвижимого или движимого имущества.

И. о. прокурора Норов».

Возможно, что при участии титанов российской адвокатуры осуждённые по делу Вальяно подали кассационные жалобы, на которые звезда российской юриспруденции Анатолий Фёдорович Кони делал кассационное заключение, настаивая в нём (судья по его воспоминаниям) на *«утверждении обвинительного приговора»*. По этому случаю заседание Харьковской судебной палаты в апреле 1886 года подтвердило обвинительный приговор всем участникам злоупотреблений на таганрогской таможне.

«Исполнительный лист. По указу Его Императорского Величества 1885 года с 12 февраля по 18 марта Харьковская Судебная Палата по уголовному Департаменту... рассмотрев предъявленный Начальником Южного Таможенного Округа в уголовном порядке по делу бывших с 1878 по 1881 год злоупотреблениях в Таганрогской Таможне купцу Марку (он же Мари) Афанасьевичу Вальяно, живущему в Таганроге, в собственном доме, об убытках, причинённых получением из Таганрогской Таможни заграничных товаров без оплаты пошлиною, пунктом 41 приговора между прочим постановила подсудимого Таганрогского 1-й гильдии купца Марка (он же Мари) Афанасьевича Вальяно за получение по стачке его с чиновниками из Таможни без ярлыка не оплаченного пошлиною заграничного товара, подвергнуть взысканию трёхсот двадцати семи тысяч восьмисот шестидесяти шести (327 866) рублей кредитных...»

Уже позже на этом исполнительном листе была сделана приписка: *«По сему исполнительному листу в оплату взысканий поступило на депозит Таганрогской Таможни 28 апреля 1886 года под квитанцию № 1545 триста двадцать семь тысяч рублей восемьдесят копеек. Исполняющий делами Судебного Пристава Вускович».*

Взыскания с других должников по приговору Харьковского суда велись очень долго – до начала девятисотых годов. Вальяно к этому времени уже не было в живых, скончался он в 1896 году и был, как гражданин Великобритании, похоронен его сыном, также подданным британской короны, на одном из кладбищ Лондона.

Что же касается художественной интерпретации якобы проявленного адвокатского хитроумия, якобы освободившего Вальяно от судебного наказания, то можно употребить по этому поводу итальянскую поговорку: *«Se non e vero e ben trovato!»* («Если это и неверно, то хорошо сказано!»)

Часть третья. Как Пассоверу не дали защитить Александра Ульянова

Александр Ильич Ульянов – старший брат Владимира Ильича Ульянова (Ленина) – по окончании в 1883 году Симбирской классической гимназии с золотой медалью поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, где проявил



незаурядные научные способности. Постигая науки, он одновременно участвовал в нелегальных студенческих собраниях, демонстрациях, вёл пропаганду в рабочем кружке.

В декабре 1886 года студент Ульянов вместе с Петром Яковлевичем Шевырёвым организовал «террористическую фракцию» партии «Народная воля», объединившую главным образом студентов столичного университета.

В феврале 1887 года на деньги, вырученные от продажи своей золотой медали, Александр Ульянов приобрёл взрывчатку для бомбы. «Террористическая фракция» планировала 1 марта 1887 года совершить покушение на Александра III. Дату эту выбрали не случайно – в этот день в 1881 году народовольцами был убит император Александр II.

Начиная с 26 февраля сигнальщики и метальщики с бомбами каждый день стерегли царя на Невском проспекте, но были замечены бдительными полицейскими. За ними началась слежка, и 1 марта 1887 года, когда царь приготовился выехать из Аничкового дворца и отправиться в Петропавловский собор, все «засветившиеся» террористы были схвачены. На донесении, составленном по этому случаю министром внутренних дел графом Дмитрием Андреевичем Толстым, император написал: *«...Желательно не придавать слишком большого значения этим арестам. По-моему, лучше было бы, узнавши от них всё, что только возможно, не предавать их суду, а просто без всякого шума отправить в Шлиссельбургскую крепость – это самое сильное и неприятное наказание»*. Впрочем, ознакомившись с составленной Александром Ульяновым программой «террористической фракции», Александр III повелел судить заподозренных в подготовке цареубийства по всей строгости закона.

Судили деятелей «второго 1 марта» судом Особого присутствия Правительствующего сената (хотя рассматривался вариант и военного суда, оперативного и бескомпромиссного). Председательствовал на суде Пётр Антонович Дейер, прославившийся в шестидесятых – семидесятых годах своими жестокими приговорами в отношении политических противников власти. Анатолий Фёдорович Кони, обер-прокурор уголовного кассационного департамента Сената, позже писал, что Дейер *«проявил... такое чёрствое инквизиторство, что все порядочные люди в Сенате радовались, когда подобные дела, по тем или другим соображениям, передавались в военный суд, вообще гораздо более гуманный, чем суд господ сенаторов»*.

За пять дней до начала суда его председатель предложил пятнадцати подсудимым выбрать себе адвокатов. Восемь из них предложением этим воспользовались, остальные, в том числе и Александр Ульянов, от услуг защитников отказались. Между тем в этот же день к Дейеру обратился Матвей Леонтьевич Песковский (муж племянницы Марии Александровны Ульяновой,

матери Александра Ульянова) с просьбой утвердить Александра Яковлевича Пассовера защитником Александра Ульянова. В просьбе этой Дейер отказал, сославшись на то, что она исходит не от подсудимого. Получив устный отказ на свою, также устную, просьбу, Песковский, не теряя драгоценного времени, написал *«на имя Его Превосходительства господина Первоприсутствующего Особым присутствием Правительствующего Сената»* официальное прошение назначить присяжного поверенного Пассовера защитником Александру Ульянову.

«Мать подсудимого по делу 1-го Марта, Александра Ульянова, уезжая из Петербурга 1-го Апреля по болезни, поручила мне, как близкому и единственному... родственнику её, помочь Ульянову в приискании защитника. <...>

Исходя из этого обстоятельства, осмеливаюсь ходатайствовать перед Вашим Высокопревосходительством о назначении указанного выше защитника Ульянову. <...>

Вопрос о защитнике для Ульянова представляется очень спешным, так как, насколько известно, дело должно начаться слушанием 15-го Апреля»⁷⁶.

Ознакомившись с письменным прошением Матвея Леонтьевича Песковского, министр юстиции и одновременно генерал-прокурор Правительствующего сената Николай Авксентьевич Манасеин написал на нём свою резолюцию: *«Препроводить на распоряжение господина Первоприсутствующего Особым присутствием Правительствующего Сената для суждения дел о Государственных преступлениях»*. Во исполнение резолюции шефа его подчинённые, особо не поспешая, подготовили сопроводительное письмо на имя Дейера, ушедшее 13 апреля 1887 года с грифом *«Арестантское. Секретное»*:

«Министр юстиции, свидетельствуя совершенное почтение Его Превосходительству Петру Антоновичу, имеет честь препроводить при сём, на его распоряжение, прошение кандидата университета Матвея Песковского о назначении присяжного поверенного Пассовера защитником Александра Ульянова, преданного суду Особого присутствия Правительствующего Сената для суждения дел о государственных преступниках».

Представляется естественным, что, отправив помянутое выше ходатайство «по инстанции», Матвей Леонтьевич Песковский известил об этом письмом и самоё заинтересованное лицо – Александра Ульянова, тем более что переписка с подсудимыми не возбранялась. Можно также предположить, что письмо это до адресата не дошло по причине перлюстрации оною – жандармы, вскрыв письмо и ознакомив с ним господина Дейера, получили от него совет не передавать его Ульянову.

Между тем своё решение по предложенной кандидатуре адвоката Александр Ульянов должен был сделать – не мог он из чувства уважения не ответить близкому ему человеку, так беспокоившемуся о его судьбе. Между ними были не просто тесные родственные, но и дружеские отношения близких по

уровню интеллекта и образованности людей (Песковский, кстати, позже издал книгу о Суворове, в советское время переизданную в серии «Жизнь замечательных людей»). Александр Ульянов, вместе с сестрой Анной, после приезда в Петербург в 1883 году на первых порах жил в семье Песковских.

Так и тянулась эта неопределённость десять дней, после чего Дейер, в ответ на запрос министра Манасеина, ответил официально Песковскому 14 апреля 1887 года, за день до начала судебного процесса:

*«Кандидату университета
Матвею Леонтьевичу Песковскому.*

Вследствие приказа Его Превосходительствующего Сената, канцелярия оного имеет честь уведомить Вас, милостивый государь, что ходатайство Ваше на имя г. министра юстиции, переданное последним на распоряжение Первоприсутствующему о назначении подсудимому Александру Ульянову защитника присяжного поверенного Пассовера на основании 565 и 566 ст. Устава уголовного судопроизводства, оставлено без последствий».

За день до начала судебного разбирательства, назначенного на 15 апреля 1887 года, подсудимые, содержащиеся в одиночных камерах Петропавловской крепости, были доставлены в закрытых тюремных каретах в камеры Дома предварительного заключения (Шпалерная улица, двадцать пять). Судебный процесс проходил в здании Петербургского окружного суда (Литейный проспект, четыре) при закрытых дверях – закон от 12 февраля 1887 года ограничивал гласность судебных заседаний и предоставлял министру юстиции право решать, в каких случаях и кому дозволяется на них присутствовать. В зал суда были допущены лишь министры и их товарищи, члены Государственного совета и особо перечисленные лица из высшей бюрократии. В части закрытости судебный процесс по делу 1 марта 1887 года во многом «превзошёл» судебный процесс по делу 1 марта 1881 года, на котором во время судебного разбирательства присутствовали представители печати и велись стенографические записи.

Подсудимых обвиняли в принадлежности *«к преступному сообществу, стремящемуся к ниспровержению существующего в России государственного и общественного строя и намерении посягнуть на жизнь священной особы Его Императорского Величества»*. Прокурором Особого присутствия был назначен Николай Адрианович Неклюдов, профессор Военно-юридической академии, консультант при министерстве юстиции, затем обер-прокурор общего собрания Сената. Недавний либерал, капитулировавший перед наступившим настоящим, автор не допущенной к защите диссертации под названием *«Уголовно-статистические этюды»*, издатель Джона Стюарта Милля и Джорджа Генри Льюса, блестящий комментатор Людвиг Бёрне и популярный мировой судья, требовал подсудимым смертной казни. *«Он был совсем раздавлен данным ему поручением, тем более что один из подсудимых, выдающийся по таланту студент-математик Ульянов, был сыном его собственного любимого учителя в Пензенской гимназии»*, – писал Анатолий Фёдорович Кони.

Самозащита Ульянова полностью устраивала обвинителя Дейера, который сделал всё от него зависящее, чтобы публично не состязаться с Алек-

сандром Яковлевичем Пассовером в ходе следственного заседания. Боялся Пётр Антонович Дейер потерпеть моральное поражение в присутствии членов Государственного совета, сенаторов, министров и их заместителей, высших чинов полиции и жандармерии, бывших на процессе в качестве приглашённых. Судебное состязание с Пассовером могло привести к публичному краху его карьеры, поэтому и пошёл он на нарушение этических норм судопроизводства. (Между прочим, понимая, что по закону Александр Ульянов имеет право в ходе процесса потребовать себе адвоката, Дейер попросил присяжного поверенного Леонтьева быть им – если такая просьба поступит; Леонтьев, судя по всему, согласился. Впрочем, все назначенные защитники отработали усердно данное им поручение, о чём по завершении процесса департамент полиции сообщил министру внутренних дел: *«Речи защитников были кратки и весьма приличны».*)

Не исключено, что по-иному (достаточно вспомнить процесс Веры Засулич) пошёл бы процесс по делу 1 марта 1887 года, если бы на нём официально в качестве присяжного поверенного присутствовал Александр Яковлевич Пассовер. Пришёл бы он в зал заседания, по обыкновению своему, без портфеля и без блокнота и – как признанный *«импровизатор словесных симфоний»* – связно, чётко, без какой-либо путаницы в уликах и в аргументации разложил по полочкам детали дела... А раскладывать было что – и методы получения показаний от подсудимых, в том числе несовершеннолетних, и юридически сомнительный отказ подзащитных от адвокатов. Ульянов и его поделщики были приговорены к смертной казни по сомнительным с юридической точки зрения аргументам, учитывая, что выстрелы в царя произведены не были и заговорщиков судили за намерение совершить убийство, а не за факт его совершения. По словам Анатолия Фёдоровича Кони, *«непримиримый»* Константин Петрович Победоносцев, видный юрист, чувствуя зыбкость обвинения, советовал Александру III помиловать заговорщиков, но – безрезультатно. В окружении императора нашлись люди, которые считали необходимым вынесение смертного приговора, и Александр III уступил им. Знаток права Кони так оценил неправый суд:

«1 марта на Невском проспекте были арестованы 5 молодых людей, при 2-х из которых оказалась бомба, предназначенная для цареубийства. Хотя деяние их, или по крайней мере большинства из них, имело лишь характер приготовления, но при действии нашего старого Уложения, которое валило в одну кучу и совершение, и голый умысел по государственным преступлениям, наказывая их одинаково, они были преданы суду Особого Присутствия Сената, осуждены и казнены, несмотря на свою просьбу о помиловании, за исключением одного Шевырёва, за которого усердно заступился Победоносцев. Я пережил тяжкие минуты ожидания, что жребий обвинителя падёт на меня и что чувство служебного долга поставит меня в невозможность отказаться от участия в этом судилище».

Марии Александровны Ульяновой в момент оглашения смертного приговора в зале суда не было, в свидании с сыном ей было отказано, поэтому

о судебном вердикте она некоторое время не знала. Матвей Леонтьевич Песковский и Александр Яковлевич Пассовер, не решаясь открыть ей страшную правду, посоветовали ещё не потерявшей надежду матери обратиться к известному юристу – профессору Петербургского университета Николаю Степановичу Таганцеву, обучавшему праву великого князя Сергея Александровича (и знавшему по совместной с 1857 года работе в Пензе покойного Илью Николаевича Ульянова). Мария Александровна пришла к нему домой, на Кировую улицу, и получила от него записку к прокурору Эдуарду Яковлевичу Фуксу с просьбой устроить ей свидание с сыном, что тем и было сделано. Свидания было два – 20 и 23 апреля 1887 года. Во время первого свидания, узнав о смертном приговоре, Мария Александровна умоляла сына подать прошение о помиловании, на что тот возразил: *«Не могу я сделать этого после всего, что я признал на суде, ведь это было бы неискренне»*. Просила мать сына подать прошение о помиловании во время второго свидания – и вновь получила отказ.

Песковский, узнав о решении Александра Ульянова, с разрешения Марии Александровны встретился с ним 24 апреля и дал ему прочитать подготовленное Пассовером прошение о помиловании. В результате уговоров Александр согласился подать прошение и подготовил его, но вовсе не по тексту проекта Пассовера. Он написал:

«Я вполне сознаю, что характер и свойства совершённого мною деяния и моё отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет её жизнь самой серьёзной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестёр, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием.

Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернёт её семье, для которой её жизнь так драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиною смерти моей матери и несчастья всей моей семьи.

Александр Ульянов».

Все прошения осуждённых о помиловании рассматривало распорядительное заседание Особого присутствия Правительствующего сената – покаявшимся (в том числе представившим себя жертвами заблуждений) казнь заменили пожизненной каторгой и отсидкой в Шлиссельбургской крепости, непокаявшимся (и недостаточно покаявшимся) Ульянову, Андреюшкину, Генералову, Осипанову и Шевырёву смертный приговор оставили в силе. Он был приведён в исполнение 8 мая 1887 года у стен Шлиссельбургской крепости, о чём на следующий после казни день сообщил «Правительственный вестник». Французская газета *Cri du Peuple* («Глас народа») написала следующее:

«В проходившей 8 мая казни жестокость была доведена до самой зверской утончённости... Для пяти казнённых было поставлено только три виселицы, и, таким образом, Шевырёв и Ульянов вынуждены были присутствовать при муках своих товарищей: в продолжение получаса у них перед глазами было потрясающее зрелище трёх повешенных, извивающихся на концах верёвок в мучительных конвульсиях, и лишь по истечении этого времени палач накинул смазанную салом петлю, ещё тёплую, на их шею.

Говорят, что присутствовавшие при этой зверской сцене не могли её выдержать и отвернулись; у многих на глазах выступили слёзы.

Поведение Ульянова и Шевырёва представляло контраст с поведением остальных свидетелей казни. Оставаясь всё время спокойными, они ни на минуту не обнаружили слабости и оказались достойными того великого дела, за которое умирали.

Уманский след в публицистике Достоевского

Фёдор Михайлович Достоевский в Умани не бывал, но с городом однажды связали его две краткие заметки, им вычитанные в двух последовательных номерах газеты «Голос» – за конец декабря 1875 года и начало января 1876 года. Заметки эти он обобщил дневниковыми записями – «Павлуша» и «Мерецились», которые много позже были опубликованы в его книге «Дневник писателя, 1876 год», в разделе «Подготовительные материалы» (в рубрике «Рассказцы»).

Современный издатель расшифровал в примечаниях эти два слова, за которыми, как выяснилось, укрывались два сходных криминальных происшествия, случившихся в городе Умани и в городе Семёново Нижегородской губернии, и пояснил, чем привлекли они внимание великого русского писателя:

*«Стр. 137. **Павлуша...** – „Голос“ (1875, 25 декабря, No. 356) со ссылкой на „Киевский телеграф“ (1875, 19 декабря, No. 151) сообщил о грабеже в Умани, один из участников которого, Павлуша, бывший ученик училища садоводства, раскроил ломом голову узнавшей его кухарке, а затем был тем же ломом убит соучастниками преступления.*

*Стр. 137. **...Мерецились.** – В «Голосе» (1876, 4 января, No. 4) в корреспонденции из г. Семёнова Нижегородской губернии сообщалось о слушавшемся в окружном суде деле по убиению с целью ограбления двух старух-келейниц. Один из подсудимых, Христофорка, «корча из себя человека, уже бывалого в судах, держал себя чрезвычайно нахально и рассказывал о том, как он резал женщин, с таким видом, который показывал, что для него это ремесло очень обыкновенное». По его показанию, «убитых уложили честно, накрыли, посыпали пеплом, пропели „Святый боже“, чтоб не мерещились, и стали искать, что надо. Всё разломали, взяли вещи*

и денег 18 тысяч рублей». Согласно заметке в тетради, этого убийцу «из народа», человека озверевшего, но притом не утратившего веры, Достоевский противопоставлял «Павлуше, которому не померещится». Сравнивая эти два типа преступников, он записал: „Я люблю тех, которым мерещится“»⁷⁷.

Часть первая. О «Дневнике писателя»

Как «самый интимный, самый внутренний писатель» (определение В. В. Розанова), близок своим почитателям Достоевский не только художественными произведениями, но и своей публицистикой, собранной им в «Дневнике писателя», который он с 1873 года издавал отдельным вложением в газете «Гражданин», а с 1876 года – уже как журнал одного автора – выпускал отдельным изданием на свои средства. О том, как происходило издание «Дневника...», рассказал метранпаж Михаил Александрович Александров, которому Достоевский сдавал в типографский набор дневниковые рукописи:

«Выходил „Дневник писателя“, как известно, один раз в месяц, выпусками или номерами, в объёме от полутора до двух листов in quarto (по шестнадцати страниц в листе), и весь, за исключением, разумеется, объявлений, принадлежал перу Фёдора Михайловича. <...>

Хозяйственную часть издания, то есть все расчёты с типографией, с бумажной фабрикою, с переплётчиками, книгопродавцами и газетчиками, а также упаковку и рассылку издания по почте, с самого начала «Дневника писателя» приняла на себя супруга Фёдора Михайловича Анна Григорьевна. <...> Благодаря этому столь любимая Фёдором Михайловичем аккуратность ведения дела достигалась вполне, причём сам он имел полную возможность спокойно устраняться от всяких хозяйственных забот и посвящать себя исключительно работе литературной и вообще идейной»⁷⁸.

«Дневник писателя», набирая от номера к номеру популярность, очень скоро стал своеобразной трибуной, с которой Достоевский, обращаясь к многочисленным читателям, высказывал свои философские, политические, исторические воззрения. И вместе с тем это глубоко личное издание писателя – не многокрасочная и многомерная фотография, не калейдоскоп, пестрящий фактами и непересекающимися темами. Этот публицистический сборник, при всём разнообразии тем, в нём поданных, отличается идейной целостностью и единством авторской точки зрения. О чём бы он ни писал – о проблемах европейской политики, о католицизме, о восточном или славянском вопросах, о войне с турками, о еврейской жизни, об участвовавших случаях самоубийства, о проблемах воспитания и образования, о судебной системе, о взаимоотношении интеллигенции и народа – он всегда писал в конечном итоге о современной ему России.



Особое внимание Достоевский уделяет «детской теме». Присутствуя на рождественской ёлке, он пристально всматривается в лица детей, оценивает их манеры, изучает психологию мальчиков и девочек разного возраста; сравнивает поведение так называемых благополучных подростков с поведением и судьбами их обездоленных сверстников, живущих среди пьянства и разврата взрослых, гибнущих от голода и лишений. Писатель посещает воспитательный дом, колонию малолетних, целыми днями просиживает на судебных заседаниях, где защищает интересы детей – защищает страстными психологически и нравственно обоснованными выступлениями.

Освещая в своём «Дневнике писателя» разнородные темы общественного бытия, разрешая – со своих позиций – его «*проклятые вопросы*», Достоевский органично соединяет различные стили и жанры письма, строгую логику и художественные образы, «*наивную обнажённость иной мысли*» и конкретные выстроенные диалоги действующих лиц. Тем самым он уверенно и очень успешно передаёт читателю сложную и неоднородную тематику, подводя его к этической сущности каждой рассматриваемой проблемы, не забывая при случае выделить «*нашу национальную и народную точку зрения*».

Успех «Дневника писателя» был огромен. Интерес читающей публики к необычному, оригинальному изданию с каждым его выпуском возрастал; очень скоро тираж «Дневника...», расходившегося по подписке и через розничную продажу, достиг шести тысяч экземпляров.

«Контингент читателей „Дневника писателя“ составлялся главным образом из интеллигентной части общества, а затем из любителей серьёзного чтения всех слоёв русского общества. К концу первого года издания «Дневника» между Фёдором Михайловичем и его читателями возникло, а во втором году достигло больших размеров общение, беспрецедентное у нас на Руси: его засыпали письмами и визитами с изъявлениями благодарности за доставление прекрасной пищи в виде «Дневника писателя». Некоторые говорили, что они читают его «Дневник» с благоговением, как Священное писание; на него смотрели одни как на духовного наставника, другие – как на оракула и просили его разрешить их сомнения насчёт некоторых жгучих вопросов времени. И Фёдор Михайлович любовно принимал этих своих клиентов и беседовал с ними, читая их письма и отвечая на них...»⁷⁹

Развить свои «рассказцы» (в том числе тему уманского Павлуши) в полновесные дневниковые рассказы Достоевскому не довелось – не хватило времени. В конце 1877 года он вынужден был приостановить печатание «Дневника писателя», чтобы полностью посвятить себя работе над романом «Братья Карамазовы». Вернулся – ненадолго – к публицистике только в 1880 году, когда издал один выпуск со своей знаменитой пушкинской речью, произнесённой им по случаю торжественного открытия памятника великому русскому поэту в Москве. Огромнейший успех этой речи побудил Достоевского к попытке возродить своё любимое детище, но удалось ему, уже стоявшему одной ногой в могиле, подготовить только один, январский, 1881 года, выпуск «Дневника...».

Читая «Дневник писателя», не устаёшь поражаться его актуальности в наши дни, и можно не сомневаться, что таковым он останется ещё долгое время, даже при непредсказуемо изменившейся действительности в будущем. Думается, тайна непреходящего значения публицистики Достоевского – не столько в остроте постановки проблем и в точности оценок, сколько в мудром проникновении писателя в самую сердцевину рассматриваемых вопросов. Пожалуй, как никто другой из современных ему русских писателей всматривался он в процессы, происходившие в пореформенной (после 1861 года) России, когда совместились «жизнь разлагающаяся» и «жизнь, вновь складывающаяся»; когда всё «вверх дном на тысячу лет»; когда «...материализм, слепая плотоядная жажда личного обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами... признано за великую цель, за разумное, за свободу...». Достоевский отчётливо видел, как меняется внешний облик человечества за счёт улучшения материальных условий его существования, как облегчают ему жизнь интеллектуальные достижения, успехи в производстве, науке и технике. И вместе с тем с горечью отмечал он, что прогресс не искоренил из духовно-психологической сути человека властолюбие, зависть, тщеславие и прочие эгоистические свойства человеческой природы; не искоренил – даже усилил.

Писатель категорически возражал против выдвигания на первый план материального благополучия как единственной основы для возвышения и облагораживания жизни человека. Предвидя грядущие успехи науки в деле дальнейшего преобразования природы и улучшения быта людей, он гипотетически описывает в «Дневнике...» первый всеобщий – недолго длившийся – восторг от полного благоденствия, предсказывает его последствия:

«Но вряд ли на одно поколение людей хватило бы этих восторгов! Люди увидели бы, что жизни уж более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них всё украл разом; что исчез человеческий лик и настал скотский образ раба, образ скотины, с тою разницею, что скотина не знает, что она скотина, а человек узнал бы, что он стал скотиной. И загнило бы человечество; люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках, увидя, что жизнь у них взята за хлеб, за «камни, обращённые в хлебы». Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль нетрудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровищину и что счастье не в счастье, а лишь в его достижениях»⁷⁷.

«Я всего только хотел бы, чтобы все мы стали немного лучше. Желание самое скромное, но, увы, и самое идеальное». Статья «немного лучше», как показывает человеческий опыт, – это задача, которая по идеальности и сложности неизмеримо превышает трудности покорения природы и её приспособления для материального комфорта человека. Это показал и печальный опыт нашей великой страны – расчленённой, разграбленной, исчезнувшей. Но уверен: к решению этой задачи вернуться наши потомки, вернуться – с Достоевским в сердце.

Часть вторая. Жизнь после ссылки

«Дневник писателя» был не первым опытом издательского дела для Фёдора Михайловича Достоевского. Ещё в январе 1861 года, спустя год после возвращения из сибирской ссылки, он – вместе со старшим братом Михаилом в качестве главного редактора – начал издавать ежемесячный журнал «Время». Это был *«журнал литературный и политический»*. Его литературную программу формировали произведения Николая Алексеевича Некрасова, Якова Петровича Полонского, Аполлона Александровича Григорьева; в нём Достоевский опубликовал начальные главы повести «Записки из мёртвого дома» и романа «Униженные и оскорблённые». Политической платформой журнала стало почвенничество, с позиций которого его представители критиковали, с одной стороны, поместное дворянство и чиновничью бюрократию, а с другой – западноевропейскую буржуазную культуру, англоманство, призывая оторвавшуюся от народа верхушку общества к сближению с «почвой». В 1863 году, после опубликования «неудачного» комментария по случаю восстания в Польше, журнал «Время» был закрыт, чтобы через год – вновь совместными усилиями братьев Достоевских – возродиться в формате журнала «Эпоха».

В первых двух номерах нового журнала Фёдор Михайлович напечатал начало повести «Записки из подполья», а уже в августовском номере – некролог «Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском», доброе поминальное слово о старшем брате, скоропостижно скончавшемся (*«от разлития желчи»*) 10 июля 1864 года на сорок четвёртом году жизни. (*«Это был человек, с уважением относившийся к своему делу, всегда сам занимавшийся им, никому не доверявший даже на время своих редакторских обязанностей и работавший непрерывно. Он был человек образованный, развитый, уважавший литературу, страстно любивший поэзию и сам поэт...»*)

После смерти брата Фёдор Михайлович Достоевский взял на себя покрытие всех его долговых обязательств, понимая всю меру своей моральной ответственности перед памятью умершего, вложившего свои средства в издание журналов, заложившего – ради получения средств на них – собственную табачную фабрику, чем обезденежил свою семью. Фёдор Михайлович продолжил издание обременённого долгами журнала «Эпоха», но резкое падение подписки на 1865 год вынудило писателя прекратить издание. Летом 1865 года он получил повестку об описи имущества за неуплату по векселям, и лишь помощь литературного фонда, выделившего ему шестьсот рублей для погашения срочных долгов, спасла писателя от разорения. «Помог» ему в это время и Фёдор Тимофеевич Стелловский, выпускник Лазаревского института восточных языков, оставивший языкознание ради прибыльного дела – торговли нотами и книгами; этому *«спекулянту»* и *«довольно плохому человеку»* обложенный кредиторами Достоевский продал право на издание своих сочинений. *«Но в контракте нашем была статья, – рассказывал Достоевский в письме к Анне Васильевне Корвин-Круковской от 17 июня 1866 года, – по которой я ему обещаю для его издания приготовить роман, не менее 12-ти печатных листов, и если не доставлю к 1-му ноября 1866 года (последний срок), то волен он, Стелловский, в продолжение девяти лет издавать да-*

ром и как вздумается всё, что я ни напишу, безо всякого мне вознаграждения».

Согласившись от безысходности с кабальным пунктом контракта, Достоевский почти год не брался за его исполнение, занятый написанием романа «Преступление и наказание» (с печатью его по главам в журнале «Русский вестник»). И лишь когда до обозначенного издателем «последнего срока» оставалось меньше месяца и казалось, что ничто и никто не предотвратит надвигающуюся на писателя катастрофу, он нашёл рациональное решение проблемы, пригласив соисполнителем работ молодую стенографистку Анну Григорьевну Сниткину. Двадцать шесть суток трудились они рука об руку – днём Фёдор Михайлович надиктовывал молодой помощнице очередную порцию текста договорного романа «Игрок», а ночью она переписывала набело застенографированное (успев к сорок пятому дню рождения работодателя – 30 октября 1866 года – завершить порученную ей работу). «31 октября рукопись была отправлена Стелловскому через полицию: недобросовестный издатель нарочно уехал из города, чтобы подвести Достоевского, а служащие его конторы отказались взять принесённый писателем роман»⁷⁹. А через неделю, придя к Фёдору Михайловичу для обсуждения условий будущей работы (над последними главами романа «Преступление и наказание»), Анна Григорьевна услышала от него – смущённого и растерянного – предложение руки и сердца, к которому она была внутренне готова и которое с радостью приняла.

В первый раз Фёдор Михайлович женился в ссылке (в Кузнецке в январе 1857 года) на вдовой Марии Дмитриевне Исаевой, которая, прежде чем дать добро влюбившемуся в неё (ещё при жизни мужа) писателю, долго выбирала между ним и также претендовавшим на её руку местным учителем, Николаем Борисовичем Вергуновым. О ней друг Достоевского, семипалатинский прокурор Александр Егорович Врангель, в своих воспоминаниях поведал следующее:

«Марии Дмитриевне было лет за тридцать; довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная, экзальтированная. <...> Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива, и впечатлительна. В Фёдоре Михайловиче она приняла горячее участие, приласкала его, не думаю, чтобы глубоко оценила его, скорее пожалела несчастного, забитого судьбою человека. Возможно, что даже привязалась к нему, но влюблена в него ничуть не была. Она знала, что у него падающая болезнь, что у него нужда в средствах крайняя, да и человек он без «будущности», говорила она. Фёдор же Михайлович чувство жалости и сострадания принял за взаимную любовь и влюбился в неё со всем пылом молодости»⁸⁰.

После четырёх лет каторги, проведённых (с кандалами на ногах) в Омском остроге, измученный нравственно и физиологически, Достоевский не мог не влюбиться в молодую не лишённую ума и приятности женщину с последующей её идеализацией («...Она явилась мне в самую грустную пору моей

судьбы и воскресила мою душу, всё моё существование»). Кроме того, как женщина несчастная, Мария Дмитриевна не только привлекала его внимание как писателя, но и добавляла своими страданиями силы его любовному пылу, ибо (как полагает исследователь отношения Достоевского к женщинам, сверх меры раскованный в суждениях Марк Львович Слоним) «чувствительность к чужому горю странным образом повышала его эротическую возбудимость», и далее:

«Боль, страдание как нераздельная часть любви, мучительство физическое, связанное с половым актом, и мучительство душевное, связанное со всей сентиментальной сферой близости между мужчиной и женщиной, да и между людьми вообще, – таков был эротизм Достоевского в зрелые годы...

Фрейд в письме к Теодору Рейку справедливо замечает: «Обратите внимание на беспомощность Достоевского перед любовью. Он фактически понимает или грубое инстинктивное желание, или мазохистское подчинение, или любовь из жалости...

Достоевский был человеком тяжёлым и странным, и любовь его была нелёгкая, с её противоречиями нежности, сострадания, жажды физического владычества, боязни причинить боль и неудержимого стремления к мучительству. Он не знал простых чувств, и Николай Александрович Бердяев называл его любовь „дионисиевой“ – разрывающей на части тело и душу»⁸¹.

В браке с Марией Дмитриевной Исаевой Достоевский прожил семь непростых семейных лет, которые – по всем правилам общечеловеческого сценария – имели относительно счастливое начало, продолжились изнуряющей и безрезультатной притиркой двух различных характеров, а завершились взаимно тягостным сожительством психически надломленных людей, в котором больная чахоткой, склонная к истерике и меланхолии жена попрекала страдающего эпилепсией мужа неустроенностью быта и безденежьем, терзала его мелкими придирками, приступами ревности (однажды, во время очередной семейной ссоры, хлестнула его словом «каторжник»). Этот неудачный союз двух несовместимых натур завершился естественным образом со смертью Марии Дмитриевны, оставившей юдоль земную 15 апреля 1864 года в Москве (за три месяца до кончины её деверя, Михаила Достоевского).



Утверждают некоторые литературоведы, что именно с первой жены «списал» Достоевский все черты характера, поведения, внешности Настасьи Филипповны, героини романа «Идиот»; что история любовных взаимоотношений Достоевского и Марии Дмитриевны Исаевой «перевоплотилась» во взаимоотношения романтических Настасьи Филипповны и Рогожина – тяжёлые, неровные, со страданиями и мучениями. Есть и иное мнение среди литературных специалистов, согласно которому прообразом inferнальной героини упомянутого произведения (и не только его) послужила молодая, красивая, умная

и независимая Аполлиария Прокофьевна Сулова, с которой (и по инициативе которой) ещё при живой жене пережил Фёдор Михайлович бурный, в 1861 году начавшийся, роман. Его начало и течение эмансипантка Сулова позже описала в книге «Годы близости с Достоевским», воссоздала их в повести «Чужая и свой». Он же кризисную пору своей внебрачной связи отобразил в романе «Игрок», заложив в его сюжетную основу реминисцентный слепок с событий своего совместного с Аполлиарией путешествия в Европу. Начал его безденежный Достоевский на исходе лета 1863 года с предварительного заезда в Висбаден, в игорных залах которого разбогател на более чем пять тысяч франков. Часть выигрыша он отправил жене, лечившейся кумысом во Владимире, предполагая остатком средств покрыть расходы на времяпрепровождение с возлюбленной, с начала лета находившейся в Париже.

Как скоро выяснилось, за время затянувшегося ожидания вольнолюбивая Аполлиария, неудовлетворённая формой и содержанием своих интимных отношений с пожилым, нездоровым, вечно занятым писателем, увлеклась – следуя зову здоровой чувственности – студентом-испанцем Сальвадором и по этому случаю отправила своему *prima amoroso* «отказное» письмо, начинавшееся словами: «*Ты едешь немного поздно...*» (Впрочем, и само письмо было отправлено «*немного поздно*» – когда писателя уже не было в Петербурге.) Драматическую по сути сцену своей встречи с Достоевским в номере парижского отеля писательница третьего ряда Сулова описала – с мелодраматичным надрывом – в книге воспоминаний:

«Когда мы вошли в мою комнату, он упал к моим ногам и, сжимая, обняв с рыданиями мои колени, громко зарыдал: „Я потерял тебя, я это знал!..“ Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек. «Может быть, он красавец, молод, говорун». <...>

Когда я ему сказала, что это за человек, он сказал, что в эту минуту испытал гадкое чувство: что ему стало легче, что это не серьёзный человек, не Лермонтов. Мы много говорили о посторонних предметах. Он мне сказал, что счастлив тем, что узнал на свете существо, как я. Он просил меня оставаться в дружбе с ним и особенно писать, когда я особенно счастлива или несчастлива. Потом предложил мне ехать в Италию, оставаясь как брат»⁸².

Аполлиария и младше на семь лет, 1843 года рождения, её сестра Надежда были дочерьми энергичного и деловитого крестьянина Прокофия Сулова, ещё до манифеста 1861 года выкупившего себя и свою семью из крепостной зависимости от графа Шереметева и скоро ставшего управляющим его владений. Получив – дома и в частном московском пансионе – прекрасное начальное образование, сёстры отправились (в 1859 году) за образованием высшим в столицу. Надежда некоторое время посещала лекции в Медико-хирургической академии в качестве вольнослушательницы, а с 1863 года вынужденно продолжила медицинское образование в Цюрихском университете и первой из русских женщин получила в 1867 году диплом доктора медицины.

У Аполлиарии, менее сестры самодисциплинированной и целеустремлённой, получение высшего образования ограничилось недолгим посещением

университетских аудиторий, после чего (по примеру Надежды, опробовавшей не без успеха перо в журнале «Современник») увлеклась она сочинительством. Её повесть «Покуда» и рассказ «До свадьбы. Из дневника одной девушки» Достоевский разместил в своём журнале «Время», и сделал это не из-за высоких художественных достоинств этих творений, а из-за своей увлечённости их автором, первой признавшей ему в своей страстной любви (запиской после одной из лекций писателя).

Обе сестры были бунтарками. И если у твёрдой характером и принципами Надежды Сусловой неприятие монархического устройства державы реализовалось в её активном участии в народовольческом движении, то для гордой и безмерно самолюбивой Аполлинару общественной самореализация выразилась в завышенных требованиях собственного эго в духе нигилистического настроя тогдашней молодёжи, считавшей себя свободной от уз нравственных, семейных, общественных. Эгоизм и максимализм в чувствах и во взглядах, в требованиях к окружающим сочетались у неё – девушки, самостоятельную жизнь начинающей, – со страстностью, граничащей с экзальтацией, с наивной мечтой о совершенстве, в том числе её «героя-мужчины», коим стал для неё в пору её любовного томления писатель Достоевский.

Судя по дневниковым записям Аполлинару, она «ждала любовь» до двадцати трёх лет и «отдалась, не спрашивая, не рассчитывая». Она определила своего избранника волею рассудка, но в интимных отношениях с ним её ждало разочарование. Быстро миновав период любви-страсти и полного взаимопонимания, разновозрастная и разноликая пара вступила в период выяснения отношений и взаимного мучительства. Вместо ожидаемой романтики поэтической любви («Свет ночной, ночные тени, / Тени без конца, / Ряд волшебных изменений / Милого лица...») Аполлинурия встретила приземлённую страсть пожилого мужчины, о форме реализации которой она (уже после разрыва отношений) напомнила ему письмом:



«Наши физические отношения были лишены всякой романтики. Они были для тебя приличны, ты вёл себя как человек серьёзный, занятой, который по-своему понимает свои обязанности, но не забывает и наслаждаться, наоборот, даже необходимым это считает на том основании, что какой-то великий доктор уверял, что нужно пьяным напиться раз в месяц».

Методичность, размеренность, почти пунктуальность Достоевского в «греховных отношениях», кои он на скорую руку реализовывал в меблированных комнатах, не могли не возмущать и не оскорблять Сулову, справедливо полагавшую, что она отдала этой любви всё, а он – ничего; что, всячески оберегая тяжелобольную жену от слухов о своих внесемейных похождениях, он ничего не жертвует для «своей Поленьки». Когда же оба решили хоть на время сделать тайное явным, пожить свободно вдвоём в Париже, обстоятельства (проблемы с журналом «Время», с отправкой жены на лечение) вынудили Достоевского задержаться в столице. В итоге во французскую столицу

Аполлинария отправилась одна, после чего в отношениях пары пролегла первая трещина, за которой последовали их надлом и слом. Сильные чувства, прежде вкладывавшиеся ею в любовь, теперь с такой же эмоциональной силой реализовывались в ненависти к разочаровавшему её первому мужчине.

После Парижа, если верить дневниковым записям Сусловой, на вымоленных Достоевским условиях чисто дружеских отношений они продолжили европейскую поездку, в ходе которой она – ироническая и беспощадная, гневная и жестокая – истязала его разговорами о мужских достоинствах бросившего её испанца, жестоко кокетничала со ставшим только другом писателем, впрочем, строго дозируя интимную с ним близость; мстила ему, в частности, за то, что он *«первым убил в ней веру»*. Он же пребывал в состоянии постоянно возбуждаемой, но нереализуемой страсти, которую он разряжал (и одновременно по-иному возбуждаясь) игрой в рулетку. В казино Баден-Бадена он спустил всё, что у него было, после чего срочным письмом в Россию вытребовал сто рублей из денег, ранее высланных им жене. Путешествие по Европе возлюбленные завершили в конце октября в Берлине, откуда она отправилась в Париж, он – в курортный город Гомбург, где за несколько дней проиграл в рулетку и те деньги, которые ему были присланы. Выручила из беды Аполлинария Прокофьевна, заложившая в парижском ломбарде золотые часы с цепочкой и переславшая Фёдору Михайловичу вырученные деньги, которых ему хватило, чтобы добраться до Владимира, где его ждала умирающая жена.

В начале 1865 года Достоевский познакомился с приехавшей в Петербург (погостить у тётушки) начинающей писательницей Анной Васильевной Корвин-Круковской, чьи рассказы «Сон» и «Послушник», написанные в традициях народнической беллетристики (и ему понравившиеся), он разместил в двух номерах журнала «Эпоха» за 1864 год. Гонорар за рассказы был выслан автору (через посредника) в село Полибино Могилёвской губернии, родовое имение Корвин-Круковских, но попал случайно в руки её отца, генерала, в гнев упрекнувшего дочь, что та тайно получает деньги от незнакомого мужчины, как какая-нибудь наёмница, и бросившего ей упрёк: *«Теперь ты продаёшь свои повести, а придёт, пожалуй, время, и себя будешь продавать»*⁸³.



Лишь некоторое время спустя под влиянием своей жены, доброй, интеллигентной женщины, генерал согласился выслушать из уст дочери рассказ «Сон», после чего, расчувствовавшись, разрешил ей переписку с Достоевским (под его контролем) и даже встретиться с ним в Петербурге в присутствии матери и тёток. (Будущий редактор журнала «Русская старина» Михаил Иванович Семевский, живший по соседству с Корвин-Круковскими и претендовавший на руку Анны, писал, что в возрасте девятнадцати-двадцати лет это была *«стройная прекрасная блондинка с синими, иногда как бы зелёными, глазами и дивною волнистою косою»*.)

В Петербурге начиная с февраля 1865 года Достоевский часто посещал Анну Васильевну в доме её родных, просиживал с ней целыми вечерами – спорили о нигилизме и атеизме, отстаиваемых девушкой, он рассказывал содержание задуманных им романов, вспоминал особо яркие и волнующие

эпизоды из своей жизни. Присутствовавшая на этих посиделках сестра Анны, пятнадцатилетняя Софья (влюбившаяся со всем пылом первых свежих чувств в писателя), позже воспроизвела эпизоды этих беседований в своих воспоминаниях:

«Помнится мне ещё один рассказ. Мы с сестрой знали, что Фёдор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы и отдалённым намёком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошёл с ним первый припадок. <...>

– И я почувствовал, – рассказывал Фёдор Михайлович, – что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникся им. «Да, есть Бог!» – закричал я и больше ничего не помню.

– Вы все, здоровые люди, – продолжал он, – и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своём коране, что видел рай и был в нём. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик! Ан нет! Он не лжёт! Он действительно был в раю в припадке падучей, которой страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!

Достоевский проговорил эти последние слова свойственным ему страстным, порывчатым шёпотом. Мы все сидели, как намагнетизированные, совсем под обаянием его слов»⁸⁴.

Спустя два месяца после знакомства Достоевский сделал Анне Васильевне предложение стать его женой, но получил отказ. *«Я не так люблю его, – признавалась она Софье, – чтобы пойти за него замуж... Ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нём и думать. А я этого не могу, я сама хочу жить. К тому же он такой нервный, требовательный. При нём я никогда не бываю сама собою».* Они расстались, но продолжали переписываться.

(Дальнейшая судьба сестёр Корвин-Круковских сложилась схожим образом – чтобы уехать учиться за границу, они вступили в фиктивные браки. Анна познакомилась с Владимиром Ковалевским, который в итоге стал мужем её сестры и дал той, ставшей известным математиком, своё имя – Софья Ковалевская. Анна вышла замуж за полковника французской армии Виктора Жаклара, принимала активное участие в революционных делах Парижской коммуны.)

Общаясь с Анной Корвин-Круковской, Достоевский не терял эпистолярных отношений с Аполлинарией Суловой и в том же 1864 году разместил в журнале «Эпоха» её очередной слабый рассказ «Своей дорогой». Поздним летом 1865 года, одолжив небольшую сумму денег, Достоевский выехал за

границу, на встречу с Аполлинарией. Как и прежде, по дороге в Париж заехал в Висбаден, но в этот раз фортуна была не на его стороне. Здесь он встретился с бывшей возлюбленной, возвращавшейся из Цюриха (от сестры) в Париж. Очередное предложение Достоевского выйти за него замуж она отвергла. В казино Фёдору Михайловичу не повезло – он проиграл всё, что у него было, и после отъезда Аполлинарии очутился в совершенно безвыходном положении. Он заложил все вещи, питался в долг, просил займы (Тургенев одолжил ему пятьдесят талеров, которые к нему вернулись только через десять лет). Выручил священник православной церкви в Висбадене, снабдивший любимого писателя деньгами на дорогу. Осенью 1865 года Аполлинария приехала в Петербург, вновь отвергла предложение Достоевского о замужестве и навсегда с ним рассталась. Правда, их переписка, затухая, ещё некоторое время продолжалась, вплоть до мая 1867 года, когда последнее к ней письмо он завершил словами: «*До свидания, друг вечный!..*»

(Эта женщина, как и предсказал Достоевский, расставшись с ним, счастлива не была. Аполлинария Сулова вышла замуж только в сорок лет за Василия Васильевича Розанова, которому было только двадцать четыре года; через четыре года они расстались, но она не давала своему супругу, уже жившему с другой семьёй, официального развода целых двадцать лет.)

Свой брак с Анной Григорьевной Сниткиной Достоевский называл «*воскресением в новую жизнь*». Они обвенчались в присутствии друзей и знакомых 15 февраля 1867 года в Свято-Троицком Измайловском соборе, и после свадьбы Анна Григорьевна пережила первый семейный ужас: от волнения и от выпитого шампанского у Фёдора Михайловича случились два приступа эпилепсии.

Анна Григорьевна Сниткина стала последней в ряду женщин Достоевского, его богоданной женой, сумевшей силой дарованных ей природой данных подобрать методом проб и ошибок ключ к сложному характеру своего мужа и обеспечить всю пору их совместной жизни гармоничное сосуществование. Ей удалось в первые месяцы супружества, сдерживая себя, отразить негативный напор ближайших родственников Фёдора Михайловича (его пасынка Паши, вдовы брата), боявшихся своих будущих имущественных потерь и чернивших по этому поводу её в глазах доверчивого супруга. Она сделала всё возможное и невозможное, чтобы переменить обстановку в совместном с мужем заграничном путешествии, и, когда для этого понадобились дополнительные средства, без колебаний душевных отдала под залог всё своё приданое⁸⁵.



Достоевские выехали из Петербурга 14 апреля 1867 года, предполагая пожить за границей четыре месяца, но жили там более четырёх лет, побывав за это время в Швейцарии, Италии, Германии. (Первый год заграничной жизни Анна Григорьевна застенографировала в своём дневнике, который расшифровала только в 1894 году.) В Женеве в марте 1868 года у них родилась и, пожив три месяца, умерла дочь София; вторая дочь, Любовь, родилась в сентябре 1869 года в Дрездене, в котором Достоевские жили вплоть до отъезда в Россию.

Самым серьёзным и тяжёлым испытанием в зарубежной жизни для Анны Григорьевны стал рецидив страсти к игре в рулетку, которая пробудилась у мужа как только они покинули пределы России. Неистребимый игровой азарт, как объяснял Достоевский жене, был вызван его постоянной нуждой и, как следствие, его желанием одним махом выиграть капитал, чтобы расплатиться с кредиторами. Но скоро этот житейский мотив за игорным столом утратил для него свой первоначальный смысл – игра в рулетку стала самоцелью.

Анна Григорьевна рулетку, как и эпилепсию, считала платой мужа за гениальность, и в отношении к этим двум его бедам она демонстрировала деликатность и изумительный такт, выстраивая отношения с мужем как с милым, простым и наивным человеком, с которым надо обращаться как с ребёнком. В отношениях с ним она проводила политику непротивления, принимая всё безропотно в нём, и этим его обезоруживала и умиляла. Она покорялась ему, понимая и признавая его безграничный авторитет как личности и как главы семейства. Но она не была безликим, покорным созданием – у неё была своя индивидуальность, был твёрдый самостоятельный характер и решительность – и это несмотря на кажущиеся мягкость, податливость и даже наивность. Сам Достоевский именно в этом видел в ней проявление настоящей любви.

Много позже Анна Григорьевна изложила свои принципы отношений между мужем и женой на примере собственной семейной жизни, указав, что были они с Фёдором Михайловичем людьми разной конституции и душевного строя, но она не вмешивалась в его психологию, в его внутреннюю жизнь, не пыталась «влиять и исправлять», и это невмешательство вызывало у него доверие к ней, усиливало в нём чувство свободы, утверждало его во мнении, что она – надёжный друг его. И на этой основе невмешательства и свободного доверия выстроено было их семейное счастье.

С игроманией Достоевский покончил незадолго до отъезда домой, о чём он 28 апреля 1871 года написал из Висбадена в Дрезден жене: *«Надо мной великое дело совершилось, исчезла гнусная фантазия, мучившая меня 10 лет. <...> Аня, сохрани мне своё сердце, не возненавидь меня и не разлюбви. Теперь, когда я так обновлён, – пойдём вместе, и я сделаю, что будешь счастлива»*.

За четыре заграничных года они сдружились, их союз вырос и утвердился в испытаниях; одиночество и тяжкая работа, рождение и смерть первой дочери, безумие рулетки и исцеление от неё – всё это создало привязанность необыкновенную по силе и глубине. Изменилась и сама Анна Григорьевна, покинувшая Россию молоденькой и неопытной девушкой, а вернувшаяся на родину матерью семейства, с окрепшим и установившимся характером. При посторонних она вела себя сдержанно, была холодна и молчалива, но наедине с мужем, в семейном кругу, среди близких друзей охотно смеялась и дурачилась. Достоевский ценил её за непосредственность и оптимизм, потому что сам был их лишён.

Годы, прожитые Фёдором Михайловичем с Анной Григорьевной после их возвращения из-за границы, были самыми спокойными, мирными и счастливыми в их браке. Возобновлять жизнь в России после многолетнего отсутствия Достоевским было непросто – дом Анны Григорьевны был продан с торгов за бесценок, жить им приходилось только за гонорар, выплачиваемый

за последнюю часть романа «Бесы», печатавшуюся в «Русском вестнике». В это время Анна Григорьевна, отстранив мужа от переговоров с кредиторами, взяла на себя не только ведение домашнего хозяйства, но и все финансовые дела семьи, приведя их постепенно в полный порядок. И хотя выплата долгов писателя продолжалась вплоть до 1879 года, она сняла это бремя с сознания Достоевского, взяв также в свои руки издание мужниных книг, которое превратила в стабильный источник семейного дохода.

Анна Григорьевна посоветовала мужу взяться за редактирование журнала «Гражданин» в 1873 году, затем она стала корректором и администратором его «Дневника писателя». Улучшение благосостояния позволило Достоевским купить в Старой Руссе домик, где они проводили лето и где они прожили зиму 1874–1875 годов, когда он писал роман «Подросток». За четырнадцать лет жизни с Достоевским Анна Григорьевна испытала немало обид, тревог и несчастий, но она никогда не жаловалась на свою судьбу, ей достаточно было сознания, что она подруга великого писателя, что её любовь облегчает ему ношу будничности. Она за ним ходила, как за ребёнком, всем решительно для него жертвовала. Она создала ему крепкую, надёжную семью, взяла на себя обязанности деловой секретарши и казначея, переписывала его романы, была их первым читателем, и критиком, и корректором, не спала ночами, чтобы выслушать новую главу или проект нового произведения, утешала его во время припадков тоски, болезни, страха смерти, безропотно сносила взрывы его азарта, ревности, придирчивости и мании преследования. Это был настоящий подвиг, и она себя ему посвятила, пошла на все тяготы и страдания. Она была примером той деятельной любви, о которой Достоевский писал в своих романах, и она заслужила, чтобы он посвятил ей роман «Братья Карамазовы».

После смерти мужа Анна Григорьевна Достоевская благоговейно служила его памяти. Её усилиями были открыта школа имени Достоевского в Старой Руссе, издано несколько собраний сочинений писателя, организован отдел Достоевского в Московском историческом музее, ставшем с 1928 года музеем Достоевского. Ею были подготовлены к печати собственные воспоминания о Достоевском, её «Дневник 1867 года». Важным свидетельством буквально о последних днях, часах и минутах жизни великого русского писателя стала её «Записная книжка 1881 года».

Часть третья. Дом на улице Достоевского

Вдоль сонных крыш стоит рассвет на вахте,
В косом дожде желтеют кроны лип.
У городов – свой каменный характер,
Свой навека неповторимый тип.

Георгий Трифонов

В первых изданиях «Дневника писателя», в номере от 16 июля 1873 года, Достоевский опубликовал очерк «Маленькие картинки», в котором высказал своё мнение о Петербурге как об общественном организме. В отличие

от прежних, к сороковым годам относящихся, позитивных (с надеждой и оптимизмом) его оценок Северной столицы, в «Маленьких картинках» писатель дал ей отнюдь не лестную характеристику: «...Берёт хандра по воскресениям, в каникулы, на пыльных и угрюмых петербургских улицах. Что, не приходило вам в голову, что в Петербурге угрюмые улицы? Мне кажется, это самый угрюмый город, какой только может быть на свете!» На смену палитры красок в оценке Петербурга с ярко-радостной на тускло-унылую у художника-урбаниста Достоевского, помимо прочих первостатейных причин, не могла не повлиять цепочка событий в его жизни, после которых город стал как бы невольным соучастником расправы властей над ним. Не могло не затронуть психику глубоко чувствительного, сложного характером Достоевского (и навсегда не затаиться в его подсознании) сильнейшее душевное потрясение, пережитое им в Петербурге, – после ареста его весной 1849 года по делу петрашевцев, после восьми месяцев его заточения в страшном Алексеевском равелине Петропавловской крепости, после цинично-жуткой сцены на Семёновском плацу 22 декабря 1849 года, когда приговорённым к смерти Достоевскому и его товарищам по несчастью «расстреляние» в последний момент было заменено ссылкой на каторгу.

В столицу Фёдор Михайлович вернулся только в 1860 году, после завершившего ссылку вынужденного «сидения» в Твери. Из города на Волге он 18 октября 1859 года направил императору Александру II письмо, которое – как документ – и сейчас свидетельствует потомкам (рядовым читателям, исследователям его творчества, а также психологам) в том числе и о состоянии глубокой депрессии, в которой Достоевский находился после десятилетия мятарств и страданий:

«Ваше Императорское Величество.

Я, бывший государственный преступник, осмеливаюсь повергнуть перед великим троном Вашим мою смиренную просьбу. Знаю, что я не достоин благоденствий Вашего Императорского Величества и последний из тех, которые могут надеяться заслужить Вашу Монаршую милость. Но я несчастен, а Вы, Государь наш, милосердны беспредельно. Простите меня за письмо моё и не казните Вашим гневом несчастного, нуждающегося в милосердии.

Я был судим за государственное преступление в 1849 году в С.-Петербурге, разжалован, лишён всех прав состояния и сослан в Сибирь, в каторжную работу второго разряда, в крепостях, на четыре года с зачислением, по истечении срока работ, в рядовые. В 1854 году, по выходе из Омского крепостного острога, я поступил в 7-й Сибирский линейный батальон рядовым; в 1855 году был произведён в унтер-офицеры, а в следующем, 1856 году был осчастливлен Высочайшею милостию Вашего Императорского Величества и произведён в офицеры. В 1858 году Ваше Императорское Величество изволили даровать мне право на потомственное дворянское достоинство. В том же году я подал в отставку вследствие падучей болезни, открывшейся во мне ещё в первый год каторжной работы моей, и теперь, по получении отставки, переехал на жительство

в город Тверь. Болезнь моя усиливается более и более. От каждого припадка я, видимо, теряю память, воображение, душевные и телесные силы. Исход моей болезни – расслабление, смерть или сумасшествие. У меня жена и пасынок, о которых я должен пешичь. Состояния я не имею никакого и снискиваю средства к жизни единственно литературным трудом, тяжким и изнурительным в болезненном моём положении. А между тем врачи обнадеживают меня излечением, основываясь на том, что болезнь моя приобретённая, а не наследственная. Но медицинскую помощь, серьёзную и решительную, я могу получить только в Петербурге, где есть медики, специально занимающиеся изучением нервных болезней. Ваше Императорское Величество! В Вашей воле вся судьба моя, здоровье, жизнь! Благоволите дозволить мне переехать в С.-Петербург для пользования советами столичных врачей. Воскресите меня и даруйте мне возможность с поправлением здоровья быть полезным моему семейству и, может быть, хоть чем-нибудь моему Отечеству! В Петербурге живут постоянно двое братьев моих, с которыми я десять лет был в разлуке; братские заботы их обо мне могли бы облегчить тяжёлое моё положение. Но, несмотря на все надежды мои, дурной исход болезни или смерть моя могут оставить без всякой помощи мою жену и пасынка. Покамест во мне есть хоть капля здоровья и силы, я буду работать для их обеспечения. Но в будущем волен Бог, а человеческие надежды неверны. Государь Всемиловейший! Простите мне ещё и другую просьбу и благоволите оказать чрезвычайную милость, повелев принять моего пасынка, двадцатилетнего Павла Исаева, на казённый счёт в одну из с.-петербургских гимназий. Он – потомственный дворянин, сын губернского секретаря Александра Исаева, умершего в Сибири на службе Вашего Императорского Величества, в городе Кузнецке Томской губернии, – умершего единственно по недостатку медицинских пособий, невозможных в глухом краю, где служил он, и оставившего жену и сына без всякого состояния. Если же приём в гимназию для Павла Исаева невозможен, то благоволите, Государь, повелевать принять его в один из с.-петербургских кадетских корпусов. Вы осчастливите его бедную мать, которая ежедневно учит сына молиться о счастье Вашего Императорского Величества и всего Августейшего дома Вашего. Вы, Государь, как солнце, которое светит на праведных и неправедных. Вы уже осчастливили миллионы народа Вашего; осчастливьте же ещё бедного сироту, мать его и несчастного больного, с которого до сих пор ещё не снято отвержение и который готов отдать сейчас же всю жизнь свою за Царя, благодетельствовавшего народ свой!

С чувствами благоговения и горячей, беспредельной преданности осмеливаюсь именовать себя вернейшим и благодарнейшим из подданных Вашего Императорского Величества.

Фёдор Достоевский».

После второго обустройства Достоевского в Петербурге тема столичного города прочно утвердилась в его творчестве как тема города «средних и низ-

ших классов», «униженных и оскорблённых» людей, проживающих преимущественно по правую сторону Невского проспекта (если двигаться от Невы). *«Это – не Северная Пальмира Медного Всадника с её дворцами и башнями, с её тёмно-зелёными садами и чугунными узорами их пышных оград. Достоевский искал новый Петербург. Он хотел сказать о нём „новое, не помещичье слово“»⁸⁶.*

Писатель – москвич по рождению, петербуржец по духу и творчеству – создал в своих произведениях уникальный образ города на невских берегах, ирреального и живого, таинственного и прозаического. Его Петербург – символ страшного капиталистического мира, где царят «волчьи законы», где всё продаётся и покупается, где нет спасенья слабому и незащитному человеку. Достоевский – не революционер в своих произведениях, в них он – высоко нравственный православный человек славянофильских убеждений, категорический противник любых форм насилия; но революционной по сути является форма подачи им житейской правды читателям, с психологически верными сюжетными построениями, с глубоким и искренним анализом образа мыслей и поступков действующих лиц всех рангов, редких феноменов человеческого общения, с привлечением к этому действу образа столичного города.

Северная столица присутствует в двадцати из более трёх десятков написанных Достоевским произведений, иногда как фон, но чаще в качестве действующего лица. Его город – это одушевлённый социум, будто человеческой жизнью живущий; он просыпается, хмурится, улыбается, мёрзнет, болеет:

«Было сырое туманное утро. Петербург встал злой и сердитый, как раздражённая светская дева, пожелтевшая со злости на вчерашний бал. Он был сердит с ног до головы. <...> Весь горизонт петербургский смотрел так кисло, так кисло... Петербург дулся. Видно было, что ему страх как хотелось... куда-нибудь убежать с места и ни за что не стоять более в Ингерманландском суровом болоте»⁸⁶.

Неординарному взаимоотношению писателя и города посвящено замечательное исследование Николая Павловича Анциферова «Петербург Достоевского», кажется, лучшая из всех работ, когда-либо затрагивавших указанную тему. (Этим исследованием учёный-историк завершил – и защитил в 1944 году – кандидатскую диссертацию «Проблемы урбанизма в русской художественной литературе...».)

Раскрытие темы Петербурга в творчестве Достоевского Анциферов делает с мастерством тонкого, всевидящего исследователя. В как будто второстепенных деталях анализируемых им произведений он раз за разом открывает читателям важные, интересные факты, логически безупречно обобщает информативные сведения в принципиальной значимости выводы, даёт точные психологические оценки поведения действующих лиц произведений писателя, и всё это подаётся литературным гурманам ёмкой мыслью в красивом до изысканности слове!

«Петербург – участник творчества Достоевского. Город является вдохновителем писателя, музой его, наиптывавшей страшные сказанья. <...>

Жизнь сосредоточена на улице, где всегда какая-то тайна, словно из тумана выглянет неведомый, ужалит душу героя знанием его тайны и гинет в бесконечных пространствах Петербурга. <...>

Достоевский не чувствует жизни внутри ограды семьи. Нигде нет теплоты домашнего очага. Нет семьи, спаянной любовью в одно целое. Нигде не прозвучит нежная мелодия «Сверчка на печи». <...>

Город на болоте. Жизнь на болоте, в тумане, без корней, глубоко вошедших в животворящую мать – сырую землю. Нет корней, и душа распыляется. Всё врознь, какие-то блуждающие болотные огни ненавидят ли, любят ли – всегда мучают друг друга, неспособные слиться в одно органическое целое. <...>

Мы постоянно встречаем героев Достоевского бродящими без цели по улицам, площадям, мостам Северной столицы. Какая-то неудержимая сила влечёт их к этому общению с городом»⁸⁶.

Петербург в произведениях Достоевского – это преимущественно районы города, прилегающие к Воскресенскому проспекту (ныне – проспект Чернышевского) на всём его протяжении – от Адмиралтейства (через Мойку и Екатерининский канал) до Фонтанки. Это район путаной сети улиц и переулков, высоких и глухих стен доходных домов, которые как грибы после дождя выросли к середине девятнадцатого века. Рынком этой части города служила «известная всему Петербургу Сенная площадь, парком для гуляний – Юсупов сад». К этому району вплотную примыкала старинная Коломна.

«На углу Глухого пер. и Вознесенского проспекта находился и двор того дома, где Раскольников прятал вещи, похищенные у старухи-процентщицы. <...> В Коломне жила и бедная Лиза, героиня «Слабого сердца». <...> На Екатерининском канале сосредоточено действие романа «Преступление и наказание». <...> У «Пяти углов» проживал столоначальник Антон Антонович Сеточкин, у которого бывал автор «Записок из подполья». В одном из переулков Семёновского полка, в особом флигеле, во дворе, в № 13, жила семья „Подростка“»⁸⁶.

Уныл и однообразен Петербург Достоевского своим внешним архитектурным видом. Но ему, действующему лицу своих творений, расширяющему и отражающему состояние мышления их персонажей, внешне невыразительному и бессистемно застроенному, отдаёт предпочтение писатель, отказывая в уважительности Петербургу прежней стилиевой застройки. Изменилась столица, изменился и общий тон её оценки: «Годы, когда русское общество восхищалось строгим, стройным городом, отошли в прошлое»⁸⁶. Отрицательную характеристику Петербургу как «самому умышленному городу мира», данную в «Маленьких картинках» (кстати, не без влияния заехавшего в 1839 году в столицу француза Астольфа де Кюстина и давшего её архитектуре убийственную оценку), Достоевский в послесибирских произведениях переносит на гибридный характер монументального облика Петербурга:

«„В архитектурном смысле он – отражение всех архитектур в мире, всех периодов и мод, всё постепенно заимствовано и всё своему перековеркано“.

Это последнее замечание вполне справедливо. Действительно, Петербург ничего не усваивал механически, всегда органически видоизменяя в согласии со своей стихией. Но как это ценное свойство оценено Достоевским! Всё, что было создано в Петербурге в период его развития, оказывается жалкой копией римского стиля, псевдоличественно, скудно до невероятности, натянуто и придумано!»⁸⁶

Достоевскому была введена та особая красота Северной столицы, которую иногда ей дарит природа, которая раскрывается на миг и воспринимается как «*мимолётное виденье*», как преходящий сон: «*Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат, разумеется, в ясный, морозный вечер. Вся улица будто блеснёт, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, жёлтые и грязно-зелёные цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость; как будто на душе прояснеет...»*

В органической связи с жизнью природы находится жизнь города: «*Его бытие есть цветение, и живёт оно соками, получаемыми из своей почвы. Его судьба определяется общим ходом исторических событий*». Петербург поднялся «*из тьмы лесов, из топи блат*», вдали от центров государственной жизни; поднялся – за счёт невероятного напряжения народных сил, страшных людских жертв: «*Водная стихия, скованная героическими и титаническими усилиями строителей этого города не уничтожена, она лишь притаилась и ждёт своего часа. Достоевскому, конечно, были знакомы многочисленные описания гибели Северной столицы под разъярёнными волнами*»⁸⁶.

Мрачная, холодная атмосфера городского пейзажа (преимущественно с мокрым снегом) сообщает особую психологическую достоверность происходящему, позволяет лучше понять чувства и настроения действующих лиц повестей и романов Достоевского, проникнуться сочувствием к их несчастной судьбе:

«В этом падающем снеге Достоевский чувствовал выражение какой-то таинственной силы. Прозаические картины города одухотворяются им какой-то особой поэзией. <...> В этом соприкосновении с мокрым снегом происходит какое-то общение с затаившейся водной стихией. <...> В ненастную петербургскую ночь обнажается бездна со всеми страхами и мглами. В такую ночь Свидригайлов совершил своё преступление, такая ночь является для него и последней: в наступившее после неё туманное утро он застрелился»⁸⁶.

В своей работе Николай Павлович Анциферов определяет не только места Петербурга, связанные с сюжетными линиями и житейской круговертью персонажей произведений Достоевского, но городские дома, в которых проживал писатель – один или с семьёй. Известно, что он, не имея в столице собственного жилья, нанимал квартиры, часто меняя их (особенно часто после вторичного приезда в Петербург). «*Таким образом, за эти 9 лет Достоевский переменил 5 квартир. Как и в молодости, его излюбленной частью города*

остаются кварталы, лежащие по ту сторону Невского, если идти от Невы. Этот район, как мы увидим позже, чаще всего упоминается в его произведениях»⁸⁶. Адреса нанимаемых Достоевскими квартир Анциферов определил в следующей последовательности: *«Первую зиму Фёдор Михайлович провёл в Серпуховской улице Семёновского полка, в доме Архангельской. В 1872 году переехал во 2-ю роту Измайловского полка, в дом Мебеса. Зимой 1873–1874 годов жил на Лиговке, № 97, в доме Сливчанского. Три года, с сентября 1875 по май 1878 года, жил в доме Струбинского, против Греческой церкви...»*

В доме на Лиговке 10 августа 1875 года у Достоевских родился сын Алексей, проживший неполных три года:

«16 мая 1878 года нашу семью поразило страшное несчастье: скончался наш младший сын Лёша. <...>

Фёдор Михайлович был страшно поражён этой смертью. Он как-то особенно любил Лёшу, почти болезненной любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится. Фёдора Михайловича особенно угнетало то, что ребёнок погиб от эпилепсии – болезни, от него унаследованной»⁷⁹.

Опасаясь за здоровье мужа, заметно пошатнувшееся за время болезни и смерти сына, Анна Григорьевна, вместе с другом писателя Владимиром Сергеевичем Соловьёвым, уговорила его съездить в Оптину пустынь. Там Достоевский встретился со знаменитым старцем, отцом Амвросием, поделился с ним своим горем, получил от него для убитой несчастьем жены благословение, *«а также те слова, которые потом в романе старец Зосима сказал опечаленной матери»*.

«Вернувшись осенью в Петербург, мы не решились остаться на квартире, где всё было полно воспоминаниями о нашем умершем мальчике, и поселились в Кузнечном переулке, в доме № 5, где через два с половиной года было суждено судьбою умереть моему мужу»⁷⁹.

На самом деле четырёхэтажный дом, в котором Достоевские снимали двухкомнатную квартиру (номер десять на втором этаже), был угловым, один фасад его смотрел на Кузнечный переулок, второй – на Ямскую улицу (с 1915 года – улица Достоевского). Неподалёку от этого строения, по улице Достоевского, в доме номер девять (точнее, в приписанном к нему внутридворовом флигеле), в начале февраля 1965 года поселился вместе с другом-однокурсником автор этих строк, тогда студент-первокурсник Ленинградского электротехнического института.

Сперва совсем не скуки ради,
А для успеха наконец
Я появился в Ленинграде,
Самонадеянный юнец⁸⁷.

До этого переселения я жил в ближнем пригороде – Шувалово, в арендуемом институтом для своих студентов частном доме. Весь первый семестр самозабвенно, до самоистязания отдавался учёбе, стремясь любыми силами

закрепиться в городе моей мечты. Поднимался с первыми петухами и, чуть протерев глаза, спешил – автобусом, электричкой – в институт. После занятий допоздна засиживался в институтской библиотеке, а возвратившись в снимаемый угол, ещё долго перелистывал учебники и конспекты на кухоньке старого деревянного дома. Мечту приступить к изучению города на Неве, его истории, его культурных памятников, музеев, к постижению духа города пришлось до поры до времени отложить.

Аудитория бурлила,
Я по утрам ложился спать,
Ах, Господи! – когда мне было
Его увидеть и узнать⁸⁷.

И только преодолев победно заградительные бастионы первой зимней сессии, переселившись в центр города, снял с себя «вериги сдержанности» и постепенно приступил к ознакомительным экскурсиям по Ленинграду, к длительным посещениям (по выходным дням, а иногда и после лекций) Русского музея, Эрмитажа, Петропавловской крепости, Летнего сада.

Поздней вошли в мой ум охочий
Лев у дворца сторожевой,
И вешний запах белой ночи,
И грозный шпиль над головой⁸⁷.

Факт проживания на улице, названной именем Достоевского, подтолкнул меня, начавшего формироваться библиофила, к систематизированному прочтению его произведений, к изучению всех обстоятельств жизни писателя, к более близкому знакомству с районом его (и моего) проживания, обустроенным, как выяснил, в начале царствования императрицы Елизаветы. По её высочайшему указу в этой части столицы разместилось поселение обслуживавшего двор персонала – Дворцовая слобода. Названия коротких улочек бывшей слободы, сохранившиеся до сегодняшнего дня, рассказывают о профессиях населявших её горожан – Кузнечный переулочек, Свечной переулочек, Колокольная улица, Поварская улица... Центром (архитектурной доминантой) этого района стал собор Владимирской иконы Божией Матери с её знаменитой колокольней, «введённые в строй» в 1769 году. В это же время был проложен и Владимирский проспект, соединивший (через Владимирскую площадь) Литейный и Загородный проспекты.

Прежде переезда в июле 1878 года (сразу после окончания Инженерного училища) Достоевский жил в этом районе. *«В письме, помеченном датой 30 сентября 1844 года, он сообщает свой адрес: „У Владимирской церкви, в доме Прянишникова, в Графском переулке“. В 1846 году, в феврале, мы застаём его на новой квартире вблизи той же Владимирской церкви»⁸⁶.* (В доме почт-директора Фёдора Ивановича Прянишникова, в котором Достоевский жил с 1842 по 1845 год, им был написан роман «Бедные люди». В память об этом событии на доме со стороны Графского переулка установлена мемориальная доска.)

Проект флигеля, в котором мне в компании с другом-однокурсником довелось пожить полтора года, по свидетельству знатоков истории Петербурга, был разработан в 1858 году, поэтому гадательно можно предположить его возведение через пару-тройку лет после завершения проектных работ. Вход во флигель начинался сразу в подворотне – поворот вправо, подъём по всегда тускло освещённой (дневным или электрическим светом), дурно пахнущей лестнице на второй этаж. Нечто подобное видел князь Мышкин в одном из эпизодов романа Достоевского:

«Вспомним ещё эпизод из „Идиота“. „Лестница, на которую князь взбежал из-под ворот, вела в коридоры первого и второго этажей, по которым и были расположены номера гостиницы. Эта лестница, как во всех давно строенных домах, была каменная, тёмная, узкая и вилась около толстого каменного столба. На первой забежной площадке в этом столбе оказалось углубление, вроде ниши, не более одного шага ширины и полшага глубины“»⁸⁶.

На втором этаже лестница упиралась в массивную старую дверь, за которой убегала вдаль коридорная «кишка» с ветвящимися от неё по левую сторону коммунальной кухни, ватерклозетом и полутора десятком комнатушек; правой стороной коридора служила глухая – без окон и дверей – стена (в стиле доходных домов Петербурга Достоевского). Концевая часть этой «кишки», отсечённая от основной её части второй старообразной дверью, образовывала ещё одну жилую коммунальную структуру из трёх маленьких комнат, одну из которых нанимали мы с сокурсником. Она размерами и жалким видом своим очень напоминала «клетушку» Родиона Раскольникова: *«Это была крошечная клетушка шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со своими жёлтенькими, пыльными и всюду отстающими обоями».*

Как у ребёнка малого, у которого все самые острые, ёмкие впечатления начальной поры жизни запечатлеваются – по непонятному правилу выборки – навсегда в памяти, чтобы со временем стать символическим олицетворением его раннего детства, так и у меня бытовые картинки жизни на улице Достоевского, сложившись, стали обобщающим символом моего студенчества, прошедшего в городе на Неве. Более того, картинка эта стала моим внутренним иллюстративным материалом, который память извлекает из своих залежей для ассоциативных интерпретаций читаемых мною произведений великого писателя (в первую очередь во взаимосвязи сюжета и действующих лиц его произведений с городской средой, природой, климатом). Так, только на одно предложение из Достоевского: *«В невыразимой тоске я подходил к окну, отворял форточку и взглядывался в мутную мглу густо падающего мокрого снега»* – память моя выдаёт на гора целую череду зрительных ассоциаций. Согласно им вижу я себя сидящим за приставленным к окну столом в жарко натопленной (благодаря стоящей в углу круглой печке-голландке) комнатке; за приоткрытой форточкой просторного окна – неглубокий дворовый колодец, видимую часть которого составляет тыльная стена Ямских бань; внизу – котельная бани, дровяной склад, в котором жильцы флигеля накапливают дрова на отопительный сезон. На дворе – конец марта, и мокрый снег, тяжёлыми,

скоро тающими хлопьями покрывающий дно дворового колодца, в очередной раз подтверждает непостоянство ленинградской (петербургской) весны.

Или ещё одна «выкопировка» из классика: *«Кто из петербуржцев не знает преображающую силу инея, который после туманной ночи серебрит стены и колонны храмов и домов? В утренний час, когда лучи солнца борются с тающим туманом, Петербург отливает тонами перламутра и кажется зачарованным городом»*. По этой подсказке моя память услужливо извлекает свою зрительную интерпретацию – февральское утро шестьдесят шестого года: после сна вполглаза (с конспектом в обнимку), будто стрела, из лука выпущенная, вылетаю из подворотни дома на улицу Мало-Московскую и мимо выбеленных инеем зданий бегу к станции метро «Владимирская»; затем, опережая ход эскалатора, сбегая к перрону, влетаю в последний вагон подземки, доставлявшей меня на Петроградскую сторону, к моей альма-матер, на сдачу очередного экзамена зимней сессии.

Ассоциативна для меня сценка из «Преступления и наказания», указывающая на один из маршрутов Родиона Раскольникова, долго и бесцельно бродившего по Петербургу: *«Миновал площадь, он попал в переулок... Он и прежде проходил часто этим коротеньким переулком, делающим колена и ведущим в Садовую»*. Указанный писателем «коротенький переулок» для меня – Малков переулок, соединяющий Садовую улицу и набережную Фонтанки; на нём в пору моей юности располагалась стихийная биржа по найму жилья; по нему я, только состоявшийся студент, много раз бродил осенью шестьдесят четвёртого года, пытаюсь – увы, безуспешно – нанять изолированную комнату по доступной цене.

Кажется мне, что на пожизненную фиксацию в моей памяти помянутых картинок из студенческого прошлого в немалой степени повлияли два чувства, в те годы мной пережитые. Первое – тоска по малой родине, меня пожиравшая на первом институтском курсе, пока её, со временем ослабевшую, не перекрыло чувство комфортности жизни в новой, ленинградской среде обитания. Второе – в ту же пору пережитое (до мании доходившее) нервное перенапряжение от боязни провала на первых зачётах, экзаменах, означавшего для меня житейскую катастрофу (с разжалованием из студента в солдаты). Эти тревожные чувства оказались для моей юной впечатлительной натуры соразмерными с чувствами неустроенности, отчаяния и безнадёжности, которыми наполнена жизнь героев произведений Достоевского. Эта эквивалентность чувствований, открытая мной после первого прочтения классика (его романа «Идиот»), действует в моём сознании (или подсознании) по сей день. И ныне, перечитывая Фёдора Михайловича (иногда просто пребывая в сумеречном состоянии духа), помимо воли представляю особые зарисовки Ленинграда шестидесятых годов ушедшего века, прежде всего связанные с домом номер девять по улице Достоевского.

К этому дому вернулся много лет спустя после окончания института. Приехав однажды в Петербург-Ленинград, прямо с вокзала отправился (вместе с встретившим меня другом-однокурсником) к месту, так сильно связанному с прекрасными годами моего студенчества, с его начальной порой. По нужному адресу нас ждало горькое разочарование – дворового флигеля на

месте его прежнего расположения не оказалось, был он, как подсказала нам местная старушка, разобран много лет назад при реконструкции замкнутого треугольника домов и обустройстве их внутреннего двора.

Постоял на асфальтовой площадке, на том самом месте, где когда-то располагался наш флигель, погоревал, что не довелось мне восстановить в памяти многие подзабытые детали его внешнего и внутреннего облика, и ушёл с *«родного пепелища»*, украсив на прощание свою тихую грусть мудрой сентенцией от гуру Анциферова из его книги «Петербург Достоевского»: *«Самое сильное, самое яркое способно стереть в нашей душе беспощадное время, и память, мать верности, бессильна бороться с ним»*.

Леся Украинка – ею нельзя не восхищаться!

В ней, деликатной и обаятельной, было врождённое чутьё к прекрасному, развитое ею до степени совершенства. Она, знавшая только домашнее воспитание, много читавшая и многое осмысливавшая, отличалась глубоким умом, изысканным вкусом, редкой артистичностью натуры. Во всём, чего она касалась с увлечением, она проявляла дарование и многого достигала: была писательницей, публицистом, переводчицей, культурным деятелем; она писала в самых разнообразных жанрах лирики, эпоса, драмы, писала на украинском, русском, французском языках; она музицировала, профессионально занималась фольклористикой и более двух сотен народных мелодий были записаны с её голоса.

Она – волшебница слова. В её лирике живая образность языка, разнообразие рифм и сравнений, скрытая глубина и одухотворённость. За печалью её строк укрывается порой спокойная мудрость и невероятная жажда жизни, и трудно поверить, что такие строки написаны хрупкой, измученной тяжёлой болезнью женщиной. Иван Яковлевич Франко писал о ней: *«Читая мягкие и расслабленные или холодно резонёрские сочинения украинцев-мужчин и сравнивая их с этими бодрыми, сильными и смелыми и вместе с тем такими искренними словами Леси Украинки, невольно думаешь, что эта больная, слабая девушка – едва ли не единственный мужчина во всей Украине!»*

Часть первая. Жизнь как любовь и борьба

Она – Лариса Петровна Косач – будущая Леся Украинка, родившаяся 25 февраля 1871 года, росла и воспитывалась в окружении единосущных людей, близких друг другу по интеллектуальным запросам, по художественным устремлениям. Её мать, Ольга Петровна Косач (псевдоним по-украински – Олена Пчілка), была детской писательницей, отец, юрист Пётр Антонович Косач, был большим любителем литературы и живописи. Дядя Леси по материнской линии, Михаил Петрович Драгоманов, историк, фольклорист и публицист, любил безмерно свою даровитую племянницу, по-дружески опекал её, пестовал её талант, сочувствовал её скорбям.

В доме Косачей часто собирались писатели, художники и музыканты, устраивались вечера и домашние концерты. В их семейный круг были вхожи драматург Михаил Петрович Старицкий, историк и библиограф Михаил Фёдорович Комаров, писатель Григорий Александрович Мачтет, композитор Николай Витальевич Лысенко, у первой жены которого, ирландки Ольги О'Коннор, брала уроки музыки Лариса Косач.

Болезнь Леси, которую она позже назвала «*моя тридцатилетняя война*», заявила о себе, когда девочке было только десять лет. В крещенские праздники 1881 года она простудилась, разболелась правая нога, огорчённые родители посчитали, что у дочери – острый ревматизм. В октябре 1882 года на Лесиной левой руке появилась небольшая опухоль, и только через год ей был поставлен правильный диагноз – костный туберкулёз. Тогда же в Киеве ей была сделана операция левой руки, во время которой хирург не совсем удачно вырезал две повреждённые косточки. После операции рука осталась чуть деформированной, и, чтобы скрыть этот дефект, Лесья с той поры часто надевала рукавичку.



Операция руки эффекта не дала, и зимой 1886 года, после консультации у киевских врачей, Лесе был поставлен – как приговор на всю оставшуюся жизнь – окончательный диагноз: туберкулёзное воспаление сустава правой ноги. Далее её лечили специальным массажем, грязевыми ваннами Хаджибейского лимана, под Одессой; лечили в Крыму – в Саках и в Евпатории, возили к народной целительнице. Для больной правой ноги Леси изготовили специальный протез, который позволял ей передвигаться без боли и посторонней помощи.

Пытались родители девушки улучшить её состояние ещё одной операцией, на ноге, но в клиниках Варшавы и Вены, куда они приезжали для предварительных консультаций, в операции им отказали. Надежда на исцеляющее хирургическое вмешательство появилась в начале декабря 1898 года, когда в Умань приехал немецкий хирург-виртуоз Эрнст Бергман. О своих действиях в возникшей ситуации Лесья срочно отписала своей тётушке, Людмиле Михайловне, в Софию (где больше года, с весны 1894 года, Лесья гостила у Драгомановых, где в июне 1895 года проводила в последний путь любимого дядю):

«Люба дядино! Оце знов писатиму без толку, бо знов спішуся. Сеї ночі виїжджаю екстренно з Києва в Умань, щоб піймати там проф. Бергмана, до якого я збиралась в Берлін. Се щасливий випадок, бо Бергман, визваний в Умань на операцію, і треба сей випадок ловить. Таким способом завтра буде рішено, чи можна мені робить операцію, чи ні. Коли ні, то я і не рипатимусь в Берлін, а коли можна і слід, то вже вибиратимусь як треба, знаючи, на який кінець. Дуже я рада, шо се так виходить, – може, воно еканомізує багато грошей, часу і нервної втрати... В Умані не засиджусь, думаю після завтра вернутись...»⁸⁸

Видимо, доктор Бергман уехал из Умани прежде, чем туда приехали Леся с отцом, так как встретились они с берлинским хирургом только на узловой железнодорожной станции Казатин. Осмотрев искривлённый сустав больной, Бергман дал Косачам согласие на операцию в своей клинике, пообещав пациентке, что после операции нога её выправится и удлинится.

Эрнст Бергман был не только выдающимся представителем немецкой хирургии девятнадцатого века, он и по сегодня, как утверждают специалисты, числится в плеяде выдающихся мастеров хирургического искусства всех времён как основатель асептики, без применения которой не проходит ни одна хирургическая операция. Практический опыт доктор Бергман, выпускник Дерптского университета, приобрёл во время Русско-турецкой войны 1877 года, в которой он, как хирург-консультант русской армии, впервые стал использовать антисептические повязки для раненых непосредственно на поле боя. По окончании войны Эрнст Бергман претендовал на хирургическую кафедру в Военно-медицинской академии Петербурга, в чём ему было отказано по причине недостаточной чистоты его русского языка. И напрасно – в 1882 году доктор Бергман возглавил хирургическую кафедру Берлинского университета, позже открыл свою клинику. (*«Итак, самая видная кафедра в Германии занята бывшим русским врачом...»*, – писал по этому поводу берлинский еженедельник «Врач».)

Уверенность самого Бергмана в удаче операции на Лесиной ноге взбодрила её, подняла ей настроение. Об этом она, вернувшись в Киев, срочно в восторженной тональности отписала матери домой (в село Колодяжное, под Ковелем) в письме от 29 декабря 1898 года:

«Приїхавши з Умані, починаю збирати відомості про Берлін. Здоров'я моє добре, я було трохи простудилась після Умані (капосно було на дворі), захрипла сильно, але то вже минулось... Головне, що припадків не було, може через те, що настроїй «повышений» після розмови з Бергманом. Аж мені самій дивно, що я так уже зовсім не боюсь операції, але ж у людей якось прийнято бояться таких речей. Може, се я так через те, що сам Бергман не страшний, нема у нього і сотої долі тієї важності, що у наших „світл“»⁸⁸.

Во второй половине января 1899 года Леся, вместе с матерью и братом Михаилом, прибыла в Берлин. Операция прошла успешно (если можно назвать успешным удаление вместе с очагом туберкулёза части тазобедренного сустава); после неё сустав и выправленную сдвинутую вниз ногу забинтовали оздоровительной асептической повязкой, в которой Леся пробыла полунедвижимой почти два месяца.

Получив из Берлина – телеграммой от сына Михаила – столь добрую весть, глава семейства Косачей принял решение переехать в Киев, где он получил должность члена губернского суда по крестьянским вопросам. (Как записано в «Памятной книжке Киевской губернии», действительный статский советник Пётр Антонович Косач с высочайшего соизволения был назначен *«членом Губернского по крестьянским и чиншевым делам Присутствия, с предоставлением казённой квартиры по улице Мариинско-Благовещен-*

ской, в доме № 97».) К этому времени Косачи выстроили дом на малой родине Лесиной матери – на Полтавщине, около города Гадяч, близ красивого леса на живописном берегу реки Псёл (своё новое имение назвали ласкающим сердце истого украинца словосочетанием «Зеленый гай»). Сюда из Берлина в конце лета 1899 года приехала Леся, к ней, в её новое жильё, спустя несколько дней приехал Сергей Константинович Мержинский.

Познакомились они летом 1897 года в Ялте, где лечилась Леся и где он, больной туберкулёзом, проходил курс оздоровительного лечения. Это был синеглазый красивый молодой человек, сдержанный, скромный и деликатный, имевший твёрдые революционные убеждения (бывший основателем марксистских кружков в Минске и Киеве). Они сдружились, стали симпатичны друг другу, скоро внешняя приязнь переросла во взаимную любовь. Он скоро уехал, она оставалась на крымском побережье до начала лета 1898 года, после чего отбыла в Гадяч. Туда к ней, не выдержав долгой разлуки, приехал в первых числах июля Сергей Мержинский. Они пробыли вместе две недели, после его отъезда Леся написала стихотворение с посвящением «С. М.»:

...Порвалася нескінчена розмова.
Тремтить вона, мов порвана струна,
В моєму серці. Від одного слова
Розкрилася в душі моїй труна.

В четвёртый раз влюблённые встретились в Минске, где Леся три дня, начиная с 6 февраля 1900 года, пожила у Мержинского. Здесь она познакомилась с писателем Евгением Николаевичем Чириковым, который дал ей рекомендательное письмо в петербургский журнал «Жизнь». В столице Леся жила у сестры Ольги, в общежитии Высших женских медицинских курсов. Почти две недели она знакомилась с городом, была с отменной любезностью принята в редакции журнала «Жизнь», для которого оставила рукописи двух своих статей – «Два направления в новейшей итальянской литературе» и «Малорусские писатели на Буковине». В статьях этих поражают не только широта знаний автора и глубина проникновения в исследуемую тему, но и её совершенно изумительный русский язык. Взять хотя бы, к примеру, краткий пассаж из её второй статьи, о подруге Кобылянской:

«Г-жа Кобылянская – наследница Федьковича по таланту, но не продолжательница его манеры. Она воспитанница немецкой культуры, и этого не могут ей простить её галицкие критики, так как немецкое влияние до сих пор заметно на её стиле. Но если немецкий язык и был действительно вреден для её стиля, то он был ей не только полезен для общего развития, но даже спас её от умственного застоя и нравственной спячки в мелкобуржуазной, чиновничьей среде маленького буковинского городка, где единственным очагом культуры была библиотека, состоявшая почти исключительно из немецких книг»⁸⁹.

Ещё несколько статей на русском языке, одна другой лучше по стилю и по содержанию, написала Леся Украинка для приветившего её столичного

журнала; русским языком ею был сделан перевод драмы Герхарта Гауптмана «Ткачи».

Опыт стихосложения по-русски Леся имела только один, и был он исполнен ею весьма необычным образом. Как вспоминала в своих преклонных годах её младшая сестра Исидора, летом 1896 года у них в Колодяжном гостил писатель Григорий Александрович Мачтет, вольнянин по рождению. В разговоре с Лесей он, как бы мимоходом, предложил ей попробовать себя в русской поэзии, после чего вернулся к гостям, собравшимся в гостиной, продолжил общение с ними. Смеркалось; в открытые окна дома, поднимаясь с дворовых клумб, вливался, окутывал присутствовавших пьянящий аромат никоцианы (белого табака). Леся некоторое время посидела за своим письменным столом, что-то записывая, затем подседа к роялю и, к восторгу слушателей, импровизируя музыкально, продекламировала своё экспромтом сочинённое рондо:

Когда цветёт никоциана,
Всё, всё тогда полно обмана,
Опасна ночи тишина;
Как то затишье роковое,
Когда коварная волна
Хранит молчанье гробовое.
И если вы тогда вдвоём
И перед вами светят очи,
Как отраженье звёздной ночи,
И голос милый вам звучит,
Как будто в тишине журчит
Струя забытого фонтана,
Бегите прочь от этих чар,
Они зажгут в душе пожар,
Когда цветёт никоциана.⁹⁰

После Петербурга, на обратном пути в Киев, Леся на несколько дней остановилась в Минске, у своего любимого мужчины. Общение своё они продолжили в апреле 1900 года в Киеве, куда на почти две недели приехал Сергей Константинович. Леся, крайне огорчённая состоянием милого друга, советовала ему вновь поехать в Крым, полечиться морским воздухом. Но Мержинский вернулся в Минск, куда вновь в начале сентября приехала Леся и три недели была с ним⁹¹.

Последнее их свидание было долгим, с трагическим финалом. В начале января 1901 года Леся приехала в Минск, поселилась у тёток Сергея и долгих два месяца была неотлучно при нём, прикованном к постели. Ухаживала за ним, поддерживала его морально, вместе с ним мечтала иллюзорно о его выздоровлении, о грядущей поездке в Швейцарию – вместе встретить там весну. Он упрекал её, что из-за него она оставила свою работу, что подрывает своё и без того слабое здоровье. И Леся, набираясь новых сил, улыбалась ему, показывая оптимизмом своим, что ничего не изменилось, что она пишет, творит, и это была правда. Из Минска Леся Украинка выслала в журнал «Жизнь» свою новую статью «Новейшая общественная драма», а в ночь на 18 января

1901 года создала один из своих поэтических шедевров – драматическую поэму «Одержимая».

Пережив зиму, Сергей Константинович Мержинский умер 3 марта 1901 года, на руках у своей Леси, чья изболевшаяся душа давно предчувствовала и, заранее скорбя, ждала этот миг последнего «прости»:

«Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами, ти, мій бідний, зів'ялий квіте! Легкі, тонкі пахоці, мов спогад про якусь любу, минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахоці, тонко, легко, але невідмінно, невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий мій друже, створений для мене, як можна, щоб я жила сама, тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, проїнятого жалем і тугою щастя, що палило мене, і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю, в дикому бажанні згинутися, зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись... А потім і щастя, і горе обірвались так раптом, як дитяче ридання, і я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозора, а тепер я пішла до тебе всею душею, як сплакана дитина іде в обійми того, хто її жалує. Се нічого, що ти не обіймав мене ніколи, се нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки, о, я піду до тебе з найцільніших обіймів, від найсолодших поцілунків! Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині. Тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю, ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою, – вона тремтить, як струна, – все, що тьмарить мені душу, ти проженеш променем твоїх блискучих очей, – ох, у тривких до життя людей таких очей не буває! Се очі з іншої країни...

Мій друже, мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди?

Мій друже, мій друже, чому ж я не можу, коли так, облили рук твоїх, рук твоїх, що, мов струни, тремтять, своїми гарячими слізьми?

Мій друже, мій друже, невже я одинока згину? О, візьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди!»⁸⁸

Время – терпеливый врач. Постепенно активная творческая нагрузка, собственные беды со здоровьем отвлекли Лесю от тяжёлых воспоминаний, подлечили её душевную травму. Постепенно в нить жизни её стала влетаться нить жизни Климента Васильевича Квитки, и, думается, началось это летом 1901 года; тогда он, студент юридического факультета Киевского университета, увлекающийся этнографией и народной украинской музыкой, путешествовал вместе с Лесей Украинкой по Буковине, помогал ей в исследовании быта, нравов, культуры самобытных этнических групп края. Далее интенсивность их общения пошла по восходящей. В сентябре 1903 года они вместе пароходом проплыли из Одессы в Батуми, оттуда переехали в Тбилиси, где после окончания университета в окружном суде служил Климент Квитка;

у него Леся жила до мая 1904 года. Проведя лето этого же года на хуторе под Гадячем (куда к ней приехал погостить Климент), Леся в октябре вновь уехала в Тбилиси и находилась там до мая 1905 года. После этого она вернулась в Киев, он же перебрался к новому месту службы – в Симферополь, в тамошний окружной суд.

Весну 1907 года Леся провела в Крыму, у суженого, а 25 июля в Киеве они обвенчались в Свято-Вознесенском храме, что на Демиевке. Было на то время мужу двадцать семь лет, жене – тридцать шесть. *«Діло закінчено – ми обвінчалися. Знайшли такого священика, який сам порадив коротший спосіб без оголошення. Ми не запрошували нікого, крім свідків. Сподіваюся, хоч тепер будемо мати спокій від людей, все добре, ніхто нас нічим не мучить, і ми збираємося до Криму»*, – сразу после венчания написала Леся матери. Пожив в Киеве две недели (на улице Большой Подвальной, дом тридцать два, квартира одиннадцать), молодожёны уехали в Крым и поселились в Ялте.

Тайно состоявшееся бракосочетание Ольга Петровна встретила в штыки. Была она категорическим противником отношений дочери с *«каким-то нищим»*, как она с безжалостностью ревнивой матери презрительно называла Климента Васильевича, не имевшего приличного состояния, но никак не бывшего нищим духом. Он, родившийся в селе Хмельёве, на Сумщине, рано потерял отца, и мать отдала его, пятилетнего, на воспитание в семью киевского чиновника Александра Анатольевича Карпова и его жены – Феоктисты Семёновны. Приёмные родители дали Клименту прекрасное образование: он окончил Киевскую гимназию номер пять (с золотой медалью), музыкальное училище, университет.

По характеру Климент Квитка был человеком мягким, замкнутым, стеснительным, и качества эти, возможно, усиливал комплекс полусиротского детства (в котором его приёмные родители много раз откупались от его матери, шантажировавшей их угрозой отобрать сына). Встреча с умницей Лесей, обделённой здоровьем и личным счастьем, родственной ему духовно, была для него, обречённого на одиночество мужчины, судьбоносной. Они очень подошли друг другу, стали гармоничной парой. Любовь Ольги Петровны к дочери после её «ослушания» отнюдь не уменьшилась – переживания за любимицу усилили это чувство, ставшее, однако, для матери более сдержанным в публичном проявлении и психологически болезненным. Зятя же она так и не приветила до конца дней своих.

Шесть лет прожили в супружестве Лариса Петровна и Климент Васильевич. Союз их был счастливым благодаря духовному единству супругов, которое добавляло Лесе новых творческих сил. С ещё большим напряжением она работала и работала – творила наперекор судьбе, ещё раз больно её ударившей в октябре 1907 года, когда врачи определили у неё заболевание почек. Берлинские специалисты, к которым Леся в мае 1908 года приехала, сопровождаемая мужем, на консультацию, взяв во внимание ослабленный организм больной, ей в операции отказали, посоветовав лечение в Египте.

Более двух лет обсуждали и готовили поездку на египетский курорт супруги. Средств на неё у них катастрофически не хватало; собирая их, выкраивали они рубль за рублём из жалования мужа, экономили, отказывая себе

во многом, распродали всё, что можно было распродать из домашних вещей (не тронув только книги). За это время Климент Васильевич получил новое назначение, в Грузию, в город Тела́ви. Из него он, оформив служебный отпуск, в ноябре 1909 года отвёз жену на египетский курорт Хелуан (побыв с ней только отпускной месяц – он был вынужден вернуться к месту службы).

Леся, оставшись одна, сверх лечебных процедур много работала – творчески и для заработка, переводя по заказу деловые документы, давая уроки немецкого и французского языков. *«Тим способом заробляю від 65 до 75 крб. на місяць, а коли є ще яка випадкова робота, то й більше. Але се, по тутешньому бюджету, ледве дає половину утримання, так що все-таки мушу прожити запасні гроші, що мене не дуже-то радує»*, – писала Леся сестре Ольге.

В конце мая 1910 года она вернулась в Тела́ви. Ехала через Киев, в котором на две недели остановилась у матери. На её средства Леся прошла повторный курс лечения в Египте, в начале 1911 года, но он, как и первый, здоровья дочери не вернул, дав той только некоторое облегчение. Ещё раз отправилась Леся в курортный Хелуан в октябре 1912 года, по обычаю остановилась на вилле «Континенталь» с видом на нильскую долину, на пирамиды... Как скоро выяснилось, всё это было – в последний раз. Перед этой поездкой, будто предчувствуя свой короткий век, Леся сформировала личный архив и переправила его сестре Ольге. И кто знает, может быть, предчувствие это двигало её гениальное перо, когда она в эту же пору писала драму-феерию «Лесная песня» – о любви русалки Мавки к деревенскому парню и о человеческой жестокости, которая эту любовь погубила. Это произведение Леси Украинки вскоре, в марте 1912 года, было опубликовано в Киеве, и среди её прекрасных творений, коих немало, оно в украинской литературе возвышается шедевром.

В 1913 году, последнем году своей жизни, она прожила ровно семь месяцев. 26 июня её муж Климент Васильевич Квитка из Кутаиси (очередного места его судебной службы) телеграфировал матери Леси о резком ухудшении состояния здоровья жены. После этого Ольга Петровна вместе с младшей дочерью Исидорой приехала – 4 июля – к своей умирающей девочке, к своей Лесе. Через пять дней, по совету врачей, больную перевезли поездом в курортное местечко Сурами. В нём Лариса Петровна Косач, она же Леся Украинка, и умерла в ночь с 19 на 20 июля (по старому стилю). На утро её мама отправила телеграмму в редакцию киевской газеты «Рада»: *«Тяжко прибиті великим горем мати і інша родина посилають звістку на Україну, що 19-го іюля, вдосвіта, померла на Кавказі, в Сурамі, Леся Українка (Лариса Квітка, уроджена Косачівна). Поховують у Києві»*.

Часть вторая. Братья Шимановские

Читать маленькая Лариса Косач научилась в возрасте четырёх лет, и первой ею прочитанной книгой была популярная брошюра историка Александра Иванова «Рассказы о небе и земле», переведённая на украинский язык Ми-

хаилом Фёдоровичем Комаровым. Вероятно, в это же время она выучилась и писать, но строго формально этот факт был зарегистрирован только в начале лета 1876 года её первым в жизни письмом, которое она написала Драгомановым. С первым своим книжным просветителем, Комаровым, Леся познакомилась в Киеве, куда её и старшего брата Михаила в зимне-весенний сезон 1881 года мама привезла для продолжения домашнего воспитания услугами нанятых учителей.



Михаил Фёдорович Комаров, выпускник юридического факультета Харьковского университета 1867 года, свой трудовой путь начал присяжным поверенным в Острожске, затем – в Киеве, совмещая свои профессиональные занятия с глубоким увлечением историей, украинской библиографией, языкознанием и литературной критикой. Был он вдобавок выдающимся библиофилом (после его кончины собранные им книги положили начало Государственной украинской библиотеке в Одессе). В 1899 году он заявил себя как будущий специалист по творчеству Шевченко, опубликовав свою первую работу о нём – «Кое-что о Шевченко». Его дочь, Маргарита, была почти ровесницей Лесе; в Киеве девочки близко сошлись, и дружба их длилась долго-долго.

В 1883 году Комаров переехал в Умань, где до 1887 года работал младшим нотариусом. Похоже, в городе он жил без семьи (или с неполным её составом), что можно заключить из воспоминаний его сына, Богдана, описывавшего в них семейные поездки из Киева в Умань, к главе фамилии: *«Ці екскурсії були дуже цікавими, оскільки залізниці між Києвом та Уманню ще не проклали, їздити доводилося кіньми»*. Жизнь анахоретом способствовала научным занятиям разностороннего нотариуса – в Умани он приступил к составлению русско-украинского словаря.

Летом 1887 года Михаил Фёдорович, уже со всей семьёй, переехал в Одессу, нисколько не изменив в приморском городе свой, настроенный в Умани, образ жизни (разве что подписывать свои публикации стал не фамилией, а псевдонимом М. Уманец). Общение Леси Украинки с дружественной ей семьёй продолжалось вплоть до последних дней её жизни, что отметил в своих воспоминаниях второй сын Михаила Фёдоровича Комарова, Борис Михайлович Комаров:

«На протязі 25 рокі (1888–1913) наша родина трохи не кожного року, хоч на дуже короткий час, з радістю зустрічала Лесю и приймала в себе, як рідну й дорогу людину. Всі члени нашої сім'ї, насамперед, батько й мати дуже любили й шанували Лесю, а за їх прикладом і ми, діти, я і мої чотири сестрички. Цьому сприяла давня дружба моїх батьків з Косачами, також пістет перед українським письменством, що панував у нашій родині»⁸⁸.

В Умани некоторое время жила тётя Леси Украинки по отцу, вдовая Александра Антоновна Косач-Шимановская, 1847 года рождения. Была она замужем за Борисом Афанасьевичем Шимановским, о котором в справке из дела департамента полиции за 1886 год помимо прочего сообщалось:

«Шимановский, Борис Афанасьевич, крещёный еврей, киевск. мещанин, муж Ал. Ант. Косач. Род. ок. 1849 г. в г. Тараще (Киевск. губ.). Получил домашн. образование. До 1879 г. жил в Петербурге, давая уроки, занимаясь литературн. трудом и адвокатурою. Арестован в Петербурге в 1879 г., у здания Литовск. замка, за переговоры «условными знаками» с заключённою Ел. Ант. Косач и по распоряжению петербургск. ген.-губернатора от 11(?) мая 1879 г. выслан на родину в г. Таращу под надзор полиции, от которого освобождён в окт. 1879 г. с восприещением жить в столицах и столичных губерниях. Жил в Киеве и, по агентурн. сведениям, был близок к киевск. революц. кружку, и находился в сношениях с редакцией газ. «Земля и Воля». Вследствие политическ. неблагонадёжности по распоряжению киевск. ген.-губернатора в марте 1880 г. выслан под надзор полиции в Вологодск. губ.; 28 апр. 1880 г. водворён в Кадникове...»

Вместе с мужем в народовольческом движении участвовала и Александра Антоновна. Правда, всё её участие свелось к тому, что она через сестру Елену (активную революционерку, ниспровергательницу устоев) передала заграничный паспорт народоволке Макаревич (урождённой Розенштейн), который позволил той выехать за границу. Но не только из-за эпизода с паспортом числилась Александра Антоновна в неблагонадёжных, а также потому, что была она женой беспрестанно преследуемого властями революционера, что подтверждает заключительная часть помянутой полицейской справки:

«...По постановлению Особ. совещания от 1 марта 1884 г. освобождён от гласн. надзора с восприещением жить в столицах и в Киеве; подчинён негласн. надзору, от которого освобождён в 1886 г. Выехал в Курск. губ., где у него в 1884 г. был произведён обыск вследствие сношений его с неблагонадёжными лицами. В 1890–1891 гг. жил в Мглине (Черниг. губ.); был частн. поверенным при местн. суде, имел свой хутор. По отзыву нач-ка Черниговск. жанд. упр-ния 1891 г. был „либерального образа мыслей“ и общался с лицами, политически неблагонадёжными».

В 1891 году Борис Афанасьевич Шимановский умер от чахотки. Похоронив мужа, Александра Антоновна с детьми некоторое время пожила у брата, в семье Косачей, в Колодяжном, где её любимая племянница Леся готовила к поступлению в Уманское училище земледелия и садоводства её сыновей, Антона (1878 года рождения) и Павла (1879 года рождения). О своих занятиях с кузенами Леся писала в письме Драгоманову от 11 февраля 1893 года: «А я немало мучу тітчиних „хлопців“ над німеччиною та іншим „просвещением“». Уроки её пошли ребятам на пользу, и в 1894 году они стали слушателями училища. Леся их не забывала, интересовалась жизнью и учебными успехами братьев; в письме к сестре Ольге (её в семье звали Лилией) от 28 июля 1898 года она, в частно-



сти, спрашивала: «*Напиши, як ти застала наших в Умані, коли ви з Тосею мовилися їхати і які плани Костецького?*»⁸⁸

В 1900 году братья Шимановские окончили шестилетний курс наук в уманском училище и навсегда покинули город. Младший брат, Павел, вместе с матерью вернулся на её родину, в город Мглин Черниговского уезда (бывший родиной и Лесинога отца, Петра Антоновича Косача, родившегося в нём в 1841 году). Старший брат, Антон, став членом партии социал-революционеров (С. Р., или эсеров), с головой погрузился в революционную деятельность, активно участвовал в событиях 1905 года. В 1908 году он (в семье его звали Тосей) женился на своей кузине Оксане Косач, сестре Леси⁹². «*Нас венчали не в церкви*» – поскольку православная церковь не допускала брачных союзов между близкими родственниками, брак Оксаны и Тоси был гражданским. Отношение Ольги Петровны Косач к решению дочери выйти замуж за двоюродного брата было самым негативным, о чём позже, в 1974 году, в письме к уже пожилой дочке супругов Шимановских, Оксане, писала Исидора Петровна Косач (младшая сестра Леси Украинки):

«Доки Оксана не вийшла заміж за Тосю, всі в нашій родині дуже добре ставилися до Тосі, Паші так само, як і до всіх інших кузенів. Коли ж вони побралися, мама наша була дуже вражена тим і так журилася і навіть обурювалась на Тосю, що не хотіла навіть його бачити і тому вже всі ми уникали в розмовах з мамою згадки про тее «нещастя Оксаніне» (як мама казала). А скоро потому Тосю арештували в Петербурзі, судили і присудили на рік відсидіти у кріпості, але до суду він був випущений під залог 1 000 карб. і з залу суда йому допомогли його товариші С. Р. втікти. Так Тося й не одбував ув'язнення, що йому було присуджено, по чужому паппорту вийшов за кордон і жив у Швейцарії. Оксана ж, отримавши закордонний паппорт, вийшла до Тосі легально. Через рік по тому я літом 1910-го р. їздила за кордон і гостювала у Оксани з Тосею у Швейцарії, коло Лозани в горах. Оце я в останнє бачила Тосю. Оксана пізніше приїздила до Києва, до мами, а також до Лілі, а другий раз приїздила в 1913 р. Вже з тобою маленькою я була гостювала у Лілі в Лоцманській Кам'яниці (де Ліля лікарювала) і мама тоді також приїздила до Лілі. А тільки після похорону Лесі, мама з тобою повернулася до Швейцарії»⁹².

Оксана Косач, четвертий ребёнок в семье Косачей, родилась в 1882 году. Как и её братья и сёстры, начальное образование она получала дома, выезжая периодически в Киев для сдачи зачётных экзаменов в городской гимназии. Далее она некоторое время училась в Петербурге на Бестужевских курсах (окончание которых давало право выпускницам преподавать в женских средних учебных заведениях), но не доучилась – была отчислена за какую-то политическую историю. В октябре 1904 года Оксана выехала в бельгийский Льеж и некоторое время была студенткой тамошнего Политехнического института, но вновь не доучилась. Она вышла замуж за Антона Шимановского, и их последующая совместная жизнь в Швейцарии стала воистину «хождением»

ем по мукам» (особенно после рождения в 1909 году дочери, также Оксаны). Факт мытарств Шимановских подтверждает письмо Светозара Драгоманова от 30 августа 1912 года, в котором он просит мужа своей сестры Лидии, профессора Ивана Шишманова (бывшего министра народного образования Болгарии), устроить Тосю на работу в Софии:

«Тося, иначе Антон Борисович Шимановский, принуждён силой обстоятельств жить в Швейцарии и добывать средства к существованию частными уроками, а последнее лето он был руководителем по культурной части в экскурсиях учителей и учительниц, устраиваемых учебным отделом так называемого Общества распространения технических знаний, может быть, известного вам весьма популярного в России просветительского учреждения, во главе которого стоит графиня Бобринская...

Лидя знает Тосю ещё молодым человеком, а ты, Ваня, встречался тоже с ним... Вот от себя скажу следующее: Тося окончил Уманское училище земледелия и садоводства – лучшую из сельскохозяйственных школ России, а по окончании его поступил на строительное отделение Роменского политехникума, прослушал полный курс, сдал почти все экзамены – осталось сдать комиссии историю средневековой архитектуры и два-три предмета вроде бухгалтерии... Также сданы все упражнения, чертёжные, таксаторские и проч. ... Оставалось лишь сдать дипломную работу и получить диплом.

Но пришёл 1905 год, и вопрос о дипломной работе был отложен до неопределённого времени. В 1906 году Тося был арестован в редакции газеты «Новое дело», и так как нашли документы, доказывавшие, что он был официальным представителем на Всероссийском съезде учителей и деятелей по народному образованию, то его после годового заключения судили – приговорили к двум годам крепости. Освобождённый под залог, Тося, промытарствовав полтора года в России, скрылся за границу. Из всего этого Вы можете составить представление о Тосе... Тося – человек общественный и литературный – сотрудничает и сотрудничал в разных изданиях, и с большим эстетическим вкусом. В силу разных обстоятельств Оксане и Тосе до сих пор не удалось обвенчаться. А у Тоси, как полагается, нет губернаторского паспорта»⁹².

Ольга Петровна Косач, будучи категорическим противником брака своей дочери Оксаны с Антоном Шимановским, считала этот союз недопустимым не только из-за близкого родства новобрачных. Полагала она, что Тося не имел морального права вступать в брак, будучи революционером, будучи не в состоянии содержать семью. Об этом писала Исидора Косач своей племяннице, Оксане Шимановской: *«А вона різко змінила своє ставлення до Тосі, як він одружився з Оксаною тому, що перестала його уважати. Вона казала, що революціонер-соціаліст, активний не має морального права одружуватись, коли він не може ні їй, ні майбутнім дітям дати якогось матеріального достатку, мінімального навіть»⁹³.*

Тося, конечно, всеми правдами и неправдами добывал деньги на прокормление семьи в Швейцарии, перебивался кое-какими заработками, но всё же основным его занятием был до седьмого пота труд в зарубежных органах партии эсеров.



Его партийный авторитет подтверждает изданное в ноябре 1906 года совершенно секретное уведомление департамента полиции начальникам охранных отделений, в котором даётся анализ организационно-идеологической борьбы в заграничных кругах партии эсеров в связи с ликвидацией дела Азефа. Выделив в партии социал-революционеров три крыла (левое, центральное и правое), авторы циркуляра обращают внимание высших полицейских чинов на примыкающую к правым группу сторонников Антона Шимановского, которая *«...представляет собой тех же „правых социал-революционеров“, но с несколько обострённым критическим отношением*

к центру, с признанием террора не только ненужным, но даже вредным и с исходною точкою зрения, что при наличности Думы, вместо прежней задачи – „свержение Самодержавия“, перед обществом встаёт иная задача – „преодоление дворянской и бюрократической реакции“. Апологетом таких взглядов является Антон Шимановский (псевдоним Антон Савин), к которому примыкает Бореславцев, Борисов и др. Выразителем мнений Шимановского-Савина служит выходящий от времени до времени „Вестник Заграничной федерации и групп содействия партии социал-революционеров“».

После Октябрьской революции супруги Шимановские решили вернуться на Родину, но вернулся один Антон Борисович. Жена его побоялась плыть Балтийским морем, контролировавшимся немецкими подлодками и усеянным корабельными минами (так Исидора Косач пояснила её дочери причину разъезда родителей): *«Мама твоя не хотіла з дитиною малою наражатися на небезпеку. Все думали тоді люди, що от-от буде мир, то вже тоді відкриють границю і можна буде просто залізницею повернутися на Україну... Так і Оксана з тобою не приїхала, ні Тося до тебе з мамою не повернувся»*⁹³. Так и осталась Оксана Петровна Косач с дочерью Оксаной пожизненно за рубежом, вдали *«від неньки України»*. Поселилась она в Праге, долгое время работала учителем французского языка, занималась переводами, составляла словари. Отдала она Богу душу в 1975 году, в возрасте девяноста трёх лет.

Антон Борисович Шимановский, расставшись волею обстоятельств непреодолимой силы с женой и дочерью, по возвращении в Россию некоторое время жил в Петрограде. Затем переехал в Москву и поселился в посёлке Сокол, на улице Сурикова. Стал он известным для своего времени художником, мастером пейзажа и натюрморта. Известны его картины «Натюрморт с рябинами», «Пейзаж с крышами», написанные в 1930 году. Был он в близких отношениях с художником Ильёй Ивановичем Машковым, одним из лидеров эпатажной группы «Бубновый валет» (Машков был женат на Марии Ивановне Даниловой, сестре второй жены Антона Шимановского, Ольги Ива-

новны.) «Потім Тося одружився з удовою свого знайомого, мав сина (Нікіту)», – вспоминала Исидора Косач⁹².

Кисти Ильи Машкова принадлежит картина «Портрет А. Б. Шимановского», датированная 1922 годом (как утверждают искусствоведы, написана она в неореалистическом стиле):

«В кресле из красного дерева с деревянными подлокотниками сидит мужчина в годах, коротко стриженный, гладко выбритый, с небольшими усиками. Его поза слегка напряжена, лицо и руки написаны весьма реалистично, но образ решён сухо, безэмоционально. Поверх белой рубашки с галстуком накинута тёмный бархатный халат. Фоном служит коричневая драпировка, декоративная колонна карельской берёзы слева и красный медный самовар с фиолетовым заварочным чайником и жостовским расписным подносом справа».



Антон Борисович Шимановский был репрессирован в начале Великой Отечественной войны, по некоторым сведениям – не ранее 1942 года (если взять во внимание, что этим годом датирована его картина «Портрет студентки»).

Младший брат Антона Шимановского, Павел, по окончании Уманского училища земледелия и садоводства в 1900 году поселился близ Мглина, в родительском доме на хуторе Луцы. Поначалу, не получив работу по месту жительства, он устроился в Петербурге торговым агентом в норвежском коммерческом обществе «Густа Сивере». Безусловно, в эту пору авторитетный старший брат имел на него серьёзное влияние в части формирования революционного мировоззрения. Вернувшись в Мглин из столицы, Павел Шимановский, уже как член партии эсеров, активно занялся созданием партийных ячеек в уезде, за что был взят на учёт полицейских властей как неблагонадёжный. В Мглине он женился на Анне Модестовне Мицкевич, здесь у супругов Шимановских 18 июня 1913 года родилась дочь, наречённая ими редким именем Галли.



В первые дни Февральской революции 1917 года Павел Борисович Шимановский был избран председателем Мглинского уездного комитета. После Октябрьской революции к этой должности ему добавилась должность политического комиссара Брянской военной группы и командующего революционными отрядами. В этих должностях в начале 1918 года довелось ему разрешать вопрос государственной принадлежности четырёх уездов Черниговской губернии, в числе которых был и управляемый им Мглинский уезд⁹⁴.

Как известно, 20 ноября 1917 года Центральная рада Украины опубликовала так называемый Третий универсал, в котором заявила о неподчинении советскому правительству России, после чего обратилась к правительствам стран Антанты за поддержкой. 27 января (9 февраля) 1918 года Рада заключила в Брест-Литовске сепаратный мирный договор с Германией, по которому

за умопомрачительную натуральную плату (одного хлеба миллион тонн за полгода) войска кайзера взяли за защиту независимости Украины, которая вылилась в оккупацию ими значительной части её территорий, в том числе прилегавших к четырём северным уездам Черниговской губернии – Мглинскому, Почепскому, Стародубскому и Суражскому. Издавна, по крайней мере с начала семнадцатого столетия, эти районы были местами расселения левобережного украинского казачества, определявшего этническое лицо этой старинной славянской земли, именовавшейся Северщиной. (К казацкому Стародубскому полку, в частности, были приписаны предки Петра Антоновича Косача, отца Леси.) Но к началу двадцатого века национальный состав в этих землях существенным образом изменился. Прежде жившие здесь украинские казаки постепенно растворились среди коренных древнеславянских поселенцев, среди заходящих людей из Московской Руси, Белоруссии, Прибалтики. Теперь в этих краях преобладало русскоязычное население, языком общения стал «модифицированный» русский язык, обильно сдобренный словами из старославянского, украинского, польского, белорусского, литовского языков. Появились и вошли в обиход слова и речевые обороты, которые невозможно было отнести к какому-либо языку; случалось, в соседних деревнях встречались слова, одинаковые по смыслу, но разные по звучанию. И этот своеобразный смешанный язык органично уживался с чисто русской письменной речью.

Таким образом, по национальному составу, по языку, по роду занятий и образу жизни значительная часть населения северных уездов Черниговской губернии тяготела к Великому государству. Но набор этих гуманитарных факторов имел веское, но не решающее значение в определении выбора народом государственной принадлежности. Странниками советской власти, а значит, и перехода под Россию были преимущественно малоимущие, беднейшие слои населения, которые естественной численностью своей превосходили противников нового режима, людей среднего и высокого достатка – кулаков в селе и капиталистов в городе. Последние энергично, с оружием в руках отстаивали свои интересы, боролись за сохранение прежнего общественного и территориального устройства. Влияла на расстановку политических сил и обстановка разрухи и голода, раздражавшая народ, электризовавшая его, собиравшегося в стихийные толпы.

В сложившейся ситуации Павел Борисович Шимановский принял радикальное решение – вместе с другими делегатами от Мглина и делегатами от остальных трёх уездов он в марте 1918 года выехал в Москву с ходатайством о принятии четырёх северных уездов Черниговской губернии в состав будущей Российской Федерации. Просьба делегации была выслушана в Москве с пониманием, но без принятия к исполнению. В это время в Москве проходил чрезвычайный съезд Советов по вопросу ратификации вынужденного тягчайшего и грабительского Брестского мира, поэтому из политических соображений идти на осложнение отношений с германскими оккупантами советская власть некоторое время не могла. Делегациям было рекомендовано провести предварительный референдум о присоединении к России во всех селениях Мглинского, Почепского, Стародубского и Суражского уездов⁹⁵. В Мглине для его организации на 31 марта 1918 года был назначен уездный съезд Советов.

Утром этого дня (это было последнее перед Пасхой воскресенье) Шимановский провёл заседание уездного исполкома, на котором отчитался о поездке в Москву, обсудил с членами исполкома порядок работы съезда. По завершении заседания его участники отправились на открытие уездного съезда, который должен был проходить в Народном доме, но только они покинули здание уездного исполкома, как по ним была открыта стрельба. Начался мятеж, сопровождавшийся зверской расправой над членами исполкома. В числе погибших был и Павел Борисович Шимановский.

Под контролем мятежников Мглин находился только два дня. Порядок в городе и советская власть в нём были восстановлены с прибытием батальона красновардейцев из Унечи.

Похороны жертв мятежа состоялись поздним вечером 2 апреля на Мглинском кладбище под троекратный орудийный и оружейный салюты красновардейцев. При огромном стечении народа в могилы опустили пять гробов, среди которых был гроб с телом Павла Борисовича Шимановского. Весной 1919 года на его могиле был установлен памятник с выбитой на нём надписью:

«Много он вынес могучей душою,
С детства привыкшей бороться с судьбою.
Пусть же, зарытый землёй,
Он отдохнёт от забот и волненья –
Этот апостол труда и терпенья».

Часть третья. Жизнь продолжается!

Занимаясь изучением конечной части жизненного пути Антона Шимановского, обнаружил единожды интернет-сообщение о том, что его внук, житель Швейцарии Роберто Гааб, летом 2007 года разыскивал в московском районе «Сокол» дом, в котором в двадцатых годах минувшего века жили столичные художники, в числе которых был и его дед со своей второй семьёй. Эта новость заинтересовала меня чрезвычайно, и по приведённому в письме швейцарского гостя электронному адресу отправил – на всякий случай – сообщение о моём интересе к теме жизни братьев Шимановских и их родственников, о желании наладить интернет-общение с их любознательным потомком...

К моему превеликому удивлению и радости, в начале лета 2013 года из швейцарского города Лугано по интернет-почте мне пришёл ответ на моё письмо от тамошнего адвоката Роберто Гааба, который, подтвердив своё прямое родство с Антоном Шимановским, сообщил ряд интереснейших неведомых фак-



Оксана Шимановская-Гааб с сыном Роберто (Швейцария, 1966 г.)

тов из его многотрудной, трагически закончившейся жизни. Последовавшее эпистолярное общение сблизило нас (по интересующей меня теме, по общим интеллектуальным запросам), раскрыло мне Роберто как неординарного, высокоэрудированного, остроумного человека, глубоко проникающего в суть событий и явлений, давно минувших и ныне происходящих, в том числе на родине его предков.

Из написанной Роберто Гаабом по моей просьбе автобиографии я узнал, что родился он 30 мая 1948 года в Италии, в Милане. О своём отце, коего звали Фред Гааб, он сообщил только, что тот родился в 1915 году и был по профессии «*индустриальным директором*». Мать Роберто – дочь пары Оксаны Косач (сестры Леси Украинки) и её двоюродного брата Антона Шимановского, Оксана Антоновна, – прежде сына, в 1945 году, родила дочь Ирину, которая ныне живёт в Испании.

Учиться Роберто начал в миланской школе, продолжил образование в частной гимназии в Швейцарии. В его детстве семейное общение велось на немецком и итальянском языках, русский и украинский языки в доме не звучали. С бабушкой Оксаной, жившей в Праге, в несчастные с ней встречи он совершенствовал знания французской лингвистики. В Швейцарии Роберто Гааб окончил юридический факультет Цюрихского университета; далее работал поверенным и адвокатом в юридических фирмах города Лугано, расположенного на юге страны. В 1986 году он стал владельцем адвокатской фирмы.

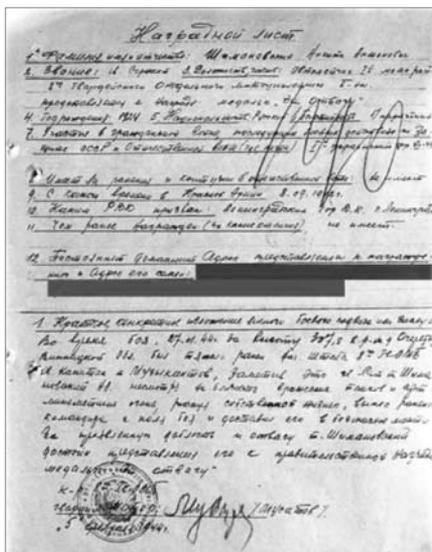


После смерти матери в 1998 году Роберто унаследовал её большую библиотеку, состоящую преимущественно из русских классиков, и, как он написал, «*решил реактивировать свои славянские корни и изучить русский язык*». С 2001 года он регулярно посещает Украину. В приезд 2007 года побывал в Киеве, посетил музей Леси Украинки, которому подарил ряд ценных документов из семейного архива.

С юных лет Роберто активно занимается историей семей Косачей – Драгомановых. За годы родовых изысканий составил и тщательно описал ветвистое генеалогическое древо, уходящее корнями в восемнадцатый век, ветвящееся и поныне своими многочисленными отростками. Его часто приглашают для участия во всевозможных конференциях, посвящённых его знаменитой двоюродной бабушке – Лесе Украинке. В заключение автобиографии, написанной небеспогрешным русским языком, но от всего сердца, он спросил меня: «*Может быть, Вас интересует моё мнение об украинской политике? Как и Михаил Драгоманов, я славянский федералист: место Украины, по-моему, рядом с Россией и Беларусью, как суверенное политическое единство, а не в т. н. Европе*». Роберто Гааб написал мне также, что у его деда Антона от второго брака в 1924 году родился сын Никита, что сохранилось несколько документов, связанных с жизнью сводного брата его матери. Один из них – наградной лист от 5 февраля 1944 года, представляющий сержанта Шимановского Никиту Антоновича, автоматчика Первой мотороты Восьмого Гвардейского отдельного мотоциклетного батальона, к медали «За отвагу». Из текста

этого наградного листа следует, что 27 января 1944 года в бою за высоту 307,8 в районе села Очеретня Винницкой области был ранен начальник штаба батальона гвардии капитан Музыкантов. «Заметив это, гв. с-т Шимановский Н. А., несмотря на близость вражеских танков и миномётный огонь, рискуя собственной жизнью, вынес раненого командира с поля боя и доставил его в безопасное место». Представление к правительственной награде подписал командир батальона гвардии майор Мусатов.

До Дня Победы Никита Шимановский не дожил... В начале марта 1944 года перешёл в наступление на проскуровско-черновицком направлении Первый Украинский фронт под командованием маршала Советского союза Георгия Константиновича Жукова. Действовавшая в составе фронта Первая танковая армия под командованием полковника Бабаджаняна уже 24 марта вышла в район реки Днестр, с ходу её форсировала и 28 марта овладела городом Коломыя, а 30 марта – Черновцами. В этих боях племянник Леси Украинки гвардии сержант Шимановский Никита Антонович был тяжело ранен, помещён в полевой госпиталь города Городенка, в котором завершил свой боевой и жизненный путь 14 апреля 1944 года. Вечная память ему, герою Великой Отечественной войны!



Степан Иванович Эрастов

Подзабытый (к превеликому сожалению) общественно-политический деятель, убеждённый народоволец и активный участник украинского культурно-просветительского движения на Кубани Степан Иванович Эрастов в начале осени 1881 года несколько дней побывал в Умани и впечатления от совершённого путешествия позже описал в своих воспоминаниях. Рассказал он в них о личных дорожных впечатлениях, о ночёвках в заезжих дворах («заїздах»), об особенностях местечковой жизни, изложил – сжато и эмоционально – свой небезразличный взгляд на социальную несправедливость в обществе, нюансы межэтнических отношений на украинской земле, забыв дать восторженную оценку красотам Софиевского парка.

Часть первая. Поездка в Умань

Степан Иванович Эрастов родился в Екатеринодаре (ныне – Краснодар) 19 декабря 1856 года в семье русского священника, педагога, законоучителя Мариинского девичьего училища и дочери войскового старшины

Кубанского казачьего войска украинца по национальности Щербины. Согласно издревле установившемуся в казачьих семьях разделению родительских обязанностей *pater familias* был для своих домочадцев прежде всего защитником и, по возможности, добытчиком, прочие же семейные проблемы, в том числе воспитание детей, были обязанностью матери. По этой причине при русском отце вырос Степан Эрастов «*щирим українцем*», с ранних лет впитавшим в себя дух и букву украинского мышления и образа жизни.



«...З боку матері, яка походила з роду кубанських козаків Щербин, я був вже природним українцем. І таким я і знав себе з самих ранніх дитячих літ. Та й як би було інакше? Родився і виріс я в Катеринодарі, на Чорномор'ї, серед суто української стихії. Над коліскою моєю співалися лише українські мотиви. Виховався я в оточенні чорноморського козацтва, у якого не завмерли ще тоді спогади про волю запорозьких часів, у якого гостро в ту пору визначалися зневага, навіть ненависть до «москаля» яко до ворога – носія централізму та насильства. <...> Вороже відношення чорноморців до „москаля“ не обмежувалося лише московським офіцерством чи іншими представниками царського режиму, а поширювалося і на простих зайзд з Московщини, що були або крамарями, або ремісниками різними»⁹⁶.

Фамилия Эрастов в роду Степана Ивановича была достаточно «свежей» по времени возникновения, образовалась она по правилам её присвоения юным лицам духовного чина, в числе которых был старший брат его отца – дядюшка Василий. В прежние времена православное духовенство даже в деловых бумагах никогда не писалось по имени и фамилии, а всегда только по имени. Поэтому нет ничего удивительного, что у большинства сельского духовенства ещё в начале девятнадцатого столетия не было фамилий. Вследствие этого установилось в духовно-учебных заведениях обыкновение каждому вновь поступившему мальчику давать – фантазией смотрящего училища или ректора – фамилию, которая оставалась за её получателем всю его оставшуюся жизнь.

При назначении фамилий новичкам руководители духовно-учебных заведений обращали внимание на то село, откуда происходил мальчик, или на реку, при которой село стоит; отсюда многочисленные Белосельские, Красносельские, Великосельские, Обнорские... Реже «офамиливались» наружность или внутренние качества ученика – Красавин, Беловзоров... Иногда фамилии назначались по «*дванадцятим празникам*» (Рождественские, Сретенские, Благовещенские, Успенские, Воздвиженские, Введенские, Покровские), по дням недели (Пятницкие, Субботины). Чаще же всего фамилии выводились из терминов латинского и греческого языков. Латынь породила, в частности, фамилии Гонорин, Вестин, Фортунатов, Миневрин, Кустодиев; греческому языку обязаны фамилии Неофитов, Митропольский, Каллистов, Аристов...

В случае с Эрастовым фамилию эту его дяде по отцу, Василию, присвоил местный архиерей, увидевший его, внешне привлекательного ученика-новичка, плачущим после традиционной вступительной взбучки от бурсаков-ветеранов («эраст» по-гречески означает «любящий»). По окончании Ставропольского духовного училища протопоп Василий Эрастов пятьдесят лет отслужил в Пятигорске и стал известен стране в 1841 году, когда отказался похоронить по христианскому обряду Михаила Юрьевича Лермонтова, определив дуэль как форму самоубийства. Так полагает племянник священнослужителя, Степан Иванович Эрастов, и в этом грешит неточностью. В действительности же долго не соглашался хоронить поэта по православному обряду протоиерей Павел Александровский, о чём пишет в «Историческом вестнике» за 1892 год авторитетный специалист по последним дням жизни Лермонтова, военный литератор Пётр Кузьмич Мартыанов:

«В бытность мою в Пятигорске в 1870 году отец Василий Эрастов, один из двух священников, бывших в Пятигорске в 1841 году, в разговоре со мной объяснял это обстоятельство тем, что во время похорон Лермонтова на водах было несколько влиятельных личностей, которые не любили поэта за его не щадивший никого юмор. Они старались повлиять и на коменданта, и на отца протоиерея в смысле отказа как в отдавании последних почестей, так и в христианском погребении праха «ядовитого покойника», как один из них выразился об умершем. Говорили, что убитый на дуэли – тот же самоубийца и что на похороны самоубийцы по обряду христианскому едва ли взглянет начальство снисходительно. Вот откуда происходило колебание духовенства, боявшегося ответственности, и, только благодаря энергии друзей покойного, дело устроилось так, что тело любимого поэта не было лишено последнего благословения церкви. Сопровождал поэта в последнее жилище и совершал погребение протоиерей Александровский. Отец же Василий соучаствовать не мог, так как вынос тела назначен был в четыре часа пополудни, именно в то время, когда в городской церкви обыкновенно служили обедню».

Первоначальное образование Степану Эрастову далось непросто, для получения его довелось ему сменить три учебных заведения: Ставропольскую гимназию, Екатеринодарское уездное училище и Кубанскую военную гимназию. Только полтора года отучился он на математическом факультете Киевского университета Святого Владимира, после чего был представлен к отчислению по причине большего интереса к делам общественно-политическим, нежели к учебным.

Недолгое пребывание в университетской среде Эрастов начал со вступления в нелегальное общество студентов-украинцев «Кош», в котором исполнял обязанности казначея. Осенью 1878 года он познакомился с Николаем Витальевичем Лысенко, подружился с ним, с его семьёй. *«Легідна вдача, увічливість і ласкавість в поводженні, сердечне відношення до усякого, з ким мав стосунки, усе приваблювало до Миколи Віталійовича. Навіть*

звичай його уживати в розмові вирази „серце“, „голубе“ і т. ін. – був мені, незвичному до таких ласкавих слів на нечемній Кубанщині, дуже до вподоби». Вместе с композитором Лысенко студент Эрастов участвовал в «словарных собраниях», устраивавшихся Владимиром Бонифатьевичем Антоновичем у себя на дому; на них участники, преимущественно студенты, совместно обрабатывали материал для будущего словаря украинского языка, задуманного ещё членами киевской «Старой громады». (Старой громадой именовалась организация украинских интеллигентов в Киеве, занимавшаяся просветительской деятельностью с 1859 по 1876 год, когда она была запрещена Эмским указом. Так традиционно именуется выводы особого совещания, подписанные императором Александром II 18 мая 1876 года в германском городе Бад-Эмсе. Этот указ был направлен на ограничение использования и преподавания малорусского наречия в Российской империи. Первопричиной учреждения особого совещания стало письмо «наверх» от помощника попечителя Киевского учебного округа Михаила Юзефовича, в котором он обвинил украинских просветителей в том, что они хотят вольной Украины в форме республики с гетманом во главе.)

Был Эрастов завсегдаем литературных журфиксов у историка Александра Яковлевича Конисского – с любительскими спектаклями, с лекциями о новинках украинской литературы. В эту пору развились и укрепились у Степана Эрастова народнические устремления. Стал он активным агитатором и распространителем нелегальной литературы, участником нелегальных народнических сходок, за что и был в конце 1880 года исключён из университета.

Из вынужденных каникул шесть месяцев Эрастов провёл в Женеве, где познакомился с Михаилом Петровичем Драгомановым, далее общаясь с ним как ученик-однородец. Рассказал он своему маститому и уважаемому учителю в лицах и событиях о близких тому деятелях «Старой громады», о новых тенденциях в украинофильстве. *«Михайло Петрович якось затуманився: „Усі ці ймення мені дорогі, усі люди ці були колись вельми близькі до мене, – промовив він тихо, – але... що не забувається, яким обіцянкам не буває одміни!..“*» В числе общих для Эрастова и Драгоманова знакомых был и Александр Александрович Русов, которого Михаил Петрович в свою бытность в Киеве рекомендовал, в 1870 году, в состав «Громады» (с начала семидесятых годов засекретившейся). Известность в украиноязычной среде этот русский человек приобрёл тем, что во время пребывания в Праге, в 1875–1876 годах, издал первый полный (в двух томах) сборник «Кобзаря». Выпускник историко-философского факультета Киевского университета, он несколько лет учительствовал в Киеве, участвовал в подготовке переписи населения города, далее профессионально занимался земской статистикой, преподавал в Киевском коммерческом институте. Его жена, София Фёдоровна, дочь черниговского помещика Линдфорса (по отцу – шведа, по матери – француза), выпускница Фундуклеевской гимназии в Киеве, жизнь свою посвятила детям: организовывала детские учреждения, школы, приюты; была профессором Фребелевского педагогического института, вместе с супругом преподавала в Коммерческом институте.

Пробыв в Женеве несколько недель, познакомившись – по инициативе Драгоманова – с цветом тамошней русской эмиграции, преимущественно народнического направления, Эрастов отправился на три месяца передохнуть-оздоровиться на средиземноморскую Ривьеру, где попутно расширил свой круг знакомств, набрался новых впечатлений: *«В одній із вілл... жив з численною своєю родиною емігрант Алісов, з котрим я часто бачився. Це був особистий ворог... фамілії Романових, котрих переслідував і котрим допікав при усякій нагоді. Так що навіть республіканський уряд Франції мусив іноді задля заховання добрих відносин висилати Алісова за кордони Франції, коли на Рів'єру приїздила російська цариця»*⁹⁶.

Вернувшись в мае 1881 года в Киев, Эрастов не нашёл на месте единомышленников из среды украинофилов, отдохнувших за городом, и больше общался с радикалами-народниками. В круге его общения был Павел Иванов, бывший студент университета, прославившийся тем, что дал пощёчину своему ректору, в чём-то провинившемуся, и за это отбывший два года каторги. Встречался и дискутировал Эрастов с братьями Александром и Владимиром Бычковыми, студентами юридического факультета университета, организовавшими в Киеве кружок террористов, с вернувшимся из ссылки Евгением Борисовым...

К концу лета 1881 года вызрело у Эрастова твёрдое намерение отправиться в Петербург для продолжения университетского образования, но прежде он решил побывать в Умани и на месте поагитировать в пользу украинофильства в среде слушателей Училища земледелия и садоводства.

«Треба ширити свою віру, а до Петербурга рушати ще було рано. Я помандрував до Умані, щоб попрацювати серед учнів хліборобської школи, переважно українців. До Білої Церкви доїхав залізницею. Обдивився розкішний палац графів Браницьких з великим та густим парком. Приємно було поблукати (графів не було вдома) в холодку широкими алеями і згадувати старі часи гетьманів, геніальну поезію Пушкіна. Далі на Умань залізниця ще не було, і я найняв дядька з кобилницею, впряженою в надзвичайну труську повозку. <...> День ми їхали до Ставищ, а день до Умані. І обидва дні на питання, через чю землю ми їдемо, візник відповідав: «Браницького». У мене стискалися кулаки... А дядько додавав: «Така тіснота нам, така тіснота! Теляті нема де попастися. Курку хоч за ногу прив'язуй, щоб не була шкода... І нема порятунку...»

– Є, дядьку, є, – казав я собі нишком:

*«Якби то, думалось, якби
Не похилилися раби...»*

Але балакав обережно, манівцями, знаючи, що за гострі слова цей же самий дядько скрутить руки смутьянинові за спину і віддасть урядникові. Бувало. На заїздах, на яких ми спинялися, я бачив неприємну дійсність, яка зворушувала до самого серця. У єврея-шинкаря завше служив якийсь дядько в робітниках і служив, так мовити, хронічно, за борг, або краще сказати, за вичотку, за позичку, яку він дістав від єврея на весілля своєї дочки або на яку іншу родинну потребу.

В Ставищах, як звичайно по усіх містечках, головним місцем була площа, на якій стояла церква, а навкруги площі мешкали самі крамарі євреї, і уся торговельна і економічна справа була в руках євреїв.

І згадувався мені недавній малюнок. Я їхав через Галичину. Була зима. Ландшафт був сумний. Несподівано потяг став зупинятися. В степу. Станції не було, а було близько невеличке русинське село, маленькі хатки якого під солом'яними дахами, засипані товстим снігом, здавалися ще меншими, здавалися наче похованими від усього світу і забутими. Ми в вагоні мовчки дивилися на таке сумне село... Коли з якогось вагона вилізли два євреї в лапсардаках, з пейсами і т. п., які вони є в Галичині. Вони підняли свої невеличкі чемоданчики і посунули до села. Ми довго дивилися на високі чорні постаті... Один з пасажирів так наче про себе пробубнив: «З'їдять село ці двоє греків...»

Я – соціаліст і революціонер. Я не можу бути юдофобом, але я й народодولةць. Чому б євреям, коли нема охоти асимілюватися, то не податися усім до історичної Палестини, чи до Аргентини, чи ще де і не скомпонувать свою державу? Як би було добре обом сторонам. Нарешті долізли й до Умані.

*Палає Умань, пала,
Вітер полум'я розганяє.
Отаман Гонта, отаман Гонта
Та й на своїх хлоп'ят гукає...*

Історичне місто. А нині це брудний, сірий город, укритий тоді улітку порохом густо. Ми в'їжджаємо в головну вулицю, де містяться усі крамниці і усі заїзди. І на нас з усіх боків нападає натовп єврейчиків, з величезним гвалтом, скванно вони кидаються усі на мене і кожний хватає за рукав, тягнути і розхвалюючи свій заїзд. Це так вийшло несподівано і енергійно, що зовсім заморочили голову. Одбитися не було змоги. Та вже візник вмівшався: «Та геть-бо к лихій матері! Одчепіться! – гукнув він. – Панич хоче до руського заїзду»...

«До руського? – заверещали усі. – Де ж він такого знайде? У нас ще руського заїзду немає»...

Прийшлося спинитися у єврейському заїзді. Але я зміг прожити в нім лише добу. Не кажучи вже про бруд, сморід, нечепурний номер, до мене трохи не щогодини, одчиняючи потроху двері, просував голову який-небудь комісіонер чи посередник, пропонуючи який-небудь крам. А уночі єврейчик-служака увійшов у номер і відчинив мовчки віконниці, через які до хати влізла молода і досить гарненька єврейська. Такого нахабства я не сподівався. Прийшлося заплатити два злотих одступного. На другий день я перейшов до московки, хата якої стояла біля брами Софіївської. Я лише ночував у московки, а цілий день проводив у Софіївці. І що то за рай! Яка краса! Історія розказує, що то був чистий, але нагірчастий степ, перерізаний багатьма джерелами – власність найбагатшого польського магната графа Потоцького, який був по вуха закоханий у гречанку Софію,

жінку надзвичайної вроди. І в честь цієї історичної чарівниці Потоцький збудував їй на тім місці розкішний палац, а кругом, тисячами кріпакових рук, розбив великий і красивий парк з озерами, гротами, фонтаном, що бив вище високих тополь, які оточили навкруги берег нижнього озера з скелями, островом на озері, підземним тунелем, яким можна було в човні перекинутися з верхнього озера в нижнє, з альтанками в класичнім стилі, широкими алеями, з чималою кількістю порозставлених античних статуй, яким кавалери поодбивали носи та руки і т. д., і т. д. Чудовий парк! Не вийшов би з нього зроду! А вночі, коли його обілляє срібляним світлом місяць, коли затьохкають звідусіль соловейки, коли високо на скелі гурток учнів хором заспівають своїх українських пісень, – то... вже сама поезія... А днём я сидів у затишнім гроті і без кінця вів розмову з юнаками – учнями школи. Час був тихий, повітря в цьому ведмежому кутку спокійне, і ніхто не перебаранчав мені, за цілий місяць праці моєї там я не тільки не здибав жодної перешкоди, а навіть не бачив нікого з уряду. Учні пильно стежили і оберігали нашу конспірацію. Тільки на ночівку вертався я у хату до своєї московки»⁹⁶.

В Северную столицу Эрастов прибыл с рекомендательным письмом к Андрею Павловичу Нестерову, редактору газеты «Сибирь», и, как характеризует его Степан Иванович, «...до того ж великого патриота і діяча сибірського». Нестеров с места в карьер пригласил киевского гостя на сходку сибирской молодёжи, проживавшей в Петербурге, пояснив в качестве вводной установки, что сибиряки также являются федералистами, что им «ненавистен взгляд центральной власти на Сибирь как на какую-то клоаку, куда можно сбрасывать всяческие отходы из России; что необходимо всем угнетаемым центром краям и народам объединиться и восстать против общего врага». Помимо Нестерова в группу сибиряков, стоявших за федеральное устройство Сибири в составе Российской империи, входили Афанасий Прокофьевич Щапов, выпускник Казанского университета, сибирский историк и публицист; Фёдор Николаевич Усов, атаман Сибирского казачьего войска; Николай Михайлович Ядринцев, сибирский публицист, писатель, исследователь Сибири и Центральной Азии. Все они за свои убеждения были преследуемы центральной властью и жестоко наказаны.

К группе сибиряков-федералистов примыкал и народоволец-якут Константин Гаврилович Неустроев. На организованной им прощальной сходке по случаю завершения университетского курса и отбытия в Иркутск на работу учителем в женскую гимназию побывал Эрастов.

«Неустроєв висловився яко завзятий народоволець, терорист; в подорожжі додому, в Іркутськ, бачив він заслання і нещастя своє, мріяв, очевидячки, що повернеться назад, мав намір покласти голову у терористичнім вчинку і закликав товаришів до такої ж самої гострої, терористичної боротьби за волю з тиранами народу»⁹⁶.

Работая в Иркутске, Неустроев организовал в городе тайный народо-вольческий кружок, члены которого устраивали побегі политзаключённым,

снабжали беглецов одеждой, документами, обеспечивали их временным жильём. После года учительства Неустроев был арестован по обвинению в организации побега из иркутской тюрьмы народоволок Елизаветы Ковальской и Софьи Богомолец. В октябре 1883 года, во время инспектирования иркутской тюрьмы, генерал-губернатор Восточной Сибири Дмитрий Гаврилович Анучин совсем некорректно обошёлся с заключённым Неустроевым и получил от того пощёчину. За оскорбление действием должностного лица Неустроев был предан военно-полевому суду и по его приговору расстрелян в иркутской тюрьме; перед смертью он отказался исповедоваться священнику, объявив себя атеистом.

Став студентом Петербургского университета, Эрастов первым делом разыскал единомышленников среди студентов-украинцев, вместе с которыми провёл учредительное собрание украинофильского кружка. В развернувшихся прениях, помимо прочих, особо остро и неоднозначно решался вопрос о принципах единения участников новой нелегальной организации, о том, кого считать полноценными украинцами:

«Ми довго балакали і сперечалися, але погодитися на загальній риси, котра б з'єднала нас усіх до міцної купи, не знайшли шляху. Назва «революціонери» була провалена, бо під цей прапор не можна було поєднати усі прогресивні елементи молоді з України. Навіть слово „українці“ визвало суперечки, бо деякі указували, що на Україні живуть і німці, і кацати, і жиди, а проте пропонували назватися „южноруссами“»⁹⁶.

В национальном вопросе мнения соучредителей разделились. Одни упирали на то, что термин «южноруссы» является чисто географическим и относится ко всем гражданам Московской державы, правительство которой придумало это определение, чтобы не употреблять сепаратистского термина «Украина». Другие призывали не плестись в хвосте господствующей нации и не бояться самоопределения: *«Ми усі зродилися і вирости в краї, котрий мав свою історію, котрий прилучився до Московщини федеративно, сподіваючись о вільній спілці з слов'янським народом, а замість того був обдурений і пригноблений»*. Были и такие, которые противились утверждению чисто националистических принципов деятельности учреждаемого кружка: *«— Народ наш потребує хліба, потребує економічних реформ, а поезія українофільських ідеологів йому не цікава... — Сучасний напрям культури прямує до братства народів, до космополітизму, а ви пропонуєте національну окремість і ненависть...»* В итоге первое собрание украинских петербуржцев пришло ко всех устроившему заключению – набираться в столице ума-разума, а выучившись, нести знания в украинский народ: *«Позаяк ми родилися між українським народом, виховалися на його кошт, себто маємо перед народом нашим нравствений обов'язок повернути йому його видатки...»*

Нелегальной народнической деятельностью, укреплённой принципами украинофильства, Степану Ивановичу Эрастову привелось заниматься в Петербурге только полтора года. Всё это время жил он на Екатерининской площади, возле самой Публичной библиотеки, которую часто посещал как

для работы с учебной литературой, так и для назначаемых в книгохранилище конспиративных встреч. После одной из них он несколько дней прятал у себя нелегала-террориста, пока братья по борьбе не выправили гонимому революционеру заграничный паспорт. В 1882 году за обнаруженные при обыске в снимаемой квартире газеты «Народная воля» Эрастов был арестован и – после длительного пребывания в одиночной камере – судим. Назначена была ему ссылка на три года в Западную Сибирь, в район города Акмолинска. Отдельные эпизоды своей подневольной сибирской жизни Степан Иванович описал в своих воспоминаниях. В конце августа 1886 года Степан Иванович Эрастов, отбыв срок наказания, вернулся в Екатеринодар, на свою родную Кубань.

Часть вторая. Абрис истории кубанского казачества

Как известно, в конце восемнадцатого века, после многочисленных побед русского оружия над турками-османами и заключения в 1774 году Кючук-Кайнарджийского договора, Россия получила выход к Чёрному морю и в Крым, после чего, с точки зрения высших государственных интересов, дальнейшее сохранение запорожского казачества в его издревле установившейся военно-организационной структуре потеряло смысл. По этой причине, а также по причине неоднократных погромов запорожскими казаками сербских переселенцев царица Екатерина повелела князю Потёмкину упразднить Запорожскую Сечь, что и было тем исполнено (правда, без особого энтузиазма) руками генерала Петра Текели в июне 1775 года.

После разорения Сечи часть запорожцев сбежала в Турцию, часть из них осталась, разбрелась и расселилась среди украинского населения, часть – поступила на службу в так называемые пикинёрские полки, набиравшиеся из охотчих людей для охраны образовавшейся в 1764 году Новороссийской губернии. (Пикинёрами, или копейщиками, именовались пехотинцы, вооружённые преимущественно пяти-, шестиметровыми пиками, что давало им непробиваемость в обороне.)

Поспешность в искоренении запорожского воинства привела к тому, что южная граница государства Российского сделалась ещё более открытой и, следовательно, менее защищённой. Кроме того, так называемый греческий проект Григория Александровича Потёмкина, предусматривавший разгром Османской империи и овладение Россией проливами, для своего осуществления весьма нуждался в такой мобильной боевой силе, как казаки. По этой причине русское правительство приняло решение восстановить запорожское казачество, но без предоставления ему прежних политических прав⁹⁷.

Бежавшие в Турцию запорожцы (*«запорожцы за Дунаем»*) никак не отреагировали на царскую амнистию, но запорожцы, родные земли не покинувшие, охотно откликнулись на призыв своих бывших старшин Сидора Белого, Захария Чепеги, Антона Головатого, которым Светлейший поручил поставить под ружьё возрождаемое воинство. В 1787 году, во время пребывания Екатерины II в Крыму, ею был издан именной указ, провозглашавший возрождение запорожского казачества под именем *«верных»*, или *«черноморских»*, казаков,

тотчас же вступивших – отважно и успешно – в боевые действия во вновь вспыхнувшей Русско-турецкой войне.

После победы русского оружия власти несколько лет выбирали место для поселения возрождённых казаков, пока в 1792 году не остановились на причерноморской территории и Прикубанском крае (до слияния рек Кубани и Лабы). С запорожской точки зрения, местность эта была чрезвычайно удобна для укоренения – богатые рыбные угодья, соляные промыслы, лес и степные равнины. И хотя казакам в первые годы заселения пришлось весьма победствовать, но, благодаря своим традиционным принципам самоуправления, с трудностями они справились, сумев при этом отстоять казацкую автономию в отношениях с верховной властью в некоторых её существенных пунктах. Государство шло навстречу новопоселенцам, поощряя тем самым их к активной, надёжной защите южных рубежей расширившейся территориально державы от закубанских горцев. В 1794 году был выработан основополагающий для казаков документ, называвшийся «Порядок общей пользы», согласно которому войсковое правительство состояло из кошевого атамана, войсковых судей и писаря, которые выбирались на войсковой раде, но утверждались в Петербурге. Как и Запорожское, Кубанское войско делилось на сорок куреней, сохранив старые запорожские названия. Каждому куреню принадлежало широкое право самоуправления, все они имели свои центральные «пункты» в войсковом коше, располагавшемся в городе Екатеринодаре, служившие лишь *«ради собрания войска и прибежища бездомовым казакам»*.

В отличие от Запорожской Сечи, где *«бездомовые»* казаки имели преобладание над *«домовыми»*, в Кубанском войске было всё наоборот. Курень избирал ежегодно куренного атамана, которому вместе с товариществом принадлежала не только административная, но и, в известных пределах, судебная власть над подчинёнными ему казаками. С целью поддержания порядка и обеспечения безопасности кубанская территория – как и некогда запорожская – делилась на пять округов, или паланок, каждый из которых управлялся своим войсковым окружным начальством – полковником, писарем, есаулом и хорунжим, назначавшимися войсковым правительством.

В это время выходцами из Умани и Уманщины здесь было устроено куренное селение Уманское, названием напоминавшее также о прежде существовавшем курене уманчан в Запорожской Сечи. (Позже Уманский курень реорганизовался в станицу Уманскую, которая в 1934 году была переименована в Ленинградскую. Назначению нового названия предшествовало выселение жителей станицы в северные районы страны и Казахстана и заселение высвободившихся земель отставными военными Ленинградского и Белорусского военных округов.)

В продолжение преданий и духа старых общественных отношений почти до половины девятнадцатого века кубанское казачество жило и управлялось обычаем, по крайней мере внутри куренного товарищества. Но несменяемость войскового старшины скоро породила привилегированный слой в казацком обществе – своё дворянство. Однако появление нового сословия не привело к развитию на Кубани крепостного права, поэтому украинские *«кріпаки»* без-

боязненно бежали сюда и находили гостеприимный приют, несмотря на указы и другие запретительные распоряжения центральной власти. Край постоянно испытывал дефицит населения, начальное число которого при заселении Кубани было всего чуть более двадцати тысяч на пространстве в тридцать тысяч квадратных вёрст. Эти мизерные силы истощались – в постоянном вооружённом противостоянии с горцами, в походах по требованию правительства – до такой степени, что вся нелёгкая борьба с природой, хозяйственная деятельность, воспитание детей ложились на плечи женщин и стариков.

Центральное правительство, признавая всю тяжесть положения кубанцев и противодействуя бегству крестьян на Кубань, тем не менее покровительствовало расселению в крае правобережных и левобережных мигрантов. По инициативе русского правительства в 1808 и 1820 годах было произведено два крупных переселения из Полтавской и Черниговской губерний, давших Кубанскому войску около пятидесяти тысяч казаков с семьями (при этом для переселения предпочтение отдавалось тем семьям, где было более незамужних женщин – Черноморье страдало от переизбытка мужчин).

Первое серьёзное столкновение кубанцев с царской властью произошло летом 1797 года, в царствование императора Павла I (так называемый Персидский бунт), и было оно направлено против использования казачьего войска для строительных и других работ во время боевых действий в Баку, а также против злоупотребления казацких старшин. Мятежных кубанцев Павел лишил названия *«верных»*, а также уничтожил у них звания войсковых судей и писарей, а *«войсковое правительство»* преобразовал в *«войсковую канцелярию»*, к которой прикрепил контрольную *«особу от правительства»*; при этом кошевые атаманы перестали быть выборными, а прямо назначались Петербургом. Войско Кубанское Павел разделил на двадцать полков, и, хотя Александр I отменил некоторые из распоряжений своего отца, деление на полки осталось. И факт этот стал для Кубанского войска исторической метой – «до полков» и «после полков». Главнейшим же ограничением, установленным Александром I для кубанцев, стало их подчинение администрации Таврической губернии. При Николае I было разработано (в 1842 году) положение, сближавшее войсковое управление на Кубани с общегосударственным административным строем. Одним из пунктов его было преобразование куреня в станицу, *«отличавшуюся от общерусской волости лишь своим всесловным характером»*.

Более пятидесяти лет существовала и Сечь Задунайская, созданная не покорившимися воле императрицы запорожцами в турецких владениях. Приживались они на чужой земле долго и сложно, так как их соперниками за контролем богатой рыбой дельты Дуная, за местечко Дунавец, были русские раскольники-некрасовцы. Дело дошло до серьёзных столкновений между братьями-славянами, закончившихся в 1815 году победой запорожского оружия (с последующим переселением некрасовцев в глубь Турции). Численный состав задунайских запорожцев пополнялся беглецами с Украины, где работали «козацкие» эмиссары, подбиравшие и сманивавшие молодых людей, годных для казацкой жизни. И хотя Задунайская Сечь и воспроизводила внешним своим складом Сечь Запорожскую, всё же в ней был явно заметен упадок как

казацкой организации, так и военного духа – из беглого «*кріпака*» не вырабатывался хороший казак⁹⁸.

Последний фактор, кажется, и определил окончательную судьбу этого нестойкого товарищества. Беглых селян тянуло назад, на родину, и выразителем этих стремлений стал Осип Михайлович Гладкий. Явившись в Сечь как беглец, он представился холостым (хотя в действительности был женат, но тайно ушёл из семьи) и был допущен в казацкие ряды. Со временем, завоевав доверие турецкой власти, получил от неё звание кошевого атамана. Создав себе положение, он задумал вернуться в пределы России, и повод для этого дала Русско-турецкая война 1828 года, на которую казаки, как подданные султана, были призваны его указом (фирманом). Хитроумный атаман Гладкий, отправив на помощь туркам тех казаков, которые им сочувствовали, с отрядом верных ему пятисот казаков переправился через Дунай и объявился в лагере русских войск под Измаилом. (Результатом этой перебежки для оставшихся за Дунаем казаков была кровавая баня, устроенная башибузуками остаткам Задунайской Сечи, обитатели которой были вырезаны под корень.)

Выведенные Антоном Гладким казаки с присоединившимися к ним беглецами из уничтоженной Сечи организовали Дунайское казацье войско, принявшее деятельное участие в войне с турками. После окончания военных действий стараниями Гладкого дунайцы получили для поселения земли на западной стороне Азовского моря (между Мариуполем и Бердянском) и стали называться с той поры Азовским войском. После того как к ним присоединились переселенцы из Черниговской губернии, Азовское войско образовало четыре станицы и один посад Петровский, где было войсковое управление. Мысль о переселении к братьям на Кубань не оставляла их и была реализована в начале шестидесятых годов, когда азовцы были переселены за Кубань и обустроены между Анапой и Сухум-Кале. В итоге название «Азовское войско» в 1864 году было отменено, осталось название расширившегося численно и усилившегося в военном отношении «Кубанского войска».

Часть третья. Жизненные перипетии Степана Ивановича Эрастова

Из ссылки Степан Иванович Эрастов вернулся в конце лета 1886 года и поселился в Екатеринодаре, в котором прожил шесть долгих лет, практически не имея возможности развернуть широкую общественно-политическую деятельность – время было политически унылым по причине подавления государством основных народнических сил, а кубанское казачество верой и правдой продолжало служить царю. Однако в культурном отношении казачий край отнюдь не являл собою пустыню. Здесь в это время собирал фольклорно-этнографический материал для своих работ по истории украинской культуры Митрофан Алексеевич Дикарев, здесь жил и творчески работал писатель, будущий автор двухтомной «Истории Кубанского казачьего войска», Фёдор Андреевич Щербина.

Очаги революционного сопротивления ещё тлели в некоторых местах Российской империи, и в одно из таких мест – город Харьков – в 1892 году

отправился Эрастов и три месяца сотрудничал с местным народовольческим кружком. В марте 1893 года он перебрался в Ростов, а в конце 1894 года вернулся в Екатеринодар и надолго поселился в городе своего детства. Не найдя идеологической опоры в среде коренных жителей края, Эрастов все силы свои положил, чтобы помочь перебраться на Кубань революционно настроенным единомышленникам из Украины, и в деле этом преуспел.

«Брак інтелігенції з-поміж козаків був надзвичайний. Навіть поти, окрім тих, що були присвячені у козаків у самому початкові, коли бракувало, здебільшого виходили не з місцевих кіл, а були з кацапів, навіть крамарі були чужинці (торгівельне діло було в руках вірмен)»⁹⁶.

Свою неприязнь к русскому человеку (в том числе трудовому) автор воспоминаний подчёркивает рассыпанными по тексту определениями родственных ему братьев-славян как «*кацапов*» или «*москалей*», не беря во внимание тот факт, что русских людей, искренне проникнутых идеями украинофильства, ему на своём жизненном пути довелось встретить немало. Кроме того, второй женой Эрастова с 1901 года стала «*кацапка*» из дворян, выпускница Бестужевских курсов Елена Виноградова (к слову, соученица Надежды Константиновны Крупской), с которой он познакомился ещё в пору своей бурной петербургской жизни. Первой женой Степана Ивановича была состоятельная кубанская казачка Ольга Кулябко, которая – смею уверенно предположить – как истая украинка, славилась своей домовитостью и кулинарными способностями. Но – не хлебом единым жив человек! – в итоге украинский просветитель Степан Эрастов отдал предпочтение пище духовной, избрав в спутницы жизни высокообразованную русскую женщину.

Летом 1902 года на Кубань, спасаясь от ареста за революционную агитацию, переехали десять исключённых из Полтавской семинарии учеников, в числе которых был Симон Васильевич Петлюра. Здесь в это же время поселился Гавриил Васильевич Доброскок, уроженец Харьковской губернии, драматург и писатель. Вместе с новопоселенцами «из центра» Эрастов сформировал на Кубанской земле «Черноморскую громаду», активизировал распространение в крае украиноязычной литературы, регулярно устраивал любительские театральные представления. Наладив связи с землячеством украинцев в Петербурге, он при их содействии добился открытия в столице Общества по изданию общепользных и дешёвых книг для народа, Общества имени Тараса Шевченко – для материальной помощи обучающейся в Петербурге украинской молодёжи. В 1903 году Степан Иванович участвовал в Съезде деятелей украинской культуры в Полтаве по случаю открытия там памятника Ивану Котляревскому. В 1906 году по его инициативе в Екатеринодаре было открыто кубанское просветительское общество «Просвіта», председателем которого он был избран.

Свою разнообразную общественную деятельность Эрастов продолжил в Новороссийске, куда он перебрался в 1906 году. В частности, он был среди инициаторов развития в городе и пригороде кооперативных и сельских хозяйств, строительства второй железнодорожной колеи, Новороссийского цементного завода.

В части политической деятельности Эрастов сильно «отметился» в 1901 году, когда его усилиями в Екатеринодаре был открыт филиал Революционной украинской партии (РУП), основанной в феврале 1900 года на Третьем съезде украинских студенческих громад в Харькове. В истории становления и развития этой партии есть два основных периода: так называемый крестьянский (до 1903 года), связанный прежде всего с именем Дмитрия Владимировича Антоновича, сына выдающегося украинского историка, и последующий «рабочий» период, в течение которого (до 1905 года включительно) прошла урбанизация партии с последующим преобразованием её в Украинскую социал-демократическую партию сельского и городского пролетариата с лидерством в ней Николая Михайловича Порша.

После Февральской революции 1917 года Эрастов принимал участие в работе Всеукраинского национального конгресса в Киеве и, как его старейший участник, председательствовал на заседаниях; как представитель Кубани, он был включён конгрессом в состав Центральной рады. Известно, что в двадцатых годах он был в числе активных участников украинизации Кубани, проводившейся по инициативе советской власти. Умер Степан Иванович Эрастов 13 апреля 1933 года в Сухуми.

К описанию событий жизни своей он приступал несколько раз и только с шестой попытки составил на украинском языке текст своих воспоминаний, в неполном объёме дошедший до наших дней. Ценность этого литературного произведения, помимо прочих достоинств (и слабостей), в том, что автор изложил в нём не только автобиографические данные, но и уникальные исторические сведения о казацком быте в старинном Екатеринодаре, о борьбе кубанцев с коренными кавказскими племенами, о климатических особенностях местности и особенностях жизнеустройства колонизовавших край украинцев.

На настоящее время литературным памятником Краснодару, да и всему кубанскому казачеству, является роман нашего современника (1936 года рождения) замечательного русского писателя Виктора Ивановича Лихоносова «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж». Произведение это – о кубанском казачестве от начал Запорожья и до наших дней, основные события в нём разворачиваются в начале двадцатого века и пореволюционные годы, но, по сути, уходят в седую запорожскую старину. В основе романа – изустная правда, которую хранили казацьи роды и передавали своим потомкам.

«Ещё сорок – пятьдесят лет назад, когда закончилась Кавказская война, Екатеринодар мало чем отличался от станицы. На Красной торчал один-единственный керосиновый фонарь. Не для кого было светить по вечерам: богатых гуляк набиралось с десяток, казаки ложились спать в сумерки, закрывая ставни или гася свечки (до войны – чтоб не манило светлое окошко черкесскую пулю, после войны – от какого-нибудь разбойника Браницкого). <...>

Вот Крепостная площадь с гордой Екатериной II, вот триумфальные Царские ворота на подъёме от станции, обелиск славы казачества в тупике улицы Красной, и неприступный дворец казачьего атамана, и благородное собрание, куда на ситцевые балы

съезжается весь местный бошонд, и Чистяковская роща недалеко от Свинаячьего хутора, и городской сад с дубами «Двенадцать апостолов». И так же, как везде, как в самом Париже, простолюдинам устроены чревоугодные толчки – Старый, Новый и Сенной базары, и для кого попало ресторанчики, трактиры, «красные фонари» с намазанными желтобилетными дуняшками... Чем не Париж в миниатюре?!»⁹⁹

Лихоносов писал свою художественную эпопею, используя в её исторических фрагментах изустные воспоминания казаков-старожилов, которых ему посчастливилось разыскать и основательно расспросить. Но если эти живые свидетели кубанского прошлого о событиях середины и второй половины девятнадцатого столетия могли говорить со слов своих отцов и дедов, то Эрастов в своих воспоминаниях воспроизводит ту далёкую пору как непосредственный (пусть даже малолетний) очевидец. В этом вся прелесть, весь особый литературный аромат его мемуарных записок.

«Народився я в грудні 1856 року в Катеринодарі, який чорноморці називали просто: „город“, народився в нашій старенькій хатці з глиняною долівкою, біля Старого базару, від якого ми терпіли великі муки улітку через страшенний сморід та спеку, а зимою – через невилазне багно. Площа базару, як і усі вулиці, була не брукована. Сотні возів з волами, що з'їздилися з станиць, товсто угноювали базар, а під час дощів розмішували грязюку на аршин заглибшки. Утворювалося непролазне болото. Повітря було важке, нездорове. І малярія, яку на Чорноморії називали «корчієм», бо вона й справді корчила і аж підкидала хворих, не переводилася. Діти мерли як мухи від корчія та різачки... У моєї матері було 13 дітей, і з них ледве вижило четверо. <...>

Головне місто своє – Катеринодар чорноморці заснували в куті між річками Кубанню та Карасуном. Місцевість обрана була нездорова, низька. Притока Кубані Карасун, або в перекладі – «Чорна Вода», був майже озером з стоячою водою і увесь був заріс високим та густим комишем, а понад Кубанню на сотню верстов до самого Азовського моря протяглися вширки на 10 верстов плавні, що були батьківщиною малярійних комарів. <...> Та діди-запорожці при звичаїлися до плавнів і до комарів були байдужі. Їх цікавила риба, а риби в річках тоді було багацько.

Вулиць тоді не брукували. Чорноземний ґрунт був товстий та жирний, і коли «розверзалися хлябі небесні», а це було надто часто, грязюка в місті ставала невилазною. <...> Панії, аби дістатися до військового зібрання, себто клубу, на танці чи на інші застави, мусили їхати на волах і озуватися в чоботи, переозуваючись у черевички вже в клубі. Урядовці, щоб доплентатися до своїх інституцій, мусили перелазити через ряд дворів, гвалтуючи і одбиваючись від собак, аж поки добиралися до головної Красної вулиці, на якій були дерев'яні пішоходи. <...>

Ліхтарів на вулицях не було. Лише на Красній миготіло зрідка, та й то плошками з лою, миготіли, як маяки, аби не заблудитися.

І суспільство в темні осінні та зимні вечори вешталось з цїпком в одній руці і з ліхтариком у другій.

Зате родюча сила землі була така, що найжджі казали дивуючись: „Встромиш палицю в ґрунт, а вона й росте“»⁹⁶.

Юрий Петрович Новицкий и Сергей Парменович Афанасьев

В годы после первого в двадцатом веке насильственного слома государственного строя, когда рушились в том числе его православные устои, были в нашем отечестве люди высокой духовности и нравственности, которые в принципиальном столкновении с революционной властью не отреклись от веры предков и в трагические минуты выбора приняли во имя неё мученическую смерть. К числу таких людей относится коренной уманчанин Юрий Петрович Новицкий; в их трагическом ряду – Сергей Парменович Афанасьев – дедушка автора этих строк, родившегося и выросшего в Умани.

Часть первая. Жизненный и крестный путь Юрия Петровича Новицкого

Юрий Петрович Новицкий, родившийся 23 ноября 1882 года и павший от расстрельной пули 13 августа 1922 года, – высокообразованный, глубоко верующий человек, учёный-юрист и православный общественный деятель, в 1992 году Архиерейским собором Русской православной церкви был причислен к лику святых как новомученик для общецерковного почитания.

В Умани его отец, Пётр Георгиевич Новицкий, оказался после окончания Санкт-Петербургского императорского университета, получив направление служить судебным приставом при съезде мировых судей уезда. Эта юридическая институция появилась в судебном законодательстве в результате реформы, проведённой в 1864 году и установившей в Российской империи коронный и мировой суды.

Мировые суды создавались в уездах и предназначались для рассмотрения малозначительных уголовных и гражданских дел. В отношении последних мировые судьи рассматривали и разрешали иски, не превышавшие пяти сот рублей. Что касается размеров наказаний за уголовные преступления, налагавшихся мировыми судьями, то они ограничивались денежным штрафом не более трёхсот рублей, арестом до трёх месяцев и тюремным заключением до одного года. Каждый уезд с входившим в него городом составлял мировой округ, который в свою очередь делился на несколько участков (в Уманском уезде – четыре). Кроме участкового мирового судьи в нём действовали почётные судьи, обладавшие теми же правами, но исполнявшие судейские обязанности без вознаграждения.

Собрание как почётных, так и участковых мировых судей каждого мирового округа составляло высшую мировую апелляционную инстанцию, именовавшуюся съездом мировых судей. Его председатель избирался на три года мировыми судьями округа (также избиравшимися, в отличие от членов ок-

ружного суда, которые назначались императором по представлению министра юстиции). Судебные решения съезда мировых судей воплощали в жизнь особые судебные приставы, подчинявшиеся непосредственно председателю съезда.

По состоянию на 1889 год, как свидетельствуют «Памятные книжки Киевской губернии», председателем съезда мировых судей Уманского уезда был «старший по губернии уездный врач» Владимир Фёдорович Галенко, обязанности почётных мировых судей исполняли городской нотариус Пётр Австович Попов и директор Училища земледелия и садоводства Дмитрий Семёнович Леванда. И если с директором училища Петра Георгиевича Новицкого связывали прежде всего служебные отношения, то с другим петербуржцем, инспектором училища Павлом Григорьевичем Анциферовым, не могли не объединять как минимум добрые товарищеские отношения. Кроме того, 1889 год был памятен для обоих – в этом году у супругов Анциферовых родился сын Николай, а супруги Новицкие своего сына Юрия отправили в первый класс шестиклассной мужской прогимназии.

После года учёбы в Умани родители Юрия Новицкого, оценивая житейскую перспективу сына, решили переселить его в Киев, где он продолжил учёбу в знаменитой Первой гимназии. На новом месте гимназист Новицкий жил в семье родственника отца, известного учёного Ореста Марковича Новицкого, почившего в бозе в 1884 году в возрасте семидесяти восьми лет. При жизни Орест Маркович преподавал нравственную философию, психологию и логику в Киевском университете Святого Владимира (по совместительству – в Духовной академии), был умом ясен и глубок, имел собственные философские постулаты. После себя он оставил богатую духовной литературой домашнюю библиотеку, в которой, несомненно, рылся, набираясь высоких знаний – светских и духовных, – его даровитый и впечатлительный родственник из уездного города Умани.

Природная одарённость, гимназические знания плюс плоды самообразования определили высокий уровень интеллекта, с которым студент Новицкий начал слушать лекции на юридическом факультете Киевского университета. Одновременно, ещё не скинув короткую студенческую тужурку, он уже зарабатывал себе на жизнь – читал правоведение и работал классным наставником в частных гимназиях, в Реальном училище Святой Екатерины.

В 1908 году Юрий Петрович окончил университет с дипломом первой степени и был оставлен на кафедре уголовного права и уголовного судопроизводства «для приготовления к профессорскому званию». Учёные занятия он совмещал с добрыми делами, соответствующими его глубокой духовности, сердечности и профессиональным знаниям. В 1910 году Новицкий выступил одним из учредителей попечительского общества «Патронаж», контролировавшего до начала войны 1914 года условия содержания заключённых в киевских тюрьмах. По его инициативе в 1911 году в Киеве был создан «приют для детей ссыльнокаторжных, которые



остались сиротами», а в 1912 году – суд по делам малолетних, строивший своё правосудие с учётом юного возраста нарушителей закона, использовавший меры щадящего, воспитательного характера.

В 1911 году Юрия Петровича Новицкого власти привлекли в качестве эксперта по делу об убийстве в Киевском оперном театре Петра Аркадьевича Столыпина. По результатам своей работы он составил докладную записку, в которой подчеркнул неблагоприятную роль в гибели председателя правительства генерала Павла Григорьевича Курлова, который, как товарищ (заместитель) министра внутренних дел, отвечал за безопасность государя императора и сопровождавших его лиц во время их пребывания в Киеве. На этот документ спустя пять лет ссылался лидер партии кадетов Павел Николаевич Милоков на совещании членов Прогрессивного блока с министром внутренних дел Александром Дмитриевичем Протопоповым, имевшем место 19 октября 1916 года. Стенограмма этого заседания приведена в работе Александра Блока «Последние дни империи». В продолжение всей встречи с «прогрессистами» Протопопов отбивался от их яростных нападок – в пылу полемики те не раз перебивали министра колкими, принципиальной значимости упрёками и замечаниями.

«...Протопопов: Я пришёл сюда с целью побеседовать с Вами. А теперь выходит, что я присутствую здесь в качестве подсудимого. Притом, вы можете говорить всё, что вам угодно, тогда как мне П. Н. зажал рот своим заявлением, что то, что я скажу, появится завтра в печати. При этих условиях я не могу говорить многих интимных вещей, которые опровергли бы те слухи, которым вы напрасно поверили... Провокации у нас теперь нет. (Голоса: «А роль Курлова при Столыпине?») Курлова обвиняют напрасно. (Милоков: «А записка Новицкого?») Ну, вот, вы верите разным запискам. Столыпин убит не по его вине. Курлов до убийства его был уже назначен сенатором. Об этом у меня в столе есть бумаги. Столыпин говорил мне, что ездил со своим начальником охраны потому, что тогда чувствовал себя безопаснее».

Юрий Петрович Новицкий был в числе организаторов строительства в Киеве Педагогического музея, возведённого по проекту архитектора Михаила Федотовича Алёшина на деньги киевского купца первой гильдии, выдающегося мецената Семёна Семёновича Могилевцева. (Сын брянского торговца лесом, сплавлявшего свежеспиленный кругляк по Десне на переработку в Киев, он значительную часть унаследованного и наращённого им капитала направил на дела благотворительные в два родных ему города: в Брянске на его деньги были выстроены больницы, приюты, гимназии, женское училище, ремесленное училище; в Киеве он оставил память по себе участием в создании и развитии Политехнического института, женской торговой школы, своим особняком – знаменитым «Шоколадным домиком» на Липках.) Открытие Педагогического музея состоялось в 1913 году, в дни празднования трёхсотлетия дома Романовых.

Подготовку к магистерскому экзамену, занимавшую, по обыкновению, не менее четырёх лет, молодой юрист Новицкий сочетал с практической ра-

ботой судебного следователя одного из участков Киевской судебной палаты. В этот период он успел, в плане предэкзаменационной подготовки, съездить на стажировку в Германию, в старинном Гёттингенском университете, в его знаменитой библиотеке имени Георга Августа, перечитать и переосмыслить не один том трудов по проблемам преступления против личности, истории прокурорского надзора, ювенальной юстиции. Памятной метой пребывания Юрия Петровича в университетском городе осталась почтовая открытка, отправленная им матери, Пелагее Дмитриевне, 11 июля 1913 года (она хранится в архиве внука Новицкого, Юрия Ивановича Колосова):

«Любящий сын, почти совершенно здоровый, посылает своей матери вид своего обиталища в чужой земле. А живёт он на третьем этаже над вывеской, где три этажа и жалюзи. Под балконом лавровые деревья, на них птицы устроили гнёзда и вывели птенцов. За виллой других домов нет, а сад и гора покрыты лесом. Целую крепко. Юрий Новицкий».

По возвращении из Германии Новицкий сдал магистерский экзамен в альма-матер (его устную и письменную части), защитил диссертацию на собрании университетского факультета, прочитал публичную лекцию, после чего ему была присуждена учёная степень магистра и дана должность приват-доцента в Киевском университете. (К слову, в России звание «магистр» было введено указом Александра I от 24 января 1803 года «Об устройстве училищ». Тогда же было введено звание «доктор», а позднее – и «кандидат». Магистр занимал промежуточное положение между кандидатом, к коим относились лица, окончившие с отличием университет, и доктором. Магистерская степень давала право на чин титулярного советника, оценённого Табелью о рангах девятым классом. Дореволюционный магистр может быть приравнен к современному кандидату наук, а должность приват-доцента соответствует нынешней должности доцента.)

О своих научно-педагогических успехах (с добавкой бытовых деталей) почтительный сын Новицкий известил Пелагею Дмитриевну открыткой, датированной 29 октября 1913 года: *«Дорогая мама! Вчера выдержали экзамены. На этой неделе буду читать пробные лекции, чтобы получить доцентуру. Шляпы высылаются. Жену Алабовского зовут Клавдия Николаевна. Он тебе кланяется».*

Жила его мама в ту пору в городе Староконстантинове Волынской губернии, туда он и отправлял ей письма. Одно из них, от 16 ноября 1913 года, было написано в соавторстве с четырёхлетней дочкой Ксюшей-Оксаной:

*«Пелагее Дмитриевне Новицкой.
Пожарная ул. Женская гимназия.*

Дорогая мама! Как прошло твоё литературное утро? Оксана, получив твоё письмо, сама, борясь со своей утратой, смастерила тебе ответ. С твоими шляпами беда. Порф. Ив. никак не мог достать у Булгакова подходящий ящик, и решили мы переправить тебе шляпу через... Он согласен и повезёт. Не особенно ругайся. Целуем тебя. Все любим».

В особой почтительности, которой наполнены письма сына матери, крепко и уверенно державшей в своих руках бразды семейного правления, угадывается его – уже женатого человека – покорность материнской воле. Особо гордилась Пелагея Дмитриевна своим фамильным столбовым дворянством и по этому поводу с нескрываемым превосходством выстраивала отношения с менее родовитыми людьми, например, с невесткой Анной Гаврииловной Суслоевой, дочерью крупного специалиста по теоретической механике – профессора Киевского университета Гавриила Константиновича Сулова. Трудно было ей, свекрови, смириться с мыслью, что недавними предками избранницы её единственного сына были крепостные крестьяне. Хотя невестка на первых порах пыталась быть заботливой и предупредительной со свекровью, по крайней мере в письменных отправлениях:



*«Киев. 23 ноября 1913 года.
Староконстантинов Вольнской губ.
Её высокородию Пелагее Дмитриевне Новицкой.
Пожарная улица.*

*Поздравляем Вас с успехом, дорогая Пелагея Дмитриевна.
Ваше письмо очень нас обрадовало. Ждём Вас на праздники и целуем
крепко все трое – Ксюша, Юра, Нюта».*

Пока свекровь и невестка находились вдалеке друг от друга, общаясь только эпистолярно, семейная жизнь молодых Новицких была уютной и взаимно счастливой, но она надломилась, когда они переехали – в 1914 году – в Петербург, куда вскоре переселилась и Пелагея Дмитриевна. Приехали вслед за дочерью и супруги Суловы. Судя по всему, Гавриил Константинович, как заметная в учёном мире личность, выхлопотал зятю перевод в Петербургский университет. Непосредственно ходатайствовал за Юрия Петровича Новицкого профессор кафедры истории русского права Вячеслав Михайлович Грибовский, отметивший в своём прошении на имя ректора Эрвина Давидовича Гримма, что *«необходимость приглашения... вызывается той существенной помощью, которую он <Ю. Новицкий> может оказать как в деле устройства ныне организуемого кабинета государственных наук, так и в ведении практических занятий по истории русского права».*

После года совместной жизни отношения супругов Новицких завершились, в 1915 году, самым неожиданным образом: Анна Гаврииловна на санитарном поезде, полностью укомплектованном её отцом, отправилась сестрой милосердия на фронт. Встречалась ли она с мужем после разрыва отношений – неизвестно. Известно лишь, что в 1921 году она жила в Одессе, куда к ней приехали родители, дабы всем вместе отправиться морем в эмиграцию, но не отправились – Анна Гаврииловна в тот год умерла от возвратного тифа. Известно также, что Гавриил Константинович остался в Одессе, стал со временем ректором местного Политехнического института. Ещё известно (со слов Юрия Ивановича Колосова), что каждое лето он приезжал в Петербург на

встречу со студентами Политехнического (а с 1930 года – студентами Кораблестроительного) института на традиционный курс лекций по теоретической механике, который профессор Суслов читал им и в Гатчине, и в Пушкине. После одной из таких встреч студенты-кораблестроители подарили ему макет парусника.

О кончине профессора Суслова сообщила газета «Черноморский курьер» в выпуске от 20 ноября 1935 года:

«19 ноября около 11 час. утра, на 79 году жизни умер бывший ректор и организатор Одесского политехнического института, заслуженный профессор Гавриил Константинович Сулов».

Два года читал Юрий Петрович курс «История прокурорского надзора в России» в Петербургском (а с 18 августа 1914 года – Петроградском) университете, где вскоре получил звание профессора. Его практические занятия (как и предвидел профессор Грибовский) пользовались большой популярностью у университетских студентов. Преподавал он также в Духовной академии и в Политехническом институте. У него сложились тёплые отношения с энциклопедистом-востоковедом Сергеем Фёдоровичем Ольденбургом, профессором Михаилом Дмитриевичем Присёлковым, с автором первого научного перевода Корана на русский язык Игнатием Юлиановичем Крачковским, профессором Львом Платоновичем Карсавиным. (И думается, что не раз встречался он в коридорах здания Двенадцати коллегий с коллегой Карсавина, своим – на семь лет моложе – земляком, Николаем Павловичем Анциферовым. Оба они родились в Умани, оба провели школьные годы в Киеве, оба преподавали и занимались научной работой в столичном университете, одного и другого судьба не обошла своими разновеликими трагическими ударами.)

В 1916 году Юрия Петровича Новицкого, как одного из лучших знатоков цензуры, пригласили в министерство внутренних дел на должность чиновника при Главном управлении по делам печати. После Февральской революции 1917 года он в составе специально созданной комиссии занимался ликвидацией этого управления, а закончив работу, вышел на набережную и выбросил ключи от сейфов в Неву.

В мае 1917 года в Русской православной церкви была введена выборность епархиальных структур церковного управления, и летом того же года в ряде епархий прошли выборы правящих архиереев. Так, правящим архиереем Москвы был избран архиепископ Тихон, в Петрограде митрополитом Петроградским и Гдовским был назначен архиерей Вениамин. 15 августа 1917 года в кремлёвском Успенском соборе открылся Всероссийский поместный собор. Более половины участников собора были миряне, хотя и без права голоса при принятии решений. На соборе разгорелась острая дискуссия о потребном высшем церковном управлении. Далеко не все участники высказались за реставрацию патриаршества, против выступала значительная часть профессоров-богословов из мирян.

После прихода к власти большевиков прения участников собора по гамлетовскому вопросу «Быть или не быть патриаршеству?» спешно завершились, и 28 октября (10 ноября) было принято решение о восстановлении

православной институции. Патриархом был избран Тихон; его интронизация состоялась 21 ноября (4 декабря) в кремлёвском Успенском соборе. (Поместный собор продолжал свою работу ещё тринадцать месяцев – до 20 сентября 1918 года.)

Самодержавие, как самый эксплуататорский строй, было свергнуто. С первых дней Октябрьской революции стал завязываться трагический конфликт Церкви с новой властью. Антиклерикальная политика Совета народных комиссаров основывалась на двух предпосылках: на мировоззренческой (определявшейся несовместимостью марксизма с религиозной верой) и на отношении к Церкви как к союзнице царизма. По этой причине религиозные организации начали усиленно вытесняться из социально-политической, экономической и культурной жизни страны. Так, Декрет о земле II Всероссийского съезда Советов и основанное на нём Положение о земельных комитетах от 4 декабря 1917 года касались наделов храмов и монастырей, национализация же частных банков привела к утрате духовенством вкладов, хранившихся в них. В это же время были приняты декреты о передаче всего дела образования, включая богословские учебные заведения, в ведение Наркомпроса, а актов рождения, брака и смерти – в исключительное ведение государственных организаций.

19 января 1918 года произошли трагические события в Александро-Невской лавре, поводом для которых послужило решение революционной власти прибрать к рукам эту старинную церковную обитель. Ворвавшиеся в лавру вооружённые матросы встретили сопротивление её служителей и мирян, в ходе которого был смертельно ранен настоятель церкви. В этот день патриарх Тихон издал своё знаменитое воззвание, которое, в частности, гласило:

«Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей земной.

Властью, данную Нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите ещё имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной.

Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение. „Измите злого от вас самех“ (1 Кор. 5, 13)»¹⁰⁰.

На следующий день, 20 января 1918 года, был принят Декрет об отделении церкви от государства, который ознаменовал не только разрыв многовекового союза Церкви и Российского государства, но и явился юридическим основанием для скоро последовавших гонений на Церковь. Не избежала этой участи и университетская церковь. Хотя её староста, известный египтолог Борис Александрович Тураев, получил в июне 1919 года от наркома просвещения Луначарского охранную грамоту, через два месяца церковь была закрыта. Правда, её настоятелю Николаю Чукову удалось добиться статуса домово́й церкви и перевода её, именовавшейся Всесвятской, в квартиру историка ли-

тературы Всеволода Измайловича Срезневского. В числе её прихожан был Юрий Петрович Новицкий. Позже Николай Чуков вспоминал:

«Во вторник, 21 февраля 1922 года, служил с митрополитом в университетской церкви; потом пили чай в квартире проф. Л. П. Карсавина. Собралось много профессоров. Гревс сказал серьёзную речь о единении цвета науки с церковью... Если так пойдёт, то торжество возрождения и единения – не за горами».

К советской власти Юрий Петрович относился вполне лояльно, сотрудничал с ней. Он был одним из организаторов Костромского рабоче-крестьянского университета, где регулярно читал лекции по новому предмету – «советское законодательство». Будучи с детства глубоко религиозным человеком, Юрий Петрович много раздумывал о роли православия в развитии духовной культуры и национального сознания народа, о русской национальной традиции; позднее он был дружен со многими священниками столицы. Когда Декрет об отделении церкви от государства дал возможность мирянам приобщиться к церковной деятельности, Юрий Петрович, с начала 1920 года, принял активное участие в создании Общества православных приходов в Петрограде и губернии, председателем правления которого он был избран.

После событий в Александро-Невской лавре, 28 января 1918 года, в Москве состоялся крестный ход, на который святейший патриарх Тихон благословил свою паству и произнёс молитву о спасении Церкви Христовой. В эти дни шестьдесят тысяч питерских прихожан вступили в союзы защиты православных храмов. А уже в сентябре 1919 года на стол народного комиссара по просвещению легло ходатайство с просьбой разрешить открытие в Петрограде Богословского института. Под ходатайством стояла подпись и профессора Петроградского университета Юрия Петровича Новицкого.

В день открытия Богословского института, 16 апреля 1920 года, вышел Декрет о реквизициях и конфискациях, который предусматривал в случае общественной необходимости изымать у граждан их имущество. На него ответил патриарх Тихон, указавший в своём обращении, что беззаконие возведено в ранг закона. 30 июля 1922 года вышло постановление Совнаркома «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе», и уже через две недели ликвидационная комиссия вскрыла в Серафимо-Дивеевском монастыре раку с мощами преподобного Серафима Саровского. Работа Петроградского богословского института в такое время была подвигом. Его духовным центром стало братство Святой Софии, в работе которого принимали активное участие Николай Онуфриевич Лосский, Лев Платонович Карсавин; движущей же силой братства являлся профессор Новицкий.

Небывалая разруха и голод, охватившие страну в 1921 году (после двух предшествовавших неурожайных годов), послужили новым поводом для гонений на Церковь, которые теперь проводились под лозунгом *«похода пролетариата на церковные ценности»*. Всероссийский центральный исполнительный комитет 23 февраля 1922 года опубликовал декрет, в котором постановлял местным Советам *«изъять из церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих всех религий, по отписям и договорам все драгоценные*

предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать в органы Народно-го Комиссариата Финансов для помощи голодающим». Декрет предписывал «пересмотр договоров и фактическое изъятие по описям драгоценных вещей производить с обязательным участием представителей групп верующих, в пользование коих указанное имущество было передано».

В связи с помянутым декретом об изъятии ценностей патриарх Тихон обратился к верующим с воззванием от 15 (28) февраля 1922 года:

«...Мы нашли возможным разрешить церковно-приходским Советам и общинам жертвовать на нужды голодающим драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления, о чём и оповестили Православное население 6 (19) февраля с. г. особым воззванием, которое было разрешено Правительством к напечатанию и распространению среди населения.



Но вслед за этим, после резких выпадов в правительственных газетах по отношению к духовным руководителям Церкви, 10 (23) февраля, ВЦИК, для оказания помощи голодающим, постановил изъять из храмов все драгоценные церковные вещи, в том числе и драгоценные сосуды и прочие богослужебные церковные предметы. С точки зрения Церкви подобный акт является актом святотатства, и Мы священным Нашим долгом почли выяснить взгляд Церкви на этот акт, а также оповестить о сем верных духовных чад Наших. Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких обстоятельств, возможность пожертвования церковных предметов, не освящённых и не имеющих богослужебного употребления. Мы призываем верующих чад Церкви и ныне к таковым жертвованиям, лишь одного желая, чтобы эти жертвования были откликом любящего сердца на нужды ближнего, лишь бы они действительно оказывали реальную помощь страждущим братьям нашим. Но Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство – миряне отлучением от Неё, священнослужители – извержением из сана (73-е правило Апостольское, 10-е правило Двукратного Вселенского Собора)»¹⁰¹.

В марте 1922 года в ряде мест произошли эксцессы, связанные с изъятием церковных ценностей, из которых особенно резонансными были события в Шуе. В результате на заседании Политбюро 22 марта 1922 года, по предложению Ленина, был принят план Троцкого по разгрому церковной организации. Он состоял в следующем: арестовать Синод и патриарха («примерно через 10–15 дней»), печать должна была «взять бешеный тон», надлежало «приступить к изъятию во всей стране, совершенно не занимаясь церквями,

не имеющими сколь-нибудь значительных ценностей». В соответствии с этим планом уже в конце марта начались допросы патриарха Тихона. После первого вызова в ГПУ, на Лубянку, ему дали под расписку прочесть официальное уведомление о том, что правительство *«требует от гражданина Белавина как от ответственного руководителя всей иерархии определённого и публичного определения своего отношения к контрреволюционному заговору, во главе коего стоит подчинённая ему иерархия»*.

Петроградский митрополит Вениамин ни минуты не колебался в благоразумном разрешении вопроса церковной помощи жаждущим и страждущим, он ещё раз благословил передачу церковных ценностей, не имевших богослужебного употребления, на нужды бедствующих, рассматривая это решение как исполнение своего пастырского долга. Как председатель Общества православных приходов и профессиональный юрист, Юрий Петрович Новицкий помогал владыке в его контактах с советской властью. Достигнутое сторонами *«Соглашение об изъятии ценностей из церквей»* устанавливало известный контроль со стороны верующих над санкционированным святотатством, которое в Кремле рассматривалось только как временное перемирие с Православной церковью, за которым власть запланировала решительный и беспощадный удар по церковным святыням.

Как много лет спустя после этих трагических событий вспоминала дочь Юрия Петровича, весной 1922 года его навещил коллега по университету и сподвижник по Богословскому институту Лев Платонович Карсавин, предложивший ему (уже не в первый раз) вместе с ним и другими профессорами университета уехать за границу (тем более что такая отправка морем готовилась властями). И в очередной раз профессор Новицкий отказался, ответил Карсавину: *«Здесь моя Родина, я остаюсь»*.

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну чёрный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

(*Анна Ахматова*)

Последовавшие события показали, что власти к голосу владыки Вениамина не сочли нужным прислушаться. Они объявили, что ценности будут изъяты в формальном порядке как *«принадлежащее государству имущество»*. Их изъятие сопровождалось волнениями народа, но серьёзных беспорядков, острых столкновений и арестов пока ещё не было. Чувствовалось приближе-

ние расправы, которую ускорило опубликованное 24 марта 1922 года в газете «Петроградская правда», очень резкое, так называемое письмо двенадцати, в котором петроградское духовенство обвинялось в контрреволюционных настроениях и желании оттянуть сдачу ценностей. Среди авторов письма находились известные активным сотрудничеством с властью священники Владимир Дмитриевич Красницкий и Александр Иванович Введенский, стремившиеся взять в руки управление Православной церковью с переустройством её на сотрудничество с новой властью.

В ночь с 28 на 29 апреля 1922 года почти всё правление Общества православных приходов, в том числе профессор Новицкий, было арестовано по обвинению «*в сопротивлении изъятию церковных ценностей*». Как это ни покажется странным, но Юрий Петрович мог избежать ареста в тот день. Ордер на его арест был выписан по адресу, где он уже не жил: проспект Володарского (так некоторое время именовался Литейный проспект), дом тридцать шесть, квартира один. К этому времени он вместе с дочерью жил на Сергиевской улице у Ксении Леонидовны Брянчаниновой, с которой в ближайшее время намеревался обвенчаться. Чекистов по первому адресу встретила жившая там Пелагея Дмитриевна и, по непонятной причине, указала им место проживания сына¹⁰².

Не сделай она этого, предупреди сына об аресте – смог бы он срочно уехать из Петрограда, переждать вдалеке опасность. Так, по крайней мере, поступил его коллега по университету – социолог Питирим Александрович Сорокин, срочно убывший в Москву, как только узнал о грядущем приходе за ним петроградских чекистов; когда же угроза миновала, он вернулся домой.

Заседания Петроградского губернского революционного трибунала по военному отделению проходили в здании бывшего Дворянского собрания (ныне Большой зал филармонии) с 10 июня по 5 июля 1922 года. Подсудимые обвинялись в организации преступной контрреволюционной группы, противодействовавшей исполнению Декрета советской власти об изъятии церковных ценностей, что якобы привело к массовым беспорядкам в Петрограде и губернии. Истинная же причина организованной большевиками расправы заключалась в огромном авторитете среди народа митрополита Вениамина, в его независимой политике, в том числе отказе отменить «*„белогвардейский акт отлучения“ от Церкви революционного священника Введенского*».

Главные обвиняемые держались спокойно, с большим достоинством; знали они, что результат судебного разбирательства уже предрешён. Приговор трибунала его председатель огласил 5 июля 1922 года: десять человек приговаривались к расстрелу, остальные – к тюремному заключению на разные сроки и к принудительным работам. Несколько позже шести осуждённым расстрел был заменён долгосрочным тюремным заключением.

Услышав приговор, митрополит Вениамин произнёс: «*Слава тебе, Боже, за всё!*» Профессор Новицкий заявил, что в приписываемых ему преступлениях он совершенно не виновен, «*но, – добавил он, – если кому нужна в этом деле жертва, я готов без ропота встретить смерть, прошу лишь о том, чтоб этим ограничились и пощадил остальных привлечённых*». Показательно, что Юрий Петрович пытался переложить на себя часть вины,

инкриминируемой его другу, настоятелю Казанского собора протоиерею Николаю Чукову, человеку многодетному.



Митрополит
Вениамин
(Казанский)



Юрий Петрович
Новицкий



Иван Михайлович
Ковшаров



Архимандрит
Сергий (Шейн)

В ночь на 13 августа 1922 года четверо новомучеников – митрополит Вениамин (Казанский), архимандрит Сергий (Шейн), Юрий Петрович Новицкий и Иван Михайлович Ковшаров – были расстреляны, вероятно, на Ржевском полигоне, неподалёку от станции Пороховые, что по Ирининской железной дороге. Место захоронения их мощей и поныне неизвестно¹⁰³.

Ни креста, ни могилы,
Только наспех зарыт,
Только звёзды застыли,
Только вечность летит.

Только эхо уходит
В золотые слова,
И на красном восходе
Что-то шепчет трава.

И деревья, как люди.
Печально не спят:
...Память вечною будет
И за то, что распят!

И за то, что с усмешкой
Принял муки и смерть,
И за то, что не в спешке
Мог неммыслимо сметь!

Ни креста, ни могилы,
Лишь трава-мурава,
Но полны страшной силы
Золотые слова!

(Николай Гумилёв)

Часть вторая. Мой невинно убиенный дедушка

После процесса 1922 года и казни четырёх новомучеников Русской православной церкви репрессивная политика Советского государства в отношении православных священнослужителей продолжилась, год от года усиливаясь. Так, созданный в 1924 году Союз воинственных безбожников на своём втором съезде, состоявшемся в 1929 году, принял решение следующую пятилетку провести как «безбожную» по следующему расписанию: в первый год закрыть все духовные школы, во второй – провести массовое закрытие храмов, в третий – вывезти всех служителей культа за границу, в четвёртый – закрыть оставшиеся храмы всех религий, в пятый – закрепить достигнутые успехи. Авторы этой бесноватой программы полагали, что к 1 мая 1937 года «*имя бога должно быть забыто на всей территории СССР*».

ОГПУ поддерживало подобные экстремистские настроения и в своих инструкциях нижестоящим структурам указывало на необходимость активизации работы «*на религиозном фронте*». В результате органы советской власти на местах прибегали к незаконным административным мерам воздействия на верующих: закрывали церкви, изымали культовое и иное имущество, арестовывали служителей культа, снимали колокола с церквей, изымали у верующих иконы... Священнослужители, небезразличные верующие люди (преимущественно из крестьян) сопротивлялись гонениям властей на церковь, писали по этому поводу протестные письма высшим партийным руководителям страны. В этом смысле показательно письмо некоего Филиппа Кунашко (плохо кончившего – на Соловках) к «*всесоюзному старосте*» Михаилу Ивановичу Калининну:

«Михаил Иванович! Неужели Вы не видите, что дальше в таком положении жить нельзя. Вы всеми способами издевались, глумились, терзали, пытали, морили голодом русский народ. И если бы народ предвидел, что Вы ему преподнесёте такую «свободу» – рабство, он бы за Вами не пошёл...

Вы проповедуете атеизм, но посмотрите на себя – атеисты ли Вы? Истинный атеист безразличен к религии. А Вы, отвергая бога, боретесь до упаду с ним. Преследуете за веру в бога, издеваетесь.

В Конституции Вы обещаете свободу вероисповедания, а на деле караете за это как за преступление, даже хуже. Ведь если партиец обворует казну, пьянствует, бесчинствует, его, в крайнем случае, «за удалство» переведут на повышение (это наказание), а за то, что человек ходит в храм, только за это, его лишают избирательных прав и высылают на Соловки, а родных клеймят позором. Значит, по-вашему, честнее быть вором и убийцей, чем веровать в истину»¹⁰⁴.

К весне 1930 года ситуация в «религиозном вопросе» стала критической; уже нельзя было не замечать, что коллективизация повсеместно увязывалась с репрессиями против служителей культа, с неправомерным закрытием церквей и молитвенных домов. На духовенство и наиболее активных верующих об-

рушились судебные и внесудебные расправы, что вызвало в ряде районов недовольство и возмущение как верующих, так и многих неверующих. Нередко недовольства эти выливались в массовые выступления, в которых принимали участие середняки, бедняки, женщины, демобилизованные красноармейцы и даже представители сельских властей.

Летом 1932 года по западным районам Центрально-Чернозёмной области прокатилась волна массовых выступлений, проходивших в отдельных сёлах под лозунгами «Отдайте землю, волю и крестьянскую власть!», «Советская власть нас ограбила, нам нужна власть без колхозов!», «Долой советскую власть – власть бандитов, давайте царя!». Антиколхозное движение сопровождалось разгромом помещений сельсоветов и правлений колхозов, расхищением общественного имущества протестующими, выкашиванием созревшего озимого хлеба, избиением и даже убийством партийно-хозяйственных активистов. По данным ОГПУ, в народных волнениях участвовало около шестидесяти трёх тысяч человек.

По прошедшим протестным выступлениям было назначено следственное разбирательство, которое пришло к выводу, что *«контрреволюционные массовые выступления – результат подготовительной деятельности контрреволюционной церковно-монархической организации „Ревнителю церкви“, возглавляемой архиепископом Дамианом».*

В ходе следствия, по которому проходило четыреста тринадцать человек, выяснилось, что группы «Ревнителю церкви» в начальную пору своей деятельности складывались как образования чисто религиозного характера, лозунгами которых были борьба с безбожием и объединение вокруг Православной церкви верующих. Арестованный владыка Дамиан на одном из первых допросов указанные цели «Ревнителю церкви» подтвердил. Они были интерпретированы сотрудниками ОГПУ как антисоветские, создавшие благоприятную почву для объединения вокруг Церкви всех контрреволюционных элементов, в той или иной мере затронутых Октябрьской революцией, а также *«затронутых процессом социалистического строительства кулацкого контрреволюционного элемента».*

В последней помете есть горькая правда. Так, арестованная Анастасия Апухтина рассказала: *«Действительно была в прошлом году раскулачена. Дом, амбар, сарай, клуня, ветряная мельница, две лошади, две коровы были переданы в колхоз. Меня, как кулачку, в колхоз не приняли. Мне после этого любить советскую власть не за что. Я стала искать облегчения в молитвах. Старалась около церкви найти помощь и сочувствие».*

Ещё более конкретно по этому поводу высказался архиепископ Дамиан:

«С того момента, когда в деревне стало проводиться раскулачивание и в городе усилился нажим на состоятельные слои (купцов и тому подобное), многие кулаки, а также притеснённые Советской властью стали ближе к церкви и многие сделали истинными „Ревнителями церкви“. Очень хорошо этот процесс сосредоточения вокруг церкви притеснённых властью лиц выразила в разговоре со мной одна женщина. Она сказала: „Нет тревоги, нет и Бога. Как тревога – так и за Бога“»¹⁰⁴.

Оказание священнослужителями всех рангов моральной поддержки (а иногда и материальной помощи) прихожанам следователями трактовалось как «концентрация вокруг церкви враждебных Советской власти людей с далеко идущими целями». Следует также отметить, что сам архиепископ, отмечая «тяжесть и трудность наступивших времён», говорил пастве: «Советская власть – это власть не от Бога, а послана Богом за грехи людей. Ей надо подчиниться, а в уме держать „своё“, то есть молиться и надеяться, что всё, прежде всего отношение государства к церкви, изменится».

Всё обвинительное заключение по деятельности «Ревнителей церкви» было сведено к трём главным пунктам:

«1. Вербовка в свой состав кулацкого и монашеского элемента, бывших людей. С этой целью были созданы и использованы подпольные монастыри, производившие пострижение в монахи, нелегальные церкви и пещеры...

2. Агитация против Советской власти с использованием религиозных предрассудков масс.

3. Агитация против колхозного строительства и организация в ряде районов ЦЧО выхода из колхозов, сопровождавшиеся массовыми выступлениями и расхищениями общественного имущества»¹⁰⁴.

Прокурор по Центрально-Чернозёмной области согласился с квалификацией обвинения по статье 58-10 Уголовного кодекса РСФСР («пропаганда или агитация, содержащие призывы к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти, или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление, или хранение литературы того же содержания») и принял решение направить материалы на сто двадцать восемь человек в коллегию ОГПУ для рассмотрения во внесудебном порядке с предложением применить к активным участникам организации «высшую меру социальной защиты». Остальные подсудимые избежали (до поры до времени) смертного приговора – были сосланы.

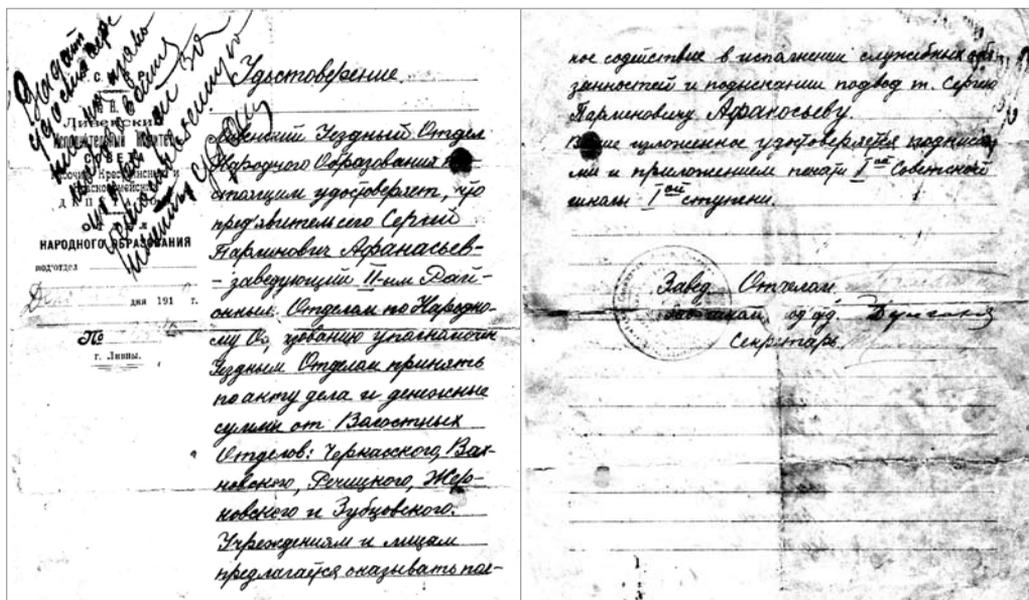
В числе сосланных был и мой дедушка, Сергей Парменович Афанасьев, 1882 года рождения, ровесник Юрия Петровича Новицкого. По окончании, в 1906 году, Орловской духовной семинарии он работал учителем в двухклассной церковно-приходской школе села Здоровец (неподалёку от его родного села Зубцово). Факт этот подтверждает «Памятная книжка Орловской губернии» за 1910 год:

с. Здоровець.

Завѣд. и законоуч.—свящ. Алекс. Степ. Воскресенскій, учителя—
н. ч.: Пав. Фѣд. Сугакевичъ, Сер. Парм. Афанасьевъ, Пав. Фѣд. Аз-
букинъ и Ил. Пет. Рудневъ—всѣ жив. при училищѣ.

После революции 1917 года Сергей Парменович получил служебное повышение – стал заведующим Вторым районным отделом народного образования Ливенского уезда. В 1922 году он был уволен по сокращению штатов,

после чего женился на Анне Михайловне Чубаровой, 1887 года рождения, и, приняв священнический сан, стал служить в Свято-Сергиевском кафедральном соборе города Ливны Орловской губернии. На время венчания было дедушке моему сорок лет, бабушке – тридцать пять. По глухим полунамекам мамы, бракосочетанию её родителей предшествовали несчастливые обстоятельства в их личной жизни: не сложились отношения с «первой любовью» у дедушки, бабушкин жених погиб в Первую мировую войну. В 1923 году у супругов Афанасьевых родилась дочь Нина, моя мама.



По делу «Ревнителее церкви» Сергей Парменович был арестован в 1932 году. В ходе последовавших допросов следователи предлагали ему написать заявление об отречении от сана священника с гарантией последующего освобождения. Дедушка не отрёкся и был осуждён на пятилетнюю ссылку (кажется, на Соловки).

В 1937 году он вернулся из заключения, но спустя две недели после домашней жизни был повторно арестован и вместе с другими священнослужителями Ливен приговорён во внесудебном порядке к расстрелу. Убили моего дедушку, вместе с другими осуждёнными – священнослужителями и мирянами, – в ливенском пригородном урочище Липовчик в ноябре 1937 года, и факт его уничтожения отражён в соответствующем формуляре НКВД:

«Год рождения 1882
 Место рождения Орловская губ., Ливенский у., д. Зубцово
 священник
 Из крестьян

ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ [по 1932 г.] [1937 г.]

Образование

Орловская Духовная Семинария

После окончания семинарии работал учителем

Служение

Орловская о. (Центрально-Чернозёмная о.), г. Ливны

Священник

Год окончания 1932

Месяц окончания 7

Аресты

Орловская о. (Центрально-Чернозёмная о.), г. Ливны

Год ареста 1932

Месяц ареста 7

Осуждения

Особое Совещание при Коллегии ОГПУ СССР

././1932

Обвинение «являлся активным участником церковно-монархической к-р организации „Ревнителй церкви“»

Статья ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР

Групповое дело «дело „Ревнителй церкви“. 1932 г.»

Виновным себя не признал.

Приговор неизвестен

Места заключения

Центрально-Чернозёмная о., г. Орёл,

Орловская штрафная колония

Год начала 1932

День начала 9

Месяц начала 7

Содержался в штрафной колонии во время предварительного заключения

Аресты

Орловская о., г. Ливны

Год ареста 1937

Осуждения

././1937

Приговор высшая мера наказания – расстрел.

Кончина

1937

расстрел

Публикации

Реквием: Книга памяти жертв политических репрессий на Орловщине. Т. 1. Орёл, 1994. С. 125.

Документы

Архив УФСБ по Курской обл. Д. П-11015»¹⁰⁴.

Репрессии по делу «Ревнителй церкви» коснулись более четырёх сотен ливенцев. Из священнослужителей тридцать восемь были расстреляны, другие нашли свою смерть в спецлагерях.

После ареста и гибели отца у мамы, тогда четырнадцатилетней, начались проблемы с сердцем. Одышка была столь сильной, что, по её словам, она не могла без посторонней помощи подняться по лестнице. Вылечил её муж родственницы, врач по профессии. Вместе с бабушкой мама перешла в категорию «члена семьи врага народа» (ЧСВН). Их выселили из дома, в котором они жили, пришлось снять небольшую комнатёнку в деревянном доме. Бабушка, прежде не работавшая, не могла устроиться на работу как ЧСВН. На хлеб она зарабатывала шитьём на швейной машинке «Зингер». После седьмого класса мама поступила в педагогический техникум, по его окончании стала работать учителем начальных классов в школе села Козьминки. В начале войны она была мобилизована на трудовой фронт (трудармейцами называли тех, кто выполнял принудительную трудовую повинность). Работала некоторое время на сборке снарядов на заводе в городе Молотове (так тогда называлась Пермь).



В её душе с той поры поселилась на всю оставшуюся жизнь неизбывная боль-тоска, скрытность и недоверие в отношениях с людьми, в печальных глазах её отражавшиеся, хотя была она по натуре человеком весёлым, остроумным, тонко чувствующим, любящим хорошую шутку. Начитанность её казалась мне беспредельной, ей и только ей обязан я становлением своего литературного вкуса. Мамины рассказы о содержании уничтоженной люмпенами семейной библиотеки, много раз мной слышанные в детстве, возбудили во мне намерение возродить, в новом обличье и качестве, книжное собрание семьи Афанасьевых. Занятию этому я посвятил всю свою жизнь и ныне, глядя на плотно уставленную книжными полками обширную личную библиотеку в своём загородном доме, мысленно обращаюсь к ушедшим родным своим: *«Это память о вас, мой дорогой, никогда мной не виденный, невинно убиенный дедушка, моя дорогая страдалница-бабушка, мой ангел-хранитель – чудная и незабвенная мама!»*

Энгельгардты

Из всех преобильных публикаций о Софии Витт-Потоцкой героиней художественного произведения её сделал, кажется, только Николай Александрович Энгельгардт в своём романе «Екатерининский колосс», опубликованном в нескольких последовательных номерах «Исторического вестника» за 1902 год.

Основная сюжетная линия этого исторического произведения – взаимоотношения «прекрасной фанариотки» со Светлейшим князем Григорием Александровичем Потёмкиным в событиях осады и взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил в 1790 году. Они начались весной 1787 года, в дни знаменитого путешествия Екатерины II в Крым; завершились в октябре 1791 года со смертью князя Потёмкина в бессарабской степи вскоре после взятия турецкой твердыни и последней его поездки в Петербург.

Если верить официальной версии, причиной смерти князя Потёмкина стал рецидив болотной лихорадки, которую он подхватил в 1783 году, в пору завоевания Крыма. Существовала и другая долго бытовавшая версия об отравлении пятидесятидвухлетнего князя, которую официальная историография несколько поспешно отнесла к разряду легенд, окружавших



имя великого гражданина России. Эту версию литературно разработал Николай Александрович Энгельгардт, заложив её в сюжетную интригу своего романа, по-своему доказательно определив организаторов этого политического убийства – дипломатических агентов Англии и Австрии, добавив к ним, волею своего писательского вымысла, в сообщницы «коварную Софию Витт» (будущую Потоцкую, давшую имя возведённому в её честь уманскому парку).

Текст романа показывает его автора прекрасным знатоком истории России конца восемнадцатого века, многих ей сопутствовавших лиц и событий, политических и дипломатических манёвров, культурных и религиозно-философских течений. И если в размере коварства будущей владелицы Умани, которым наделил её сочинитель, бдительный и толковый читатель может усомниться, то едва ли он не согласится с непреложным фактом извечной (и поныне действующей) враждебности Англии к России, результатом которой могло стать устранение спецслужбами Туманного Альбиона своего персонафицированного врага, расширявшего – в ущерб геополитическим интересам «островитян» – южные пределы государства Российского.

Часть первая. О романе «Екатерининский колосс»

Как известно, по завершении посещения императрицей Екатериной вновь приобретённых южных территорий и возвращении её в столицу Турция – в июле 1787 года – ультимативно потребовала от России вернуться к *status quo ante bellum* – вернуть Крым, прекратить покровительство Грузии и согласиться на осмотр турецкими властями проходивших через проливы судов под российским флагом. Турецкий демарш остался без ответа, после чего Высокая Порта объявила – 12 августа 1787 года – войну России и открыла активные боевые действия против неё высадкой в устье Днепра десятитысячного десанта, полностью уничтоженного русскими войсками под командованием Суворова. Последующие победы русского оружия под Очаковым, у Фокшан поставили Турцию на грань полного поражения (если не военно-политической катастрофы), и только крепость Измаил, за неприступными стенами которой укрылись остатки турецких войск, оставляла османам шанс если и не переломить ход военной кампании в свою пользу, то по крайней мере замирился с гяурами на достойных для себя условиях. Дабы этого не случилось, на взятие турецкой твердыни Светлейший князь Потёмкин направил все усилия, многообразие и размах которых пером романиста расписал Николай Александрович Энгельгардт.

«Деятельность Потёмкина воистину не знала ни пределов, ни устали. Три армии – белорусская, малороссийская и екатеринославская – одновременно были предметом его попечений. Огромные поставки провианта, фуража и амуниции заставляли его постоянно сноситься со всевозможными поставщиками и подрядчиками. Подвигаясь постепенно к югу, светлейший в различных местечках делал смотры частей войск, собравшихся на рандеву. В то же время огромная переписка велась им по внутренним и заграничным делам. Он пересылался курьерами с приятелем графом своим Мирабо и особенно пристально следил за разгоравшейся во Франции революцией. Все части турецкой монархии, где воцарился 7 апреля того года молодой, исполненный честолюбивых замыслов и реформаторских побуждений султан Селим, были изучены им в совершенстве. Светлейший переписывался с Булгаковым о русско-турецком торговом договоре, в то же время через таинственных лиц сносясь с матерью-султаншей и доктором Лоренцо, пользовавшимся огромным доверием восемнадцатилетнего турецкого султана. Не одна Турция занимала Потёмкина. Он знал обо всём, что происходило в дунайских княжествах и на Кавказе. Всюду там имел он своих агентов и вёл переписку, между прочим, с родственником своим, Павлом Потёмкиным, – о делах Грузии, склоняя царя Ираклия перейти в русское подданство, а с академиком Палласом – о военных поселениях. На Кавказе занимали его персидские дела, но в смысле конкуренции его планам; возвышавшиеся при дворе Зубовы старались привлечь внимание императрицы к Персии»¹⁰⁵.

Полагал, небезосновательно, фельдмаршал Потёмкин, что вслед за взятием Измаила откроется путь русским войскам на Стамбул, вслед за взятием которого Россия последовательно установит контроль над проливами, добьётся от Франции протектората над островом Мальта, получит беспрепятственный выход в Атлантический океан. Результатом всех этих военно-политических комбинаций станет реставрация на обломках поверженной Османской империи её территориальной предшественницы – империи Византийской, и будущей правительницей возрождённой супердержавы князь Потёмкин видел потомка византийских базилиевсов – *«прекрасную фанариотку»* Софию Витте. Так считает романист и исходя из взгляда на суть потёмкинских замыслов выстраивает сюжетную линию романа в части взаимоотношений Светлейшего с inferнальной гречанкой, начавшихся с её появления в его ставке под Яссами (где лучшие женщины российского высшего света составляли его окружение, или неформальный гарем): *«„Прекрасная фанариотка“ всецело занимала воображение князя, тем более что она являлась центром многих политических комбинаций, держала в руках своих концы многих нитей европейской политики, и недаром её сопровождал австрийский дипломатический агент принц де-Линь и польские магнаты – Щенский-Потоцкий, Ржевуский, Браницкий».*

Завязка истории появления Софии на подмостках российской политики состоялась в апреле 1778 года, когда на таможду Каменца-Подольского при-

был польский посол Боскамп-Лясопольский, возвращавшийся из Стамбула в Варшаву. Майору таможенной стражи Иосифу Витте (автор употребляет именно «Витте» вместо установившегося написания «Витт») он полушутя-полусерьёзно рассказал о живом контрабандном товаре, при нём находившемся, от которого желал бы избавиться. Контрабандой оказались две красивые девочки-гречанки, сёстры, купленные польским дипломатом через посредника-мусульманина на невольничьем рынке в качестве галантного подарка своему королю Станиславу Августу. Торговка-цыганка потребовала за девочек – скорее всего, украденных в детстве – немалые деньги, утверждая, что они происходят из рода базилевсов (царей) Византии – Главоне, Геличе или Маврокордато.

«Красота их оказалась поистине замечательной и достойной внимания короля Речи Посполитой! В особенности несравненно хороша младшая, София, которой ещё нет и пятнадцати лет. Старшая, Мария, шестнадцатилетняя, при своей сестре меркнет, как утренняя звезда в пурпуре зари. Сама по себе она обещает красавицу, но в присутствии Софии это... это... грубый кусок мрамора возле статуи Фидиаса! София – истинное воплощение греческой красоты и отвечает всем тридцати требованиям совершенно прекрасной женщины, которые перечислены в известных латинских стихах»¹⁰⁵.

Прежде поляка девочек хотел купить главный евнух султанского сераля, но затянул торг, а когда «товар» ушёл, спохватился и предпринял все меры, чтобы заполучить красавиц-гречанок, даже пытался похитить их. Зная, что Боскамп-Лясопольский будет проезжать через австрийские владения, высокопоставленный кастрат предупредил власти страны через её посла о содержимом багажа польского дипломата. *«Мария-Терезия нашла неприличным, что через её владения везут купленных девочек в подарок польскому королю! В этом она усматривает нечто безнравственное, какое-то оскорбление, наносимое ей лично».* Перед угрозой международного скандала Боскамп-Лясопольскому ничего не оставалось, как изобразить хорошую мину при плохой игре – передать через таможенников пару девочек в подарок хотинскому паше.

Витте, получив на время девочек (и сопровождавшую их прислужницу-христианку) под свою власть, после внимательного рассмотрения влюбился безоглядно в Софию и решил оставить её себе. Хотинскому же паше он отправил её сестру Марию, которая к участи своей отнеслась с каким-то тупым безразличием.

Поселив Софию у одной почтенной польки, майор Иосиф Витте, внешне непривлекательный, не откладывая интимного дела в долгий ящик, решил получить *«полную награду за своё покровительство»*, но, когда приступил к даровому трофею, наткнулся на решительное, экспансивно проявившееся сопротивление юной девы и отступил. *«Он решил идти другим путём и, подавив шляхетский гонор, предложил безвестной нищей девочке, купленной на невольничьем рынке, руку и сердце».* Предварительно же он поручил

ксёндзу Хмелевскому, каменецкому кафедральному канонику, обучить свою будущую жену польскому языку и дать ей наставления в истинах веры.

«14 июня 1779 года ксёндз Антоний Хмелевский, каноник каменецкий, повенчал Иосифа Витте с Софией. Когда же надо было их записать в церковной книге, каноник, недолго размышляя, против имени гречанки проставил “nata Glavoni – Gelitce – Mavrocordato” и, таким образом, единым росчерком гусиного пера укрепил за прелестной царственное происхождение. Свидетелями при сём были – капитан Игнатий Прыбышевский и шляхтич Симеон Квятковский, местный обыватель каменецкий»¹⁰⁵.

Закрепив церковным актом царственное происхождение гречанки Софии, каменецкий каноник и бискуп (католический епископ) составили многоходовой план политической интриги с конечной целью выставить свою подопечную претенденткой *«на престолы Стамбула и Афин»* и в качестве таковой решили отправить её в турне по европейским столицам.

На тайное венчание сына старый Витте отреагировал бурно и гневливо. Но скоро, оценив выдающиеся внешние данные невестки и перспективу утверждения за нею первородной, царской, фамилии, остыл. (Фамилия самого коменданта, потомка немецких переселенцев, произошла *«от наименования мелкой монеты “witte” – ценностью что-то около трёх копеек, – имевшей хождение в одном из германских княжеств»*.) Дал он новобрачным своё родительское благословение, а также изрядную сумму денег для задуманного европейского путешествия. Толчок к его началу сделал французский посланник Шуазель-Гуфье, остановившийся – по дороге из Стамбула в Париж – переночевать у четы Витте и легко уговоривший молодых хозяев дома непременно побывать во французской столице, где он брался представить Софию ко двору и ввести её в лучшие дома города.

Приняв совет посла, молодожёны выехали во Францию и в её столице убедились, что герцог Шуазель – человек слова. *«Скоро весь Париж заговорил о „прекрасной фанариотке“. Сложили длинную фантастическую историю о её пребывании в Константинополе»*. (Мужа её на время семейного визита во Францию романист Энгельгардт затемнил.)

София появлялась на людях то в греческом наряде, то облачённой в блестящие восточные ткани, скоро освоилась при дворе, в парижском обществе, привыкла к всеобщему обожанию (*«независимый характер её быстро развернулся, а греческий ум и способность к интригам нашли сейчас же применение»*). Жила она в Париже на широкую ногу на средства, поступающие из какого-то таинственного источника.

«Когда же она посетила Месмера, то знаменитый магнетизёр объявил, что красота её одарена такой магнетической силой, что способна внести в мир ту гармонию, которую он искал с помощью большого чана и магнетической цепи, сходившихся у него мужчин и женщин. Сношения, в которые прекрасная фанариотка вступила с графом Калиостро, поставили её в центре политических тайн. Гречанка приобрела чрезвычайное значение, и дипломаты

всех стран толпились в её салонах. Там появились писатели, поэты, художники, учёные, философы. Именно у неё на обеде писатель Жак Казот произнёс своё знаменитое пророчество Кондорсе, Шамфору, Бальи, Мальзербу, Рушеру, что одни покончат самоубийством, другие умрут на эшафоте, что присутствовавшая герцогиня Грамон будет обезглавлена и что последний казнённый, которому позволят призвать священника в последние минуты, будет король Франции...»¹⁰⁵

После Парижа София Витте (в сопровождении особо не мешавшего ей супруга) продолжила своё триумфальное шествие по Европе, посетив последовательно Рим, Вену и Варшаву, где её принял король Станислав Август, «стоявший у ступеней трона магнат Щенский-Потоцкий не спускал с неё глаз, придворный поэт камергер Тромбецкий написал в честь её несколько мадригалов по-польски и по-латыни». В польской столице София задержалась надолго – до весны 1787 года, когда вместе с польским монархом выехала на встречу с императрицей Екатериной II, путешествовавшей из Петербурга в Крым. Юная красавица была ей представлена (и ею обласкана). «Тут впервые познакомился с ней и Потёмкин».

Прибытие Софии Витте в бивуачный стан Григория Александровича Потёмкина сочинитель обставил грандиозным скандалом, ею устроенным. Вдруг выяснилось, со слов гостя, что пропал её большой жёлтый чемодан с башмачками, скорее всего, срезанный неизвестными злоумышленниками с запяток кареты, на которой «прекрасная фанариотка» пересекала территории, подконтрольные русским войскам. Последнее обстоятельство задело достоинство и самолюбие главнокомандующего до такой невообразимой степени, что он приказал своему адъютанту (и одному из центральных персонажей романа) Павлу Корнильевичу Рогожицкому отправиться в Париж и привезти оттуда новоиспечённой графине Витте в качестве достойной компенсации лучшее из того, что делали тамошние башмачники.

В соответствии с технологией индивидуального пошива обуви адъютант Светлейшего снял мерки с ноги потерпевшей прелестницы, и процесс этот стал прелюдией к обольщению ею (лиха беда начало – пара поцелуев в тесных объятиях) молодого воина, простодушного и податливого на женские чары. Подчёркнуто искусственная страсть гречанки, коей наделил её романист, подготавливает читателя к какой-то многоходовой интриге, ею задуманной, первым пунктом которой стало выданное искусительницей опьяневшему от первых ласк Рогожицкому задание: прежде Парижа сделать крюк в Венецию и там – по указанному адресу и по специальному паролю – получить важную для неё посылку. Потёмкин же своему адъютанту выписал «кредитив» на получение в Париже умопомрачительной денежной суммы, а также поручил ему связаться во французской столице с законспирированным агентом, некоей графиней Z*, и передать ей секретный пакет и часть денег.

В Венеции нарочный Потёмкина встретился со старым алхимиком и получил от него «три плоских, длинных, узких флакона», наполненных (по авторским намёкам) ядом. Далее, прибыв в первых числах октября 1789 года в Париж и разместив там обувной заказ у лучших мастеровых, он стал не-

вольным свидетелем развернувшихся там революционных событий; много раз встречался и подолгу общался с графом Павлом Строгановым, с графом Мирабо, слушал горячие выступления генерала Лафайета и даже, как заподозренный в шпионаже иностранный агент, был арестован революционной властью и несколько дней провёл под стражей.

После более чем годичного отсутствия Павел Корнильевич в ноябре 1790 года вернулся к месту службы с чемоданом обуви. Его отчёт о проделанной работе был с большой благодарностью принят прекрасной Софией, *«...её руки стремительно обняли его шею, жаром и негой обдала его прижавшаяся благоуханная грудь, и поцелуй, долгий поцелуй отнял у молодого человека последнюю искру воли и смысла»*. Следствием «помутнения рассудка» у Рогожицкого стало его согласие выполнить, с риском для жизни, новое задание inferнальной гречанки: пройти по паролям через посты русской армии и проникнуть, переодетым в женскую одежду (какой позор для офицера!), в Измаил и встретиться там с её сестрой, находившейся в крепости вместе со всем личным составом гарема хотинского паши. На эту командировку Павел Корнильевич, как это ни покажется странным, получил письменное разрешение – по запросу Софии – от самого Потёмкина, написавшего на аспидной дощечке: *«Отпускаю. В срок явиться. Грицко Нечёса»*.

Поручение молодой офицер, страстью ведомый, исполнил. За приличный бакшиш евнух сераля вывел к нему на краткое свидание Марию, с головой укутанную во всё чёрное. Она, уже сильно отуреченная, просила передать сестре, что в руках той жизнь и свобода всех находившихся в Измаиле, что болезни и недостаток продовольствия временно ослабили турецкое войско и что нужно всеми средствами задержать штурм крепости до прихода подкрепления из Стамбула – *«и тогда нам не страшны враги»*.

Софию эта весточка из крепости распалила до такой степени, что «почтальону» Рогожицкому она, даже не беря во внимание служебное положение того в русской армии, объявила о своём намерении отговорить Светлейшего от штурма Измаила, при котором погибнут не только турки-воины, но и укрывшиеся в крепости мирное население, в том числе и её сестра.

«...Зачем вам ещё крепость? Вы и без того владеете всем за Днестром и по Дунай! Вы счастливы, но судьба – коварна! К чему же вам вновь испытывать её? Султан согласится на мир, почётный для вас. Он даст привилегии христианам Востока. Он восстановит Элладу. Только оставьте ему Измаил. И вспомните, что при штурме погибнет столько женщин, детей в резне, в пламени пожара! Вспомните, что там, в Измаиле, моя сестра!..»¹⁰⁵

Если и был у исторической (не романической) Софии Витт в душе замысел сорвать штурм крепости Измаил, то он не осуществился. Как свидетельствуют исторические источники, 26 ноября 1790 года военный совет русской армии, ввиду приближения зимы, решил было снять осаду Измаила, но главнокомандующий это решение не утвердил. Он предписал генерал-аншефу Суворову, войска которого стояли у Галаца, принять командование частями, осаждавшими Измаил, что последний и сделал в начале декабря.

Суворов вернул к Измаилу войска, уже начавшие отход от крепости, и блокировал её с суши и со стороны реки Дунай, после чего отправил коменданту крепости ультиматум с требованием сдать крепость в двадцать четыре часа. Последовал знаменитый ответ, что *«скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю, чем сдастся Измаил»*. Казавшуюся неприступной крепость Суворов взял, и потери турок были огромны – одних убитых в рядах мусульман оказалось более двадцати шести тысяч; в плен было взято девять тысяч человек, из которых две тысячи – умерли от ран. Потери русской армии составили четыре с половиной тысячи убитыми.

В апреле 1791 года Потёмкин со свитой, звездой которой была графиня Витте (это уже по канве романа), прибыл в Петербург и добился для неё приёма у императрицы. *«...По особым настояниям светлейшего, который привёз гречанку в Петербург с собою, государыня изволила дать ей аудиенцию, допустила на общий приём лиц малозначительных, но того, чего затем добивался Потёмкин – придворного звания и права постоянного приезда ко двору, – Екатерина не дала прекрасной авантюристке»*.

Жила София в Петербурге на невской набережной, в палатце, специально для неё купленном и ей подаренном (автор не уточняет – кем), роскошно отделанном и наполненном огромным штатом прислуги. Будто в пику отказавшей ей во внимании и покровительстве императрице София устраивала великосветские приёмы в дни (точнее – ночи), когда они проходили в Зимнем дворце. *«Все послы, весь дипломатический корпус – считали необходимым прямо почти из Зимнего нанести визит авантюристке, и набережная перед её домом наполнялась экипажами»*. На эти, второго ряда, приёмы являлся иногда и Светлейший, всегда с каким-то подарком для хозяйки дома.

Не посещали журфиксы гречанки племянницы Светлейшего – не жаловали они дядюшкину любовницу, распускали по столице слухи, что обирает она своего покровителя, подчёркивали её необразованность, даже вульгарность, судачили много об интимных нюансах её европейской поездки. Ненавидела Софию и жена Щенного Потоцкого, также находившаяся в Петербурге, заметившая равнодушие мужа к коварной гречанке и полагавшая, небеспричинно, что тратит он на неё денег не менее, чем князь Потёмкин.

София особого внимания на касавшееся её злословие не обращала, проводила свободное от приёмов время с австрийским посланником Кобенцем, встречалась с новым фаворитом императрицы – Платоном Зубовым, которому представила друга своего сердечного Рогожицкого. Тому, полубессознательному от затянувшегося любовного томления, она (наконец-то!) отдалась во время лодочной прогулки по предрассветной Неве:

«Вдруг она суровым шёпотом приказала ему опустить шёлковые занавески шлюпки. Он исполнил это... Он уже больше не мог свести глаз с прекрасной, и казалось ему, что они в мире одни, что нет ни прошлого, ни грядущего, ничего нет. Время остановилось и сжалось в одно блаженное до боли и жуткое мгновение. Казалось ему, что лодка и плывёт, и реет на месте и в пространствах безбрежных, что ничего нет, кроме этого уголка, радужного сумрака и этих чёрных очей, и этого прекрасного и ужасного лица, этих рук

и ног, в золотистых шальварах, с золотыми обручами на щиколотках, и каскада волнистых каштановых волос, расторгших плен шитой самоцветными камнями повязки и из-под воздушного тюрбана, так великолепно венчавшего стройную головку, рассытавшихся по круглившимся под тончайшей сорочкой плечам и груди...

И вдруг обнажённые руки со спустившимися к плечам широкими рукавами, в обручах на запястьях, охватили шею Павла Корнильевича и привлекли его закружившуюся голову на грудь. Сознание почти оставило Павла Корнильевича. Она держала его в объятии, не отпуская его...

– Солнце всходит! – прошептала гречанка и вдруг оттолкнула его. – Клянись же вечным Солнцем, что исполнишь всё, что я прикажу! Клянись, как устами, так и в уме! – приказала она.

– Клянусь! – проговорил бессознательно, бесчувственно молодой человек, между тем как всё существо его устремлялось к вожделенной и алкало осязать это вольно раскинувшееся прекрасное тело...

Огненные и пурпурные, и радужные круги переливались вокруг него, и он стремительно падал в чёрно-огненный центр их. Блаженство терзало его. А грозный шёпот раздавался высоко над ним: „Князь Потёмкин отпраздновал в последний раз. Он будет выслан из Петербурга в Молдавию к армии. Ты поедешь вместе с ним. Ты возьмишь с собою лекарства, которые получил в Венеции. В Яссах тебе скажут, что делать“»¹⁰⁵.

Приведённая эротическая сцена на невских водах была сыграна «прекрасной фанариоткой» вскоре после завершения знаменитого праздника, устроенного Потёмкиным в Таврическом дворце в честь императрицы (на который автор романа почему-то не допустил Софию Витте). «Обилие и разнообразие яств и питий, как российских, так и заморских, действительно как бы показывали, что не только вся империя, безмерно простирающаяся на шестую часть земного шара, но весь свет прислал дань свою на пирушечные столы великопленного князя Таврического». (К слову, определение государства Российского как одной шестой части земного шара впервые было провозглашено Николаем Александровичем Энгельгардтом, и термин этот использовался в качестве номинального наименования Советского Союза до начала девяностых годов двадцатого века.)

Грандиозность устроенного Светлейшим князем праздника автор, дабы читатель не упрекнул его в избыточности красок, оценил в денежном выражении в специально сделанной им сноске:

«Если читатель подумает, что мы сгустили краски, изображая чудесное великолепие, достойное эллинской эпохи после Александра, когда греки заразились роскошью Востока, то они ошибутся. Мы точно сообразовались с описаниями современников, сопоставляя их между собою. Потёмкинский праздник – вершина вельможного барства XVIII века и не повторялся более; самая сумма, триста тысяч, издержанная Потёмкиным на празднество, принимая во вни-

мание тогдашнюю цену денег в десять раз выше, чем теперь, определена должная быть соответственно тремя миллионами; при 3 000 гостей это составляет тысячу рублей на каждого»¹⁰⁵.

По завершении праздничных гуляний князь Потёмкин-Таврический вдруг впал в меланхолию, стал избегать общества. По столице поползли слухи, что ночами стало являться ему загадочное видение («чёрный человек») и пророчить скорую гибель, что по этой причине, избегая нежелательного «свидания» с навязчивым фантомом, князь больше одного раза в одном месте не ночует. Очередным ночным приютом его, по ходу романического действия, стал Летний дворец, история возведения которого неточно изложена автором романа, описавшего его как «...мрачное, обветшалое старинное царское обиталище, где некогда томился царевич Алексей Петрович, где императрица Анна проводила дни в обществе сиятельных шутов и шутих...». В действительности же Летний дворец – одно из примечательнейших зданий развитого русского барокко – был заложен для унаследовавшей от Анны Иоанновны трон её племянницы Анны Леопольдовны, сожительствовавшей с мрачной славы Бироном.

«Строение этого дворца начато 24 июня 1741 года... Повелено строить с крайним поспешанием». Однако вскоре после начала строительства власть взяла Елизавета Петровна, и выстроенный к 1744 году деревянный «на каменных погребях» дворец стал её любимой резиденцией. В 1796 году по повелению воцарившегося Павла Петровича обветшавший Летний дворец был снесён, и на его месте возведён Михайловский (Инженерный) замок.

В Летнем дворце разыскал сумасбродствующего князя фельдъегерь императрицы Екатерины и вручил ему предназначавшийся пакет.

«В пакете на имя светлейшего находилась краткая записка императрицы такого содержания: „Если хочешь камень свалить с моего сердца, если хочешь спазмы унимать, отправь скорее в армию курьера и разреши силам сухопутные и морские произвести действия наискорее, а то войну протянешь ещё надолго, чего, конечно, ни ты, ни я не желаем.

Екатерина“»¹⁰⁵.

Поутру Потёмкин на запряжённой четвёркой лошадей карете помчался в Царское Село на прощальное свидание с императрицей. Общение венчаных морганатических супругов началось в доброжелательной тональности: *«Прохаживаясь по успокаивающей идущую ногу берёзовой аллее, осенённой серебристыми шатрами ив, государыня повела важную беседу с князем Таврическим. Она вновь настоятельно просила его, не медля нимало, отослать курьера к Репнину с приказанием решительных действий, чтобы затем положить сперва перемирие, а там и прочный с султаном Селимом мир».* Далее стороны неспешно обсудили нюансы «греческого проекта», политику Англии, Пруссии, Франции, затронули польские и шведские дела. Под конец беседы Екатерина поинтересовалась у Григория Александровича, кто является ему видением по ночам.

«Потёмкин хотел произнести какое-то слово, но губы его не повиновались и прыгали без звука.

На глазах Екатерины изобразился ужас.

– Кто? Кто вам является? – прошептала она.

– Ропшинский, матушка! – наконец выговорил князь Таврический»¹⁰⁵.

До сих пор существуют две основные версии кончины императора Петра III. Первая и главная версия утверждает, что, свергнутый в результате дворцового переворота 1762 года, он был убит 8 июля 1762 года в своём дворце в Ропше не без ведома своей супруги Екатерины II. Вторая версия не исключает смерти Петра III по болезни, «от геморроидальных коллик». Приведённым выше отрывком из диалога Екатерины и Потёмкина автор произведения отстаивает позицию смертоубийства племянника императрицы Елизаветы Петровны, которому та незадолго до своей кончины подарила Ропшу с выстроенным в ней (по проекту Растрелли) дворцовым ансамблем. И если с авторской версией о насильственной смерти Петра III можно согласиться как с общепринятой, то утверждение Николая Александровича Энгельгардта о прямом участии Потёмкина в этом грязном деле критики не выдерживает.

«...И ярко вспомнился князю Таврическому тот роковой день, когда он стоял на часах у дверей спальни Петра Фёдоровича в Ропшинском дворце и слышал ужасающие вопли умирающего в корчах властелина. Ужели это преступление воскресает через тридцать лет! Но в ушах его раздался тот нечеловеческий вопль, прокатился по саду и замер на мгновение в отдалении и с новой силой загремел, раздирая мозг князю Таврическому»¹⁰⁵.

В действительности же вахмистр гвардейского полка Григорий Александрович Потёмкин, принимая участие в дворцовом перевороте 1762 года, к удушению не успевшего короноваться царя Петра III никакого отношения не имел. Активность же его в смене верховного руководителя страны была замечена лишившейся пары императрицей и вознаграждена ею присвоением молодому офицеру чина поручика и пожалованием ему десяти тысяч рублей и четырёх тысяч крепостных крестьян. Вероятно, факт этот был известен и писателю Энгельгардту, но – ради словца красного – решил он исказить его, дабы сделать финал сцены прощания царицы и князя максимально трагическим. («Книжную» Екатерину упоминание князя о Ропше вывело из себя.)

Столь же скорбно расстался с Софией Витте её мимолётный любовник, княжеский адъютант Рогожицкий. «Хотя он и получил в скорости записку от неё, в которой просила она прибыть по делу и назначала час, но вместо неё Павла Корнильевича встретил граф Кобенцель и обошёлся с ним крайне странно, с оскорбительным пренебрежением... стал говорить, что графиня София нездорова, что она кланяется ему, желает счастливого пути и напоминает взятое им на себя обязательство...» (Граф Людвиг Кобенцель – реальное историческое лицо; австрийский дипломат и государственный деятель, с 1779 по 1800 год был послом своей страны в России.)

Незадачливому влюблённому граф на страницах романа дал урок политической грамоты (естественно, с точки зрения австро-английских интересов):

«Кобенцель заговорил внушительно и важно, но крайне туманно и неопределённо о задачах европейского мира, о примирительной роли Англии в распрях народов, о безопасности и даже вреде побед на Востоке для истинных интересов русского народа, огромными поборами истощённого совершенно; он говорил о невозможности дальнейшей авантюры Потёмкина, о его усталости, распутстве и причинённом от того ослаблении умственных его способностей; он говорил, что лучшие люди Европы, друзья человечества, просвещения, свободы, возлагают на способности Павла Корнильевича большие надежды; что он не останется без награды, и его ждут успехи при дворе и на дипломатическом поприще, если он успешно выполнит поручение сопроводить в степи Потёмкина, дни карьеры которого сочтены, и на стенах чертогов, где он дал свой последний, безумием роскоши и затрат превзошедший все прочие, праздник, уже незримая рука написала роковое: «Мани! Факел! Фарес!» Впрочем, для чёрной работы может быть дан ему в Яссах человек, а помощником – господин Попе. «Вы знаете господина Попе?»

Павел Корнильевич сказал, что господина Попе он знает несколько, но всё же поручение, о котором посол говорит, ему темно»¹⁰⁵.

После наставлений австрийского дипломата Рогожицкий – наконец! – уразумел и оценил глубину своего падения. *«Всё кончено! За ласки тёмной авантюристки... он отдал всё – само душевное спокойствие, чистоту душевную, человеческое достоинство. Всё кончено! И он во власти тёмной шайки международных промышленников, политических интриганов и должен послужить низменным, ужасным, преступным, может быть, их целям; должен заплатить страшной ценой за слепое увлечение!..»*

Впрочем, о нависшей над Светлейшим угрозе его адъютант не стал особо распространяться, с тайной этой он в свите главнокомандующего отправился из Петербурга в Яссы. На месте князь Потёмкин выяснил, что за несколько дней до его прибытия, в первых числах августа 1791 года, замещавший его князь Николай Васильевич Репнин успел одержать блестящую победу над турками при Мачине и подписать с ними предварительные условия мира.

«В чрезвычайное раздражение впал светлейший, когда по приезде узнал, что кампания закончена и подписан мир без его участия.

– Как осмелились, не получив моего приказа, яко генерал-фельдмаршал, решительные действия начать? – кричал он, когда Репнин явился к нему с рапортом...

Репнин посмотрел на одутловатое лицо Потёмкина и, видя, что он совершенно болен, замолчал и удалился.

В самом деле, сейчас же по прибытии в Яссы обнаружилась в светлейшем ужасная молдавская лихорадка, то усиливавшаяся,

то отступавшая на несколько дней, чтобы вновь начать свою разрушительную работу»¹⁰⁵.

Смертельная хворь не оставила Светлейшего – он скончался 5 октября 1791 года на пути из Ясс в Херсон, у молдавского села Рэдений Веки. И пока тело екатерининского колосса остывало в руках его любимой племянницы Браницкой, его адъютант, позабыв на время о совершённом им предательстве, предавался философическим размышлениям:

«Так вот что осталось от всего величия, блеска, роскоши и славы твоей, князь Таврический! Не так ли пройдёт и закатится век славной твоей возлюбленной, век Екатерины? Не так ли в единый миг минует вся земная, гордая слава? Пышные вельможи, полководцы и победители народов, поработители миллионов – пройдут, как сон, как мираж, как галлюцинация со всем шумом тщеславия своего! Останется поглотившая бранные их останки земля. Останется пахарь, смиренно взрывающий грудь вечной всеобщей кормилицы и бросающий зерно в глубокие борозды. Останется великое безмолвное небо над ним»¹⁰⁵.

Казалось, после столь глубокого философического припадка, самобичеванием сопровождаемого, Павлу Корнильевичу пристало бы – вымыслом породившего его писателя – завершить свои многострадальные отношения с коварной гречанкой, но он, *«рассудку вопреки, наперекор стихиям»*, вновь отправился к ней на теперь уже последнее свидание в Петербург – *«итак, он направился в палатцу графини Софии на невской набережной»*. До приоткрытой двери её покоев Павел Корнильевич *«проник, минуя прислугу, – через чёрный ход»*. Перед прикрывавшей дверной проём драпировкой он остановился и *«задрожал, услышав голос красавицы»*. Ей отвечал другой, знакомый Павлу Корнильевичу, голос – графа Щенского Потоцкого. Молодой человек хотел было войти в комнату Софии, но содержание услышанного диалога остановило его, *«и с беззастенчивостью влюблённого он не поколебался быть тайным свидетелем интимной беседы изменницы»*.

Говорил граф Потоцкий графине горячо и велеречиво о своих чувствах к ней; говорил, что впервые они пробудились в нём в Варшаве, когда он увидел её, обворожительную и притягательную, у трона польского короля. Поначалу София отвечала пылкому поляку весьма политично, предлагая тому только своё доброе расположение, но, услышав от него предложение руки и сердца, незамедлительно его приняла, не беря во внимание существование у неё законного супруга, а у графа Потоцкого – отнюдь не мифической супруги (по этой причине скоро договорившиеся стороны особо обсудили время начала двух бракоразводных процессов).

Покончив с делами матримониальными, влюблённые затронули тему недавней смерти Светлейшего, о причине которой граф Потоцкий только намекнул: *«Смерть Потёмкина, столь быстрая и неожиданная, породила тёмные слухи. Говорят, он был отравлен»*. София же сообщила будущему мужу, что скоро ожидает адъютанта князя, от которого получит более детальное

описание случившегося. Потоцкий заревновал, наговорил много обидных слов в адрес отставленного соперника, София ему поддакнула, определив своего мимолётного любовника как послушного исполнителя воли её и воли её друзей: *«Он был мне нужен для посылок. Я знала, что он исполнит всё, что только я ему прикажу. А главное, Кобенцель и Гаррис избрали его для некоторых действий. Но чтобы вы были спокойны, даю вам слово, что более даже и не увижу его»*.

Последние слова наповал сразили Рогожицкого, в таком сражённом состоянии явил он себя пред светлы очи будущих супругов Потоцких и, наговорив им много нелицеприятного, потребовал – в завершение своего прокурорского выступления – от графа удовлетворения. Поляк отмахнулся от разъярённого офицера как от назойливой мухи и *«вышел вон»*. Оставшись наедине с Рогожицким, София посоветовала тому, как реальному участнику заговора против князя Потёмкина, не подвергать её опасности и оставить в покое. Предложила ему дальнейшие дела иметь с австрийским послом Кобенцлем, а лучше всего – навсегда покинуть столицу, чтобы его поскорее забыли.

«Гречанка пронзительно посмотрела ему в лицо.

– Не думайте, что если вы по моему поручению заезжали в Венецию, то это для меня улика. Свидетелей не было, что я вас посылала. При вас лекарства? Или вы их уничтожили? Видели вы в Яссах господина Попе? Помните, что не вы держите нас в руках, а мы вас. Малейшая измена, и вы погибли. Не думайте, что будете в силах бороться. Мститель явится, когда вы всего меньше будете его ожидать. А при скромности и молчании вас наградят»¹⁰⁵.

Только и осталось литературному герою Рогожицкому, что называется, сомкнув уста, забыть о случившемся, предварительно поразмышляв о нём: *«Уже казалось ему, что всюду к вздорным слухам об ускорении кончины светлейшего тонким ядом прилетают и его имя. Не мог он уже ни с кем встретиться или появиться в обществах без того, чтобы не мнились ему косые взгляды и гнусные насчёт него шёпоты. Уразумев, что низкая авантюристка, уловившая его в сети продажных прелестей, и окружавшие её политические искусники и агенты в самом деле ожидали от него преступного деяния, которое избавило бы их правительства от неудобного русского вельможи, Павел Корнильевич подумал, что ведь могли они, видя его нерасторопность и недогадливость, употребить в дело какое-либо иное лицо, приближённое к светлейшему!.. Тогда басня, обращавшаяся в толпе, ужасала его и начинала уже казаться возможной. Что если кто-либо из докторов, подкупленный, примешал смертного снадобья в лекарство или повар – в кушанье, кофе, в кислые щи?..»¹⁰⁵*

Завершая свою часть сюжетной линии в романе, попытался было автор закончить литературное существование Рогожицкого банальным самоубийством, но передумал – заржавелые шпагу и пистолет, с помощью которых тот собирался свести счёты с жизнью, оказались, заботами денщика, в чистке. В итоге – метания душевные у молодого офицера скоро минули, его романтические похождения завершилась хепши-эндом: вернулся он к своей, в самом нача-

ле романа покинутой, невесте, был ею прощён, равно как и её родителями, согласившимися на его венчание с их единственной и горячо любимой дочерью.

А тем любознательным читателям, кто доберётся до малодоступного в нынешнее время романа Николая Александровича Энгельгардта, есть смысл поразмышлять над основной смысловой идеей произведения: стоило ли облагодетельствованной Светлейшим князем Софии Витте, которую он планировал возвести на трон возрождённой Византии, прерывать источник своего благополучия?

Часть вторая. О Николае Александровиче Энгельгардте

Интерес Николая Александровича Энгельгардта к теме князя Потёмкина в Русско-турецкой войне 1787–1791 годов, безусловно, связан с участием в этих событиях его прямых родичей. Прапрадед писателя, Фёдор Антонович Энгельгардт, принимал непосредственное участие в суворовском штурме крепости Измаил в декабре 1790 года. Брат его прапрадеда, Егор Антонович Энгельгардт, в той же войне с бусурманами был ординарцем при князе Потёмкине и после взятия турецкой твердыни участвовал в организации феерического праздника, данного Светлейшим в честь императрицы Екатерины в апреле 1791 года в Петербурге. (Егор Антонович, помимо того, что в войне с бусурманами был ординарцем при князе Потёмкине, примечателен тем, что в 1816–1823 годах состоял директором Царскосельского лицея. На должность эту он был назначен вследствие усилившихся беспорядков в Лицее, вместо директора Василия Фёдоровича Малиновского, кратковременное управление которого зачастую забывалось лицеистами, привыкшими считать Энгельгардта своим первым, старейшим директором.)

Самого Григория Александровича Потёмкина с родом Энгельгардтов, широко представленным в истории России, связала его сестра, Марфа Александровна Потёмкина, обвенчавшись со смоленским шляхтичем Василием Андреевичем Энгельгардтом. В браке этом родилось шестеро детей: сын Василий и дочери – Анна, Варвара, Екатерина, Александра и Татьяна.

В последующем Василий Васильевич Энгельгардт имел дочь Екатерину и двух сыновей. Первый, также Василий, был известной в Петербурге личностью. Отставной полковник, богач, карточный игрок, владелец особняка на Невском проспекте (с концертным залом в нём), он общался с Пушкиным в столичных литературных кругах и был ценим поэтом за то, что *«охотно играл в карты»* и *«очень удачно играл словами»*. Второй сын, Павел, был у Василия Васильевича внебрачным, но отнюдь не лишённым отцовской ласки и материальной заботы. Унаследовал он от отца более трёх миллионов деньгами и – только в Киевской губернии – восемнадцать тысяч крепостных. У него выкупали из крепостной зависимости Тараса Григорьевича Шевченко петербургские друзья украинского поэта.

Из пяти дочерей Василия Андреевича Энгельгардта три средние, Варвара, Александра и Екатерина, побывали в «гареме» своего дядюшки Потёмкина. Все они (а также их старшая и младшая сёстры), счастливо выданные

замуж и ставшие матерями многочисленных семейств, боготворили и чтили своего могущественного покровителя до его кончины и после неё. Александру Энгельгардт, свою любимицу, императрица Екатерина в ноябре 1777 года пожаловала в камер-фрейлины и, введя в свой интимный кружок, сделала её своим фактотумом – особо доверенным лицом. По причине нежного отношения матушки-Екатерины к Шурочке Энгельгардт, а также в связи с тем, что родилась она в один год с великим князем Павлом Петровичем, в придворных кругах возбужден слух о том, что на самом деле она является дочерью императрицы (то ли от Сергея Салтыкова, то ли от мужа – великого князя Петра Фёдоровича). Слух этот связан с легендой о «подмене» Павла, согласно которой будто бы вместо долгожданного мальчика-наследника Екатерина родила девочку, которую подменила сыном служанки-чухонки, ставшим со временем русским императором. Когда племянницу Александру её дядя Потёмкин выдавал – в ноябре 1781 года – замуж за графа Ксаверия Браницкого, гетмана польного коронного, он обеспечил её приличным приданым – шестьюстами тысячами рублей и крупными земельными владениями; от себя матушка-Екатерина подарила новобрачным Шуваловский (позже именованный Юсуповским) дворец на Мойке. Резиденцию свою супруги Браницкие обустроили в Белой Церкви, где был разбит большой парк, названный в честь хозяйки «Александрией». Дочь Браницких Елизавета Ксаверьевна (в замужестве Воронцова) – в числе муз, питавших вдохновением поэзию Александра Сергеевича Пушкина.

В прямой родовой линии Николая Александровича Энгельгардта вслед за суворовским воином Фёдором Антоновичем идёт его сын, Николай Фёдорович Энгельгардт, выпускник Виленского университета, ратник Смоленского ополчения в Отечественной войне 1812 года, в звании генерал-лейтенанта – участник Венгерского похода 1849 года. Далее идёт Александр Николаевич Энгельгардт, который, начав по родовой традиции свой жизненный путь с военной службы, скоро отказался от неё и посвятил себя агрохимии (которую, как профессор кафедры химии, преподавал в Петербургском земледельческом институте), публицистике и делу народничества. Был он не только блистательным лектором, но и прекрасным организатором науки – первым в России создал частную химическую лабораторию. После студенческих волнений, прошедших в Земледельческом институте в 1870 году, он, как им сочувствовавший, вместе с женой и детьми был выслан из столицы на поселение, под надзор полиции, в своё родовое имение Батицево, что на Смоленщине. Здесь Александр Николаевич Энгельгардт на практике с успехом применил свои научные наработки, здесь им были написаны знаменитые «Письма из деревни».

Первенец четы Энгельгардтов, Михаил, родившийся в 1861 году, по примеру матери-литератора стал писателем, специализировавшимся в написании биографий выдающихся личностей – Дарвина, Гумбольдта, Гарвея, Коперника, Пастера... В политических убеждениях своих он был единомышленником отца (и, кстати, матери), за свои революционные убеждения в 1882 году был сослан к отцу в Батицево на пять лет¹⁰⁶.

Брат его, Николай, родившийся в Петербурге 5 февраля 1867 года, также стал писателем, преимущественно исторического направления, но, в от-

личие от отца и брата, в своих общественно-политических взглядах занимал охранительно-монархические позиции. По окончании смоленской гимназии он некоторое время учился в Лесном институте, но учёбу бросил, посвятив себя литературному творчеству, дебютировав на этом поприще в 1889 году (под псевдонимом Гард) двумя книгами – прозаической и поэтической, – благо-склонно встреченными.

О, полно! – не тревожь души сомненьем ложным...
Смиренно помолись, вздыхая глубоко –
Мгновенно станет всё и близким, и возможным,
Что так от сердца было далеко.

Вышедшей в 1895 году статьёй «Поклонение злу» Николай Александрович Энгельгардт откликнулся на опубликованный в журнале «Северный вестник» исторический роман в двух частях Дмитрия Сергеевича Мережковского «Отверженный» (впоследствии переименованный автором в «Смерть богов. Юлиан Отступник»), раскритиковав его за отсутствие в нём нравственного начала. После этой публикации, навсегда охладившей его отношения с модернистами, Николай Александрович в 1896 году опубликовал (в сокращённом виде) роман «Люди разного безумия». Позднее в «Русском вестнике» был издан ещё один его роман – «Под знаком Сатурна», в котором, наряду с сатирическим изображением окружающей действительности, автор провёл розыск положительного героя нашего времени.

Далее последовала проба пера в поэзии и детских сочинениях, после чего Николай Энгельгардт обратился к литературоведению, где скоро преуспел как историк литературы консервативного направления. Его двухтомная «История русской литературы», изданная в Петербурге в 1902–1903 годах, была рекомендована в качестве пособия на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Ещё один его труд в этом жанре – «История русской цензуры от 1703 до 1903 года».

С 1905 по 1914 год были написаны почти все исторические романы Энгельгардта, первостепенное значение которых в своём творчестве осознавал и сам автор. Напечатанный в приложении к журналу «Новое время» пролог первого его романа «Московское рушение...» привлек внимание редактора «Исторического вестника» Сергея Николаевича Шубинского, который пригласил автора к постоянному сотрудничеству. В этом журнале были опубликованы повесть Энгельгардта «Шкловские ассигнации», романы «Окровавленный трон...», «Екатерининский колосс» и «Граф Феникс». Все они пользовались популярностью среди читателей и подняли подписку издания.

Историческая проза Энгельгардта появлялась в газетах «Голос Москвы», «Земля», «Россия», и многое из неё до читателя не дошло. Из составленного писателем в 1908 году полного собрания исторических произведений в двадцати четырёх томах опубликована была только четвёртая часть из написанного им в этом жанре.

Пробовал свои силы Энгельгардт – успешно и активно – в публицистике (под псевдонимом Мирянин), регулярно публиковался в столичной периодике. С октября 1904 по декабрь 1906 года он был ведущим отдела «Современная

летопись» в журнале «Русский вестник»; в это же время редактировал еженедельник «Новая Россия». В 1899 году Николай Александрович опубликовал доклад «Критический анализ русского марксизма», в котором, в частности, сформулировал свои политико-экономические взгляды как сумму консервативно-монархических и народнических воззрений: *«Форме землепользования должна отвечать известная форма правления. В России форма землепользования миллионов – общинная, форма правления – самодержавная, форма исповедания – православная».*

В журнале «Исторический вестник» за 1910–1912 годы печатались его очерки «Давние эпизоды», подготовленные в связи с собранным им материалом по истории своего дворянского рода. В 1914 году Энгельгардт увлёкся научно-исследовательской работой и до 1916 года работал над «Историей русской цивилизации».

Николай Александрович был одним из учредителей Русского монархического союза, участвовал в работе его первых трёх съездов, делая на каждом из них стратегически важные доклады. На съезде, проходившем в начале 1906 года в Москве, он, в частности, настаивал на необходимости созыва церковного собора, утверждал своё видение национального самоопределения, самоуправления и автономии, защищал монархические принципы державного устройства. Особенно активен был он на Третьем съезде русских людей (ещё именовавшемся Всероссийским съездом людей земли Русской), проходившем в начале октября 1906 года в Киеве. На нём рассматривались два проекта выборного законодательства. Первый предполагал организацию выборов по церковным приходам, второй – по сословиям, пропорционально численности каждого сословия.

Осенью 1906 года Энгельгардт исполнял обязанности председателя Русского собрания, им была подписана – 15 сентября 1906 года – телеграмма сочувствия и поддержки Петру Аркадьевичу Столыпину, только пережившему покушение на него, его семью и окружение – взрыв правительственной дачи на Аптекарском острове: *«Члены Русского Собрания, старейшего Монархического Общества, сегодня, молясь, благодарили Бога, чудесно сохранившего столь нужную Царю и России жизнь Вашу, и просили Жизнедавца скорее восстановить здоровье страдальцев-детей Ваших, Натальи и Аркадия».*

Николай Александрович был в числе учредителей (в феврале 1908 года) и активным участником Русского окраинного общества – культурно-просветительской организации правого толка, созданной для борьбы с сепаратизмом национальных окраин Российской империи; первым его председателем был профессор Николай Дмитриевич Сергеевский (отмечавший в программном заявлении, что целью общества является *«культурное сближение и духовное единение всех подданных русского Царя на почве преданности единому всероссийскому государству»*, во всём же остальном *«пусть поляк остаётся поляком, финляндец – финляндецем и т. д.»*).

Неизвестно, по какой причине в 1907 году Николай Александрович отошёл от правомонархического движения. Решение это, видимо, далось ему нелегко, последствием его принятия стал душевный надлом писателя, приведший, в 1908 году, к тяжёлой нервной болезни с жестокими приступами депрес-

сии и галлюцинациями. Ещё одно серьёзное житейское испытание выпало родителям Николая Александровича в 1914 году, когда их сын тяжело заболел и два года был прикован к больничной койке, прежде чем выздоровел.

Летом 1892 года Николай Александрович Энгельгардт познакомился с Константином Дмитриевичем Бальмонтом, о чём последний известил свою супругу Ларису Михайловну (в девичестве Гарелина) письмом от 18 июня:

«Вчера я провёл прекрасный день и жалел только, что тебя нет со мной. Ко мне зашёл Минский, и мы отправились вместе с ним в Царское Село к молодому поэту Н. А. Энгельгардту, его хорошему приятелю (сыну известного агронома). Очаровательный отшельник, мечтатель, напоминающий немного Шелли, истинный поэт – хрустальной чистоты и умница. Мы много с ним говорили, и у нас нашлось много (по уверению Минского) общих черт, а именно: мы оба любим Библию, оба переводим Сюлли Прюдома, сморкаемся в платки с синими каёмками, оба в возрасте 25 лет (он старше меня на три месяца), одинакового роста, у обоих на правой щеке бородавка, имеем одинаковые манеры и т. д. Но только он холост и жениться не хочет (о, глупец!). Мы условились с ним переписываться, и я буду участвовать в журнале, издаваемом его матерью („Вестник иностранной литературы“)».

В одну из последующих встреч, в московской квартире Бальмонтов, произошло знакомство Энгельгардта с женой поэта Ларисой Михайловной: *«Квартира их была на Долгоруковой, во дворе, во втором этаже московского деревянного флигеля, окнами в сад с сиренями, клёнами и липами... Я увидел тогда Ларису Михайловну в простой, но изящной обстановке, в стильном платье со складкой Ватто, напоминавшую статуэтку из бисквита. Она была так юна, что ей по наружности нельзя было дать больше 17–18 лет».*

Лариса Михайловна Гарелина – дочь иваново-вознесенского фабриканта – воспитывалась в Москве во французском пансионе Демюшулей. Наделённая артистическим дарованием, она в юности не без успеха участвовала в любительских спектаклях в Иваново и в Шуе, на одном из которых – предположительно осенью 1888 года – её увидел Бальмонт и был настолько сражён *«боттичеллевой красотой»* девушки, что уже в конце зимы следующего года, вопреки воле родителей, повёл юную красавицу под венец в Покровскую церковь Иваново-Вознесенска.

Этот скоропалительный брак обернулся для его участников пятью годами совместной мучительной жизни с *«демоническим»*, по словам поэта, даже *«дьявольским»*, ликом, проявившимся в начале 1890 года, когда, прожив только четыре недели, умерла от менингита их дочка. Второй их ребёнок, сын Николай, сызмальства не имевший проблем со здоровьем, с возрастом приобрёл психическое заболевание, ставшее причиной ранней смерти, в 1924 году. Кроме того, скрепы семейных устоев распатывала своей неимоверной ревностью Лариса Михайловна, следившая за мужем, распечатывавшая его письма, рывшаяся в его бумагах. В итоге пятилетку семейной жизни Констан-

тин Дмитриевич Бальмонт отметил попыткой самоубийства, предпринятой им 13 марта 1893 года. Выбросившись из окна третьего этажа московской гостиницы, он только сломал ногу и охромел на всю оставшуюся жизнь.

Были причины для ревности у Ларисы Михайловны, знавшей влюбчивость своего супруга, чувствовавшей наступление очередного увлечения, как это случилось в 1893 году, когда она сумела зафиксировать начавшийся роман Константина Дмитриевича (только подлечившего покалеченную ногу) с Екатериной Алексеевной Андреевой. (К слову, до этого отказавшей сделавшему ей предложение Николаю Александровичу Энгельгардту.) Однако, заметив очередную перемену в муже, Лариса Михайловна, конечно же, не без удовольствия, отметила самое пристальное к себе внимание со стороны Энгельгардта (чей новый любовный пыл невольно подогревался его матерью. Познакомившись во время приезда в Москву с женой Бальмонта, она затем твердила раз за разом сыну: *«Ну какая у него жена! Какая жена!»*).

Возникшая треугольная коллизия разрешилась тем, что Бальмонт, всё ещё донимаемый ревностью жены, собрал вещи и ушёл жить в гостиницу, а Лариса Михайловна уехала – с сыном и нехитрым домашним скарбом – в Батищево, смоленское имение Энгельгардта, позже отметившего в своих воспоминаниях: *«17 мая 1894 года Лариса Михайловна приехала ко мне в Батищево и подарила мне свыше сорока лет безоблачного семейного счастья»*.

Поскольку в 1895 году, когда у Энгельгардтов родилась дочь Анна, их брак ещё не был зарегистрирован, неразведённому Бальмонту пришлось записать малышку на своё имя; лишь позднее Николай Александрович узаконил своё отцовство. Развод Бальмонта с Ларисой Михайловной задерживался из-за её требования к бывшему супругу взять на себя вину за распад семьи. После всех передраг их брак был расторгнут решением Московского епархиального управления, утверждённым указом Священного синода 29 июля 1896 года, *«с дозволением вступить жене во второй брак, а мужу навсегда воспрещено вступление»*. Однако Бальмонт пренебрёг этим решением и обвенчался с Андреевой тайно. Свои отношения с первой женой Бальмонт подытожил в стихотворении «Воскресший»:

Ты обманул сам в себе
И в той, что льёт теперь рыдания, –
Но это мелкие страдания.
Забудь. Служи своей судьбе.

Часть третья. Жизнь и судьба Анны Николаевны Энгельгардт

Помимо рождённых во втором браке дочери и сына, в семье Энгельгардтов рос и воспитывался сын Ларисы Михайловны от первого мужа – Николай Константинович Бальмонт, впоследствии окончивший исторический факультет Петербургского университета, увлекавшийся музыкой, писавший стихи. В октябре 1915 года Константин Бальмонт встретился в петербургской гостинице «Северная» с ним и его сводной сестрой Аней и нашёл, что та очень

похожа на мать. Об этой встрече он написал своей дальней родственнице Анне Николаевне Ивановой: *«Я оваян лаской Ани, дочери Ларисы. Ах, как она мне нравится. Темноглазый ангел с картины Боттичелли...»*

Образование Анна Энгельгардт получила в частной гимназии Лохвицкой-Скалон; увлекалась поэзией, сама писала стихи, много читала. Была она писаной красавицей, по характеру – проста и непосредственна, не по летам наивна и очень обидчива. С гимназических лет началась её дружба с Ольгой Николаевной Гильдебрандт-Арбениной, 1897 года рождения, умной и даровитой, не без успеха проявившей себя в литературе, на сцене, в живописи. Отношения этих женщин – дружественные и одновременно усложнённые коварством одной из них – были тесными до той поры, пока был жив связывавший их поэт Николай Степанович Гумилёв. Суть этих треугольно завязанных отношений Ольга Николаевна, с известной долей субъективизма и эгоизма, изложила в своих воспоминаниях:

«Меня вечно путали с Аней Энгельгардт, хотя она и не была похожа со мной, – более темноволосая, кареглазая, с монгольскими скулами, более яркая и, с моей точки зрения, гораздо более хорошенькая! На Никса Бальмонта, её брата, я скорее могла походить по краскам – он был рыжий, зеленоглазый, со светло-розовым лицом и с тиком в лице – последнее мне очень нравилось в нём – а он ко мне очень нежно относился, говорил, что я, должно быть, такая, какой была бы его умершая сестра Ариадна, – и ставил в пример своей сестре Ане...»

Аня была старше меня, училась скверно, была шумная, танцевала, как будто полотёр, волосы выбивались. По временам была очень хорошенькой, с слегка монгольскими глазами и скулами...

Я бы, наверное, не сошлась близко с Аней, если б не мои (и её) литературные вкусы. Когда же познакомилась с Никсом, то ещё больше подружилась с Аней.

Когда она стала сестрой, я иногда бывала в лазарете, где она работала; помню, какой-то её подопечный в меня влюбился и писал очень смешные письма. Звали его Адриан...

Аня приходила с ворохом событий. Я вспоминаю её «каскад» разговора.

«Как? Ты уже любишь не Вайю (это Бальмонт). Тебе теперь нравится Игорь Северянин? – Да, я была в студии (Мейерхольда). Там так интересно! Почему тебя не пускают? Столько народа! Знаешь, Жирмунский вставал на колени и сделал мне предложение. Что он думает? Разве он настоящий поэт?.. Я, конечно, отказала. И потом меня называли принцесса Малэн...»

В очень «ранний» момент нашей довоенной жизни, в один из счастливых часов, когда я вызвала и выслушала восхищение и всякие слова от В. Чернявского, который считал меня «неземной», Аня, которой он нравился, приревновала и даже заплакала. Это было на улице, и Никс шепнул мне: «Какая вы злая». Мы шли с лекции Мерещковского. Мы с В. Чернявским сбежали во время лекции куда-то на лестницу!.. Потом был только разговор. В.Чернявский ко

мне остыл после моей болезни, и Аня опять стала его заманивать, но это всё было „разговорами“»¹⁰⁷.

После гимназии Анна Энгельгардт поступила на курсы сестёр милосердия и во время войны работала в военном госпитале, находившемся на той же улице, где она жила. Её младший брат, Александр Энгельгардт, вспоминал об этом периоде её жизни: *«Она очень похорошела, и ей очень шёл костюм сестры милосердия с красным крестом на груди. Она любила гулять в Летнем саду или в этом костюме, или в чёрном пальто и шляпке, с томиком стихов Анны Ахматовой в руках, привлекая взоры молодых людей...»* Её сводный брат Николай часто проводил время в кругу молодых поэтов и засиживался в «Бродячей собаке», иногда он брал с собой сестру.

Ухаживать за Анной Энгельгардт неисчерпаемый в любви Николай Гумилёв начал весной 1916 года, отлучаясь для этого время от времени в столицу с недалёких от неё боевых позиций (в чине подпоручика служил он тогда в гусарском полку). Молодые люди подолгу гуляли по весеннему Петрограду, после прогулок он, неизменно галантный и непринуждённый, провожал её домой. (Однажды он пришёл к Ане в гвардейской гусарской форме, чем восхитил её младшего брата.) Она же познакомила поэта со своей подругой Ольгой Гильдебрандт-Арбениной. Произошло это 14 мая 1916 года в зале Тенишевского училища на лекции Валерия Брюсова, посвящённой армянской поэзии.

«Я увидела Аню, и рядом с ней стоял Гумилёв, т. е. это я узнала от неё, – она меня остановила, сказала: „Оля, Николай Степанович Гумилёв просит меня тебе его представить“. Я обалдела! Поэт Гумилёв, известный поэт, и Георгиевский кавалер, и путешественник по Африке, и муж Ахматовой... и вдруг так на меня смотрит... Он «слегка» умерил свой взгляд, и я что-то смогла сказать о стихах и поэтах. Аня потом сказала с завистью: «Какая ты умная! А я стою и мямлю, не знаю, что...»

На просьбу пойти меня проводить я могла только сказать, что я не одна – телефон ему дала – ещё он сказал: «Я вчера написал стихи за присланные к нам в лазарет акации Ольге Николаевне Романовой – завтра напишу Ольге Николаевне Арбениной».

Он был ранен (или контужен) и лежал в лазарете (а не жил у матери), в Царском.

Он, конечно (т. е. я думаю), пошёл проводить Аню. Как она пошла без брата, не знаю. Она была старше меня, была сестрой милосердия и ходила в форме сестры, которая ей чрезвычайно шла. Что было ясно: она «учуяла» опасность и «бросилась наперерез». У нас с ней были общие поклонники, и, как я сказала, нас часто путали. Брат её не любил Гумилёва как поэта; он был поклонником Кузмина»¹⁰⁷.

Встреча Гумилёва с Ольгой (за спиной её подруги) состоялась в назначенный день и час – съездили на острова, посетили могилу супругов Ланских в лавре, ужинали в ресторане. *«Было сказано всё: и любовь на всю жизнь, и развод с Ахматовой, и стихи. Первые, что он прочёл обо мне: «Женский*

голос в телефоне, / Упоительно несмелый. / Сколько сладостных гармоний / В этом голосе без тела...» Стихи были длинные, я их не помню...»

Летом 1916 года Аня вместе с братом Александром гостила у тётки Нюты (сестры матери) и дяди Дементьевых в Иваново-Вознесенске. Её брат Александр вспоминал об этой поре: *«Жили они в собственном доме с чудесным садом, утопавшем в аромате цветов, окружённом старыми ветвистыми липами. Николай Степанович приехал к нам, как жених сестры, познакомился с её родными и пробыл у нас всего несколько часов...»*

Действительно, Гумилёв, возвращаясь из Ялты в столицу, в середине лета 1916 года заехал на несколько часов в Иваново-Вознесенск, чтобы, уединившись с очаровавшей его девушкой в беседке, объяснить ей в любви.

Вернувшись в начале осени в столицу, Аня вновь встретилась с Гумилёвым, о чём с простодушной откровенностью поделилась с сердечной своей подругой Олей Арбениной, поведавшей ревниво своему дневнику:

«Боже! Боже! Боже!.. Я встречаю Аню... И она торопится на свидание с Гумилёвым. А потом неожиданно встречаю их обоих. Он, кажется, улыбается. Но я презрительно прощмыгиваю, не глядя. Он ей писал о любви всё лето... (А она любит другого!) Он зовёт её в Америку... Он просит её... О, то же самое! Но она счастлива! Свободна! Любима! Любит! С письмами знаменитого поэта!.. Ей посвятил пьесу! Ей писал. О ней думал?! А я???»¹⁰⁷

В конце октября 1916 года Арбенина снова записывает в дневник: *«Проклятие! Он с Аней? С кем он? Сердце яростное, сердце глупое, молчи, молчи...»* Через месяц тоска опять овладевает ею, и она записывает 21 ноября: *«...Гумилёв под Ригой, на фронте. Злой! Любит другую! Целует другую! И обо мне памяти нет...»* Ещё через несколько дней, 24 ноября: *«Она пишет: „Гумилёв пишет с фронта, я была очень вероломной по отношению к нему; но всё же я его не очень не люблю!..“ Дрянь! А всё-таки она первая обратилась ко мне. И за что это мне, Господи! Мы в один день с нею познакомились: одинаково и очень обе ему понравились (это я наверное знаю); и вот – он пишет ей, а я забыта им, как снега прошлых зим, как зелень старых вёсен... Нежной и страстной я была в его руках! Я не отдалась ему, правда, – но и она не его любовница, конечно?.. Мне – мелкие радости, мелкие печали, мелкие волнения, – а ей – любовь и письма прекрасного, великого, бурного поэта!..»*

Не знала и не ведала простодушная Аня Энгельгардт, какие шекспировские страсти кипят в груди её близкой подруги, а если бы и узнала, то – в силу своей искренней и неискоренимой доверчивости – не поверила бы, что, делясь своим счастьем со своей наперсницей, она только подливает масла в огонь её страсти к Гумилёву, принуждает её заниматься самоистязанием на страницах дневника, как, к примеру, в строках, записанных несчастной влюблённой 30 ноября 1916 года:

«Он ей нравится. Хоть она и говорит – нет, как я. Он возил её на острова в автомобиле, они ели в «Астории» икру и груши...»

Он посвящает ей стихи и посылает розы! Поёт гимны её телу, как моему тогда... Он предлагал развестись с Ахматовой и жениться на ней; он страшно ревнует её к Рюрику. Они осенью катались, в музеи и концерты ходили, пока я томилась... Он меня не любит! Забыл! Он хочет под Новый год быть с ней»¹⁰⁷.

Действительно, появившись в Петрограде 27 декабря 1916 года, Гумилёв первым делом позвонил Ане и встретился с нею. Та, ошарашенная этим звонком, тут же сообщает о телефонном общении с любимым подруге, а та записывает в дневник: *«Не на радость, а на горе я ей звоню! Незадолго до меня был ей звонок: он. Он просит уделить ему «10 минут». Только что приехал с фронта...»*

Встречи поэта с Аней стали более частыми весной 1917 года, когда он приезжал с боевых позиций в Петроград. В это время, уже освободившись от чар венчанной супруги Анны Андреевны Ахматовой (или не сумев покорить её – в своём понимании этого победного термина), Гумилёв, кажется, уже определил Анну Энгельгардт как свою будущую жену.

Но события более важного порядка задержали исполнение этого брачно-го замысла. В начале мая 1917 года, когда большевики нагнетали в Северной столице военные страсти, Гумилёв был официально командирован в распоряжение начальника штаба Петроградского военного округа для отправки на Салоникский фронт. Учтя опыт сотрудничества с «Биржевыми ведомостями» во время службы в уланском полку, поэт решил стать военным корреспондентом и подписал контракт с недавно учреждённой газетой «Русская воля», назначившей ему гонорар в восемьсот франков в месяц.

В середине мая 1917 года Гумилёв покинул Петроград и – через Стокгольм, Осло, Берген и Лондон – прибыл в начале июля в Париж, где стараниями Ларионова и Гончаровой (внучатой племянницы Пушкина) был переназначен в распоряжение представителя Временного правительства при русских войсках во Франции. (В конце года Анна Ахматова, решившись на окончательный разрыв с Гумилёвым, оставила их общую квартиру в Петрограде и вместе с маленьким сыном Львом переехала в Царское Село.)

В начале 1918 года прапорщик Гумилёв согласно данному ему предписанию отправился в Лондон, где мог до конца дней своих задержаться, но, приняв решение вернуться на родину, в апреле того же года покинул Британские острова. И пока он перемещался по европейским пространствам, его догоняло (и никак не могло догнать) письмо от Ани Энгельгардт, отправленное ею ещё 30 ноября 1917 года:

«Милый, уже 1/2 года, что мы в разлуке. Мне иногда кажется, что это навсегда! Звать тебя сюда, Коля, настаивать, чтоб ты приехал, я не могу и не хочу. Это было бы слишком эгоистично. Ты знаешь, здесь в Петербурге сейчас гадко, скучно, все куда-то убегают. А там в Париже, вероятно, жизнь иная – у тебя интересное дело, милые друзья, коллекция картин, нет той грубости и разлухи, которая царит сейчас. Мне бесконечно хочется видеть тебя, я по-прежнему люблю только тебя, но лучше тебе быть там, где

приятно и где хорошо к тебе относятся. Может быть, война скоро окончательно кончится, и тогда ты и так приедешь сюда ненадолго. Я боюсь, и мне больно будет видеть твоё раскаянье, если ты приедешь сейчас сюда и ради меня, потому что здесь, действительно, тяжело жить! Ты зовёшь меня, милый, ты милый! Но я боюсь ехать одна в такой дальний путь и в настоящее время...»¹⁰⁸

Письмо добралось до Лондона только 3 июня 1918 года. Возвратившись домой и разойдясь окончательно с Анной Первой (так Гумилёв стал позже именовать первую жену), он занялся серьёзной предсвадебной осадой семейства Анны Второй (так он прозвал жену вторую). Он стал частым гостем в доме Энгельгардтов, задал его творчество, поклонника своего будущего тестя, подарками собственных – с обязательной дарственной надписью – произведений. К примеру, такой: *«Николаю Александровичу, учителю долгожданному, с глубокой любовью, Н. Гумилёв»*, или: *«Многоуважаемому и дорогому Н. А. Э. от преданного ему Н. Гумилёва. Урок четвёртый»*.



По этому поводу в воспоминаниях Николая Александровича Энгельгардта записано:

«Помню ёлку у поэта, где был, между прочим, известный писатель Корней Чуковский. Гумилёв читал мне две песни поэмы, которая потом пропала. Это были две картины: Китай и Индия. Поэма была необыкновенно талантлива. Поэту удалось уловить дух и всю противоположность культуры Китая и Индии. Я заинтересовал его Китаем настолько, что он взял у меня несколько уроков китайских иероглифов. Для «Фарфорового павильона» я дал ему кальки оригинальных китайских рисунков, взятых мною от одного конфуцианского ксилографа Университетской библиотеки. Они и воспроизведены в издании «Фарфорового павильона». Мы много беседовали, и, между прочим, об «озёрной школе», о Вордсворте, Соути, Кольридже. Моя мысль, что голубое, тихое озеро, окружённое мирной, прелестной обстановкой лугов, роц... вокруг которого жили поэты, было символом покоя поэтического труда – зеркала Вселенной... Вот почему поэт должен искать уединения, не может участвовать в политическом водовороте страстей. Мысль моя отчасти выражена Николаем Степановичем в предисловии к его превосходному переводу „Поэмы о старом моряке“ Кольриджа».

В пору предбрачного гона Николай Степанович задал своими книгами и невесту, оценивая её дарственными надписями как единственную и неповторимую: *«Ты мне осталась одна. Наяву / Видевший солнце ночное, / Лишь для тебя на земле я живу, / Делаю дело земное»* (или – подчёркивая

силу своей страсти: «Ане. Я как мальчик, схваченный любовью к девушке, окутанной шелками»).

В начале августа 1918 года, получив официальный развод с Ахматовой, Николай Степанович сделал предложение Анне Николаевне. Та от счастья не сказанного, на неё свалившегося, обомлела и немедленно согласилась, пообещав будущему мужу любить не только его, но и лишённого материнской заботы сына Гумилёва – Льва. В середине августа, поженившись, Гумилёвы уехали в Бежецк, где в ту пору жили мать поэта с внуком... Обрато они вернулись все вместе. Анна Ивановна Гумилёва с дочкой задержалась в Петербурге, где вскоре познакомилась со своими сватами – Энгельгардтами. Подруга молодой жены Ольга Арбенина по поводу случившегося была вне себя:

«Уже к исходу лета (или в середине?) Аня просила меня прийти к ней – она уже была замужем за Гумилёвым, даже приглашения (или оповещения) о свадьбе были отпечатаны по всем правилам, и она уговаривала: они оба так хотят, чтобы я пришла, – если бы я не пошла, она бы вообразила, что я ревную, а этого я не хотела показать, да, говоря правду, я была спокойна – шпоры не позванивали, шпага не ударялась о плиты, и нельзя было дотронуться до «святого брелка» – Георгия – на его груди. Он был в штатском, по-прежнему бритоголовый, с насмешливой маской на своём обжигающе-некрасивом лице. Тот – и не тот. Главное – время было другое! Проклятое время!



Я пошла. Они жили тогда на квартире С. Маковского. Помню длинную, большую комнату. Были ли картины, книги? Что ели, пили – не помню. А разговор? Он нёс, скорее, какую-то чепуху. Слегка подыздёвывался над моими королями и герцогами, и индийскими раджами. Помню, высказал мысль, что на свете настоящих мужчин нет, – только он, Лозинский и... Честертон.

И – обо мне – впервые всплыл образ валькирии. Почему? Мы тогда (в мае) не говорили о валькириях. Он сравнил меня с борющейся и отбивающейся валькирией, а Аню – с едущей за спиной своего повелителя кроткой восточной женщиной. Эти разговоры при жене казались мне шокирующими, несмотря на несколько ироничный тон Гумилёва...

Мы так засиделись, что пришлось «разойтись» и лечь спать. Аня уговаривала меня остаться. Опять – неловко отказаться, будто я боюсь. Комнатка с двумя почти детскими кроватями, беленькая, уютная, – верно детей Маковского. Аня устроила меня на одной (расположение помню) и удрала прощаться со своим супругом. Вернулась со смехом. «Слушай! Коля с ума сошёл! Он говорит: приведи ко мне Олю!» – Я помертвела.

Я не знаю, как я вытерпела выждать, пока она заснёт, и выбралась из незнакомой квартиры, которая теперь казалась мне пещерой людоеда»¹⁰⁷.

Вскоре после женитьбы Николай Степанович, в силу естественной особенности его тонкой поэтической натуры, ощутил, что в лице Анны Второй он приобрёл законную супругу, но, порвав с Анной Первой, потерял собеседника-поэта. Прежний, добрачный пыл его скоро угас, он всё реже и реже стал приезжать в семейное имение Бежецк – поначалу раз в два месяца, а то и реже, но не дольше чем на три дня. («Больше я не выдерживаю. Аня в каждом письме умоляет взять её к себе в Петербург, – признавался поэт своей ученице Ирине Одоевцевой, – но здесь ей будет не сладко. Я привык к холостой жизни... Конечно, нехорошо обижать Аню. Она такая беззащитная, совсем ребёнок. Когда-то я мечтал о жене – весёлой птичке-певунье. А на деле и с птицами-певуньями ничего не выходит...») Ирина Одоевцева отмечала по этому случаю: «Но была она премилая девочка, и жилось ей не только в Бежецке, но и в Петербурге нелегко. Гумилёв не был создан для семейной жизни. Он и сам создавал это и часто повторял: „Проводить время с женой так же скучно, как есть отварную картошку без масла“».)

Возможно, причину быстрого охлаждения Гумилёва к своей второй законной супруге следует искать и в особенностях его выбора предметов своей страсти, на которую указала Анна Андреевна Ахматова в беседе с Павлом Лукницким:

«А. А. много говорит о своих отношениях с Николаем Степановичем. Из этих рассказов записываю: на творчестве Николая Степановича сильно сказывались некоторые биографические особенности. Так, то, что он признавал только девушек и совершенно не мог что-либо чувствовать в женщине, очень определённо сказывалось в его творчестве: у него всюду – девушка, чистая девушка. Это его мания. А. А. была очень упорна – Николай Степанович добивался её 4, даже 5 лет. И при такой его мании к девушкам – эта любовь становилась ещё больше, если принять во внимание, что Николай Степанович добивался А. А. так, зная, что он для неё будет уже не первым мужчиной, что А. А. не невинна. Это было так: в 1905 году Николай Степанович сделал А. А. предложение и получил отказ. Вскоре после этого они расстались, не виделись в течение 1 1/2 лет и даже не переписывались...»

Весной 1907 года Николай Степанович приехал в Киев, а летом 1907 – на дачу Шмидта. На даче Шмидта были разговоры, из которых Николай Степанович узнал, что А. А. не невинна. Боль от этого довела Николая Степановича до попытки самоубийства в Париже...

В последние годы – студий, «Звучащих раковин», институтов – у Николая Степановича целый гарем девушек был... И ни одну из них Николай Степанович не любил. И были только девушки – женщин не было...»¹⁰⁹

О потере невинности с Гумилёвым рассказала Анне Андреевне Лариса Рейснер во время визита к поэтессе в голодном 1920 году. «Л. Рейснер пришла и в этот раз рассказала о Н. С., что она была невинна, что она очень

любила Н. С., совершенно беспмятно любила. А Н. С. с ней очень нехорошо поступил – завёл её в какую-то гостиницу и там сделал с ней „всё“».

Одним словом, жизнь вновь составившейся супружеской пары Гумилёвых потекла «по Надсону»:

Праздник чувства окончен... погасли огни,
Сняты маски и смыты румяна;
И томительно тянутся скучные дни
Пошлой прозы, тоски и обмана!..

Гумилёв снова стал бывать в Шереметьевском доме, где Ахматова прозябала в бытовых неудобствах со вторым мужем – Владимиром Казимировичем Шилейко, специалистом по ассирийской клинописи, к своей неустроенности и беспомощности безразличным. Здесь Николай Степанович читал свои новые и старые стихи, радовался общению с ним единосущными людьми. Скоро, уже на качественно новом положении оженившегося мужчины (и не однолюба), возобновил отношения с Ольгой Арбениной.

«Начался 1920 год. Январские морозы. Шёл «Маскарад». В антракте ко мне кто-то пришёл и попросил выйти... к Гумилёву... Мы пошли «своей» дорогой, т. е. «моя» дорога домой была теперь и «его» дорога – он жил на Преображенской. Что он говорил, не помню. Аня была отослана в Бежецк. Ему надо было прочесть мне новые стихи. «Заблудившийся трамвай». Неужели это переливало через край? Я была, как мёртвая, и шла, как овца на заклание. Я говорю сейчас и помню, что у меня не было и тени кокетства или лукавства. Уговорить зайти к нему домой, с клятвами, что всё будет спокойно, было просто. Я «уговорилась»... Были и другие стихи и слова. Я не помню. Но когда всё было кончено, он сказал страшное: «Я отвечу за это кровью». Он прибавил печально (и вот это было гораздо важнее): «Но я люблю всё ещё больше...»

Я не помню, почему я стала опять «бегать» от Гумилёва. Не помню, как он меня выследил и вернул... Мы много говорили, но, главное, о любви... Мы много ходили. Он велел мне креститься на церковь Козьмы и Демьяна на б. Кировной... Помню смешное: «Мне достаточно вас одной для моего счастья. Если бы мы были в Абиссинии, я бы только хотел ещё К. Чуковского – для разговора»... Разговор о возрасте. Он считал, что каждый человек имеет свой, коренной и иногда вечный, возраст. Так, у Ахматовой был возраст 15, перешедший в 30. У Ани – 9 лет. У меня тоже 15, перешедший в 18... О нём говорилось всегда очень много, как о заядлом Дон Жуане... Я равнодушно относилась к поездкам в Бежецк, где была его семья, и смотрела на Аню как на случайность... Он часто говорил мне: «Моё счастье! Как неистощимый мёд!»... Он оставлял мне записочки о встречах за зеркалом в Доме литераторов...

Я путаю месяцы. Приблизительно лето 20-го г. Было 2 приезда Ани или один? По-моему, более «раннее» лето – был А. Белый. Сколько я помню, на его вечере (или утре) (где?) – мы были вдвоём с Гумилёвым – Белый (которого я по стихам не любила и не по-

нимала) читал удивительно. Совсем как колдун. Даже необычнее, чем позже Мандельштам. А вот когда он был в гостях у Гумилёва, я сидела рядом с Аней за столом в большой столовой (почти никогда там не сидела) и слушала, как Белый разговаривал с Гумилёвым. О чём? Не помню абсолютно! Мы обе молчали, даже я. Обе с чёлками и выглядели, наверное, глупо, как Гумилёвские одалиски! Аня нисколько не держалась «хозяйкой дома».

Помню (как будто это было позже), Гумилёв сказал мне: «Сдадите экзамен на парижанку» (?). Или в этом роде что-то. До чего я фактически была податлива – мне важно было внутреннее сознание своей силы. Аня не меняла ничего – ведь я играла, уезжала за город. Куда-то мы ходили втроём. Куда-то на Потёмкинскую...

Я жила несколько дальше. Гумилёв сказал как-то повелительно Ане: «Ничего, добежишь» – и пошёл меня проводить до дома. Ничего похожего на «гаремность» не было.

Её можно было даже пожалеть. Сидеть в Бежецке и скушать!..»¹⁰⁷

В 1920 году у Гумилёвых родилась дочь, которую назвали Еленой. «Я не знаю, когда у Ани родилась дочка, Лена. Вернее, точно не знаю. Шли его пьесы (короткие)». Далее Арбенина оборвала свои отношения с Гумилёвым, к тому же на это была ещё одна причина – в конце 1920 года у неё случился стремительно-короткий роман с Осипом Мандельштамом, а затем, как пишет Ирина Владимировна Одоевцева, она окончательно и своеобразно устроила свою личную жизнь:

«Прежде Олечка находилась в орбите Гумилёва и часто сопровождала его, пока под новый, 21-й год не познакомилась с Юрочкой Юркуном и не стала неотъемлемой частью окружения Кузмина. С тех пор они всюду и везде появлялись втроём»¹¹⁰.

(Красивый литовский парень Юозас Юркунас, ставший русским писателем и художником-графиком, переименованный его любовником Михаилом Кузминым – из песни слов не выкинешь – в Юрия Юркуна, одновременно и с горячей взаимностью любил Ольгу Арбенину. Так и жили они долгое время любовным треугольником, ничуть не стыдясь своих взаимоотношений, в одной квартире. Первым умер Кузмин, потом арестовали – и расстреляли в 1938 году – Юрия Юркуна. Ольга Николаевна до конца дней своих, наступившего в 1980 году, оставалась одна.)

Неприятности ожидали Гумилёва не только в литературном обществе, но и дома. В Бежецке обстановка стала нестерпимой. Аня взбунтовалась. Не найдя общего языка со свекровью, она категорически потребовала, чтобы муж забрал её к себе. В середине мая 1920 года Гумилёв выехал в Бежецк, забрал жену с новорождённой дочерью, оставив сына Лёву на руках бабушки. На время супруги Гумилёвы поселились в Доме искусств, дочь Лену отдали в детский дом в Парголово, где детей сносно кормили и где заведующей была Татьяна Борисовна Лозинская.

В один из последних дней мая на встрече в Доме искусств Гумилёв познакомил жену с Корнеем Чуковским, оставившим по этому случаю ядовитую дневниковую запись:

«...его жена Анна Николаевна, урождённая Энгельгардт, дочь того забавного нововременского историка литературы... Гумилёв обращается с ней деспотически. Молодую хорошенькую жену отправил в Бежецк – в заключение, а сам здесь процветал и благоденствовал. Она там зачала, поблекла, он вытисал её сюда и приказал отдать девочку в приют в Парголово. Она – из безотчётного страха перед ним – подчинилась».

В 1921 году Гумилёв сделал подарок жене – на своём сборнике «Шатёр» написал:

Об Анне, пленительной, сладостной Анне
Я долгие ночи мечтаю без сна.
Прелестных прелестней, желанных желанней
Она!..

В ночь с 3 на 4 августа 1921 года Гумилёв был арестован по подозрению в участии в заговоре «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева». Владимир Николаевич Таганцев, российский географ, профессор, выпускник физико-математического факультета Петроградского университета; во время Первой мировой войны был начальником вьючного транспорта на Кавказском фронте. В первый раз он был арестован ВЧК в 1919 году за попытку тайно передать еду заключённым коллегам, устроившим протестную забастовку. Спустя три года он был взят под стражу уже по обвинению в руководстве одной из крупнейших и самой опасной для власти большевиков боевой контрреволюционной организации, включавшей в себя две группы – «офицерскую» и «профессорскую»¹¹¹. По этому поводу газета «Известия ВЦИК» в разделе «Раскрытые заговоры», в номере от 21 июля 1921 года, сообщила, что Петроградская губчека в начале июня раскрыла и ликвидировала крупный заговор. Контрреволюционная организация в этом сообщении именовалась «Областным комитетом Союза освобождения России», который, в свою очередь, состоял из «Боевого комитета», «Народного комитета», «Петроградской боевой организации» (ПБО). Руководителями заговора были названы профессор В. Н. Таганцев и бывший матрос В. И. Орловский. Сообщалось также, что по делу арестованы «сотни членов объединённых боевых и террористических организаций, обнаружены штабные квартиры, найден динамит, оружие, тайная типография, отобрана уличающая переписка». Следующая публикация, посвящённая «заговору Таганцева», появилась в «Известиях ВЦИК» 31 августа. В сообщении Президиума ВЧК от 29 августа указывалось, что «наиболее значительной из ликвидированных организаций является Петроградская боевая организация». Через день в газете «Петроградская правда» был опубликован доклад председателя Петроградской губчека Б. А. Семёнова на пленуме Петроградского совета – о составе и замыслах «Петроградской боевой организации», где сообщалось, в частности, что Таганцев предлагал «сжигать

заводы, истреблять жидов, взрывать памятники коммунаров» и что «из более чем 200 человек, причастных к ПБО, 90 % составляли „потомственные дворяне, князья, графы, бароны, почётные граждане, духовенство и бывшие жандармы“». Далее сообщалось, что 24 августа коллегия Петрогубчека постановила расстрелять шестьдесят одного участника организации; был опубликован также список расстрелянных заговорщиков, в котором третьим от начала значился Николай Степанович Гумилёв.

«Как будто об аресте я услышала на похоронах Блока. Напро- рочил себе Гумилёв – умереть за Блока!.. Мать Блока на кладбище подошла к Ане и поцеловала её. (Я, как всегда, приревновала, но я не думала, что Гумилёву скоро конец.)

Афиши (или как назвать?) были вывешены на улицах. Его фамилия была третьей. Пошли слухи – о приказе Ленина не допускать расстрела, и будто это – злая воля Зиновьева. Отомщение Зиновьеву пришло через 13 лет.

Было страшно – и не верилось до конца. На панихиде (около Казанского собора, ведь не было тела) Ахматова стояла у стены, одна. Аня – посередине, с чёрной вуалеткой, плачущая. Я подошла и её поцеловала... К Ане подошла одна. Она плакала, рассказывала, как его пришли арестовывать. Он её успокаивал, она целовала его руки. Он сказал: «Пришли Платона. Не плачь»...

В другой раз Аня рассказала об Ахматовой. Будто та пришла к ней и сурово заявила: «Вам нечего плакать. Он не был способен на настоящую любовь, а тем более – к вам». Я рассердилась и сказала: «Отбери у неё Лурье». (Лурье, бабник, ходит к Ане.)

...Аня вела себя «потом» нелепо... Она пыталась (на улице) выпытать из меня, было ли у меня что с Гумилёвым, потому что было странно с его стороны говорить с ней о разводе – ради кого, из-за чего? Потом она как-то сказала: «Как жаль, что вы разошлись. Он бы не влез в этот дурацкий «заговор», он не мог надолго уехать из Ленинграда (в 21 г.) – он бы без тебя соскучился».

В другое время она говорила о своём безбожии, чуть ли не повторяла «Ильич», стала заниматься в студии Вербовой. Заводила романы. О ней иронически писал К. Вагинов»¹⁰⁷.

(Поминаемый Арбениной прозаик и поэт Константин Константинович Вагинов – недолго, только тридцать четыре года, поживший – в 1928 году издал роман «Козлиная песнь», сделав его названием точную расшифровку слова «трагедия», означающего по-гречески «песнь козла». Роман этот, как образец «петербургской прозы», стал скандально известен благодаря заложенным в нём автором прототипам. В частности, в поэте и путешественнике Александре Петровиче Заэфратском читатели узнавали Николая Степановича Гумилёва, в Екатерине Ивановне Заэфратской – Анну Николаевну, жену Гумилёва.)

Трудно согласиться с современными публикациями, категорически утверждающими, что «дело Таганцева» было сфабриковано органами ЧК, ибо в них – безусловная односторонность, искажающая объективную реальность

прошлого. В историю своей страны должно вглядываться пристально, со спокойной совестью, с желанием понять, увидеть реальность во всей её сложности и неоднозначности. Защищая новый строй, большевики обрекали при этом на смерть и виновных, и безвинных – такова была жестокая суть классово-борьбы, вылившейся в форму противоестественной войны между однородными, принадлежавшими одному государству гражданами. Беспощадные же действия петроградских органов безопасности по нейтрализации вооружённого подполья, сформировавшегося после подавления Кронштадтского мятежа, вполне объяснимы с точки зрения защиты большевиками своего строя. Законы военного противостояния известны, и едва ли можно было ожидать от заговорщиков в случае их победы чудес всепрощения по отношению к шпионам и диверсантам побеждённого противника.

Профессор Таганцев принадлежал к кадетской партии, однако собственно политическая борьба со всеми ей присущими «бытовыми» особенностями была для него совершенно чуждой стихией. *«Взгляды Таганцева основывались на вере в интеллигенцию как силу, которая способна путём медленной целенаправленной деятельности сбросить ярмо большевизма. Если у Таганцева и был план, то состоял он не в создании боевой организации, в чём его обвиняли, а в медленной систематической работе над народной психологией. По свидетельству петроградского профессора Н. С. Тимашёва, Таганцев предполагал действовать в рамках советского закона, в чём он был последователем и учеником своего отца, убеждённого законника (профессор Петербургского университета, сенатор Николай Степанович Таганцев был одним из «столпов» русской дореволюционной юриспруденции). По мысли младшего Таганцева, сама незаконность советских законов должна неизбежно привести к упразднению иррациональных форм власти»¹¹².*



Кабинетный учёный с расплывчатыми политическими убеждениями, плохо разбиравшийся в людях и не имевший никаких навыков конспирации, профессор Таганцев мыслил свою организацию чисто теоретически. *«О заговоре Таганцева при всей их наивной идеалистической конспирации – знали (так же, как когда-то о заговоре декабристов) очень и очень многие. Сам Таганцев (как, впрочем, и Гумилёв) был прекрасендушен и по природе не заговорщик... Я даже знаю, как там всё было устроено: у них были ячейки по восемь человек, и Гумилёв стоял во главе одной из таких ячеек»*, – вспоминала Ирина Владимировна Одоевцева.

Владимир Николаевич Таганцев был арестован 5 июня 1921 года и сразу был пущен «в проработку». О жестокости чекистов в канун «таганцевского расстрела» свидетельствует Владимир Иванович Немирович-Данченко: *«О тех истязаниях и муках, которым подвергали обречённых агенты чрезвычайки, передают нечто невероятное... Я воздерживаюсь приводить здесь слухи, тогда волновавшие Петербург»*. После трёх недель усиленных допросов между Таганцевым и чекистом Яковом Сауловичем Аграновым был подписан договор, согласно которому представитель ВЧК со своей стороны обещал профессору гласный суд и неприменение высшей меры наказания,

а глава «профессорской группы Петроградской боевой организации» – выдать участников группы. «30 июля Агранов и Таганцев шесть часов ездили в автомобиле по городу, и Таганцев указывал адреса людей, причастных к организации. В ту же ночь было арестовано около 300 человек», – писал Павел Николаевич Милюков в эмигрантской газете «Последние новости», в октябрьском номере 1922 года.

Агранов и не думал держать данное слово. Таганцев, как и его жена, Гумилёв, десятки других участников заговора, общим числом девяносто шесть, были расстреляны. «Вина большинства расстрелянных характеризовалась такими выражениями, как „присутствовал“, „переписывал“, „знала“, „разносила письма“, „дал согласие“, „обещал, но отказался исключительно из-за малой оплаты“».

Ещё осенью 1921 года один из заключённых Дома предварительного заключения, что на Шпалерной улице, видел на стене камеры номер семь надпись на стене, сделанную рукой Гумилёва: «Господи, прости мои преступления, иду в последний путь». Существует легенда, согласно которой перед расстрельной пулёмётной очередью, выкурив последнюю в своей жизни папиросу, став в строй обречённых у наспех вырытой общей могилы, Николай Степанович произнёс: «Здесь нет поэта Гумилёва, здесь – офицер Гумилёв!»

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

(Борис Пастернак)

После расстрела мужа Анна Николаевна Гумилёва переехала с дочкой Леной к родителям; как-то пыталась устроить свою личную жизнь, что – с неизменной *cum grano salis* – отметила Ольга Арбенина:

«Раз пришла ко мне с „кавалером“. Это был длинный юноша, актёр, который в одной из поездок (на севере) таскал мои чемоданы, и я вела себя с ним повелительно! Он и тут смотрел на меня почти восторженно, а она как будто принимала его всерьёз...»

Ещё раз я видела её с дочкой – Леночкой – высокой, белокурой, с размытыми бледно-голубыми глазами – акварельной, хорошенькой дочкой Гумилёва. Та стеснялась, я спросила об учении. Аня не хвалила её – «разве что в затейники...» Дочь Гумилёва – в затейники?!.. Я чуть не подавилась.

И ещё раз – она сообщила о своей новой дочке – Гале – с чёрными глазами. От кого? Я ничего не спрашивала»¹⁰⁷.

Лена Гумилёва после окончания школы образование не продолжила – устроилась работать на почту. Анна Николаевна освоила профессию кукловода и некоторое время работала в театре «Синяя ширма»; после реорганизации театра она была уволена по сокращению штатов. Неудачной оказалась её попытка наладить личную жизнь с математиком Недробовым. От него она родила дочь Галину. Единственная из всех Энгельгардтов Галина уцелела

в годы войны, так как перед началом блокады Ленинграда была эвакуирована в глубинку вместе с детдомовскими детьми. Позже её удочерили родственники. Она окончила Институт культуры, работала в Челябинске в городской публичной библиотеке, родила сына Юрия и дочь Лену.

Часть четвёртая. Борис Михайлович Энгельгардт

Борис Михайлович Энгельгардт, сын Михаила Александровича Энгельгардта, племянник Николая Александровича Энгельгардта, двоюродный брат Анны Гумилёвой-Энгельгардт, родился в 1887 году в семейной усадьбе Батищево Смоленской губернии. По окончании Седьмой петербургской гимназии поступил в Петербургский университет. В 1909 году уехал в Германию, где четыре семестра изучал теорию познания, общую методологию науки и эстетику у известных немецких учёных-неокантианцев. В 1911 году вернулся в Россию и поступил на историко-филологический факультет столичного университета. После его окончания, в 1914 году, пытался перейти на военную службу – поступил в Павловское училище, в лейб-гвардии Кексгольмский полк, но вскоре по болезни был переведён в Петербург.



После революции четыре года Борис Энгельгардт преподавал в Вологодском институте народного образования; вернувшись в Ленинград, стал профессором словесного факультета Института истории искусств. Начиная с тридцатых годов, после разгрома российского литературоведения, он работал только как переводчик. Был женат на Наталье Васильевне Гаршиной, племяннице писателя Всеволода Михайловича Гаршина.

В 1930 году Борис Михайлович был арестован по «академическому делу», сфабрикованному ОГПУ против учёных Академии наук, тогда располагавшейся в городе на Неве. (Узнав об аресте мужа, Наталья Васильевна Энгельгардт покончила с собой – выбросилась в лестничный пролёт.) Всего тогда было арестовано свыше ста человек, специализировавшихся преимущественно в области гуманитарных наук. К делу были привлечены также уже находившиеся в ссылке или заключении историки и краеведы, в том числе Николай Павлович Анциферов. Открытый процесс по делу так и не состоялся. Судьбу арестованных решила во внесудебном порядке комиссия ОГПУ своим постановлением от 8 августа 1931 года. Энгельгардт (как и Анциферов) был выслан на Север, на строительство Беломорско-Балтийского канала. Из ссылки Борис Михайлович вернулся в 1932 году. Официально он проживал в Малой Вишере, хотя практически находился в Ленинграде.

Одну из встреч с ним в это время описал Николай Павлович Анциферов:

«Прошло ещё около года. На Пятницкой меня навестил проф. Б. М. Энгельгардт. Я с ним встречался раза два. Он сказал, немножго смущаясь: «Мне хотелось проверить одну догадку. Я сидел в ДПЗ в одиночке и там прочёл надпись:

*Смерть и Время царят на земле, –
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.*

Эту запись сделали вы?»

– Да, я»¹.

В октябре 1934 года Борис Михайлович вторично женился – на поэтессе Лидии Михайловне Андриевской; проживали они на улице Кировной, в доме номер восемь. Их друзьями были Лидия Гинзбург, Михаил Лозинский, Юрий Тынянов, Виктор Шкловский, Анна Ахматова.

Умер Борис Михайлович Энгельгардт 25 января 1942 года в блокадном Ленинграде. О его страшной кончине рассказал востоковед Александр Николаевич Болдырев, описывая последние дни переводчика Адриана Антоновича Франковского, вынужденно зашедшего к супругам Энгельгардт и вместе с ними нашедшего там смерть. От рассказа этого – волосы встают дыбом!

«Когда ушёл он – неизвестно, известно лишь, что около 12 ч. В ночь с 31-го на 1-ое февраля он шёл по Литейному на угол Кировной и ощутил такой упадок сил, что вынужден был отказаться от мысли дойти до дому. Он свернул на Кировную, чтобы искать приюта у Энгельгардтов (дом Анненишуле), но по лестнице подняться уже не мог. Упросил кое-кого из прохожих подняться до квартиры Энгельгардта, известить их. Было 12 ч. В это время испустил дух на руках у жены сам Энгельгардт. Она, больная, температура 39, крупозное воспаление лёгких, сползла вниз (прохожие отказались помочь) и стащила А. А., уложила его на ещё тёплый диван Энгельгардта. Там он лежал и там умер 3-го утром. Жена Энгельгардта кого-то просила передать, чтобы зашли к ней знакомые его, узнать обо всём. Сразу они не смогли, а когда зашли, числа 7-го, 8-го, обнаружили, что жена Энгельгардта тоже умерла накануне. По-видимому, перед смертью ей удалось отправить в морг Дзержинского района тела Энгельгардта и Франковского вместе, на одних санках».

Похоронили Бориса Михайловича Энгельгардта на Большеохтинском кладбище, в общей могиле с женой, умершей через несколько дней после него. Вскоре, в феврале 1942 года, участь Бориса Энгельгардта разделил его дядя Николай Александрович Энгельгардт, за ним умерли от голода его жена Лариса Михайловна, дочь Анна. Его внучка Лена, дочь Анны Энгельгардт и Николая Гумилёва, умерла последней.

Братья Комаровские

В списке потомков графа Евграфа Федотовича Комаровского, посетившего Умань и парк «Софиевка» осенью 1812 года, немало достойно отметившихся на скрижалях отечественной истории. Но кажется мне, что наиболее

выдающиеся из них – два его правнука, родные братья: поэт серебряного века Василий Алексеевич Комаровский и художник-иконописец Владимир Алексеевич Комаровский.

Часть первая. Поэт Василий Алексеевич Комаровский

Удивительна и необычна судьба города Пушкина, изначально именовавшегося Царским Селом. Развивавшийся в течение двух веков как загородная царская резиденция, ставший памятником русской архитектуры и садово-паркового искусства восемнадцатого века, он к концу века девятнадцатого стал средой обитания поэтов, писателей, деятелей отечественной культуры.

О нём, городе муз, Анна Ахматова писала: *«Здесь столько лир повешено на ветки»*. В нём, располагающем к высокому творчеству пригороде Северной столицы, в разное время проживали многие разновеликие деятели русской культуры, отдавая предпочтение Малой улице – тихой заснеженной зимой, утопающей в зелени летом. На этой улице (если очень коротко) жили художник Павел Александрович Брюллов; поэт, филолог-эллинист, переводчик и педагог Иннокентий Фёдорович Анненский (служил он директором Николаевской мужской гимназии, на ступеньках Царскосельского вокзала скоропостижно скончался в ноябре 1909 года и был похоронен на местном Казанском кладбище); поэты и некоторое время супруги – Анна Ахматова и Николай Гумилёв; поэт Всеволод Александрович Рождественский; писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк; писательница Ольга Дмитриевна Форш, урождённая Комарова; поэт, прозаик Георгий Иванович Чулков...

В Царском Селе, в его Лицейской церкви, 5 февраля 1914 года обвенчались Николай Анциферов и Татьяна Оберучева: *«Так Царское Село – город Пушкин – вошёл в нашу жизнь. Деревянный особняк с чудесным садом на Малой улице сделался тем местом, где продолжались встречи с бывшими эрмитажниками. И в последний день Масленицы, как и в былые годы, садились мы в сани с бубенцами и уносились в снежные дали, которые так манят с вершины Царскосельского холма»*¹.

По соседству с помянутым культурным центром Царского Села, на улице Магазиной (в доме Палкина), в начале двадцатого столетия и проживал поэт Василий Алексеевич Комаровский. Ныне числящийся в истории русской культуры полузабытым, он достойнейшим образом отмечился в ней как поэт серебряного века, и прижизненную оценку его творчеству, точную и лаконичную, дала – как навеки отчеканила – Анна Андреевна Ахматова: *«Да, знать Комаровского – это марка»*. Природа, по её одной ведомым законам наследственности, наделила его поэтическим даром и одновременно основательно обделила здоровьем, так что всю свою недолгую жизнь он творчеством своим пересиливал её страдательную часть, подтверждая истину, что талант человека вырастает из его одарённости за счёт труда и терпения.

Мэтр позднего символизма, давший ему новое течение в форме акмеизма, Николай Гумилёв, по свидетельству Георгия Адамовича, незадолго до своего ареста говорил ему: *«Единственный подлинный великий поэт среди символис-*

тов – Комаровский». В оценке этой Гумилёв будто сконцентрировал ранее им сделанный анализ творчества поэта на основе его первого (и, увы, последнего) поэтического сборника «Первая пристань», опубликованного в 1911 году:

«О „Первой пристани“, книге стихов гр. Василия Комаровского, вышедшей в начале этой осени, до сих пор я нашёл только одну рецензию, поверхностную и недоброжелательную. Книга, очевидно, не нашла успеха, и это возбуждает горькие мысли. Как наша критика, снисходительная ко всем без разбору, торжествующая все юбилеи, поощряющая все новшества, так дружно отвернулась от этой книги не обещаний (их появилось так много неисполненных), а достижений десятилетней работы несомненного поэта?»

Гр. Комаровский не заставляет нас следить за этой работой. Всего шесть, семь стихотворений, ранних и слабых, показывают нам, какой путь он прошёл, чтобы достичь глубины и значительности его теперешних мысли и формы. Все стихи с 1909 года – уже стихи мастера, хотя отнюдь не учителя. Учителем гр. Комаровский, по всей вероятности, не будет никогда, самый характер его творчества, одинокого и скупого, помешает ему в этом. Под многими стихотворениями стоит подпись «Царское Село», под другими она угадывается. И этим разгадывается многое. Маленький городок, затерянный среди огромных парков с колоннами, арками, дворцами, павильонами и лебедями на светлых озёрах, городок, освящённый памятью Пушкина, Жуковского и за последнее время Иннокентия Анненского, захватил поэта, и он нам дал не только царскосельский пейзаж, но и царскосельский круг идей:

*Где лики медные Тиверия и Суллы
Напоминают нам угрюмые разгулы,
С последним запахом последней резеды,
Осенний тяжкий дым вошёл во все сады,
Повсюду замутил золоченные блики.
И чёрных лебедей испуганные крики
У серых берегов открыли тонкий лёд
Над дрожью новою тёмно-лиловых вод.*

Читая эти строки, вспоминаешь, и радостно вспоминаешь, Анри де Ренье и И. Анненского. Близость по духу ещё не есть ученичество. И самая мысль, столь блестяще осуществлённая, – слить эстетическую наблюдательность французского поэта с нервным лиризмом русского, указывает на творческую самостоятельность гр. Комаровского»¹¹³.

Граф Василий Алексеевич Комаровский – прямой наследник и правнук графа Евграфа Федотовича Комаровского, внук графа Егора Евграфовича Комаровского и графини Софьи Владимировны Комаровской, сестры поэта Дмитрия Владимировича Веневитинова, – родился 21 марта 1881 года в Москве в семье действительного статского советника, шталмейстера императорского двора графа Алексея Егоровича Комаровского и его супруги Александры Васильевны, урождённой Безобразовой.

Первые годы своего супружества молодые Комаровские в летнее время жили преимущественно в усадьбе Лизино Тульской губернии, принадлежавшей Василию Григорьевичу Безобразову, отцу Александры Васильевны.



Алексей Егорович
Комаровский

В середине восьмидесятых годов Василий Григорьевич прирастил свою недвижимость – купил большую дачу в Ялте и переехал туда с семьёй. Дачный дом, основательно построенный, с балконами на двух этажах и прилегавшим к нему большим садом, удобно располагался на возвышенности, неподалёку от дачи эмира Бухарского. За тестем потянулся в Крым и его зять, также купивший в Ялте, в 1885 году, участок и построивший на нём двухэтажную дачу. Будучи хорошим художником-любителем, он даже собирался сам расписать в новокупленном доме гостиную, для чего брал уроки фресковой живописи у художника-итальянца.

Но все эти планы сломала неожиданная болезнь его жены. После рождения второго (Юрия – в 1882 году) и третьего (Владимира – в 1883 году) сыновей в возрасте двадцати восьми лет Александра Васильевна заболела



душевно и, по причине своего неадекватного состояния, была помещена в частную психиатрическую клинику, из которой не выходила почти два десятка лет, вплоть до своей кончины в 1904 году. Дети навсегда остались без матери; напоминал о ней единственный снимок, на котором все они втроём – с обнимающей их мамой.

Вскоре материнская наследственность проявилась у первенца – у Василия Комаровского начались припадки детской эпилепсии, случавшиеся неожиданно и сопровождавшиеся мучительными судорогами; во время обострения они повторялись до двенадцати раз в день. Оберегая старшего сына, отец, по возможности, не хотел его в чём-то выделять, поэтому братья жили в Москве замкнуто, на попечении воспитывавшей их Лидии Михайловны Балкашиной, бывшей неотлучно при детях. Вместе с ней в сентябре 1893 года Василий Комаровский проходил курс лечения бромом и ваннами в Швейцарии. В те годы Алексею Егоровичу было предложено место смотрителя Дома дворянских вдов и сирот в Москве, на улице Садово-Кудринской. Предложение он принял и переселился в этот дом вместе с детьми. Лето братья проводили у дедушки в Лизино, а позднее, и чаще всего, в его «главной» усадьбе Ракше, находившейся в Моршанском уезде Тамбовской губернии.

В 1898 году Алексей Егорович, получив место управляющего дворцом принца Ольденбургского, переехал с детьми в Петербург и поселился с ними у сестры, фрейлины двора, Любови Егоровны Комаровской по адресу: улица Преображенская, дом тридцать, квартира восемь. Через год он тяжело заболел и вместе с сестрой отправился поправлять здоровье в Египет. Братьев Комаровских на это время забрал к себе в Ялту их дед по матери – Василий Григорьевич Безобразов; ребята некоторое время учились в местной гимна-

зии. После смерти отца от рака в 1899 году Василий Комаровский вернулся в Москву и зачислился приходящим воспитанником в Московский императорский лицей в память цесаревича Николая, который окончил в конце весны 1900 года. Переехав вторично в Петербург, он летом того же года поступил на юридический факультет Петербургского университета. Вместе с братьями, обучавшимися в гимназии Гуревича, он жил поначалу на Галерной улице. В это время с ним познакомился Юрий Александрович Олсуфьев; молодые люди сблизились, подружились, часто встречались.

«Мы как-то очень скоро с ним сблизились. После петербургского безыдейного англоманства меня привлекли в нём широта мысли и изящная, творческая оценка окружающего. Его талантливость, его тонкое понимание русского общества и течений русской мысли, конечно, ставили его неизмеримо выше моего петербургского товарищества и выше той природной среды, в которой я воспитывался. В нём живы были старые дворянские литературные традиции пушкинского времени, которые одновременно были традициями семьи, связанной дружбой с Пушкиным...»¹¹⁴

Пожив некоторое время на Галерной улице, Василий Комаровский переехал в Косой переулок, дом тринадцать, откуда отписал тётушке Любови Егоровне, поселившейся в Царском Селе, о начале своей студенческой жизни: *«Давно собираюсь писать тебе, дорогая тётя, но всё не могу сесть и писать, так как благодаря петербургской сутолоке вообще... мало сижу дома. Жизнь моя идёт очень гладко, квартира прелестная, со мной очень милы, множество новых знакомств и т. д. Университет посещается, хотя и не так усердно, как в начале. На днях надоумился и взял абонемент в итальянскую оперу, которая будет здесь с января... Братья пишут довольно редко, но прислали с Володей Безобразовым два прелестных старинных татарских полотенца. Бабушка прислала мне запонки из хризопраста, что теперь очень в моде. В Ялте осенью было очень весело, теперь же приходится подзаниваться. Непременно еду в Ялту в декабре...»¹¹⁴*

Летом следующего, 1901 года студент Комаровский вместе с дедушкой, тётушкой и братьями совершил ознакомительно-образовательную поездку в Германию – в Шварцвальд и Дрезден, где посетил картинную галерею. По возвращении в Петербург он оформил перевод на историко-филологический факультет университета, после чего на два месяца уехал лечиться в Швейцарию. Летние каникулы 1902 года Василий Комаровский провёл в усадьбе деда – Ракше, а в августе – сентябре того же года повторил курс лечения в Швейцарии, откуда уехал погостить к Косиковским в их имение Гунчу Житомирской губернии. Гостеприимной хозяйке Аполлинарии Владимировне Косиковской он посвятил своё, кажется первое опубликованное, стихотворение, помеченное 1903 годом:

Сад сегодня тихой дрожью
И туманом весь окутан,
Вялый лист к его подножью
Обронён и перепутан.

Он шумит, шумит широко,
Лес дубовый, лес соседний.
Как печальна, как глубока
Эта песнь в тоске последней.

Милый друг уехал в поле,
За волками, наудачу.
Я гадаю поневоле...
Ну, а вечером – поплачу¹¹⁴.

Межродовая связь между Комаровскими о Косиковскими образовалась через двоюродную сестру отца Василия Комаровского – Марию Алексеевну Комаровскую («тётю Марусю»), урождённую Веневитинову, вышедшую замуж за Владимира Владимировича Косиковского («дядю Касю»), камергера двора, действительного статского советника. Их дети Алексей (Алекс), Дмитрий (Митя), Александра (Дина) и адресат первого стихотворения начинающего поэта – Аполлинария (Лина) были очень дружны с братьями Комаровскими. О приятном времяпрепровождении с троюродным братом Аполлинария позже рассказала в письме его тётушке, Любови Егоровне: *«Погода тут большею частью чудесная, тёплые, ясные дни; до самого отъезда Васи мы каждый день делали длинные прогулки, которыми я наслаждалась, и особенно как-то удачна и симпатична была последняя, хорошо как-то говорилось, впрочем, вообще на этот счёт у нас с Васей не хромало. Мы с Диной иногда порядочно к нему приставали, но и отдаём дань его чудесному характеру, а его сердечность и доброта разве только твоей превосходятся...»*



Впрочем, хотя свой первый поэтический опус Василий Комаровский посвятил Аполлинарии, был он (как считали в семье) равнодушен к её сестре Александре, первой фрейлине великой княжны Ольги Александровны. (В фрейлинах Дина Косиковская побыла недолго. После того как в неё влюбился великий князь Михаил Александрович, младший брат Николая II, и попытался – в 1907 году в итальянском Сорренто – с нею бежать и тайно обвенчаться, она была отставлена от фрейлинской должности.)

К 1903 году относится и первая, совершенно блистательная, проба пера Комаровского в переводе французского поэта Шарля Бодлера – его «Путешествия»:

Мир прежде был велик, – как эта жажда знания,
Когда так молода ещё была мечта.
Он был необозрим в надеждах ожидания!
И в памяти моей – какая нищета!
<...>
Младенческий вопрос! Всемирного обзора
Хотите знать итог – возможно ли забыть,

Как надоела нам, в извилинах узора,
Бессмертного греха мелькающая нить.
<...>

Из долгого пути выносишь горечь знания!
Сегодня и вчера, и завтра – те же сны.
Однообразен свет. Ручьи существования
В песчаных берегах ленивы и грустны...

(Ещё один известный стихотворный перевод Комаровского – «Ода к греческой вазе» – датирован 1913 годом: *«Ты цепенел века, глубоко спящий, / Наперсник молчаливой старины / Вечно-зелёный миф!..»*)

Неизвестно, когда Василий Алексеевич начал писать свой прозаический текст под названием “Sabinula”, известно только, что появился он – размером только в двадцать страниц – для читающей публики в 1912 году в «Литературном альманахе» журнала «Аполлон». Поразительной чертой этого текста, и сейчас удивляющего исследователей творчества Василия Комаровского, является *«поразительное сочетание краткости с объёмом вмещаемого в него материала, позволяющего восстановить синтетическую картину одного из эпизодов римской истории, когда Империя, которой предстояло просуществовать более трёх с половиной веков, была ещё достаточно сильной»*. В этом рассказе (названном по имени коня императора Калигулы) воссоздан эпизод из жизни Римской империи второго столетия нашей эры, во главу которого поставлен историк Тацит: *«Этот Тацит жил одними воспоминаниями и в деньгах нуждался только поскольку они обеспечивали ему свободу. Говорили, что за последние царствования он насмотрелся всякой всячины и спешил записать всё, что видел и слышал; говорили также, что в своих записках он относится немилосердно к памяти императрицы Агриппины и сваливает на приверженцев Понпеи восстание испанских легионов и самую смерть императора Нерона»*. Редактор журнала «Аполлон» Сергей Константинович Маковский в своих мемуарах «На Парнасе Серебряного века» с восторгом оценил эту историческую стилизацию Комаровского: *«Словесная музыка её поражает благородством тона, выбором слов, эпитетов – всем холодком самоотречения, краткостью и меткостью»*¹¹⁴. (Ещё одно прозаическое произведение Комаровский подготовил к печати – роман «До Цусимы», но не сдал его в печать, не желая, по его словам, *«ссориться с династией»*.)

Не только историческую ретроспективу Древнего Рима тонко понимал и умно восстанавливал Василий Комаровский. С таким же искусством в 1913 году он поэтически описал современную ему Италию, никогда им не виденную. В последнее трудно поверить, перечитав его поэтический цикл «Итальянские впечатления», взяв из него для примера только такой стихотворный пассаж:

В гостинице (увы – в Неаполе!)
Сижу один, нетерпелив.
Дробинки горестно закапали,
И ошетинился залив.

Над жерлом хмурого Везувия,
Уснувшего холостяка,
Как своды тяжкие Витрувия –
Гроза клубилась в облаках...

В очередной раз съездив на лечение за рубеж – осенью 1905 года в Германию, в санаторий «Робенберг», – Василий Комаровский, почувствовав окончательно, что его тяжкая хворь несовместима с учёбой, в мае 1906 года покинул университет и до конца года отдыхал в любимой Ракше, которой посвятил одно из своих стихотворений:

Осенней свежести благоуханный воздух,
Всепроникающий, дарует сладкий роздых,
Балует и поит родимым молоком...
Под алебастровым и пышным потолком
Висит широкая, померкнувшая люстра.
В огромной комнате торжественно и пусто.
Квадратами блестит дубовый, светлый пол...
Но сдвинут в малый круг многосемейный стол,
И – праздные следы исчезнувшего улья –
Расставлены вдоль стен разохшиеся стулья...

(Поминаемый далее в этом стихотворении Павел Михайлович Глазов в качестве адъютанта Светлейшего князя Потёмкина участвовал в Русско-турецкой войне 1768–1774 годов; позже был московским, потом – санкт-петербургским обер-полицмейстером. Выйдя в отставку в 1797 году, получил от императора Павла I в подарок имение Ракшу. Прадед Василия Комаровского по материнской линии Григорий Михайлович Безобразов женился на дочери Глазова, получившей Ракшу в приданое. Родившийся в этом браке Василий Григорьевич Безобразов – дед братьев Комаровских.)

После основательного отдыха в имении деда, куда его неудержимо влекла старинная усадебная библиотека, Василий Комаровский в конце 1905 года переехал в Царское Село, где поселился у тётушки Любви Егоровны, на улице Магазиной (в доме Палкина).

Я начал, как и все – и с юношеским жаром
Любил и буйствовал. Любовь прошла пожаром,
Дом на песке стоял – и он не уцелел.
Тогда, мечте своей поставивши предел,
И Питер променял, туманный и угарный,
На ежедневную прогулку по Бульварной.
Здесь в дачах каменных – гостеприимный кров
За революцию осиротевших вдов.
В беседе дружеской проходит вечер каждый.
Свободой насладись – её не будет дважды!
Покоем лечится примерный царскосёл,
Гуляет медленно, избавленный от зол,
В аллеях липовых скептической Минервы...

Прогулки по царскосельским улицам, скверам, паркам (в том числе по Бульварной улице, на которой размещался вдовый дом) стали излюбленным занятием Василия Алексеевича. Был он по натуре человеком очень добрым, что скоро уловили психологически чуткие на таких людей городские бродяги. Во время прогулок поэта эти типы караулили его на каждом перекрёстке, зная, что он никому не откажет в гривеннике-другом. Такая ситуация очень смущала Комаровского, и он говорил с деланным возмущением: *«Эти мерзавцы избрали меня своим царём»*.

Но были у Василия Алексеевича прогулки совсем иного рода: *«Психическое расстройство его было периодично, и тогда его из дому (пожилая тётушка и лакей Дмитрий) не выпускали. Так как он рвался всё-таки выйти, у него отбирали сапоги. Однажды, чуть ли не зимой, он в одних носках бродил по Царскому Селу, и его с трудом водворили домой; в другой раз в состоянии затмения он решил навестить даму, которая именно в этот день рожала. Его с трудом уговорили покинуть её квартиру и вернуться домой»*¹¹⁴.

Лето 1907 года Комаровский провёл в любимой Ракше, разнообразив своё пребывание в ней поездкой в Дивногорский монастырь на раскопки городища аланов, что нашло отражение в письме тётушке: *«Впрочем, был на днях в Дивногорском монастыре, не на богомолье, а на раскопках археологической комиссии. Там найдено городище аланов, был такой народ, который переселялся, весь городок высечен в меду. Ехали мы 3 дня, с 18 рабочими, нашли массу черепков, 3 бусы и один каменный топорик»*. Конец этого года он провёл в недавно открывшейся частной психиатрической клинике доктора Альбина Гавриловича Конасевича, на Каменном острове. Весну 1908 года прожил в Австрии, в курортном городке Мильштатте, где остановился у своего дядюшки Николая Егоровича Комаровского; часто бывал в Вене.

Бесценным источником сведений о быте и творчестве графа Комаровского в его царскосельскую пору являются воспоминания о нём сотоварищей по творчеству, литературных критиков. Один из них – Николай Николаевич Пунин, 1888 года рождения, выпускник Царскосельской гимназии, с 1913 года – сотрудник журнала «Аполлон», ради которого он отказался от университетской карьеры, с 1923 года – третий, гражданский, муж Анны Ахматовой. Из его дневниковых записей можно узнать о месте проживания Комаровского в Царском Селе после ухода того из университета в 1906 году, а также об особенностях его внешности и нюансах творчества.

«Он жил с тёткой („тётей Любой“) в небольшой двухэтажной квартире на Магазейной улице. По скрипучей деревянной лестнице можно было подняться в спальню. Внизу был небольшой кабинет. Лакей Дмитрий, в серой тужурке, открывал парадную дверь, лаял фокс Джек; а если Комаровского не было в кабинете, то Дмитрий шёл наверх, и через некоторое время я слышал, как Василий Алексеевич тяжело и с шумом спускался и, ещё не войдя в дверь, своим гортанным, немного хриплым голосом говорил: «Здравствуйте, Николай Николаевич». Это был высокий, широкоплечий, сутулившийся человек, с коротко остриженной головой; бритое апоплексическое лицо; карие, добрые, живые, странного взгляда, глаза.

Время от времени Комаровского постигало безумие, поэтому он жил, избегая сильных впечатлений, в царскосельском уединении. Наши дружеские беседы в его кабинете (иногда мы ходили по Екатерининскому парку, огибая озеро), как и все мои дружеские беседы с мужчинами, обычно не выходили за пределы искусства. Василий Алексеевич обладал тонким, избранным вкусом, в то время как я с ним познакомился, почти не тронутым модернизмом. Это был характерный представитель русского классического образования; он знал латынь и любил читать Цезаря; прекрасно, разумеется, знал французскую классическую литературу».

О жизни с тётушкой Любовью Егоровной Комаровской в доме Палкина её племянник пишет в письме – от 13 апреля 1911 года – к собрату по творчеству, поэту-символисту Алексею Дмитриевичу Скалдину: «...*приезжайте пораньше – сделаем хорошую прогулку, здесь такие красивые места. Вы будете у нас завтракать и обедать. Я живу со старой тётушкой, очень гостеприимной*». Ко времени написания этого письма у его автора сформировался царскосельский круг друзей – поэтов, литераторов, художников, с Гумилёвым и Ахматовой во главе этого неформального творческого союза.

Начальная связь Николая Степановича Гумилёва с Царским Селом установилась на исходе девятнадцатого века и длилась несколько его детских лет. Вторично вернувшись в город, в 1903 году, он учился в местной Седьмой гимназии, причём настолько плохо, что его, однажды представленного к отчислению, вынужден был спасти её директор Иннокентий Анненский, дипломатично предложивший оставить нерадивого гимназиста на второй год.

В годовалом возрасте, в 1890 году, вместе с родителями уехала из Одессы и поселилась в Царском Селе Анна Андреевна Горенко: «*Мои первые воспоминания – царскосельские: зелёное, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пёстрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в „Царскосельскую оду“*». Училась будущая поэтесса Анна Ахматова в Мариинской женской гимназии и, как и её будущий муж, программу классической гимназии поначалу одолевала с трудом: «*Училась я в Царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно*».

Известно, что при содействии общих гимназических друзей Анна Горенко и Николай Гумилёв познакомились 24 декабря 1902 года, а весной 1904 года он признался ей в любви и только спустя шесть лет смог с ней обвенчаться: «*25 апреля 1910 года я вышла замуж за Н. С. Гумилёва и вернулась после пятилетнего отсутствия в Царское Село*». После свадебного путешествия в Париж молодожёны поселились сначала в квартире на Бульварной улице, а в 1911 году (после возвращения Гумилёва из Африки) – в доме матери поэта, на Малой улице.

О знакомстве Анны Ахматовой с Комаровским вспоминал в своей дневниковой записи от 12 марта 1925 года Николай Пунин (называя поэтессу сокращённым «*Ан.*»): «*Мне рассказывали о знакомстве Ан. с гр. Василием Комаровским. Гр. Комаровский познакомился где-то с Гумилёвым и сделал ему визит в доме по Бульварной улице. Ан. не было дома. Когда она пришла, Комаров-*

ский встал, широко поклонился и, подойдя своей тяжёлой походкой, сутулясь, к руке Ан., сказал: „Теперь судьбы русской поэзии в Ваших руках“».

Гумилёв познакомился с Комаровским ещё до своей женитьбы, осенью 1908 года, на квартире супругов Ольги Людвиговны и Дмитрия Николаевича Кардовских, художников, в 1907 году переехавших из Петербурга в Царское Село. Василий Алексеевич был частым гостем этой семьи, его портрет сангиной, в технике гризайль, исполнила Ольга Людвиговна (её полная фамилия Делла-Вос-Кардовская), позже описанный искусствоведом Юлией Комаровой:

«На портрете, сделанном сангиной, В. Комаровский изображён почти фронтально, хотя голова слегка повернута вправо, но пристальный взгляд направлен прямо на зрителя. Фигура дана погрудно, но детально проработаны сангиной только голова, галстук, воротник рубашки, туго облегающий шею. Остальное исполнено обобщённо, лишь намечено линиями и штрихами.



Подчёркнутый легчайшими прикосновениями мела, воротник подсвечивает лицо, нарисованное с тщательной проработкой черт. Лоб поэта высокий, красивых и благородных очертаний, но во взгляде сквозит напряжение, брови нервные и неровные, словно чуть подрагивают. Асимметрия лица усилена высветлением левой и затемнением правой половины. Изображение лаконично, несколькими линиями и штрихами плечи, одно из которых приподнято, а другое – заметно опущено, вместе с подчёркнутой асимметрией черт лица и беспокойным и одновременно сосредоточенным выражением создают ощущение душевной неустойчивости, почти неуравновешенности. Вместе с тем в манере исполнения портрета присутствует момент тяготения к классичности, к своеобразной неоклассике, находящей отклик в поэзии самого Комаровского, имеющей определённую классицизирующую направленность.

В то же самое время портрет созвучен тому образу поэта, который рождается при чтении его стихов и возникает в воображении при знакомстве с некрологом Н. Н. Пунина, опубликованным в журнале «Аполлон» после внезапной кончины Комаровского. Близость образа, созданного в графическом портрете, к впечатлениям, рождающимся от некролога Н. Н. Пунина, позволяет говорить о точности характеристики Василия Комаровского в работе художницы. Вероятно, Делла-Вос-Кардовская хорошо понимала и точно передала психологические особенности, психический склад и душевное состояние поэта. При этом в рисунке заметны теплота, сочувствие. Бесспорно, в портрете должны были преломиться и воплотиться те душевные чувства, что соединяли семью художников Кардовских с поэтом и его тёткой Л. Г. Комаровской».

Знакомство Анны Ахматовой с супругами Кардовскими (позже отмеченное Ольгой Людвиговной портретом поэтессы), согласно дневниковым запи-

сям их дочери, Екатерины Дмитриевны, состоявшееся в начале лета 1910 года, далее переросло в тёплые дружеские отношения – поэтесса приходила к новым друзьям запросто. Заходила, например, когда в семье художников был в гостях Василий Алексеевич Комаровский, которому она нравилась и как поэт, и как женщина. В марте 1914 года, после выхода сборника Ахматовой «Чётки», он написал ей поздравительное стихотворение:

Вот славы день. Искусно или больно
Перед людьми разбито на куски,
И что взято рукою богомольно,
И что дано бесчувствием руки.

Поэтесса отблагодарила Комаровского стихотворением «Ответ»:

Какие странные слова
Принёс мне тихий день апреля.
Ты знал, во мне ещё жива
Страстная, страшная неделя...

О высоком пиетете Анны Ахматовой к творчеству Комаровского свидетельствует Лидия Корнеевна Чуковская: *«Анна Андреевна... мне дала пока что стихи графа Комаровского, с поэзией которого я еле-еле знакома. – Ну что? Распробовали? – весело спросила она, вернувшись. И добавила: – Это один из самых любимых моих поэтов»*. Высокую оценку Ахматовой творчества Комаровского подтверждает и Павел Николаевич Лукницкий, первый биограф Николая Гумилёва, а затем – и Анны Ахматовой. В записи от 28 марта 1926 года он пересказывает разговор с Ахматовой и Пуниным о Комаровском: *«Мы втроем говорили – Пунин и А. А. поперебой рассказывали мне о Комаровском, описывали его внешность: он был громадного роста, широкоплечий, полнолицый; жесты – они у него были особенные, широкие, рука двигалась от плеча; манеры и прочее. А. А. заметила, что замечает иногда у Гумилёва жесты, перенятые им у Комаровского. Говорили о взаимоотношениях Комаровского и Гумилёва»*¹⁰⁹.

В октябре 1913 года вышла книга стихотворений и переводов Комаровского «Первая пристань». В это же время он переехал в Петербург в связи с необходимостью регулярно бывать в типографии издательства «Сириус», где готовилась к публикации его «Таблица главных живописцев Европы с 1200 г. по 1800 г.» и «Указатель к таблице» (вышли в свет в 1915 году). Жил он сначала на Каменном острове, на Малой Невке, дом семнадцать; затем поселился в доме барона Евграфа Фёдоровича Таубе, на Берёзовой аллее, в доме номер шесть.

В июле 1914 года, в связи с началом Первой мировой войны, Василий Комаровский пережил сильнейшее нервное потрясение. *«Он был в состоянии крайнего возбуждения; он был обеспокоен мыслью, у кого из знакомых скорее всего он найдёт охотничье ружьё; он хотел идти защищать Петербург в случае немецкого десанта»*. В таком состоянии брат Владимир перевёз его в Измалково (после революции – Переделкино), подмосковное имение своего тестя, Самарина. Там состояние Василия Алексеевича ещё бо-

лее ухудшилось, и он был срочно помещён в московскую психиатрическую лечебницу.

Поэт серебряного века Василий Алексеевич Комаровский, чьи стихи (по признанию Георгия Иванова, «самые блистательные и самые ледяные русские стихи») ныне известны только записным знатокам поэзии, умер в ночь с 7 на 8 сентября 1914 года... (По мнению Анны Ахматовой, поэт покончил жизнь самоубийством.) Похоронили Василия Комаровского на кладбище Донского монастыря.

Через день после его смерти в дневнике Николая Николаевича Пунина появилась запись:

«9 сентября.

Умер граф Комаровский. Кто теперь будет слушать мои бредни о французах и говорить мне об элементарных правилах стиля!

Он был необыкновенен – этот весёлый иронист и романтик, высокий, широкоплечий, сутуловатый, одиноко бродивший по Царскосельскому парку с тростью в кармане и завёрнутыми брюками. Он врвался в нашу жизнь, внося каждый раз тревогу, смятение, страх – мысль о бессмертной ночи, о планетах, о глубине земли, где переливаются густые питательные соки, о тёмной глубине души, откуда выросло его искусство, неожиданное, растрёпанное, полное какой-то настойчивой воли и смятенного величия; он приходил, принося вместе со свежестью весеннего или зимнего воздуха свежесть только что родившейся в его мозгу мысли, которую он вынашивал, перебирал на все лады, внушал, навязывал тем, кто имел хоть некоторую охоту его слушать. Он говорил стихи своим гортанным голосом, перебивая их естественный ритм, следуя какому-то своему особенному стихосложению; привязывался к словам, подымая при этом руку, словно он измерял их вес и их ёмкость. Всегда неожиданный, но всегда чужой.

Было трудно следить за ходом его мысли и невозможно погружаться вместе с ним в то тёмное, шевелящееся и земное, что наполняло его душу, излучавшую с такой силой нервную энергию, что становилось страшно. Спорить с ним было бесполезно: он уходил в какие-то леса образов, ссылаясь на римских императоров, кардиналов, философов или поэтов, – и в конце концов мы замолкали, убеждённые доводами, имевшими большую силу, чем все классические силлогизмы. Фантазия, которая имела способность находить для своих ирреальных идей слишком вещественную форму, логика, которая связывает послышки с выводами лишь ассоциацией идей и форм, возбуждение, которое само себя питает, – мы узнавали всё это, встречая его, слушая или читая.

Искусство было его колыбелью и его жизнью...

Вот образец этой поэзии, совершенной, подлинной, бессмертной:

*Над городом гранитным и старинным
Сияла ночь – Первоначальный Дым.
Почила Ночь над этим пиром винным,
Над этим пиром огненно-седым.*

*Почила Мать. Где перелётом жадным
Слетали сны на брачный кипарис –
Она струилась в Царстве Семиградном
В зияньи ледяных и тёмных риз!*

*И сын её. Но мудрости могильной
Вкусивший тлен. И радость звонких жал?
Я трепетал, могущий и бессильный,
Я трепетал, и пел, и трепетал.*

Другого образца русской поэзии, где бы было столько смятенного величия и безумия – я не знал... и я не узнаю больше!»

Спустя десять лет после смерти поэта его память почтил Дмитрий Петрович Святополк-Мирский – литературовед, публицист (умер в 1939 году в магаданском ссыльном лагере):

«В культурно-историческом и историко-литературном плане объяснить Комаровского нетрудно. Он вышел из той среды, из которой выходили все деятели русской литературы и культуры за последние шестьдесят лет. Отпрыск старой московско-петербургской дворянской фамилии с обширным родством и сильной семейной традицией, он был совершенно не задет интеллигентской культурой. Культурную почву его составляли семейные предания, старое, более французское, чем русское, воспитание, старая дедовская библиотека, о которой он так хорошо говорит в своей посмертно опубликованной поэме «Ракша», наконец, и едва ли не больше всего, свод анекдотов, дипломатических, светских, придворных, с прочным генеалогическим основанием, всё услышанное с живых слов – непосредственная традиция, доходящая до самого осьмнадцатого века. К этому старому стволу была непосредственно привита новая «декадентская» культура...

К сумасшествию своему он относился двояко: и опасливо, избегая всего того, что могло хоть немножко поколебать его очень шаткое нервное равновесие, и в то же время бесстрашно: много думал и даже писал воспоминания о своих сумасшествиях. Из воспоминаний этих я запомнил одну фразу: «Несколько раз сходил с ума и каждый раз думал, что умер. Когда умру, вероятно, буду думать, что сошёл с ума». Он умер сумасшедшим. Начало войны нанесло такой удар его нервной системе, что она не вынесла, и все силы хаоса снова хлынули на него и затопили уже навсегда. В последний раз я его видел перед моим отъездом в действующую армию. Он был в состоянии крайнего возбуждения; он был обеспокоен мыслью, у кого из знакомых скорее всего найдётся охотничье ружьё: он хотел идти защищать Петербург в случае немецкого десанта. Последние его стихи, оставшиеся в черновой тетради, написаны ещё до начала военных тревог... Вот эти набросанные им стихи:

*Июль был яростный и пыльно-бирюзовый.
Сегодня целый день я слышу из окна
Дождя осеннего пленительные зовы.*

*Сегодня целый день и запахи земли
Волнуют душу мне томительно и сладко
И, если дни мои ещё вчера текли
В однообразии порядка...*

«Однообразие порядка» нарушилось, и через несколько недель его не стало.

Те, кто знает Комаровского только по его стихам, стихам утончённым и очень насыщенным, но на вкус иным неприятно пряным, не могут составить себе понятие об удивительной привлекательности его самого. Та свободная, странно свободная искра, которая так причудливо-необъяснимо и бесцельно горела во всём его существе – в его круглой, коротко остриженной голове, круглом красном лице и сутулом, крепком, широкоплечем, несколько сгорбленном корпусе, – эта искра только отчасти освещает его стихи. Они очень «сделаны», и, хотя для меня они кажутся сделанными превосходно, в них есть привкус эпохи – «вчерашнего дня», который не всем по вкусу. Стихи его, конечно, стоят внимательного отношения, переиздания и изучения...

Но мне кажется, что самый прямой путь к его единственному очарованию для тех, кто не знал и не хотел бы узнать его живую личность, – этот путь идёт скорее через его прозу. Проза его стоит совсем особняком во всей русской литературе, да, вероятно, и в европейской. К сожалению, большая часть её осталась неизданной: „Анекдот о любви“ (рассказ о его сумасшествии с затейливым обрамлением, от которого пришёл бы в восторг Виктор Шкловский); „Исторический роман“ (страниц в 30); „До Цусимы“; разговоры в Царском Селе с удивительным местом об Анненском; анекдоты, воспоминания, заметки...»

Р. С. Юрий Алексеевич Комаровский, средний брат поэта Комаровского, после окончания ялтинской гимназии поступил в Петербургский университет на юридический факультет. Проучился он недолго, скоро был отчислен, после чего поступил в лейб-гвардии Стрелковый полк. В начале 1914 года вышел в отставку в чине подпоручика, но с началом войны с Германией был призван в действующую армию. На фронте у Юрия Алексеевича обострилась язва желудка, он был отправлен в Москву, где и умер в октябре 1914 года. Похоронили его на кладбище Донского монастыря, рядом с Василием Комаровским. Могилы братьев не сохранились.

Часть вторая. Художник Владимир Алексеевич Комаровский

Граф Владимир Алексеевич Комаровский родился 8 сентября 1893 года в Санкт-Петербурге, и в начальной части его жизненного пути – вплоть до поступления на юридический факультет столичного университета – много общего с начальной частью жизни своего старшего брата Василия.

После окончания ялтинской гимназии Владимир Комаровский обучался три года на юридическом факультете Петербургского университета; далее он

учился изящным искусствам в Академии художеств, которую некоторое время посещал на правах вольнослушателя. Судя по всему, в эту пору «*им овладе-ло беспокойство, охота к перемене мест*», и он со своим старшим другом графом Юрием Александровичем Олсуфьевым – будущим искусствоведом и реставратором – отправился в Италию изучать творения старинных масте-ров эпохи раннего Средневековья. После Италии Владимир Комаровский стажировался в художественных мастерских Парижа, в том числе у Владими-ра Александровича Серова, жившего и творившего в ту пору во французской столице; по возвращении в Петербург, в начале 1910 года, представил свои работы на выставке «Нового общества художников» и был доброжелательно отмечен художественной критикой.

Переломным в творческой судьбе Владимира Комаровского стал 1910 год, когда в Русском музее императора Александра III (ныне – Русский му-зей), в директорство его друга и единомышленника Петра Ивановича Нера-довского, был открыт отдел древнерусского искусства. Это было время ренес-санса русской иконописи, время возвращения к жизни лучших её образцов усилиями талантливых отечественных реставраторов, очищавших старинные иконы от позднейших наслоений до первозданной их красоты. В эту пору Вла-димир Комаровский раз и навсегда посвятил себя церковной живописи, начав с изучения техники иконописи, с копирования произведений древнерусских икографов.

В 1911 году известный тогда художник Дмитрий Семёнович Стеллец-кий пригласил коллегу Комаровского к совместному написанию иконостаса для каменной однопрестольной церкви, заложенной графом Отто Людвигови-чем Медемом в его имении Александрия, находившемся в Хвалынском уезде Саратовской губернии. (Храм был заложен во имя святой Елены, покрови-тельницы тяжелобольной, беспомощной средней дочери супругов Медемов.) По инициативе Владимира Алексеевича работа над заказом исполнялась



в его родовой усадьбе Ракше, для чего под художественную мастерскую был оборудо-ван один из её флигелей. В следующем, 1912 году Комаровский сделал перерыв в работе по случаю женитьбы на Варваре Фёдоровне Самариной и последовавшего за венчанием недолгого свадебного путешествия; работа же над заказным иконостасом была завершена в 1913 году.

Второй крупной работой хорошо сработавшихся художников, выполнен-ной ими в ракшинской мастерской, стал ещё один иконостас, на этот раз для строящегося храма во имя Сергия Радонежского на Куликовом поле. Пост-ройка храма была начата Комитетом по увековечиванию памяти Куликовской битвы по инициативе Юрия Александровича Олсуфьева, чья усадьба Буйцы находилась неподалёку, на реке Непрядве (и в её состав входила часть Ку-ликова поля). Иконостас был готов к весне 1914 года, и получение его Юрий Александрович подтвердил исполнителям телеграммой: «*Сегодня открыли иконы, поражены красотой*».

Летом 1914 года супруги Комаровские переехали в Москву, где в сентябре родился их первенец Алексей. Начавшаяся мировая война (в её первые месяцы, вслед за кончиной старшего брата Василия, умер на фронте средний брат Юрий, человек незаурядного актёрского дарования) перечеркнула все творческие планы Владимира Алексеевича. В начале 1915 года он с семьёй выехал в Тифлис, где включился в работу Земского союза по организации лазаретов для раненых; летом того же года, перебравшись в Мцхету, написал несколько больших икон для местных церквей.

В середине 1917 года Комаровские переселились в подмосковное Измалково и обосновались в усадьбе Самариных, приобретённой в 1830 году одним из представителей родовитой фамилии – Фёдором Васильевичем Самариным.

Ещё при первых владельцах Измалкова на опушке леса, занимавшего добрую половину имения, в середине восемнадцатого века была сооружена каменная церковь Дмитрия Ростовского. Для неё почти два года Владимир Алексеевич писал большую икону Донской Божьей Матери. После уничтожения храма руками безбожников в конце двадцатых годов прошлого века казалось, что вместе с нею была уничтожена и икона, но вскоре она была найдена в доме местной жительницы, использовавшей её в качестве кухонной разделочной доски. (Затем икона вторично пропала и только в конце семидесятых годов прошлого века была вновь найдена, отреставрирована и как шедевр иконописи была воспроизведена в монографии Леонида Александровича Успенского «Богословие иконы Православной Церкви», изданной в Париже в 1980 году.)

В послереволюционном Измалково иконописец от Бога Владимир Комаровский работал учителем рисования в местной школе, разместившейся в одном из флигелей бывшей усадьбы Самариных, расписывал деревянные поделки для Московского кустарного музея, иногда писал с натуры и по памяти воспроизвёл акварелью на оборотных сторонах старых открыток интерьеры имения Ракши.

В первый раз Комаровского арестовали в 1921 году, и только по письменному ходатайству крестьян Измалково и окрестных деревень он был освобождён, после трёх месяцев заключения, и ещё два года учительствовал в местной школе. В 1923 году Комаровских выселили на улицу из занимаемой ими единственной комнаты прежде принадлежавшего им имения, отданного властями под детский дом. Приютил их друг, бывший граф Юрий Александрович Олсуфьев, обосновавшийся в городе Сергиевом Посаде, где работал внештатным экспертом по древнерусской живописи и миниатюре историко-художественного музея. Из выделенных семье двух комнат Владимир Алексеевич одну переоборудовал под мастерскую, в которой копировал старинные миниатюры, ткани, писал акварелью – виды лавры, маслом – заказные портреты (в том числе два портрета отца Павла Флоренского).

В 1925 году его вторично арестовали, на этот раз – в селе Карабаново Владимирской губернии, куда он приехал по каким-то хозяйственным делам. За него вступились известные в стране люди – академик архитектуры Алексей Викторович Щусев, художник Владимир Андреевич Фаворский, хранитель ленинградского Русского музея Пётр Иванович Нерадовский, просившие

«об его оставлении в центре ради интересов искусства». Крестьяне села Измалково вновь ходатайствовали за бывшего учителя рисования тамошней школы, настаивая на его невиновности. Но Комаровский сам лишил себя даже шанса на освобождение после того, как заявил следователям, что *«монархия есть та форма государственного устройства, которая может соответствовать нравственному идеалу»*. После таких речений он был осуждён на трёхгодичную ссылку в уральский город Ишим.

Там Владимир Комаровский пытался трудоустроиться, но всякий раз получал отказ – и делали это, как позже выяснилось, местные чиновники во исполнение пришедшего из центра секретного циркуляра не принимать его на постоянную работу. Приходилось художнику зарабатывать на пропитание покраской крыш городским обывателям, рисованием вывесок и, при удаче, заказных портретов, экономя буквально каждую копейку для денежных переводов и продуктовых посылок семье. Поначалу был у него замысел перевезти её на время ссылки к себе, об этом он много писал в своих первых письмах жене (и поныне сохранившихся), начинавшихся неизменным: *«Моя душенька, милая Варя...»*:

«...Когда приеду на место, напишу тебе обо всём определённое, буду стараться получить должность, прежде всего по художественной части, но едва ли что-нибудь из этого выйдет. Теперь относительно твоего приезда, не приехать ли тебе в сентябре, чтобы вместе осмотреться и решить о дальнейшем. Конечно, это расход, по крайней мере 70 рублей, но мне думается, что с детьми ехать, не побывавши тебе самой раньше и не проехав дороги, может быть, не следует?.. Что касается детей, то с ними можно ехать в ноябре, когда установится санный путь... Удалось ли тебе продать портрет деда?.. Я твёрдо установился в надежде на Бога и всё время чувствую его помощь и Промысел Божий о нас. Господь с тобою, крепко, нежно тебя целую и благословляю тебя, Сонечку, Тоню, Алёшу. Крепко целую всех...»¹¹⁵

Соединения семьи в Ишине не получилось. Погостить к Владимиру Алексеичу приезжала только жена – согрела и украсила на время тягостный быт горячо любимому мужу. Остальное время разлуки супруги общались частыми взаимными письмами – обсуждали вопросы воспитания подрастающих без отца детей, особенно переживавшего переходный возраст сына Алексея, новые варианты заработков Владимира Алексеича, думавшего некоторое время открыть фотоателье. Обсуждали переправку в Ишим красок и кистей, перечень хранившихся в семье акварелей и полотен, которые – вынужденно – следовало продать Варваре Фёдоровне; новые, в ссылке написанные картины. Последняя тема, помимо прочих, обсуждалась в письме от 4 декабря 1927 года:

«Моя душенька, милая Варя, сегодня 4-ое, день твоего Ангела, я был в церкви и помянул и тебя со всеми нами, и твою бабушку, и сестру моей бабушки, Варвару Петровну Шереметеву, рожд. Горчакову, не знаю, знаешь ли ты, что такая существовала, её портрет висел всегда в Ялте и очень мне нравился, особенно любил

его Вася. Пишу тебе поздно вечером после всенощной под воскресенье. Сейчас долго работал. Скажу тебе откровенно о своих работах. Последние вещи так разительны, что если они будут куплены в Третьяковскую галерею, то вся она совершенно поблекнет. Это не самообольщение, а ясная уверенность, думаю, что и другие это скоро признают. По этому случаю я завтра заказываю ещё две доски самого большого размера. Шесть первых почти готовы, надеюсь отослать их на этой неделе. Ввиду всего этого, во-первых, я не могу тебе послать теперь денег, во-вторых, если даже на днях получу амнистию, я пока останусь здесь, чтобы кончить новые доски, как-нибудь ты уж выворачивайся. Вчера получили освобождение экономические, большей частью – б, так что я уверен, что и мне дадут такое же самое в лучшем случае. Целую и благословляю. Господь с вами»¹¹⁵.

Надежда Владимира Алексеевича на то, что вслед за амнистией шестерых ссыльных, осуждённых за экономические преступления, последует амнистия политических, не оправдалась, и довелось ему отбывать свой срок, что называется, от звонка до звонка. Данная же им оценка собственных художественных творений произведена им, глубоко православным человеком, с точки зрения категорической оценки иконописной формы в изобразительном искусстве (коей он был твёрдым и последовательным адептом) как абсолютно первенствующей среди других форм живописи. О своей эпистолярной полемике по этой теме с Сергеем Дмитриевичем Самариным, отстаивавшим значение иных форм в искусстве, полагавшим, что они выражают то же, что и иконопись, Комаровский писал жене (к слову, племяннице Сергея Дмитриевича):

«Хотел ответить на заметки дяди Серёжи по пунктам, развивши, т. к. совершенно не согласен с его взглядами на иконописную форму. Главное его заблуждение, что есть бесконечное множество как бы равноценных форм; на самом деле, можно считать, что иконописная форма есть один из двух полюсов, и не случайна иконописно-православная её роль. Это так же верно, как то, что православие не есть своеобразное только понимание истины, а есть сама истина. Если возможно какое-либо другое выражение истины в живописной форме, то это и будет только её „выражением“, т. е. в этом случае форма будет только чем-то „посредствующим“, форма будет тут только случайна, истина будет выражаться, так сказать, несмотря на форму, и только так называемая „иконописная форма“ есть образ и подобие Божие по самому существу, т. е. она ничего не „выражает“, являясь сама по себе частицей жизни нашей...»¹¹⁵

К этому времени в художественном мире Владимир Алексеевич Комаровский был известен как автор неоднозначно оценённых двух портретов отца Павла Флоренского (датированных 1924 годом) – «Автопортрета на красном фоне» и «Семейного портрета», написанных в близком к иконописи авангардном стиле. Флоренский (русский Леонардо) в своё время рекомендовал работы Владимира Комаровского на выставку объединения «Маковец»: «Он

идёт от французов и русской иконы... Это большой художник, с каждым месяцем делающий шаг вперёд. Он ищет конкретного выражения в живописи, самого сердца реальности». (Объединение московских художников «Маковец», действовавшее с 1921 по 1927 год, символически именовалось в честь легендарного холма Маковец, на котором Сергием Радонежским «положено основание Свято-Троицкой Лавры», по выражению Павла Александровича Флоренского, «средоточной возвышенности русской культуры».)

В последних письмах Комаровского из ссылки тема художественного творчества отошла на второй план. В переписке супруги больше обсуждают возможные места их жительства, в числе которых Владимир, Александров, Переяславль, Тверь (жизнь в Павловском Посаде кажется ему опасной). В итоге супруги остановились на деревне Рассказовке, неподалёку от Измалково. Здесь у них родился четвёртый ребёнок, и, чтобы содержать семью, Владимир Алексеевич соглашался на любую работу – рисовальщиком, чертёжником. В 1928 году он неожиданно для себя получил заказ на роспись московского храма Софии Премудрости Божией, что на Софиевской набережной. Заказчиком работ выступил ещё совсем молодой настоятель храма Александр Андреев (ныне посмертно почитаемый как священномученик Александр). Росписью храма Комаровский занимался недолго – в конце 1929 года отец Александр был арестован и сослан, а храм был переоборудован властями под клуб «Безбожник».

Сам Владимир Алексеевич весной 1929 года едва избежал очередного ареста. Когда за ним пришли, он сумел незаметно выбраться из дома, после чего несколько суток скрывался в лесу, а затем уехал в Верею, где жила сестра его жены. По возвращении к семье он был всё же взят под стражу и несколько месяцев отсидел в Бутырской тюрьме. В 1931 году Комаровские в очередной раз сменили место жительства – переехали в дачный посёлок Жаворонки, располагавшийся у Брест-Литовской железной дороги. В годы жизни в последнем для себя пристанище Владимиру Алексеевичу привелось поработать в нескольких столичных издательствах, по эскизам Евгения Евгеньевича Лансере расписать плафоны зала ресторана на Казанском вокзале, оформить панораму Москвы для Геологического музея.

В 1934 году он был вновь – уже в четвёртый раз – арестован. Тогда же был арестован и его восемнадцатилетний сын Алексей, осуждённый «за анти-советскую агитацию» на три года сибирских лагерей. Владимира Алексеевича после трёхмесячного заключения во Внутренней тюрьме отпустили.

В пятый – и последний – раз Владимира Комаровского арестовали 27 августа 1937 года на даче в Жаворонках. Измученная тяжёлой болезнью Варвара Фёдоровна не смогла даже поднять руки, чтобы проститься (как скоро выяснилось – навсегда) с мужем.

После ареста Владимир Комаровский находился в Таганской тюрьме – он проходил по одному из многочисленных дел Истинно-православной церкви. Так именовалось возникшее в двадцатых годах движение истинно-православных христиан, преимущественно из духовенства, монашества, а также из крестьян-единоличников, отказывавшихся вступать в колхозы и, как правило, подвергавшихся раскулачиванию и ссылке в Сибирь. Все они находились под

влиянием своего («катакомбного») священства и проповедников, которые отвергли подчинение юрисдикции Московского патриархата из-за его сотрудничества с коммунистическими властями и перешли на нелегальное положение.

Истинно-православные христиане стремились как можно меньше контактировать с советским обществом и государством. В связи с этим наиболее радикальные из них отказывались брать советские паспорта, официально устраиваться на работу, отдавать детей в школу, служить в армии, прикасаться к деньгам, разговаривать с официальными лицами и даже использовать общественный транспорт. Последователи истинного православия имели твёрдое и непреклонное *«желание бороться с безбожной властью за укрепление церкви и православной веры»*. Они разделяли и провозглашали положение о том, что *«каждый верующий есть воин Христов и должен защищать истинно православную церковь и веру»*.

Послереволюционный церковный раскол произошёл после опубликования 29 июля 1927 года так называемой Декларации митрополита Сергия, в которой отмечался факт ожесточённой вредительской и диверсионной деятельности *«наших зарубежных врагов»*, в связи с чем особо важно *«теперь показать, что мы, церковные деятели, не с врагами нашего Советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и Правительством»*. Это послание оказалось ценою, которую заплатил митрополит Сергий за официальную регистрацию его в качестве заместителя Патриаршего местоблюстителя, полученную двумя месяцами ранее. Первоначальная реакция на послание в церковной среде не была резко критической, но скоро стала таковой. Катакомбных священников, не признававших «Декларацию» митрополита Сергия с момента её появления, репрессировали; они не могли легально осуществлять церковные службы. В результате собрания групп истинно-православных христиан проходили подпольно, в условиях строгой секретности.

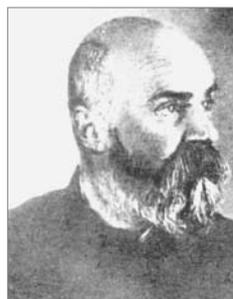
Названное религиозное течение в послереволюционном русском православии в органах ОГПУ именовалось «Всероссийская контрреволюционная церковно-монархическая организация». Основные операции по массовому репрессированию его участников органы провели в 1929–1930 годах во многих областях России, Украины и Белоруссии. Гонения и многочисленные судебные процессы с уже меньшей частотой продолжались и далее, вплоть до кровавого тридцать седьмого. Как обвиняемый *«в причастности к контрреволюционной нелегальной монархической организации»* в одном из таких процессов проходил граф Владимир Алексеевич Комаровский, а также священнослужитель Владимир Ам-



Священномученик
Владимир
Амбарцумов



Сергей
Михайлович
Ильин



Юрий
Александрович
Олсуфьев

барцумович Амбарцумов и мирянин (бухгалтер) Сергей Михайлович Ильин. (Сергей Михайлович Ильин был ошибочно арестован вместо брата, но он ни единым намёком не пытался указать следователям, что произошла подмена и его обвиняют по делам брата.) Всем троим было предъявлено обвинение в «*контрреволюционной деятельности*» и вынесен смертный приговор, приведённый в исполнение 5 ноября 1937 года на подмосковном Бутовском полигоне.

Друг Комаровского, искусствовед Юрий Александрович Олсуфьев, с 1928 года проживал в посёлке Ухтомское под Москвой, работал в Центральных государственных реставрационных мастерских, спас от гибели сотни икон; с 1934 года заведовал секцией древнерусской живописи в реставрационной мастерской Третьяковской галереи. В июле 1937 года в районное отделение ГПУ пришло сообщение: «*Имею сведения, что граф в Загорске имел и имеет связи с чуждой публикой*». По этому доносу в ночь с 23 на 24 января 1938 года Юрий Александрович был арестован «*за контрреволюционную агитацию и распространение антисоветских слухов*» и заключён в Бутырскую тюрьму. Виновым себя он не признал и был – 7 марта 1938 года – приговорён к высшей мере наказания, через неделю приведённый в исполнение на зловецем, пропитанном кровью казнённых Бутовском полигоне.

Среди расстрелянных на этой «*русской Голгофе*» в период с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года более восьми тысяч человек – пятьсот пятьдесят представителей духовенства и верующих, осуждённых только за религиозную деятельность и мировоззрение.

Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.

(*Анна Ахматова*)

Рыцарственный Михаил Леонидович Лозинский

В истории русской культуры, в разделе поэтического перевода, уже много лет первым номером стоит имя Михаила Леонидовича Лозинского, великого искусника в переложении на русский язык чужестранных книжных текстов, в тонкой и точной литературной огранке их до изумительно совершенного – для абсолютного литературного слуха – звучания, сохраняющего в новой языковой структуре национальный дух, колорит, содержание, форму, интонационные ходы первоисточника.

Строгость и приверженность к точности и высокому знанию в переводах как бы повторяют свойства его натуры, его высокий интеллект и человечность, внутреннюю организованность, обязательность, деликатность, совокупность которых определяет его как совершенно интеллигентного человека. Это отмечали современники, эти качества объединяли его (и его супругу – Татьяну Борисовну Лозинскую) с их общим другом – Николаем Павловичем Анциферовым.

Часть первая. Детские годы

Корни семьи Лозинских – в Подолии, в посёлке Лозище, об обитателях которого пишет Владимир Галактионович Короленко в рассказе «Без языка»:

«Речка от лозы, обильно растущей на её берегах, получила название Лозовой; от речки посёлок назвали Лозищами, а уж от посёлка жители все сплошь носят фамилии Лозинских. А чтобы точнее различить друг друга, то Лозинские к общей фамилии прибавляли прозвища: были Лозинские птицы и звери, одного звали Мазнищей, другого Колесом, третьего даже Голенщиком...»

«Говорили, будто Лозинские были когда-то «реестровыми» казаками и получили разные привилегии от польских королей. Ходили даже слухи, будто они были когда-то и за что-то пожалованы дворянством...»

«Сами они давно туже запахали в землю все привилегии и жили под самым местечком ни мужиками, ни мещанами. Говорили как будто по-малорусски, но на особом волынском наречии, с примесью польских и русских слов, исповедовали когда-то греко-униатскую веру, а потом, после некоторых замешательств, были причислены к православному приходу, а старая церковь была закрыта и постепенно развалилась... Пахали землю, ходили в белых и серых свитах, с синими или красными поясами, штаны носили широкие, шапки бараньи... Ходили лозищане чище крестьян, были почти все грамотны по церковному, и об них говорили, что они держат себя слишком гордо...»¹¹⁶

«Наши» Лозинские, как утверждает Мария Леонидовна Лозинская, изначально носили двойную фамилию – Дيجا-Лозинские («дижа» – большая бочка) и имели в числе знаменитых предков боковой линии Феликса Лозинского, который *«грабил помещиков своей губернии и отдавал награбленное мужикам»*. (Мемуаристке довелось прочитать статью в журнале «Новое время» за 1915 год, автор которой утверждает, обосновывая свою посылку, что *«Пушкин взял этого Феликса образцом для своего Дубровского»*.)

Дед Елизаветы, Михаила и Григория Лозинских, которого звали Яковом Клементьевичем, родился в Гдове (или Гродно?) и завершил свой жизненный путь в Петербурге управляющим делами Главного общества российских железных дорог. Отец этой троицы, Леонид Яковлевич Лозинский, был юристом, известным адвокатом, окончившим Санкт-Петербургский императорский университет, имел, при основательной начитанности, солиднейшую библиотеку, им самолично составленную.

«Память его была поразительна, и он так и сыпал цитатами из классиков и современных писателей. Библиотека у него была очень большая, отведена была под конец его жизни большая комната, и книги помещались ещё в других комнатах большой квартиры на Николаевской, 68»¹¹⁷.

Его брат, Евгений Яковлевич, служил инженером путей сообщения в Витебске и был женат на Фелиции Феликсовне Кублицкой-Пиоттух (родной сестре Адама Феликсовича, который был женат на тётке Александра Блока).

Счастливое детство сестры и братьев Лозинских было омрачено тяжёлой болезнью младшего из них – Григория, в восемь лет заболевшего туберкулёзом тазобедренного сустава (вспоминается Леся Украинка, её «*тридцатилетняя война*» с точно таким заболеванием). «*Учебный год 1896–97 был последним счастливым годом детства Гриши, и началась тяжёлая жизнь больного ребёнка, которую он переносил с удивительным терпением и мужеством, безропотно*».

«Тут нужно рассказать о разности характеров братьев. Миша был более сдержанным мальчиком, свои качества не высказывал легко, относился ко многому формально, рано стал более взрослым, манеры у него всегда были отличные. Он знал, чего хотел, и добивался этого. Жизнь, особенно после революции, его изменила, и у него вышли наружу высокие духовные качества, помогшие ему перенести ужас и хамство большевизма, стоически, давая пример другим.

Гриша в детстве отличался особой чувствительностью, сочувственностью, отзывчивостью к чужому горю. У него было золотое сердце и... солнечная натура. Болезнь, сознание, что он калека, хотя и не вызывали ропота, наложили на него свою печать, и он постепенно стал уходить в себя, делаться замкнутым и на вид холодным, сохраняя в душе всё те же детские качества, которые и проявлялись когда нужно, особенно когда надо было кому-нибудь помочь и во время его смертельной болезни, когда проявилась во всей полноте высота его духа.

Миша с годами стал терять свою внешнюю холодность, и та же высота духа характеризовала и его и помогала ему нести свой крест большевистской муки, и сделала из него того человека, память о котором будет храниться в сердцах тех, кто знал его»¹¹⁷.

Лечить Гришу родители возили на грязи Хаджибейского лимана – выезжали на целое лето. В семье любили театр, который обязательно посещали все вместе в святочные праздники. «*У нас вообще любили театр – страсть, свойственная русским*». У родителей был абонемент в Михайловский театр, где была первоклассная французская труппа, часто бывали в Александринке на русских спектаклях; иногда ездили в цирк Чинизелли. Посмотрев постановку драмы Ибсена, привезённую в Петербург театром Станиславского, братья Лозинские сочинили на неё пародию и сделали собственную постановку, получившую бурные овации зрителей.

Михаил и Григорий усердно собирали почтовые марки, учили по ним географию и политическую историю. Рано начали интересоваться иностранными языками. Так, Гриша, которому лечебный массаж ноги делал швед, по ходу процедуры осваивал язык скандинавов. В 1904 году отец вывез ребят на дачу в Финляндию, где они, совмещая приятное с полезным, брали уроки финского языка у работавшей на почте барышни.

Григорий Леонидович Лозинский, родившийся в 1889 году, стал известным специалистом по романским литературам, в частности по испанской и португальской. В эмиграции (в которую ушёл нелегально через Финский залив вместе с матерью Анной Ивановной) он был во Франции. Став профессором Сорбонны, он преподавал там русский язык, был соавтором издания курса русской литературы на французском языке. Александр Александрович Смирнов пытался привлечь его к переводу «Дон Кихота», но тому воспротивились советские партийные органы. Скончался Григорий Леонидович Лозинский в 1942 году.

Елизавета Леонидовна Лозинская, 1884 года рождения, творческую часть своей жизни посвятила сохранению памяти о своём счастливом прошлом, родственных связях. Всю жизнь записывала в дневник житейские мелочи, которые потом использовала в мемуарах. Она прожила около тридцати лет в Париже, помогая мужу-адвокату вплоть до его смерти, случившейся сразу после войны. Поскольку получить деньги почившего Елизавета Леонидовна, по ситуации того времени в Европе, не могла, она вынужденно переселилась в Южную Африку, в Йоханнесбург. Там она решила денежные проблемы, купила дом и до последних дней своих занималась писанием воспоминаний. Там она и умерла в 1971 году.

Часть вторая. Молодой Михаил Лозинский

Русский советский поэт, один из создателей советской школы поэтического перевода Михаил Леонидович Лозинский родился 8 июля 1886 года в семье присяжного поверенного (и основательного библиофила!) во время проведения оной летнего отпуска на даче в Гатчине.

Завершив с золотой медалью курс столичной Первой гимназии, Михаил Лозинский в 1904 году выехал в Берлин, где некоторое время слушал лекции в тамошнем университете, а вернувшись на родину, в два приёма окончил Петербургский университет – начав с его юридического факультета, завершил грызть гранит науки на славяно-русском отделении историко-филологического факультета. Будучи студентом, побывал, в 1911 году, в Италии – изучал её исторические памятники, живопись, скульптуру, архитектуру, итальянский язык.

В 1914 году он стал штатным сотрудником Императорской публичной библиотеки и трудился в ней до печальной памяти 1937 года. Первые четыре года – библиотекарем и консультантом, затем (после принятия в 1918 году нового устава библиотеки) заведовал отделением изящных искусств и технологий, в который входил и так называемый кабинет эстампов. Прежде него эту должность занимали историк искусств Владимир Васильевич Стасов, а после его кончины в 1906 году – историк и коллекционер Николай Дмитриевич Чечулин (по 1915 год). Основным занятием Лозинского в первые годы заведования отделением была обработка новых поступлений эстампов, которые передавались



библиотеке из бывших частных собраний и ликвидированных предприятий. Известно, что в начале 1927 года он вёл переписку с вышедшим на пенсию своим предшественником Чечулиным по вопросу приобретения у того обширной коллекции гравюр и офортов. (Чечулин в последнем письме Лозинскому составил точную опись имевшихся у него раритетов, определив их стоимость в двадцать тысяч американских долларов, но через неделю после отправки письма адресату скончался.)

К стихосложению Михаил Лозинский приступил в девятилетнем возрасте и уже в студенческие годы был автором безупречных, утончённых, очень близких к поэзии символизма стихотворений:

Из чаши золотой я лью кристалл времён,
И струи плещутся изменчивым алмазом.
О, как таинственно, как молча опьянён
Возникновеньем солнц мой ослеплённый разум!

Приведённое выше четверостишие – из написанного в 1909 году стихотворения «Нерукотворный град», которое Лозинский посвятил своему младшему другу, 1891 года рождения, Владимиру Казимировичу Шилейко, лю-



теранину, недоучившемуся студенту восточного факультета Петербургского университета *«по еврейско-сирийско-арабскому разряду»*, учёному-ассирологу с мировым именем, переводчику древнеавилонского эпоса на русский язык. Был он и весьма оригинальным поэтом, имевшим значительное влияние на Ахматову и Мандельштама. Собственного сборника стихов Владимир Казимирович не издал, и его поэтическое наследие известно только по публикациям 1913–1919 годов. Плохое здоровье (с 1914 года болел туберкулёзом, в 1930 году доконавшим его) вынудило его оставить учёбу в университете и сосредоточиться на самообразовании и научной работе. О времени знакомства Шилейко с семьёй Лозинских и своём общении с ним известно из написанных в 1946 году воспоминаний Татьяны Борисовны Лозинской: *«Постоянным нашим гостем в годы 1911–1916 был молодой учёный-востоковед В. К. Шилейко... Шилейко подружился не только с Михаилом Леонидовичем, но и со мной. Стихи М. Л. он ставил очень высоко: «Поверьте, – говорил он мне, – их ещё не удосужились прочесть, за ними будущее». Он сам писал стихи и любил их декламировать мне; стихи были, конечно, символические, и хотя я, по неускушённости своей, в этой поэзии половины не понимала, но делала вид, что понимаю, потому что почтительное ухаживание Вл. Каз. и общение с ним мне нравились... Неподражаемо читал он Лермонтова «Последнее новоселье», голос его до сих пор звучит у меня в ушах. Это не было искусство чтеца, но он вкладывал в это чтение столько силы, столько негодования...»¹¹⁸*

О нём же пишет в книге «Пережитое» ленинградская писательница Елена Афанасьевна Грекова, жена известного хирурга Ивана Ивановича Грекова:

«Бледный молодой человек с поднятыми плечами, сутуловатый, в очках, красивый, но без нескольких зубов, с палочкой, он говорил почти шепотом. Странный вид, точно выходец из далёких тысячелетий, которые он изучал, вроде какого-то шумерийца Алилиены... Он был женат на художнице С. А. Краевской, впоследствии женился второй раз на Анне Ахматовой. Я знаю, что первой жене он запрещал пудриться, завивать волосы и делал сцены в духе шекспировского мавра. Изучение тысячелетних вотивных надписей не изменило сердца с его слабостями.

До революции Шилейко жил у графа Шереметева на Фонтанке, где теперь Арктический институт, преподавателем его детей. Какие-то знакомства в бывших аристократических кругах расстроили его, можно сказать, свели с пути».

Для ближайших друзей, Гумилёва (он же Гуми), Лозинского (в дружеском обиходе Лоза), Владимир Шилейко (или Шилей) был непререкаемым авторитетом, что подтверждает Анна Андреевна Ахматова:

«Тогда же, т. е. в 10-х годах, составиля некий триумвират: Лозинский, Гумилёв и Шилейко. С Лозой Гумилёв играл в карты, они были на «ты» и называли друг друга по имени-отчеству. Целовались, здороваясь и прощаясь. Пили вместе так называемый «флогистон» (дешёвое разливное вино). Оба, Лозинский и Гумилёв, свято верили в гениальность третьего (Шилея) и, что совсем непростительно, в его святость. Это они (да простит им Господь) внушили мне, что равного ему нет на свете»¹¹⁹.

Ахматова была стержневой фигурой для этой обаятельной троицы друзей, звездой первой величины, вокруг которой они обращались, ею притягиваемые. Восемь лет, начиная с 1910 года, была она богоданной супругой Николая Гумилёва. Затем, после развода с ним в 1918 году, четыре года жила в законном браке с Владимиром Шилейко, испытывая невероятные бытовые неудобства: *«Дрова А. А. колола три года подряд – у Шилейко был ишиас, и он избавлял себя от этой работы».* К тому же был он ревнивым, как венецианский мавр Отелло: *«Когда Шилейко женился на мне, он почти перестал из-за своей сатанинской ревности видаться с Лозинским. М. Л. не объяснялся с ним и только грустно сказал мне: „Он изгнал меня из своего сердца“».* (Позднее, правда, отношения друзей были восстановлены по инициативе Михаила Леонидовича, человека чрезвычайно деликатного и толерантного, верного и надёжного друга: *«Друзьям своим Михаил Леонидович был всю жизнь бесконечно предан. Он всегда и во всём был готов помогать людям, верность была самой характерной для Лозинского чертой».*)



Ревность Владимира Казимировича Шилейко как свойство его природы тем более можно понять, если познакомиться со стихотворениями, которые посвящали друг другу Лозинский и Ахматова. Так, в 1912 году он писал, обращаясь к ней, как к любимой женщине:

Я отдаюсь, как кроткому лучу,
Неярким дням моей страны родимой.
Я знаю – есть покой, и я хочу
Тебя любить и быть тобой любимой.

Год спустя Анна Андреевна ответила благодарно Михаилу Леонидовичу стихотворением, в котором, помимо прочих стихотворных изыществ, есть такой смелый пассаж:

Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовью одною.

Возможно, в пылком стихотворном обмене чувственными признаниями только поэтическая гиперболизация, возможно. Но было в отношениях этих двух замечательных людей высокое и благодарное чувство взаимной нежности и уважения, которое они сохранили на всё время своего земного общения. И чувства эти, со своей стороны, рыцарственный Лозинский подтверждал ежегодно неизменным букетом цикламенов, который он – при любых, самых трудных обстоятельствах – преподносил даме своего сердца в её день рождения.



Она же много лет спустя, после кончины Михаила Леонидовича, отметила благодарно в поминальной речи: *«Я горда тем, что на мою долю выпала горькая радость принести и мою лепту памяти этого неповторимого, изумительного человека, который сочетал в себе сказочную выносливость, самое изящное остроумие, благородство и верность дружбе»*¹²⁰.

Познакомилась Ахматова с Лозинским, как свидетельствует дневниковая запись её личного секретаря Павла Николаевича Лукницкого, 10 ноября 1911 года. О событии этом и его последствиях сама поэтесса пишет следующее:

«Меня познакомила с ним Лиза Кузьмина-Караваева. В 1911 на втором собрании Цеха поэтов у неё на Манежной площади... Внешне Михаил Леонидович был тогда элегантным петербуржцем и восхитительным остряком, но стихи были строгие, всегда высокие, свидетельствующие о напряжённой духовной жизни... Дружба наша началась как-то сразу и продолжалась до его смерти (31 января 1955 г.). Тогда же, т. е. в 10-х годах, составилась некий триумvirат: Лозинский, Гумилёв и Шилейко. С Лозинским Гумилёв играл в карты. Шилейко толковал ему Библию и Талмуд. Но главное, конечно, были стихи.

Гумилёв присоветовал Маковскому пригласить Лозинского в секретари в «Аполлон». Лучшего подарка он не мог ему сделать. Бездельник и болтун Маковский... был за своим секретарём как за каменной стеной. Лозинский прекрасно знал языки и был до пре-

ступности добросовестным человеком. Скоро он начал переводить, счастливо угадав, к чему «ведом». На этом пути он достиг великой славы и оставил образцы непревзойдённого совершенства. Но всё это гораздо позже. Тогда же он ездил с Татьяной Борисовной в оперу, постоянно бывал в «Бродячей собаке» и возился с аполлоновскими делами. Это не помешало ему стать редактором нашего «Гиперборея» и держать корректуры моих книг. Он делал это безукоризненно, как всё, что он делал...

Лозинский кончил два факультета СПб университета (юридический для отца и филологический для себя) и был образованней всех в Цехе»¹¹⁹.

Знакомство Лозинского с мэтром Гумилёвым произошло не позднее октября 1911 года, когда состоялось первое заседание «Цеха поэтов», учреждённого Николаем Степановичем совместно с Городецким, Пястом и Мандельштамом. В числе регулярных посетителей этого неформального творческого союза был и Михаил Лозинский, безоговорочно подчинившийся заведённой в нём дисциплине (в отличие от ей не покорившихся Александра Блока и Михаила Кузмина, скоро прекративших посещать цеховые ассамблеи). Оставшиеся в «Цехе» молодые поэты стали первыми адептами акмеизма, поэтического направления, заявленного Николаем Гумилёвым и Сергеем Городецким. Лозинский, примкнув к новому течению, с символизмом не порвал.

(Один из идеологов символизма Андрей Белый в статье «Символизм как миропонимание» во главу угла отстаиваемого им поэтического направления ставил символ, а всё остальное оставлял на заднем плане. Романтик же Николай Гумилёв выводил на первый план события, которые потом уже могли облекаться в символы. Акмеизм разрушал культ символа над содержанием.)

Познакомившись с Гумилёвым, сдружившись с ним на основах высокого интеллекта и единомыслия, Лозинский до последних дней Николая Степановича оставался его другом номер один. Об этом Анна Андреевна поведала в апреле 1924 года своему секретарю Павлу Лукницкому; позже тот привёл этот рассказ в своей книге:

«Настоящими друзьями считались двое: Лозинский и Шилейко. Но если Лозинскому Николай Степанович что-нибудь и рассказывал, то это как в могиле... Лозинский никому ничего не скажет. Был только один случай, когда Лозинский выдал Николая Степановича (вероятно, невольно, не будучи посвящён в обстоятельства дела, – и тогда это только подтверждает то, как мало посвящал Николай Степанович в свою личную жизнь даже самых близких друзей).

А. А. пришла (кажется, в «Аполлон») и спросила Лозинского, где Николай Степанович. Лозинский ответил: «Он с Ларисой Рейснер уехал».

Потом, когда Николай Степанович вернулся домой и стал объяснять, что он был на заседании, оно затянулось, потом ещё

где-то – по делу, А. А. сказала ему, что это не так. «Ты был с Ларисой Рейснер – мне Лозинский сказал!..»

Николай Степанович очень рассердился тогда на Лозинского»¹⁰⁹.

Ещё одну оценку Лозинскому, как единосущному с ним другу, дал Гумилёв в разговоре с Валерией Сергеевной Срезневской, подругой всей жизни Ахматовой: «Мы с ним, как два викинга, пьём из одного рога, курим из одной трубки. Лозинский – это моя душа!»

В начале октября 1911 года «Цех поэтов» начал издавать микроскопическим тиражом свой журнал, представлявший из себя тоненькую книжечку в коричневато-жёлтой обложке с напечатанными на ней чёрными буквами названием «Гиперборей» и подзаголовком «Ежемесячник стихов и критики». Журнал издавался пайщиками, в числе которых были Николай Гумилёв и Лозинский-старший. Михаил Леонидович же в свою очередь устроил под редакцию нового издания собственную квартиру (в доме на углу Волховского переулка и Тучковой набережной) и возглавил её. Неподдалёку, в Тучковом переулке, ближе к университету, снимали комнату учившийся в нём Гумилёв и Ахматова.

Анна Андреевна позже в своих «Записных книжках» вспоминала:

«Лозинский до тонкости знал орфографию и законы пунктуации чувствовал, как люди чувствуют музыку: „Точка-тире – такого знака нет по-русски, а у вас есть“, – говаривал он, когда держал корректуру моих стихов... Нечего говорить, что «Гиперборей» весь держался на Лозинском. Он, вероятно, почти всегда выкупал номер в типографии (кажется, 40 рублей), держал корректуру и совместно с синдиками приглашал сотрудников».

«Гиперборей» выходил чуть более года, но прибыли своим учредителям не принёс. В нём печатались не только члены «Цеха поэтов», но и не входившие в него Михаил Кузмин, Георгий Иванов, Александр Блок. В редакции журнала, то есть в квартире Лозинского, было суетливо и весело, особенно по пятницам, когда на общий редакционный раут собирались «вечно юные гиперборейцы». Шутливые триолеты – восьмистишия с особой схемой рифмовки, – экспромтом сочинённые Василием Гиппиусом 28 декабря 1912 года на вечере в честь возвращения с юга Елизаветы Кузьминой-Караваевой изумительно точно передают домашнюю, дружескую атмосферу круга друзей-гиперборейцев.

По пятницам в «Гиперборее»
Расцвет литературных роз.
И всех садов земных пестрее
По пятницам в «Гиперборее»,
Как под жезлом воздушной феи,
Цветник прельстительный возрос,
По пятницам в «Гиперборее»
Расцвет литературных роз.

Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
С душой отцовско-материнской
Выходит Михаил Лозинский,
Лелея лаской материнской
Своё журнальное дитя,
Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя.

У Николая Гумилёва
Высоко задрана нога,
Далёко в Царском воеет Лёва,
У Николая Гумилёва
Для символического клёва
Рассыпанные жемчуга.
У Николая Гумилёва
Высоко задрана нога.

Печальным взором и пьянящим
Ахматова глядит на всех,
Глядит в глаза гостей молчащих
Печальным взором и пьянящим,
Был выхухолем настоящим
Её благоуханный мех.
Печальным взором и пьянящим
Ахматова глядит на всех¹²¹.

(В первоначальном варианте шестая строка последнего восьмистишия звучала как «У ней на муфте драный мех», что чрезвычайно обидело поэтессу и вынудило автора триолета внести в него примиряющее стороны изменение.)

Значимость Лозинского как главного редактора «Гиперборей» состояла в том, что он, не порвав с символизмом и не примкнув категорически к акмеизму, привечал в возглавляемом им журнале не только «бронзовеющих» авторов, но и подающих признаки таланта новичков, вне зависимости принадлежности их к тому или иному поэтическому течению. *«Когда зарождался акмеизм, – вспоминала Анна Ахматова, – ближе Михаила Леонидовича у нас никого не было, он всё же не захотел отречься от символизма, оставаясь редактором нашего журнала и другом для всех».*

Несмотря на изначально заявленную программу расширения и развития тематики и направлений публикаций, «Гиперборей» остался в основном акмеистическим журналом. После прекращения журнального издания книги под маркой издательства «Гиперборей» выходили до 1918 года. (В начале 1921 года в Петрограде, в качестве попытки реанимации, вышел гектографированный номер журнала «Новый Гиперборей», изданный обновлённой группой акмеистов с Николаем Гумилёвым во главе.)

Писать стихи к этому времени Михаил Леонидович Лозинский практически прекратил. Все свои стихотворные накопления (увы, небольшие) он обобщил в своём единственном сборнике «Горный ключ», изданном в 1916 году и получившем, уже в 1918-м, доброжелательный отзыв Николая Степановича Гумилёва:

«М. Лозинский напряжён и страстно старается осознать свой очень своеобразный и уединённый мир, и его стихи – только черновые записи, помогающие ему при этой работе...

...Мысль, что о таинственном надо говорить таинственно, о неведомом – в неведомых доселе сочетаниях слов, роднит М. Лозинского с некоторыми нашими поэтами-символистами: М. Волошиным, Ю. Балтрушайтисом, Вл. Гиппиусом...

Наша жизнь для него – темница, и он не устаивает её даже осуждения, а только пристально смотрит вверх, и его усталому от напряжения взгляду порой мелькают фантомы голубого неба и ослепительных лучей.

Это приводит его к романтической надменности, и почти каждое его стихотворение можно выдать за монолог Манфреда, Люцифера, Каина и прочих пышных масок позднего романтизма»¹¹³.

Часть третья. Лозинский как переводчик

Ограничившись единственным, в 1916 году изданным, сборником стихов «Горный ключ», Лозинский, имея – как служащий Государственной публичной библиотеки – достаточно прочный материальный тыл, творческую часть своей дальнейшей жизни посвятил прозаическому и поэтическому переводу. Впрочем, после революции переводчество также (правда, недолгое



время) было источником относительно стабильного дохода для Михаила Леонидовича, что объясняется его работой, с 1918 года, в созданном Максимом Горьким издательстве «Всемирная литература». (Договор о создании этого издательства был подписан 4 февраля 1918 года между наркомом просвещения Анатолием Васильевичем Луначарским и Максимом Горьким, представлявшим издательско-редакционную группу, в которую кроме него входили художник-карикатурист Зиновий Исаевич Гржебин, профессиональный издатель Иван Павлович Ладыжников, исполнительный директор издательства, литератор Александр Николаевич Тихонов. В распоряжение издательства была передана типография, Горький стал заведующим издательством и комиссаром типографии, но от издательских дел скоро отошёл.)

Планы издательства были воистину грандиозными. Издательско-редакционная группа приняла решение издать полторы тысячи томов шедевров как западной, так и восточной литературы. С первых дней своей работы издательство «Всемирная литература» столкнулось с отсутствием выработанных методов перевода, а также нехваткой литературных сил. Выпущенная издательством брошюра Корнея Чуковского и Николая Гумилёва «О принципах художественного перевода» лишь частично восполняла этот пробел. В связи с такими обстоятельствами возникла мысль организовать при издательстве «Всемирная литература» свою «Литературную студию».

В состав её лекторов вошли Фёдор Александрович Браун (филолог-германист, профессор университета), Аким Львович Вольнский (литературный и театральный критик, философ), Евгений Иванович Замятин (писатель, критик, публицист), Николай Степанович Гумилёв, Михаил Леонидович Лозинский, Корней Иванович Чуковский.

Инициативный Корней Чуковский вместе с Александром Тихоновым нашёл полузатопленную, запущенную квартиру в доме Мурузи, на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы, и после срочно проведённого ремонта в ней в июне 1919 года состоялось торжественное открытие студии. По этому случаю Александр Блок 28 июня сделал запись в своей записной книжке: «Открытие студии в „доме Мурузи“ (Литейный, 24). Чуковский и Гумилёв читают».

Вскоре выяснилось, что не всех слушателей интересует переводческое дело, и по общему предложению студия переменила свой профиль, превратив-

шись в подобие факультета по изучению русской и иностранных литератур. Слушателям его предлагалось на выбор четыре отделения: прозы (им руководил Замятин), поэзии (Гумилёв), переводов (Лозинский) и критики (Чуковский). В числе слушателей отделения Лозинского была Ирина Одоевцева, которая, оказавшись никудышной ученицей, оставила будущим читателям своё описание (и оценку) как самого отделения, так и его руководителя:

«Очаровательный, изумительный, единственный Лозинский.

Когда Лозинский впервые появился в Студии за лекторским столом, он тоже разочаровал меня. Большой, широкоплечий, дородный. Не толстый, нет, а доброкачественно-дородный. Большелицкий, большелобый, с очень ясными большими глазами и светлой кожей. Какой-то весь насквозь добротный, на иностранный лад. Очень порядочный и буржуазный. И безусловно богатый...

Роль Лозинского в кругах аполлоновцев и акмеистов была первостепенной. С его мнением считались действительно все. Был он также библиофил и знаток изданий. Это ему сборники стихов акмеистов обязаны своей эстетической внешностью – ему и типографии Голике.

С буржуазно-барственным видом Лозинского мне было труднее примириться, чем даже с нелепой фигурой Гумилёва, в короткой, широкой дохе и ушастью шапке...

Лозинский заговорил – спокойно, плавно и опять как-то барственно, приятным полнозвучным баритоном. О переводе стихов. И привёл несколько примеров переводов. Сначала оригинал по-французски и английски, – с прекрасным выговором, – потом по-русски...

Лозинский читал стихи лучше всех тогдашних поэтов, но сам он был, хотя и прекрасный переводчик, слабый поэт. И это тем более непонятно, что он владел стихом, как редко кто во всей русской поэзии, и обладал, по выражению Гумилёва, абсолютным слухом и вкусом...

Лозинский считал себя последним символистом. Но и среди символистов он вряд ли мог рассчитывать на одно из первых мест.

Абсолютный вкус и слух Лозинский проявлял лишь в отношении чужих стихов и, главное, в переводах...»¹¹⁰

Любимой ученицей Лозинского, как свидетельствует Одоевцева, была Ада Ивановна Оношкович-Яцына. Позже она получила известность как автор первой русской книги переводов Киплинга (в 1922 году). Переведённое ею стихотворение «Пыль» стало основой для песни Евгения Аграновича (её ленинградские студенты моего поколения обязательно исполняли ближе к финалу всякого застолья: «*День, ночь, день, ночь – мы идём по Африке. / День, ночь, день, ночь – всё по той же Африке*»). Специализировалась Ада Ивановна в области перевода зарубежной драматургии и поэзии: пьес Кольриджа, Байрона, Мольера, Гюго, Расина, Клейста, Тагора, стихов Гейне, Эредиа, грузинских поэтов. Прожив только тридцать восемь лет, она умерла в 1935 году.

Великим планам издательства «Всемирная литература», увы, не суждено было сбыться. К концу 1920 года из сотен книг, переведённых, отрецензированных, снабжённых предисловиями и отредактированных, вышли в свет чуть больше половины. А за весь 1921 год не вышло ни одной книги, хотя рукописи продолжали поступать. Одной из удач стало издание перевода вольтеровской «Орлеанской девственницы», выполненного Николаем Гумилёвым, Георгием Адамовичем и Георгием Ивановым под общей (уравнивающей до лучшего образца стили коллег) редакцией Лозинского.

Планы оказались нереальными. Экономическое положение страны было тяжёлым, ещё шла Гражданская война, была дефицитной бумага, не хватало продуктов питания, в стране росла нищета. Помимо причин экономических существовали и идеологические. Издательство постоянно конфликтовало с Госиздатом РСФСР, которому формально подчинялось, из-за расхождений в оценке содержания и направленности ряда изданий. Эту конфронтацию усилил отъезд за границу Горького в 1921 году. Трагическими для издательства стала смерть в 1920 году одного из активнейших его сотрудников – критика, историка литературы Фёдора Дмитриевича Батюшкова, а вслед за ним, в августе 1921 года, умер Александр Блок (и в том же месяце был расстрелян Николай Гумилёв). В результате в декабре 1924 года издательство «Всемирная литература» было закрыто усилиями Ильи Ионовича Ионова (он же – Бернштейн, брат второй жены Зиновьева), возглавившего к этому времени Ленинградское отделение Госиздата.

Тем не менее работа Лозинского с иностранной классикой продолжилась. В его переводах в Советском Союзе вышли шекспировские «Гамлет», «Макбет», «Отелло», «Ричард III», «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая ночь»; «Школа злословия» Шеридана; «Тартюф» Мольера; «Собака на сене», «Фуэнте Овехуна» и «Валенсианская вдова» Лопе де Вега; «Сид» Корнеля; «Назидательные новеллы» Сервантеса; «Кола Брюньон» Ромена Роллана; «Кармен» Проспера Мериме и прочая и прочая.

На русский язык «Жизнеописание» Челлини переводилось дважды, но не с оригинала, а с французского перевода, где язык книги сглажен в соответствии с нормами литературной речи. Лишь в советские годы Academia выпустила – в 1931 году – образцовое издание, мастерский перевод которого исполнил Михаил Лозинский, блестяще воспроизведший в высокохудожественной форме характерный, яркий и выразительный итальянский язык замечательного литературного памятника:

...Я Жизнь мою мятежную пишу
В благодаренье господу Природы,
Что, дав мне душу, блюл её все годы.
Ряд знатных дел свершил я и дышу.

В 1930 году в парижской газете «Последние новости» Георгий Иванов, один из крупнейших поэтов эмиграции, писал: *«Необыкновенное мастерство Лозинского – явление вполне исключительное. Стоит сравнить его переводы с такими общепризнанно мастерскими, как переводы Брюсова или Вячеслава Иванова. Они – детский лепет и жалкая отсебятина рядом с переводами*

Лозинского. Не сомневаюсь, что рано или поздно они будут оценены как должно, как будет оценён этот необыкновенно тонкий, умный, блестящий человек, всегда бывший в самом центре „элиты“ и всегда, намеренно, сам остававшийся в тени».

Часть четвёртая. Личная жизнь, последние годы

Женился Михаил Леонидович Лозинский никак не позже 1911 года, и избранницей его сердца стала Татьяна Борисовна Шапирова, дочь Бориса Михайловича Шапирова, военного врача, поднявшегося по служебной лестнице до должности санитарного инспектора Отдельного корпуса пограничной стражи. О нём и его дочери писала много лет спустя, не церемонясь особо с семейным прошлым и отечественными кумирами, их правнучка и внучка Татьяна Никитична Толстая:

«Дочь крещёного одесского еврея Бориса Шапиро, ставшего прозрачным Борисом Михайловичем Шапировым (и, конечно, проклятого за это всеми своими родственниками), врача, дослужившегося до высокого генеральского чина и получившего личное дворянство, бабушка была христианнейшей из христиан и самаритянейшей из самаритян. Литературные вкусы у неё – на мой взгляд – были неправильные: она обожала Некрасова и Чернышевского, одного – за озвученный им вой и стон русского народа, другого – за романтическую веру в то, что можно всё поделить поровну и жить дружно, при том что человеку так мало надобно, одного зонтика на семерых вполне достаточно... Она считала, что человек ничем не должен владеть, у него не должно быть никакого имущества. Когда после революции их семейная дача в Райволе оказалась на финской территории и появилась возможность её продать, бабушка отказалась от своей доли в пользу брата Александра. Александр был си-баритом, тратил валюту в Торгсине, любил поест. Потрясённая бабушка говорила: «Саша ест сливочное масло!» Нельзя было есть сливочное масло, пока народ стонал и перераспределял зонтики; чекисты тоже так считали, поэтому, когда Александр спустил всю валюту, его просто расстреляли: взять с него было уже нечего»¹²².

После революции Татьяна Борисовна заведовала детским домом, располагавшимся в Парголово, при ней были её дети. «Она была одной из тех высоко настроенных интеллигенток-энтузиасток, всей душой преданных своему делу – их было немало в начале революции». Супруги Гумилёвы (Николай Степанович и Анна Николаевна) по инициативе мужа решили передать ей на содержание дочь Лену. Татьяна Борисовна воспротивилась, возмутилась – в доме собирали детей пьяниц, воров, проституток, но Гумилёв настоял на своём.

Красному яблочку червоточинка не в укор. Во внесемейной части личной жизни был Михаил Леонидович немножко шалунишкой, влюбчивым (что вполне приличествует натуре поэта). Где-то в двадцатых годах, по свидетель-

ству Анны Ахматовой, он полюбил сотрудничавшую с ним девушку-переводчицу. *«Никаких подробностей я не знаю и, если бы знала, не стала бы писать, разумеется, их сообщать, но на каком-то вечере во „Всемирной литературе“ (Моховая, 36) она потребовала, чтобы он на ней женился, оставив семью. Всё кончилось тем, что Михаил Леонидович оказался в больнице. Она вышла замуж, но скоро умерла. Когда она умирала, он ходил в больницу – дежурил всю ночь»*¹⁰⁹.

Кажется, влюблялся Лозинский не раз и не два, что меланхолично отметила Анна Андреевна Ахматова: *«Как все люди искусства, Лозинский влюблялся довольно легко. К моей Вале (она одно время работала в Публичной библиотеке) относятся «Тысячелетние глаза», «И с цепью маленькой руки...» (браслет от часов). И как истинный поэт предсказал свою смерть: „И будет страшное к нетлению готово...“»*¹⁰⁹

Где-то в середине двадцатых годов Лозинского начал шаг за шагом одолевать страшный недуг, так называемая слоновая болезнь – у него начали постепенно опухать ноги. Об этом заболевании друга говорила Анна Ахматова с Павлом Лукницким 5 декабря 1925 года:

*«Мимо Инженерного замка свернули на Фонтанку и шли по Фонтанке, говоря о Лозинском. Он неудачник. Это не вызывает никаких сомнений. А между тем в те годы – в годы 1-го Цеха – все возлагали на него большие надежды. Он был культурнее всех, он был знаток литературы, он окончил два факультета (юридический и историко-филологический), он был блестящим, остроумным. И он несчастен, конечно, он неудачник теперь... И – уже на Симеоновском мосту – А. А. заговорила о том, что раньше, по-видимому, в глубине души Лозинского пряталось по углам это тёмное. Но никто не мог угадать его за блестящей внешностью Лозинского... И сам он, вероятно, тоже не угадывал. А вот эти годы сделали своё дело: А. А. обеими руками сделала жест и заговорила о прятавшемся по углам, а теперь, «как проказа», вылезшем наружу... И добавила: „Бедный Лозинька!“ (так они звали друг друга за глаза: „Шилей“, „Гум“ и „Лозинька“)»*¹⁰⁹.

20 марта 1932 года, вскоре после убийства Кирова, Михаил Леонидович Лозинский был арестован и по статье «Антисоветская агитация и пропаганда» был осуждён на три года лишения свободы условно. Этому предшествовала долгая и упорная борьба супруги, Татьяны Борисовны, за судьбу мужа, что подтверждает её письмо от 18 июня 1932 года к Екатерине Павловне Пешковой:

«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна.

Согласно выраженному Вами желанию спешу сообщить Вам подробности о деле моего мужа. Муж мой – Михаил Леонидович Лозинский, главный библиотекарь Публичной Библиотеки и литератор-переводчик с уже многолетним стажем (главные его работы за последние годы по заказам Московского и Ленинградского ГИЗа и Издательства «Академия» были переводы Гамлета, Тартюфа,

ряда стихов Гёте и двух его юношеских пьес... автобиография Челлини... Цвейга, Ромен Роллана (Кола Брюньон)), – был арестован 20 марта 1932 года и обвиняется, как мне дали справку, по 11 пункту 58 статьи. В один день с ним были арестованы две его бывшие ученицы (М. Н. Петерсен и Т. М. Владимирова), а за 10 дней тоже его бывший ученик М. А. Бронников: учились они у М. Л. Лозинского в 20–22 годах в семинарии по технике стихотворного перевода, организованном при Доме Искусств; семинарий состоял из 6–8 лиц. Занятия прекратились в 1923 году за недостатком времени у руководителя. Главной работой был коллективный перевод сонетов французского поэта Эредиа, на издание которого в 1931 году был заключён с Издательством «Академия» договор; для поправок и окончательной отделки стихов к печати участники собирались 2–3 раза у нас дома осенью 1931 года. Почему был арестован Бронников, я не знаю, но поводом для ареста моего мужа после Бронникова послужили шуточные стихи участников семинария, где под разными символическими и шуточными прозвищами воспевались участники работ и их руководитель: стихи эти были изъяты у Бронникова среди других его бумаг. Символические, шуточные, непонятные прозвища и намёки могли возбудить подозрение: когда мой муж в 1927 году в числе 8 человек служащих Публичной Библиотеки был арестован, то как раз часть этих же стихов, взятых при обыске, возбудили недоумение и ряд вопросов следователя, но объяснения М. Л. Лозинского его вполне удовлетворили, так как муж был отпущен через две недели без обвинения.

Муж мой, перегруженный служебной и литературной работой, ведёт очень замкнутый образ жизни, и самая мысль об участии его в какой-либо организации совершенно невероятна и недопустима для всех, хоть немного знающих его: вся его работа у всех на виду.

Следствие окончено, приговор может быть скоро, и я боюсь, что дело, возникшее по недоразумению, может привести к тому, что талантливый человек будет оторван от любимого и нужного дела, которому он отдавал все силы. Если можете, помогите. Всё, о чём я говорю, может быть проверено и подтверждено.

*Искренне уважающая Татьяна Лозинская
18.06.32».*

(В годы террора председателем Комитета помощи политическим ссыльным и заключённым была Екатерина Павловна Пешкова, ее заместителем – Михаил Львович Винавер. Начало деятельности так называемого Помполита связано с арестами первых социалистов примерно в 1920 или 1921 году. Его работа продолжалась до середины 1937 года, когда он был закрыт после того, как Ежов вызвал Пешкову и предложил ей немедленно прекратить его деятельность и сдать все документы в архивное отделение НКВД.)

Хлопоты Татьяны Борисовны помогли – кровавый тридцать седьмой ещё не наступил, и Лозинского, условно осудив, освободили, но власти не оставили его без внимания, включив в список неблагонадёжных. Наталия Ни-

критична Толстая, внучка Алексея Николаевича Толстого и Михаила Леонидовича Лозинского, по этому поводу рассказывает следующее:

«У Алексея Толстого были два сына: старший Никита, мой отец, и Дмитрий, который стал композитором, учеником Шостаковича. Мой отец был профессором ЛГУ, возглавлял Фонд культуры. Мама Наталья Михайловна – дочь Лозинских. Дедушка по линии мамы – Михаил Леонидович Лозинский – известнейший в стране переводчик, во время войны он закончил перевод «Божественной комедии» Данте, за что получил Сталинскую премию. Дедушка Михаил и бабушка Татьяна Лозинские для меня незывлемые авторитеты, выше их никого не знаю. Семьи отца и матери были очень не похожи друг на друга. Лозинские жили очень скромно, Михаил Леонидович был директором библиотеки Вольтера, которая считалась жемчужиной Ленинградской Публичной библиотеки, эта библиотека была куплена Екатериной II. А вокруг Толстых, как считалось, всегда кутила богема – праздники, гости.

Когда в 1934 году произошло убийство Кирова, в нём обвинили дворян. Михаила Лозинского арестовали, его ожидала ссылка в Сибирь. Мой отец стал просить Алексея Николаевича, чтобы как-то через Горького ходатайствовать за Лозинского перед Сталиным. Горький посоветовал заключить молодым брачный союз. Так отец и мать расписались и тем самым спасли Михаила Леонидовича.

Известно, что брат Михаила Леонидовича, Григорий Лозинский, бежал с их матерью по Финскому заливу в Финляндию от большевиков, стал профессором Сорбонны, умер во Франции во время войны от голода, потому что не желал сотрудничать с немцами».

В начале тридцатых годов новый страшный недуг овладел Лозинским – стремительно увеличившийся гипофиз исказил внешне Михаила Леонидовича: огрубели черты лица, увеличились кисти рук и ступни, но самое тяжёлое – появились невыносимые боли. Анна Андреевна Ахматова вспоминала: *«Хворал он долго и страшно. В 30-х годах его постигло страшное бедствие: разрастание гипофиза, исказившее его. У него так болела голова, что он до 6-ти часов не показывался даже близким. Когда, наконец, справились с этим и с горловой чахоткой, пришла астма и убила его...»* В другом месте воспоминаний поэтесса пишет: *«В труде Лозинский был неутомим. Поражённый тяжёлой болезнью, которая неизбежно сломала бы кого угодно, он продолжал работать и помогал другим. Когда я ещё в 30-х годах навестила его в больнице, он показал мне фото своего разросшегося гипофиза и совершенно спокойно сказал: „Здесь мне скажут, когда я умру“»¹¹⁹.*

Свой перевод шекспировского «Гамлета» Михаил Лозинский выполнил в 1933 году, опубликовав его в серии «Школьная библиотека». Далее, с исправлением неточностей, допущенных издателем, перевод издавался несколько раз. Он переводил строка в строку, передавал все интонационные ходы. В его переводе «Гамлета» искусство следования вплотную за подлинником, дыхание в дыхание, порой непостижимы, ведь английские слова короче

русских, а стихотворную строку не растянешь. Одновременно с «Гамлетом» и «Макбетом» Лозинский переводил испанских поэтов, и перевод его был, по словам Ахматовой, «лёгок и чист». *«Когда мы вместе смотрели „Валенсианскую вдову“, я только ахнула: „Михаил Леонидович, ведь это чудо! Ни одной банальной рифмы!“ Он только улыбнулся и сказал: «Кажется, да». И невозможно отделаться от ощущения, что в русском языке больше рифм, чем казалось раньше»¹¹⁹.*

Лозинский редко переводил небольшие стихи, но в их числе есть такой шедевр, как перевод стихотворения Редьярда Киплинга «Завещание». Его переводили многие, в том числе Самуил Яковлевич Маршак, но более других известен всё же перевод Лозинского:

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил – жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы – не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других...

В полном согласии с женой и при её содействии большую часть получаемых гонораров Лозинские отправляли в помощь нуждающимся родным и близким, а со временем – в помощь семьям жертв репрессий, о чём пишет Татьяна Толстая:

«Свою благотворительность бабушка никак не афишировала. Только после её смерти мама узнала об истинном масштабе этого сокрушительного самопожертвования.

Тридцати шести семьям помогала бабушка на протяжении трёх десятилетий. Ещё раз: тридцати шести. Там, где нельзя было урезать у своей семьи без ущерба для существования, она урезала у себя. Кажется, всю жизнь она проходила в одном и том же скучном синем платье; когда платье ветшало, оно заменялось таким же. Нет, не всю жизнь. До революции она носила красивые, модные вещи – чёрный бархат, прозрачные рукава с вышивкой, черепаховые гребни, – я же сама находила их, раскатывая сундуки в чулане. Что случилось с ней, когда это случилось, почему случилось, как она стала святой – я уже никогда не узнаю»¹²².

Самая крупная работа Лозинского – перевод «Божественной комедии» Данте. И начало её было, видимо, связано с тяжёлыми болезнями, поразившими его. Вероятно, мысль о скорой смерти побуждала Михаила Леонидовича исполнить мечту своей жизни. В это время он сказал Ахматовой: *«Я хотел бы видеть „Божественную комедию“ с особыми иллюстрациями, чтоб изображены были знаменитые дантовские развёрнутые сравнения, например, возвращение счастливого игрока, окружённого толпой льстецов. Пусть в другом месте будет венецианский госпиталь и т. д.»*. Первые строки «Бо-

жественной комедии» Михаил Лозинский перевёл 8 февраля 1936 года; перевод «Ада» был закончен 13 января 1938 года. В 1939 году этот перевод был опубликован с вступительной статьёй Дживелегова.

Далее шла работа над «Чистилищем», которая была закончена к весне 1941 года (но издана только в 1944 году). Поздней осенью 1941 года Михаил Лозинский принял предложение эвакуироваться. В приказе говорилось, что Лозинский представляет ценность для советского государства. Эвакуация производилась самолётом, вес багажа эвакуируемых был ограничен, и Лозинский получил разрешение взять с собой только чемодан с книгами и рукописями. Этот чемодан содержал также специальные материалы для работы над переводом Данте. Вместе с женой Лозинский 30 ноября 1941 года специальным военным самолётом вылетел из Ленинграда в Казань, откуда супруги переехали в Елабугу, где в период с 6 февраля по 14 ноября 1942 года Михаил Леонидович выполнил перевод «Рая» и написал примечания к нему. Не хватало не только хлеба, но и бумаги. Форма поэмы Данте чрезвычайно трудна, и записывать черновые варианты перевода было не на чем. В дело шли старые тетради и брошюры, внутренние стороны обложек.

Окончив перевод «Рая», Михаил Лозинский 15 ноября 1942 года послал телеграмму Дживелегову: *«Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний. Верному другу его шлю эту скромную весть»*. Алексей Карпович Дживелегов не задержался с телеграфным ответом: *«Дантова тень из мистической розы Вам шлёт поздравленья. Вторит восторженно ей скромный ваш друг на земле»*¹²³.

Лозинский писал по поводу выполненной работы:

«Рифмованные терцины – исключительно трудный размер. Структура русского языка далека от итальянского. Многие места «Божественной комедии» неясны. Над ними трудились комментаторы всех стран, споря между собой. Приходилось делать выбор между их толкованиями. А там, где текст Данте допускает разные понимания, надо было делать так, чтобы и русский текст мог быть понят двояко или трояко. В течение этих семи лет я работал и над другими вещами. На перевод Данте мною потрачено, собственно, 576 рабочих дней, причём бывало, что за целый день я осилю всего 6 стихов, но случалось, что переведу и 69, в среднем же – около 24 стихов в день... Чем глубже я вникал в «Божественную комедию», тем больше преклонялся перед её величием. В мировой литературе она высится как горный кряж, ничем не заслонённый».

В 1945 году Гослитиздат выпустил «Рай» в переводе и с примечаниями Михаила Леонидовича Лозинского и с вступительной статьёй Дживелегова. Вскоре Лозинский получил письмо от филолога-классика академика Ивана Ивановича Толстого, в котором, в частности, писалось: *«Я безотрывно читаю Вашу книгу, как бы убаюканный строгим и в то же время бесконечно близким, обращаемым прямо к Сердцу восхитительным размером терцин бессмертной поэмы, мелодику которой Вы сумели с таким непревзойдённым мастерством передать на наш родной язык... Какой Вы дивный переводчик!»*

Чтобы передать текст Данте так, как передали его Вы, надо не только знать в совершенстве итальянский язык, ему современный, и историческую обстановку, но надо, чтобы в человеке звучали струны самой высокой и чистой, подлинной поэзии».

Михаил Леонидович был прежде всего переводчиком. Однако лишь у великих русских поэтов, да и то не у всех, встречаются такие блестящие строки, как выпестованные Лозинским строки «Божественной комедии»:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины...

Внучка Лозинских, Наталия Никитична Толстая, родившаяся в Елабуге в начале мая 1943 года, пишет по этому поводу: *«„Божественная комедия“ стала главным трудом его жизни: 8 тысяч стихотворных строк! В 1947 году Фадеев пришёл к Сталину со списком кандидатов на Сталинскую премию. Сталин спросил, какое произведение выделяет писательская общественность. Фадеев назвал перевод «Божественной комедии». Но по уставу переводы тогда не награждались. Сталин сказал: «Тогда надо изменить устав». И Лозинский получил премию. С тех пор наша жизнь несколько улучшилась, мы купили дачу на Карельском перешейке. Но половину премии бабушка Татьяна Борисовна частями высылала политосуждённым друзьям в лагеря».*

Сохранился текст речи, приготовленной Лозинским 12 февраля 1946 года после получения известия о присуждении ему Сталинской премии за перевод «Божественной комедии»:

«Высокая честь оказана не только мне. В этом присуждении... я вижу радостное для меня признание общественной важности той области художественного слова, которой я посвятил столько лет... Поэзия – искусство слова. И она живёт только в пределах своего языка. Изобразительное искусство и музыка понятны всем, они не знают национальных границ, они общечеловечны. А поэзия нема для тех, кто не знает её языка. Освободить эту молчаливую затворницу, привести её к нам, заставить говорить и петь на новом для неё языке – вот наша задача, задача трудная и пленительная...»

Вместе со Сталинской премией Лозинский получил и карт-бланш на выбор по своему вкусу и предпочтениям материала для перевода. Он вновь обратился к творчеству Шекспира – перевёл «Отелло», «Макбет», «Сон в летнюю ночь».

Вся писательская работа Лозинского послевоенной поры шла в параллель с борьбой с недугами, проявлявшимися прежде всего в страшной головной боли. Она исчезала, когда поднималась температура; тогда у Михаила Леонидовича, с трудом передвигавшегося, появлялась возможность работать. Внуки Лозинского, бывшие тогда детьми, вспоминали, что каждое утро начиналось с ужасных стонов из дедушкиной комнаты. Только через час или два ему удавалось совладать с болями.

С Николаем Павловичем Анциферовым семью Лозинских связывала тесная дружба. Татьяна Борисовна Лозинская, окончившая в 1909 году Бес-тужевские курсы по всеобщей истории, с 1912 года была активным участником дантовского семинара у Гревса. Правда, в знаменитую поездку в Италию в составе группы не поехала – была в это время беременна. *«Так, любимая ученица нашего padre Таня Лозинская (как он называл её) была в ожидании ребёнка»*. Татьяну Борисовну в книге «Из дум о былом» Николай Павлович называет Грацией, по имени героини романа-эпопеи Ромена Роллана «Жан-Кристоф». После революции она, после арестов Николая Павловича, ездила к нему на свидания, заботилась о его детях, хлопотала о его освобождении. (К слову, в 1932 году сама была ненадолго арестована.)

«Ждать нового допроса пришлось недолго. Меня вызывают к следователю и ведут необычным путём. Я был удивлён, оказавшись в большой, хорошо обставленной комнате. В ней я застал не только моего следователя Стромину, но и мою дочь Танюшку, и моего друга Татьяну Борисовну Лозинскую»¹.

В другой раз, когда Николай Павлович отбывал строительную повинность на Беломорско-Балтийском канале, Татьяна Борисовна привезла к нему сына Сергея (Светика). Сергей жил с отцом в лагере с лета 1932 года до его освобождения.

«В эти дни я был счастлив приездом Светика. Привезла его Татьяна Борисовна. В эти же дни она была арестована. Мой следователь Стромин сказал ей: «Вы, я вижу, очень добивались того, чтобы попасть к нам». Впрочем, скоро она была освобождена»¹.

Незадолго до смерти Лозинская писала Николаю Павловичу: *«Я вспоминаю Медвежью гору и те три дня моей жизни... Нежность к Вам и Светику, чувство страдания, что я должна увезти его от Вас, – всё это сливалось в какое-то удивительное чувство»*.

После возвращения из второй ссылки друзья уговорили Николая Павловича не приезжать в Петербург, остаться в Москве (для надёжности). *«Снова зашёл разговор о целесообразности моего переезда. М. Л. Лозинский сулил мне договор с издательством “Academia”, и я сдался»*. (Договоры с издательством Николай Павлович заключил на издание книги о Герцене и – совместно с краеведом Алексеем Алексеевичем Золотарёвым – монографии о Ярославле; издания эти не были осуществлены.) Михаил Леонидович был одним из рекомендовавших Николая Павловича Анциферова в члены Союза писателей СССР.

Далее свидетельствует Татьяна Никитична Толстая:

«Когда Михаил Леонидович умирал в 1955-ом и врач сказал, что осталось ему максимум сутки, бабушка пошла к себе и приняла яд. Умерла раньше его на несколько часов. Это был страшный удар: два гроба. Мама вспоминала, что, когда она зашла к бабушке в комнату и та была при сознании, она спросила её, зачем приняла яд.

Бабушка успела ответить: «Я, кажется, смалодушничала». Она так любила Михаила Леонидовича»¹²².

Прощаясь со своими друзьями, Николай Павлович Анциферов подобрал для этого последнего скорбного обращения к ним и к присутствовавшим очень точные, за душу берущие слова. Об этом пишет Ефим Эткинд в своей книге «Барселонская проза»:

«В 1955 году Лозинского хоронили, из того же Дома писателя, и гробы его и его жены стояли там же, где он в 1935 году встречался с нами. Тогда на панихиде Николай Павлович Анциферов, автор прославленной книги «Душа Петербурга», сказал: «Эти два гроба стоят здесь рядом, они подобны средневековому надгробью рыцаря и его супруги». Анциферов был глубоко прав – сходство было не только внешнее: М. Л. Лозинский был рыцарем поэзии и поэтического перевода; его жена Татьяна Борисовна покончила с собой, она не хотела и не могла пережить мужа, и это тоже было отголоском иной исторической эпохи»¹²⁴.

О подвигах, о доблести, о любви...

Нельзя, нельзя за скоростью, за бытом,
За злобой дня, подвижной, что ртуть,
Считать тот ужас снятым и забытым.
Людская память! Вечным стражем будь!

Михаил Львов

Детство моего поколения, поднявшегося к жизни в первые послевоенные годы, прошло в окружении и под решающим воспитательным воздействием поколения фронтового – счастливо судьбой отмеченных солдат Великой Отечественной войны, победивших и выживших, не сломившихся под чудовищными физическими и нервными нагрузками военных лет, не принизившихся в пору послевоенной психологической реабилитации.

Они вернулись из ада, где выполнили святое дело – спасли свою страну, европейские народы от германского фашизма, устроившего всемирную резню, залившего землю реками человеческой крови в попытке доказать своё расовое превосходство, утвердить себя господами и хозяевами мира, биологически уничтожить целые народы, превратить их покорившиеся остатки в рабов.

Они, солдаты-победители, прошли все круги ада, увидели мерзкую изнанку человеческого бытия, узнали цену человеческой жизни и, пережив глубокие личные потрясения, духовно очистились и нравственно поднялись над послевоенной средой соотечественников. Пламя войны сделало их людьми сильного закала и особой духовной структуры – прямыми, честными, справедливыми, чуждыми злу, эгоизму, двурушничеству, лжи, презирающими пресмыкательство, лицемерие, подлость, зависть.

Мы стольких в землю положили,
Мы столько стойких пережили,
Мы столько видели всего –
Уже не страшно ничего...¹²⁵

Они, солдаты-победители, герои Великой Отечественной войны, задавали тон и градус общественной жизни, они служили примером, по ним равнялись, по их моральным меркам строилось институтское, школьное воспитание.

В городе моего детства, милой и уютной Умани, такими людьми были преподаватели Сельскохозяйственного института – мой отец, Леонтий Аврамович Головцов (всю войну – танкист), Иван Маркиянович Карасюк (артиллерист, защищал Москву, деблокировал Ленинград), Антонина Кузьминична Ольховская-Баркова (военная медсестра, начинала в Сталинграде), Николай Григорьевич Евстратов (моряк, защищал Севастополь), Николай Ильич Делеменчук (боевой подполковник), Степан Назарович Беззубенко (старшина), Алексей Семёнович Андриенко (гвардии старшина), Иван Михайлович Павлов (Герой Советского Союза); элита школьной интеллигенции – Фёдор Иосифович Ковальчук (танкист – учитель украинского языка и литературы, школа номер четыре), Георгий Варфоломеевич Мищенко (военный лётчик, по программе ленд-лиза перегонял через Северный полюс на фронт американские самолёты – директор школы номер двенадцать), Иван Александрович Герасименко (командир орудийного расчёта – директор школы номер четыре), Василий Михайлович Цвилюховский (пехотинец – директор школы номер семь), Харитон Степанович Хоменко (участник Керченской операции, подполковник, выпускник двухгодичного Уманского учительского института – учитель истории школы номер пятнадцать)...



В их числе, ещё молодых – не старых, был и мой учитель Василий Васильевич Романченко – историк, завуч средней русскоязычной школы номер четыре. Из-за особенностей расписания уроков историю нашему классу читал другой педагог, и контакты мои с бравым завучем носили преимущественно воспитательный характер и завершались для меня, как правило, то вызовом родителей в школу, то выговором в личное дело, то снижением на балл-другой четвертной оценки по поведению.

Лишь много-много лет спустя, на стыке столетий, когда судьба одной ей ведомыми путями вновь свела меня (весной 2002 года) с Василием Васильевичем Романченко, общение наше (вплоть до его кончины, последовавшей 16 апреля 2011 года) стало регулярным и взаимно интересным – с обсуждением текущих событий общественно-политической жизни, с возвращением в общее школьное прошлое, с фронтовыми воспоминаниями моего наставника. Уже первые совместные посиделки убедили меня в удивительной, возрасту не поддавшейся ясности ума и точности суждений старого учителя, в широте его эрудиции, начитанности, в хорошем знании классической философии, этики и эстетики.

Поразила его памятьливость в изложении событий далёких военных лет – с подробностями боёв и тяжёлых отступлений, победных атак и сражений, с десятками имён, фамилий однополчан, погибших, без вести пропавших, потерявшихся на дорогах войны; с деталями фронтового быта, с анализом и оценкой особенностей человеческих чувствований и межчеловеческих отношений на войне.

Меняются цифры, стираются даты,
Но в памяти вечно шагают солдаты.
Стучат и стучат в головах батальоны,
И сон выбивают из глаз воспалённых¹²⁶.

Войну он, выпускник Педагогического техникума, успевший год поучительствовать, начал в составе сформированной в Донбассе Пролетарской дивизии, дрался в тяжёлых оборонительно-наступательных боях под Ростовом, летом сорок второго года выходил из тяжёлого окружения под Харьковом (после него рядового Романченко отправили на полугодовые офицерские курсы «Выстрел»), участвовал в окружении, разгроме и пленении немецко-фашистских войск под Корсунем-Шевченковским зимой – весной сорок четвёртого года.

На всём протяжении фронтового пути он, потомок украинских хлеборобов, не жалея живота своего, достойно, отважно исполнял воинский долг – бил *«врага ненавистного»* и был отмечен за это боевыми наградами. Завершилась его боевая одиссея за Карпатскими горами, где в конце октября сорок четвёртого года последнее, самое тяжёлое ранение окончательно выбило его, возмужавшего командира пехотного батальона, из боевого строя; военная медицина выходила его – он остался в числе тех трёх процентов родившихся в двадцать третьем году фронтовиков, которые, как свидетельствует беспристрастная статистика, выжили в войне¹²⁷.

Три года пробыл он в ужасах фронтовой круговерти, много видел и пережил, многое – как боец-защитник, боец-освободитель – сделал. Он видел смерть и увечья, безмерные страдания товарищей по оружию, мирных жителей, сожжённые города и сёла. Видел преломлённые сквозь призму боевых будней проявления высокого и низкого, доброго и злого. Как сотни тысяч советских солдат, физически перенапрягался в тяжёлом, опасном фронтовом труде и, глядя смерти в глаза, переживал колоссальные моральные нагрузки, жил в состоянии непрерывного внешнего насилия над психикой, неизменным спутником самого страшного изобретения человеческого безрассудства – войны.

В феврале 2010 года, в восемьдесят седьмой день рождения моего Учителя, я выслушал от него очередную фронтовую новеллу и, суммировав её с ранее слышанными, добавив свои документальные комментарии и стихотворные цитаты, переложил на бумагу краткие, фрагментарные воспоминания одного из героев Великой Отечественной войны – Василия Васильевича Романченко.

Ему – слово!

О психологии, побудительных мотивах на войне

Война не вмещается в оду,
И многое в ней не для книг.
Я верю, что нужен народу
Души откровенный дневник.

Семён Кирсанов

Моё поколение молодых фронтовиков родилось и выросло в только возникшем Советском Союзе, воспитывалось в духе идеологии нового общественного строя и в минуты опасности встало на защиту своей страны. Сознание и поведение моего поколения сформировались под влиянием веры в мудрость руководителя государства и правильность линии партии, привычки к труду и бытовым трудностям, готовности пожертвовать собой, чувства коллективизма, желания служить в армии, воспитания выносливости и готовности к войне, стремления к учению и овладению военными специальностями, безмерно высокого патриотического настроения. Мы отличались юношеским задором, эмоциональностью, импульсивностью в поступках, категоричностью и максимализмом в суждениях. Мы были романтиками, искали идеал и стремились подражать ему, в нас были обострённое чувство справедливости, пренебрежение к опасности, стремление к самоутверждению.

Вчера мы писали диктанты,
Чертили по доскам круги,
А утром уже интенданты
Нам выдали сапоги¹²⁸.

Начавшаяся война избавила нас от многих иллюзий, сдвинула в сознании многих из нас границы между хорошим и плохим, правильным и неправильным. С самого начала боевых действий рассеялся как дым внушавшийся нам образ немецкого солдата-трудящегося – друга Советской страны. Стало ясно, что немец – это сильный противник, жестокий враг; стало ясно: чтобы защитить Родину, большую и малую, родных и близких, чтобы спастись самому, нужно убивать, убивать, убивать оккупантов – садистов и насильников.

Из директивы А. Гитлера А. Розенбергу о введении в действие Генерального плана «Ост» (23 июля 1942 г.)

«Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость нежелательна... образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до ста... Каждый образованный человек – это наш будущий враг. Следует отбросить все сентиментальные возражения. Нужно управлять этим народом с железной решимостью... Говоря по-военному, мы должны убивать от трёх до четырёх миллионов русских в год».

В первый период войны (до победы под Сталинградом) мы сознавали реальность колоссальной угрозы, и, хотя большинство из нас верило в окон-

чательную победу, ярость к врагу смешивалась с болью страшных потерь и поражений. Первоначальная военная катастрофа вызвала состояние психологического шока, поэтому, наряду с проявлением массового героизма, в это страшное время были многочисленны факты сдачи в плен наших солдат. Реакцией Верховного главнокомандующего был приказ сорок первого года о пленных (номер двести двадцать шесть), приравнявший нахождение в плену к измене; затем после нашего сокрушительного поражения под Харьковом в июле сорок второго года вышел приказ номер двести семьдесят – «Ни шагу назад!», который ввёл штрафные батальоны, заградительные отряды. (Его зачитали во всех воинских подразделениях, а затем как официальный документ уничтожили.) Введённые репрессивные меры были беспощадно жестокими – вместе с реальными трусами и изменниками они затронули многих безвинных бойцов, волею обстоятельств оказавшихся в безысходном положении. Теперь в окружении в неравном бою солдату приходилось выбирать не между жизнью и смертью, а только между разновидностью последней: погибнуть в бою, сохранив человеческое достоинство, от пули заградительного отряда; быть расстрелянным как дезертир или умереть голодной смертью в плену.

В сопровождении заградотряда в атаку не ходил; при командире полка был специальный взвод автоматчиков, который, помимо прочих задач (в том числе строительного, бытового характера), решал задачу предотвращения паники в случае даже намёков на её проявление, но – без использования оружия. Помню только один эпизод отправки в штрафной батальон солдата нашего полка. Командир поставил провинившегося по стойке смирно, скомандовал: «В штрафной батальон – шагом марш!», и отправился бедолага практически на верную смерть, но выжил. Если солдат в штрафбате не погибал, получал ранение («искупал вину кровью»), его возвращали в штатный строй. Позже встретил его – вся грудь в наградах.

С переломом в ходе войны изменилось наше психологическое состояние. Мы научились побеждать, а следы разрушений и злодеяний на освобождаемых территориях добавляли ненависти к врагу, жажды мести, ускоряли наше движение на Запад. Кадровый состав армии к этому времени был фактически выбит, и ротами, батальонами, даже полками, командовали бывшие гражданские лица, в том числе и мы, вступившие в войну вчерашние школьники.

Мы мужали
В сражениях день ото дня,
С соседом до битвы сдружаясь,
Друзей после битв хороня¹²⁸.

Война скоро избавила нас от лихости и необдуманного риска, сделала рассудительными и осмотрительными, научила нас не высокими словами – личным примером утверждать командирский авторитет, реальную суть патриотизма и исполнения воинского долга, честь и стойкость солдата, научила по-военному профессионально готовить и выполнять поручаемые нам боевые задания, укреплять моральный дух подчинённых, проникаться их проблемами и переживаниями, быть требовательными к ним. Жёсткая дисциплина отвечала жестоким реалиям войны. Повиновение, становившееся инстинктом, выра-

батывало у бойцов автоматизм в действиях, который, суммируясь, увеличивал общую согласованность в бою, порождал воинскую солидарность. Фронтовая жизнь очень сближала людей, и боевое товарищество, коллективизм и взаимовыручка были основой фронтового братства.

Но (цитирую Ларошфуко): *«Высшая доблесть состоит в том, чтобы совершать в одиночестве то, на что люди отваживаются лишь в присутствии многих свидетелей»*. Нелегко было солдату, каждый раз вступая в бой, преодолевать внутреннюю боязнь, рисковать жизнью, однако окружение боевых товарищей, непосредственное управление и наблюдение командира, побудительные мотивы (честь, присяга, честолюбие, опасение упреков в трусости, страх перед неотвратимостью наказаний) возбуждали, стимулировали к проявлению бесстрашия, отваги. Героизм же высшей пробы выявлялся тогда, когда солдат, что называется, с глаза на глаз оказывался с врагом и дрался до последней капли крови, дорого отдавал свою жизнь и, как просто погибший или без вести пропавший, не получал заслуженной посмертной оценки своего подвига. Впрочем, при любых обстоятельствах многое в критические минуты боя определялось характером бойца: одни перед лицом неизбежной беды бежали, другие сопротивлялись с яростью дикого зверя, третьи противопоставляли ей хладнокровную осмотрительность. Но всё решал переданный по генетическим каналам от предков инстинкт защиты, охранения родной земли, продления существования своего рода, своего народа, и тогда в минуты смертельной опасности патриотизм охватывал бойца не по приказу, а по внутреннему велению и жизнь теряла цену перед патриотическим чувством.

И про отвагу, долг и честь
Не будешь зря твердить.
Они в тебе,
Какой ты есть,
Каким лишь можешь быть¹²⁹.

Война для солдата – это борьба со страхом. Страх, как естественная реакция человеческого организма на опасность, на болезнь, на старость, во фронтовой обстановке имеет другие основания: страх поражения или пленения, страх быть раненым, искалеченным или самый великий из всех страхов – страх быть убитым. Страх смерти мутит сознание впервые попавших под обстрел бойцов, проявлялся в их неадекватной реакции на происходившие события, вплоть до рвоты. У меня в первом бою от страха громко, до звенящего в ушах внутреннего эха, били дробь зубы. Комбат похлопывал меня по плечу: «Ничего, сынок, привыкнешь, привыкнешь!» Позже, уже как командир, я повторял эти слова своим необстрелянным бойцам, повторял, твёрдо зная, что научиться не бояться невозможно, что бесстрашие – это не отсутствие страха, а его преодоление в определённый отрезок времени и в конкретной боевой обстановке, что страх смерти не оставит бойца до уготованной ему роковой пули или, если суждено ему выжить, – до последнего залпа войны.

Я только раз видала рукопашный.
Раз – наяву. И тысячу – во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне¹³⁰.

Страх неравномерно распределялся во временном цикле фронтовой жизни бойца. Постоянно и угнетающе воздействуя на психику, он взлетал до своего максимума в целом ряде боевых ситуаций, одна из которых – оказаться под артиллерийским огнём противника. Трудно представить этот, на земле воплощавшийся, ад крошечный тому, кто в нём не бывал; и не хватает мне слов и душевной сдержанности, чтобы описать эту человеческую мясорубку! В таком смерче огня и поражающего металла имел шанс выжить тот, кто во время укрывался в траншее, в окопе, кто успевал нырнуть в свежую снарядную воронку (вероятность вторичного попадания в неё снаряда мала), но, как я не раз наблюдал, неизбежно погибал тот, кто терялся под воем падающих снарядов, суетился, куда-то бесцельно бежал. И ещё: на войне страх резко набирал силы в минуты предчувствия очередной опасности, ожидания стремительно надвигающейся беды, но он глушился у не впавшего в панику, вступившего в бой солдата силой сопротивления, борьбы, азартом схватки, жаждой победы. Для пехотинца на войне, наверное, самое страшное – ожидание атаки, когда нервы взвинчиваются до предела, когда голова раскалывается от боли, а язык прилипает к гортани, когда внутренне прощаешься с жизнью и молишься о спасении... Вспоминаю: отгремела артиллерийская подготовка, взлетела сигнальная ракета и, пока временно подавленный враг не пришёл в себя, взбираешься на бруствер окопа, хриплым, просевшим голосом командуешь «Вперёд!» – поднимаешь бойцов в атаку.

Я поднимаюсь.
Медленно.
Вполроста.
Я делаю свой первый трудный шаг.
Но оторваться от земли не просто:
последний страх занял в моих ушах¹³¹.

Война для солдата – это постоянное наблюдение гибели боевых товарищей, тех, кто дни и ночи бок о бок с тобой бился с врагом, в равной мере рисковал своей жизнью и избегал смерти. Но вот – их час пробил, они погибли, а ты продолжаешь жить. И мысль о том, что в их числе мог бы быть и ты, что, возможно, жизнями своими они продлили твоё земное бытие, бурлит твой мозг. И, прощаясь с погибшими однополчанами, ты не стыдишься своих слёз – горя и благодарности.

Пусть всех имён не назову,
нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
что умерли они?¹³²

Всё это я многократно испытал и пережил на фронте. Испытал и усиливавшуюся с каждым прожитым днём глубинную тоску от понимания беспощадного статистического факта: чем дольше ты остаёшься живым на войне,

тем больше у тебя вероятность погибнуть в каждый последующий миг твоего неопределённого фронтового будущего. И одновременно, когда мой боевой стаж стал заметно значительнее, очередной встреченный на передовой рассвет укреплял во мне почти мистическую надежду, в веру переходившую, что какая-то внешняя сила – судьба, молитва матери, любимой девушки – оберегает меня, что я доживу до Победы.

И от пуль невредим, и жарою не палим,
Прохожу я по кромке огня.
Видно, мать непомерным страданьем своим
Откупила у смерти меня¹³³.

Война для солдата – это воистину каторжный труд, труд смертельно опасный, с редкими перерывами на отдых. Это запредельные физические нагрузки днём и ночью, в жару и в холод; это марш-броски, длительные переходы с полной выкладкой; это форсирование вплавь полузамёрзших рек и, с риском навсегда уйти в трясины, преодоление топких болот; это максимально ускоренное перемещение пехотинцев по горным кручам – с орудиями, миномётами, пулемётами, боеприпасами; это многочасовое нахождение на передовой – в лютый мороз, в испепеляющую жару, под ливневым дождём; это постоянные землеройные работы – траншеи, окопы, ходы сообщения, землянки; это подмена собой отказавшей – в сугробах, в весенне-осенних распутицах – конной или механизированной тяги... Этот адский труд отбирал у солдата все силы и чуть больше, он был непрерывен и не давал солдатскому организму отдыха. Организм истощался в бессоннице, требовал, наперекор воле солдата, сна и использовал всякую возможность, выхватывая каждую свободную минуту для отключения от внешнего мира. И тогда солдат спал сидя, стоя, на ходу; спал мертвецким сном даже под грохот канонады, но, повинувшись приобретённому на войне условному рефлексу, мгновенно просыпался, услышав своё имя.

Лицо застигает потом.
Дорога домой длинна.
Вгрызается в грунт пехота,
Ворочает глину рота
Четвёртую ночь без сна.
Такая у нас работа –
Война¹³⁴.

О женщине на войне

В благодатную уманскую пору моей жизни, начавшуюся в предалёком пятьдесят втором году и продолжавшуюся почти четыре десятка лет, моё рабочее утро начиналось засветло. Из дому я выходил за час-полтора до начала уроков и, если не было отвлекающих обстоятельств, по дороге в школу заворачивал к расположенной в центральном городском сквере братской могиле

советских солдат, погибших при освобождении Умани в марте сорок четвёртого года. Я останавливался у места вечного упокоения братьев по оружию, с которыми, за несколько недель до штурма города, победно бился с фашистами под Корсунем-Шевченковским (после окружения и разгрома врага с остатками своего полка я отправился на переформирование, а они на плечах отступавших оккупантов ворвались в Умань и погибли, освобождая её). Я становился по стойке смирно перед надгробным памятником, минутой молчания чтил память погибших, перечитывал высеченные на граните их фамилии и задерживал взгляд на одной строке печального мартиролога: «*К. П. Ноздрячёва, 18 лет*». Я кланялся праху девушки-солдата, выражая тем самым особую, из глубины души идущую благодарность нашим боевым подругам – живым и мёртвым, – делившим с нами, мужчинами-фронтовиками, все тяготы военной жизни, помогавшим нам, спасавшим нас, благодарил за их тяжкий, совсем не женский труд на войне, за их мужество и героизм.

Я не бродила по туристским тропам
Над морем
В ослепительном краю:
В семнадцать лет,
Кочуя по окопам,
Я увидала Родину свою¹³⁰.

...Девочки-добровольцы появились на фронте уже в первые месяцы войны. Их было не так уж много, они внутренне были готовы к подвигу, к самопожертвованию, но не были готовы они, физиологически и психологически, к армии – к потере личной свободы и принудительному характеру поведения, к тяжёлым бытовым условиям, к грязи и вшам, к непосильным физическим нагрузкам, к крови и смерти, к постоянному стрессу, к неизбывному страху смерти. С сорок третьего года, когда Красная армия перешла в общее наступление, женщин стали призывать на фронт по мобилизационному плану, и их прямое или косвенное участие в боевых действиях стало значимым явлением войны. Они служили связистками, радистками, снайперами, зенитчицами, были основой медицинского персонала, обеспечивали бытовое обслуживание личного состава.

Женщина на фронте была единственным проблеском тепла и нежности для отвыкших от дома, от семьи солдат и вместе с тем была объектом мужского внимания. Следует помнить – мы были молоды и, несмотря на все тяготы фронтовой жизни, ощущали вечный зов основного инстинкта; фронтовые отношения мужчины и женщины, откровенно говоря, не всегда предварялись долгим ухаживанием, любовной игрой – реальная фронтовая жизнь была сурова во всех своих ипостасях (не хочу в этом вопросе быть ханжой и чистоплюем).

Разные были женщины-фронтовички. Одни руководствовались правилом «война всё спишет», были безразличны к мнению окружающих. И, кстати, фронтовая мораль гораздо строже судила неверную жену, изменившую воину-фронтовику с тыловой крысой, чем мимолётную подругу, пожалевшую идущего на смерть солдата.

Спасибо той, что так легко,
Не требуя, чтоб звали милой,
Другую, ту, что далеко,
Им торопливо заменила¹³⁵.

Другие женщины-военнослужащие стабилизировали свою интимную жизнь, становились сожительницами офицеров, их походно-полевыми жёнами (ППЖ – на фронтовом сленге). Нередки были случаи, когда призванные в армию женщины беременели; наше мужское отношение к таким женщинам было предельно уважительным, их окружали заботой, делали всё, чтобы с возможными для военной поры удобствами отправить их домой, чтобы не было у них дорожных проблем.

Но тем и сильна жизнь, что даже под пулями не переставали фронтовики – мужчины и женщины – любить, мечтать о счастье, о создании семьи. Были пары, составившиеся на войне, вместе прошедшие её до победного конца и устроившие после войны семейную жизнь. Но чаще любовь на фронте завершалась печалью или большой трагедией – разводили влюблённых фронтовые дороги, обстоятельства или смерть-разлучница делала своё чёрное дело.

Моё отношение к феномену «женщина на войне» было сложным, неоднозначным: ценил женщин как боевых товарищей, благодарил их внутренне за боевую помощь, за поддержку; глубоко сочувствовал им, попавшим в роковой список участников войны, отдававшим лучшие годы своей жизни молоху войны, постоянно находившимся между жизнью и смертью и потому вынужденно жившим одним фронтовым днём; считал противоестественным, что женщина, призванная рожать и воспитывать детей, давать душевное тепло семейному очагу, берёт на себя мужские обязанности – защищать родную землю, дом, семью. Я понимал, что страна, которая понесла огромные потери в начальный период войны, остро нуждалась в помощи женщин там, где они могли заменить солдат-мужчин. И всё же... «Не ваше это дело, девчата, не ваше», – не раз повторял я про себя, наблюдая, как отважные санитарки оказывают первую помощь раненым бойцам, как, надрываясь, вытаскивают их волоком – на плащ-палатке – из-под огня, как сами страдают от полученных ран, как гибнут.

Она лежит, не легендарная,
Смежив ресницы, как во сне,
А рядом сумка санитарная
С бинтом кровавым на ремне¹³⁶.

Когда я, томимый прошлым, перелистываю в памяти страницы своей фронтовой книги воспоминаний, обязательно дохожу до одного эпизода боя в Карпатских горах. Фашисты, пытаясь вырваться из окружения, бешено и безуспешно контратакуют, ведут интенсивный артобстрел. Мы окапываемся, вгрызаемся в землю, гибнут боевые друзья, стонут, просят помощи раненые, и вдруг – пронзительный крик иссечённой осколками санитарки сдавливает, режет моё сердце: «Мама! Мамочка! Помоги! Спаси меня!»

Случайная встреча

Есть в памяти мгновения войны,
что молниями светятся до смерти...

Сергей Поделков

В июле сорок четвёртого года наша Шестьдесят шестая гвардейская Полтавская дивизия (командир – генерал-майор С. Ф. Фролов) в составе Восемнадцатой армии (командир – генерал-лейтенант Е. П. Журавлёв), с начала августа вошедшая в состав воссозданного для Карпатской операции Четвёртого Украинского фронта (командующий – генерал-полковник И. Е. Петров), начала наступление от Черновцов в сторону Станислава. Взяв города Коломыя, Отыня, мы далее уклонились влево от станиславского направления, стали всё больше углубляться в предгорья Карпат. Не сразу – позже мне, командиру батальона, стала понятна суть стратегического замысла командования: рейдом по Карпатам наша армия должна была обойти Станислав и, встретившись с наступающей от Тернополя Первой гвардейской армией, замкнуть кольцо окружения вражеских войск.

Непросто вести наступление в горах – затруднено организованное передвижение, нет непрерывной линии фронта, ослабляется визуальный контроль за боевой ситуацией, усложняется управление бойцами. Всякая высота, занимавшаяся противником, давала ему преимущество в обороне. Приходилось с боем брать эти естественные укрепления, неся немалые потери. Во время одного такого боя впервые столкнулся с власовцами; они били по нас из пулемётов, издевательски кричали: «Эй, мужичок! Ты из какой губернии?», «Эй, мужички! Держитесь, сейчас камешками зашибём!» Насмешки предателей добавили силы – высоту мы взяли. (Власовцев, как известно, в плен не брали.)

Трудностей рейду по Карпатам добавляли большие перепады высоты, густые леса, вязкая почва, крутые берега горных рек, их непредсказуемый режим воды, большие плоские поляны (полонины), служившие природными ловушками для нас, наступавших. С нами воевали специально обученные и экипированные горные стрелки, мы же были обычными пехотными частями. Приходилось нам – то на конной тяге, то вручную – перетаскивать по горам и долам пушки-сорокапятки, батальонные и ротные миномёты, пулемёты системы Максима, проводить за собой караваны навьюченных боеприпасами, продовольствием лошадей. Трудно было выносить, точнее вытаскивать, на волокушах (две плащ-палатки, две палки) из-под огня раненых бойцов, оказывать им первую медицинскую помощь.

Когда мы натыкались на лесную дорогу-лежнёвку (вымощенную поперёк брёвнами), переходили на неё, сообщали координаты арьергарду и продолжали движение вперёд. Случилось так, что в один и тот же день мой батальон и батальон капитана Левченко, очень удачно заняв высоты над разными лесными дорогами, перехватили колонны отступавших мадьяр. Мы, что называется, отсекали огнём колонне (численностью не менее двух тысяч) голову и хвост, но получили резкий стрелковый и оружейный отпор, понесли потери и, разъярённые, в течение получаса наголову разгромили противника. Остаток колонны

(сотни три) с обозом отконвоировали в тыл. У Левченко атака с высоты обошлась без потерь – мадьяры (тысячи четыре!) были оглушены мощным огнём и сдались без боя. Их разоружили и с растянувшимся на несколько километров обозом без конвоя отправили навстречу следовавшим за нами частям. За эти операции многие наши бойцы были отмечены наградами. Меня наградили орденом Отечественной войны, Левченко – Красной Звезды.

Момент истины наступил в первых числах августа у города Долина, где наша дивизия узким длинным клином врезалась в расположение немецко-мадьярских войск, выбитых из Станислава и выходивших из намечавшегося для них окружения. Подорвав перед отступлением артиллерийский арсенал, они всей мощью собранной в кулак живой силы и техники обрушились на наши части, стремясь срезать угол образовавшегося клина, уничтожить, рассеять нас, расширить проход для вывода своих войск.

Это был один из самых кровавых боёв во всей моей фронтовой эпопее. Преимущество врага было подавляющим. По нас с удесятерённой силой били танки, самоходные орудия, скорострельные пушки, миномёты, без перерыва строчили пулемёты и автоматы, стреляли снайперы. Мы окопались, рассеялись между окраинными домами, укрылись в подвалах. Пытались контратаковать, но – безуспешно. «Вперёд!» – взревел командир пулемётной роты Шмаков, выскочил, размахивая автоматом, из укрытия и мгновенно был убит. За ним, обкладывая фрицев трёхэтажным матом, пошёл командир взвода Шатаев (грудь – иконостас наград), больше я его никогда не видел. Закричал, вызывая санитаря, тяжело раненный боец; санитар Ткачук, исполняя долг солдата, не пополз – побежал, чуть пригибаясь под пулями и осколками, на крик и только наклонился над раненым, как снаряд прямым попаданием накрыл обоих.

В критический момент боя пришла подмога. Послышалось нарастающее «ура», и я увидел – через поле спелой ржи, обстреливая, оттесняя от нас немцев и мадьяр, бежали бойцы соседнего полка, прикрывавшие наш фланг. И вдруг среди наших спасителей я узнал... своего дядю, Кирилла Ерофеевича Красиловского. Он также заметил меня.

– Василь! – закричал дядя *рідною українською* мовою, закричал просто и обыденно, будто мы только вчера виделись, вместе прогуливались по нашему родному селу Ставище, что на Киевщине. – Василь! Ми сьогодні стільки німців побили, стільки німців побили! – Он остановился, мы обнялись, перекинулись двумя-тремя фразами, и он побежал за своими преследовать и дальше бить *німців*. – Василь! – крикнул он напоследок, обернувшись на бегу. – Будеш живим – не забудь моїх дітей!

Для оставшихся в живых бойцов батальона этот бой закончился. Мы отступили к лесу, к нам стали подтягиваться бойцы других частей, отбившиеся от своих в ходе боя и отступления. «Тогда считать мы стали раны, / Товарищией считать». Потери наши были большими, но и фашистских гадов мы положили немало, решив важную боевую задачу – отбросили противника в горы, подготовили плацдарм для преодоления Карпат. И задача эта была решена и ценой жизни моих друзей-однополчан, чьи фамилии, с трудом сдерживая слёзы, я вычёркивал из строевого списка батальона после кровавого побоища у города Долина.

Я в гарнизонном клубе за Карпатами
читал об отступлении, читал
о том, как над убитыми солдатами
не ангел смерти, а комбат рыдал¹³⁷.

Осенью сорок четвёртого года в семью Красиловских пришло извещение о том, что их муж и отец пропал без вести. Пришло огромное горе, с которым большая лишившаяся кормильца семья трудно жила долгие годы (семьям без вести пропавших за отсутствовавшего кормильца пенсию не платили), пока не притупилась боль утраты, пока не выучились и не трудоустроились дети. Памятуя последнюю просьбу дяди, я чем мог помогал его детям – материально, с учёбой, с работой.

Прошло много лет после окончания войны, и однажды, в начале семидесятых годов, разговорившись в очередной раз с двоюродным братом Андреем Красиловским о судьбе его отца, я предложил ему съездить к месту моей последней встречи с Кириллом Ерофеевичем, обойти все окрестные солдатские захоронения, братские могилы. Андрей, не задерживаясь, поехал в город Долина и на монументе, установленном на братской могиле воинов-освободителей, в большом скорбном списке прочитал: «*Кирилл Ерофеевич Красиловский*».

Кубанка

Он не дожил, не долюбил, не допил,
Не доучился, книг не дочитал.
Я был с ним рядом.

Михаил Дудин

В июне сорок четвёртого года, когда наша армия с боями проходила Карпаты, к нашему батальону пристал молодой казак Девятой Кубанской казачьей пластунской дивизии. По какой причине он отстал от своих, не помню; такие случаи были обычным делом, поэтому наше командование известило о случившемся командование пластунской дивизии, навело справки об отставшем, и новый боец был включён в список моего батальона, поставлен на все виды довольствия. Имени казака не помню, тем более что с первого же дня за ним закрепилась кличка Кубанка.

Был он одет в традиционную форму пластунов – черкеска с глазырями, в которые были вставлены деревянные колышки, прикрытые сверху жестяными колпачками; штык-нож в деревянных, покрытых чёрным лаком ножнах; шапка-кубанка с голубым кантом. (Пластунская дивизия была уникальным формированием в Красной армии. Состояла она из кубанских казаков, в ней не было деления на роты и батальоны, полки состояли из сотен, в каждой сотне – по три-четыре взвода. Дивизия была сформирована в начале сорок четвёртого года и летом того же года была переброшена на фронт для участия в Карпатской операции.)

Наш новичок держался особняком, в перерывах между боями подолгу сидел в одиночестве на земле, обхватив колени руками, и о чём-то очень напряжённо думал, казалось, какая-то грусть-тоска грызла его сердце. Пулям он не кланялся. Но в смелости его была какая-то отчаянная решимость. Порой казалось, будто он сам ищет смерти, а смерть его раз за разом обходит. Однажды вечером, перед боем за очередной населённый пункт, наш Кубанка излил в песне свои внутренние переживания. Пел мрачно, сосредоточенно, с сильным надрывом:

– Посмотри, изодранные в клочья
Облака за горизонт спешат,
И тревогой налитые очи
В тишине о чём-то говорят.

И хоть я беседую с тобою,
Но другие мысли у меня.
Может, завтра, в утро голубое,
Мне седлать горячего коня.

Может, там, вдали от полустанка,
Разгорится небывалый бой.
Потеряю я свою кубанку
Со своей удалой головой.

На следующий день Кубанка погиб. Погиб на моих глазах – то ли от шальной пули, то ли от выстрела снайпера. Был конец июля, понедельник. Будто вчера это было, и по сей день вижу я падающего с высокого забора (своего последнего боевого препятствия) моего фронтового друга, его залитую кровью голову, его слетевшую в дорожную пыль кубанку.

Горькая любовь

Ну, а дальше – белая палата
Да повязки тяжкие в крови,
В тёмной биографии солдата
Светлая страница о любви.

Борис Костров

Были в моей фронтовой жизни десять суток вынужденных госпитальных каникул, волею судьбы обернувшихся в волшебную сказку любви – чистой, как родниковая вода, яркой, как солнце, и... горькой, несравнимо горькой из-за предопределённой краткости. *«Немало прожил я: уже усеян / земной мой путь листвой сухой и жёлтой»*, но всякий раз, возвращаясь мысленно к тем незабываемым дням моего любовного горения, я вспоминаю черты лица, мимику, жесты, слова моего ангела-хранителя, каждую мелочь наших отношений и – болею этим.

Во второй половине августа сорок четвёртого года в бою за очередной населённый пункт в Карпатах меня легко ранило – мелкие осколки посекали кисти рук. На такие «царапины» внимания не обращали, санитарка на месте обработала раны, и я остался в строю. Но через несколько дней «царапины» воспалились, нагноились, и командир полка отправил меня в полковую санчасть.

Женщина-врач, майор медицинской службы, осмотрев раны, возмутилась моей беспечностью, едва не приведшей к гангрене. Она назначила уколы пенициллина и переливание крови (из моей вены в мою же филейную часть) и, представив медсестру Аню (средний рост, худощавая, правильные черты чуть удлинённого лица, серо-голубые глаза, русые коротко подрезанные волосы и – нечто во взгляде), оставила нас двоих.

Пока Аня готовила шприц, я подошёл к ней и с неожиданной для самого себя развязностью обнял за талию.

– Капитан! – удивлённо вскинула брови Аня. – Мне сразу показалось, что вы интеллигентный человек, а вы, как и другие, считаете, что мы должны удовлетворять ваши прихоти.

– Так-так! – принял я тон и темп разговора. – Во-первых, не капитан, а товарищ капитан. А во-вторых, не просто товарищ капитан, а товарищ гвардии капитан.

– Так, может быть, вас называть ваше благородие?

– Откуда ты такая острая на язык?

– Из Воронежа.

– И что, у вас там все такие?

– Нет, через одну.

– Не завидую я вашим парням.

Лицо Ани посерьёзнело, помрачнело.

– Все наши парни воюют.

Много позже, оценивая свой импульсивно-развязный поступок, я пришёл к выводу, что им я инстинктивно прикрывал своё внутреннее смущение, вызванное стремительно вспыхнувшим влечением к умной, обаятельной девушке. Возможно, дальше к смущению добавилось лёгкое уязвление самолюбия, вместе удерживавшие меня от первого шага, хотя я видел и чувствовал, что также «глянул» Ане с первых минут нашего общения, с первых фраз нашей ироничной словесной дуэли.

Первый шаг, уже на второй день нашего знакомства, сделала деликатная, всё понимавшая Аня. На небольшой, покрытой густой травой, окружённой высокими смереками полянке, месте наших ежедневных прогулок, она, положив мне на плечи руки и чуть откинув голову, пристально всматривалась в мои глаза, будто пытаясь заглянуть в душу. Затем с величайшей осторожностью, лёгким касанием поцеловала уголки моих губ и, положив голову на моё плечо, тесно прижалась ко мне, переполненному нежностью, трепетавшему от немого восторга. И была страсть, было чувство, были бессвязные, милые, ласковые слова.

Потом, отдыхая, положив голову на мои ноги, она задумчиво смотрела в небо, признавалась мне в любви и горестно размышляла:

– Я люблю, очень люблю тебя! Люблю, хотя знаю, что недолго нам быть вместе. У нашей любви нет будущего – смерть день и ночь витает над нами, особенно над тобой, находящимся на передовой. Всё, что происходит между нами, – навсегда моё, и я знаю, что ты тоже будешь жить этим. Строить планы на будущее – плохая примета, а я суеверная, боясь за тебя, не хочу, чтобы ты погиб. Поэтому давай договоримся – никаких планов на будущее, никаких обещаний и клятв.

Она была несравненной, выделялась удивительной рассудительностью, трезвостью суждений, внутренней культурой, начитанностью, казалось, её не тронул грубый военный быт. Она мало говорила о своём прошлом, узнал я только, что ей девятнадцать лет, что её родители – врачи, что хотели они, используя свои возможности, оставить дочь в тылу, но она настояла на своём и, как весь её выпускной класс, ушла на фронт.

Мы радовались друг другу, говорили о позабытых бытовых пустяках мирной жизни, пересказывали прочитанные книги, иногда я пел (у меня, кстати, был неплохой тенор, переходящий в дискант). Более других песен Ане нравился романс «Дымок от папиросы», было видно, что её волнует его печальный финал: *«Неумолимо проходит / Счастье мимо. / Ко мне, я знаю, / Ты не вернёшься никогда»*.

Однажды мы углубились в лес дальше обычного и попали под миномётный обстрел. Мины свистели и, громко чавкая, взрывали землю. В какой-то момент меня будто ударило в сердце. Я вскочил, судорожно обхватил Аню и, буквально протащив её несколько метров, бросил за толстой смерекой на землю, накрыв собой. Послышался резко набирающий силу свист и взрыв – мина попала точно в то место, где несколько мгновений назад сидели мы с Аней.

– Боже! – возбуждённо закричала Аня. – Ведь ты спас меня от смерти! Любимый, ты спас меня!

– И себя тоже, – резонно заметил я. – Может быть, судьба хранит нас. Может быть, мы оба доживём до победы и будем вместе...

Я выразительно посмотрел на Аню, но она ничего не ответила, и только слезинки тихо капали с её ресниц.

За день до выписки меня вызвала главврач.

– Что вы сделали с нашей Аней? Она ходит вся в слезах.

– Мне тоже не плакать хочется – рыдать, но я не имею на это права. Сердце моё разрывается при мысли, что мне нужно расстаться с Аней. Но мне завтра в бой, и Аню я больше никогда не увижу. Мы уже говорили с ней об этом.

– Хотите, я на два-три дня задержу вас в санчасти?

– Не надо этого делать. Зачем продолжать травить душу? И через двадцать, и через тридцать дней будет то же самое. Я не имею права задерживаться здесь. Есть долг, честь, присяга. Меня ждут бойцы.

– Вы очень правильно всё сказали, вы как человек мне очень нравитесь.

– Я вас очень прошу, берегите Аню. Она удивительная, замечательная девушка, ей не место на войне.

Прощались мы тяжело и долго. Обняв меня, прижавшись головой к моей груди, Аня горько плакала, и её тёплые слёзы капали мне за гимнастёрку на грудь.

– Ты ещё встретишь не одну на фронтовой дороге, – говорила она сквозь слёзы. – Что касается меня, я не скоро приду в себя. Я вся растворилась в тебе и не чувствую себя. Пройдёт немало времени, прежде чем я восстановлюсь душевно. Если вернусь домой, выйду замуж. Родится сын – назову его Василием, родится дочь – Василиной. И знай – я буду молиться за тебя.

На прощание я подарил Ане своё стихотворение, простое, сердцем написанное: *«Любимая, нежная Аня! Я не забуду облик твой. Была ты мне нежною няней, будто бы мамой родной»*. Аня подарила мне трофейный бумажник – большой, толстый, с множеством отделений.

Я уходил вниз по склону к дороге, где меня ждал подготовленный к отправке обоз. Я шёл и всё оглядывался. Аня стояла наверху, махала мне рукой, её стройная фигурка становилась всё меньше и меньше, пока не превратилась в точку и – навсегда исчезла.

...31 октября сорок четвёртого года в бою под Ужгородом я был тяжело ранен – шесть осколков попали в руки и ноги. Один, самый опасный, застрял в большой берцовой кости, второй мог стать роковым – он чуть не добрался до бедренной кости, но на пути его оказался подарок Ани, ставший моим талисманом. Осколок угодил точно в бумажник, в котором были документы, часы и мой толстый офицерский блокнот; пробив его насквозь, осколок потерял силу и застрял в мягкой ткани бедра.

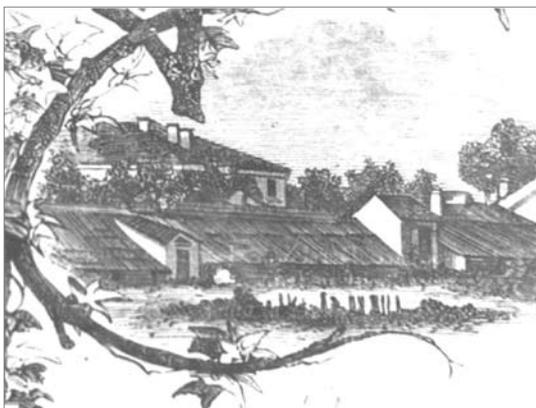
Бойцы вытащили меня из-под огня, оказали первую помощь. Далее – госпиталь в Самборе, эвакуация в тыловой госпиталь, в Днепропетровск, где я встретил День Победы. Всё это время я был в гипсе, положение было серьёзным – несколько раз вставал вопрос об ампутации искалеченной ноги, но врачи боролись за мою жизнь. И все эти месяцы лечения я не переставал думать об Ане, порывался разыскать её через полевую почту, но останавливался: не мог представить себе, что письмо Ане (если получилось бы найти её) будет написано чужой рукой (мои руки не работали), не хотелось огорчать её своей немощью, неясными перспективами выздоровления...

После войны началась у меня новая жизнь. И в жизни этой – от послевоенной молодости до глубокой старости – рана на ноге (Анин «кленовый лист») ежедневно визуально напоминает о первой и неповторимой фронтовой любви, случившейся в моей жизни в конце августа сорок четвёртого года.

Уманские дни Павла Григорьевича Анциферова

История Уманского училища земледелия и садоводства началась в 1844 году, когда при Императорском ботаническом саде, располагавшемся в Одессе, было открыто трёхгодичное Главное училище садоводства, нацеленное на подготовку *«знающих, с полными теоретическими и практическими сведениями садовников»*. Засушливый климат одесского региона не способствовал разведению садов, что стало основной причиной перевода училища из Одессы

в Умань, на что был издан – 30 марта 1859 года – указ императора Александра II. По этому же указу в ведение переселившегося учебного заведения был передан парк «Софиевка» (Царицын сад), переименованный в «Уманский сад Главного училища садоводства». По этой причине в учебную программу училища было введено преподавание лесоводства.



За оранжереей – директорский дом, в котором в 1889 году родился Николай Павлович Анциферов

была присоединена большая прямоугольной формы площадка с последующим её разделением на пять зелёных рекреаций и застройкой по периметру. В это же время по проекту старшего инженера департамента земледелия министерства государственных имуществ Николая Никифоровича Маркова было начато строительство пансиона для учащихся. На первом этаже возведённого строения были устроены учебные классы, на втором – спальные помещения. По его же проекту летом 1863 года был заложен двухэтажный корпус училищной церкви во имя Святой и Равноапостольной Марии Магдалины, освящённой уже в конце того же года. (В 1923 году храм был превращён в актовъный зал, а бывший на первом этаже танцевальный зал – в учебную аудиторию.)

После почти четвертьвекового существования училища его педагогическая тематика расширилась за счёт прибавления к ней науки «земледелие», которая – как и наука «садоводство» – активно развивалась в России с конца восемнадцатого века. В 1868 году Главное училище садоводства в городе Умани было преобразовано в Училище земледелия и садоводства с шестилетним сроком обучения. Наплыв абитуриентов во вновь преобразованное учебное заведение был большим (в 1876 году – двести двадцать семь человек), что вызвало издание распоряжения об ограничении приёма учеников (к примеру, в 1894 году в нём числилось уже сто двадцать восемь учеников).

В 1869 году из Петербурга в Умань для производства дальнейших строительных работ был откомандирован Роберт Людвигович Першке, сверхштатный сотрудник департамента земледелия министерства государственных имуществ. За десять лет работы в училище им были возведены новые хозяйственные постройки, перестроена оранжерея. Позже, в 1887–1890 годах, был выстроен ещё один – в два этажа, с мезонином – учебный корпус, после

чего ансамбль зданий училища приобрёл экстерьер, доминантой которого стала домовая церковь во имя Святой и Равноапостольной Марии Магдалины, сомкнувшая угловой стык старого двухэтажного пансионного корпуса и капитальной новостройки.

В 1878 году было издано положение о земледельческих училищах в России, определявшее, в том числе, штат преподавателей и вспомогательного персонала. По качеству и тематике преподавание в земледельческих училищах было поставлено на уровень преподавания в реальных училищах с присоединением к прежде читавшимся предметам геодезии, растениеводства, животноводства и ветеринарии, сельскохозяйственной экономики со счетоводством, сельскохозяйственной технологии, учения о земледельческих машинах и орудиях с изложением основ механики, сельского строительного искусства и краткого курса юриспруденции. Все читаемые предметы были обеспечены соответствующими учебниками. Принимались в училище лица, окончившие курс уездных городских или двухклассных сельских училищ или же выдержавшие экзамены по предметам, читавшимся в первых двух классах реальных училищ. Выпускники земледельческих училищ получали звание личного почётного гражданина.

Где-то в середине семидесятых годов девятнадцатого столетия (но никак не позже семьдесят шестого года, что подтверждает приведённая ниже книжная пометка) два молодых педагога, выпускники столичного Земледельческого института Дмитрий Семёнович Леванда и Павел Григорьевич Анциферов, получили назначение в Умань, в Училище земледелия и садоводства. Приехали они молодожёнами (и свояками): женою Леванды была Мария Максимовна Петрова, женою Анциферова – Екатерина Максимовна Петрова. С молодыми семьями из Петербурга приехали две «старушки Кононовы», крёстные матери сестёр Петровых, сызмальства им сопутствовавшие, за ними ухаживавшие. С Анциферовыми в Умань переехала и мама Екатерины Максимовны – Прасковья Андреевна Петрова (урождённая Андреева), «...женщина решительная, твёрдая, крепко державшаяся заветов старины»².

Два друга, синхронно начавшие свой педагогический путь, синхронно поднялись – с разницей в одну ступень – по служебной лестнице. Павел Григорьевич специализировался на животноводстве, Дмитрий Семёнович преподавал счетоводство (позже, уже в кресле директора училища, он приложил немало усилий по введению 1896 году в программу обучения курса «Лесовод-



П. Г. Анциферов



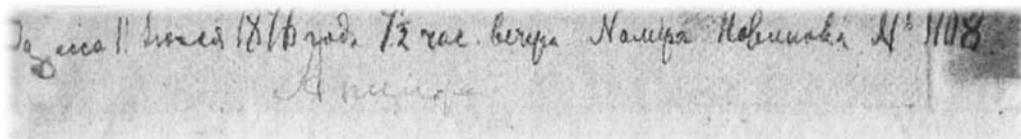
Е. М. Анциферова



Д. С. Леванда

ство»; дабы обеспечить его практической базой, обустроил дачу «Греков лес» и «Белогородовскую лесную дачу»).

Прежде назначения Леванды директором училища Анциферов уже в 1878 году был его инспектором (продолжая читать курс животноводства) и таковым оставался до 1891 года. Вместе с семьями друзья жили в одном доме, представлявшем (и поныне представляющем) массивный двухэтажный просторный особняк с фасадом классических пропорций, где располагались служебные помещения, библиотека училища, комната для приезжих, кабинеты директора и инспектора училища, квартиры их семей. Спроектировал здание в 1859 году и организовал строительство неутомимый Николай Никифорович Марков.



Пометка в книге П. Г. Анциферова: «Одесса 1 июля 1876 год.
7 1/2 час. вечера. Номера Новикова № 108. Анциферов»

Назначенный в 1886 году директором училища Дмитрий Семёнович Леванда одновременно получил должность почётного мирового судьи города, которую он занимал более десяти лет, вплоть до отмены этой новой судебной институции. Мировая юстиция, утверждённая судебным уставом 1864 года,



представляла собой максимально приближённую к населению, обособленную замкнутую систему, построенную на началах выборности, всеобщности, независимости и несменяемости судей, избиравшихся на три года уездным земским собранием. Мировой судья был первой инстанцией для рассмотрения мелких уголовных дел (до года ли-

шения свободы) и гражданских (с размером иска до пятисот рублей) дел. Одновременно были утверждены неоплачиваемые должности почётных мировых судей, которые по просьбе сторон или ввиду отсутствия мировых судей рассматривали подсудные им дела.

Умань, как один из двенадцати уездных городов Киевской губернии, был «укомплектован» полным набором административных, судебных и фискальных ведомств. Читая «Памятные книжки Киевской губернии за 1889 год» (по-особому памятный для супругов Анциферовых), узнаёшь, что, к примеру, уездным предводителем дворянства был отставной штабс-капитан Николай Васильевич Квашнин-Самарин и что он же председательствовал на съездах уманско-звенигородских мировых посредников (должностных лиц дворянского происхождения, обладавших судебной властью при разборе тяжёлых дел между помещиками и крестьянами).

Уездное полицейское управление (с заседателями, секретарём, столоначальниками, регистраторами и полицейскими приставами) было под началом исправника – титулярного советника Константина Михайловича Любовецкого. Подвластные ему три станových пристава наблюдали с должным усердием за точным исполнением законов, отвечали за порядок в трёх уездных станах – в самом городе Умани, местечках Дубовое и Тальное.

В окружном суде, охватывавшем правосудием жителей Звенигородского, Липовецкого, Таращанского и Уманского уездов, председательствовал статский советник Викентий Георгиевич Вильямсон; его товарищем по долж-

ности был коллежский асессор Иван Венедиктович Незабитовский (возможно, имевший родство со знаменитым киевским юристом-международником Василием Андреевичем Незабитовским). Прежде Умани служил Вильямсон в Петербурге, вместе с известным юристом Анатолием Фёдоровичем Кони. Вместе они (как товарищ прокурора и прокурор) расследовали в 1874 году «дело игуменьи Митрофании» (о подложных векселях); в 1875 году – дело купца Овсянникова (о поджоге им, с целью получения страховки, паровой мельницы на Измайловском проспекте). Был Викентий Георгиевич активным участником семинаров по уголовному праву, проводившихся Кони.



Судебным приставом второго участка при съезде мировых судов в эту пору был нижний чин Пётр Георгиевич Новицкий – тем «*для матери истории ценен*», что его сын Юрий, родившийся в Умани в 1882 году, после окончания юридического факультета Киевского университета и нескольких лет работы в нём, перевёлся в Петербургский университет профессором уголовного права; вместе с Львом Платоновичем Карсавиным работал в Обществе православных приходов столицы; как решительный противник изъятия церковных ценностей революционной властью, погиб от её расстрельной пули и был на исходе двадцатого века канонизирован Православной церковью как святомученик.

В Умани в рассматриваемую пору дислоцировалась Девятнадцатая пехотная дивизия, коей командовал генерал-лейтенант Николай Павлович Ломакин, имевший за плечами богатый боевой опыт: в 1850–1863 годах он с отличием участвовал в Кавказской войне; в Хивинском походе 1873 года за отвагу в боях и решающий штурм Хивы был отмечен боевыми наградами и званием генерал-майора. (Вместе с ним в этой кампании участвовал великий князь Николай Константинович Романов, наидостойнейшим образом себя в ней проявивший. Как полагают некоторые биографы, тяготы военноположной жизни не прошли бесследно для психики великого князя, нарушения которой стали одной из причин его последующего эпатажного поведения. Уличённый в 1874 году в краже фамильных драгоценностей, он по решению дядюшки, императора Александра II, был публично объявлен душевнобольным, неспособным и подвергнут ostracismu. Места его изгнания посто-

янно менялись, одним из них – в конце 1875 года – стала Умань, где сожительница великого князя Александра Демидова родила ему сына Николая, позже получившего дворянство и фамилию Волынский.)

Три года, начиная с января 1893 года, начальником Уманской инженерной дистанции был военный инженер полковник Антон Григорьевич Сарнецкий.



По его планам и смете в городе был возведён военный собор (после революции осквернённый, после войны превращённый в кинотеатр; ныне – полуразрушенный – доживает свой век). Как выпускник Николаевской инженерной академии, Антон Григорьевич с 1875 года служил военным инженером на Кавказе, принимал участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. После Умани, с 1896 года, служил начальником Одесской инженерной дистанции. Здесь под его началом на территории военного госпиталя был возведён храм во имя Святого Александра Невского. В Одессе, уже в чине генерал-лейтенанта, Антон Григорьевич, закончил свои земные дни в 1914 году.

В связи с начавшимися – в конце 1888 года – работами по проведению через Умань железнодорожной магистрали в Киеве были учреждены Инспекция по сооружению Уманских ветвей Юго-Западной железной дороги (улица Большая Васильковская, дом шестьдесят четыре), Государственный контроль по постройке Уманских ветвей (улица Гимназическая, дом один) и Главная контора по сооружению Уманских ветвей (улица Фундуклеевская, дом двадцать три), которой были подчинены три строительных участка на местах строительства. Начальником уманского (третьего) участка был назначен Валериан Алексеевич Сахановский, и только ему довелось не покладая рук тянуть рельсовый путь к Умани, остальные участки (в местечке Тальное и селе Орадовка) были аннулированы за производственной ненадобностью.

По первоначальному проекту предполагалось проложить колею по направлениям Умань – Казатин, Умань – Шпола и Умань – Вапнярка с устройством вокзала в уманском Грековом лесу. Но, как говорят на Украине, «з великої хмари та малий дощ» – вместо ветвей железных дорог получил уездный город Умань, в 1890 году, одну веточку-аппендикс, соединившую город с узловой станцией Христиновка. Детали совершившейся железнодорожной панамы – со сребролюбивыми путейцами и «недогадливой» городской властью – описал Юрий Львович Крамаренко в своих воспоминаниях (ныне хранящихся в рукописном виде в Уманском краеведческом музее):

«...Через несколько месяцев пронёсся слух, что линия пройдёт не через Умань, где намечалась узловая станция, а через Христиновку, откуда на Умань пройдёт глухая ветка. Вскоре выяснилось, что сделан новый проект и что перемена направления произошла вследствие того, что если бы через Умань шла линия, то надо было строить мост через Уманку, который стоил бы 100 тысяч, а как инженеры обошли Умань, то получилась экономия на 100 тысяч, за что инженеры получили премию по 5 т. руб. Потом в городе говорили, что если бы городская дума догадалась внести эти 5 тысяч инженерам, то план линии остался бы прежний».

Юрий Львович Крамаренко, врач широкого профиля, на время «рельсовой войны» совмещал должность главного городского лекаря с медицинским обслуживанием пациентов Училища земледелия и садоводства, а также Духовного училища и Еврейской больницы (не говоря уже о частной практике среди горожан). Такая профессиональная перегрузка Крамаренко была вызвана тем, что в ту пору на Уманщине кроме него был только один врач-хирург, из фольксдойче, живший в имении графа Шувалова в Тальном. (К слову, граф Пётр Павлович Шувалов, муж Софьи Львовны Нарышкиной, внучки Софии и Станислава Щенсных Потоцких, с 1893 года в течение нескольких лет избирался в уманские мировые судьи, и с ним, как с товарищем по общественной работе, обменивался рукопожатиями Дмитрий Семёнович Леванда.)

Был доктор Крамаренко личностью незаурядной, значимостью своей далеко выходящей за городские пределы. После окончания медицинского факультета Киевского университета и двух лет службы на Кавказской линии он в 1878 году приехал в Умань вместе с молодой женой, Марией Моисеевной Подгаецкой. Помимо врачевания горожан жил он активной культурно-творческой жизнью: устраивал домашние спектакли, литературные вечера и, как великий энтузиаст развития украинской культуры, работал над составлением русско-украинского словаря.

С коллегой Анциферовым его объединяло увлечение книгособирательством с пополнением приобретёнными книгами городских библиотек. Павел Григорьевич передавал купленные книги в училищную библиотеку, в которой на общественных началах заведовал книжным фондом



Книги П. Г. Анциферова, переданные им в библиотеку училища

«преподаватель естественных наук» Вильгельм Александрович Поггенполь, 1854 года рождения, выпускник Петербургского земледельческого института. Юрий Львович же приобретённую литературу заносил безвозвратно в городскую общественную библиотеку-читальню, открытую по его инициативе в отеле «Европа» в конце 1897 года.

Согласно данным губернской статистики от 1877 года (к слову, определившей народонаселение Умани в пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь человек, из которых девять тысяч триста тридцать четыре охваченных переписью имели иудейское вероисповедание), в Уманском уезде на три с половиной сотни дееспособных лиц мужского пола приходилось одно лицо, занятое умственным трудом. При таком мизерном проценте интеллектуалов в небольшом по размеру и народонаселению городке люди умственного склада и рода занятий, конечно же, тянулись друг к другу, группировались по общ-

ности умственных интересов, эрудиции, любви к чтению, к разнообразным формам совместного культурного досуга. Безусловно, все они знали один другого, и, конечно же, в круг общения Павла Григорьевича Анциферова входили не только сослуживцы, но и представители местной интеллигенции, такие как смотритель Духовного училища Иван Михайлович Померанцев и подчинённые ему учителя греческого языка – Деметрий Генуарович Климовский, латинского языка – Александр Иванович Аннинский; смотритель двухклассного мужского и женского училища Пётр Максимович Семенцов; лесничий Михаил Викторович Кирмалов; городской голова Владимир Антонович Бачковский.

А уж педагогическая среда училища в части интеллекта, культуры и духовности его сотрудников дорогого стоила. Василий Васильевич Пашкевич, выдающийся учёный-садовод, за время своей работы в училище (с 1885 по 1892 год) сделал Софиевский парк местом экспозиции экзотических видов растений, питомником по их воспроизводству. Разносторонне эрудированный преподаватель черчения и геодезии Георгий Васильевич Молодецкий написал собственноручно (и издал в 1891 году) учебник по читаемому им предмету. Преподаватель русского языка Владимир Александрович Долбин оставил нам свидетельство своей высокой языковой культуры – с изысканным и содержательным слогом – в речи по случаю пятидесятилетия учебного заведения: *«Главное училище садоводства, поистине, сделалось школой трудолюбия, где не было места белоручкам и лентяям, где дело садоводства обращалось в предмет сердечного влечения, а труд становился насущной потребностью человека...»*¹

Но основной средой общения для Анциферовых и Левандов, одним из центров культурной жизни города стал директорский дом, где была *«роскошь человеческого общения»*, где радушно привечали всех в него входящих. Атмосферу веселья, хлебосольства, задушевности более создавала энергичная и хлопотливая Мария Максимовна как хозяйка дома, нежели строгая и сдержанная Екатерина Максимовна. И такому различию темпераментов причиной, видимо, было не только несходство характеров сестёр, но и состав семьи каждой из них. У Левандов в рассматриваемую пору семья приросла дочкой Машей и сыном Дмитрием. Анциферовы же долгое время оставались бездетными, пока не появился на белый свет – в 1889 году – их чайный сын Николай, будущий историк и писатель.

Через два года после счастливого события Павел Григорьевич Анциферов, получив должность директора Никитского ботанического сада, переехал вместе с семьёй в Крым. В Умань он вернулся через шесть лет при весьма трагических обстоятельствах. На этот раз привела его в город, в директорский *«дом над парком»*, последняя в его жизни дорога (его *via dolorosa*), по которой он, уже неизлечимо больной, вернулся после запоздалого, безуспешного заграничного лечения; в доме этом он скончался 18 ноября 1897 года.

Небольшой объём сведений (прежде всего из «Памятных книжек Киевской губернии») всё же позволяет, с небольшой долей корректного домысла, восстановить бытовые детали последних дней жизни Павла Григорьевича. Виделся с ним в его последние земные дни старинный друг Поггенполь, принявший от него в 1891 году должность инспектора училища и потому с семьёй

живший в директорском доме; навещал своего пациента друг и коллега – врач Юрий Львович Крамаренко; пастырски утешал умирающего товарища (и, возможно, приобщал Святых Таин) училищный протоиерей Николай Лукич Фаворов – он же отпевал почившего в домово́й церкви. Вместе с ними, родными и близкими, провожали покойного в последний путь много лет знавшие его училищные сотоварищи: преподаватели Владимир Александрович Долбин, Павел Артемьевич Загорский, садовник Юрий Робертович Ланцкий и его помощник Николай Францевич Гродзинский... Шли в траурной процессии и ученики, в числе которых были Павел и Антон Шимановские (двоюродные братья Леси Украинки), поступившие в училище в 1895 году.

Похоронили Павла Григорьевича на кладбище Софиевской слободки, в паре сотен метров (только дорогу перейти) от училища. Этот сельский погост естественным образом образовался в конце восемнадцатого столетия на месте расселения крепостных графа Станислава Щенского Потоцкого, занятых на сооружении Софиевского парка. С началом работы в городе Училища садоводства погост стал местом погребения его сотрудников, членов их семей и со временем разделился на два участка, заметно отличавшихся один от другого оформлением могил: попроще, с деревянными крестами, – на могилах слободских жителей, с гранитными и мраморными надгробиями – жителей посёлка училища.

О значимости Павла Григорьевича Анциферова как преподавателя и руководителя, о том авторитете, которым он пользовался среди коллег и бывших учеников, говорит тот факт, что вскоре после его кончины в училище был учреждён Анциферовский фонд помощи малоимущим учащимся. Об этом пишет Иван Маркиянович Карасюк в своей монографии «Уманский сельскохозяйственный институт (1844–1994)»:

«Материальное обеспечение учеников составлялось из постоянных поступлений, которые формировались в училище за счёт поступлений средств из разных источников: 40 государственных стипендий департамента земледелия, в том числе 4 для народов Кавказа, которые выдавались по постановлению педагогического совета училища или департамента земледелия. Ученики, которые получали эту стипендию, по завершении обучения были обязаны прослужить в ведомстве Главного управления землеустройства и земледелия не менее того количества лет, в течение которых они получали государственную стипендию. Кавказские стипендиаты были обязаны направляться на службу туда, куда получали назначения кавказского руководства, и прослужить там не менее 6 лет;

одна стипендия им. Н. В. Галагана и И. И. Андросова с процентов завещанного Ионой Галаганом капитала;

одна стипендия в память св. Кирилла и Мефодия с процентов капитала, что образовался из пожертвований и кружковых сборов;

четыре стипендии им. К. А. и С. А. Горбатовских с процентов капитала, завещанного вдовой капитана артиллерии С. А. Горбатовского;

фонд помощи имени бывшего инспектора училища П. Г. Анциферова с процентов капитала, собранного должностными лицами и бывшими учениками Уманского училища;

шесть стипендий Киевского губернского ведомства исключительно для детей жителей Киевской губернии;

несколько неофициальных средств помощи – стипендий от отдельных земств и частных лиц – для детей служащих».

Оставил по себе память Павел Григорьевич Анциферов и рукописным конспектом лекций по животноводству, который был, в 1905 году, издан в виде монографии «Крупный рогатый скот при практическом хозяйстве Уманского училища садоводства и земледелия» (и поныне хранящейся в библиотечном фонде). Ещё одна памятная мета – пасека, которую завёл Анциферов и которую, по умеренной цене, уступил училищу перед отъездом в Крым.

Особенностью формирования персонала Училища земледелия и садоводства была его обязательная сменяемость. Поэтому могилы умерших сотрудников, членов их семей, лишённые внимания родных и близких почивших, вынужденно предоставлялись воле стихии и времени, человеческому безразличию (или вандализму). Последствия влияния одной из этих причин или суммы нескольких увидел Николай Павлович Анциферов, когда в 1937 году приехал с женой в Умань; побывал в доме, где родился (там размещалась канцелярия Сельскохозяйственного института – так с 1936 года именовалось бывшее училище), навестил дорогую могилу: «*На сельском кладбище в буйно разросшейся траве мы нашли и могилу моего отца. Обелиск из чёрного лабрадора был сброшен. Но цоколь остался на своём месте. На нём сохранилась и надмогильная надпись*»¹.

После войны – в 1947 году – в полувековую годовщину отцовской смерти Николай Павлович Анциферов вновь приехал на малую родину, осмотрел поднимающиеся из руин корпуса Сельскохозяйственного института, поклонился праху отца у его могилы, едва ли менее запущенной, чем десять лет назад.

Захоронения на Софиевском кладбище продолжались до середины шестидесятых годов ушедшего века, далее они были прекращены. Два десятилетия спустя, в 1986 году, городские власти объявили о намерении ликвидировать это кладбище как оказавшееся между новых городских застроек. Народ по этому поводу никто не спрашивал, а коммунальные чиновники ни на минуту не задумывались над тем, что старинный городской некрополь представлял собой своеобразный краеведческий музей под открытым небом, хранящий в себе факты двухвековой истории Умани и Уманского края – в фамилиях погребённых, в надмогильных памятниках и надписях на них.

Горожанам, имевшим родственников и близких, похороненных на закрывавшемся кладбище, было предложено перезахоронить их останки на действующем городском кладбище, что и было в основном исполнено. В частности, был перезахоронен прах известного пчеловода, сотрудника училища Ипполита Ивановича Кораблёва, умершего в 1951 году (и его сына). По завершении перезахоронений территорию кладбища отутюжил бульдозер, который сгрёб в дальний угол кладбищенского участка могильные ограды, гранитные и мраморные.

морные надгробия, в том числе надгробный памятник Павла Григорьевича Анциферова. Прошёлся нож бульдозера и по могилам старушек Кононовых, которые также были здесь похоронены: «Обе старушки Кононовы покоятся на том же сельском кладбище под Софиевкой, где впоследствии был похоронен и мой отец»². (Бабушка, Прасковья Андреевна, в 1905 году вместе с Левандами уехала в Петербург. Там она и умерла и была похоронена на Смоленском кладбище; возле её могилы супруги Анциферовы позже похоронили своих детей – Павлинку и Таточку, там же была позже похоронена и Татьяна Николаевна Анциферова-Оберучева.)

Первая (и, к сожалению, неудачная) попытка отыскать на разрушенном и полузабытом кладбище могилу Павла Григорьевича Анциферова была пред-

принята в 1996 году по просьбе его внучки, Татьяны Николаевны Камендровской. Вторую (уже удачную) попытку разыскать место его захоронения сделала – осенью 2012 года – по своей инициативе уманчанка Жанна Григорьевна Челюканова, нашедшая верхнюю часть надгробия Анциферова. Образовавшаяся далее инициативная группа (в числе которой были и соавторы этой публикации) за год целенаправленных действий согласовала в соответствующих инстанциях вопрос об увековечивании памяти бывшего инспектора Училища земледелия и садоводства Павла



У кенотафа П. Г. Анциферова.

Слева направо: А. Л. Головцов, Л. А. Цимбровская, Н. В. Михайлова, В. Л. Головцов, В. П. Сигида (Умань, Софиевское кладбище, 14 мая 2013 г.)

Григорьевича Анциферова в форме кенотафа. (Кенотаф – надгробный памятник в месте, которое не содержит останков покойного, своего рода символическая могила.) При энергичной поддержке ректора Университета садоводства (так ныне именуется бывшее Училище земледелия и садоводства) весной 2013 года группа из студентов факультета лесного и садово-паркового хозяйства и работников хозяйственной части перенесла и установила на свободной от захоронений площадке, меж двух вековых крымских сосен, сохранившееся надгробие Павла Григорьевича Анциферова – уже как памятный знак, как *genius loci*.

Событие это стало знаковым не только для университета как проявление им внимания к памяти своего давнего и значимого сотрудника, но и как педагогический приём морального свойства, указывающий подрастающей поросли аграриев, городской молодёжи на необходимость знать и чтить свои корни, прошлое родной местности. Событие это также открыло и развило интерес горожан (и не только их) к своему замечательному земляку – Николаю Павловичу Анциферову, историку, краеведу, писателю, культурологу, человеку разностороннего глубокого интеллекта и высокой духовности.

Вчерашний день, минувший год
Не умирают в человеке.
Прошедший век – он в нашем веке
Ещё звенит, ещё поёт.

(Марк Лисянский)

Иван Максимович Еремеев

В начале октября 1953 года наша семья переехала в Умань, где отец, прежде работавший на селекционной станции в селе Верхнячка, получил в Сельскохозяйственном институте место доцента кафедры селекции и семеноводства. После быстрого устройства на новом месте жизни – в небольшой комнатёнке одноэтажного домика, рассчитанного на четыре семьи, – он повёл меня, шестилетнего, донельзя взволнованного первым в жизни дальним переездом, ознакомить с новой средой обитания. На тополиной аллее, возле выбеленного известью штaketника, огораживавшего институтский стадион, линию нашего движения пересёк невысокий, сухопарый, опиравшийся на палочку дедушка *«в блюдечках-очках спасательных кругов»*. С заметной уважительностью, с полупоклоном отец поздоровался с ним и почти торжественно представил меня как своего старшего сына. Дедушка, щурясь и улыбаясь, погладил меня по голове, похлопал по плечу и сказал что-то очень доброе по поводу моего будущего. Далее взрослые втянулись в долгий и, как мне показалось, мудрёный разговор, забыв на время о моём существовании.

Такой запомнилась мне на всю жизнь картинка знакомства и краткого общения с профессором Иваном Максимовичем Еремеевым, заведующим кафедрой селекции и растениеводства Уманского сельскохозяйственного института, знаменитым селекционером, автором сорта озимой пшеницы «украинка 0246», обессмертившего его имя.

Много-много лет спустя, приехав в город моего детства и побывав на порушенном, полузаброшенном кладбище Софиевской слободки, увидел на нём нетронутой одинокую и ухоженную могилу супругов Еремеевых, в один день закончивших свой земной путь – 2 февраля 1958 года. Память моя извлекла благоговейно из своих глубин «сценку у стадиона» и зарядила меня желанием рассказать о днях и трудах замечательного человека, некогда в мимолётном общении на всю жизнь ободрившего меня.

Часть первая. Становление учёного

Родился Иван Максимович Еремеев в городе Ромны Полтавской губернии 19 января 1887 года. Его отец, Максим Григорьевич Еремеев (1842 года рождения, из тверских), служил на частном предприятии; мать, Екатерина Петровна (1856 года рождения, из курян), вела домашнее хозяйство семьи, включавшей пять детей.

Таким образом, выпускнику реального училища Ивану Еремееву «светило» только три года военной службы, но поскольку он был у матери единственным сыном и будущим кормильцем семьи, то призыву не подлежал. Тем не менее по достижении семнадцати лет (за три года до призывного возраста) городская управа Курска оформила для него приписное свидетельство, надлежащим образом оформленное. Помимо городской управы существовала в Курске и мещанская управа – институт самоуправления для мещанских слоёв города, введённый в России городским уставом 1870 года. Главным назначением мещанского управления было взимание разных податей и сборов с мещан, оказание помощи нуждающимся сочленам, призрение бедняков, потерявших способность к труду вследствие старости и болезней... Текущая работа этого полезного учреждения состояла, в том числе, в ведении и обновлении списков членов сословия, в выдаче видов на отлучку подведомственным лицам. Такой вид на отлучку (или увольнительное свидетельство) взяла Екатерина Петровна Еремеева для своего единственного сына, решившего покинуть Курск и направиться за высшим образованием в Харьков.

Пройдя успешно необходимые конкурсные испытания, в 1904 году Иван Еремеев поступил на химическое отделение Харьковского технологического института. Это высшее учебное заведение было открыто в 1885 году *«как практический технологический институт»* с двумя отделениями: механическим и химическим (с 1898 года он был переименован в Харьковский технологический институт имени императора Александра III).

Двери Харьковского университета, где был соответствовавший аграрным устремлениям Еремеева факультет ботаники, для него были закрыты. Открытыми они в ту пору были лишь для выпускников классических гимназий, в которых большая часть учебного времени отводилась гуманитарным предметам, а также, в обязательном порядке, греческому языку и латыни. По окончании гимназий проводились выпускные экзамены и выдавался аттестат зрелости, дававший право выпускникам мужских гимназий поступать в университеты (девушкам, окончившим семь классов, выдавался аттестат на звание учительницы начальной школы). В отличие от гимназий, основное место в учебном плане реальных училищ отводилось естественным и точным наукам. В общественном сознании «реальное» образование ставилось на ступень ниже классического. Ученики реальных училищ по сравнению с гимназистами считались как бы людьми второго сорта, и наиболее успешные их выпускники могли поступать в высшие технические учебные заведения или на физико-математические и медицинские факультеты университетов.

Приступив к занятиям в институте, первокурсник Еремеев наряду с учебной деятельностью занялся деятельностью общественно-политической – как член партии социал-революционеров (эсеров), в ряды которой он вступил ещё в школьные годы.

После сходки студентов-технологов в марте 1904 года институт был временно закрыт; тринадцать студентов были лишены права поступления в ка-



кие-либо учебные заведения страны, ста двадцати семи было отказано когда-либо переступить порог Технологического института. В сентябре 1905 года на студенческой сходке было принято решение об участии студентов Технологического института в освободительном движении против русского правительства, был избран руководящий орган студентов – организационный центр. Через год, в октябре 1906 года, студенты устроили обструкцию одному из профессоров института как члену монархической организации Союз русского народа. Институт вновь был закрыт, а главные зачинщики бойкота были арестованы и отданы под суд.

Трудно точно установить, насколько радикален был в своих революционных взглядах и действиях студент Еремеев. Известна его причастность к делу о подрыве жандармов

в нанимаемой им квартире. Тогда обыск в ней попытался произвести адъютант губернского жандармского управления ротмистр Александр Николаевич Свицерский (из дворян Черниговщины, 1869 года рождения, выпускник 1888 года Петровского Полтавского кадетского корпуса, затем – Павловского военного училища, откуда был выпущен подпоручиком в Двадцатый пехотный Галицкий полк; в отдельный корпус жандармов перешёл в сентябре 1903 года). О последствиях стычки стражей порядка с революционными студентами известила своих читателей газета «Полтавский вестник» в тысяча двести восемьдесят четвёртом номере от 2 марта 1907 года:



Чаепитие студентов. Третий слева: Еремеев (Харьков, 9 декабря 1905 г.)

«28 февраля 1907 г., около 12 ч. дня, в г. Харькове помощник начальника охранного отделения ротмистр Свицерский, в сопровождении городовых и помощника пристава, вошёл в дом № 8, по Костомаровской ул., с целью произвести обыск в одной из квартир. Войдя в одну из комнат, полиция застала там 6-7 молодых людей, пивших чай. Ротмистр потребовал от присутствовавших назвать себя; тогда один из злоумышленников выхватил из кармана браунинг и произвёл выстрел в подошедшего пом. пристава. Последний и 2 городовых набросились на стрелявшего, схватили и повалили на постель. Ему всё же удалось освободить правую руку и произвести 7 выстрелов, которыми убиты помощник пристава и городовой. Вслед за этим раздался оглушительный взрыв бомбы, брошенной одним из злоумышленников. Ротмистр Свицерский, у которого оторваны обе ноги и вырвана полость живота, был убит и выброшен через коридор во двор. Труп перевезён в анатомический театр при медицинской клинике».

Стрелком и бомбистом в этом трагическом инциденте оказался земляк Еремеева, сын курского купца второй гильдии Александр Фёдорович Тимофеев. В купеческой семье он был одним из четырёх сыновей, в учёбе себя не проявил. Отучившись два года в гимназии, он перевёлся в реальное училище и посвятил себя борьбе за лучшую жизнь крестьянского класса, работа



тая долгое время сельским учителем. До этого инцидента он дома, в Курске, подорвался при изготовлении очередной бомбы, сильно обгорел, некоторое время – до побега – находился под арестом. После устроенного им взрыва на Костомаровской улице Харькова был до полусмерти избит и три месяца находился без сознания. Судили его 12 января 1909 года в Харькове выездной сессией Киевского военно-окружного суда и назначили ему смертную казнь через повешение, которая решением командующего войсками Киевского военного округа была заменена пожизненной каторгой.

Как оказавший сопротивление полиции, пытавшейся задержать его после взрыва на Костомаровской улице, Иван Еремеев, дабы не испытывать судьбу, в спешном порядке

1 марта 1907 года покинул Россию и перебрался в Швейцарию, где пожил несколько месяцев. *«В марте 1907 г. при обыске на моей квартире, занимаемой совместно со студентом тов. Черновым в Харькове на Костомаровской улице, было оказано вооружённое сопротивление полиции. Вследствие возбуждённого по этому делу против меня преследования эмигрировал за границу, сначала в Швейцарию, а затем во Францию»*, – так он собственноручно записал в автобиографии, составленной в 1934 году и хранящейся в его личном деле в архиве Всесоюзного института растениеводства.

Во Франции он отправился в университетский город Нанси, что подтверждается соответствующим документом: *«Мэр Нанси удостоверяет 26 августа 1907 года, что м-р Иван Еремеев, сын Максима Григорьевича и Екатерины Петровны, родившийся в Ромнах 7 января 1887 года, русский по национальности, студент, прибыл из Швейцарии, предъявил в муниципальном офисе свидетельство о рождении и заявил, что проживает в Нанси, на улице Темерер, 13»*¹³⁸.

Понятием «русское студенческое зарубежье» определяется часть российской молодёжи (поначалу «мужеского пола», а со второй половины девятнадцатого века – и «женского»), искавшая высшего образования за пределами своей родины, преимущественно в странах Западной Европы. Первой причи-

ной отъезда выпускников средних школ было малое число высших учебных заведений в России (прежде всего – инженерного и аграрного направлений), а также их ограниченная специализация. Так, в 1888 году только окончивший Киевское реальное училище Евгений Оскарович Патон поступил на инженерно-строительный факультет Дрезденского политехнического института, не найдя в России достойного высшего учебного заведения, в котором он мог бы выучиться на инженера-мостостроителя. Второй причиной отъезда молодёжи за рубеж была недоступность высшего образования в России для части её представителей, в первую очередь женщин. Доминировали в студенческом зарубежье лица иудейского вероисповедания, чьи права на получение высшего образования в российских вузах были законодательно стеснены, в том числе по причине оппозиционной революционности еврейского элемента¹³⁹.

Среди зарубежных российских студентов были и такие, которые, уходя от студенческих беспорядков, охвативших российскую высшую школу, искали за границей необходимого академического комфорта. По этой причине земляк Еремеева, студент Петербургского технологического института Абрам Фёдорович Иоффе (1880 года рождения), убедившись в том, что из-за нескончаемых студенческих беспорядков «заниматься наукой в высшей школе России невозможно», уехал в 1896 году в Германию и поступил в Мюнхенский университет, чтобы стать учеником «лучшего физика-экспериментатора» Рентгена.

Наконец, круг зарубежных российских студентов на рубеже веков заметно расширяться за счёт молодых людей, вступивших в конфликт с отечественным правопорядком. В их числе были выпускники училищ и гимназий, получившие негативную характеристику от учебной администрации и местной полиции (волчьих билеты), а также исключённые из институтов и университетов студенты. По сходной причине покинул родные пенаты студент Еремеев и отправился за высшим образованием в неизменно нейтральную Швейцарию. На то время эта страна была старейшим после Германии партнёром Российской империи в сфере высшего образования, которое можно было получить в университетах Лозанны, Цюриха, Берна, Базеля, Женевы. На рубеже веков их аудитории оказались настолько переполненными русскими, что местные власти ввели специальные меры, регулирующие их численность в пользу швейцарских студентов. Для абитуриентов из России были установлены новые правила приёма в университеты, требовавшие от них обязательного удостоверения о получении среднего образования, непременно в пределах полного курса классической гимназии. И вероятно, отсутствие такого документа



у Еремеева, имевшего за плечами только курс реальной гимназии, побудило его отправиться за университетским образованием во Францию.

Там, согласно местным требованиям, иностранец предварительно должен был сдать экзамены по программе французского аттестата зрелости, дававшего ему звание «бакалавр» и возможность без проблем получить высшее образование в любом французском университете, к примеру расположенном в городе Нанси. В нём студенты из России учились на медицинском, юридическом, физико-математическом, электротехническом, философском факультетах. В 1903 году их было только семь человек, а в 1908 году – уже четыреста пятьдесят. Столь быстрый рост популярности этого высшего учебного заведения определялся и прекрасными, чисто дружескими отношениями, бытовавшими здесь между преподавателями и студентами: *«Профессора всемерно интересуются успехами своих учеников, всячески заботятся, чтобы время, проведённое ими в университете, прошло для них не бесследно... входят в положение нуждающихся студентов»*¹³⁹. Это высшее учебное заведение избрал для себя Иван Максимович Еремеев, поступив в 1907 году в Агрономический институт при естественном факультете университета. Получив диплом *«Высших Агрономических Наук»*, он переехал в Париж, где поселился на улице Бертолле и зарегистрировался в полицейской префектуре города 29 июля 1909 года, указав целью своего проживания во французской столице *«работу инженером»*. В таком качестве он отработал в нескольких местных компаниях, одна из которых, расставаясь с русским инженером, сертифицировала его как специалиста прекрасной аттестацией: *«М-р Кононов, директор компании „Олда“, Париж, удостоверяет 5 июня 1911 года, что м-р Иван Еремеев, агротехник, работал в компании с апреля 1910 по июнь 1911 года. Он проявил свою исключительную компетентность в департаменте сельскохозяйственных машин, которые он прекрасно обслуживал с технической и коммерческой точек зрения. Он исполнял свои обязанности с таким уровнем квалификации, что компания не может не выразить ему своей глубокой благодарности. Он оставляет работу по собственному желанию, и компания желает ему больших успехов в его будущей карьере»*¹³⁸.

Работая в Париже по специальности, Иван Максимович одновременно сотрудничал в русских периодических сельскохозяйственных изданиях: «Прогрессивное садоводство и огородничество», «Огородничество», «Хозяин», «Пчеловодство», в которых печатался или под собственной фамилией, или под псевдонимом И. Максимов. В списке его печатных работ этого периода – «Выращивание спаржи», «Культура шампиньонов во Франции», «Ранняя высадка овощей во Франции», «О навозе и способе его хранения».

Образовавшись и поработав во Франции, молодой агроном Еремеев переехал в Сербию, где с 29 мая 1912 года начал работать *«разъездным агрономом»* на опытной станции «Топчидер», располагавшейся вблизи Белграда.

В сентябре 1912 года вспыхнула давно ожидавшаяся война между Турцией и союзными на то время Сербией, Черногорией, Грецией и Болгарией, вкуче стремившимися вернуть из-под османов свои земли, испокон веков им принадлежавшие¹⁴⁰. Это боевое противостояние, названное впоследствии Первой балканской войной, велось в неблагоприятных для противника погодных

условиях и низком уровне медицинского обслуживания в войсках антитурецкой коалиции. В помощь православным Балкан отправились санитарные отряды из Москвы, Киева, Одессы. В одном из полевых госпиталей, развернутом одним из таких отрядов, во время войны трудился санитаром русский агроном Еремеев. Факт этот подтверждает сохранившийся фотоснимок той поры, который Иван Максимович отправил своим родным, подписав его оборотную сторону следующим текстом: «Слева направо: доктор Ольшевская, твой покорный слуга, доктор Нечаева, выпускник военной академии Силич, пациент обоих докторов. Все четверо составляют: «фамилию». Имеется и ещё один член фамилии, но он, увы, прикован к кровати и не смог сняться заодно с нами. Это также воспитанник той же академии, контуженный в грудь гранатой под Кумановым, Бранко Мишич – очень и очень симпатичный мальчик»¹³⁸.



Годичное противоборство, завершившееся летом 1913 года победой православных держав, очень скоро возобновилось – уже в форме Второй балканской войны между Болгарией и Сербией – по инициативе Болгарии, недовольной припавшей ей долей отобранной у Турции Македонии (и в итоге с позором эту войну проигравшей)¹⁴⁰.

Но больше потрясений, в сравнении с этими локальными войнами, принесла Сербии Первая мировая война, начавшаяся после убийства на её территории, в Сараево, наследника австро-венгерского престола в конце июля 1914 года. В начале декабря того же года Белград ненадолго оказался под оккупацией австро-венгерских войск. В этой войне Еремеев участвовал в присвоенном ему звании младшего сержанта вновь в качестве санитаря полевого госпиталя сербских войск, уже по призыву, начавшемуся в июле 1914 года. Служил он в сербских войсках до 24 июля 1915 года, когда попросил, в связи с задуманным им возвращением в Россию, соответствующую справку (которая была выдана ему на руки и которая сохранилась в семейном архиве потомков Еремеева):

«Краинский отряд

Л. № 59

Оформлено 24.07.1915 г.

По просьбе младшего сержанта при перевязочном пункте данного отряда – Ивана Максимовича Еремеева, родом из г. Ромны, Полтавской губернии России, по профессии – инженер-агроном, который по его ходатайству Решением Верховного командования от 19 июля 1915 года Л. № 21526 освобождается от дальнейшей службы в Сербской армии, командир Краинского отряда выдаёт ему настоящее:

Свидетельство

О том, что вышепомянутый младший сержант Иван Максимович Еремеев вступил в качестве добровольца в Сербскую ар-

мию во время мобилизации в июле месяце 1914 года и сразу был распределён в качестве фельдшера при Втором полевом госпитале Шумадинской дивизии Первого созыва, где оставался на службе до 5 октября 1914 года, получив своим неустанным и прилежным трудом звание капрала.

5 октября 1914 года он переведён на службу при перевязочном пункте Краинского отряда, где и оставался в качестве фельдшера до настоящего времени, когда освобождается Решением Верховного командования Л. № 21526 по своему ходатайству как доброволец.

Выполняя доверенную ему работу, Еремеев отличился своим трудом, полным самопожертвования, в оказании необходимой медицинской помощи сербским солдатам и приказом Командира Краинского отряда от 20 ноября 1914 года № 5 был повышен до звания младшего сержанта, согласно статье 19 Закона об устройстве армии.

Вышеуказанное лицо провело непрерывно всё время с момента мобилизации до сих пор на вверенных ему постах, работая при перевязочном пункте, и во время операций, подвергая себя воздействию высоких нагрузок, он получил признание своих руководителей.

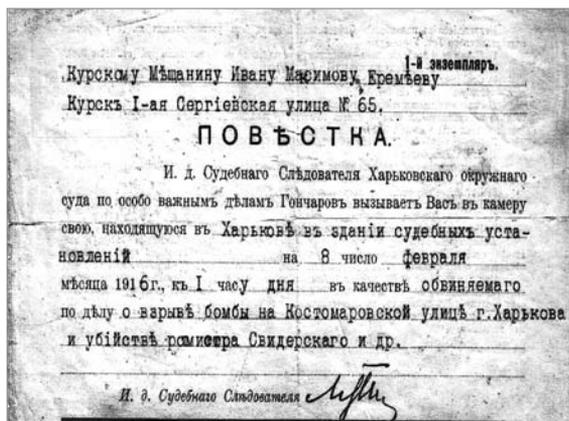
Заместитель командира – полковник Милош Станкович
(подпись).

24 июля 1915 г.

Поле боя.

(Печать)»¹³⁸.

В пограничном городе Измаиле отставной младший сержант сербской армии Еремеев был арестован русскими властями и препровождён в Харьков. На руки ему была выдана следующая расписка: «1915 г. Августа 31 дня. Дана сия расписка Ивану Еремееву в том, что при приёме в Измаильской тюрьме у него отобраны для отправки в Харьковское Гор. Полиц. Управление следующие документы: диплом Хансинского университета за № 21, удостоверение Коменданта Краинского отряда (Сербия) за № 59 и удостоверение



Мин-ва сельского хозяйства за № 10599. Помощ. Начальника Измаильской Тюрьмы Ковалевский»¹³⁸.

В Харькове против Еремеева было возбуждено уголовное дело по сто второй статье Уголовного уложения, предусматривавшей до восьми лет каторжных работ за «неудавшийся подговор создать общество для совершения тяжкого государственного преступления или участие в таком обществе». В досудебном заключении бывший студент-бунтарь пробыл до 23 ноября 1915 года, когда хлопотами сестры был освобождён из-под стражи с выдачей ему соответствующего удостоверения.

Через некоторое время жандармские власти спохватились и вызвали Еремеева в Харьков для продолжения следственных действий по делу о взрыве на Костомаровской улице в 1907 году. Вновь выручила сестра Мария Максимовна Богданова, внёсшая солидный залог за брата, что было зафиксировано следователем.

«Копия

Постановление

8 февраля 1918 года. Г. Харьков. Судебный следователь по особо важным делам округа Харьковского окружного суда, приняв во внимание: 1) что постановлением от сего числа мерой пресечения против Ивана Максимовича Еремеева, обвиняемого по 2 ч. п. 126 ст. угол. улож., избрано поручительство в сумме 500 р., 2) что сего же числа сестра его, Курская мещанка Мария Максимовна Богданова, внесла 500 рублей, заявив, что означенными деньгами она обеспечивает явку обвиняемого Еремеева к следствию и суду, 3) что таким образом по делу обеспечения явки Еремеева к следствию и суду представлено большее, чем требовалось по означенному постановлению, именно представлен в сумме поручительства денежный залог, на основании 3 п. 416 и 426 ст. уст. угол. суд. ПОСТАНОВИЛ: обвиняемого Ивана Максимовича Еремеева отдать по сему делу на поруки в сумме внесённого залога – 500 рублей – сестре его Марии Максимовне Богдановой с денежной ответственностью последней этими деньгами на случай уклонения названного Ивана Максимовича Еремеева от следствия и суда. – Мария Максимовна Богданова. – И. д. судебного следователя Л. Гончаров.

*С подлинным верно. И. д. судебного следователя Л. Гончаров
(подпись).*

*Настоящая копия выдана на основании 426 ст. уст. угол. суд.
Марии Максимовне Богдановой февраля 8 дня 1916 года.*

*И. д. судебного следователя Л. Гончаров
(подпись).*

№ 79.

(Печать)»¹³⁸.

Выйдя на свободу, Иван Максимович Еремеев отправился в недалёкий от Харькова городок Ахтырку, где на тамошней Ивановской селекционной опытной станции получил должность помощника директора. В июле 1916 года он был вновь арестован, доставлен в Харьков и там судим выездной сессией Киевского военного трибунала, но за недостаточностью улик осенью того же года был оправдан. На Ивановской станции после второго освобождения Еремеев поработал недолго. С началом революционных событий 1917 года станция временно была закрыта, а помощник директора Еремеев был привлечён к заготовке сена для действующей армии. После Февральской революции 1917 года он был утверждён старшим специалистом департамента земледелия и откомандирован на Мироновскую опытную станцию для работ по селекции озимой пшеницы и овса.

Часть вторая. Дела семейные

Летом 1917 года приступивший к работе на Мироновской опытной станции тридцатилетний старший специалист Еремеев познакомился с проходившей там практику студенткой агрономического факультета Киевского политехнического института Александрой Георгиевной Влайковой и проникся к ней neodолимой симпатией, перешедшей скоро в любовь. Чувство это оказалось взаимным, и 23 ноября 1917 года молодые люди обвенчались в Софиевском соборе Киева.

Предки Александры Георгиевны – этнические болгары из священнических родов Влайковых (по отцу) и Кирановых (по матери), переселившиеся на бессарабские земли на рубеже восемнадцатого – девятнадцатого веков в пору турецкого ига на их родине. Её отец, Георгий Фёдорович Влайков, родился в селе Ивердица Бендерского уезда в 1868 году в семье священника Фёдора Васильевича Влайкова, мать, Киранова Мария Владимировна, родилась в 1875 году в бессарабском селе Давлет-Агач.

У супругов Влайковых вслед за старшей дочерью Александрой (Шурой) родились дочь Елизавета (Лиля) и сын Георгий (Гарик). Глава семейства Георгий Фёдорович преподавал в Киевской земской фельдшерско-акушерской школе, располагавшейся на улице Большой Дорогожицкой (ныне – улица Мельникова), в доме номер пятьдесят три. При ней действовала амбулатория, где преподаватели – с ассистировавшими им учащимися – принимали пациентов. В годы Первой мировой войны в здании школы размещался земский госпиталь, на базе которого был сформирован санитарный эшелон, и этот факт подтверждает мемориальная доска на фасаде здания.

Доктор Влайков с семьёй жил на улице Сретенской, дом семь; лечил внутренние и глазные болезни, как санитарный врач служил в городской управе. За время врачебной деятельности им было написано более семидесяти научных работ, в числе которых – «Учебник по социальной гигиене». Его супруга, Мария Владимировна, окончила Фребелевский институт и далее была успешным профессиональным педагогом, что было отмечено персональной пенсией, назначенной ей в 1923 году.

(Основанный в 1908 году Фребелевский институт был высшим учебным заведением для подготовки воспитательниц детей дошкольного возраста. Курс обучения составлял три года. Преподавали биологию и физиологию человека, общую гигиену, психологию, педагогику с историей педагогических учений, литературу, иностранные языки, игры, ручной труд. При институте были педагогические и психологические лаборатории и детские сады, в которых проводились педагогические занятия. Помещался институт на улице Большой Житомирской, дом тридцать четыре, затем на улице Фундуклеевской, дом пятьдесят один. После революции – в 1920 году – он вошёл в состав Института народного образования.) О прелести семейной жизни Влайковых в эту пору много позже написала Елизавета Георгиевна Влайкова:

«Но, конечно, самое большое значение для нас имела наша семья, наши отец и мать. Уже значительно позже она стала для

многих образцом семьи. Отношения, царившие в ней, были для всего окружения образцом «крепкой», настоящей семьи. Очень долго она оставалась такой для всех наших сверстников и друзей.

Отец мой был трудолюбивым, работающим, скромным человеком. Хороший специалист, любивший свое дело, он, тем не менее, считал, что «пошёл не по специальности». Так как гораздо больше медицины он любил историю и знал её действительно незаурядно. Память «на даты» у него была исключительная, и он в течение всей своей жизни служил живым справочником для всех нас. Так же хорошо он знал и географию и всегда с иронией относился к нашему «невежеству» в этих вопросах. Но главным его талантом был, безусловно, его талант рассказчика и чтеца...

В дальнейшем он широко использовал эти свои способности рассказчика при чтении лекций по тем курсам, которые вёл в медицинском институте, институте усовершенствования врачей и т. п. Он считался незаурядным лектором и до самой смерти не оставлял своей деятельности, которая давала ему огромное удовлетворение. Студенты очень любили его. И он относился к ним по-отечески ласково, входил во все их интересы, постоянно выступал их защитником и ходатаем перед администрацией и партийными организациями, которые всегда считались с его мнением, т. к. популярность его как педагога была огромна не только внутри учебных заведений, но и далеко за пределами их...

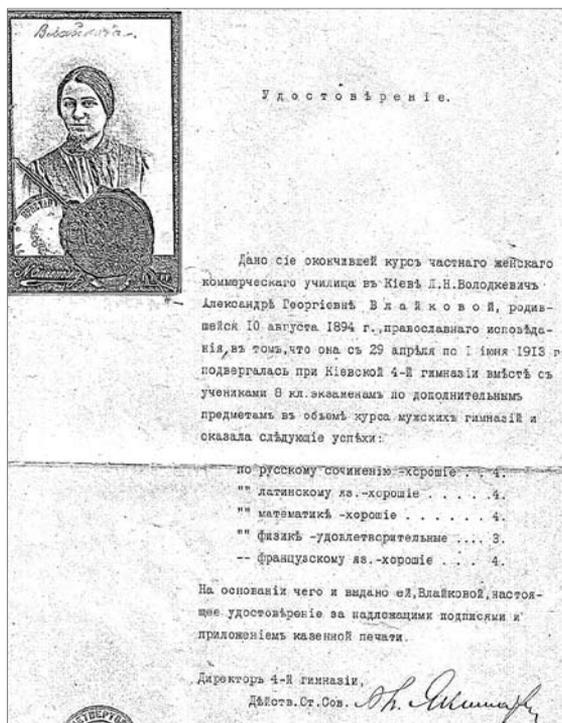
Мать моя, красивая и волевая женщина, была, несомненно, главенствующим лицом в доме. Она полностью подчинила себе мужа и нашего отца. И пыталась всех нас «держать в руках». Это ей удавалось, пожалуй. Шура и Гарик, мне думается, были всецело в её подчинении, со мной же дело обстояло иначе.

Мать моя училась в высшем учебном заведении уже когда мы были в школе. Она всю жизнь вела большую общественную работу и умно и умело вела дом. Всегда принимала участие в делах отца, в наших занятиях, а в дальнейшем взяла на себя вопросы воспитания внуков...»¹⁴¹

После переезда семьи в Киев Александра Влайкова с 1904 года училась в частном коммерческом училище Николая Николаевича Володкевича, семь классов которого окончила в 1912 году. (Коммерческие училища по своему уставу и программе являлись средними учебными заведениями с продолжительностью курса семь-восемь лет, дававшими по выпуску общее и специальное образование.) Впечатляет количество предметов, освоенных выпускницей Влайковой: Закон Божий, русский язык и словесность, немецкий, английский и французский языки, история, география, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия и аналитическая геометрия, естественная история, физика, коммерческая арифметика, бухгалтерия, коммерческая корреспонденция (в том числе иностранная), политическая экономия, законоведение. Ещё более впечатляет, что по всем указанным предметам Александра Влайкова получила пятёрки, за что была удостоена золотой медали:

«...На основании постановления Педагогического Комитета от 31 мая 1912 года Влайкова Александра удостоена награждения Золотой Медалью.

В силу п. 50 Высочайше утверждённого мнения Государственного Совета 10 июня 1900 г. и на основании п. 22 Устава частного Женского Коммерческого Училища Л. Н. Володкевич Влайкова Александра относительно поступления в высшие учебные занятия пользуется правами, представленными окончившим гимназии Ведомства Императрицы Марии...»¹³⁸



Объём и качество полученных в частном женском заведении знаний перепроверялись – с возможной корректировкой оценок – в государственной мужской гимназии. Александра Влайкова была переэкзаменована в Четвёртой киевской гимназии, где оценка её знаний была чуть понижена (иначе и быть не могло – нужно было подчеркнуть приоритет казённого перед частным). Осенью 1913 года она поступила на архитектурный факультет Женского политехникума в Петербурге, на котором проучилась только год, после чего перешла на Стёбутовские высшие сельскохозяйственные курсы. (Названы именем патриарха отечественного земледелия Ивана Александровича Стёбутова, открыты были

в сентябре 1904 года, в числе видных преподавателей курсов был Василий Васильевич Пашкевич, прежде работавший в Уманском училище земледелия и садоводства.)

Летом 1916 года слушательница курсов Влайкова проходила сельскохозяйственную практику на Ботанической станции в Новгородской области, после чего перебралась в Киев, решив продолжить сельскохозяйственное образование на агрономическом факультете Политехнического института. Уже как студентка летом 1917 года проходила агротехническую практику на Мироновской опытной станции, где произошла её судьбоносная встреча с Иваном Максимовичем Еремеевым.

В качестве студентки Александра Георгиевна ещё два сезона – в 1918 и 1919 годах – практиковалась в Мироновке, проживая там с мужем. В эти тяжёлые годы, с бытовыми лишениями, житьём впроголодь, с инфекционными болезнями, Еремеевы потеряли двух новорождённых (первый ребёнок родился мёртвым, дочурка Таня, прожив полгода, умерла от стафилококка).

О том жутком времени Александра Георгиевна поведала в своих дневниках, к написанию которых приступила в 1942 году, записи были построены в форме обращения к детям – Николаю и Лиде.

«В 1918 году под выстрелы наступления одного бандита на Украине (их было много) я родила мёртвого ребёнка. Затем я стала временами жить в Киеве, занималась в политехническом институте, хотела окончить. Трудно было, жили впроголодь, я приезжала в Мироновку, запасалась продуктами, или папа присылал мне. Иногда задерживалась там на несколько месяцев, приехать в Киев или уехать из Киева было практически невозможно.

Помню, на Масленицу в начале 1918 года были мы с папой вечером у Мурашко в гостях. Казимир Францевич Мурашко был специалистом по селекции свёклы на Мироновке и одновременно какой-то промежуток времени был кассиром, касса стояла в его квартире... Против того дома, где жили мы, был дом директора. Там жили Полянские (он был директором), Алексей Константинович и Зинаида Петровна. Они занимали три комнаты. Рядом с этим домом стоял дом, в котором жил Мурашко с семьёй – женой, двумя дочерьми и её матерью. В первых двух комнатах жили практиканты, Стравинская Людмила Доминиковна и Франкфурт Аарон Соломонович. Напротив этого дома, т. е. рядом с нашим, стоял дом, где в «южной» квартире тогда жил, кажется, Надеждин Александр Михайлович. В нашей кухне жил монтёр Станислав (забыла его фамилию) и его жена Надя, которая помогала мне по хозяйству. Из экономии электричества в 11 часов ночи Станислав выключал свет электростанции.

В этот вечер (по-видимому, это было в конце февраля) он вышел на электростанцию с целью выключить свет, но его встретили бандиты и заставили идти с ними. По пути встретили ночного сторожа, забрали и его с собой, встретили гулявших Стравинскую и Франкфурта и с ними уже смело двинулись к квартире Мурашко, где была касса. Они постучали, заставили практикантов сказать «свои» и ворвались в квартиру. По одному человеку стали у выходов, а несколько человек потребовали денег и сразу же крикнули «руки вверх». Мы все сидели в столовой за карточными фокусами, весело смеялись и были застигнуты совсем неожиданно. Руки мы подняли, но денег у нас не было, касса была пуста, в наших карманах и бумажниках были ничтожные суммы, но бандиты не успокоились, обыскивали нас, требовали денег, сняли кольца с рук. Все они прятали свои лица, измазанные сажей, под шапками и шинелями, но наши мужчины узнали их – это были местные головорезы, которым незадолго до этого отказали от приёма на работу. Требовали предъявить паспорта, и, прочтя папину фамилию «Еремеев», один из них сказал: «Щось не руська фамилия!» Они искали предлог – побить, ограбить или панов, или евреев, бедный Аарон струсил очень. Мы все страшно боялись, что они угрожали оружием, расстрелом, бомбами. Наконец, так как уже не к чему было придраться, один из них разрешил нам опустить руки, попрощаться друг с другом

перед смертью, согнали нас в угол комнаты, вышли сами в коридор и через дверь выставили руку с гранатой, которую обещали бросить в нас, считая до трёх. Мы поцеловались с папой, никакого волнения не было, только одна мысль промелькнула: «Как будут страдать папа и мама, узнав о моей смерти». Когда он собирался сказать «три», практикантка взвизгнула: «У меня было 600 рублей!» Хотя они требовали вначале 10 тысяч, их эта сумма тоже устраивала. Пошёл опять грабёж. Выносили подушки, бельё, ножи, вилки, зимние мужские пальто, в том числе папин полушубок, и поставили нас в коридоре в ряд, обещая прострелить наши затылки одной пулей. Жуткое чувство, но обошлось без пули. Грабёж продолжался, нагрузили подводу, заперли нас на ключ и запретили выходить и разыскивать их, подавать заявление в милицию под страхом того, что в этом случае они нас не помилуют. Мы все собрались в коридоре, вытащили и детские кровати туда же. Между тем свет выключен не был, из кабинета Филипповского видели над занавесками наши поднятые руки, ружья бандитов. Катя, не дождавись мужа, решила идти на электростанцию, но её бандиты заставили вернуться назад. Это мы уже узнали потом. Пока же мы сидели и, дрожа задним числом, обсуждали, как выйти: ключа к дверям подобрать не удалось. Раздался грохот, оказалось потом, что бандиты бросили три бомбы на цветнике. Разорвалась одна из них. От неё посыпались стёкла в смежной с нашей квартире. Вскоре пришло несколько человек, и нашему заточению пришёл конец.

На следующий день папа с Францем Павловичем ездил в Мироновку, и заявили в милицию. Всё же грабежи не прекращались довольно длительное время. И в течение довольно длительного периода всё население станции на ночь собиралось в двух домах. Спали на полу, где придётся, мужчины по двое несли караул. Так мы уцелели тогда, хотя раз папе в моё отсутствие бандиты прокололи кожаную куртку и грабили нас много раз. На станции Весёлом Подоле были убиты в тот же период все сотрудники. В 1918 г. на станцию прибыл отряд немцев из 9 человек. Весною 1919 г. налетел и сразу же улетел отряд белополяков. Осенью 1919 г. все эти места, включая Киев, были заняты денкинцами. Папа меня заперал, когда их отряды появлялись на станции, а сотрудников-евреев прятали в закрома с зерном. В промежутках разного рода банды грабили станцию и квартиры»¹⁴².

Частые беременности не позволили Александре Георгиевне Еремеевой получить высшее сельскохозяйственное образование. В 1922 году, успев сдать только практические занятия и зачёты, она не смогла быть на экзаменах, числом восемь, и, не окончив четвёртый курс, была отчислена из института. Живя наездами в Киеве у родителей, она работала некоторое время статистиком в местном ревкоме; на Мироновской станции вела группу ликбеза.

«После смерти Танюши я сильно долго переживала, похудела на 17 фунтов (1 фунт – 400 гр.), папа решил съездить со мною в Курск, это была очень трудная поездка – поезда переполнены,

грязь, вши, но в Курске меня приняли хорошо, папины сёстры и племянники были так к нам приветливы, что я действительно отдохнула от горя немного. Наши продолжали жить в Степанцах. По приезде из Курска я там часто жила»¹⁴².

Семейный кров наполнился детскими голосами позже – 13 мая 1922 года в Мироновке родился сын Николай, а 5 мая 1924 года в родительском доме на Сретенской улице Александра Георгиевна разрешилась от бремени дочерью Лидией.

«...Я чувствовала себя в Степанцах очень хорошо. Дома я была одинока, папа, особенно летом и осенью, только ночевал и ел дома, был страшно занят работой, я очень переживала о Танюшке. Бабушка утверждает, что и ты потому, Коленька, получился такой нервный, что когда я ждала тебя, то всё плакала... Весна 1922 г. как раз и была очень голодной. Из средней России, особенно с Поволжья, наехало много голодающих, многие умирали на улицах, на вокзалах. У нас питание тоже было неважно, но всё же хлеб, молоко, пшено были. А когда появилась фасоль, совсем стало хорошо... За месяц до твоего рождения у нас поселилась бабушка и акушерка из голодающих. Накануне из Степанец пешком пришёл дедушка. В день твоего рождения я его провожала до границы станции и возвратилась домой, чувствую – приближение родов»¹⁴².

Часть третья. Звёздный час селекционера Еремеева

Становление отечественного семеноводства и селекции культурных растений в России, начавшееся на стыке девятнадцатого – двадцатого столетий, стимулировалось серьёзным ростом и концентрацией производства сахара. Организацию специализированных научно-исследовательских работ по созданию высокопроизводительных сортов сахарной свёклы в эту пору проводило созданное в 1897 году Всероссийское общество сахарозаводчиков через упорядоченную в 1901 году сеть опытных полей и станций. Кроме них существовали и частные селекционно-семеноводческие организации.

После национализации сахарной промышленности, в мае 1919 года, в Киеве было учреждено Главное управление сахарной промышленности (Главсахар), решавшее весь комплекс вопросов, связанных с производством сахара на Украине. Спустя год руководство вновь созданной организации приняло решение создать в своей структуре сортосеменное управление, которому – в научно-методическом плане – были переподчинены селекционные станции, в том числе Мироновская, Ивановская, Белоцерковская, Верхнячская, Немерчанская, Кальницкая. Каждая из них помимо селекции и семеноводства сахарной свёклы и озимой пшеницы имела в разработке ещё одну-две культуры¹⁴³.

На Мироновской опытной станции, открытой в 1897 году по частной инициативе владельца Петра Ивановича Харитоненко, ещё до начала мировой войны была поставлена работа по выведению нового сорта озимой пшеницы на основе венгерского сорта «банатка». Её в 1913–1914 годах начал Лев Ива-

нович Ковалевский и продолжил, в 1915–1916 годах, Владимир Евгеньевич Жолткевич.

В июне 1917 года, когда работу по селекции озимой пшеницы возглавил Иван Максимович Еремеев, из трёх сотен испытуемых номеров пшеницы



остались только шестьдесят два, из которых были выделены только пять номеров как наиболее перспективные. Результат превзошёл все ожидания – к осени 1920 года из венгерского сорта «банатка» молодой селекционер Еремеев вывел сорт озимой пшеницы «украинка-0246», отличавшийся высокой урожайностью, сильной зимоустойчивостью и прекрасными хлебопекарными свойствами. К 1929 году вновь выведенный сорт был районирован на площади в два миллиона гектаров, а в 1935 году им было засеяно пять миллионов гектаров пашни страны. Ход выведения легендарного сорта озимой пшеницы записал в справке непосредственный свидетель совершившегося события – директор Мироновской опытной станции.

«Справка

Я, нижеподписавшийся, Алексей Константинович Филипповский, бывш. до 1930 г. директор Мироновской опытной селекционной станции, а ныне Действительный член Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Сахарной Промышленности в Киеве, могу сообщить следующие факты, мне известные.

1. Прибыв на Мироновскую станцию в июне 1918 г., я застал трёх селекционеров, работавших с зерновыми хлебами, – Еремеева и Жолткевича, числящихся в штате специалистов, и Ковалевского, состоящего практикантом станции.

Селекционер Жолткевич после демобилизации вёл по заданию Франкfurта селекцию овса. Еремееву, бывшему специалисту департамента земледелия, было поручено заведывание отделом селекции озимой пшеницы, в числе сотрудников которого состоял Ковалевский.

От директора станции А. Ф. Нестерова мне известно, что питомник озимой пшеницы посева 1916 года находился в 1917 году в очень плохом состоянии, что заставило Еремеева повторно высеять в сравнительном испытании 1917–18 гг. весь находившийся в нём материал, состоящий из линий, отобранных в 1915 г. Жолткевичем. Часть этого материала попутно была высеяна Еремеевым отдельными деланками в размножении. Работу с материалами отбора 1915 года вёл непосредственно Еремеев. В ведении Ковалевского был маточный (селекционный) питомник, состоящий из линий, отобранных Ковалевским в 1917 году.

2. В 1918 г. Мироновская станция не располагала сортом озимой пшеницы, заслуживающим хозяйственного размножения.

Руководитель сети опытных полей и Мироновской станции С. Л. Франкфурт в то время выразил только желание присвоить название «Украинка» первому сорту, который выведет станция и пустит в хозяйственное размножение.

3. После учёта урожая сравнительного питомника 1918 г. Еремеевым были выделены 8 линий: X, 56, 60, 95, 98, 103, 151 и 246 – для посева в стационарном конкурсном сортоиспытании. Семенной материал для этого посева обеспечивался с делянок размножения. Кроме того, им был произведён сравнительный посев из других материалов отбора 1915 года.

Ковалевским в посеве 1918 года была продолжена работа с линиями, отобранными им в 1918 году, и произведён посев 1-го сравнительного испытания.

4. После смерти Жолткевича в мае 1919 года Ковалевский был назначен специалистом по селекции овса и свой посев озимой пшеницы (первое сравнительное испытание) передал на корню Еремееву, как руководителю селекции озимой пшеницы.

5. Так как в сортоиспытании 1919 г. № 246 занял первое место, то Еремеевым был поставлен вопрос о размножении его на площади 1 га. Разрешение на посев было дано лично мною.

6. В 1920 году № 246 также оказался рекордным по урожаю сортоиспытания и дал очень высокий урожай на первом гектаре размножения. Еремеев внёс предложение осуществить пожелание основателя станции присвоением этому номеру названия «Украинка».

7. В 1920 году Мироновская станция не имела своего живого инвентаря. За обработку опытных делянок крестьянам все земли хозяйственного назначения были отданы исполу.

По инициативе Еремеева в договорное условие с крестьянами был включён пункт обязательного посева семенами станции, и в частности «Украинкой», а кроме того, размножение её было проведено и в 8 крестьянских хозяйствах 3-х сёл – Мироновки, Салова-Хутора и Козина.

8. Согласно договору, который я заключил с крестьянами, весь урожай 1921 года «Украинки» был сдан станции, которая за каждый пуд должна была уплатить 60 фунтов зерна обыкновенной пшеницы.

Первая элита «Украинки» в 1921 году была отпущена ряду сахарных заводов по нарядам бывш. Сортоводно-семенного Управления Сахаротреста. Для расплаты с крестьянами Киевским Губпродкомом было отпущено 4 вагона ржи.

9. Дальнейшее размножение «Украинки» и выявление её ценных свойств проводилось во время моего пребывания на станции при моём руководстве, как директора станции.

В целях увеличения производства сортовых семян Еремеевым и мною с 1921 года к размножению «Украинки» был привлечён Масловский Техникум имени Тимирязева. В 1925 году из апробированного Еремеевым урожая Масловским Техникумом при содействии Мироновской станции было отпущено около 6 000 пудов семян «Украинки» Северо-Кавказскому Краевому Земельному Управлению.

10. Еремеев всё время проводил повторный отбор «Украинки», и близкое его участие во всех хозяйственных операциях по размно-

жению, уборке, хранению, очистке и отпуску селекционных семян обусловили их высокое качество, о чём можно судить по тому, что станция никогда не получала претензий от организаций, которым отпускались семена.

11. Фактическая сторона истории сорта «Украинка», заложенная Еремеевым в книге «Украинка № 246 Мироновской станции», составлена на основании документальных данных, мне известных и лично мною проверенных.

Действительный член ВНИС'а
подпись (Филипповский).

7.XII.1937 г.

Киев, Мало-Подвальная ул., д. 12/1»¹³⁸.

Помянутая справка, как чисто канцелярский документ, предназначалась для ограниченного круга пользователей и до широкой общественности не дошла. Для массового агрономического читателя информацией о ходе выведения сорта озимой пшеницы «украинка-0246» поделился его соавтор Лев Иванович Ковалевский в журнале «Селекция и семеноводство» за 1938 год, номер два:

«О времени выведения сорта „Украинка“

В «Руководстве по апробации сельскохозяйственных культур» под редакцией А. М. Ржехина (том I, издание 1937 г., стр. 60) напечатано, что озимая пшеница «Украинка» выведена в 1915 г. Это указание не соответствует действительности.

Я, как участник выведения «Украинки», считаю необходимым сделать по этому поводу следующее разъяснение. Исходным материалом для выведения «Украинки» послужила венгерская озимая пшеница «Банатка». Первоначальный отбор колосьев среди посева «Банатки» на Мироновской станции был произведён в 1915 г. Осенью того же года семена отобранных колосьев были высеяны отдельными деляночками. Для посева осенью 1916 г. поступило, после отбраковки материала, 144 линии.

Как отбор колосьев, так и указанная браковка произведены под руководством специалиста В. Е. Жолткевича. Самый же посев отобранного материала был произведён осенью 1916 г. практиканткой Р. И. Борю.

С весны 1917 г. мне было поручено продолжать данную работу. Мною были выполнены работы как по уходу за этим питомником, так и все фенологические и другие полевые наблюдения, а также произведена предуборочная оценка по пятибалльной системе. Среди пяти лучших отобранных мною номеров наивысшую оценку получила пшеница «Эритросперум 0246» – будущая «Украинка».

В конце уборки питомник был передан И. М. Еремееву. В результате проведённых им сравнительных испытаний в 1917/18, 1918/19 и 1919/20 гг. пшеница 0246 получила окончательное признание, была названа «Украинкой» и осенью 1920 г. поступила в размножение на крестьянские поля.

Таким образом, годом выведения «Украинки» следует считать не 1915, а 1920 год.

Л. И. Ковалевский,
Зав. отделом селекции и семеноводства
Винницкой областной с.-х. станции».

Кажется мне, что ещё одним, скромным, соавтором сорта можно было бы считать и супругу Еремеева, обеспечивавшую ему не только надёжный семейный и бытовой тыл, но и оказывавшую ему посильную помощь в работе, в том числе в оформлении статей, рефератов, в подготовке докладов. Тому способствовало её незаконченное высшее агрономическое образование, знание иностранных языков, общая эрудиция. Дочь Лидия позже вспоминала: «Мама очень любила музыку, с молодости мечтала стать пианисткой. Эту любовь она старалась привить и нам... Папа очень любил слушать мамину игру на пианино, любил вальсы Шопена... Обычно мы мало видели папу, так как рабочий день у него был неограничен, особенно летом»¹⁴⁴.

О своих внедомашних делах в мироновский период жизни Александра Георгиевна позже писала в автобиографии: «За время работы на Мироновской селекционной станции работала по общественной линии: в качестве жендеlegates велла объяснительные чтения газет с работницами; две зимы – 1926 и 1927 гг. велла первую группу ликбеза; в 1926–1927 гг. была членом сельсовета в селе Галлов-Хутор (Мироновск. р-на). В 1929 г. с апреля по сентябрь работала по выбору казначеем Мироновского Рабкома»¹³⁸.

Зима 1928–1929 годов, как вспоминает Александра Георгиевна, была очень холодной. В начале января, оставив детей в Киеве у родителей, она вместе с мужем уехала в Ленинград на генетический съезд. Морозы были настолько сильными, что по возвращении в Киев супруги Еремеевы оставили детей у Влайковых, а сами уехали в Мироновку (в феврале Иван Максимович вновь уехал в Ленинград). Домой в Мироновку дети Еремеевых приехали только в марте. «Папа редактировал с моей помощью свою книгу „Украинка 0246“, собирал материалы к поездке в Ленинград и выехал туда в феврале, а я поехала в Киев... По истечении месяца папа вернулся из Ленинграда и вызвал нас телеграммой домой. Ехали мы 16 марта при 25 мороза, но вы перенесли хорошо эту поездку»¹⁴².

Селекционную работу на Мироновской опытной станции Иван Максимович Еремеев совмещал с чтением лекций в Масловском институте селекции и семеноводства. В 1929 году он сделал выбор в пользу преподавательской работы и переехал в Масловку, где стал заведовать кафедрой и получил звание профессора.



Второй справа: Иван Максимович
Еремеев (Мироновка, 1929 г.)

Помянутое высшее учебное заведение (первоначально в форме техникума) было организовано в 1921 году в селе Масловка Мироновского района и просуществовало шестнадцать лет. С 1927 года в течение шести лет его директором был Лев Николаевич Делоне, выпускник Киевского университета 1919 года, ученик академика Сергея Гавриловича Навашина (и, к слову, друг детства Николая Павловича Анциферова). При нём, в 1928 году, техникум был реорганизован в институт. До переезда в Масловку профессор Делоне несколько лет работал в Украинском научно-исследовательском институте сахара, располагавшемся в Киеве.

«Осенью 1929 г. мы переехали в Масловку, где папа получил кафедру по селекции и семеноводству в институте. Здесь были хорошие тогда силы, профессора и преподаватели в институте. Генетику вёл Лев Николаевич Делоне. С его дочкой Наташей, которая была на 1,5 года старше Лидуси, очень подружилась Лидуся. Но Наташа была властная, эгоистичная, резвая девочка, сильно избалована родителями, и ты, Коленька, её не любил. И она отвечала тебе такой же антипатией. Лидуся же, соответственно своей и Наташиной склонности к театральности, «посестрилась» с Наташей, то есть они решили стать как бы сёстрами... Осенью 1930 г. Коля пошёл в школу, которая была в 2-х километрах от нас. В первые дни он как-то на запотевшем окне написал несколько ругательств, которые увидел на стенах где-то в школе и услышал от товарищей. Ты не знал значения этих заборных слов и не решился спросить меня про это, сказала тебе, что это плохие, очень плохие слова, что я не могу даже сейчас тебе объяснить, что они означают, но прошу тебя поверить маме, что они действительно плохие и что их не надо никогда, нигде ни писать, ни говорить. Действительно, больше ты их не писал, не говорил, не интересовался ими. Вообще, интереса к плохому, запрещённому у вас не было. Коленька даже в 17 лет не читал тех глав из Лукиана, которые я ему советовала не читать, и взрослыми вы оба всегда советовались со мной и папой, что читать, какую пьесу смотреть, какой фильм. Не помню, чтобы вы когда-нибудь не послушались, хотя иногда и протестовали. Взрослым я вам говорила: «Если вы меня не хотите слушать, не хотите сделать так, как советует вам, уже большим и разумным детям, их мать, то не советуйтесь со мной, а делайте по-своему. Но я согласна на это не даю. Если вы сделаете, значит, больше меня не спрашивайте, делайте по своему разумению». И в раннем детстве я никогда не стеснялась извиниться перед вами, если в чём-то была не права, и потом понимала, если была груба и неправильно пострадала. Может быть, в этом взаимном доверии надо искать источник нашей с вами простой дружбы. Хотя я знала, что о многом вы откровеннее говорите со своими товарищами, когда были уже в старших классах, однако я не претендовала на вашу откровенность, зная, что все сердечные и волнующие вас вопросы вы разрешите вместе со мной»¹⁴².

Часть четвёртая. Арест, переезд в Детское Село

В октябре 1930 года Иван Максимович был арестован в Масловке и отвезён в Киев. Как вспоминает его дочь Лида (ей тогда было только семь лет), на время проводившегося в квартире обыска мама отвела её и брата к Делоне. *«Помню, как мама плакала, а мы утешали её. Очень скоро после ареста папы мы уехали в Киев к дедушке и бабушке. Папа пробыл под следствием 9 месяцев. Носила мама передачи папе в ДОПР, оттуда приносила записочки, над которыми пролила много слёз. Вызывали и маму к следователю, допрашивали и её. Но ничего из доноса не смогли доказать, и папу отпустили весной домой»*¹⁴⁴.

Сама Александра Георгиевна вспоминала позже по этому поводу:

«В октябре 1930 г. наш папа был арестован в Масловке и увезён в Киев. Мы так и не знаем, почему он был арестован, следствие было каким-то непонятным, никаких материалов не было, папу выпустили без всяких осложнений через 10 месяцев – в августе 1931 г. Вероятно, переусердствовали помощники Ягоды, мы не знаем ничего. Но папа был честным советским человеком и работал с пользой для родины, его не могли сделать преступником. Я сильно переживала этот арест, поехала сразу же в Киев, ждала месяца, что вот-вот его выпустят. С вами оставалась Анастасия Васильевна Грузинская, наша очень хорошая знакомая, которая как раз накануне ареста приехала к нам из Киева отдохнуть и погостить. Она жила ещё в Мироновке, когда Коленьке было меньше года, обожала его...

31 декабря 1930 г. мы приехали в Киев с запасами продуктов, и я стала усиленно хлопотать о папе в ГПУ и ДОПР. При передачах, которые часто носили взрослые, часто Коленька ходил вечером получить корзинки и ответы... Материально нам было очень трудно это время, так как папину зарплату за два месяца мы получили только в марте и апреле, дедушка зарабатывал один, а едоков было много. С марта я пошла на работу в гидрометеорологический комитет, но там я получала первый месяц 80 р., а последующие 100 и 120 р. Бабушка говорила, что этой зарплате хватает только на молоко и хлеб. Присылала деньги тётя Лиля, тётя Шура раз прислала... Делоне раз прислал 50 р. В самом начале дал 75 р. Ларионов Дмитрий Константинович ещё в Масловке. Он очень хорошо к нам относился, и вообще все знакомые и родные были очень отзывчивы и много помогали...

*Вы скоро стали играть в следователей и заключённых; и как ни плохо было всем нам, мы много смеялись и поражались вашей находчивости в ответах «следователю»... Но вы мало меня спрашивали, не решались, что ли, или удовлетворялись моими рассказами о разговорах со следователями и прокурорами, которых я донимала лично по телефону. Второму следователю я так надоела, что он стал вешать трубку, как только слышал мой голос»*¹⁴².

Содержали Ивана Максимовича в доме предварительного заключения (ДОПР) Лукьяновской тюрьмы, не так далеко расположенной от места проживания семейства доктора Влайкова, на Сретенской улице. И рукой было подать до фельдшерско-акушерской школы, которую прежде возглавлял доктор Влайков. Лукьяновка – старинный киевский район (во время оно – городское предместье), в котором в 1859–1861 годах по проекту губернского архитектора Михаила Иконникова был сооружён тюремный замок, далее достраивавшийся новыми зданиями. К концу девятнадцатого столетия он состоял из десяти корпусов, связанных между собой подземными переходами. В Российской империи эта тюрьма считалась образцовым учреждением, имевшим большую «пропускную способность». На её территории имелись православная церковь и еврейская молельня, которые после революции были переоборудованы под камеры.

Допрашивали Ивана Максимовича с пристрастием, выбивали показания не давая спать; пытали мерными ударами по голове капель воды из-под водопроводного крана.

«Возможно, что папу спас неизвестный нам солдат. Когда папа вернулся из ДОПРа, он рассказал, что следователь его мучил бессонницей, пытаясь добиться папиной подписи под лживым обвинением. И вот, однажды, когда следователь сам устал и захотел отдохнуть, он позвал солдата и сказал ему: «Я уйду часа на 3, а ты этому типу (он показал на папу) не давай спать. Чуть он задремлет, коли его штыком в бок». Следователь ушёл. Тогда солдат сказал папе: «Ложись на пол и спи. Я разбуджу». Папа проспал 3 или 4 часа. И когда следователь вернулся, смог спокойно отстаивать свою правоту»¹⁴².

Пытки бессонницей впоследствии самым негативным образом сказались на здоровье Ивана Максимовича. Он заболел так называемой стенокардией покоя (загрудинной болью, возникающей без всяких провоцирующих факторов). Он не мог спать лёжа – засыпал, как вспоминают его родные, только сидя в кресле.

Начало тридцатых годов было временем начала бурной деятельности печальной памяти Ягоды, в системе ОГПУ бывшего заместителем болевшего Менжинского. В это время он занимался организацией каторжных работ заключённых на строительстве Беломорско-Балтийского канала, за что ему на месте стройки был установлен памятник. Он же организовывал строительство канала Москва – Волга. После смерти Менжинского в 1934 году он занял его место и уже, как нарком внутренних дел, превратил НКВД в эффективную машину репрессий (что особенно проявилось после убийства в 1934 году Кирова). Сломался же стальной чекист Генрих Григорьевич Ягода (он же – Геноха Гиршович Иегуда) на правотроцкистском блоке Бухарина – Рыкова, который неосмотрительно и активно поддержал. Был он сначала с понижением в должности переведён на другую работу, затем в 1937 году арестован и в 1938 году расстрелян. Его судьбу разделил его соратник – нарком внутренних дел Украины Балицкий, при котором был арестован Иван Максимович Еремеев.

О точной причине ареста Еремеева можно только догадываться, поскольку протоколы его допросов, судя по всему, не сохранились. Возможно, их просто не сохранили сами дознаватели – протоколы могли быть, если бы подследственный Еремеев признал свою вину.

Можно предположить, что репрессии против Еремеева были связаны с делом так называемой Трудовой крестьянской партии, судебный процесс над членами которой начался в 1930 году. По этому делу проходили экономисты Николай Кондратьев (учился в Уманском училище земледелия и садоводства), Александр Чаянов. По итогам этих процессов обвиняемые получили достаточно мягкие (по тем временам) наказания. Уничтожены они были позже, в ходе большого террора тридцать седьмого года. Все эти специалисты были когда-то членами партии эсеров, к которой в своё время принадлежал и Еремеев (но, как он записал в автобиографии при личном деле, выбыл из этой партии перед эмиграцией 1907 года)¹⁴⁵.

Вероятнее же всего, Еремеев стал жертвой доноса «бдительного гражданина», усмотревшего в его действиях вредительство. Вот и пытались следователи «уговорить» профессора оговорить самого себя.

«Папа первые дни наслаждался свободой, мы с ним всюду ходили вместе по делам и на прогулки, т. к. я была свободна: в связи с реорганизацией учреждения меня сократили в начале сентября. Но вскоре папа заболел, пролежал в постели около месяца. Затем он устроился на работу в институт сахарной промышленности, который был расположен на Батыевой горе. Зимой и весной папе очень трудно было доставляться туда пешком в гору по грязи»¹⁴².

Дети ходили в киевскую школу, хорошо учились. Дочь Лида увлеклась танцами, выступала на торжествах, праздниках. Лето 1932 года Александра Георгиевна с детьми провела в Богуславе, где по-семейному много путешествовали по окрестностям, купались в речке Роси. Вечером мама читала детям «Песнь о Гайавате» Лонгфелло в переводе Бунина. К концу отдыха приехал Иван Максимович, через несколько дней все вместе съездили в Мироновку, посетили Масловку и вернулись в Киев. Осенью сын Коля заболел, свинка дала осложнения на бронхи. Денег катастрофически не хватало. Хотя Александра Георгиевна и Иван Максимович работали, всё же семья была стеснена материально. Пришло ужасное голодное время.

«На Украине уже с осени 1932 года стало тяжело с хлебом, выдали карточки, весной 1933 г. на улицах Киева умирали голодающие, мы получали по 200 гр., потом по 100 и по 50 гр. хлеба, вы наравне со всеми испытали голод, очереди за керосином, холод в квартире. Топили мы печку кирпичами, питанными керосином. Для этого кирпичи мочили в тазу с керосином часов 10–12, а затем клали в печку и зажигали; керосин сгорал, а печка нагревалась. Дров тогда совсем не было. Бабушка получала на всех нас 9 человек бутылку молока и кофе на 2 дня...

Вы понимали положение, не тяготились очередями и голодом и в расходовании сахара были экономнее взрослых. Летом 1932 года

папа ездил в Ленинград и привёз оттуда хлеб, сахар, маргарин. Вообще он из этих командировок привозил разные продукты, хотя всё доставать было очень трудно. Дедушка обычно отоваривался и выстаивал в очереди, заботился о топливе и керосине. Помню, однажды он пошёл за дровами на склад на Подол. Была зима, не помню, 1931–32 или 32–33 года. Несмотря на законность ордеров, дедушку всячески притесняли и не давали дров. Тогда он лёг на дороге у въезда в склад и сказал, что не встанет, пока ему не дадут дров, и не выпустит ни одной подводы. Так он получил дрова, а было уже темно, хотя ушёл он в 6 часов утра; подымался вслед за санями по Вознесенскому спуску, когда на него неожиданно налетел паренёк на коньках, ударил в живот и сбил с ног, а второй, воспользовавшись падением, стянул с носа дедушки золотые очки. Жалко и больно было видеть старика, когда он, разбитый, усталый, огорчённый пропажей, пришёл с дровами домой. Вы обняли и утешали его большие взрослые, а дедушка всё жалел, что не отнёс очки в Торгсин. Золота у нас не было, так что Торгсином мы не могли пользоваться. Но у дедушки и у папы были серебряные портсигары, которые мы проели, «съели» также мои золотые мостики с коронками и большую часть цепочки золотой от часов. Эти часы и цепочку я получила в год окончания (1912) средней школы от моего дедушки. В нашей семье по линии моей матери существовал такой обычай, что дедушка дарил старшей дочке золотые часы»¹⁴².

После освобождения и трудоустройства Иван Максимович три года заведовал отделом селекции в Киевском институте сахара, стремясь всё это время уволиться и перевестись в Ленинград к Николаю Ивановичу Вавилову. Своего Еремеев добился в конце 1933 года, когда перебрался под Ленинград, в город Детское Село (прежнее Царское Село, с 1937 года – город Пушкин), где в это время размещалась Центральная опытная станция знаменитого Всесоюзного института растениеводства. В её штат профессор Еремеев был зачислен на должности заместителя директора по науке и заведующего отделом пшеницы.

История создания Деткосельской (Пушкинской) опытной станции самым непосредственным образом связана с реорганизацией в 1918 году вечерних агрономических курсов в Петроградский агрономический институт с размещением его на территории Детского Села. Инициатором создания станции выступил Николай Иванович Вавилов, занявший в ноябре 1920 года во вновь созданном институте кафедру генетики и селекции, но более управленческого внимания уделявший своему основному на то время детищу – отделу прикладной ботаники, подчинявшемуся Сельскохозяйственному учёному комитету Народного комиссариата земледелия и занимавшему роскошный особняк на Исаакиевской площади и Строгановский дворец на Невском проспекте¹⁴⁶.

Обязательную для отдела экспериментальную базу в виде опытной станции Вавилов создал путём перевода такого подразделения из Агрономического института вместе с занимаемым им административным корпусом, что и было

законодательно определено в мае 1922 года решением Детскосельского исполнительного комитета. *«Получил на днях собственный участок и постройки бывшей усадьбы великого князя Бориса Владимировича в Царском Селе, и, таким образом, независимо от Агрономического института имеем свою станцию. Называется она Центральной станцией по прикладной ботанике и генетике»*. Операция эта оказалась непростой из-за решительного сопротивления со стороны директора Агрономического института Джандиери.



Семья Влайковых-Еремеевых. *Нижний ряд:* Коля и Лида Еремеевы. *Верхний ряд:* Александра Георгиевна и Иван Максимович Еремеевы, Мария Владимировна и Георгий Фёдорович Влайковы с внуком Мириком (Киев, 1933 г.)

Проблема эта была решена с очередным преобразованием: в июле 1922 года путём слияния Агрономического института, бывших Каменноостровских высших сельскохозяйственных курсов и Стёбутовских высших сельскохозяйственных курсов был создан Петроградский сельскохозяйственный институт. Ректором института был назначен выдающийся почвовед – академик Константин Дмитриевич Глинка. *«Налаживается дело и с Институтом. Объединение произошло, и все шансы, что оно будет прочным. Глинка в качестве ректора совершенно на месте. Из наиболее болезненных операций было устранение Ильи Львовича Джандиери... По-видимому, весь Институт будет в ближайшие месяцы или, может быть, годы перенесён целиком в Детское Село»*. (Николай Иванович Вавилов руководил кафедрой генетики и селекции до 1927 года, до этого же года ректором института был Константин Дмитриевич Глинка.)

В 1925 году решением правительства на базе отдела прикладной ботаники и селекции был создан одноимённый институт, с Николаем Ивановичем Вавиловым во главе (вскоре, после ещё одной реорганизации, преобразованный в знаменитый Всесоюзный институт растениеводства). При этом на базе опытной станции в Детском Селе был создан отдел генетики и селекции, руководителем которого был назначен Виктор Евграфович Писарев, друг и соратник Вавилова¹⁴⁷.

К новому месту жизни и работы Иван Максимович поначалу приехал без семьи и некоторое время жил один, поторапливая Александру Георгиевну с переездом. Та ещё некоторое время оставалась с детьми в Киеве при родителях, иногда понемногу сама зарабатывая на жизнь. Сохранилась справка от 13 мая 1934 года, выданная Александре Георгиевне Еремеевой в том, что она *«по поручению Института Зерна реферировала литературу с немецкого и английского языков по вопросам зернового товароведения»*, что *«произ-*

ведённая ею работа принята к печати». И только в начале лета 1934 года она вместе с детьми совершила непростой переезд к мужу.

«Но тут была и папина вина, он буквально засыпал меня требованиями приехать поскорее, и хотя я была не прочь провести лето в Киеве с вами вместе, но это желание не имела дерзости высказать. У папы было достаточно хлопот, в квартире надо было поселиться скорее, а то домоуправление посматривало косо на папу, который жил один при прописанной семье. Так или иначе, дело сделано: квартира устроена, переезд тётки Лизы обусловлен и решён, вещи отправлены после больших хлопот и всякой беготни. При их отправке большую помощь мне оказал Николай Игнатьевич Щербина, наш недавний – с 1931 года – знакомый, который в то время был кассиром на Киевском вокзале, знал все железнодорожные порядки, лично со мною вместе сопровождал подводы с вещами на товарную станцию, всё там устроил быстро и точно»¹⁴².

Устроившись в Детском Селе, Александра Георгиевна позже не раз приезжала в Киев к родным, одна и с детьми. Однажды, когда дети отдыхали у бабушки и дедушки, она доехала до Киева вместе с мужем; тот продолжил путь в Одессу, она же осталась у родителей, выезжая до конца лета с детьми и друзьями на загородный отдых в Клавдиево. Не сразу привыкла к жизни на новом месте Александра Георгиевна, долго тосковала по родным украинским местам: *«Как великолепно, роскошна весна на Украине, когда она шумит, бесится! Никогда я не переживала так бурно наступление весны, как в Борках и Мироновке. На севере всё тускло и бледно, серо; пасмурная погода, дождик осенний, солнце, незаметно проглатываемый землёю снег. А на Украине всё великолепно, блеск и радость...»¹⁴²*

Устроившийся ритм жизни Еремеевых нарушился с болезнью отца Александры Георгиевны – Георгия Фёдоровича Влайкова, у которого обнаружилась опухоль предстательной железы. Его срочно привезли к коллегам в Ленинград, но положение больного было безнадежно. Он умер 9 января 1936 года в Обуховской больнице. Покойного перевезли в Киев, где похоронили с большими почестями при большом стечении народа.

«А теперь после смерти дедушки выявилося так много его почтителей, учеников (дедушка читал в фельдшерской школе 25 лет), врачей, что, по словам бабушки, было приостановлено движение по всей Львовской улице во время похорон. За гробом шла тысячная толпа. У фельдшерской школы стояли рядами студенты, которые присоединились к процессии. Было много венков и речей. После представителей разных учреждений, организаций, где работал, лечил дедушка, представители наркомата и т. д. Выступила студентка-фельдшер школы с такой простой и сердечной речью, что все плакали...»

Вскоре было получено постановление правительства о назначении бабушке персональной пенсии и закреплении за нею квартиры пожизненно и присвоении фельдшерской школе имени д-ра Влайкова»¹⁴².

Часть пятая. Работа у Николая Ивановича Вавилова

На новом месте работы Иван Максимович стал преемником Виктора Евграфовича Писарева, двенадцать лет отвечавшего (до ареста в июле 1933 года) во Всесоюзном институте растениеводства за селекцию основных сельскохозяйственных культур, из которых первые четыре – как директор Центральной опытной станции¹⁴⁸.

Профессор Писарев проходил по делу «контрреволюционной эсеро-народнической ячейки в ВИРе», открытому Ленинградским ОГПУ в начале 1933 года; её участникам ставилось в вину намерение «*вооружённого свержения Соввласти и установление буржуазно-демократического строя*», а также «*проведение широко развёрнутого вредительства*». По этому делу Виктор Евграфович был «назначен» органами руководителем одной из двух контрреволюционных ячеек, вторую ячейку «возглавил» научный сотрудник института Виктор Викторович Таланов. Вместе с ними были арестованы научные сотрудники отдела селекции и генетики и отдела сортоиспытания и растительных ресурсов Григорий Андреевич Левитский, Николай Николаевич Кулешов, Константин Матвеевич Чинго-Чингас... Во второй половине апреля 1933 года арестованные по этому делу сотрудники института были осуждены на сроки от трёх до пяти лет в исправительно-трудовых лагерях. (Писарев был освобождён досрочно в середине 1934 года и в ВИР не вернулся – далее работал в Москве.) С началом судебного процесса Вавилов вернулся из очередной зарубежной командировки (как скоро выяснилось – последней) и активно хлопотал за привлечённых к суду сотрудников, чем вызвал гнев товарища Сталина, позже припомнившего учёному его «*попустительство вредителям*»¹⁴⁹.

Впрочем, к этому времени и сам Николай Иванович Вавилов был серьёзно «опекаем» органами внутренних дел. Ещё в начале тридцатых годов, в пору судебного процесса по делу участников так называемой Трудовой крестьянской партии, на Лубянке на него было заведено секретное дело. Более десяти лет накапливались компрометирующие материалы (в том числе многочисленные доносы) на выдающегося учёного. Более десяти лет выкашивались расстрельными приговорами ряды его научных соратников, прежде чем сам он, в августе 1940 года, не был арестован и, приговорённый к смертной казни, измученный и надломленный нравственно и физически, не скончался зимой 1943 года в саратовской тюрьме. Но миновала чаша сия Ивана Максимовича Еремеева, чуть было не испившего её в застенках Лукьяновской тюрьмы.

Жизнь на новом месте у Еремеевых скоро наладилась. Получили они прекрасную квартиру на улице Московской (дом двадцать шесть, квартира тридцать семь). Иван Михайлович увлечённо работал, была возможность работать и у Александры Георгиевны. Её сестра, Елизавета Георгиевна, переехала вместе с ними в Детское Село, взяла на себя ведение домашнего хозяйства. Дети ходили в Первую детскосельскую (с 1937 года – Пушкинскую) среднюю школу. В этой же школе учились дети Николая Павловича Анциферова, Сергей и Татьяна. (Факт этот подтверждает и внук историка – Михаил Сергеевич Анциферов.) Что интересно: две девушки, киевские гимназистки Оберучева

Татьяна и Влайкова Александра, жили в Киеве на расстоянии одного квартала друга от друга примерно в одно время.

Есть ещё более потрясающее сходство в судьбах детей Анциферовых и Еремеевых. Первые дети Анциферовых, сын и дочь, родившиеся в первые послереволюционные годы, недолго пожили на белом свете – умерли, заболев сыпным тифом, в младенчестве. Судьбу Анциферовы пересилили – в 1922 году у них родился сын Сергей, в 1924 году – дочь Таня. По схожему сценарию развивалась семейная драма, связанная с рождением первенцев, у Еремеевых. Первого сына (тот же год рождения, что и у Анциферовых) Александра Георгиевна родила мёртвым. Вскоре после этого трагического исхода она родила дочь, только шесть месяцев пожившую. И точно так же, как Анциферовы, молодые супруги Еремеевы одолели судьбу: в 1922 году у них родился сын Николай, в 1924 году божий свет увидела их желанная дочь Лидия.

«А в Пушкине тем временем создавалось и крепло наше гнездышко. Папино положение во всех отношениях упрочивалось. Среди администрации Деткосельской станции и в ВИРе в Ленинграде он завоевывал авторитет и уважение. Николай Иванович Вавилов дружественно относился к папе в частной жизни, на работе поручал ему сложные и ответственные задания. Папа развернул работу в нужных масштабах, стал размножать выведенные Писаревым сорта, зерно которых имелось в очень малых количествах, поставил семеноводство, работал с увлечением, расширяя научно-исследовательские работы, поставил себе целью вывести для Севера такой же продуктивный и распространённый сорт, каким для Юга стала

«Украинка». Те годы были расцветом ВИРа. Алексей Евгеньевич Вотчал успешно творил и изобретал. Бывший в то время директором Владимир Сергеевич Соколов был прекрасным администратором, руководил станцией умело, тактично, умно и всем давал возможность проявить инициативу. Осенью 1936 года папе по совокупности работ была присвоена степень доктора сельскохозяйственных наук»¹⁴².



Лучший селекционер Ленинградской государственной селекционной станции доктор биологических наук И. М. Еремюк.
Под его руководством на Ленинградской станции выведены новые сорта зерновых культур для распространения в северной части Советского Союза.

Как известно, вскоре после революции, в 1918 году, была упразднена старая система аттестации научных кадров, были отменены учёные звания и степени. Последние были возрождены шестнадцать лет спустя

Постановлением Совета народных комиссаров от 13 января 1934 года «Об учёных степенях и званиях». В духе и букве этого документа в стране широкое распространение получила практика присуждения докторской степени лицам, не имевшим степени кандидата, без защиты диссертации (до революции ей была эквивалентна степень почётного доктора, *honoris causa*, присуждавшаяся университетами «*во внимание к заслугам*»). Кандидатуры на учёные степени доктора, выдвинутые учёными советами вузов или научно-исследовательских институтов, утверждались Высшей аттестационной комиссией (ВАК) и наркоматами просвещения и здравоохранения союзных республик. До 1 января 1936 года звания профессора, доцента, старшего научного сотрудника могли присуждаться лицам, не имевшим соответствующих учёных степеней¹⁵⁰.

Ряду учреждений, в том числе союзной и республиканским академиям наук, Коммунистической академии, ВАСХНИЛ (случай Ивана Максимовича Еремеева), предоставлялось право самостоятельно утверждать учёные степени кандидата и доктора наук, учёные звания старшего научного сотрудника и действительного члена академии, которым степень доктора наук присваивалась автоматически с момента их избрания.

«Что поражало меня больше всего в детстве – это огромная работоспособность папы. Я привыкла видеть отца, занятого работой: то папа был на опытных участках, то в лаборатории, то работал дома до позднего вечера. Летних отпусков у папы не было, это было время самой напряжённой работы, и целью работы было не денежное вознаграждение, а желание добиться результатов по улучшению сортов пшеницы, по продвижению пшеницы и других культур на Север. Свой энтузиазм в работе, свою увлечённость папа старался передать сотрудникам, своим детям»¹⁴⁴.

Не скучала в этот период семейной жизни и Александра Георгиевна, что много позже подтвердил сын Еремеевых, Николай: *«Она не сумела окончить институт. Дети, семья, болела. Последствия – эндокардит перед войной. До войны она заведовала библиотекой Чумкинской (вернее, Детскосельской) части ВИРа, а с 1937 г. – иностранным отделом Научно-исследовательского института молочной промышленности. Она в совершенстве владела немецким, французским и английским языками и немного знала испанский. Н. И. Вавилов бывал в Детском Селе в сопровождении иностранных гостей, всегда просил мать сопровождать его для помощи в переводе»¹³⁸.*

Помимо текущей опытно-селекционной работы в 1934 году Иван Максимович Еремеев был занят написанием двух принципиальной значимости статей. Первая – «Современное состояние учения о чистых линиях» (совместно с Моисеем Марковичем Якобцинером, видным специалистом по пшенице, и А. Басовой), вторая – «Внутривидовая гибридизация» (совместно с В. С. Фёдоровым). Статьи были опубликованы в 1935 году в первом томе трёхтомного сборника «Теоретические основы селекции». Этим коллективным трудом его редактор Н. И. Вавилов дал научную основу селекционному делу. *«Селекционный процесс, который от века оставался только личным искусством наиболее одарённых селекционеров, директор ВИРа хотел поднять до уровня*

науки. Ему не терпелось заменить случайные удачи отдельных искателей „золотого колоса“ строго закономерным, научным получением сортов»¹⁵¹.

Изданием трёхтомника «Теоретические основы селекции» Вавилов подвёл промежуточные итоги развития этой отрасли сельскохозяйственной науки, в числе которых было немало значимых достижений. По этому поводу в 1934 году британский селекционер и генетик Биффен, сделав обзор мировых достижений селекционной науки, признал, что по исследовательской работе в селекции первое место занимает Советский Союз. Между тем главный на то время «селекционер» Страны Советов Трофим Денисович Лысенко в 1935 году на Втором всесоюзном съезде колхозников-ударников, игнорируя мнение крупнейших учёных мира, заявлял в присутствии вождя, что положение с селекцией в стране катастрофично, в том числе по вине учёных-вредителей. В качестве панацеи предлагал он свой рецепт выправления положения усилиями ударных колхозников: *«Пока в дело селекции не впутаются, не возьмутся колхозники, с этим делом не будет ладно. Многие учёные говорили, что колхозники не втянуты в работу по генетике и селекции потому, что это очень сложное дело, для этого необходимо окончить институт. Но это не так. Вопросы селекции и генетики на основании теории развития растений (теория яровизации), которая разработана советской наукой на колхозных полях, ставит этот вопрос теперь по-иному... Колхозная инициатива в этом деле необходима, без этого у нас будут только селекционеры-специалисты, кустари-одиночки...»*

Так народный академик из обыденного агротехнического приёма «яровизация», переводившего озимые культуры в яровые (путём предпосевной закалки холодом и замачивания зёрен), низводил на нет достижения отечественной селекционной и генетической наук. Так он беззастенчиво «давил» Николая Ивановича Вавилова, некогда заметившего его начальные агротехнические успехи и двинувшего его в биологическую науку.

Чем больше читаю об академике Николае Вавилове, чем глубже – по своему – воспринимаю эту неординарную, могучую фигуру истого русского интеллигента, тем больше ощущаю трагизм шекспировского размаха в сложных, противоречивых, созидающих и одновременно безумно жестоких реалиях его жизненного пути. Думается мне, был бы он иным, этот жизненный путь, если бы Николай Иванович ушёл в чистую науку (как это, к примеру, сделал его старший друг и единомышленник Владимир Иванович Вернадский). Возможно, по-иному сложилась бы его личная жизнь, не будь он волею обстоятельств втянут, как личность державного масштаба, в решение продовольственной проблемы страны, усугублявшейся не только объективными факторами (засухой и заморозками), но и причинами глубоко субъективными, которые не могли быть скоро поправлены: промахи верховного партийного и государственного руководства, ошибки учёных-аграриев, нехватка семенного материала.

Научно-организационная и общественная деятельность Вавилова впечатляет. Вступив в 1920 году в руководство сравнительно небольшим Бюро по прикладной ботанике, он в 1924 году превратил его во Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур, а в 1930 году – в большой научный центр: Всесоюзный институт растениеводства (знаменитая аббревиатура

ВИР), насчитывавший тринадцать крупных отделений и опытных станций на всей территории страны. Институт стал научным центром по разработке теории растений мирового значения. По инициативе Вавилова, создателя и первого президента Всесоюзной сельскохозяйственной академии имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ), был организован целый ряд научно-исследовательских институтов (зернового хозяйства, плодоводства, овощеводства, субтропических культур, кукурузы, картофеля, хлопководства, льна, масличных культур).



В 1930 году, после смерти Ю. А. Филипченко, руководителя генетической лаборатории в Ленинграде, её возглавил Николай Иванович Вавилов, преобразовав со временем в Институт генетики АН СССР. Вавилов был – с 1925 по 1936 год – членом Центрального исполнительного комитета (ЦИК), и это высокое общественное положение подчёркивало значимость учёного как для науки, так и для народного хозяйства страны. В двадцатые годы он был в фаворе у высшего руководства страны (Н. П. Горбунова, бывшего личного секретаря Ленина; Я. А. Яковлева, министра земледелия), сделавшего на него ставку в деле обеспечения достаточного и стабильного урожая зерновых культур. Но уже к началу тридцатых годов положение изменилось. Неурожаи, вымерзания на больших площадях посевов охладили внимание верхов к учёному, выстраивавшему фундаментально-прикладную систему научных исследований и производства сельскохозяйственной продукции¹⁵¹.

В этих условиях Вавилов искал и поддерживал молодых специалистов, в числе которых оказался Трофим Денисович Лысенко, человек из народа, выпускник Уманского училища земледелия и садоводства, затем – Киевского сельскохозяйственного института. Николай Иванович, поддержав его идею яровизации зерна, далее всемерно продвигал Лысенко вверх по организационным ступеням. Была в этом искренность, широта души учёного; была и надежда, что яровизацию можно будет эффективно применять в селекции, что поможет она полнее использовать мировую коллекцию полезных растений ВИР для выведения высокопродуктивных, устойчивых к заболеваниям, засухе и холоду культурных растений.

В 1934 году Вавилов рекомендовал Лысенко в члены-корреспонденты АН СССР. Импонировал Трофим Денисович руководителям партии, правительства и лично товарищу Сталину своим крестьянским происхождением, неистощимыми обещаниями в кратчайшие сроки поднять урожайность зерновых культур, а также тем, что заявил на Втором всесоюзном съезде колхозников-ударников о вредительстве в науке (вождь поднялся и аплодировал).

Десятилетней Лиде Еремеевой врезалась в память затеянная «народным академиком» дискуссия:

«Трудные это были годы. О дискуссиях между Вавиловым Н. И. и Лысенко Т. Д. папа рассказывал маме. Я помню, как папу глубоко возмущала грубая бестактность Лысенко Т. Д. по отношению к Н. И. Вавилову, к которому папа относился с большим уважением и почтением»¹⁴⁴.

После подписания Советом народных комиссаров 13 июня 1921 года Декрета о семеноводстве в течение последующих десяти лет усилиями Вавилова и его старшего коллеги Виктора Викторовича Таланова была проведена большая работа по реализации основных положений декрета: создана сеть сортоучастков, начато размножение и быстрое внедрение в производство ценных сортов различных культур, развёрнута сеть опытных станций, разработаны методики проведения сортоиспытаний, основы апробации и всесторонней оценки сортов. В 1931 году южная и северная сети сортоиспытания были слиты в единую Всесоюзную государственную сортоиспытательную сеть (Госсортосеть) при Всесоюзном институте растениеводства¹⁵².

Вслед за первой, сравнительно «слабой», волной преследований сотрудников ВИР 1933 года, вторая – безжалостная, расстрельная – пришлась на 1937 год, затронула она и верхушку руководства Госсортосети при ВИР. Были арестованы заместитель директора института Аркадий Борисович Александров, директор Госсортосети ВИР Пётр Ксенофонтович Артёмов, заведующий Бюро семеноводства Николай Сергеевич Переверзев, директор Пушкинской опытной станции Александр Кондратьевич Лапин. Все они были расстреляны в ноябре 1937 года. После этого Госсортосеть была выведена из состава Всесоюзного института растениеводства в самостоятельную структуру – Госсортосеть при Народном комиссариате земледелия СССР (Наркомземе). На основе Пушкинской опытной станции и близлежащего совхоза «Суйда» в ноябре 1937 года была создана Ленинградская селекционная станция; её первым научным руководителем стал Иван Максимович Еремеев.

Репрессии против сотрудников Госсортосети, входившей в состав ВИР, предшествовал Пленум ЦК ВКП(б), состоявшийся 28 июня 1938 года, на котором заведующий селекционным отделом ЦК Яков Аркадьевич Яковлев сделал доклад «О мерах по улучшению семян зерновых культур». В его критическом разделе в вину учёным-аграриям, прежде всего сотрудникам ВИР, было поставлено *«сокрытие от нашей страны хороших сортов, выведенных за границей», «неправильная, ненаучная организация сортоиспытания»* и сделан вывод: *«В результате неудовлетворительной работы Главного Зернового управления Наркомзема, сожнувшейся с вредительством, сорвано выполнение поставленной вторым пятилетним планом задачи довести сортовые посевы до 75 % всех зерновых»*¹⁵³.

В результате было решено создать государственные сортоучастки – по два-три на каждый областной или краевой район – с прямым подчинением Наркомзему. Этим же постановлением узаконивалось положение о том, что семеноводческие станции должны заниматься только размножением сортовых семян, сохранять и улучшать полезные качества сорта. Новые сорта можно было возделывать только после утверждения их на сортоучастках Государственной комиссией по сортоиспытаниям сельскохозяйственных культур, которая давала добро на районирование прошедших испытание культур.

Помимо прочего, для улучшения селекционного дела учитывалась личная заинтересованность селекционера в выведении нового сорта: *«...Ввести, начиная с 1937 года, премирование селекционных станций и селекционеров: ежегодно в размере 6 коп. с каждого гектара хозяйственных посевов – за*

выведение нового сорта, 4 коп. – за улучшение существующего сорта, с выдачей 50 % премии селекционеру (но не свыше 50 тыс. руб. в год), 5 % – директору селекционной станции за сорта, выведенные или улучшенные за время его работы директором, и 45 % премии – в распоряжение директора селекционной станции для премирования других работников станции, принимавших участие в выведении нового сорта или улучшении существующего. Этот порядок премирования мы предлагаем распространить на сорта, выведенные или улучшенные, начиная с 1918 года»¹⁵³.



Семья Еремеевых (июнь 1940 г.)

В соответствии с этой частью постановления были премированы авторы выведенного сорта «украинка-0246».

*«Выписка из протокола № 23
заседания пленума Государственной комиссии
по сортоиспытаниям зерновых культур при НКЗ СССР.*

От 17 ноября 1939 г.

СЛУШАЛИ: Заявление о выдаче авторского свидетельства т. Еремееву И. М.

ПОСТАНОВИЛИ: По данному вопросу было принято два следующих предложения:

А. 1. Признать соавторами сорта оз. пшеницы «Украинка», выведенного на Мироновской селекционной станции, селекционера Жолткевича В. Е. (умершего в 1919 г.), Ковалевского Л. И. и Еремеева И. М. на равных основаниях.

2. Выдать авторские свидетельства на сорт озим. пшеницы «Украинка» селекционерам Ковалевскому Л. И. и Еремееву И. М.

3. Определить размер премии согласно п. 1 настоящего постановления: Ковалевскому Льву Ивановичу одну треть, Еремееву Ивану Максимовичу одну треть (за это предложение голосовали члены Госкомиссии: Маринич, Немчинов и Якушкин).

В. 1. Признать соавторами сорта оз. пшеницы «Украинка», выведенного на Мироновской сел. станции, селекционера Жолткевича В. Е. (умершего в 1919 г.) и Еремеева И. М. на равных основаниях.

2. Отметить большую роль Ковалевского Льва Ивановича в деле сохранения и оценки сорта оз. пшеницы «Украинка» в 1917 г.

3. Выдать соавторские свидетельства на сорт оз. пшеницы «Украинка» Еремееву И. М.

4. Определить размер премий согласно п. 1 настоящего постановления Еремееву Ивану Максимовичу: одну половину (за это

предложение голосовали члены Госкомиссии Лисицын, Константинов и Писарев).

По пункту III повестки присоединились к первому предложению о признании трёх соавторов сорта «Украинка» И. Андриевский, Н. Цицин.

Настоящее постановление представить на утверждение Народного комиссара земледелия Союза СССР.

Председатель собрания (подпись).
Члены (подписи).
С подлинным верно. Секретарь»¹³⁸.



Премии общим размером в пятьдесят тысяч рублей Иван Максимович получил в два приёма, в течение 1939–1940 годов, и это было значимым событием в жизни семьи Еремеевых. Из других предвоенных событий детям Еремеевых запомнилась поездка с отцом на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, которая впервые открылась для посетителей 1 августа 1939 года. Экспозиция выставки строилась по территориальному и отраслевому принципам, известно, что за первые три месяца работы её посетили более трёх миллионов человек. На выставке Иван Максимович экспонировал свой знаменитый сорт «украинка-0246», за который был награждён золотой медалью. Но, кажется, Лидию Еремееву впечатлило в ту поездку другое:

«Из друзей папы помню Нестерова Александра Фёдоровича, который жил в Москве. Александр Фёдорович был специалистом по сахарной свёкле. Бывая в Москве, папа всегда заходил к нему. В 1939 году, в конце августа, папа взял меня и брата в Москву на открытие с/х выставки. В один из вечеров мы заехали к А. Ф. Мне запомнился разговор папы с А. Ф. о недавнем заключении договора между СССР и Германией. Как папа и А. Ф. переживали изменения в международных отношениях, предчувствовали неизбежность войны с Германией! А. Ф. в 1940 г. был репрессирован и погиб где-то на Севере»¹⁴⁴.

Запомнились Лидии Еремеевой последние предвоенные годы мирным всеобщим настроением, домашним уютом, создаваемым родителями, гармоничными внутрисемейными отношениями, большой ролью отца как воспитателя:

«Помню, как в довоенные годы, когда мы жили в г. Пушкин Ленинградской обл., я часто ездила в театры, в Ленинград. Возвращалась поздно, в 1 час ночи, а то и позже. Папа всегда сидел за письменным столом и, ожидая меня, занимался своими делами. Его седая, склонённая над письменным столом голова и сейчас у меня перед глазами. Конечно, папа тоже отдыхал. Очень любил папа интересных собеседников, мог долго говорить с ними на разные темы. В г. Пушкин таким собеседником был Вотчел Алексей Евгеньевич,

в Ленинграде – Клопотов Борис Николаевич, сотрудник БИНа, прекрасный человек, умерший во время блокады в январе 1942 года.

Многое в жизни глубоко интересовало и волновало папу, не был он равнодушен к несправедливости, ко лжи, к фальши, любил и пошутить. Папа любил помогать людям, извиняя и прощая их ошибки. Нам, своим детям, всегда говорил: „Будьте требовательны к себе и снисходительны к другим“¹⁴⁴.

В целом же о содержании и достижениях Ивана Максимовича Еремеева как научного руководителя Ленинградской опытной станции в предвоенные годы говорит характеристика, данная ему в 1945 году (в ту пору в них выверялось каждое слово, прежде чем быть написанным):

«В системе Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР доктор Еремеев И. М. работал с октября 1937 г., в связи с организацией, согласно Постановлению СНК СССР «О мерах по улучшению семян зернокультур», Ленинградской Государственной Селекционной станции, на которой занимал место заместителя директора по научной работе и заведующего группой пшеницы. И. М. Еремеев проявил большую энергию в организации Ленинградской селекционной станции, и под его руководством была развернута работа по селекции и семеноводству зерновых культур соответственно поставленным заданиям по выведению новых сортов и производству улучшенных семян элиты. В период деятельности И. М. Еремеева, до 1941 г., коллективом станции был выведен и передан на испытание Госкомиссии по сортоиспытанию ряд новых сортов озимой и яровой пшеницы, овса, ячменя, гороха; одобрены в производство сорта Ленинградской станции озимой пшеницы ДС 2444/2, яровой пшеницы Тулун ЗА/32 и Тулун 70В/8, гречихи Альгаузен II»¹³⁸.

Часть шестая. Военные годы

За квартал от дома, в котором жили Еремеевы, в доме на улице Колпинской (ныне – Пушкинская), в предвоенные годы жили супруги Александр Матвеевич Хордикайнен и Юлия Петровна Тихомирова с четырьмя детьми, в числе которых были дочери-близняшки Софья и Юлия, родившиеся 16 апреля 1928 года.

Александр Матвеевич был коренным царскосельцем, его супруга приехала в Петербург из Рыбинска, окончила историко-филологический факультет Петербургского университета. Вместе с мужем она работала в Центральном бюро краеведения, оба были арестованы в июле 1930 года и сосланы в Сибирь; вернулись в Пушкин осенью 1934 года. Одна из сестёр, Юлия Александровна Хордикайнен (в замужестве Кривулина), с детских лет увлекалась ведением дневника, ставшего годы спустя ценным документальным свидетельством предвоенной и военной поры жизни города Пушкина: *«Маме удалось внушить нам, что писание дневника – естественная потребность культур-*

ного, интеллигентного человека. А так как друзьями родителей были люди редкостной, высочайшей культуры, то уже тогда, довоенными девочками, мы понимали, что И. М. Гревс, Н. П. Анциферов, В. А. Поссе, Н. К. Бример (ур. Фандерфант), да и весь круг их друзей и знакомых, – люди из какого-то другого времени, другой, высшей культуры, другого стиля жизни, и видели в них идеал Человека. Хотелось ну хоть в чём-то приблизиться к моему крёстному – Николаю Павловичу Анциферову: много читать или вот писать дневник. Вероятно, тема дневников Н. П. звучала в его разговорах с родителями»¹⁵⁴.

По словам Николая Николаевича Еремеева, внука Еремеевых, из всех ребят двух классов Первой пушкинской школы выпуска 1940 года после войны в живых осталось пять или шесть человек, среди них – его отец, Николай Иванович Еремеев. По окончании школы, в ноябре 1940 года, он, призванный на действительную военную службу, прошёл ускоренный курс младших политруков в Сибирском военном округе и в начале войны был направлен в действующую армию – на Западный фронт, в Двадцать четвёртую армию, Четыреста восемьдесят шестой гаубичный полк.

Дочь Еремеевых Лида в начале лета 1941 года вместе с тётушкой Елизаветой Георгиевной уехала в Киев к Марии Владимировне и Георгию Фёдоровичу Влайковым. Лида намеревалась поступить в Медицинский институт. Здесь её застала война, здесь она оказалась вынужденно в оккупации.

В городе Пушкине на следующий день после начала войны было объявлено военное положение; был создан штаб обороны города, расположившийся в здании на углу улиц Московской и Первого Мая (неподалёку от дома, в котором жили Еремеевы). Через город потянулись беженцы. Во избежание проникновения в Ленинград лазутчиков была введена строгая пропускная система – в город можно было попасть только по специальным пропускам милиции, и только в случае служебной необходимости. Билеты в пригородной кассе выдавались исключительно по этим пропускам.

Для поддержания порядка в Пушкине и охраны города были организованы специальные подразделения – противодесантный и противовоздушный отряды, которые укомплектовывались в основном комсомольцами – рабочими, служащими, студентами и школьниками старших классов. Когда начались бомбёжки и артиллерийские обстрелы, в домах стали организовывать противопожарные посты, окна заклеили лентами.

С первых дней войны началась эвакуация учреждений и предприятий города, в том числе Пушкинской лаборатории Всесоюзного института растениеводства. Война не остановила репрессии. В феврале 1941 года был арестован заведующий отделом генетики ВИР Георгий Дмитриевич Карпеченко. Он был обвинён в шпионско-вредительской деятельности и расстрелян. Затем, 28 июня 1941 года, был арестован друг семьи Еремеевых – заведующий цитологической лабораторией ВИР в Пушкине, профессор Пушкинского сельскохозяйственного института Григорий Андреевич Левитский, за ним были взяты под стражу К. А. Фляксберг и А. И. Мальцев. Все трое не вынесли трудностей заключения и умерли в тюрьме в 1942 году. Лидия Еремеева вспоминала:

«Хорошо помню семью Григория Андреевича Левицкого. С его детьми, Ваней и Надей, я дружила, а одно время дней 10 жила в их семье. В 1938 или в 1940 году Григория Андреевича арестовали, семью выслали из г. Пушкина. До войны мама переписывалась с женой Г. А., а во время войны связь с ними порвалась, что с ними стало, я не знаю. Это была очень хорошая, дружная семья»¹⁴⁴.

Располагавшаяся в Пушкине Центральная генетическая и селекционная станция ВИР была самым крупным научным учреждением города. В ней была сосредоточена уникальная коллекция растений, собранных в почти двух сотнях экспедиций. Коллекция эта являлась одной из крупнейших в мире и наряду с дворцово-парковыми произведениями искусства была главной ценностью, назначенной немцами для захвата при оккупации города. К началу блокады из Ленинграда и ближайших к нему станций ВИР вывезли лишь стратегически важные коллекции – кок-сагыза (источника природного каучука), дубильных, лекарственных и других технических растений. Они были переправлены по воздуху за Урал, преимущественно в Красноуфимск. Значительную часть коллекции из Пушкина и Павловска перевезли в главное здание института, в Ленинград. В частности, благодаря инициативе и энергии сотрудника Пушкинской лаборатории Николая Родионовича Иванова были вывезены коллекции гороха и люпина, которые, как и другие высокобелковые культуры, были сохранены в условиях блокадного Ленинграда¹⁵⁵.

(Во время оккупации Пушкина генетическая и селекционная станция ВИР продолжала работать. Её возглавил немец Вильгельм Херцш, глава Восточно-Прусского отделения Института селекции Общества кайзера Вильгельма. Его задачей было наладить работу лаборатории и следить за пересевом и сохранностью коллекций, для чего были привлечены некоторые русские сотрудники, оставшиеся на станции. По данным Чрезвычайной государственной комиссии, отступая, фашисты вывезли около десяти тысяч коллекционных образцов озимой и яровой пшеницы, ржи, овса, овощных культур. Утраченными оказались также научное оборудование, библиотека, гербарий и бесценная коллекция цветов, начало которой положил знаменитый царскосельский цветовод Фрейндлих.)

Немцы вошли в Пушкин 17 сентября 1941 года. Позже выжившие жители вспоминали, что возвратившиеся 16 сентября с работы из Ленинграда уже на следующий день не смогли покинуть город – поезда не ходили. Залы обоих дворцов и Лицея, большие особняки, павильон «Эрмитаж» гитлеровцы заняли под казармы. Свой штаб они разместили в Александровском дворце. В Екатерининском дворце, в комнатах Александра II, расположилось гестапо, в подвалах – тюрьма. Церковь дворца стала местом стоянки мотоциклов и велосипедов. В Агатовых комнатах и всемирно знаменитой Камероновой галерее были устроены конюшни и коровник.

Сотни жителей города были расстреляны и повешены, тысячи угнаны насильственно в Германию (в их числе – дочь Николая Павловича Анциферова, Татьяна). За двадцать восемь месяцев оккупации Пушкина было проведено несколько таких эвакуаций. После третьей в городе из пятидесяти тысяч

населения осталось только двести пятьдесят человек. Об ужасах жизни под фашистами рассказали позже выжившие горожане:

«Женщины старались не выходить из домов, потому что прогулка грозила им изнасилованием или смертью. В качестве примера свидетели событий приводят случай с Еленой Владимировной Мациевич, которая была изнасилована и убита немцами.

Без всякого повода были повешены инженер Капустин, кладовщик Иванов, учитель Королёв и другие. Старшие научные сотрудники ВИРа Алексей Евгеньевич Вотчал и его жена Татьяна Алексеевна, идя по улице, не остановились на окрик немецкого офицера. За это их расстреляли.

Гражданка Бокова была свидетельницей кровавой расправы над 12-летним мальчиком. Гитлеровцы повесили его на шпигате за волосы и, стоя неподалёку с часами в руках, проверяли, сколько времени он промучается.

Рассказывают, что ученики ремесленного училища, пробовавшие уйти в Ленинград, были повешены на столбах линии электропередачи, проходившей по Советскому бульвару от вокзала до памятника Тельману. Ребята были одеты в форму ремесленников, и фашисты приняли их за какое-то полувоенное формирование...»¹⁵⁵

Об убитых фашистами супругам Вотчал пишет с большой симпатией в своих воспоминаниях Лидия Ивановна Еремеева: *«Самыми близкими друзьями родителей в этот период были Вотчал Алексей Евгеньевич и Татьяна Алексеевна. Оба они были казнены немцами во время оккупации. С ними мы часто вместе отмечали праздничные дни, бывали у них в гостях. Алексей Евгеньевич был интересным собеседником, радиолюбителем, постоянно что-то изобретал, мастерил. В квартире у них много было сделано его руками»¹⁴⁴.*

Еремеевы ушли из Пушкина перед самым занятием города гитлеровцами.

«Когда началась война, папа и мама не успели сразу эвакуироваться, так что когда в сентябре по радио объявили: „Военные власти предлагают населению покинуть город Пушкин“ – папа и мама надели на спину рюкзаки, постояли в раздумье, что одевать и что брать с собою, и пошли в Ленинград. На дороге лежали убитые лошади, поваленные телеграфные столбы, рвались невдалеке мины, слышались разрывы снарядов. Но папа успокаивал маму и твёрдо шёл к Ленинграду. Рано утром родители дошли до конечной остановки трамвая, на котором доехали до центра города, а оттуда уже приехали к сестре отца Антонине Максимовне. Там застала родителей блокада. Папа работал в ВИРе. В конце ноября 1941 года папа попал под сокращение. Тогда папа послал в Омск, в Наркомат Земледелия, телеграмму с просьбой о новом назначении на работу. Из Омска пришёл ответ: папе, как доктору с/х наук, надо было приехать в Наркомат в Омск. По этой телеграмме папе следовало самолётом вылететь из блокадного Ленинграда. И вот

папа с мамой приезжают на аэродром. Начальник аэропорта, ведающий эвакуацией, сказал папе: «В телеграмме указано одно место. Я вас на самолёт посажу, но для вашей жены места нет». Тогда папа положил на стол телеграмму и сказал: «Если бы вы послали меня на фронт или ближе к фронту, а жену оставляли в тылу, я бы поехал. А вы предлагаете мне ехать в тыл, оставляя жену на фронте. Нет, так я не поеду!» Тогда начальник аэропорта распорядился, чтобы и маме дали посадочное место. Родители на самолёте перелетели линию фронта, а потом в теплушке доехали до Свердловска, там жила Мария Максимовна и её дочь Елена Александровна. Из Свердловска родители поехали в г. Омск, там папе дали направление на работу на Северодвинскую опытную станцию»¹⁴⁴.

Северодвинская опытная станция располагалась неподалёку от города Котласа Архангельской области. Еремеевы поселились в отдельной квартире восьмиквартирного дома, обставленной казённой мебелью. Каждой семье был выделен огород, на котором выращивались картофель и другие овощи. Директором станции была Потапова Александра Николаевна. Первую проблему, отнюдь не селекционную, которую по приезде пришлось решать Еремееву, было уничтожение заражённого бруцеллёзом скота, постройка нового скотного двора и заведение нового стада. Были выстроены новые коровники, устроены артезианские скважины с качающими воду ветряками.

Александра Георгиевна об этом периоде писала в своих дневниках:

«Милым моим детям Коле и Лиде.

На свете у меня нет ничего дороже и никого дороже вас. Я очень любила своих родителей, Лилю, Гарика, вашего папу, но мысленно я – грешница! – всех их согласна была отдать за вас. И сейчас каждый вечер вот уже который год – с первого дня войны – последняя моя мысль о вас, перед тем как уснуть. Мне стыдно, что я не люблю свою мать и своего мужа так, как вас. Мне стыдно это писать. Не знаю, увидите ли вы, прочтёте ли вы эти строки. Не знаю, живы ли вы в этот момент... Здесь на станции началась эпидемия сыпняка, на днях папа жаловался, что его кусает вошь, я несколько раз осматривала его бельё и ничего не нашла, а вчера эта вошь оказалась у меня. Опасность заболеть и не выздороветь и ему, и мне вполне реальна. Вот почему я решила писать...

В Пушкине остались самые дорогие для нас вещи – записи мои о вашем развитии, умственном и физическом, записи отдельных ваших поступков, разговоров в детстве, дедушкина биография и последние письма, в одном из них он говорит, что после матери наша семья самая дорогая и близкая ему... Всё это погибло, растаскано. Ваша душа, наша душа растоптаны ногой гитлеровцев. Древние евреи во всём находили «кару». Человек теряет сына – «кара» за какие-то грехи отца, а сына – нет. Непонятно, за что мы, советский народ, несём эту «кару» – гибель и позор родных и близких, отдаём лучшую часть нашего народа, молодёжь, в жертву злодеям и варварам, имени настоящего ещё для них не изобретено.

Перед нашим уходом из дому, с трёх до половины пятого утра, 16 сентября мы сожгли массу писем, но о многих письмах я забыла, и главное – обидно, что специально оставила в ящике стола несколько наиболее дорогих писем и в последний момент забыла их взять. Всё это невосстановимо и непоправимо. 5 мая, Лия, твой день рождения, моя девочка, родная моя дочурка! Где ты теперь? Жива ли, здорова ли ты? В первый раз в жизни (если бы это было в последний!) мы с папой провели этот день без тебя. Мы вспоминали, говорили о тебе...

Вчера был Колин день рождения. Вечером вспоминали и говорили о нём и о вас обоих, вспоминали вас маленьких, ваши выходки и шутки. Родимый мой мальчик, сынок! Какое счастье было бы обнять вас ещё хоть раз, один раз. За это отдала бы всю свою жизнь. Но когда думаю, что могу умереть, не страшно. И папа тоже говорит, что не страшно. А когда жили в Ленинграде, как боялись умереть от голода!..»¹⁴²

Не знала Александра Георгиевна, когда писала эти щемящие душу строки, что любимая её дочь Лида осталась в оккупированном фашистами Киеве, не сумев из него выбраться в суматохе первых дней войны (да и, собственно говоря, куда было ей выбираться!). Живя в Киеве, она поступила в Медицинский институт, который фашисты не закрывали. После освобождения города была Лидия Ивановна Еремеева арестована и осуждена на ссылку в мордовские лагеря, из которой вернулась только в 1953 году (после смерти Сталина).



Не знала, что полк, в котором служил сын, в начале войны попал в окружение, что Николай Еремеев со своими бойцами достойно вышел из него вместе с гаубичной пушкой, что было ему зачтено скорым возвращением в строй как не потерявшему доверия. Известно, что, пройдя войну от начала до конца, он не получил ни одного ранения. (Об этом рассказал мне его сын, Николай Николаевич, объяснив такую «заговорённость» отца от вражеских пуль помощью иконы-складня, доставшейся Николаю Ивановичу от священника Киранова, родственника по материнской линии.) О достойном боевом пути Николая Ивановича Еремеева говорят его награды, в числе которых медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

«Я был в армии, а сестра уехала после окончания школы в Киев, к бабушке. Я с июля 1941 года был на фронте. И об этом родители знали. Адрес был не полевая почта, а действующая армия. Я писал им о месте своего пребывания в виде ребусов. Прямо было нельзя. Не пропускала военная цензура. Правда, иногда проходило. Как, например, рядом был большой город. Это город Радом. Мы были там недалеко, на плацдарме на Висле, 1-й Белорусский фронт. А в 1941 г. я был в районе Смоленска, Ельни. Служил в Новосибирске. И попал на фронт в составе сибирских частей. С ними был до 1943 года, хороший народ. В 1941 г., в октябре, выходили из окруже-

ния. В 1942 г. с ними опять на фронте, район Ржева, и в 1943 г. вы-
шли к Смоленску. В сентябре попал на ремонт. Я с февраля 1944 г.
из Новгород-Волынского через Ровно – Дубно, Ковель, Седлец, Пу-
лавский плацдарм, Одерский плацдарм южнее Кюстрина, Берлин
дошёл до района севернее Пльзене (Чехословакия)»¹³⁸.

Часть седьмая. Послевоенные годы, финал

Во второй половине сентября 1944 года супруги Еремеевы вернулись в Пушкин, на родное пепелище, где Иван Максимович до марта 1945 года работал заместителем директора по науке Ленинградской опытной станции. В это время подготовки к семейному переезду на Украину Александра Георгиевна получила характеристику на себя с последнего места работы в городе Пушкине.

«Отзыв

о работе тов. Еремеевой А. Г.

Тов. Еремеева А. Г. работала с 1 июня 1939 года зав. научно-технической библиотекой Всесоюзного Научно-Исследовательского Института молочной промышленности в г. Пушкине Ленинградской области. Обладая знанием 3-х иностранных языков (английского, французского, немецкого), она развернула в Институте большую работу по реферированию иностранных статей и книг, составляла ежемесячный информационный реферативный бюллетень по специальной иностранной литературе под редакцией специалистов по отдельным отраслям, вела просмотр инолитературы и делала переводы. В её компетенции был также просмотр и отбор иностранных каталогов и патентов и выписка всей инолитературы. По заданию Зам. Наркома Мясной и Молочной промышленности ею была произведена большая работа по подбору статистических данных по импорту и экспорту молочных продуктов по странам всего мира, за которую Институт Молочной Промышленности получил благодарность Наркомата.

Тов. Еремеева широко вела также работу по межбиблиотечному обмену. В работе т. Еремеева проявила полное понимание задач и интересов Института, и вся её деятельность позволяет характеризовать её как инициативного и энергичного работника.

Бывший И. О. директора Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Молочной промышленности

Белоусов.

9.IX.1945 г.»¹³⁸

Во второй половине сентября 1945 года Еремеевы переехали в Белую Церковь, где в тамошнем Сельскохозяйственном институте Иван Максимович получил по конкурсу место заведующего кафедрой селекции и семеноводства. В ноябре 1946 года к ним приехал сын Николай, поступивший на агрономический факультет института, который с отличием окончил в 1951 году. Далее

по распределению он уехал работать в Ровно, в местное областное управление сельхозтехники. После отъезда сына Иван Максимович вместе с женой в 1951 году перебрался в Умань, где стал заведовать кафедрой селекции и растениеводства в Сельскохозяйственном институте.



В начале апреля 1953 года была освобождена Лидия Ивановна Еремеева, отбывавшая наказание в мордовском лагере (станция Потьма). По дороге она остановилась в Киеве, переночевала в родном доме на Сретенской улице. *«На следующий день я выехала в Умань. На вокзале меня встретил папа. По дороге домой мы проезжали через Софиевский парк. Папа сказал, что дарит мне этот парк в день нашей встречи. Дома нас ждала мама. Как хорошо было дома! В комнатах паркет, пальмы, книги. Чисто, тепло, уютно. И горечь от мыслей о будущем»*¹⁴⁴.

Предчувствия не обманули Лидию Ивановну. Её попытки устроиться на работу в Киеве оказались безуспешными по причине лагерного прошлого. Та же картина ждала её и в Умани, где после долгих мытарств всё же удалось получить работу на городской швейной фабрике (правда, после соответствующего комментария фабричного кадровика, который, по её словам, запомнила на всю жизнь). Дальнейшее течение жизни Лидии Ивановны и жизни окружавших родных и близких людей нашло отражение в её дневнике, записи которого порой напоминают фронтовые сводки об узловых событийных точках её судьбы.

В январе 1954 года Лидия Ивановна сдала экзамены и поступила на заочное отделение плодоовощного факультета Уманского сельскохозяйственного института. *«Я занималась, повторила химию, физику так, что во время экзаменов все задачи по физике и по химии легко решила. И меня спросили: «Девушка, вы, вероятно, в этом году окончили школу?» Да, окончила школу, но какую!»*¹⁴⁴

В это же время вышел из лагерного заключения Алексей Александрович Кремнёв, с которым Лидия Еремеева познакомилась в 1945 году в Киеве – перед отправкой в лагерь они некоторое время работали на заводе «Арсенал». К нему, в город Благодарный Ставропольского края, она выехала; там они поженились. В Умань молодая жена вернулась без мужа, к которому у Ивана Максимовича было почему-то предвзятое отношение. Вскоре Алексей Александрович всё же появился в Умани, познакомился с тестем и тещей. В это же время из Ровно приехал Николай Иванович Еремеев с женой Валей и детьми – Николаем и Машей; они месяц гостили в профессорском доме. Далее муж Лидии Ивановны уехал в Благодарный, а она, беременная, осталась при родителях, начавших тяжело болеть. 10 марта 1955 года она родила сына Сергея.

В эту пору вернулась из десятилетней ссылки Елизавета Георгиевна Влайкова, взявшая на себя уход за немощными сестрой и зятем. Сама она име-

ла за плечами тяжелейший опыт жизни, который, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. Воспринять его, сопережить ему можно, только прочитав вдумчиво – неспешно и проникновенно – воспоминания этой русской женщины-страдальницы. Личная жизнь у неё не сложилась. Вне брака родила она сына Дмитрия (Мирика), ставшего любимцем семей Влайковых-Еремеевых, подававшего силой своего духа и интеллекта большие надежды. Юноша вышел невредимым из кровопролитной войны 1939 года с финнами, но погиб в первые дни войны с фашистской Германией – пал смертью храбрых, защищая Брестскую крепость. Сама Елизавета Георгиевна начало войны встретила в Киеве. Дабы выжить, пошла служить в передвижной немецкий госпиталь, что после войны аукнулось ей десятью годами мордовских лагерей. «Отсидку» свою она в деталях с великой художественной силой описала в своём дневнике, и кровь стынет в жилах от чтения этой человеческой трагедии, этого мартиролога. Официально её сын Мирик считался без вести пропавшим, и она до конца дней своих верила в чудо его возвращения.

«С момента своего возвращения я больше не имела ни минуты покоя, так как Иван Максимович на глазах слабел, а состояние Шуры тоже становилось всё тяжелее. Начиная с лета 1956 года я жила всё время в состоянии сильнейшего душевного напряжения, а моим бедным «подопечным» становилось всё хуже. В это время подоспел Юбилей Ивана Максимовича, который он как-то «перенёс», но после которого уже по существу стал совсем больным. Шура, которую мы с большим трудом устроили в клинику в Киев, вернулась оттуда в совершенно истощённом состоянии. Развязка приближалась. Весь январь прошёл во всеобщем напряжении, было масса приездов-отъездов, встреч, всё это создавало ту суету, которая неизбежно возникает, когда больные идут к «концу». И вот наступили эти ужасные дни: 1 февраля в 11 часов вечера умер Иван Максимович, на другой день днём – Шура. Хоронили их вместе. Это совпадение было трагичным, в романах мне приходилось читать о том, что «они умерли в один день», но испытать это на своих близких, видеть эти два гроба на одном постаменте, эту широкую могилу, куда опустились два гроба, – было большим испытанием как для детей Шуры, так и для нас с Гариком.

Но и это пришлось пережить и снова продолжать жизнь. Мне всё казалось, что я в долгу у Шуры, виновата перед нею за судьбу Лиды, и мне всё хотелось что-то ещё сделать, чтобы уменьшить это чувство вины. Я решила, что должна помочь Лиде окончить высшее учебное заведение, а Коле – окончить аспирантуру. После многих недоразумений и препятствий это удалось. Лида блестяще окончила институт, для чего я полностью «отобрала» у неё Серёжу. Коля поступил в аспирантуру, и, по-видимому, недалёк тот день, когда он её закончит. Воспитание Серёжи было для меня ещё одной «пробой пера»... Оказалось, что я ещё могу лепить человеческие характеры, как считаю нужным. Серёжка мне «удался вполне», но и я получила много от общения с ним. Я сильно привязалась к мальчику. Это была моя „последняя любовь“...»¹⁴¹



«Я даже не знаю, возможны ли крепкие семьи сейчас, когда сами чувства стали совсем не такими. Да и требования к жизни у большинства населения приняли сугубо меркантильный характер. Общее снижение культурного уровня, полная деградация интеллигенции, процессы, охватившие всю страну, конечно, сказались и на наших родственниках. И хотя по-прежнему большинство из них имеет какое-то отношение к интеллигентному труду, но общий интеллектуальный уровень значительно потускнел. «Пройдут года, прошумят революции», и, может быть, наши потомки вспомнят и нас не злым, тихим словом. А теперь тем из нас, кому дано ещё доживать, надо, «в назидание потомкам», оставить подобные записки, чтобы они уяснили для себя, почему «всё так вышло» и каковы истоки, которые создали русскую интеллигенцию, к которой мы всё-таки имели честь принадлежать и которая погибла вместе с революцией. Тем более что гибель её была совершенно закономерна. Тут были и глубокие внутренние причины, и изобилие внешних коллизий, создававших почти непереносимое нервное напряжение».

(Елизавета Георгиевна Влайкова)

Верхнячка. Личности и события

Детство моё изначальное и часть отрочества моего беспечального прошли под Уманью, в селе Верхнячка, где на тамошней опытной станции мой отец восемь послевоенных лет работал специалистом по селекции злаковых культур, а в середине пятидесятых годов недолгое время был её директором. По этой причине это старинное украинское поселение – в том виде, в котором его сохранила в своих глубинах моя благодарная память, – кажется мне лучшим местом на земле, и потому всякий исторический факт, событие и личность, имеющие к нему касательство, мной уважительно воспринимаются и проникновенно изучаются.

Часть первая. Блуменфельды и Нейгаузы

В середине девятнадцатого столетия в Верхнячке некоторое время жили супруги Блуменфельды – Михаил Францевич (родился в 1823 году в Ставищах) и Мария Сигизмундовна, урождённая Шимановская. Глава семейства, знаток музыки, французского языка и истории, занимался домашним воспитанием детей богатых (преимущественно польских) родителей, проживавших на обширных просторах Юго-Западного края, потому жизнь пары Блуменфельд проходила, что называется, на колёсах.

Время приезда супругов Блуменфельдов в Верхнячку неизвестно, но точно известно, что здесь в 1850 году у них родился первенец, Станислав. Как пишет Лаврентий Похилевич, *«с 1845 года в Верхнячке устроен свеклосахарный песочный завод, ко вреду окрестных чёрных лесов. Село принадлежит Каллисту и Ксаверию Ясинским, наследовавшим в 1852 году имение от своего отца Флориана, который купил Верхнячку в 1812 году 13-го марта, от графа Потоцкого»*.

Следующий сын Блуменфельдов, Сигизмунд, родился в 1852 году в Одессе. Всего они прижили восьмерых детей, из которых как помянутые сыновья, так и родившийся в 1863 году в селе Ковалёвка Херсонской губернии сын Феликс прославились как музыканты различной степени одарённости.

Станислав Михайлович Блуменфельд в 1893 году открыл в Киеве (на улице Михайловской, дом 16а) свою музыкальную школу, состоящую из музыкального и драматического отделений. Блуменфельд самолично вёл класс хорового пения и вместе с Николаем Витальевичем Лысенко – класс фортепиано. Григорий Иванович Внуковский, будущий оперный певец (тенор), совершенствовал технику пения. Солировал в хоре Лысенко, выступал с концертами по Украине. После смерти в 1898 году Станислава Михайловича (от инфаркта во время игры в преферанс) школа под началом Лысенко просуществовала до 1903 года, после чего была закрыта. О факте этом Николай Витальевич сообщал в частном письме: *«Вчера покончили все экзамены в бывшей музыкальной школе Блуменфельда... поміркували, повершили діла, закрили школу та й розійшлися. Тепер уже школи С. М. Блуменфельда більше нема. Якщо Міністерство внутрешних дел, куда я слал прошение через Драгоманова, разрешит мне, то будет нова музична школа Лисенка»*. (Осенью 1904 года музыкально-драматическая школа Лысенко была открыта в частном доме на улице Большой Подвальной.)

Сигизмунда отец предназначал медицинской карьере, но по совету Петра Ильича Чайковского тот поступил в Московскую консерваторию, где учился у Джакомо Гальвани (пению), у Эдуарда Леонтьевича Лангера (фортепиано). В 1871 году были изданы его первые романсы: «Бывает порою» и «Сон» (стихи Гейне). В Санкт-Петербурге Сигизмунд Михайлович сблизился с Римским-Корсаковым и Глазуновым и получил известность как аккомпаниатор. Как пишут музыкальные специалисты, в своих романсах (числом более шестидесяти) он проявил недюжинную талантливость. *«Это симпатичный, задушевный лирик, обладающий вкусом, проникающийся всегда удачно выбранным текстом. Вокальные партии романсов (и двух вокальных дуэтов) красивы, выразительны и обнаруживают хорошее знание голоса. Кроме романсов он издал небольшие фортепианные пьесы и две пьесы для виолончели»*.

В 1906 году в Санкт-Петербурге было отпраздновано тридцатипятилетие музыкальной деятельности Сигизмунда Михайловича Блуменфельда, причём почитатели, во главе с Владимиром Васильевичем Стасовым, поднесли ему составленный последним приветственный адрес. С 1918 года, вплоть до кончины в 1920 году, С. М. Блуменфельд был хранителем музея имени М. И. Глинки в Петроградской консерватории.

И всё же наибольших в тройке братьев творческих высот и музыкальной известности достиг Феликс Михайлович Блуменфельд. Начальное образование он получил в Елизаветграде, где, после долгих переездов по Украине, поселились на склоне дней своих его родители. Первые уроки музыки Феликс, с пяти лет проявивший музыкальные способности, брал у брата Станислава, затем, повзрослев, – у своего зятя Густава Нейгауза, мужа сестры Марты Михайловны Блуменфельд (далее её называли Ольгой). В браке этом родился сын Генрих (знаменитый пианист), позже вспоминая о своём отце:

«...Он сейчас же подружился с многодетной семьёй Михаила Францевича Блуменфельда, учителя истории и французского языка в реальном (так и хочется сказать «конкретном», Г. Н. – мл.) училище, на дочери которого, Ольге Михайловне (моей будущей матери), он и женился через несколько лет. Женой деда Михаила Францевича была Мария Шимановская (дочь польских помещиков), сестра родного деда знаменитого впоследствии польского композитора Карла Станиславовича Шимановского (Karol Szimankowski). Близкие родственные и дружеские отношения, основанные на общности культурных запросов и, главным образом, на непреодолимом (почти поголовном) тяготении к музыке, связывали эти три семейства: Шимановских, Блуменфельдов и Нейгаузов»¹⁵⁶.

Основательное музыкальное образование Феликс Михайлович Блуменфельд получил в Санкт-Петербургской консерватории, на отделении фортепиано и композиции. После окончания консерватории с золотой медалью остался в ней как преподаватель, став – с 1897 года – профессором. Начиная с 1895 года он занялся концертной деятельностью как пианист и дирижёр, отказавшись в знак протеста против увольнения из консерватории Николая Римского-Корсакова в ней работать. Он выступал (в 1906 году) в «Русских симфонических концертах» и «Русских сезонах» в Париже. После перенесённого в 1908 году инсульта Феликс Михайлович ограничил себя только преподавательской работой и сочинительством: в 1911 году восстановился в должности профессора столичной консерватории; с 1918 года он профессор Киевской консерватории, а с 1922 года – консерватории Московской.



A propos, с Феликсом Михайловичем Блуменфельдом общался маленький Коля Анциферов в пору работы его отца, Павла Григорьевича, в начале девяностых годов девятнадцатого века, директором Никитского ботанического сада:

«Я совершенно не выносил, когда мама, хорошая музыкантша, играла. Это был новый источник моих страданий. В зале стоял прекрасный рояль, выписанный чуть ли не из Петербурга. Музыкант Феликс Блуменфельд, когда бывал у нас, любил играть на мамином инструменте. Он говорил, что ему хочется не ударять по этим клавишам, а ласкать их»¹.

К кончине Феликса Михайловича, случившейся в 1931 году, в список его музыкальных произведений входили, помимо всего, более сотни фортепианных пьес, почти полусотня романсов. Правнук его сестры, Генрих Нейгауз – младший (наш современник, пианист), пишет о нём:

«Я не устаю восхищаться его произведениями. Мои любимые сочинения Ф. М. – сюита «Из жизни танцовщицы» и леворучный этюд. Он написал этот этюд, переиграв правую руку в теннис (в отличие от своего брата, пианиста Станислава, умершего от инфаркта во время очередного шулерства при игре в преферанс). Моя бабушка, З. Н. Пастернак, будучи ученицей Ф. М., всю жизнь провела за игрой в карты. Теперь уже не кажется странным, почему в нашей семье азартные игры стали своего рода традицией...»¹⁵⁶

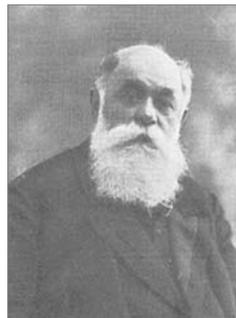
С Феликсом Шимановским тесно связана творческая жизнь знаменитого польского композитора и пианиста Кароля Шимановского (1882 года рождения), родственника Марии Сигизмундовны Blumenфельд (Шимановской). Начальное музыкальное образование он получил в Елизаветграде, в школе Густава Нейгауза. Известно, что в 1915 году он выступал с концертами в Киеве и Умани, сбор от которых передал в фонд жертв Первой мировой войны.

Часть вторая. Василий Егорович Чернов

На рубеже веков в Верхнячке имел своё имение (площадью около тысячи десятин) и состоял членом акционерного общества местного сахарного завода Василий Егорович Чернов – действительный статский советник, детский врач, учёный, профессор Киевского университета. Известный благотворитель, он на свои средства в Киеве, на Зверинце, устроил для детей местного бедного населения дневной приют и построил для него здание; в Верхнячке отвёл бесплатно площадь для устройства двухклассной министерской школы¹⁵⁷.

Василий Егорович Чернов родился в семье солдата в Тифлисской губернии. Даровитый от природы, сильный характером, он самостоятельно проложил себе путь к житейскому успеху – исходное образование получил в Воронежской гимназии, а по окончании в 1874 году Императорской медико-хирургической академии был признан врачом. В феврале 1877 года Чернов был определён на военно-медицинскую службу (в клинический военный госпиталь) с зачислением во временный запас армии. С началом Русско-турецкой войны, в июле 1877 года, он был откомандирован в санитарный отряд Общества Красного Креста и до конца весны 1878 года работал в яском эвакуационном бараке.

По окончании боевых действий врача Чернова – в целях научно-практического усовершенствования – прикомандировали к клинике Медико-хирургической академии. В 1880 году он уволился из военно-медицинского ведомства и перешёл в медицинский департамент министерства внутренних дел, млад-



шим медицинским чиновником. Став в 1883 году доктором медицины, Василий Егорович уволился из министерства и получил назначение врачом-специалистом Общины сестёр милосердия Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

В апреле 1887 года Чернов переехал в Первопрестольную, где получил место главного врача больницы Святой Ольги и был принят в число приват-доцентов Московского университета для преподавания учения о детских болезнях. Далее, в 1889 году, доктор Чернов получил назначение экстраординарным (с 1897 года – ординарным) профессором кафедры детских болезней Киевского университета Святого Владимира. Помимо преподавания он активно занимался общественной деятельностью и организацией медицинского дела в стране, принимал участие в Четвёртом съезде Общества русских врачей в Москве, в бактериологическом съезде в Пятигорске (в 1903 году), в Первом международном гигиеническом конгрессе в Нюрнберге (в 1904 году).

В октябре 1892 года Чернов стал директором Мариинского детского приюта в Киеве, за заботливость *«о благоустройстве и обеспеченности которого в 1893 году удостоился благодарности Государыни Императрицы»*. В 1896 году Василий Егорович был назначен директором Бактериологического института в Киеве (где на его средства были построены ветеринарное и экспериментальное отделения, приют для больных), был инициатором создания (и директором) детских клиник при Александровской больнице; был учредителем и вошёл в состав педагогического совета Медицинского общества при Высших женских курсах; им были созданы Общество борьбы с заразными болезнями, женские курсы Общества трудовой помощи для интеллигентных женщин. Он первым в Юго-Западном крае применил, в 1895 году, антидифтерийную сыворотку Павловского и внёс значительный вклад в формирование и развитие школы киевских педиатров. Он занимал также должность земского губернского гласного и два четырёхлетних срока являлся гласным городской думы, принимая активное участие в работе больничного совета; в съезде мировых судей Уманского уезда он был почётным мировым судьёй (коллегой Дмитрия Семёновича Леванды, директора Уманского училища земледелия и садоводства).

После революционных событий 1905 года Василий Егорович Чернов активно участвовал в политической деятельности. В 1908 году он совместно с Анатолием Савенко стал организатором и первым председателем Киевского клуба русских националистов, скоро ставшего одной из ведущих организаций консервативного направления в Юго-Западном крае. Клуб включал в себя национально ориентированных представителей киевской интеллигенции, духовенства, купечества и других сословий различных политических взглядов, объединённых стремлением охранения русской национальной идеи.

Скончался Василий Егорович Чернов 9 сентября 1912 года и был похоронен на киевском кладбище «Аскольдова могила». Профессор Иван Алексеевич Сикорский тогда писал в некрологе:

«Наиболее крупной заслугой последних лет жизни почившего было выступление к деятельности в роли председателя Клуба русских националистов в Киеве. Он предпринял решительные национа-

листоческие шаги, создал движение, объединил работников, вдунул живую душу в тело... Нашёлся человек, который твёрдою рукою и ясным национальным сознанием осветил горизонты, показал пути, поруководил сомневающимися и нетвёрдыми и всех объединил для действия. Все увидели, что русский национализм чужд извилистостей и хитростей, чужд коварства... что это чистый и честный политический психизм – прямодушный и благородный, как и его киевский председатель».

Часть третья. Борис Аркадьевич Паншин

Борис Аркадьевич Паншин, 1884 года рождения, по отцу – из крепостных. Его дед, Иван Иванович, умный, энергичный мужик, сумел наладить своё хозяйство, разбогатеть. Отец его, Аркадий Иванович, увлекался наукой, занимался селекцией орловских рысаков, вёл переписку с самим Чарльзом Дарвином; умер рано. Гимназию Борис Паншин окончил с золотой медалью; поступив в Киевский университет Святого Владимира, блестяще в нём отучился. Вместе с однокашниками Иваном Ивановичем Шмальгаузенем и Дмитрием Евстафьевичем Берингом его намечали оставить при альма-матер для приготовления к профессорскому званию. У однокашников всё сложилось, а выпускнику Паншину заняться наукой не дало увлечение политикой. Арестованный в 1907 году за распространение прокламаций, он несколько месяцев провёл в ожидании судебного процесса (обещавшего ему ссылку), прежде чем был освобождён хлопотами деда по матери – генерала Алексея Логиновича Шпиллера, математика, специалиста по баллистике, конструктора.

Хлопотал за арестованного студента и Василий Егорович Чернов. На его дочери Екатерине (выпускнице юридического факультета Киевского университета) по выходе из заключения женился Борис Аркадьевич, после чего молодая семья переехала в Верхнячку, в имение тестя, где семь лет, начиная с 1911 года, Паншин занимался селекционной работой и заведовал опытной станцией.

Об этом периоде своей жизни много позже, при весьма трагических личных обстоятельствах, он сообщал:

«Моя жена – дочь профессора Киевского университета. Отец жены – помещик, имел свое имение около 1 000 десятин и состоял членом акционерного общества Верхняцкого сахарного завода. Я стал арендатором у своего тестя, арендовал около 800 десятин... Работал также управляющим арендными имениями Верхняцкого сахарного завода, кроме того, я заведовал находящейся в то время при Верхняцкой экономии селекционной станцией»¹⁵⁸.

Верхняцкая селекционная опытная станция была создана в 1899 году усилиями сахарозаводчиков-любителей Гловинковского и Пекарского. Первое время станция специализировалась только на селекции сортов сахарной свёклы, после 1910 года объём опытно-селекционных работ увеличился за

счёт добавления в исследования двух-трёх злаковых культур. О содержании и размахе научно-производственной деятельности Паншина на Верхнячской опытной станции красноречиво свидетельствует характеристика, выданная ему в конце тридцатых годов:

«...Паншин был руководителем и главным специалистом-селекционером этой станции. За период его работы была изменена методика селекционного процесса и выпущен ряд сортов сахарной свёклы, ржи, овса и проса. Материалы по всем этим сортам, подвергнутые дальнейшему улучшающему отбору, легли в основу районированных сортов Верхнячской станции. В частности, верхнячские сорта сахарной свёклы, сохранившие до настоящего времени свой первоначальный производственный тип (имеется в виду со времени работы на станции Паншина), принадлежат к наиболее распространённым сортам в СССР»¹⁵⁹.

В Верхнячке семья Паншиных численно выросла до пяти человек. После первенца Кирилла родилась дочь Ирина, а 14 июля 1914 года появился на белый свет последыш, Игорь. Каждого из них ждала по-своему трагическая судьба. Кирилл, окончив киевскую школу, поступил в знаменитый московский Физтех, писал дипломную работу у самого Сергея Ивановича Вавилова, но по обвинению в принадлежности к какому-то кружку в середине тридцатых годов был арестован и три года провёл в воркутинском лагере.хлопоты родных и близких плюс удачное стечение обстоятельств ограничило срок его ссылки только тремя годами. В лагере Кирилл тяжело болел, и последствия тяжёлой простуды сказались позже – он умер от туберкулёза в блокадном Ленинграде.

Георгий Васильевич Артемьев, муж Ирины Борисовны Паншиной, ботаник, фитопатолог, биолог-эволюционист, был осуждён в 1938 году и семнадцать лет провёл в тюрьмах и лагерях Караганды и Норильска. Их сын, Юрий Георгиевич, родившийся в год ареста отца, по профессии инженер-электрик, является автором стихотворного цикла «Этапы судьбы», в котором, в том числе, пишет о своём деде Борисе Аркадьевиче Паншине, о Верхнячке:

Мой предок был не княжеских кровей –
Моя жена частенько утверждала.
Во мне хохол, татарин и еврей
Оставили, наверное, немало.

А я могу сказать наверняка –
Моя семья жила на Украине,
Её рояль в Верхнячском ДК
Работает, наверно, и поныне.

Мой дед Борис, когда сходил с коня,
К роялю шёл, играл на нём Шопена –
И собиралась рядом вся семья
Его игру послушать непременно¹⁶⁰.

Как знать, может быть, именно на этом рояле в Доме культуры Верхняцкого сахарного завода 7 ноября 1957 года – в десятую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции – аккомпаниатор мажорно исполнил мелодию песни «Взвейтесь кострами, синие ночи!», а дружный хор пионеров-пятиклассников, при моём самом активном участии, звонким дискантом её выводил?! Несомненно, однако, то, что одна из двух школ Верхнячки, в которой я отучился несколько начальных ученических лет, располагалась в бывшем особняке Паншиных. Память моя цепко держит в себе его как большой выбеленный известью дом с обширным двором перед ним, с примыкавшими к нему небольшим парком, садом, учебно-опытным огородом.

И всё же жаль
Верхняцкий рояль,
Поля, хлеба и белый дом над склоном,
Душистую сиреневую даль
С Софиевкой – прохладной и зелёной.

Цветущие фруктовые сады,
Столы, накрытые для ужина «под деревом»,
Страну, не предвещавшую беды
Ни правым, ни центристам и ни левым...¹⁶⁰

После революции Борис Аркадьевич Паншин перешёл на работу в Киев, и здесь в полной мере развернулся его талант в деле развития отечественного сортоводства и семеноводства в новых исторических условиях.

Как известно, организация общенациональной системы опытного дела началась в России практически во второй половине девятнадцатого века, вслед за отменой крепостного права и связанными с ней реформами. Основную роль в возникновении новых агрономических учреждений и развёртывании селекционно-семеноводческой работы играли отдельные предприниматели и общественные организации, органы местного самоуправления (земства), при незначительном удельном весе государственного финансирования. Предварительные итоги этой работы подвёл Первый съезд селекционеров и семеноводов России, состоявшийся в Харькове в 1911 году. Ко времени его проведения уже работали специализированные селекционные станции в Харькове и Юрьеве, Виннице и Ревеле, селекционные отделы при некоторых опытных сельскохозяйственных станциях, и с 1908 года издавались «Труды по прикладной ботанике»¹⁶¹.



В соответствии с подписанным Николаем II высочайшим указом «О насаждении сельскохозяйственных опытных учреждений» летом 1912 года в стране была развёрнута сеть государственных селекционных учреждений. В соответствии с этим указом к началу Первой мировой войны в России открылось двенадцать специализированных селекционных станций, ещё тридцать опытных станций и полей имели отделы селекции или занимались ею. Свою важную роль играли и земские агрономические участки, ставшие центрами взаимодействия между теоретической агрономией и практическим сельским

хозяйством. Как правило, на агроучастках работали агрономы широкого профиля, руководившие небольшим коллективом вспомогательного персонала, реже – группа специалистов. Именно в системе земской агрономии создавались опытные поля, питомники, пункты проката сельскохозяйственных машин.

Ещё большее значение в это время играли агрономические и селекционные центры, созданные на частной основе (из четырёхсот опытных станций, функционировавших в России к 1917 году, только тринадцать были государственными). В силу исторических и экономико-географических особенностей доминирующее положение среди других регионов России занимала Украина, где уровень развития селекции и семеноводства определялся мощной сельскохозяйственной инфраструктурой, сформировавшейся вокруг предприятий сахарной промышленности, которые в силу своего ведущего положения служили центрами кристаллизации агрономической культуры вообще. (По относительному вкладу в общемировой сбор сахарной свёклы перед Первой мировой войной Россия уступала только Германии.)

Одной из первых и крупных частных станций на Украине была Ивановская опытная станция, заложенная вблизи Богодухова, под Харьковом, в 1897 году, финансировавшаяся Павлом Ивановичем Харитоненко, крупным землевладельцем и сахарозаводчиком (к 1914 году только в Харьковской губернии ему принадлежали десять сахарных заводов). Станция стала центром опытной сети, обслуживавшей обширные имения Харитоненко, и вела исследования по селекции ряда культур, прежде всего сахарной свёклы. Созываемые периодически в имениях их владельца совещания управляющих-практиков и агрономов-экспериментаторов (Харитоньевские съезды) быстро стали заметным явлением в научной жизни страны.

С начала двадцатого века началось создание системы научно-исследовательских и контрольных учреждений, которые финансировались Всероссийским обществом сахарозаводчиков, Южно-Русским обществом поощрения земледелия и сельской промышленности, а также земствами и государственным бюджетом, завершившееся в 1911 году открытием Мироновской селекционной станции. Её бессменным руководителем в дореволюционные годы был Соломон Львович Франкфурт. Не имея официального названия, новая организация была известна среди агрономов и селекционеров под именем «Храм Соломонов».

С началом Первой мировой войны общая депрессия, охватившая сельское хозяйство Российской империи, мало отразилась на семеноводческих предприятиях Юго-Западного края, где наблюдалось даже определённое возрастание их активности, обусловленное устранением германских конкурентов. В частности, было организовано при Ситковецком сахарном заводе общество «Меридиан», расширили свою деятельность общество «Руссем» (в Подольской губернии) и Общество кооперативных заводов в Удич-Верхнячке, организовалось новое селекционное учреждение в Хорошках (на Полтавщине). Все сортоводческие учреждения занимались не только культурой сахарной свёклы, но и селекцией пшеницы, ржи, овса, кормовых трав, овощей. Кроме того, собственность немецких фирм была секвестирована российским правительством.

В первые революционные годы сортоводческое дело продолжало достаточно успешно действовать, оказавшись сконцентрированным в руках местных русско-польских фирм, число которых доходило до тридцати. Однако воспламенившаяся в полной мере к 1919 году Гражданская война разрушила частное семеноводство на Украине и привела к уничтожению Кропивницкой станции общества «Руссем», Дербчинской (барона Мааса), Черенинской и Велико-Половецкой (графов Браницких) и к эвакуации в Польшу Немерчанской и Хорошковской станций, бывших собственностью господ Бушинского и Ловжинского¹⁵².

Сложившаяся критическая ситуация с обеспечением крестьян сортовыми семенами (в первую очередь – сахарной свёклы) усугубилась неразберихой переходного периода, вызванной национализацией сахарной промышленности, проведённой согласно декрету Совнаркома Украины от 16 января 1919 года. После неё в мае этого же года в Киеве было учреждено Главное управление сахарной промышленности (Главсахар), задачей которого было управление всей отраслью производства сахара в республике. (В силу последовавших обстоятельств военного времени Главсахар был эвакуирован в Москву, оттуда – в Харьков, и только в марте 1921 года управление вновь вернулось в Киев.)

В ситуации критического состояния отрасли семеноводства в апреле 1920 года в Киеве состоялось организационное совещание руководства Укрсахара и видных специалистов-аграриев. Выступивший с докладом Борис Аркадьевич Паншин говорил о необходимости выделения сортоводческо-семенного дела в отдельную отрасль сахарной промышленности, подчинённую коллегии Укрсахара. В результате было принято решение о создании отдельного селекционно-семенного отдела, которому поручалась указанная работа. Коллегия также договорилась с Наркомземом Украины о передаче Укрсахару бывших селекционных станций, находившихся в ведении губернских земотделов, лишившихся к этому времени значительной части квалифицированных специалистов, поляков по национальности, вернувшихся на историческую родину после отделения Польши от России.

Проблема кадров была решена срочным созданием при Укрсахаре особых Высших краткосрочных селекционно-семеноводческих курсов, начавших работу в конце 1920 года. Их слушателями были выпускники агрономических факультетов высших или средних учебных заведений. На курсах читались лекции по генетике, биологии сельскохозяйственных растений, биометрике, теории наследственности, по сортоводству и семеноводству сахарной свёклы, пшеницы, овса, по защите растений. Курсы были двухгодичными – они проходили в течение двух зим, до начала 1922 года. Летом курсанты проходили практику и выполняли научную работу. Тогда при Киевском политехническом институте существовал одно время Научно-исследовательский институт селекции, состоявший из кафедр ботаники, семеноводства и земледелия, там также в это время практиковались слушатели курсов.

Правлением селекционно-семеноводческих курсов была организована специальная лекторская коллегия под руководством Паншина, решавшая текущие задачи содержания программ обучения, привлечения к чтению лекций

известных учёных, издания бюллетеней, содержащих в себе читаемый на курсах лекционный материал. В числе лекторов курсов были лучшие преподавательские силы того времени, в том числе Евгений Филиппович Вотчал, Григорий Андреевич Левитский, Борис Аркадьевич Паншин, Иван Максимович Еремеев... Курсы окончили шестьдесят человек, большая их часть получила работу на опытных станциях Украины как молодые специалисты.

Об этой поре жизни семейства Паншиных (время нэпа!) вспоминает Игорь Борисович Паншин:

«Жили мы очень хорошо. Зарплата и положение у отца были настолько весомыми, что нас «разуплотнили», вернув пятикомнатную квартиру. В доме регулярно устраивались концерты. Отец был одарённым в музыкальном отношении человеком. Одно время он даже собирался стать профессиональным музыкантом. В доме часто бывал Пантелеймон Норцов, тогда ещё восходящая звезда, играл Генрих Нейгауз. Постоянный участник этих вечеров – Наталия Шпиллер, в будущем народная артистка, солистка Большого театра. Натка приходилась мне каким-то образом и двоюродной сестрой, и чуть ли не троюродной бабушкой – сложные там были переплетения. Так что жизнь была достаточно насыщенной, интересной...»¹⁶²

(Интересным в этой части воспоминаний Паншина-младшего является указание на дружбу его семьи с Нейгаузами, имевшими через родственников им Блюменфельдов «привязку» к Верхнячке.)

Позже, в 1924 году, Паншин побывал в командировках в Польше и Германии, куда его направил Главсахар с заданием ознакомиться с постановкой селекционно-семеноводческой работы по сахарной свёкле в научных учреждениях этих стран (на то время – лучших в мире), для закупки лабораторного оборудования, литературы. По предложению иностранных фирм ставился также вопрос о концессии на производство свекловичных семян, но Борис Аркадьевич эти предложения отклонил.

«Это был 25-й год. Первый арест отца. Любопытная история! Вместе с отцом в эту командировку ездил некто Шнайдер, немецкий подданный. Фирма, опыт которой они отправились изучать, очень была заинтересована в концессии. И, я полагаю, именно это стало причиной доноса Шнайдера на отца в ГПУ. Такого же мнения и его «однодельцы» – высококвалифицированные агрономы Саликов, Грюнер. Их письма хранятся у меня. Вот так начинались дела о вредительстве. А этот Шнайдер из ГПУ не вылезил. Потом он был директором Мироновской сельскохозяйственной станции. Зарплату получал в валюте. А после того как развалил всю работу станции, спокойно себе уехал в Германию. Я потом навёл о нём справки: процветал, обласканный фашистами. А отец тогда просидел десять месяцев. Протестовал десять дней, держал голодовку. Тогда была ещё хоть какая-то тень законности. Дело его попало следователю Мелешкевичу – старому опытному юристу. И он прекратил дело...»

После этой отсидки отец короткое время поработал в Харькове, в Наркомземе. Потом опять вернулся в Киев, в сортосеменное управление, руководил по существу всей селекционной работой на Украине, целой сетью семенных станций. В 30-м году последовал его второй арест. Это было время широкой облавы на «вредителей»: процесс Промпартии, Кондратьев, Чаянов... На этот раз отец просидел семь месяцев и тоже вышел на свободу после недельной голодовки. И вот после этого мы переехали в Ленинград. Отец уже давно собирался уехать с Украины, полагая, что в России можно жить, а там – нет. Я вот сейчас считаю, что на Украине этот 37-й год начался значительно раньше, «посадки» начались значительно раньше. И какие были гарантии, что через год-два отца опять не арестуют? Как рассуждали? ЧК не ошибается, раз посадили, что-то было. Поэтому отец решил воспользоваться давними связями с Николаем Ивановичем Вавиловым и переехать в Ленинград, в его институт...

Ещё с 1925 года между ними наладилась переписка. Это, между прочим, опубликовано в двухтомнике эпистолярного наследия Вавилова. Николай Иванович живо интересовался вопросами селекции, а отец, как я уже говорил, руководил практически всей этой работой на Украине с солидной финансовой базой. Это позволяло ему оказывать Николаю Ивановичу поддержку в некоторых его начинаниях, в частности в организации экспедиций. Кроме того, они встречались на всяких съездах, где Борис Аркадьевич выступал с научными докладами. Так что контакты были тесные. И вот он перебрался в Институт растениеводства под крылышко Вавилова, куда, надо сказать, стекались все наиболее квалифицированные агрономические кадры...»¹⁶²

Мемуарная ремарка сына охватила значительный, более чем в десять лет, период жизни Бориса Аркадьевича. Если детализировать события этого отрезка жизненного пути Паншина, то должно отметить, что, пребывая за рубежом, он обязан был – во исполнение командировочного задания – встречаться и общаться там с лучшими селекционерами, эмигрировавшими из революционной России, многие из которых были ему хорошо знакомы. В их числе – польские селекционеры Зеленский и Костецкий. В Германии он встречался и советовался с бывшим руководителем системы опытных полей Всероссийского общества сахарозаводчиков Соломоном Львовичем Франкфуртом. Все эти встречи скоро стали поводом для фактически огульного обвинения Паншина в контактах с враждебно настроенными к Советскому государству «элементами», якобы вербовавшими его для проведения вредительно-диверсионной работы на родине.

После первого ареста и заключения, длившегося десять месяцев, Паншин усиленно занялся проблемой расширения ассортимента сахароносных растений в нашей стране, изучая с этой целью – вместе со своими аспирантами – сахарное сорго, цикорий, топинамбур (земляную грушу). В это время он издаёт несколько работ, раскрывших значение новых сахароносов, их большие возможности. Не оставляет он и работы в области биологии и селек-

ции сахарной свёклы, взявшись за написание монографии по свекловодству: *«Русские работы почти не использованы ни в одном из больших обзоров, это делает тем более важным их сопоставление с работами иностранными, имея в виду, что в целом ряде случаев русская свекловичная селекция пошла своей совершенно самобытной дорогой»*. Работу над рукописью Борис Аркадьевич не прекращал и после второго ареста, находясь в одиночной камере Лукьяновской тюрьмы. Там им была написана монография «Сортоводство» – в несколько десятков печатных листов с библиографией, состоящей из сотен наименований отечественной и мировой литературы.

Интересно совпадение некоторых эпизодов жизненных путей Бориса Аркадьевича Паншина и Ивана Максимовича Еремеева. Оба были арестованы в 1930 году, и оба отсидели в тюрьме, в соседних камерах, сравнительно небольшой (семь и десять месяцев) срок. После освобождения Еремеев устроился на работу в сортосеменное управление Главсахара к товарищу по несчастью, который в 1931 году уехал в Ленинград, к Вавилову. Через год по его примеру во Всесоюзный институт растениеводства отправился Еремеев.

Для Игоря Паншина это стало временем начала серьёзных занятий генетикой:

«Когда мы переехали в Ленинград, к Вавилову, тут я уже занялся генетикой. В 1931 году я поступил в университет и одновременно работал в вавиловском университете, в лаборатории генетики. Эта лаборатория была основана Юрием Александровичем Филипченко – крупнейшим генетиком, собственно, основателем этой науки у нас. Видел я его только один раз, ещё в Киеве, в 1930 году, во время съезда зоологов, анатомов и гистологов. Тогда же я увидел знаменитого Кольцова, у которого потом работал, Любищева, Книпповича. Слушал их доклады. Я ведь считался уже учёным. Был привлечён к техническим вопросам организации съезда. Например, удостоверение участника съезда Ю. А. Филипченко выдавал я. И там же, в Киеве, я увидел И. И. Презента, слушал его. Какое впечатление? Впечатление опасного проходимца: способный, великолепно подвешен язык, весьма находчив и нагл. Конечно, всего, о чём он говорил, я оценить не мог. Но помню рассуждения о нём старших...

Институт был замечательный, и кадры там были великолепные. Жили мы в квартире, расположенной в самом здании Института растениеводства, на углу Мойки и Невского, так что я имел счастливую возможность знать и наблюдать многих выдающихся учёных. Это и сам Н. И. Вавилов, и его заместитель Жуковский, и В. Е. Писарев.

О каком-то серьёзном знакомстве с Вавиловым говорить, конечно, не приходится. Встречи были довольно-таки минутные. Только один раз я был у него дома, на квартире: отец послал за какой-то книжкой или, наоборот, отнести её Николаю Ивановичу. Больше приходилось сталкиваться на работе. Впечатление он производил самое приятное. Очень быстрый, всегда в хорошем расположении духа, без конца что-то рассказывал, обязательно во-

круг народ собирался. И всегда нас поругивал за то, что мы делаем мало открытий. «Делайте больше открытий!» – требовал Н. И. Вавилов.

Смутное время началось в 34–35-м годах, с появлением в институте Лысенко и его сближением с Презентом. К Вавилову зачастили всякого рода комиссии, ревизии. Николай Иванович очень выдержанный был человек, но это, как я слышал от отца, действовало на него удручающе. Тучи над институтом сгустились. В 1935-м уехал в Москву и перешёл на работу в Институт свекловичного полеводства отец. Тогда же ушёл Виктор Евграфович Писарев. Ему тоже, как в своё время и отцу, досталось «посидеть». Для таких людей оставаться в опальном институте было небезопасно. К тому же они своим присутствием усложняли положение самого Вавилова, потому что эта кампания против него и против генетики разворачивалась уже вовсю»¹⁶².

Работая во Всесоюзном институте растениеводства, Борис Аркадьевич Паншин принял участие в издании, в 1935 году, книги «Теоретические основы селекции растений», написав, совместно со своим лаборантом (будущим академиком ВАСХНИЛ, лауреатом Ленинской премии Михаилом Ивановичем Хаджиновым) главу «Селекция перекрёстноопыляющихся растений». В Москве, поработав некоторое время в Институте свекловичного полеводства, Паншин перешёл в Институт лекарственных растений; продолжал изучать сахароносы, их селекцию и акклиматизацию.

В начале сентября 1940 года Борис Аркадьевич был арестован. Проходил он по одному делу с Николаем Ивановичем Вавиловым и Георгием Дмитриевичем Карпеченко – власть инкриминировала им преступления по трагической памяти статьям 58-7, 58-10, 58-11 Уголовного кодекса РСФСР («Вредительство», «Шпионаж», «Диверсии»). Все они были приговорены к расстрелу.

Мой дед Борис погиб в Караганде,
Где он покоится – никто не знает в мире,
Его фамилию видали на стене
В Карагандинском лагерном сортире:

«Профессор Б. А. Паншин, 42,
Посажен по Вавиловскому делу» –
Вот так распоряжается судьба –
Сколько круто, столь и неумело.

...Как сын и внук «врагов народа»,
Я очень рано осознал
И смысл понятия «свобода»,
И то, что я её не знал.

Мои погибшие родные
Любили свой родной народ
И не сбежали из России,
И положили свой живот,

По мере сил крепя трудами
Её достоинство и честь –
И я трудился вместе с вами,
И не унизился на месть...¹⁶⁰

По-своему трагически изломился жизненный путь Игоря Борисовича Паншина. В первые месяцы войны он записался в ополчение, но очень скоро попал в плен. Далее, побыв у немцев переводчиком, он установил отношения с Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским (советским генетиком, оставшимся перед войной в Германии, впоследствии героем романа Даниила Гранина «Зубр») и до окончания войны трудился в его генетической лаборатории, располагавшейся в Берлине. После войны, отбыв срок в лагерях, Игорь Борисович до конца дней своих жил в Норильске.

Часть четвёртая. Вацлав Валентинович Михалевич

Только сорок два года жизни отвела судьба Вацлаву Валентиновичу Михалевичу, руководившему в послереволюционные годы работами по выведению новых сортов сахарной свёклы на Верхнячской селекционной станции. В деле этом он достиг замечательных результатов – за почти два десятка лет напряжённого творческого и физического труда им *«были созданы девять высокопродуктивных сортов сахарной свёклы, которые в производстве занимали площадь более полумиллиона гектаров, что составляло 48 % от общей площади посевов этой культуры в бывшем СССР»*¹⁶³.

В селекцию Вацлав Валентинович Михалевич, 1893 года рождения, пришёл простым сельскохозяйственным рабочим. Выходец из бедной крестьянской семьи Таращанского уезда, он не мог до революции получить специального агрономического образования и после нескольких лет работы по найму в помещичьих экономиках под Звенигородкой (Уманского уезда) в начале 1918 года пришёл на Верхнячскую селекционную станцию в качестве рядового полевого работника. Натура творческая и целеустремлённая, он занялся интенсивным самообразованием, тщательным изучением всех деталей теории и техники селекции сахарной свёклы и за короткое время стал высококвалифицированным специалистом. После отъезда в 1922 году из Верхнячки на родину польских специалистов по сахарной свёкле Вацлав Валентинович с 1923 года взял на себя все работы по селекции этой культуры.



О результатах его труда писал в 1936 году Дмитрий Кириллович Корняков, директорствовавший на станции с 1931 по 1934 год:

«Верхнячская станция из полуразрушенного кустарного помещичьего селекционного пункта, который был не в состоянии обеспечить в то время семенами своей селекции три-четыре ближайших завода, под руководством Вацлава Валентиновича превратилась

в крупнейший передовой центр по свекловичному сортководству, дающий в последние шесть-семь лет лучшие у нас в Союзе сорта сахарной свёклы и обеспечивающий до 30 % всей потребности Союза в маточных свеклосеменах.

Значительная часть селекционных учреждений по сахарной свёкле как у нас, так и за границей за последние десять лет в лучшем случае сохраняет качество своих сортовых материалов на уровне, достигнутом ещё в 1924–1925 гг., некоторые же учреждения не обеспечили даже сохранения качества своих материалов и на этом уровне. На этом фоне резко выделяется работа Верхнячской станции. В. В. Михалевич своими работами обеспечил резкое прогрессивное улучшение сортовых материалов свёклы, а по сочетанию полезных признаков (процент сахара и вес корня) установил новый мировой рекорд»¹⁶⁴.

На время совместной работы Корнякова и Михалевича приходится посещение Верхнячки наркомом пищевой промышленности Анастасом Ивановичем Микояном. Тогда, осмотрев местный сахарный завод, нарком завернул на селекционную станцию и первым делом обратил внимание на опоясывавшую её ограду, которая представляла собой глинобитную стену, верх которой был усыпан битым стеклом. Это нехитрое сооружение внешним видом своим напомнило Анастасу Ивановичу туркестанскую тюрьму, в которой он при царе сидел за свою революционную деятельность. Эта явная аналогия ему очень не понравилась, и он призвал директора станции к ответу. Тот разъяснил рассерженному высокому гостю, что на новую ограду, а также на обновление технического парка у селекционной станции нет средств. Нарком, частично удовлетворившись объяснением директора, уехал, а некоторое время спустя на Верхнячскую селекционную станцию и сахарный завод прибыли по два трактора и комбайна, оснащённые мощными, за инвалюту приобретёнными, французскими двигателями. Была увеличена и смета хозяйственных расходов станции, часть которой пошла на сооружение новой ограды, исполненной в виде высокого – с кирпичными башенками – штакетника, составленного из квадратных, сверху заострённых брусков, рёбрами развёрнутых внутрь и наружу.

Историю с наркомом мне поведал энциклопедически образованный Виктор Прокофьевич Сигида, ученик моего отца, в семидесятые годы бывший директором Верхнячской селекционной станции. Он же помянутый выше сказ услышал от Ивана Романовича Белецкого, отвечавшего на станции за её технические средства. С семьёй главного механизатора мои родители, прибывшие в Верхнячку в начале 1946 года, жили в одном доме. На следующий год провести молодую семью и родившегося внучатого племянника (то есть меня) приехал из Москвы мамин дядя, Александр Андреевич (дядя Шура). Большим радостным сюрпризом для него стало неожиданное открытие, что его однополчанин Белецкий – сосед по дому семьи Головцовых.

Первые послевоенные годы дядя Шура каждое лето приезжал в Верхнячку, и всякий раз в день его приезда накрывался стол мамой и женой его боевого друга. Мне же, шестилетнему, на всю жизнь врезалась в память

одна бытовая сценка лета пятьдесят второго года. В небольшом скверике возле нашего дома собралась компания: дядя Шура с трёхлетним внучатым племянником Витей (моим младшим братом) на коленях, моя бабушка Анна Михайловна, наш сосед Белецкий с сыном Валерой (моим сверстником), жившая в доме напротив вдова Михалевица, Генриетта Адамовна (сухощавая, седоволосая), Майя Игнатьевна Шемплинская (моя будущая учительница). Мама, перебирая струны гитары, поёт старинную песню о юных влюблённых:

Детский садик что пчелиный рой,
Там детишки бегают гурьбой.
Там они играют и поют,
Взапуски бегут, бегут, бегут.

У фонтана, где растёт каштан,
Семилетний мальчуган
Рядом с девочкой стоит,
И негромко ей он говорит:

«Слушай, Оля, вырасту большой –
Увезу тебя с собой.
И тогда уж для красы
Отпущу я рыжие усы»...

Генриетта Адамовна была дружна с нашей бабушкой. Позже, приходя к нам в гости, она угощала нас с братом карамелью «Раковые шейки» и рассказывала, что Анна Михайловна незадолго до своей кончины, последовавшей в октябре 1950 года, просила её не забывать нашу маму, помогать ей.

В частности, она рассказала нам о последних днях супруга. В конце осени 1935 года у Вацлава Валентиновича отказали обе почки. Сначала его перевезли в Киев, а оттуда самолётом, присланным Микояном, переправили в Москву, в Кремлёвскую больницу. Спасти Вацлава Валентиновича не удалось. Он умер в Москве, был кремирован. Прах его привезли в Верхнячку и похоронили в старом сельском парке. В середине пятидесятых годов (кажется, в двадцатую годовщину кончины) провели перезахоронение останков прославившего Верхнячку селекционера. И по сей день место его упокоения – в сквере, у здания, в котором размещается отдел селекции сахарной свёклы.

В середине шестидесятых годов Генриетта Адамовна переехала к детям в Черновцы, бросив без присмотра дом, ей принадлежавший. Так и простоял он бесхозным, разрушаясь, несколько лет, после чего был разобран. А жаль!

«Будучи исключительно скромным по натуре, В. В. Михалевиц редко выступал на широких учёных собраниях с защитой своих взглядов. Написал он также немного. Но написанные им ежегодные отчёты о деятельности селекционного отдела Верхнячской станции имеют исключительно большое значение и подлежат не только тщательному изучению, но и широкому использованию в практике работ.»

В. В. Михалевич умер в возрасте 42 лет, полный сил и желания работать дальше. Жизнь оборвалась не вовремя, многое осталось незаконченным. Но и то, что сделано, составляет большой вклад учёного в дело нашего социалистического хозяйства»¹⁶⁴.

Часть пятая. Леонтий Аврамович Головцов

В достаточно давнем прошлом при написании очередной автобиографии, необходимость в которой возникала при очередной перемене мною гражданского состояния, наиболее утомительной представлялась мне начальная часть этого документа. Приходилось в нескольких схожих, однообразных предложениях укладывать обширную информацию о моих частых переездах вместе с семьёй в первое десятилетие моей жизни только между двумя населёнными пунктами – Верхнячкой и Уманью.

Судилось мне родиться в славном городе Умани в 1946 году, но в городе (вернее, городском родильном доме) довелось побыть не более трёх первых дней моей жизни, после чего был увезён родителями к месту постоянного проживания семьи – на Верхнячскую опытную станцию, где отец к этому времени почти год работал старшим научным сотрудником отдела селекции зерновых культур. Прожив в селе восемь лет, увеличившись численно до четырёх человек (за счёт моего брата Виктора, родившегося в 1949 году), семья в октябре 1953 года в первый раз переехала в Умань, где отец получил место преподавателя в Сельскохозяйственном институте. Ещё через три года, в августе 1956 года, наш семейный экипаж, преодолев двадцать километров пути, совершил обратный рейс на опытную станцию по случаю назначения отца её директором. И наконец в конце сентября 1958 года отец вернулся к преподавательской и исследовательской работе в Уманский сельскохозяйственный институт, на кафедру растениеводства.

Охота к перемене мест сызмальства была движущей силой в жизни моего отца. Родился он – старший сын из пяти детей родителей-бедняков – 10 августа 1909 года в деревне Осколково Мглинского района, на Брянщине. До революции его родители не имели собственного хозяйства и работали по найму у деревенских кулаков, отец – плотником, мать – как домашняя работница. Начальное образование их первенца ограничилось двумя классами сельской школы, дальнейшей школьной учёбе помешало отсутствие у него необходимой для выхода из дома одежды и обуви. (Помнится, в одну из вечерних посиделок отец рассказывал нам с братом, что в его детстве на всю семью были только одни валенки, которыми в зимнюю пору преимущественно пользовались родители.)

В возрасте двенадцати лет Леонтий Головцов (или в брянском говоре – Лявон) был отдан в ученики к деревенскому кустарю-портному, у которого он четыре года учился шить-латать одежду, заполняя свободное от швейного дела время работой по хозяйству наставника. Учёба ничего отцу не дала, и после четырёх лет обучения и батрачества он, в 1925 году, вернулся домой к родителям, которые к этому времени получили от советской власти землю, купили лошадь и вели собственное хозяйство.

Дальше отец активно самообразовывался, много читал, осваивал счёт и грамматику, был в своей деревне видным комсомольцем-активистом. К 1929 году относится начало его дальних странствий – он уехал в Ессентукский район Терского края и там один сезон отработал разнорабочим в совхозе имени Карла Маркса. Отработал настолько успешно, что осенью того же года для повышения квалификации был командирован в специализированную сельскохозяйственную школу (так называемый совхозуч) при совхозе имени Сталина Армавирского района Ставропольского края. Учился настойчиво, с хорошими результатами, занимался обязательной для активиста общественной работой – был секретарём комсомольской организации школы; в летнее время работал бригадиром-полеводом на комсомольском участке совхоза; в сентябре 1930 года стал членом партии коммунистов.

Закономерным завершением этого отрезка жизненного пути для целенаправленного, энергичного, от природы одарённого отца стало командирование его дирекцией и партийной



организацией совхоза на рабфак (рабочий факультет) при Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. По окончании этого фактически подготовительного учебного заведения выходец из беднейшей крестьянской среды Леонтий Головцов в 1933 году поступил в академию, в которой пре-

красно – преимущественно на отлично – отучился. В конце 1938 года он, как успешный выпускник академии, в должности младшего научного сотрудника по селекции озимой пшеницы приступил к работе на известной Ивановской опытной станции, приписанной к Ахтырскому району Сумской области.



И уже с весны следующего года переполненный энтузиазмом молодой селекционер Головцов, как он писал в автобиографии, *«начал разработку вопроса вегетативной гибридизации зерновых растений с целью применения мичуринских методов в селекции зерновых культур»*. Занимался он этим полтора года, пока не грянула война.

Как выпускник высшего учебного заведения, в котором была кафедра механизации, отец был призван 7 июля 1941 года в танковые войска командиром танкового взвода. Танкистом он прошёл всю войну, был контужен в 1942 году (в результате частично лишился слуха), в марте 1943 года был тяжело ранен в грудную клетку и три месяца находился на излечении в эвакогоспитале в городе Ливны (где познакомился со своей будущей женой и нашей с братом мамой – Ниной Сергеевной Афанасьевой). Боевых наград у отца было немного, но орден Красной Звезды, которым он был награждён *«за образцовое выполнение задания командования»*, дорогого стоит. Войну старший лейтенант Головцов закончил в немецком городе Глогау в составе Сто пятьдесят пятой

танковой Краснознамённой бригады Второго Украинского фронта. С августа по ноябрь 1945 года он находился на излечении в эвакогоспитале номер тысяча двести семьдесят три, располагавшемся в Киеве, а во второй половине ноября того же года вместе с молодой женой прибыл к месту теперь уже мирной службы – на Верхняцкую селекционную станцию, где получил должность старшего научного сотрудника по селекции озимой пшеницы и ржи.

За первые восемь лет работы на станции селекционером Головцовым был выведен новый сорт озимой пшеницы «восход»; путём вегетативной гибридизации был получен новый тип ржи высокой стекловидности. В 1949 году Верхняцкая станция торжественно отмечала пятидесятилетие со дня своего основания. К этому событию многие её сотрудники были награждены правительственными наградами (отец – орденом «Знак Почёта»). Был выпущен юбилейный сборник, где, в том числе, была размещена фотография сотрудников отдела селекции озимой ржи и пшеницы, который в то время возглавлял солидный и основательный Яков Федосеевич Загороднюк, автор сортов озимой пшеницы «советская» и «верхняцкая» (и, что немаловажно, был он депутатом Верховного Совета Украинской ССР). На этом фото рядом с отцом – его коллега Александр Николаевич Вакуленко, коренной житель села; его отец, Николай Емельянович, был уважаемым в Верхнячке человеком – главным механиком; сын же его, Николай Александрович, фамильному очагу не изменил, и на время написания этих строк он директор селекционной станции.

В этом же юбилейном сборнике была напечатана статья Леонтия Аврамовича Головцова «Селекция озимой пшеницы», в которой касательно предыстории заявленного вопроса пишется:

«Селекционная работа по озимой пшенице на Верхняцкой селекционной станции была начата в 1913 г. В качестве исходного материала были использованы венгерские пшеницы Банатки, Тейки, Горконкур и ряд других сортов заграничного происхождения, представляющих собой сложные ботанические популяции.

Основным методом селекционной работы был принят метод многократного индивидуального отбора в пределах популяций и так называемых чистых линий. Теоретической предпосылкой этого метода было признание наличия внутри «чистой линии» разнородных физиологических рас. Сам по себе этот подход к вопросу наследственности и изменчивости был в то время наиболее прогрессивным, если принять во внимание, что в селекции господствовала тогда реакционная концепция Йогансена о незыблемости «чистой линии».

Однако за весь дореволюционный период своего существования станция, ограниченная рамками частного капиталистического хозяйства, не смогла дать производству ни одного высокопродуктивного сорта озимой пшеницы.

В послереволюционный период селекционная работа по озимой пшенице была начата заново и развёрнута при необходимых масштабах только в 1923 г. Площадь под селекционные посевы с 1,25 га была доведена в эти годы до 10 га.

В качестве исходных материалов были взяты образцы, полученные в значительном количестве из различных районов страны и, в частности, со Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1923 г., а также местные сорта, имевшие хождение в крестьянских хозяйствах б. Таращанского уезда, Киевской области, собранные В. В. Михалевичем.

В накоплении исходных материалов большую роль сыграл в то время известный селекционер В. Н. Громачевский, работавший на станции.

С 1926 г. много внимания уделял накоплению и изучению местных сортов пшеницы заведующий отделом селекции зерновых культур станции Л. П. Максимчук...»¹⁶⁵

К вышесказанному можно добавить, что в 1951 году отец окончил заочную аспирантуру при ВАСХНИЛ и в феврале 1952 года в Одесском селекционно-генетическом институте защитил кандидатскую диссертацию на учёную степень кандидата биологических наук под названием «Вегетативная гибридизация злаковых растений».



Не так много эпизодов первых – из общих семи – лет моей жизни, прошедших в Верхнячке, сохранила память. Больше свидетельствуют о них фотографические снимки, которых, увы, сохранилось очень мало. На одном из них, сделанном в мае 1949 года, месяц спустя после рождения брата, я представлен стоящим перед зданием отдела селекции на фоне окружавшего его капитального забора и метеорологической площадки. Судя по основательно сбитым носкам башмаков, был я к двум с половиной годам личностью весьма непоседливой, а насупленный вид и сложенные в кукиш пальцы левой руки указывают на упрямство как доминирующее свойство характера.

Помимо редких фотографий о детстве изначально мне, повзрослевшему, многое рассказала мама, напоминаниями своими также усилившая смутные картинки житейских эпизодов с моим участием, осевшие в моей изменчивой памяти на рубеже сороковых – пятидесятих годов ушедшего века: сосед по дому, Бублиенко (кажется, Александр Иванович, на войне он потерял ногу, работал бухгалтером), за которым – по причине его исключительной доброты и внимания ко мне – бегал, по словам мамы, как цыплёнок за квочкой; его дочь Валя, на два года меня старше, став первоклассницей, активно играла со мной в школу; директор станции Мария Евгеньевна Рослик, энергично вышагивавшая по аллейке в посадке смородины в лёгком желтовато-белом летнем плащике; её муж, по фамилии Молдавский, катавший местных малолеток в коляске своего мотоцикла вокруг молодого парка; поход с мамой ранним летним утром на стихийный базарчик в старом парке, ближе к заводскому посёлку; закупка на нём домашней снеди, в том числе завёрнутой в лопух большой очень жёлтой лепёшки сливочного масла; старая ванна, вверх дырявым дном у дворового забора поставленная, служившая в наших детских играх в войну броневиком со всегда открытым люком; сентябрь 1953 года,

только месяц учёбы в первом классе, сборы в дорогу дальнюю, грустное расставание с друзьями-однолетками перед отъездом в Умань...

Возвращение нашей семьи в Верхнячку состоялось, если мне память не изменяет, 8 августа 1956 года, в канун дня рождения отца. Было мне на то время неполных десять лет, память моя стала более подготовленной к восприятию и выборочной пожизненной фиксации житейских событий с моим участием; таких памятных меток и поныне в ней не перечесть.

Разместив наскоро нехитрый семейный скарб в отведённой отцу директорской квартире, мама, прихватив с собой сыновей, навестила старых добрых знакомых в больнице, соседствовавшей с нашим домом; оттуда наша компания вернулась с кошёлкой сочных яблок белый налив из больничного сада. Вечером того же дня отправились мы с братцем на рыбалку на Юдов ставок, где на пару лещиновых удочек выловили несколько пескарей (или коблыков – местной терминологии). Совершили мы это замечательное действие при чудном закате солнца, под ласкавший нас тёплый озёрный бриз, под чуть слышное журчание прудовой воды, омывавшей босые ноги начинающих рыбаков, только в сатиновые трусы одетых.

На следующий после приезда день, ни свет ни заря, к нашему дому подтянулись старые друзья: Гриша (точнее – Грыць) Заграничник, Женька Гордиенко, братья Виктор и Павел Гуцины, Коля Вакуленко, совершившие с вновь прибывшими братьями Головцовыми напоминательную прогулку по посёлку опытной станции. Изменений за три года нашего отсутствия оказалось мало – только могилу известного селекционера Вацлава Михалевича из старого парка перенесли в сквер, перед зданием старого клуба, да более прежнего запущенным показался нам старый сад, засаженный яблонями сорта «овечья мордочка». Ближе к полудню составившаяся компания отправилась в Дом культуры сахарного завода на просмотр кинофильма «На подмостках сцены». Приятно поразила стоимость входного детского билета – только пятьдесят копеек против полутора рублей в городском кинотеатре. Кинофильмы можно было посмотреть и в клубе опытной станции, представлявшем из себя примыкавшее к зданию дирекции маленькое строение, где была киобудка, которую обслуживали кочевавшие по району киномеханик и его «командир», объявлявший по завершении очередного сеанса время проведения и название следующего фильма. (Помнится, какую великую радость, перемешанную с умилением, вызвало у местных интеллигентных старушек сообщение о грядущем показе киноленты «Сказание о земле Сибирской».)

Но всё же главным для жителей села был кинозал заводского Дома культуры. Кажется, за два года не пропустил в нём ни одного сеанса (разумеется, кроме тех, которые были предварительно помечены на афише категорическим предупреждением «Детям до шестнадцати лет смотреть запрещается!»). Из всех просмотренных фильмов на всю оставшуюся жизнь запомнился как лучший из лучших фильм «Карнавальная ночь». Таковым он мне представляется и ныне.

В летние погожие дни и вечера в парке у Дома культуры устраивались большие народные гуляния. Играл духовой оркестр, размещавшийся на специальной, для него выстроенной, площадке, под его аккомпанемент на

соседней, значительно большего размера, площадке танцевали жители села разных возрастных групп. Аллеи парка были заполнены гулявшими, на волейбольной площадке до темноты перепасовывали, били мяч волейболисты, гоняли костяные шары по зелёному сукну столов бильярдной её завсегдатаи. Но настоящим праздником для народа был очередной матч футбольного первенства среди команд сахарных заводов региона, проводившийся на парковом стадионе. Для футбольных фанатов из Верхнячки наиболее значимым считался поединок нашей команды с командой цыбулёвского завода. Кажется, в этом принципиальном противостоянии верхнячские спортсмены за футбольный сезон брали суммарный верх. Решающий вклад в итоговую победу вносил кумир сельских болельщиков – центр нападения (с девяткой на футболке) Коля Матвиенко, по кличке Цван. Был он строен и красив, за что его до безумия любили местные девушки. Истые же почитатели спортивного мастерства Николая (в том числе и малолетние) боготворили его за пушечные удары с обеих ног, за стремительность и напористость в атаке, за стильную обводку. В летние дни 1958 года, когда, пристроившись к домашнему радиоприёмнику марки «Рекорд», я слышал в репортажах Вадима Синявского имена новых звёзд чемпионата мира по футболу – Пеле, Диди, Гарринча, то даже подумать не смел, что эти бразильцы играют лучше Коли Цвана из Верхнячки.

Местом сбора пацанов опытной станции и заводского посёлка для игры в футбол была так называемая поляна, примыкавшая к старому парку, с двумя стародавними могилами в нём – большой и малой. Долгое время играли обыкновенным резиновым мячиком, до той поры, когда Оксана Гринько (дочь Тита Фёдоровича Гринько, главного специалиста по селекции сахарной свёклы) не привезла мне в подарок из Москвы настоящий, из кожи изготовленный, футбольный мяч. С помощью этого же мяча я осваивал азы баскетбола, которым меня на хилой баскетбольной площадке в заводском парке обучал китаец Оу Ян-цзы, аспирант Уманского сельскохозяйственного института, готовивший диссертацию под научным руководством доцента Головцова. Помимо моего первого баскетбольного тренера под началом отца готовились стать учёными-селекционерами ещё два представителя Поднебесной – аспирант Сунн Джэнь-го и аспирантка Гоу Чань-хуа. (Мама очень симпатизировала милой, обаятельной китаянке. Однажды пригласила её на воскресный обед, обязав меня закрыться с нашим дворовым псом в импровизированной собачьей будке под верандой и крепко держать его, когда гостя будет заходить в дом. Но миляга Радес, не позволявший себе прежде лишний раз тявкнуть на постороннего, в тот самый момент, когда Гоу Чань-хуа поднималась по крыльцу, вдруг резким рывком вырвался из моих рук и с лаем набросился на девушку. Обед был испорчен. Маме довелось перед его началом срочно обрабатывать йодом рану пострадавшей и прямо на её ноге на живую нитку зашивать порванный чулок.)

Первый после переезда год отучился в четвёртом классе той же школы, в котором когда-то начинал первоклассником, под руководством той же учительницы – Евдокии Миновны Береговой (кличка Явдоха), супруги директора местного колхоза. Перейдя в пятый класс, попал под мудрое начало требова-

тельной и очаровательной Майи Игнатьевны Шемплинской, бывшей нашим классным руководителем.

Из всех запомнившихся событий школьной жизни одно, с пометкой «ужас», до сих пор с означенным чувством вспоминается мной. Дело было в начале декабря 1957 года. Зима тогда пришла в одну ночь – без снега, но с сильным морозом. На следующий день в большую перемену все активные школяры собрались у Юдова ставка, чтобы оценить состояние только образовавшегося ледяного покрытия. Вдруг из толпы юных наблюдателей выскочил ученик шестого класса (кажется, его, на год меня старше, звали Мыколой) и, крикнув «Дивиться!», выбежал на лёд и помчался к противоположному берегу пруда. Он бежал, стуча подошвами кирзовых сапог по прозрачному неокрепшему льду, который трескался, изгибался синусоидой под тяжестью тела бегуна, но тот мчался, опережая на шаг-другой ломку льда, к цели. Когда он выскочил на противоположный берег пруда, толпа юных зрителей, некоторое время тягостно молчавшая, взорвалась восторженными криками. Кажется, я кричал громче и яростней других.

Несколько раз к нам в гости приезжал ученик отца Михаил Лаврентьевич Кравченко. Молодой, энергичный, симпатичный, одетый в солдатскую форму (конечно, без знаков воинского отличия), он часто и подолгу общался, с шутками и прибаутками, со мной и братом. Любил он с отцом ходить в русскую баню, устроенную близ Панского ставка. Помнится, хлестали они себя немилосердно берёзовыми вениками в парной, заодно приучая меня к этой извечной народной забаве. Позже, уже работая в Ровно, Михаил Лаврентьевич, всякий раз приезжая в Умань, обязательно заходил к нам в гости. Позже след его для меня потерялся. Известно мне только, что написал он мемуарную книгу «Мой след на земле», в которой добрым словом помянул своего учителя Леонтия Аврамовича Головцова.

Занимаясь, как директор опытной станции, преимущественно административными делами, отец продолжал вести селекционную работу, в частности по выведению нового сорта кукурузы. Довелось и мне в июле 1957 года по воле отца оформиться временно к нему на работу и целый месяц ходить на опытную делянку, где по установленным правилам обрывал у росшей там «королевы полей» метёлки (процедура эта называлась пасынкованием). Моя посильная помощь оказалась полезной – через несколько лет успешно закончились сортоиспытания нового, отцом выведенного, сорта кукурузы, названного «уманчанкой-19». Сохранилась фотография, на которой отец вместе Самсоном Митрофановичем Бугаём, заведующим кафедрой растениеводства Сельскохозяйственного института, оценивает размеры прекрасной селекционной работы.



Снимок этот был сделан уже в Умани, куда наша семья, навсегда завершив верхняцкий период жизни, перебралась в начале октября 1958 года. Здесь отец завершил – с прекрасным итогом – работу над сортами озимой ржи «славянка» и «мичуринка», начал новые селекционные исследования.

Пытался он меня, вызревающего подростка, приобщить к своему любимому делу, но безуспешно. Нацелив себя, ближе к концу школьного курса, на получение технической специальности, я пропускал мимо ушей разговоры отца о значимости селекционера-агрария в жизни общества. Хуже того, как-то вяло, даже с некоторым безразличием, воспринимал и оценивал результаты его научно-производственных занятий, краем уха мной слышанные, долго не знал их истинной значимости. А она, оказывается, была немалой, что, к стыду своему, выяснил только на склоне лет – из статьи ученика отца Валентина Михайловича Помогайбо:

«Но непревзойдённое впечатление на меня произвёл неприметный доцент кафедры растениеводства Леонтий Аврамович Головцов. Он вёл у нас курс дарвинизма.

В те годы генетика в учебных заведениях Советского Союза не преподавалась, так как считалась буржуазной лженаукой. Все научные исследования по генетике были прекращены как не дававшие быстрого производственного эффекта в сельском хозяйстве. Учёных-генетиков заставляли менять сферу деятельности, переводили на работу в другие места. Зелёную улицу открыли только Т. Д. Лысенко, который обещал быстрый успех в повышении продуктивности сельскохозяйственных растений и животных. Правда, за долгие годы неограниченных возможностей этот учёный так и не исполнил ни одного своего обещания.

На своих лекциях по дарвинизму Л. А. Головцов этому предмету отводил только несколько минут, чтобы мы успели записать вопросы к семинарскому занятию, к которому мы готовились по учебнику. Семинарские занятия вёл молодой ассистент кафедры. Остальное время лекции Леонтий Аврамович использовал для чтения курса классической генетики, демонстрируя её закономерности результатами собственных опытов на растениях.

В свободное от лекций время Л. А. Головцов занимался настоящей экспериментальной наукой – пытался выяснить природу вегетативной гибридизации растений на примере пшеницы и кукурузы. Но ирония судьбы была в том, что исследования Л. А. Головцова не признавались ни классическими генетиками, которые категорически отрицали возможность вегетативной гибридизации, ни лысенковцами, которые признавали вегетативную гибридизацию, но не принимали обоснования этого явления с позиций классической генетики, как пытался сделать этот исследователь.

Ах, как жаль, что такой учёный появился немного рано, как и его американская коллега Барбара Мак-Клинток. Правда, ей повезло, так как она таки дождалась всемирного признания и Нобелевской премии, хотя и через 30 лет после эпохального открытия ею так называемых мобильных генетических элементов, которое она сделала в начале 50-х годов прошлого столетия. Мобильные генетические элементы представляют собой гены, которые не локализованы стационарно в хромосомах, а в виде многочисленных копий свободно мигрируют в цитоплазме клеток и по межкле-

точной жидкости. Уже в наше время выяснилось, что их в геноме кукурузы 50 %, а ячменя – даже более 80 %. Интересно, что и геном человека на 45 % состоит из мобильных генетических элементов.

Именно в это время в этом же направлении работал и Л. А. Головцов, который во времена тоталитарной системы ничего не мог знать про работы Б. Мак-Клинток. А её открытие как раз и помогло бы уманскому учёному теоретически обосновать результаты своих работ по вегетативной гибридизации.

На своих лекциях Л. А. Головцов демонстрировал нам вегетативные гибриды пшеницы и кукурузы, которые произвели на меня ошеломляющее впечатление.

Для получения таких гибридов зародыши пшеницы выращивались на эндосперме кукурузы. В результате этого вырастали растения, похожие на пшеницу, но в полтора-два раза выше её. Стебель их был не в виде соломины, а имел внутреннее наполнение. Колос был раза в два больше, с достаточно крупными зёрнами желтоватого цвета. Правда, такой гибрид полового размножения скоро утрачивал свои характерные признаки. Однако же возможность создания вегетативных гибридов имела громадное общебиологическое значение, ибо блестяще наглядно подтверждали ещё в далёкие 50-е годы прошлого столетия, без сложных и очень дорогих современных молекулярно-генетических исследований, наличие мобильных генетических элементов в геномах живых организмов.

Вся моя последующая жизнь проходила под впечатлением увлекательных лекций Л. А. Головцова и его гибридов»¹⁶⁶.

Часть шестая. Ученики и последователи селекционера Головцова

Валентин Михайлович Помогайбо. Воспоминания Валентина Михайловича Помогайбо являются также ценным источником информации об учёбе и быте советских студентов в середине пятидесятих годов ушедшего века. Читаешь их и удивляешься радостно: только десять лет минуло после окончания самой кровавой и разрушительной в истории человечества войны, а советский студент уже имел основательную материальную поддержку для получения качественного и, самое главное, бесплатного высшего образования, был востребован обществом как специалист. Тем более впечатляют приводимые мемуаристом факты из студенческой жизни в нынешнее время, когда известно, сколько стоит поступление в вуз в прямых и скрытых платежах, сколько стоит, в тех же формах расчёта, прохождение вузовского курса и получение документа об образовании, за немалые деньги пострадавшего, и так далее, и тому подобное. И кажется порой, что единственный прогресс, достигнутый высшей школой за истекшие четверть века, – в плетении словес, в поголовной смене институтов на университеты и академии.



«Тогдашние студенты были обеспеченными, самостоятельными людьми. Даже в сельскохозяйственном институте, где стипендия была наименьшей в сравнении с другими высшими учебными заведениями страны, она на первом курсе составляла 290 рублей в месяц, на третьем-четвёртом – 350, а на пятом – 400. Для сравнения: рабочий высокой квалификации получал немногим более 500 рублей, а инженер на производстве – до 900. Помню, что значительная часть сельских студентов половину отсылали одинокой матери (отец погиб на фронте), а на оставшуюся часть можно было нормально жить»¹⁶⁶.

К вышесказанному могу добавить, что, как директор селекционной станции, отец имел зарплату две тысячи четыреста рублей в месяц; перейдя работать в институт доцентом, стал получать на шестьсот рублей больше. Мама несколько раз предлагала ему записаться в институтском профкоме в очередь на машину, но отец всякий раз отвечал, что это будет выглядеть вызывающе и нескромно. В то время в институтском городке, кажется, единственным владельцем легкового авто был лауреат Сталинской премии профессор Симон Самойлович Рубин, чей совокупный доход позволял содержать наёмного водителя. Иногда за рулём его шикарной бежевого цвета «Победы» можно было видеть сына Бориса, лётчика-испытателя, регулярно приезжавшего в отпуск к родителям.

«Самый дорогой обед в нашей студенческой столовой стоил немногим более 5 рублей. Он состоял из таких блюд: нормальный борщ с кусочком мяса и ложкой сметаны, отбивная (настоящая: с косточкой, с горошком и жареным картофелем), стакан напитка (какао с молоком, чай, компот и т. п.). Нарезанный хлеб свободно лежал в тарелках на столах рядом с горчицей и солью. К тому же обслуживание было ресторанным. Одна официантка обслуживала всего четыре стола – это 16 студентов. Одно отличие было в том, что мы не заказывали официантке блюда, а в буфете утром покупали соответствующие талоны на каждое блюдо. Официантка брала талоны и сначала приносила первые блюда, а потом, по мере необходимости, следующие.

В студенческом буфете можно было купить пиво, вино, водку и коньяк, но в будний день никто из студентов этого не делал. В воскресенье мы могли за обедом выпить пива, вина, иногда водку или коньяк, но всё было в пределах культуры. Иногда в воскресенье мы могли пойти в город, в ресторане заказать обед с бутылкой вина или коньяка. В дневное время блюда там были дешевле, чем в вечернее, но всё равно почти вдвое дороже, чем в нашей столовой. Однако нам хотелось пошиковать.

Пьяных дебоширов в общежитиях, на квартирах или где-либо ещё никогда не было. Не было случаев отчисления из института за пьянство, кражу или драку. За время моего студенчества помню только один случай отчисления из института. Студент пятого курса перед самыми выпускными экзаменами был отчислен за то,

что отказался жениться на забеременевшей от него девушке, как обещал ей раньше. Эта девушка была домработницей у одного из наших преподавателей...»¹⁶⁶

Хорошо помню, как по воскресным дням, получив рубль карманных денег, заходил в институтский буфет и выкушивал там песочного теста рогалик, запивая его стаканом сливок. За соседними столами завтракали студенты, некоторые из них расслаблялись пивком, закусывая ароматной домашней колбасой. По обыкновению они вступали со мной в беседы на тему быта и учёбы, чем повышали во мне уровень самооценки. Пьяных и дебоширов из студентов не помню, но хорошо запомнил в таком состоянии институтского работника по фамилии Хацановский. Помню, как тёплым летним вечером возвращался он сильно навеселе из учебного хозяйства домой через дамбу, вдоль второго паркового пруда. Только ступив на неё, размахивая руками, выкрикивая лозунги и призывы, он в самом начале перехода, потеряв равновесие, полетел в пруд, но был быстро из него вытащен посетителями парка. Через следующие пятьдесят метров пути указанная ситуация с «потоплением и спасением» повторилась и продолжала повторяться до тех пор, пока Хацановский не преодолел всё же опасный для жизни отрезок пути – выкупанным и заметно протрезвевшим...

«Тогдашний студент, живя только на одну стипендию, мог нормально питаться, ездить на каникулы домой, а также в Киев или Москву, жить в столичных гостиницах одну-две недели, побывать на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (позже – Выставка достижений народного хозяйства), пообедать там в узбекском павильоне настоящим узбекским пловом с бараниной, выпить чаю из узбекской пиалы, посетить музеи, концертные залы. Студент запросто мог собрать денег и купить, естественно, только в столице, неплохой хлопчатобумажный костюм, модельные кожаные туфли, самые модные на то время часы (например, пылеводонепроницаемый «Маяк» стоимостью в 450 рублей). Всё это было доступно, и я это делал...»¹⁶⁶

По собственному опыту могу подтвердить, что летняя поездка в Киев или в Москву в ту пору была почти ритуальной как для преподавателей и членов их семей, так и для желающих того студентов. По такой схеме я вместе с мамой и братом ездил в Москву к родственникам – тётке Кате и дяде Шуре, жившим в Сокольниках, на улице Олений Вал, дом сто восемнадцать, в квартире номер одиннадцать, представлявшей из себя угловую комнатёнку площадью не больше её номера. В программу нашего московского турне входило в первую очередь посещение знаменитых на всю страну универмагов ГУМ и ЦУМ с целью приобретения в них для младших Головцовых школьной экипировки (форменные фуражки, ранцы), а также одежды и обуви. Обязательно посещали зоопарк, Центральный парк культуры и отдыха, аттракционами богатый, а также Всесоюзную выставку сельского хозяйства, где любовались обилием и многообразием экспонатов в каждом из шестнадцати (позже – пятнадцати) павильонов союзных республик нашей великой державы...

«На территории институтского городка, который граничил со славноизвестным дендропарком „Софиевка“, находилось жильё практически всех преподавателей, а также общежития для небольшой части студентов. Естественно, коммунальных удобств в этих помещениях не было. Воду каждое утро привозили лошадьё, в большой деревянной бочке. Не знаю, как в квартирах для преподавателей, а в студенческих общежитиях привезённой водой заполняли титан (специальный бак для кипячения воды путём сжигания дров), умывальник, бачок с водой для питья. Мылись в городской бане. Туалет в виде деревянного нужника располагался во дворе.

Женское общежитие было кирпичным двухэтажным, в нём жили практически все наши студентки. Мужские общежития состояли из двух одноэтажных кирпичных домиков, в каждом из которых было по несколько комнат. Студенты младших курсов жили по 5-6 человек в комнате, а пятикурсники – по два. Проживание в общежитии было бесплатным.

В каждом таком студенческом домике жила одна или с ребёнком женщина, которая следила за порядком и чистотой – регулярно прибирала не только в коридоре, но и в комнатах, обслуживала титан, каждую субботу меняла студентам постельное бельё, зимой топила торфом или углём грубки, которые открывались в коридор.

Иногда вечером в наше общежитие приходил кто-то из преподавателей, не по графику, а просто чтобы пообщаться со студентами, особенно с бывшими фронтовиками. Это делалось представительно и размеренно. Никто никуда не спешил. Мы, да и преподаватели, от такого живого общения получали огромное удовольствие. Теперь эту часть нашего бытия всё больше занимают телевизор и Интернет, и внутренний мир человека всё более беднеет...»¹⁶⁶

В первый переезд нашей семьи в Умань, случившийся в октябре 1953 года, жили мы в небольшом домике около стадиона. По другую его сторону, за штакетником и спортивным домиком (с надписью «Наука» на нём), были два небольших студенческих общежития для ребят; рядом с нами находилось женское общежитие, где кастеляншей была милая тётя Феня. В учебную пору по утрам начиналось активное перемещение студенческих потоков в сторону института, повторявшееся в обратном направлении в послеобеденное время. В погожее время ближе к вечеру активное студенчество сосредотачивалось на стадионе, туда же приходили и многочисленные зрители постарше и помоложе, зеваки, – понаблюдать, пообщаться и посудачить.

«Уровень образования в то время был достаточно высокий. Я знаю, о чём говорю, так как последние 32 года работаю преподавателем в высшем учебном заведении.

Академическая группа состояла из 25 студентов. Каждый студент старательно учился, чтобы с первого раза успешно сдать зачёты и экзамены. Если во время сессии студент на двух экзаменах получал неудовлетворительные оценки, то он отчислялся, а его место

занимал вольнослушатель. Вольнослушателями были абитуриенты, которые при поступлении не прошли по конкурсу, но родители могли полностью обеспечить их жизнь и обучение в институте. Вольнослушатель был записан в журнал группы, посещал все занятия, сдавал зачёты и экзамены, но не получал стипендии и не мог претендовать на общежитие. В нашей группе был один такой вольнослушатель, который стал студентом только на третьем курсе.

Преподавание почти всех предметов и документация в институте велись на русском языке. Естественно, все учебники были на русском языке, так как издавались преимущественно в Москве. Хочу особо отметить безукоризненную грамотность каждого тогдашнего учебника как по языку, так и по научному содержанию. Причиной этого было то, что за качество учебника несли ответственность автор и издательство. Ныне они тоже несут такую ответственность, но тем не менее современные учебники грамотностью чрезвычайно уступают прежним. Часто в них из-за небрежности авторов встречаются не только грамматические казусы, но и научные ляпсусы, подобно тому, что каракатица движется за счёт выбрасывания воды из кишечника. Просто в то время было правило – писать и издавать качественные учебники и другую научную литературу...»¹⁶⁶

Валентин Михайлович Помогайбо по окончании Уманского сельскохозяйственного института стал профессиональным генетиком, после того как в 1964 году решением Пленума ЦК КПСС в Советском Союзе были возобновлены генетические исследования. По этому случаю в Киеве был создан Институт молекулярной биологии и генетики, который с 1966 года возглавил Пётр Климентьевич Шкварников, переехавший в украинскую столицу из Новосибирска, где он работал в Институте цитологии и генетики. В этом же году в аспирантуру вновь созданного института поступил и Помогайбо, его научным руководителем стал профессор Шкварников. Проработав в академическом институте полтора десятка лет, кандидат биологических наук Помогайбо переехал в Полтаву, где по настоящее время, как доцент кафедры биологии, преподаёт генетику человека и антропологию в Национальном педагогическом университете имени В. Г. Короленко. Является автором девяти учебников и учебных пособий для студентов, из которых четыре имеют гриф министерства образования.

Виктор Прокофьевич Сигида. Виктор Прокофьевич Сигида, как студент Уманского сельскохозяйственного института, слушал лекции моего отца по селекции и семеноводству полевых культур и в последующем, в уже солидных годах, оценивал их как интересные и увлекательные. При этом особо подчёркивал, что качества эти они имели благодаря богатому практическому опыту лектора, его конкретным достижениям в области селекции озимых пшеницы и ржи.

Сразу после института, с 1960 года, Виктор Прокофьевич работал главным агрономом в совхозе Уманского района, сотрудничал со своим учителем – доцентом Головцовым. Созданные последним во второй половине пятидеся-



тых годов сорта озимой пшеницы «славянка» и «мичуринка» молодой агроном Сигида испытывал в своём хозяйстве в сравнении с прежде районированным сортом «тарашанская-4». Новые сорта селекционера Головцова превзошли сорт-соперник в урожайности на два – три центнера с гектара, но по непонятным причинам далее не были районированы.

Виктор Прокофьевич также свидетельствует, что выведенный моим отцом – в пору его работы на Верхнячке – сорт озимой пшеницы «восход» не был районирован из-за его слабой зимостойкости и низкого качества клейковины. Но он имел высокопродуктивный колос, и это его качество было использовано другими селекционерами. Специалист Белоцерковской опытно-селекционной станции Андрей Антонович Горлач, скрестив отцовский сорт «восход» с сортом «белоцерковская-198», получил сорт озимой пшеницы «белоцерковская-129», воспринявший от сорта «восход» высокую продуктивность, а от сорта «белоцерковская-198» требуемое качество клейковины. Новый сорт в 1962–1966 годах возделывался на больших площадях украинских полей. В Каменец-Подольском сельскохозяйственном институте (КПСХИ) селекционер Борис Иванович Хмелёв путём скрещивания сорта «восход» с сортом «белоцерковская-59» получил сорт озимой пшеницы «КПСХИ-13».

Жизненный путь Виктора Прокофьевича сложился так, что в некоторых его отрезках шёл, что называется, по стопам своего учителя: был в 1970–1976 годах директором Верхнячской опытно-селекционной станции, с 1976 года и поныне читает в своей альма-матер учебный курс, который много лет назад читал доцент Головцов, – «Селекция и семеноводство полевых культур». *«Благодарен судьбе, что она свела меня с моим учителем, который заинтересовал меня, студента, созданием новых сортов полевых культур, научил проводить наблюдения, учёт и анализы, отбирать наиболее ценные формы, любить поле и не уставать работать на нём с растениями»,* – написал мне Виктор Прокофьевич Сигида незадолго до сдачи в печать настоящей книги.



Юрий Николаевич Мишкuroв. Своеобразие селекционных подходов отца, тесно соприкасавшихся с генетическими исследованиями, бывшими до середины шестидесятых годов полузапретными, не лучшим образом сказалось на его аспиранте Юрии Николаевиче Мишкuroве. Окончив аспирантуру в 1967 году, молодой учёный ещё четыре года добивался защиты подготовленной им диссертации в ему назначенном Одесском селекционно-генетическом институте, где в то время отделом селекции пшеницы заведовал Фёдор Григорьевич Кириченко, скептически настроенный к теоретическим концепциям и практическим подходам селекционера Головцова. И только в 1971 году, когда критические стрелы от соратника Трофима Денисовича Лысенко поредели и ослабели, смог аспирант

Мишкурое успешно представить учёному совету института свою работу «Создание нового исходного материала для селекции кукурузы методом инъекций» и получить за это учёную степень кандидата сельскохозяйственных наук.

Следует отметить, что научное руководство диссертацией Юрия Николаевича мой отец взял на себя в 1964 году, незадолго до переезда нашей семьи в Брянск, на землю отцовских предков. Начало же творческого содружества этой пары началось ещё в 1957 году, когда Юрий Мишкурое, тогда студент Уманского сельскохозяйственного института, проникся селекционными идеями доцента Головцова и занялся под его началом первыми научными исследованиями методов инъекции растений. В том же году в сборнике «Пшеница в СССР» была опубликована статья Леонтия Аврамовича Головцова «Метод прививки зародыша пшеницы на чужеродный эндосперм», ставшая для Юрия Мишкурова руководством к действию. Уже в 1961 году молодой селекционер-новатор выступил в Московском университете на Всесоюзной конференции молодых учёных-биологов с докладом «Вегетативная гибридизация кукурузы».

Со студенческих лет и по настоящее время, без перемены места работы, трудится Юрий Николаевич в своём родном вузе. Помнит и глубоко чтит своего учителя в науке, собирает материал о его жизни, практической и исследовательской деятельности, много пишет о нём: *«Всех, кто работал и учился у Леонтия Аврамовича Головцова, покоряла, зачаровывала неисчерпаемая энергия и необычайная работоспособность, пытлиность и большой организаторский талант учёного. Наш учитель пользовался огромным авторитетом в научно-педагогической среде института и среди специалистов-аграриев. Методы прививок и инъекций на злаковых растениях были включены в учебник для студентов агрономических специальностей (М. М. Максимович. Селекция и семеноводство полевых культур. М., 1962, с. 104–109)».*

Отец и сын Билинкисы

Высочайшим пиететом в нашей семье, прежде всего у нашей мамы, пользовался доктор Семён Лазаревич Билинкис, многие годы (десятилетия!) бывший главным врачом городского родильного дома. В октябре 1946 года он обеспечивал благополучный выход на белый свет автора этих строк, а через полтора десятка лет, уже находясь в весьма преклонных годах, в деле этом помог и моей сестрёнке Тане.

Мама была в большой дружбе с нашим семейным благодетелем, часто бывала в гостях у него – общалась, советовалась с ним, с его женой Полиной Яковлевной, преподававшей в музыкальной школе. Жили Билинкисы в особнячке неподалёку от памятника генералу Черняховскому. Александр Туманов в своих воспоминаниях пишет: *«Билинкисы жили в замечательном, я бы сказал, барском доме, с чудным садом, просторной застеклённой верандой и множеством комнат, которые в детстве казались мне огромными, а позже, после войны, когда я начал приезжать в Умань и гостил в этом доме почти каждое лето, выглядели совсем не такими большими... Улица, на которой мы жили и по которой шли к Билинкисам от нашего дома, Садовая,*



позже улица Карла Маркса, если идти по ней прямо, никуда не сворачивая, вела в Софиевку, красу и гордость города».

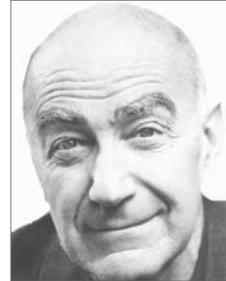
О биографии знаменитого уманского акушера сведений сохранилось, увы, мало. Кажется, родился он и вырос в местечке (на идише – штетл) Тальное Уманского уезда. О жительстве в нём семьи Билинкисов свидетельствуют воспоминания его отца, врача Лазаря Марковича Билинкиса, родившегося где-то около 1860 года. По себе он оставил память в виде мемуарных записок «О жизни внутри смерти», написанных им в 1922 году. В них он описал жизнь еврейства Тального в пору Гражданской войны и погромов на Украине 1918–1921 годов.

«Среди огромных документальных фондов, хранящихся в архивах Москвы и включающих показания очевидцев погромов, воспоминания Билинкиса выделяются по-особому: в них события увидены глазами образованного, либерально настроенного человека (он принадлежал к партии кадетов), политический опыт которого обеспечивал ему широту взглядов, способность поразительно современно показать динамику Гражданской войны на Украине, роль и место в ней украинского еврейства и, наконец, судьбы еврейского населения, штетла Тальное, где Билинкис лечил евреев и «украинско-русских крестьян» (так он их называл в записках)... В начале записок доктор Билинкис подробно пишет о своей деятельности в Тальном после «Великой русской революции», как он определял Февральскую революцию 1917 года. Однако о предыстории его появления в местечке доктор говорит вскользь, а именно в тот период формировалось его общественно-политическое лицо.

Билинкис происходил из семьи херсонских мещан. Учился на медицинском факультете Харьковского университета, был привлечён к дознанию по делу о харьковском народовольческом кружке (дело Вс. Гончарова и других). Хотя жандармское следствие не установило прямого участия Билинкиса в деятельности народовольцев, сам он в записках свидетельствовал: «Студентом я принадлежал к революционной организации „Земля и воля“, но после распада партии на народничество с террором, которого я не одобрял и не признавал, я ушёл от революционной работы и отдавался только культурной и общественной студенческой работе». В 1880-е годы после прокатившихся по царской России погромов он принимал живое участие в помощи еврейскому эмиграционному движению. В те же годы сформировалась его ассимиляторская позиция, которая в дальнейшем привела его в партию кадетов и которую он продолжал исповедовать в момент написания своих записок (1921). Поселившись в Тальном и работая в местной больнице, он продолжал активную общественную деятельность: во время выборов в Первую Государственную думу был арестован как организатор выбор-

ной кампании от кадетов в Тальном; на губернских выборах был выставлен кандидатом в Думу левыми группами и не прошёл. На выборах во Вторую Думу выставлялся кандидатом от еврейского населения Киевской губернии и также не прошёл. После Февральской революции был избран товарищем председателя местечкового совета, принимал участие в работе Уманского уездного исполкома. Пользовался авторитетом не только среди еврейского, но и украинского населения местечка».

Сын четы Билинкисов, Яков Семёнович, 1926 года рождения, окончил в 1950 году филологический факультет Московского университета. Как историк русской литературы специализировался на творчестве Льва Николаевича Толстого, на вопросах интерпретации русской классики в театре и в кино. С 1962 года – преподаватель кафедры русской литературы Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена; с 1970 года – доктор филологических наук, профессор.



О своём учителе замечательно написала (прекрасным русским языком, от него воспринятым) его бывшая студентка Елена Мироновна Гушанская (ныне – кандидат филологических наук, доцент Северо-Западного института печати):

«Он действительно был мастер воспитывать пламень. Хорошо помню постоянное ощущение грандиозности предмета, о котором он говорил, о чём бы ни шла речь: о плюшкинской куче или переживаниях Анны Карениной. Русская литература была для него своего рода формой божественного промысла (или замысла, или умысла), она была олицетворением нравственного начала, областью, где всё свершается по нравственному закону внутри нас. В его русской литературе не было плохих концов, потому что всё было истинно, всё способствовало раскрытию духовных сил человека, его нравственного начала...»

Лектор Билинкис был потрясающий. Фантастический. Делал с аудиторией что хотел, просто брал её голыми руками – при этом у него никогда не было ни проходного слова, ни проходной интонации, ни проходной паузы. Такая специфика воздействия на аудиторию бывает у оперных теноров. Яков Семёнович и был таким – блистательным тенором отечественной филологии. Где-то в фондах ленинградского радио, наверное, хранятся его лекции – в 70-е годы их было записано немало...

Телефонные разговоры с Яковом Семёновичем были упоительны, они всегда принимали форму светской болтовни, ни на минуту не становясь разговорами бытовыми. Он был величайшим мастером телефонного разговора – беседы со своей поэтикой и этикетом. Объяснял, ссылаясь, кажется, на Томашевского, что телефонный разговор должен заканчиваться «пуантом», и умело создавал «пуант» с замечательным послевкусием. Впрочем, этому же учил Штирлица Борман...

Яков Семёнович попал на фронт со школьной скамьи, он пережил космополитические погромы 50-х, антикультурную жвачку 70-х, безнадежность и беспросветность 80-х. Пришли 90-е – какая-никакая, но революция... Пришёл беспредел: всё то бесчеловечное и злое, что томилось под крышкой страха, вырвалось наружу – исторически обоснованно и ужасно...

Для Билинкисов этот беспредел обернулся дикой ситуацией, словно написанной Андреем Белым. Жена Якова Семёновича, Милица Николаевна, была известным в городе психиатром, и псих, негодяй со справкой, решил расправиться с семьёй лечащего врача. От угроз, державших семью в постоянном страхе, перешёл к делу: поджёг квартиру, и спасли их, что называется, чудом...

У него было ощущение художественной логичности происходящего (всё уже описано) и полной своей обречённости. Литература учит относиться к жизни серьёзно. В те годы ушли многие. Дело не в отсутствии порядка, дело в понимании истории. Яков Семёнович хорошо знал толк в историческом детерминизме...

Потом не стало Милицы Николаевны, и он перестал откликаться на эту жизнь».

На кладбище Санкт-Петербургского крематория есть могильная площадка, на которой установлена небольшая стела с выгравированными на ней надписями: «Билинкисы Семён Лазаревич (1892–1975), Полина Яковлевна (1894–1982), Яков Семёнович (1926–2001), Бобровская Милица Николаевна (1916–1998), Билинкис Михаил Яковлевич (1945–2007)».

Мой младший брат

Кто станет упрекать человека за многоречие, когда идёт дело о его друге? А я говорю здесь о родном брате. Брат – это друг, данный природою.

Николай Иванович Греч



Мой младший брат, уступающий мне тремя годами возраста, Виктор Леонтьевич Головцов, по моему твёрдому убеждению, установившемуся за более чем шесть десятков лет взаимного общения, относится к тем коренным уманчанам, которые – за дела и достижения на своём жизненном пути, за общественную значимость – могут быть без сомнения отнесены к числу значимых граждан города.

Ученик Уманской средней школы номер четыре (славной своими педагогами и результатами их работы), он высшее образование получал в знаменитом Ленинградском электротехническом институте (ЛЭТИ), окончив его в 1973 году

по специальности «электронные вычислительные машины». Трудовой (и научный) путь его начался в Ленинградском институте ядерной физики имени Б. П. Константинова, расположенном в Гатчине, в нём он продолжается, без перерыва, и по сей день. Ныне Виктор Леонтьевич – заведующий отделом, кандидат физико-математических наук, автор и соавтор более двух сотен научных публикаций, специалист по системам обработки данных в экспериментах по физике высоких энергий. В этом качестве он – человек твёрдого и основательного ума – уже много лет участвует в экспериментах, проводящихся на синхроциклотроне родного института (ныне – Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт») и на ведущих зарубежных ускорительных комплексах. Начиная с середины 1980-х и до конца 1990-х годов он, один из создателей систем считывания и отбора данных координатных детекторов, в составе международной коллаборации участвовал в экспериментах на гиперонном пучке Национальной лаборатории имени Ферми (США). Начиная с середины 1990-х годов совместно со специалистами Университета Флориды и других университетов США участвует в создании, эксплуатации и модернизации ряда электронных систем для экспериментов на Большом адронном коллайдере Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве. Виктор Леонтьевич является одним из авторов научной публикации об открытии новой элементарной частицы, предположительно бозона Хиггса. Весьма продуктивна деятельность отдела, вот уже более шестнадцати лет возглавляемого Виктором Леонтьевичем: системы электроники, созданные сотрудниками отдела, успешно применялись и применяются в научных центрах России, США, Франции, Германии, Швейцарии и других стран.



Но не только профессиональными достижениями в области науки и техники выделяется мой младший брат. От нашей мамы передался ему дар точного и ёмкого рисунка, развитый им до мастерства станковой живописи. В этом сильном своём увлечении он отдаёт предпочтение пейзажу. Маминому же влиянию, её культуре, глубокой эрудиции, увлечению русскими классиками обязан её сын Виктор своими литературными увлечениями, коим он отдаётся в редкие свободные минуты. Как вдумчивый почитатель и исследователь творчества Пушкина и Лермонтова, он с равной силой восхищается как величавым в своём созерцании Александром Сергеевичем, так и ропщущим, негодующим и страдающим Михаилом Юрьевичем. В последние годы увлёкся Виктор Леонтьевич исследованием жизни и творчества писателя и историка Николая Павловича Анциферова; разыскал его московских родственников, подружился с ними, поддерживает в своём новом исследовании отношения с Институтом мировой литературы, выступает на его конференциях, публикуется в его изданиях... Все помянутые интеллектуальные занятия, конечно же, не являются, как его научная деятельность, всем делом его жизни, но свидетельствуют о разносторонности его натуры, сообщают его личности особую привлекательность.

«В смысле характера, дитя есть отец взрослого». Характером своим (точнее – большей его частью) мой младший брат удался в маму, передавшую ему свою деликатность, доброту, сдержанность. Она же воспитанием своим добавила к свойствам его характера культуру поведения, совестливость, честность, порядочность, обязательность в межлических отношениях (его дружба – твердыня, на которую можно положиться). Отец, вечно занятый своей селекцией злаковых культур, в воспитании сыновей участвовал эпизодически, пытаясь время от времени на деле утвердить свой взгляд на педагогику как на механизм преимущественно трудового воспитания (чем, кстати, очень услужил своим отрокам в их взрослой жизни). Тем не менее с годами выяснилось, что сыну Виктору он передал из свойств своей натуры работоспособность, целеустремлённость, вкус к исследовательской работе.

Итак, весь текущий воспитательный процесс в нашей семье был сосредоточен в маминых руках и обеспечивался её практическим умом и житейской мудростью. Ей же приходилось разрешать иногда возникавшие конфликты сыновей с руководством школы. Более конфликтным в этом отношении был старший сын, у младшего проблемные ситуации возникали крайне редко, но одна из них выпала как раз на 12 апреля 1961 года. В этот необыкновенно тёплый весенний день наиболее отважная часть учеников класса, в котором обучался и был старостой Виктор, не ведая о свершившемся выдающемся событии, прогуляла урок труда – отдохнули, расслабились ребята на одной из полян Софиевского парка. В начале следующего урока в классную комнату торопливой походкой вошёл завуч, Василий Васильевич Романченко, только что узнавший космическую новость, и, обращаясь к личному составу пятого класса, начал торжественную речь: «В то время как первый в мире космонавт гражданин Советского Союза майор Юрий Гагарин покоряет небесные дали, некоторые ученики вашего класса во главе со старостой позволяют себе прогуливать уроки...»

В Умани наша семья жила до 1964 года, после чего (без меня, поступившего в тот год в ленинградский институт) переехала под Брянск, на сельскохозяйственную опытную станцию, где отец, по конкурсу, был назначен заведующим отделом селекции злаковых культур. Мой младший брат, к этому времени учившийся в девятом классе, город нашего детства оставил с превеликим сожалением. Но позже не раз в него возвращался, посещая обязательно в каждый приезд свою любимую учительницу математики и физики Марию Павловну Пустовит, благодарил её за науки.

В 1967 году Виктор, по моему примеру, поступил в Ленинградский электротехнический институт. Учились мы с ним одной специальности, слушали одних и тех же лекторов, некоторое время жили в одной комнате общежития на Мурынском проспекте, вместе устраивали знаменитые весенние карнавалы, ещё хранившие атмосферу широко известных мюзиклов «Весна в ЛЭТИ», вместе в летние каникулы ездили строить коровники на казахстанской целине.

Незадолго до окончания институтской учёбы мой младший брат женился на брянчанке Наталье Владимировне, вот уже более четырёх десятков лет обеспечивающей ему надёжный семейный тыл. В 1973 году у них родился сын

Александр, с малолетства заявивший о себе как о серьёзной и ответственной личности. С наступлением весны родители переправляли его к бабушке и дедушке в посёлок Толмачёво, что под Брянском. Бабушка его в ту пору командовала детским садиком, и внук был всегда с нею – и дома, и на работе. Когда Саша немного подрос, дед-тракторист взял его к себе напарником. Они вместе пахали, бороновали, убирали урожай, ремонтировали технику. Напарник Саша быстро и очень органично вписался в состав тракторной бригады, знал все производственные и бытовые нюансы жизни трактористов, особенности их профессиональной лексики. Значимостью исполняемого им дела проникся настолько, что на вопрос взрослых: «Саша! Ты, когда вырастешь, наверное, будешь профессором?» – он с возмущением отвечал: «Профессором... А кто землю пахать будет? Трактористом буду, как дедушка!»

Ныне Александр Викторович Головцов – руководитель управления аналитических исследований крупной инвестиционной компании, живёт и работает в Москве. Его аналитические комментарии по ситуациям на фондовых рынках доступны «вживую» на телеканале РБК и в печатном варианте – на страницах газет и журналов. В своё время Александр очень удачно женился. Его жена, очаровательная Лена, натура энергичная и эмансипированная, имея за плечами два высших образования, успешно совмещает деловую деятельность с поддержанием высокого уровня семейного быта и, самое главное, с воспитанием (конечно, под творческим началом мужа!) двух очаровательных дочурок – Елизаветы и Екатерины. И этот рассказ, собственно говоря, для этих девочек. Чтобы они, когда станут очень, очень взрослыми, могли рассказать своим детям, каким замечательным человеком был их прадедушка – Виктор Леонтьевич Головцов.



Его эссе «У обелиска близ Чёрной речки», приготовленное к Вторым московским Анциферовским чтениям, – тонкое, лирическое, очень информативное – представлено ниже.

У обелиска близ Чёрной речки

В. Л. Головцов

Дуэль происходила близ Чёрной речки, за Комендантской дачей... Здесь Пушкин получил смертельную рану.

В дни, когда угасала его жизнь, толпы народа стояли на набережной канала перед домом Волконской; затаив дыхание, ожидали вестей. Но надежды были тщетны. Пушкин скончался 29 января (старого стиля) 1837 года. <...> Петербург в это время, по свидетельству очевидцев, напоминал Париж в дни революции.

Н. П. Анциферов. Петербург Пушкина

*«Пушкин является в той же мере творцом образа Петербурга, как Петр Великий – строителем самого города», – так выразил своё мнение мой знаменитый земляк Николай Павлович Анциферов. Этот город необыкновенной красоты, гармонии пространства и белых ночей был для Пушкина источником вдохновения, символом величия России, местом обитания семьи и многочисленных друзей. Этому городу, где прошли лучшие годы юности и годы зрелости, наивысшего напряжения духовных сил, творческого подъёма и бранных житейских проблем, он посвятил свой поэтический гимн «Люблю тебя, Петра творенье...». И в нем же наступила трагическая развязка – дуэль близ Чёрной речки, апофеоз страданий и фатализма в судьбе. После 27 января 1837 года всякое упоминание этой ставшей исторической местности ассоциируется для русского человека со смертельным поединком Пушкина. Дух места, *genius loci*, обитающий в сквере у всенародно известного обелиска, доступен для общения каждому, кто искренне, без патетики и громких слов чтит память величайшего поэта всех времён и народов.*

Местность близ Чёрной речки

Всякий раз, когда есть возможность побывать 8 февраля у обелиска, я делаю свой первый шаг пути к нему около четырёх часов пополудни на перроне станции метро «Чёрная речка». Изысканно-строгий внешний вид этой станции, открытой в 1982 году, обращён к *«чувствам добрым»* памяти Александра Сергеевича и создаёт ощущение гармонии пространства, сотворённого в земной глубине. Бронзовый Пушкин работы Аникушина стоит в кры-

латке у торцевой стены бежевого мрамора, на отворотах крылатки – мех, у ног – вазы с цветами. Усталое, отрешённое лицо, кисти рук выразительно скрещены; кажется, он ожидает окончания приготовительных процедур предстоящей дуэли и вот-вот спросит, скоро ли это закончится. Условия дуэли смертельные, и Поэт, подошедший к моменту истины, не безвольно, но *«смирненно склоняется перед неизъяснимым»*. О чём были его мысли перед вечностью? О том ли, что ещё далеко не закончил свою исповедь в поэзии и прозе? Или о том, что, оставляя семью, не сделал последних распоряжений по немалым долгам? Или о *«родном пепелище и отеческих гробах»*, любовь к которым иссякнет лишь с последним земным вздохом и перейдёт в иные миры? Или, может быть, он повторяет строки своего переложения сирийского поэта и философа преподобного Ефрема Сирина:

...Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи...



Выйдя из метро, привычно направляюсь налево, по набережной Чёрной речки, дохожу до Ланского моста и перехожу на другую сторону набережной, где начинается одноимённое шоссе. Мне хорошо знакома эта местность от левого берега Чёрной речки до проспекта Энгельса, входившая в 1970-х годах в мой студенческий ареал обитания на Выборгской стороне, центр которого находился в доме номер один по Первому Муринскому проспекту.

Местность эта, получившая название «Мыза Ланская», была пожалована Екатериной II воспитаннику Потёмкина – Александру Дмитриевичу Ланскому, генерал-поручику, генерал-адъютанту, действующему камергеру и вместе с тем любимому фавориту, незадолго до его странной, трагической смерти двадцати шести лет от роду в июле 1784 года¹. Екатерина II так описывала болезнь и смерть Ланского: *«Злокачественная горячка в соединении с жабой свела его в могилу в пять суток»*. Незадолго до случившейся трагедии она начала писать письмо барону Фридриху Гримму и закончила его уже после похорон: *«Когда я начинала это письмо, я была счастлива, и мне было весело, и дни мои проходили так быстро, что я не знала, куда они деваются. Теперь уже не то: я погружена в глубокую скорбь, моего счастья не стало. Я думала, что сама не переживу невознаградимой потери моего лучшего друга, постигшей меня неделю тому назад. Я надеялась, что он будет опорой моей старости: он усердно трудился над своим образованием, делал успехи, усвоил мои*

¹ *Ширяев Н. Л.* Царскосельская легенда и действительность // Исторический вестник. 1892. Т. 48. № 5. С. 582.

вкусы. Это был юноша, которого я воспитывала, признательный, с мягкой душой, честный, разделяющий мои огорчения, когда они случались, и радовавшийся моим радостям. Словом, я имею несчастье писать вам, рыдая... Не знаю, что будет со мною; знаю только, что никогда в жизни я не была так несчастна, как с тех пор, как мой лучший и дорогой друг покинул меня...»²

Владели этой местностью Ланские до 1889 года, вплоть до продажи имения в департамент уделов. Среди владельцев был министр внутренних дел, один из авторов крестьянской реформы Сергей Степанович Ланской, упоминаемый Пушкиным в качестве «Ланского, что губернатором в Костроме», в коллективном, полном юмора стихотворении «Надо помянуть, непременно помянуть надо»³. Его жена, Варвара Ивановна Ланская, урождённая княгиня Одоевская, содержала популярный в столице литературный салон, который посещал и Пушкин. Одним из его друзей был двоюродный племянник Варвары Ивановны – писатель, журналист, литературный и музыкальный критик, соредактор послепушкинских изданий «Современника» Владимир Фёдорович Одоевский. В 1830 году началось их сотрудничество в «Литературной газете» и затем в «Северных цветах». В 1836 году Одоевский становится деятельным помощником Пушкина в редактировании и издании «Современника», публикует там несколько своих статей. Ему принадлежит написанная незадолго до смерти Александра Сергеевича статья «О нападении петербургских журналов на русского поэта Пушкина»⁴ и некролог на смерть поэта («Солнце русской поэзии закатилось»). Второй двоюродный племянник Варвары Ивановны – блестяще и всесторонне образованный князь Александр Иванович Одоевский, поэт, декабрист. Он был автором поэтического ответа декабристов на послание им в Сибирь Пушкина: «*Струн вещей пламенные звуки / До слуха нашего дошли...*» Элитный аристократ, сын боевого генерала, Александр Одоевский сознательно шёл на смерть 14 декабря 1825 года в надежде на обновлённое будущее России. «*Мы умрём. Ах, как славно мы умрём!*» – восклицал он накануне восстания. Трогательная дружба связывала Одоевского с Лермонтовым, посвятившим памяти друга свои поэтические строки: «*Я знал его: мы странствовали с ним / В горах востока, и тоску изгнанья / Делили дружно...*»

Собственно, Чёрной речкой местность стала называться с начала девятнадцатого века, когда здесь появились загородные дома. И довольно скоро эта живописная окраина Петербурга стала популярным местом отдыха: здесь часто устраивались народные гуляния, а летом петербуржцы, имевшие на то средства, снимали жильё. Пушкин во время работы над историей Пугачёва снимал тут с семьёй дачу Миллера, которая находилась на месте нынешнего дома номер пятьдесят семь по Белоостровской улице. Здесь у них родился сын Александр, отсюда Александр Сергеевич совершал свои пешие переходы в столичные архивы.

² *Балязин В. Н.* Жизнь и смерть Александра Ланского // Тайны дома Романовых. М: Олма Медиа Групп, 2012. С. 56–57.

³ *Пушкин А. С.* Сочинения: в 10 т. – М.: Художественная литература, 1959. Т. 2. С. 619–621.

⁴ Русский архив, 1864. № 7–8. С. 824–831.

Одновременно визитной карточкой этой уединённой и в то же время имеющей хорошую дорожную связь с центром Петербурга местности стали дуэли. Сколько их здесь было вплоть до начала двадцатого века, того неведомо. Со времён Петра дуэли на Руси были запрещены, и за них полагалась смертная казнь, ни разу, кажется, не применённая. Такой кровавый способ разрешения конфликтов не мог считаться и справедливым: на поединках побеждала не справедливость, а случай, умение, удача. И всё же дуэль позволяла напрямую воззвать к некоей высшей справедливости и, хотя и рискуя собственной жизнью, поставить недоступного человеческому суду обидчика к барьеру, в очном поединке решить несовместимые с понятиями чести и достоинства проблемы. В этом выборе оскорблённого человека появлялась возможность возвыситься над писаными, а тем более над неписаными законами общества.

Вошедшие в историю дуэли близ Чёрной речки либо прямо связаны с поединком Пушкина, как это было у Лермонтова, либо несут в себе частицу этого поединка, как это было у поэтов Серебряного века, решивших испытывать судьбу *«если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то во всяком случае современной ему»*⁵. В том же ряду может быть упомянута дуэль Чернова и Новосильцева, где одним из секундантов был Кондратий Рылеев, с которым, весьма вероятно, Пушкин и сам сходил в поединке. Гипотезу о том, что эта дуэль *«состоялась приблизительно 1 мая 1820 года»* в рылеевском имении Батово, под Гатчиной, выдвинул в своё время Владимир Набоков⁶. Судьбы поэтов, имевших прямое отношение к дуэлям близ Чёрной речки – Рылеева, Гумилёва, Пушкина, Лермонтова, – трагичны: двое признаны существовавшим правосудием государственными преступниками и казнены, а смерть на поединках двух других стала великим несчастьем и настоящей катастрофой для России.

В Новой Деревне, у Чёрной речки

Он писал стихи, насыщенные терпкой прелестью, обвеянные ароматами высоких гор, жарких пустынь, дальних морей и редких цветов, прекрасные, полнозвучные, упругие стихи, в которых краткая и ёмкая форма вмещает гораздо больше, чем сказано. Странствующий рыцарь, аристократический бродяга, – он был влюблён во все эпохи, страны, профессии и положения, где человеческая душа расцветает в дерзкой героической красоте.

А. И. Куприн. Крылатая душа

Недалеко от Ланского моста, в районе нынешней железнодорожной станции Новая Деревня, на рассвете 22 ноября 1909 года стрелялись Макси-

⁵ *Волошин Максимилиан*. Воспоминания о Черубине де Габриак // Николай Гумилёв в воспоминаниях современников. Репринтное издание. М.: Вся Москва, 1990. С. 145.

⁶ *Набоков Владимир*. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб.: Искусство, 1988. С. 357–358.



милиан Волошин и Николай Гумилёв. Накануне Волошин прилюдно, в Мариинке, дал пощёчину Гумилёву, вступившись, по его мнению, за честь молодой поэтессы Елизаветы Дмитриевой – героини мистификации, в которой Волошин был автором идеи, руководителем проекта и режиссёром-постановщиком...

А начиналась история с мистификацией в августе 1909 года, когда редактор журнала «Аполлон» Сергей Константинович Маковский получил письмо от неизвестной поэтессы, предлагавшей свои стихи. *«Поэтесса, – вспоминал потом Маковский, – как бы невольно проговаривалась о себе, о своей пленительной внешности и о своей участи, загадочной и печальной»*. Почерк её был изящен, бумага пропитана пряными духами, листки стихов переложены засушенными растениями. Вскоре таинственная незнакомка сама позвонила Маковскому, и тот услышал обворожительный голос. Были присланы ещё несколько стихотворений, и вся редакция «Аполлона» безоговорочно решила их печатать. Постепенно из телефонных бесед и стихов становилось известно, что у незнакомки бронзовые кудри, бледное лицо с ярко очерченными губами, что она испанка, ревностная католичка, что ей восемнадцать лет, что строгое воспитание получила она в монастыре и находится под надзором отца-деспота и монаха-иезуита, её исповедника. Чарующей музыкой звучало её имя – Черубина де Габриак, и стихи ее были изысканны:

Царицей призрачного трона
Меня поставила судьба...
Венчает гордый выгиб лба
Червонных кос моих корона.

Но спят в угаснувших веках
Все те, кто были бы любимы,
Как я, печалию томимы,
Как я, одни в своих мечтах.

И я умру в степях чужбины,
Не разомкну заклятый круг.
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины?

Не только Маковский, мечтавший и умолявший о свидании, но и большинство «аполлоновцев» влюбились в прекрасную незнакомку, не сомневаясь в её красоте. Надо полагать, Николай Гумилёв догадывался, кто именно скрывается под именем Черубины де Габриак, поскольку имел возможность изучить поэтический материал Елизаветы Дмитриевой во время романтического периода их отношений. Знал о мистификации Алексей Толстой, безуспешно пытавшийся уговорить друга Волошина подумать о последствиях и прекратить спектакль. Но только спустя три месяца слишком далеко, вплоть до галлюцинаций героини, зашедшая история завершилась признанием Елизаветы Дмит-

риевой своему милому другу Иоганнесу фон Гюнтеру, и тот немедленно понёс сенсационную новость «в массы». В ходе последовавших событий Гумилёву было брошено обвинение в том, что он якобы нелюбезно высказался в адрес Дмитриевой. В своих воспоминаниях Алексей Николаевич Толстой по этому поводу написал: *«Здесь, конечно, не место рассказывать о том, чего сам Гумилёв никогда не желал делать достоянием общества. Но я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему, в произнесении некоторых неосторожных слов было ложно: слов этих он не произносил и произнести не мог. Однако из гордости и презрения он молчал, не отрицая обвинения, когда же была устроена очная ставка и он услышал на очной ставке ложь, то он из гордости и презрения подтвердил эту ложь»*⁷.

Из всей возникшей путаницы, мистификации и лжи с последующим прилюдным оскорблением Николай Гумилёв видел только один выход – дуэль на пяти шагах до смерти одного из соперников. Лишь с большим трудом в результате двухдневных переговоров секундантам во главе с Алексеем Толстым удалось увеличить дистанцию до пятнадцати шагов. Стреляться решили на Чёрной речке, непременно на пистолетах пушкинской поры. Распорядителем дуэли выбрали Толстого, секунданта Волошина. После первого счёта на три раздался выстрел Гумилёва – он промахнулся. Ответного выстрела не последовало – у Волошина, по его утверждению, была осечка. Гумилёв потребовал второго выстрела противника и вновь подошёл к барьеру. Толстой слышал, как щёлкнул курок, но выстрела не было. Почувствовав неладное, он подбежал к Волошину, выдернул из его дрожащей руки пистолет и, целя в снег, разрядил. Гумилёв настаивал на третьем выстреле, но секунданты, посоветовавшись, объявили дуэль законченной...

Пройдёт двенадцать лет, и Николай Степанович Гумилёв вновь окажется под пулями в Петрограде. Он, русский офицер, дважды кавалер Георгиевского креста, убеждённый монархист, не примет случившихся революций, не оставит Россию, страшно возмутится расстрелом царской семьи, воскликнув *«Никогда им этого не прощу!»*, 3 августа 1921 года будет арестован по делу так называемой Петроградской боевой организации («заговор» Таганцева), и в ночь с 24 на 25 августа 1921 г. его расстреляют. Исполнители расстрела будут поражены его самообладанием, не ведая, конечно, того, что для Гумилёва любой человек лишь *«настолько человек, насколько побеждает свой страх»*. Он, поэт, романтик, авантюрист, путешественник, покоритель женских сердец, всегда будет идти по линии наибольшего сопротивления. Его путешествия в любимую Африку отнюдь не будут туристическими поездками туда, где на озере Чад *«изысканный бродит жираф»*. Это будут серьёзные исследовательские экспедиции, которые доберутся до мест, где ещё не видели белых людей. И встречать там Гумилёва будут по-разному:

Вождь их с рыжею шапкой косматых волос
Смертный мне приговор произнёс,

⁷ Толстой Алексей. Николай Гумилёв // Николай Гумилёв в воспоминаниях современников. Репринтное издание. М.: Вся Москва, 1990. С. 41.

И насмешливый взор из-под спущенных век
Видел, сколько со мной человек.

Завтра бой, беспощадный, томительный бой
С завывающей чёрной толпой.

Под ногами верблюдов сплетение тел,
Дождь отравленных копий и стрел.

На Первую мировую Николай Степанович, обладатель белого билета, пойдёт добровольцем и воевать «за Веру, Царя и Отечество» будет не где-нибудь, а в разведке лейб-гвардии Уланского полка, где запредельная храбрость считалась нормой. И Георгиевские кресты ему дадут не просто так, и офицерское звание он тоже заслужит на поле боя. Революцию Гумилёв встретит во Франции, где будет находиться в составе русского экспедиционного корпуса. Там, в сентябре 1917 года, в русском военном лагере Ля-Куртин случится эпизод, который мог и без «дела Таганцева» решить судьбу поэта в послереволюционной России применением «*высшей меры социальной защиты*». Тогда на подавление взбунтовавшихся после работы агитаторов частей русского экспедиционного корпуса были выдвинуты оставшиеся верными Временному правительству войска. Мятеж подавят «с применением массивного артиллерийского обстрела», и одним из участников подавления будет офицер для поручений при комиссаре правительства Николай Гумилёв.

А после октября 1917 года поэт совершит очередной «перпендикулярный» поступок – кружным путём через Лондон и Мурманск проберётся из Парижа в революционный Петроград. И там, в условиях голода, холода, дизентерии, тифа и, наконец, красного террора, разовьёт невероятную активность. Он будет вести занятия, читать лекции в Доме искусств, в Пролеткульте, в Балтфлоте, в Институте живого слова, в «Звучащей раковине» и в Клубе петроградской милиции. Наконец, он возродит свой «Цех поэтов», организует его издательскую деятельность, переиздаст свои «Романтические цветы» и «Жемчуга» и затем издаст три новые книги. В середине 1918 года Гумилёв по предложению Горького начнёт работу в издательстве «Всемирная литература», где будет писать предисловия и примечания, править чужие переводы и много переводить сам. В это же время возродится и бывшее противостояние символистов и акмеистов, которое приобретёт очертания персональной оппозиции «Блок – Гумилёв». Триада же «За Веру, Царя и Отечество», с которой воевал на фронтах Гумилёв, к 1921 году претерпит существенные изменения. Династия Романовых будет сначала предана, а затем обезглавлена, Отечество – Российская империя – сократится и, по сути, это будет уже другая страна. Останется Вера, и поэт будет размахисто креститься на храмы, истово молиться; частью его Веры будет и эта торопящаяся активность последних трёх земных лет. За десять месяцев до гибели, в октябре 1920 года, Гумилёв закажет в Знаменской церкви поминальную службу «*боярину Михаилу*» (своему любимому поэту Лермонтову), и во время службы ему покажется, что единожды батюшка всё-таки произнесёт: «*За упокой раба божия Николая*». А в последний свой земной день он напишет на стене одиночной камеры:

«Господи, прости мои прегрешения! Иду в последний путь. Н. Гумилёв».
И, может быть, на этом коротком пути, пройденном им с улыбкой да с выкуренной папиросой, он будет повторять строки из своего «Рыцаря счастья»:

Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.

Пусть он придёт, я расскажу ему
Про девушку с зелёными глазами,
Про голубую утреннюю тьму,
Пронзённую лучами и стихами.

Пусть он придёт! Я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово...

Пройдёт ещё восемь лет, и смертное колесо «классовой борьбы» докатится до Николая Павловича Анциферова, и уже он, арестованный по делу общества «Воскресение», на стене одиночной камеры оставит свою запись – отрывок из стихотворения Владимира Соловьёва «Бедный друг, истомил тебя путь...»:

Смерть и Время царят на земле, –
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Для узников *«дома на Шпалерной»*⁸ эти строки будут лучиком света в их страшных испытаниях. Люди, знавшие Николая Павловича, не сомневались в том, что эти строки написал именно он – таков был нравственный авторитет этого человека. А сам Николай Павлович напишет об этих днях Вербной недели 1929 года: *«Упал нож гильотины и надвое разрубил мою жизнь. То, что осталось позади, было полно смысла. А что впереди, да и будет ли это «впереди»? Или скоро кончится? Совсем кончится. Исход дела лицестов и дела Таганцева нам был известен. Можно было ожидать всего, надо быть ко всему готовым...»*⁹

⁸ Из городского фольклора:

На улице Шпалерной
Стоит волшебный дом:
Войдёшь в тот дом ребёнком,
А выйдешь – стариком.

Жжёнов Георгий. Рассказы // <http://www.litmir.net/br/?b=46068&p=12>

⁹ *Анциферов Н. П.* Из дум о былом. – М.: Феникс: Культурная инициатива, 1992. С. 328.

У Парголовской дороги, за Чёрной речкой



Он подражал в стихах Пушкину и Байрону и вдруг начал писать нечто такое, где он никому не подражал, зато всем уже целый век хочется подражать ему. Но совершенно очевидно, что это невозможно, ибо он владеет тем, что у актёра называют «сотой интонацией». Слово слушается его, как змея заклинателя: от почти площадной эпитафии до молитвы. Слова, сказанные им о влюблённости, не имеют себе равных ни в какой из поэзий мира...

А. А. Ахматова

Михаил Юрьевич Лермонтов был обречён, с тех пор как написал своё гневное стихотворение «Смерть поэта», помеченное на одном из списков кем-то из «доброжелателей» как «Воззвание к революции» и отправленное почтой государю императору. Обнародовав это стихотворение с добавленными к нему эпиграфом и заключительными шестнадцатью строками, Лермонтов бесстрашно стал на сторону покойного Пушкина и принял бесчестие и ссылку на Кавказ со спокойным мужеством мученика. «Светские цепи» по возвращении поэта в Петербург добавили ему новых врагов, и вскоре после маскарада по случаю нового, 1840 года, где Лермонтов надерзил двум молодым дамам в голубом и розовом домино, «не узнав» в них великих княжон, он пишет стихотворение, ставшее, очевидно, ключевым в дальнейшем развитии событий:

Как часто, пёстрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шёпоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски,

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки, –
Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.

<...>

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю
И шум толпы людской спугнёт мечту мою,
На праздник незванную гостью,
О, как мне хочется смутить весёлость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

Это язвительное стихотворение, опубликованное в «Отечественных записках» под названием «1 января», вызвало негодование света. И вскоре закручивается интрига с участием очередного замеченного в волокитстве француза – молодого и пылкого Эрнеста де Баранта. Из чых-то запасников, как из табакерки, вдруг «выскакивает» старая, ещё юнкерская плодоягодная эпиграмма Лермонтова на его влюбчивого соученика Шаховского: «*О как мила твоя богиня. / За ней волочится француз...*», где под богиней подразумевалась гувернантка семейства, посещаемого Шаховским, а под французом – офицер юнкерской школы Клерон. Чья-то умелая рука слегка модифицирует первую строку («*О как мила моя богиня*») и переадресовывает эпиграмму самому Лермонтову в связи с его увлечением княгиней Марией Щербатовой, к которой де Барант, «*приволакивавшийся за женою консула в Гамбурге Бахерахт*», испытывает безответные чувства «*салонного Хлестакова*». Тем не менее уязвлённое самолюбие менее удачливого кавалера де Баранта можно считать лишь третьестепенной причиной возникшего противостояния с Лермонтовым. Графиня Евдокия Петровна Ростопчина в письме Александру Дюма упоминала иную, главную причину: «*Несколько успехов у женщин, несколько салонных волокитств вызвали против него вражду мужчин; спор о смерти Пушкина был причиной столкновения между ним и г. де Барантом, сыном французского посланника...*»¹⁰ К этому можно добавить свидетельство караульного офицера Горожанского о высказывании арестованного после дуэли Лермонтова, где он проводил аналогию между двумя соплеменниками: «*Эти Дантесы и де Баранты – заносчивые сукины дети!*»¹¹ В почти дословно описанном эпизоде ссоры с Лермонтовым 16 февраля на балу у графини Лаваль¹² француз явно напрашивается на дуэль, ведёт разговор во всё более непростительном для чести тоне. И сам же делает вызов, считая себя оскорблённой стороной. Михаил Юрьевич с этим соглашается и, похоже, делает это сознательно, полагая за собой право на оскорбление «*этих Дантесов и де Барантов*»...

Испытывали судьбу за Чёрной речкой, у Парголово́й дороги (ныне проспект Тореза), предположительно на южной окраине нынешнего Сосновского парка, в воскресенье, 18 февраля 1840 года. Сначала, по условиям француза, дрались на французских шпагах. Лермонтов не был искущён в таком фехтовании: он русский кавалерийский офицер, и его оружие – сабля. После нескольких выпадов у Лермонтова ломается конец шпаги, и де Барант наносит ему скользкий удар в грудь. Рана неглубокая, острие шпаги проходит вдоль правого бока, но у Лермонтова из царапины пошла кровь. Затем перешли на пистолеты с барьером в двадцать шагов. Выдержав выстрел сопер-

¹⁰ *Ростопчина Е. П.* Из письма к Александру Дюма (1858) // Талисман: Избранная лирика. Драма. Документы. Письма, воспоминания. М.: Московский рабочий, 1987. С. 284.

¹¹ *Висковатов П. А.* Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М.: Современник, 1987. С. 286.

¹² *Герштейн Э.* Судьба Лермонтова. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Художественная литература, 1986. С. 6.

ника, Лермонтов, по свидетельству очевидцев вгонявший при стрельбе пулю в пулю, выстрелил «на воздух», что по неписаным дуэльным канонам считалось оскорбительным для соперника. Но француз до времени того не ведал...

10 марта Лермонтов был арестован и отправлен на гауптвахту. Судебное дело должно было бы завершиться достаточно мирным для него исходом. 15 марта Белинский пишет в Москву В. П. Боткину: «Государь сказал, что, если бы Лермонтов подрался с русским, он знал бы, что с ним делать, но когда с французом, то три четверти вины слагается»¹³. Было известно предубеждённое отношение государя императора к Июльской монархии, а значит, и к посланнику короля Луи Филиппа. Военно-судная комиссия установила, что Лермонтов «вышел на дуэль не по одному личному неудовольствию, но более из желания поддержать честь русского офицера». Находясь под арестом, Михаил Юрьевич много читал, написал свою изумительную балладу «Воздушный корабль», этапное из социально-эстетической проблематики стихотворение «Журналист, читатель и писатель», подготовил к изданию сборник своих стихов (вышел осенью 1840 года).

Но дуэль рушила планы Барантов, ожидавших назначения сына вторым секретарём посольства в России. К тому же пошли слухи, основанные на показаниях Лермонтова о его выстреле «на воздух», невыгодные для репутации француза. Де Барант спешно обходит все знаковые гостиные Петербурга и обвиняет Лермонтова во лжи. В результате на состоявшейся 22 марта вечером встрече на гауптвахте происходит объяснение, на котором Лермонтов при двух свидетелях заставляет де Баранта признать правоту своих слов под угрозой готовности ответить на возможный новый вызов противника. Слухи о подробностях встречи противников на гауптвахте доходят до военного начальства и вызывают некое подобие гнева из-за самовольного ухода на некоторое время из-под ареста Лермонтова и нового вызова на дуэль, хоть и в предположительной форме. Это осложняет дело. Родители де Баранта, обращаясь к великому князю Михаилу Павловичу, настаивают на том, что Лермонтов вызвал их сына на дуэль. Их поддерживает Бенкендорф, им сострадает семейство Нессельроде. И все дальнейшие события, включая требование письменного извинения Лермонтова перед де Барантом, показывают, что главными врагами поэта были уже отметившиеся в истории гонители Пушкина. При сочувствии и поддержке, как и при убийстве Пушкина, той же команды «доброжелателей» от большого света.

13 апреля последовала конфирмация его императорского величества «Поручика Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк тем же чином» с добавлением «исполнить сего же дня». Странник, духовный изгнанник Лермонтов отправляется во вторую, теперь уже последнюю ссылку на Кавказ. Ему двадцать пять лет, но на его творческом счету более трёх сотен стихотворений (разного, конечно, достоинства, но в их числе и «Ангел», и «Смерть поэта» и «Бородино», и «Дума», более десятка поэм, включая «Де-

¹³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. XI. С. 496.

мона» и «Мцыри», пять написанных в прозе и стихах драм, одна из которых – «Маскарад», два неоконченных романа и один уже изданный – «Герой нашего времени»). И полная драматических событий жизнь – офицерская служба под пулями хищников на Кавказе, первая дуэль и вторая ссылка, причем не в тихое имение, а на войну. Жизнь его сопровождается шепотком сплетен, а потом они переходят в легенды, мемуары, исследовательские труды. По иным из них вполне можно сделать вывод, что Лермонтова при жизни видели мрачным, дерзким, надменным, если не Демоном, то, во всяком случае, Фаталистом. Но открыв словарь языка поэта, можно обнаружить, что любимыми лермонтовскими глаголами были: «знать», «любить», «хотеть», «видеть», «говорить», «жить». А любимыми существительными – «душа», «сердце», «жизнь», «Бог», «слово», «люди», «человек». Стараясь постичь жизнь великого поэта, не перестаю удивляться, насколько спрятана подлинная духовная жизнь Лермонтова от нескромных, любопытных глаз, но и кажется открытой для глаз ищущих, познающих и сострадающих...

Провожая Лермонтова на Кавказ, Владимир Фёдорович Одоевский подарил ему записную книжку с надписью: «Поэту Лермонтову даётся сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил её сам, и всю исписанную». В неё поэт вписал свои прощальные шедевры: «Спор», «Сон», «Тамара», «Свидание», «Листок», «Выхожу один я на дорогу...» и другие стихи, а также черновой набросок «Штосса». Сам поэт вернуть другу записную книжку не смог и всю книжку не исписал – не успел. И в последнюю встречу, и раньше они спорили о религии, и, наверное, поэтому Одоевский записал в той же книжке из Евангелия: «Держитесь любви, ревнуйте же к дарам духовным да пророчествуйте. Любовь николе отпадёт». Возможно, продолжая тему споров, Лермонтов написал стихотворение «Пророк», оказавшееся последним в записной книжке, дальше уже шли чистые листы...

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведение пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено камня...

15 июля 1841 года между шестью и семью часами вечера у Перкальской скалы, на окраине прифронтового города Пятигорска, отставной майор Николай Мартынов застрелил поручика Михаила Лермонтова при обстоятельствах, до сего времени неясных.

За Чёрной речкой, в Лесном



... А ты, брат наших ты сердец,
Герой, столь рано охладельный,
Взнесись в небесные пределы:
Завиден, славен твой конец!

Ликуй: ты избран русским богом
Всем нам в священный образец!
Тебе дан праведный венец!
Ты чести будешь нам залогом!

В. Кюхельбекер. На смерть Чернова

На окраине парка Лесотехнической академии (ранее – Лесного института, альма-матер Павла Григорьевича Анциферова), там, где от проспекта Энгельса начинается Новороссийская улица (бывшая Новосильцевская), есть два двухэтажных дома. Ещё в пору моей студенческой юности между ними была старинная ограда с необычным и печальным узором – ветками лавра с крупными чёрными цветками, переплетавшими чугунную решётку. Дальше за домами, на уединённой аллее, на расстоянии десяти шагов друг от друга, врыты в землю две круглые гранитные тумбы. В 1988 году рядом с ними появилась гранитная стела в память о гибельной для обоих соперников дуэли, состоявшейся на рассвете 10 сентября 1825 года. Стрелялись подпоручик лейб-гвардии Семёновского полка, член Северного тайного общества Константин Чернов и флигель-адъютант, поручик лейб-гвардии Гусарского полка Владимир Новосильцев.

Красавец гусар, внук знаменитых Орловых, хорошо образованный, музыкально одарённый, Владимир Новосильцев влюбился в семнадцатилетнюю девушку, Екатерину Чернову, отличавшуюся редкой красотой и весёлым характером¹⁴. Юная красавица Екатерина ответила ему взаимностью, и вскоре Новосильцев просил руки девушки, на что и получил согласие её родителей. Уже состоялось обручение, но, когда было спрошено разрешение матери жениха, Екатерины Владимировны Новосильцевой (урождённой графини Орловой, крестницы и фрейлины Екатерины II), та ответила единственному обожаемому сыну строгим приказанием: немедленно прекратить все отношения с невестой и её незнатным семейством. Не смея поступить вопреки воле матери, Новосильцев не смог объявить сразу о разрыве любимой девушке и её родственникам. Спустя некоторое время Константин Чернов, брат Екатерины, потребовал объяснений вплоть до «*приглашения к барьеру*». И потянулась долгая история с обещаниями, переносами сроков венчания, обвинениями, прощениями и двумя, но отменёнными вызовами на дуэль. Активно было Северное тайное общество, члены которого видели в конфликте политическую составляющую – бедный, незнатный поручик Семёновского полка против принадлежавшего к высшей знати адъютанта государя императора.

¹⁴ Исторический вестник. 1901. Т. 84. С. 593.

Финалом длившейся почти год истории стал окончательный картель с участием секунданта Чернова, его двоюродного брата Кондратия Фёдоровича Рылеева. Условия дуэли были необычными, напоминавшими суровые времена Рима: Новосильцев должен был стреляться насмерть с братьями своей невесты по старшинству, а если они все падут, то и с их отцом, Пахомом Кондратьевичем Черновым¹⁵.

Накануне дуэли в кругу членов Северного тайного общества Константин Чернов написал и зачитал предсмертную записку: «...*Стреляюсь на три шага, как за дело семейственное, ибо, зная братьев моих, хочу кончить собою на нём... Пусть паду я, но пусть падёт и он в пример жалким гордецам, и чтобы золото и знатный род не насмеялись над невинностью и благородством души*»¹⁶. Поступок Чернова был объявлен будущими декабристами гражданским подвигом.

Стрелялись красавцы гвардейцы «на расходе в пяти шагах», выстрелили одновременно и через несколько дней скончались. Пока были живы, искренне интересовались состоянием друг друга с надеждой на сохранение жизни соперника, сожалея о нанесённых ранениях. Слухи о дуэли, ее причинах и печальном исходе вызвали необыкновенное возбуждение в Петербурге. В день похорон Чернова, 26 сентября, от казарм Семёновского полка к Смоленскому кладбищу двинулась несметная похоронная процессия. Один из руководителей Северного тайного общества, Евгений Петрович Оболенский, вспоминал: «*Длинной вереницей тянулись знакомые и незнакомые, пришедшие воздать долг умершему юноше. Трудно сказать, какое множество провожало гроб... Всё, что мыслило, чувствовало, соединялось тут в безмолвной процессии и тем самым выказывало сочувствие тому, кто собою выразил общую идею, идею слабого против сильного, скромного против гордого*»¹⁷. К дню похорон Вильгельмом Кюхельбекером было написано, а Кондратием Рылеевым отредактировано стихотворение «На смерть Чернова»¹⁸, ставшее своеобразной клятвой и кодексом чести декабристов.

И уже через два с половиной месяца, утром 14 декабря, декабристы выйдут на Сенатскую площадь. Их поддержат около трёх тысяч человек, но не будет теперь того единодушия, которое казалось незыблемым в сентябрьской манифестации. Утверждённый накануне диктатором Трубецким план вывода войск на Сенатскую площадь, захвата Зимнего дворца, Сената, ареста царской семьи и, в конечном счёте, принудительного введения в России конституционного строя окажется обречённым. Рылеев будет метаться, пытаясь найти в последний момент отказавшегося от участия в восстании Трубецкого и уго-

¹⁵ Лотман Ю. Кто был автором стихотворения «На смерть К. П. Чернова» // Русская литература. 1961. № 3. С. 153–159.

¹⁶ Шубинский С. Н. Исторические очерки и рассказы. СПб.: Изд-во А. С. Суворина. 1908. С. 634.

¹⁷ Общественные движения в России в первую половину XIX века. СПб.: Книгоизд-во М. В. Пирожкова. 1905. Т. 1. С. 242.

¹⁸ Кюхельбекер Вильгельм. На смерть Чернова // Андрей Чернов. Дняты ночи декабря. СПб. – М.: Летний сад, 2008. С. 285.

ворить действовать Якубовича. Потом как угорелый бросится во все казармы, в караулы, чтобы собрать побольше силы. Вернувшись к площади к трём часам дня, он уже не сможет пробраться к своим и увидит страшное действие картечи. Он будет почти уверен, что его соратники погибнут, и ему покажется, что и сам он убит, растерзан, втоптан в кровавый снег. Но потом узнает, что ни один из тридцати бывших под огнём декабристов не будет ни убит, ни даже ранен. Судьбе, видимо, будет угодно сохранить их не только для страданий, но для того огромного влияния на русское общество, которое они будут оказывать до самой своей смерти. *«Я тоже был бы там»*, – честно ответит Пушкин на вопрос государя императора о его присутствии на Сенатской площади среди декабристов, будь он 14 декабря в Петербурге, и разъяснит: но не потому, что разделял их убеждения, но потому, что там были его друзья...

13 июля 1826 года пятеро из декабристов – Кондратий Рылеев, Павел Пестель, Михаил Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьев-Апостол и Петр Каховский – будут повешены на Кронверке Петропавловской крепости. Полвека страна не видела публичных казней и не захочет видеть. Ночью, накануне казни, кто-то украдёт перекладину виселицы (говорили, что деревянный брус исчез по дороге вместе с возчиком и телегой). Затем, когда все приготовления будут завершены и палач нажмёт на рычаг, Пестель и Каховский повиснут, а три верёвки оборвутся – Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Рылеев обрушатся в яму, вслед за досками и скамьями. Кто-то из солдат заметит: *«Знать, бог не хочет их смерти»*. Да и обычай такой был: сорвался висельник – его счастье, и дважды не вешали. Но казнь продолжат: палачи выволокут из ямы несчастных и вновь накинут на них петли. Тут не выдержит Бенкендорф – падёт ничком на шею своей лошади и в таком положении останется до конца казни. Священник поднимет крест, а едва начав говорить последние слова, зашатается и упадёт без чувств. Когда очнётся – всё будет кончено...

Блистательная пора в истории России, отмеченная победой над Наполеоном, год за годом отступая от *«дней Александровых прекрасного начала»*, через Кронверк Петропавловской крепости перейдёт к череде трагедий. Дальнейшая судьба России подтвердит актуальность исторического изречения Пушкина: *«Конечно, должны ещё произойти великие перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения общественных нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества»*...

А Екатерина Владимировна Новосильцева всю оставшуюся жизнь не снимала траурных одежд и часто просила своего духовника митрополита Московского Филарета: *«Я убийца моего сына; помолитесь за меня, владыко, чтобы я скорее умерла»*. Она выкупила в Петербурге землю, где произошла дуэль, построила там церковь во имя Святого Равноапостольного князя Владимира, богадельню при ней и всю себя посвятила благотворительности и служению больным и увечным. Вплоть до начала двадцатого века у офицеров существовал обычай: в случае грозящей опасности или при отъезде в «горячие точки» приходиться молиться в эту церковь. Церковь была взорвана в печальной памяти 1932 году, а два дома Новосильцевской богадельни сохра-

нились, и их по-прежнему можно видеть на окраине парка Лесотехнической академии, там, где от проспекта Энгельса начинается Новороссийская (бывшая Новосильцевская) улица...

В Пушкинском сквере, у обелиска



Всё беззащитнее душа
В тисках расчётливого мира,
Что сотворил себе кумира
Из тёмной власти барыша. <...>

И всё дороже, всё слышней
В его бездушности преступной
Огромный мир души твоей,
Твой гордый голос неподкупный.

Звучи, божественный глагол,
В своём величье непреложный,
Сквозь океан ревущих волн
Всемирной пошлости безбожной...

Ты светлым именем своим
Восславил душу человечью,
И мир идет тебе навстречу,
Духовной жаждою томим.

А. К. Передреев

Пересекаю Ланское шоссе, иду далее до Коломяжского проспекта, поворачиваю направо и, миновав железнодорожный переезд, подхожу к Пушкинскому скверу. Здесь всё как обычно: заснеженная площадка вокруг обелиска, чернеющие ветки деревьев, негромкие голоса уже пришедших сюда людей, выбитые на стеле строки гениального трагического Лермонтова. И яркие страницы в памяти: заснеженный Петербург, январский ясный ветреный день, парные сани, везущие вдоль Невы запахнутого в медвежью шубу Пушкина и его лицейского приятеля Константина Карловича Данзаса. У Данзаса на перевязи раненная на турецкой войне рука, и от недобрых предчувствий сжимается сердце, а в саях лежит футляр с дуэльными пистолетами. Далее – небольшая, скрытая кустарником площадка за Комендантской дачей близ Чёрной речки, встреча с приехавшими туда Дантесом и его секундантом д'Аршиаком, протаптываемая секундантами в глубоком снегу тропинка в двадцать шагов. И желание остановить на этом цепь событий, но нет – приготовления завершены, взмах шляпой Данзаса, и... Дантес неожиданно для соперника стреляет с ходу, не дойдя одного шага до барьера. Пушкин ещё не закончил классический полуоборот, принятый при дуэлях, его рука с пистолетом вытянута вперёд, и правый бок и низ живота совершенно не защищены. Он падает лицом вперёд на шинель, служащую барьером. Секунданты бросаются его под

нимать, но Пушкин говорит по-французски: *«Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать выстрел»*. Дантес возвращается на место, встаёт вполборота, прикрывая грудь правой рукой.

В эти мгновения, мне кажется, какие-то догадки осеняют Константина Карловича: возможно, он вспоминает, что из-за спешки в связи со скорым наступлением сумерек не был произведён подробный осмотр дуэлянтов, как это положено по артикулу. И может быть, поэтому два листа в подлинном военно-судебном деле (номера шестьдесят семь и шестьдесят восемь) с его показаниями будут вырваны и канут в Лету. Но... цепь событий продолжается: полулёжа, опираясь на левую руку, истекающий кровью поэт целится около двух минут и стреляет. Дантес падает, получив ранение в руку и удар *«в правой верхней части брюха, где вылетевшая пуля причинила контузию...»*¹⁹. Пушкин теряет сознание, но через некоторое время приходит в себя. И далее – тяжелейший часовой путь длиной в семь с половиной вёрст до дома на набережной Мойки, двенадцать, и ещё сорок шесть часов земной жизни дивного гения России...

В сквере становится многолюднее, всё больше цветов ложится к подножию обелиска. Наверное, это правильно, что сегодня здесь не произносятся громкие речи и не читают стихи. В сосредоточенной тишине, в которой, кажется, не ощущается даже приглушённый шум большого города, обращение к поэту, к его памяти возвышает и чувства, и мысли. Можно вспомнить по этому поводу выражение Александра Николаевича Островского: *«Через Пушкина умнеет всё, что может поумнеть»*. Образ Пушкина – поэтический, интеллектуальный, человеческий – безмерен. Чем больше читаешь и самого Пушкина, и свидетельства о нём, и исследования, тем больше хочется узнать, будто заглядываешь в бездну, где *«звездам числа нет, бездне дна»*.

Александр Сергеевич всё время учился; к 1826 году он – один из самых эрудированных людей своего века. *«Вместе с античными поэтами, трагиками и мудрецами, незримыми учителями и спутниками жизни Пушкина начиная с детских лет были поэты, драматурги и мыслители эпохи французского Просвещения. В его библиотеке было восемь томов сочинений Платона... Пушкин читал и перечитывал Монтескьё, Вольтера, Дидро, Руссо, Гольбаха, Гельвеция... В библиотеке Пушкина, кроме того, хранились сочинения Сен-Симона, Франклина, Гоббса, Лапласа, Лафатера, Лейбница, Макиавелли, Мирабо, Вико, Паскаля, Сенеки, Саллюстия, Плиния, Тацита, Бюффона, Кювье и других мыслителей и ученых»*²⁰. Поэт внимательно следил за развитием естественнонаучной мысли того времени. Это и явления электромагнетизма, открытые Эрстедом, и изыскания электромагнитной индукции Фарадея и Ленца, и изобретение электродвигателя Якоби, и действующая модель электромагнитного телеграфа Шиллинга, показанная

¹⁹ Штаб-лекарь Стефанович в рапорте от 5 февраля 1837 г. Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккерном. Подлинное военно-судное дело. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1900. С. 32.

²⁰ Волков Генрих. Мир Пушкина. Личность. Мировоззрение. Окружение. М.: Молодая гвардия, 1989. С. 212.

в Петербурге. Только прямой запрет его императорского величества не позволил Пушкину отправиться вместе с Шиллингом в научную экспедицию. На страницах «Современника» Пушкин печатает статью князя Петра Борисовича Козловского «Разбор Парижского математического ежегодника», с трудом прошедшую высочайшую цензуру. Затем печатает статью того же автора о теории вероятностей. По просьбе поэта, переданной в ночь перед дуэлью, Козловский пишет статью по теории пара, и она будет опубликована уже после смерти Пушкина. Действительно, гений не может быть односторонним, он живёт в мире своих открытий во многих измерениях:

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.

Дух Пушкина – дух просвещения. Познав Слово, он поднял Дух, подняв Дух, он возвысил Слово. *«Говоря о Духе Пушкина, нет надобности распространяться об его жизни, с её страстями и ошибками, с её грехами и падениями. Эту жизнь нужно узнать, чтобы познать Дух Пушкина. Этой жизнью, конечно, жила, в ней и ею наслаждалась и страдала, упивалась и изнывала его душа. Но эту жизнь преодолевал его Дух. Преодоление себя, своей Души в Слове и обретение через Слово своего Духа есть самое таинственное и самое могущественное, самое волшебное и чарующее, самое ясное и непререкаемое в явлении: Пушкин...»*²¹

Вспоминаю случай из почти уже двадцатилетнего своего прошлого: 1996 год, Чикаго, авеню Девон, магазин «Каштан», где можно купить книги на русском языке и почти свежие газеты. Бываю там нечасто, это не так близко от Батавии, где работаю в Национальной лаборатории имени Ферми. Однажды в моё присутствие вошли в магазин пожилой человек с девочкой лет десяти, по всей видимости внучкой. Он спросил Пушкина, продавец ответил с сожалением, что Пушкина пока нет. Посмотрев книги, дедушка с внучкой вышли. Через некоторое время вышел и я, направляюсь к машине и слышу:

– И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Это недавние посетители магазина сидели на скамейке; дедушка продекламировал строфу и замолчал. Возникшее «*мимолетное виденье*» было поразительным: мои нечастые присутствия при разговорах бывших соотечественников оставляли впечатления другие, отнюдь не поэтические. А тут Пушкин и его предпоследняя строфа стихотворения, которое многие считают прощаль-

²¹ Струве П. Б. Дух и слово Пушкина: из речи, произнесённой на торжественном собрании в Русском Доме имени Императора Николая II в Белграде 10 февраля 1937 г.

ным. Но там ведь была ещё одна, последняя строфа, и я всю обратную дорогу до Батавии пытался её вспомнить. И вспомнил только в конце пути:

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца.

И уже надолго остались воспоминания об этом стихотворении, написанном Пушкиным в 1836 году, обнаруженном Жуковским при посмертном изучении рукописей поэта и увидевшем свет только через четыре года после его гибели – в 1841 году. Всякий раз оно приходит на память здесь, в Пушкинском сквере, 8 февраля... Действительно, может показаться, что в «Памятнике» сам поэт видел *«своего рода прощание с жизнью и творчеством в предчувствии близкой кончины»*²². Тем более что кончина Пушкина близкой и оказалась. Но мечталось ему о другом:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит –
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить, и глядь – как раз – умрём.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

«О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню – поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические – семья, любовь etc. – религия, смерть», – добавляет он в продолжении к этому стихотворению. Здесь смерть – естественный итог спокойной, долгой, патриархальной, мудрой жизни. И рассчитывал Пушкин продолжать свои *«труды поэтические»* долго: ещё летом 1836 года он расписывал по годам этапы завершения «Истории Петра». А за три дня до смерти он сказал Далю: *«Я только что перебесился. Я буду ещё много работать. О, вы увидите, я ещё много сделаю!»* Земной же жизни поэта оставались считанные часы...

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Наступают сумерки, половина пятого, приближается время дуэли. В сквере по-прежнему людно, рядом негромкий разговор двух женщин с явно слышимыми словами «Наталья Николаевна». Мне совсем не хочется помнить о светских пересудах *«надменных потомков»*, как не хочется откликаться на их современные «версии». Это была замечательная пара – первый поэт и пер-

²² Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...». Л.: Наука, 1967. С. 224.

вая красавица России! Ведь был же всплеск вдохновения, гениальные стихи поэта, влюблённого в свою Натали! И были строки к жене: *«Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, – а душу твою люблю я ещё более твоего лица»*. И все же их венчание – это начало трагедии... На смертном одре, когда православный человек говорит от имени истины, поэт сказал: *«Она ни в чём не повинна»*. А в тех, высших, пределах, где дано судить, воздастся уже каждому.

Что же материализовалось в виде Дантеса у противоположного барьера, откуда вылетела смертельная пуля? Заговор «общества», как считали Тютчев и Лермонтов, или несчастный случай, семейная драма, трагедия ревности, по мнению «света»? Или своя воля Пушкина окончить земное поприще, как считали Хомяков, Павлищев, Павел Вяземский? Или *«предсмертные вздохи Пушкина и также культуры пушкинской поры»*, по мнению Блока? Вересаев в своей книге «Пушкин в жизни. Эпилог» писал: *«Можно добавить много тонких оттенков к этим объяснениям, но общая суть остаётся неизменной: на беду его, он был Поэтом, т. е. человеком, исполненным благородства, с возвышенной, смелой и чувствительной душой»*. Наверное, лучше не скажешь. Но одно свидетельство штаб-лекаря Стефановича из его рапорта от 5 февраля 1837 года не даёт покоя, отчего цепь событий, приведших к гибели Поэта, представляется мне ещё более зловещей: *«Поручик барон Геккерен имеет пулевую проникающую рану на правой руке ниже локтевого сустава на четыре поперечных перста; вход и выход пули в небольшом один от другого расстоянии. Обе раны находятся в сгибающих персты мышцах, окружающих лучевую кость более к наружной стороне. Раны простые, чистые, без повреждения костей и больших кровеносных сосудов... Больной может ходить по комнате, разговаривать свободно, ясно и удовлетворительно, руку носит на повязке и, кроме боли в раненом месте, жалуется также на боль в правой верхней части брюха, где вылетевшая пуля причинила контузию, каковая боль обнаруживается при глубоком вдыхании, хотя наружных знаков контузии незаметно»²³.*

Есть ещё один документ, где упоминается контузия в брюхо барона Геккерена, – донесение старшего врача полиции Юденича²⁴. Итак, от удара пули, свалившего с ног кавалергарда, гематомы или даже ссадины незаметно, а боль в месте удара ощущается *«при глубоком вдыхании»*. Такое несоответствие было необычным, и честный и грамотный врач Яков Васильевич Стефанович счёл необходимым отметить это в своём рапорте. Сторонники лирической природы явления, считающие, что защиты на теле Дантеса не могло быть, потому что её быть не могло, рапорт лекаря Стефановича, как правило, не упоминают²⁵.

²³ Штаб-лекарь Стефанович в рапорте от 5 февраля 1837 г. Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1900. С. 32.

²⁴ Щёголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М.: Книга, 1987. Т. 1. С. 221.

²⁵ Левкович Я. Л. Две работы о дуэли Пушкина // Русская литература. 1970. № 2. С. 211–219.

С точки же зрения объективной физической реальности, пуля, причинившая «*контузию в верхней части брюха*», натолкнулась на значительных размеров препятствие, защитившее Дантеса от неминуемого ранения, сравнимого с нанесённым Пушкину. Сомнения в «*чести офицера и достоинстве дворянина*» дуэльной партии Геккеренов появились сразу после поединка. По горячим следам свершившейся трагедии Жуковский утверждал, что поэт был убит «*человеком без чести; дуэль произошла вопреки правилам – подло*»²⁶. Позже, среди прочих, своё мнение выразила Леония-Шарлотта, третья дочь Дантеса: она в совершенстве выучила русский язык, читала в подлиннике Пушкина, понимала его значение для русской и мировой культуры. Кроме того, она самостоятельно прошла весь курс Политехнического института²⁷, обнаружив отличные знания, по оценкам именитых профессоров. Имея представление о таких физических понятиях, как сила, давление, кинетическая энергия, Леония-Шарлотта вынесла приговор отцу: «*Ты – убийца!*» Ничего не бывает случайно в жизни! Всё отдаётся обратно, так или иначе, – и добро, и зло...

Ухожу от обелиска уже затемно. Но ещё различимы слова на стеле: «*Погиб поэт! – невольник чести – / Пал, оклеветанный молвой, / С свинцом в груди и жадной мести, / Поникнув гордой головой!..*»

Как истинно русский человек, Лермонтов смог ощутить бездушное отношение к гибели величайшего поэта его страны с тем негодованием и с той страстью, на которые была способна его благородная душа. Вместе с тем в заключительных шестнадцати строках стихотворения «Смерть поэта» Михаил Юрьевич недвусмысленно указывает на тех, кому была выгодна смерть Пушкина (основной вопрос римского права). В последовавших затем показаниях следственной комиссии поэт ещё и уточняет: «*Сановники государственные... единственно по родственным связям или вследствие их искаательства принадлежавшие к высшему кругу и пользующиеся заслугами своих достойных родственников, не переставали омрачать память убитого и рассеивать разные невыгодные для него слухи*». То есть здесь уже речь идёт о тех, кто и после смерти поэта не угомонился в злословии. Казалось, круг уже достаточно сужен и есть основания для объективного расследования. Но призыв «*Отмщенья, государь, отмщенья!*», содержащийся в эпиграфе, ужаснул государя императора настолько, что он усомнился в душевном здоровье автора. Далее карьере сановников, упомянутых поэтом, уже ничего не угрожало. Один из них станет шефом жандармов и едва не казнит Достоевского, другой станет военным министром, подпишет приказ по пехоте об исключении из списков Тенгинского полка умершего поручика Лермонтова и «добьётся» поражения в Крымской войне, третий, став министром государственных имуществ, оставит армию в этой войне без провианта и сапог, четвёртый... Впрочем, довольно и того. Сам же государь император не вынесет позора поражений; его внезапная смерть 18 февраля 1855 года вы-

²⁶ Временник Пушкинской комиссии. М. – Л., 1974. С. 42.

²⁷ Ободовская И., Дементьев М. После смерти Пушкина. М.: Советская Россия, 1980. С. 337.

зовет устойчивую легенду о самоубийстве и, видимо, навсегда останется тайной²⁸.

Ухожу от обелиска, сознавая, что не с Дантесом стрелялся Пушкин, а со всем «свинским Петербургом». Ведь не в этом же иноземном кавалергарде, изображавшем светского шалопаю, любимце дам и, одновременно, старшего «милого друга», было, собственно, дело. Дело было в стремлении поэта отстоять свою честь крайним, но единственно возможным способом. Отвечать сплетней на сплетню, интригой на интригу он не мог и не умел. Жаловаться было некому. Оставалось одно – стрелять. В старого ли Геккерена, в молодого ли – неважно. Но одновременно – в них всех, в их мораль, образ жизни, навязываемый и ему камер-юнкерским мундиром.

Гибель Пушкина глубокой болью отозвалась в среде русского общества. «Все классы петербургского народонаселения, – вспоминал Иван Иванович Панаев, – даже люди безграмотные, считали как бы своим долгом поклониться телу поэта. Это было уже похоже на народную манифестацию, на очнувшееся вдруг общественное мнение»²⁹. В дни прощания в дом поэта приходили, по разным оценкам, от тридцати до пятидесяти тысяч человек. В основной массе это были люди, оплакивавшие кончину поэта от всего сердца. Другое было в гостиных графини Нессельроде, графа Строганова, княгини Белосельской-Белозерской, где продолжали терзать душу Пушкина и жалели о судьбе Геккерена. «Одна так называемая знать наша или высшая аристократия не отдала последней почести гению русскому; почти никто из высших чинов двора, из генерал-адъютантов и пр. не пришёл ко гробу Пушкина»³⁰. Открытое сражение поэта, в ходе которого принесена в жертву собственная жизнь, было воспринято русскими людьми как нравственный подвиг:

...И сею кровью благородной
Ты жажду чести утолил –
И осенённый опочил
Хоругвью горести народной.
Вражду твою пусть Тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь...
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!

Гибель Пушкина стала исторической катастрофой исключительно важного для России мировоззрения – просвещённого дворянства. Это развивающееся мировоззрение могло в дальнейшем сыграть решающую роль в судьбе России и стать опорой необходимых последовательных, продуманных реформ. Но ставка была сделана на новую бюрократическую знать, глубоко чуждую дивному гению...

²⁸ Зимин И. В. Загадка смерти Николая I // Николай Первый: *pro et contra*: антология. СПб.: НОКО, 2011. С. 659–675.

²⁹ Панаев И. И. Литературные воспоминания. М.: Правда, 1988. С. 226.

³⁰ А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой. Письмо от 1 февраля 1837 г. // <http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/ps6/ps620644.htm>

Заключение

Приятной для меня как автора особенностью написания этой книги явилось участие в её создании единосущных со мной соавторов, в той или иной степени связанных с героями моих новелл-эссе – от их близких, родственников до людей, небезразличных к видным личностям нашего прошлого, достойнейшим образом в нём отметившихся.

Сведения от моих добрых помощников в виде копий документов из семейных архивов, изустных родовых пересказов, воспоминаний позволили мне насытить книгу реальной конкретикой, столь важной для исторических писаний. Всем им от меня – превеликая благодарность.

Наталья Ксенофоновна Цендровская, супруга Александра Иосифовича Добкина, в адресованном мне письме раскрыла некоторые незаурядные свойства его характера и внутреннего мира, силой которых он принял принципиальной важности житейское решение, обратившее его из профессионального химика в пытливого, стойкого исследователя, открывшего *urbi et orbi* (городу и миру) Николая Павловича Анциферова:

«Ещё в школьные годы и особенно в университетские интерес к литературе был у Саши очень высок. Это ведь были 60-е годы. У него сохранилось много тетрадей, в которых он записывал стихи разных тогдашних поэтов. Скорее, со студенческих, чем со школьных, лет он много и серьёзно занимался Мандельштамом. Им было собрано множество его текстов – наверное, всё, что было доступно. Составил библиографию Мандельштама, довольно основательную. Он не один был такой на химфаке тогда, у них была целая компания, которая выпускала (размножали на машинке) сборники стихов поэтов 1-й трети 20 века. Когда Саша учился на 2-м курсе, он стал посещать очень известные тогда в городе трёхгодичные курсы истории изобразительного искусства при Эрмитаже. У него была хорошо устроена голова – когда туда что-то попадало, запоминалось всё, и не просто запоминалось, но ложилось именно на ту полку, на которую надо. Чтобы подготовить издание воспоминаний Анциферова, он ушёл из института и больше года не работал. В предисловии к изданию, в самом конце, где Саша благодарит тех, кто ему помогал, он назвал и друзей, на деньги которых мы фактически жили всё это время – Наташа Кравченко и Саша Бейленсон... Познакомился он и состоял в переписке и с дочерью Н. П. – Татьяной Николаевной Камендровской, приезжавшей один раз в Россию,

и с сыном Светика – Михаилом Сергеевичем, живущим в Москве. С ним он много общался во время подготовки книги, об этом есть в предисловии».

Евграф Павлович Комаровский разыскал меня (через Интернет) как раз в то время, когда я готовил очерк о прадеде его прадеда, графе Евграфе Федотовиче Комаровском, побывавшем в Умани, в Софиевском парке, летом 1812 года. Мой новый приятный и общительный респондент, мной с пристрастием допрошенный, поведал, что принадлежит к той ветви родового древа Комаровских, в которой, начиная с его знаменитого зачинателя, потомки называли сына-первенца по очереди то Павлом, то Евграфом. Представившийся мне Евграф Павлович трудом упорным и долгим собрал и обобщил обширные сведения о потомках графа, начав с которого, вырисовал детализированное генеалогическое древо Комаровских. Результатами своих изысканий он любезно поделился со мной.

Также через Интернет состоялось моё знакомство с Роберто Гаабом, адвокатом из швейцарского города Лугано, внуком Оксаны Шимановской-Косач, сестры Леси Украинки. С его активной и очень результативной помощью мне удалось ознакомиться с перепиской его матери с младшей сестрой Леси Украинки – Исидорой Косач, использовать полученные сведения в написании новеллы-эссе о знаменитой семье. Он также передал мне для литературной обработки уникальные материалы о своём дяде, Никите Шимановском (внучатом племяннике Леси Украинки), погибшем – в рядах Советской армии – в Великой Отечественной войне. Мой новый друг Роберто – деликатный, образованный, остроумный человек, прекрасно владеющий в том числе и русским языком («...решил реактивировать свои славянские корни и изучить русский язык... прочитал главнейших классиков – Толстого, Чехова, Тургенева и др.»). В последнее время он часто и с большим удовольствием посещает свою историческую родину: «С 2001 г. начал регулярно посещать Украину, практически каждый год участвовал в конных походах. Очень нравится страна, люди и „казацкая“ жизнь (кататься на лошадях, жить на природе, почевать в палатках, умеренно пьянствовать и т. д.)».

Академик РАН Юрий Иванович Колосов – историк, писатель, руководитель Международной ассоциации историков блокады Ленинграда, – внук новомученика Русской православной церкви Юрия Петровича Новицкого, которому уделено много страниц этой книги, детализировал для меня многие события из жизни своего знаменитого деда, его родных и близких:

«Мой прадед Гавриил Константинович Сулов, крестьянский сын, был освобождён от крепостничества и, как талантливый мальчик, отправлен помещиком учиться. В 1888 г., защитив в Петербургском университете магистерскую диссертацию и получив жалованное личное дворянство, был назначен профессором Киевского университета, где проработал 30 лет. Докторская диссертация решала важные проблемы теоретической механики. Его двухтомный труд «Основы аналитической механики» выдержал несколько изданий в России и за рубежом, а учебник по теоретической механике

переиздавался в СССР и после войны. В 1903–1915 гг. Г. К. Сулов был председателем Киевского физико-математического общества. В 1917 г. пытался через Одессу уехать из страны, но не успел. Смерть дочери задержала. Всемирно известный учёный стал ректором Одесского политехнического института. Умер незадолго до Великой Отечественной войны. Я его хорошо помню, т. к. ежегодно летом он приезжал на построенную правительством дачу с аудиторией, где читал спецкурс для ждавших его выпускников университета, Политехнического и Кораблестроительного институтов. На похороны Сулова приезжали учёные из европейских стран».

К работе о жизни и селекционном творчестве известного учёного Ивана Максимовича Еремеева, соавтора знаменитого сорта озимой пшеницы «украинка-0246» (признанного ООН стандартом твёрдых пшениц), приступил с минимумом сведений о нём (и без надежды на их скорый прирост). Выручил его внук, киевлянин Николай Николаевич Еремеев, указавший мне на главных держателей фамильных архивов – внучек знаменитого профессора, Екатерину Алексеевну Тютину, Александру Николаевну (в девичестве Еремеева) и её супруга Александра Михайловича Даниленко. Супруги Даниленко предоставили мне копии бесценных документов как зарубежного периода жизни знаменитого селекционера, так и времён его работы на Мироновской опытной станции, копии воспоминаний его жены и бесчисленных стародавних фотографий; дали мне справку о первенце старших Еремеевых (их отце и тесте) – Николае Ивановиче Еремееве: *«В 1958 году поступил в аспирантуру при кафедре растениеводства Уманского сельскохозяйственного института. Аспирантуру окончил в 1961 году. В октябре 1963 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сортовая агротехника озимой пшеницы». С 1964 по 1987 год работал старшим научным сотрудником Кировоградской сельскохозяйственной опытной станции... Умер в апреле 1990 года, на шестьдесят восьмом году жизни».*

Екатерина Алексеевна Тютина помимо многочисленных фотографических и рукописных материалов (из которых наиболее ценные – воспоминания её матери, Лидии Ивановны Еремеевой, и Елизаветы Георгиевны Влайковой) сообщила много интересного из того, что в детстве слышала от родителей:

«Про работу дедушки я знаю точно, что его увлечение пшеницей было очень большим, поэтому бабушка вышивала ему колосья пшеницы на рабочей одежде, кисете, постельном белье... Бабушку звали Александрой, и дедушка звал её Шурочкой. Они действительно умерли в один день... У бабушки была болезнь Паркинсона, она лежала в больнице. Моя мама училась в сельхозинституте, сестра бабушки Елизавета Георгиевна (Лиля), несмотря на свои больные ноги, была основной домохозяйкой. Дедушка много работал. У него была стенокардия «покоя», из-за которой он не мог спать лёжа. Поэтому часто, работая по ночам, он засыпал в кресле. В тот день утром мама, собираясь, как всегда, в больницу к бабушке, а потом в институт, зашла в дедушкин кабинет, где нашла его умершим. По дороге в больницу мама думала, как сказать об этом тяжелоболь-

ной бабушке; решила сначала пойти в институт, чтобы уладить необходимые дела, а когда пришла в больницу, то узнала, что Александра Георгиевна тоже умерла...»

Очень помог мне в розыске по «делу Еремеева» его ученик, мой старший друг, неизменно пассионарный Виктор Прокофьевич Сигида, раздобывший для меня копию личного дела своего учителя, в котором последний документ – автобиография Ивана Максимовича, датированная июлем 1951 года. Подобную услугу любезно оказал мне и профессор Игорь Градиславович Лоскутов, заведующий отделом Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова, переславший из Петербурга копию личного дела Ивана Максимовича Еремеева за 1935 год.

С особой теплотой и благодарностью – за подаренный мне сюжет о Степане Ивановиче Эрастове – вспоминаю Ларису Александровну Цимбровскую, много лет заведовавшую музеем Уманского национального университета садоводства. Но благодарность моя – с печалью в сердце, ибо 26 ноября 2013 года она, эрудит и замечательный краевед, ушла из жизни. *Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшей рабе Твоя Ларисе и сотвори ей вечную память.*

Отзывчивым Елизавете Григорьевне и Елене Григорьевне Имас, преподавателям Уманской детской школы искусств, много обязан за фотографию известного уманского акушера Семёна Лазаревича Билинкиса, во время оно успешно содействовавшего моему появлению на белый свет. Большой выбор прекрасно исполненных фотоснимков парка «Софиевка» предоставила мне их автор, Людмила Осадчук (Драганова), что дало мне возможность выбрать лучший, с моей точки зрения, вариант оформления тыльной стороны обложки этой книги. Как всегда, очень оперативно реагировала на мои просьбы содержательными ответами мой неизменный помощник и советчик Наталья Васильевна Михайлова, кажется, знающая всё содержание её «подведомственных» старинных книг библиотеки Уманского национального университета садоводства.

Полезную, содержательную информацию об Александре Иосифовиче Добкине предоставили мне председатель фонда имени Д. С. Лихачёва Александр Валерьевич Кобак и координатор фонда Наталья Леонидовна Иванова; они же помогли мне установить контакт с супругой Добкина – Натальей Ксенофонтовной Цендровской.

И, конечно же, сия книга не смогла бы выйти в свет без решающих организационных усилий моего младшего брата Виктора Леонтьевича Головцова.

Перечень цитируемых источников (упрощённый)

1. *Анциферов Н. П.* Из дум о былом.
2. Краткий очерк истории Умани // Киевская старина. 1888. № 8.
3. *Медведев Л. М.* В Гимназии. Странички воспоминаний.
4. Памятные книжки Киевской губернии за 1889 год.
5. *Давидюк В. М.* Уманська чоловіча гімназія.
6. Записки Хршонцевского (1770–1820) // Русский архив. 1874. Т. 4.
7. *Антонович В. Б.* Иосиф Иосифович Ролле (некролог) // Киевская старина. 1894. № 2.
8. *Головкин Фёдор.* Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания.
9. Записки графа Головкина // Русская старина. 1907. Т. 129.
10. *Серебрянникова А. Ю.* Записки князя Петра Долгорукова.
11. Из записок генерал-адъютанта графа Е. Ф. Комаровского // Русский архив. 1867. № 12.
12. *Штутман С. М.* На страже тишины и спокойствия: из истории внутренних войск России (1811–1917 гг.).
13. Записки графа Николая Егоровича Комаровского.
14. Граф Е. Е. Комаровский // Русский архив. 1896. № 7.
15. *П. Б.* На взятие Варшавы (1831) // Русский архив. 1879. № 3.
16. *Жирков Г. В.* История цензуры в России XIX–XX вв.
17. *Репинецкий С. А.* Санкт-Петербургский комитет иностранной цензуры в борьбе с крамолой (1856–1860 гг.).
18. Письмо графа Комаровского к И. В. Киреевскому // Русский архив. 1866. № 11.
19. *Клейнмихель М. Э.* Из потонувшего мира.
20. Записная книжка графа П. Х. Граббе.
21. *Некрасова Е. С.* Елена Андреевна Ган (Зенеида Р-ва), 1814–1842. Биографический очерк // Русская старина. 1886. № 9.
22. Воспоминания Андрея Михайловича Фадеева // Русский архив. 1891. № 3–10.
23. *Крэстон Сильвия.* Е. П. Блаватская. Жизнь и творчество основательницы современного теософского общества.
24. *Кравченко Виктор.* Сердцем и душою на жизнь и на смерть // Губерния: портал по истории Ставропольского края: эл. ресурс.
25. Записки архимандрита Владимира Терлецкого // Русская старина. 1889. № 7.
26. *Булгаков А. Я.* Письма к брату // Русский архив. 1900. № 4.
27. Записки сенатора К. И. Фишера // Исторический вестник. 1908. № 2.
28. *Витте С. Ю.* Воспоминания.
29. *Николаев Р.* Памяти В. П. Желиховской // Исторический вестник. 1896. № 7.
30. Госпожа Блаватская // Нью-Йорк Трибюн. 10 мая 1891.
31. Из дневника П. В. Алабина. Польский поэт Трембецкий // Русская старина. 1878. № 2.
32. *Алабин П.* Четыре войны. Походные записки в 1849, 1853, 1854–56, 1877–78 годах.

33. *Исламов Т. В., Пушкаш А. И., Шушарин В. П.* История Венгрии: в 3 т.
34. *Аксакова (Тютчева) А. Ф.* Честь России и Славянское дело: мемуары.
35. *Анучин Д.* Князь В. А. Черкасский и гражданское управление в Болгарии 1877–1878 гг. // Русская старина. 1895. № 12.
36. *Шепелева А. Ю.* Деятельность П. В. Алабина в послевоенном восстановлении Болгарии (1877–1878 гг.) // Молодой учёный. 2012. № 12.
37. *Аксаков И. С.* Письма из провинции. Присутственный день в уголовной палате.
38. *Кузнецов Б. И.* Подвижное ополчение.
39. *Сикорский В.* Из воспоминаний потерпевшего во время крестьянских волнений 1855 г. // Киевская старина. 1882. Т. 2. № 4.
40. Посмертный рассказ о. Антония Ковальского. (К истории крестьянских волнений в Киевской губернии 1855 года) // Киевская старина. 1882. Т. 2. № 1–2.
41. Фёдор Карлович Затлер, 1825–1876. Биографический очерк // Русская старина. 1877. № 9.
42. *Бюлер Ф. А.* Иван Сергеевич Аксаков. Неизданные его стихотворения, 1841–1844 // Русская старина. 1886. № 3.
43. *Смирнова-Россет А. О.* Воспоминания. Письма.
44. Из записок А. О. Смирновой // Русский архив. 1895. № 2.
45. Записка И. С. Аксакова о бессарабских раскольниках // Русский архив. 1888. № 3.
46. *Сорен Н. Н.* Из писем И. С. Аксакова к А. О. Смирновой // Русский архив. 1895. Т. 1. № 1.
47. *Курилов А. С.* Константин и Иван Аксаковы.
48. *Шириняц А. А.* Иван Аксаков.
49. Император Александр Николаевич. Черты из его жизни // Русская старина. 1891. Т. 70. № 6.
50. *Тютчева А. Ф.* При дворе двух императоров: воспоминания.
51. Женщины в истории: княжна Александра Долгорукая-Альбединская // Spletnik: эл. ресурс.
52. *Юрьевская Е. М.* Александр II. Неизвестные подробности личной жизни и смерти.
53. *Палеолог Морис.* Роман императора.
54. Часть личной переписки императора Александра II (1818–1881) и его возлюбленной княжны Екатерины Михайловны Долгоруковой, впоследствии светлейшей княгини Юрьевской (1847–1922). Аукционный дом «Кабинетъ». Лоты 25–34.
55. *Яковлев Александр.* Александр II.
56. Записи, сделанные со слов покойного г-а Александра Михайловича Рылеева // Русская старина. 1907. № 4.
57. *Достоевский А. М.* Воспоминания.
58. *Дубельт Михаил.* Граф Никитин и барон фон дер Лауниц. Из давнего прошлого // Русская старина. 1890. № 2.
59. *Сидорова М. В., Якушкина М. М.* Письма А. Н. Дубельт к мужу // ГАРФ. Личный фонд Леонтия Васильевича Дубельта.
60. *Кн. Н. Г.* Леонтий Васильевич Дубельт. К его характеристике. К истории III отделения // Русская старина. 1880. № 3.
61. *Елисеева Т. В.* Иван Кузьмич Макаров. Живопись. Графика: альбом.
62. *Макаренко Светлана.* Наталья Пушкина-Дубельт, графиня Меренберг // Люди: эл. ресурс.
63. *Русаков В. М.* «Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?» А. С. Пушкин: рассказы о потомках Пушкина.
64. Из далёкого прошлого // Русская старина. 1890. № 4.
65. *Востриков А. В.* Книга о русской дуэли.
66. *Павловский И. Д.* Граф Карл Осипович Ламберт в селе Циглеровке, 1840–1843 // Русская старина. 1884. № 4.

67. *Берг Н. В.* Эпизоды из событий 1861–1864 годов. Самоубийство генерала Герштенцвейга // Русский архив. 1885. № 1.
68. Записки Н. В. Берга о польских заговорах и восстаниях // Русский архив. 1872. № 3–4.
69. *Кожуховский Адам.* Конец своеволию // Новая Польша. 2012. № 1.
70. *Борщов С. М.* Самоубийство генерала Герштенцвейга // Исторический вестник. 1887. № 1.
71. *Золотарёв Михаил.* Д. А. и А. Д. Герштенцвейги // Русская старина. 1874. Т. 11. № 9.
72. *Пассовер А. Я.* Дело призрения в Англии // Журнал Министерства народного просвещения. 1866. № 1.
73. *Емец С. И.* Мемориал одесских присяжных поверенных // Вестник одесской адвокатуры. 2008. № 2.
74. *Спасович В. А. Я.* Пассовер // Северный вестник. 1897. № 3.
75. *Гаврюшкин О. П.* Мари Вальяно и другие (хроника обывательской жизни).
76. Прощение кандидата Университета Матвея Песковского директору департамента полиции Дурново 3 марта 1887 года: эл. ресурс.
77. *Достоевский Ф. М.* Дневник писателя, 1876 год.
78. *Александров М. А.* Фёдор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика в 1872–1881 годах.
79. *Достоевская А. Г.* Воспоминания.
80. *Врангель А. Е.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854–56 гг.
81. *Слоним Марк.* Три любви Достоевского.
82. *Наседкин Н. Н.* Суслова Аполлинария Прокофьевна // Достоевский: энциклопедия.
83. *Корвин-Круковский Ф. В.* Софья Ковалевская. Профессор высшей математики // Русская старина. 1891. Т. 71. № 9.
84. *Ковалевская С. В.* Воспоминания детства.
85. *Достоевская А. Г.* Дневник 1867 года.
86. *Анциферов Н. П.* Петербург Достоевского.
87. *Смеляков Ярослав.* Ленинград.
88. *Українка Леся.* Зібрання творів: у 12 т. Т. 11.
89. *Українка Леся.* Малорусские писатели на Буковине // Энциклопедия жизни и творчества Леси Украинки: эл. ресурс.
90. *Гаврилюк Надія.* Історія експромту Лесі Українки.
91. Энциклопедія життя і творчості Лесі Українки: эл. ресурс.
92. *Денисюк Іван, Скрипка Тамара.* Оксана Петрівна Косач-Шимановська // Тамара Скрипка: эл. ресурс.
93. Письма Исидоры Косач // Фонд Музея выдающихся деятелей украинской культуры. Место хранения А 2127.
94. *Протченко З. Е.* Шимановский Павел Борисович // Земля Мглинская – родной край: эл. ресурс.
95. Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов (1917–1919 гг.): сб. док. и матер. Док. № 63, 1957.
96. *Ерастов Степан.* Спогади.
97. *Яворницький Д. И.* История запорожских казаков: в 3 т.
98. *Ефименко А. Я.* История украинского народа.
99. *Лихонос Виктор.* Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж.
100. *Коняев Н. М.* Священномученик Вениамин, митрополит Петроградский. Документальное повествование.
101. *Шкаровский М. В.* Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра в 1918–1922 гг. // Научный богословский портал: эл. ресурс.
102. *Анатольев И.* Я готов встретить смерть // Вера: христианская газета Севера России: эл. ресурс.

103. Мученик Юрий Новицкий, Петроградский // Православный церковный календарь: эл. ресурс.
104. Русская православная церковь и органы НКВД в 1920–1930 гг.: эл. ресурс.
105. *Энгельгардт Н. А.* Екатерининский колосс.
106. *Тихонова А. В.* Батищево в судьбе А. Н. Энгельгардта и его семьи // Культурное наследие земли Смоленской: эл. ресурс.
107. *Гильдебрандт-Арбенина Ольга.* Гумилёв // Николай Гумилёв. Электронное собрание сочинений: эл. ресурс.
108. *Полушин Владимир.* Николай Гумилёв: жизнь расстрелянного поэта.
109. *Лукницкий П. Н.* Асуміана. Встречи с Анной Ахматовой: в 2 т.
110. *Одоевцева Ирина.* На берегах Невы.
111. *Павленко Н.* «Академическое дело». Историки под прицелом ОГПУ // Наука и жизнь: эл. ресурс.
112. *Зобнин Юрий.* Николай Гумилёв.
113. *Гумилёв Н. С.* Письма о русской поэзии.
114. *Комаровский Василий.* Стихотворения. Проза. Письма. Материалы к биографии.
115. *Проскурякова Н. Л.* Художник Владимир Алексеевич Комаровский // Коркина слобода: краеведческий альманах. 1999. Вып. 1.
116. *Короленко В. Г.* Без языка.
117. *Миллер-Лозинская Елизавета.* Воспоминания.
118. *Мец А., Кравцова И.* Предисловие к книге В. Шилейко «Пометки на полях. Стихи».
119. *Ахматова А. А.* Лозинский (поздняя редакция) // Стихотворения. Поэмы. Проза.
120. *Вербловская Ирина.* Горькой любовью любимый. Петербург Анны Ахматовой.
121. *Платонова-Лозинская И. В.* «Транхопс» и около (по архиву М. Л. Лозинского) // RUTHENIA: эл. ресурс.
122. *Толстая Татьяна.* На малом огне // Сноб: эл. ресурс.
123. *Ивановский Игнатий.* Духовные пути.
124. *Эткинд Ефим.* Барселонская проза.
125. *Львов Михаил.* «Мы столько в землю положили...»
126. *Гончаров Виктор.* «Меняются цифры, стираются даты...»
127. *Сеняевская Е. С.* Психология войны в XX веке. Исторический опыт России.
128. *Винокуров Евгений.* Двадцать пятого года рождения.
129. *Твардовский Александр.* «Когда пройдёшь путём колонн...»
130. *Друнина Юлия.* «Я только раз видала рукопашный...»
131. *Глазов Григорий.* «Мы, вымокшие, злые, ждём сигнала...»
132. *Щипачёв Степан.* Павшим.
133. *Сурков Алексей.* «Видно, выписал писарь мне дальний билет...»
134. *Новосёлов Николай.* На пути к Победе.
135. *Симонов Константин.* «На час запомнив имена...»
136. *Козловский Яков.* «Мы за церквушкой деревенскою...»
137. *Гудзенко Семён.* «Я в гарнизонном клубе за Карпатами...»
138. Семейный архив Даниленко-Еремеевых.
139. *Иванов А. Е.* Российское студенческое зарубежье. Конец XIX – начало XX в. // Вопросы истории естествознания и техники. 1998. № 1.
140. Балканская война, октябрь – ноябрь 1912 года. По страницам российских газет столетней давности // Живой журнал: эл. ресурс.
141. Воспоминания Елизаветы Георгиевны Влайковой (рукопись) // Семейный архив Тютиных-Еремеевых.
142. Воспоминания Александры Георгиевны Еремеевой-Влайковой (рукопись) // Семейный архив Даниленко-Еремеевых.
143. *Присяжнюк М. В.* Науково-організаційна діяльність сортівничо-насіннєвого управління Цукротресту у 20-х роках XX ст. // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 3.

144. Дневник Лидии Ивановны Еремеевой (рукопись) // Семейный архив Тютиных-Еремеевых.
145. *Сидоров Борис*. Дело Трудовой крестьянской партии // Проза.ру: эл. ресурс.
146. История становления и развития Санкт-Петербургского государственного аграрного университета // Санкт-Петербургский аграрный университет: эл. ресурс.
147. *Трускинов Э. В.* Н. И. Вавилов в Царском Селе.
148. *Гончаров Н. П.* К 120-летию со дня рождения Н. И. Вавилова // Вестник ВОГиС. 2007. Т. 11. № 3–4.
149. *Гончаров В., Нехотин В.* Дело «Контрреволюционной эсеровско-народнической ячейки в ВИРе» (1933) // Просим освободить из тюремного заключения: письма в защиту репрессированных.
150. *Жебелёв С. А.* Учёные степени в их прошлом, возрождение их в настоящем и грядущая опасность их вырождения в будущем // Очерки истории отечественной археологии. Вып. III.
151. *Пыженков В. И.* Николай Иванович Вавилов – ботаник, академик, гражданин мира.
152. *Глазко В. И., Чешко В. Ф.* Организация ВАСХНИЛ и создание общесоюзной системы сортоиспытания и семеноводства.
153. О мерах по улучшению семян зерновых культур: доклад тов. Яковлева Я. А. на Пленуме ЦК ВКП(б) 28 июня 1937 г. // Старые газеты: эл. ресурс.
154. *Кривулина Ю. А.* Жизнь в оккупации и в первые годы после войны. Дневник Люси Хордикайнен.
155. История Царского Села – Пушкина, 1941 // Социальная сеть города Пушкина: эл. ресурс.
156. *Нейгауз Генрих* – мл. Старые фотографии. Глава вторая. Шимановские. Блуменфельды // Заметки еврейской истории: эл. ресурс.
157. Василий Егорович Чернов: биография // People: эл. ресурс.
158. Протокол очной ставки между арестованными Вавиловым Николаем Ивановичем и Паншиным Борисом Аркадьевичем от 23 июня 1941 года // Исторические материалы: эл. ресурс.
159. *Ильевич Сталлий*. Жизнь и драма профессора Паншина // ZN, UA: эл. ресурс.
160. *Артемов Юрий*. Этапы судьбы: стихотворения // Стихи.ру: эл. ресурс.
161. *Глазко В. И., Чешко В. Ф.* Август-48. Уроки прошлого (научное киллерство, к истории советской генетики, к феномену распада СССР): монография.
162. *Горяев И. А.* Судьбы людские (интервью с И. Б. Паншиным) // Репрессированная наука. 1994. Вып. 2.
163. *Вакуленко Н. А.* Верхняячская опытно-селекционная станция, 1899–1999.
164. *Корняков Д. К.* Памяти учёного-селекционера свекловода В. В. Михалевича // Яровизация. Март – июнь 1936.
165. *Бузанов И. Ф.* 50 лет Верхняячской опытно-селекционной станции: юбилейный сб.
166. *Помогайбо В. М.* Здобуття освіти: світова війна і генетика // Постметодика. 2012. № 2 (105).

Оглавление

Зачин	5
Урок по истории Умани	7
Памятливый Хршонцевский	21
Часть первая. Немного о докторе Ролле	22
Часть вторая. Кристинопольский период жизни Потоцких	22
Часть третья. Тульчинский период жизни Потоцкого	28
Граф Фёдор Гаврилович Головкин	31
Часть первая. Немного о Головкиных	34
Часть вторая. Граф Фёдор Гаврилович Головкин и его мемории	40
Династия русских Комаровских	45
Часть первая. Уманская экскурсия графа Евграфа Федотовича Комаровского	46
Часть вторая. Граф Егор Евграфович Комаровский	58
Часть третья. Записки графа Николая Егоровича Комаровского	70
Уманские прогулки Павла Христофоровича Граббе	78
Писательница Елена Андреевна Ган и её дочери	85
Часть первая. Лебединая песня Елены Андреевны Ган	86
Часть вторая. Эта фантастическая Блаватская	93
Часть третья. Коротко о Вере Петровне Желиховской	101
Пётр Владимирович Алабин	104
Часть первая. Венгерский поход 1849 года	104
Часть вторая. Балканская война 1877–1878 годов	115
Иван Сергеевич Аксаков	120
Часть первая. Подвижное ополчение 1855 года	121
Часть вторая. Иван Аксаков и Александра Смирнова-Россет	128
Часть третья. Славянофилы Аксаковы	136
Три судьбы	143
Часть первая. Александр Николаевич Романов – жизнь на две семьи	144
Часть вторая. Михаил Дубельт и Наталья Пушкина	154
Часть третья. Дуэль по-американски	161
Александр Яковлевич Пассовер	168
Часть первая. История профессионального становления	169
Часть вторая. Дело Вальяно	174
Часть третья. Как Пассоверу не дали защитить Александра Ульянова	180
Уманский след в публицистике Достоевского	185
Часть первая. О «Дневнике писателя»	186
Часть вторая. Жизнь после ссылки	189
Часть третья. Дом на улице Достоевского	198

Леся Украинка – ею нельзя не восхищаться!	208
Часть первая. Жизнь как любовь и борьба	208
Часть вторая. Братья Шимановские	215
Часть третья. Жизнь продолжается	223
Степан Иванович Эрастов	225
Часть первая. Поездка в Умань	225
Часть вторая. Абрис истории кубанского казачества	233
Часть третья. Жизненные перипетии Степана Ивановича Эрастова	236
Юрий Петрович Новицкий и Сергей Парменович Афанасьев	240
Часть первая. Жизненный и крестный путь Юрия Петровича Новицкого	240
Часть вторая. Мой невинно убиенный дедушка	252
Энгельгардты	257
Часть первая. О романе «Екатерининский колосс»	258
Часть вторая. О Николае Александровиче Энгельгардте	271
Часть третья. Жизнь и судьба Анны Николаевны Энгельгардт	276
Часть четвёртая. Борис Михайлович Энгельгардт	290
Братья Комаровские	291
Часть первая. Поэт Василий Алексеевич Комаровский	292
Часть вторая. Художник Владимир Алексеевич Комаровский	305
Рыцарственный Михаил Леонидович Лозинский	312
Часть первая. Детские годы	313
Часть вторая. Молодой Михаил Лозинский	315
Часть третья. Лозинский как переводчик	322
Часть четвёртая. Личная жизнь, последние годы	325
О подвигах, о доблести, о любви...	333
О психологии, побудительных мотивах на войне	336
О женщине на войне	340
Случайная встреча	343
Кубанка	345
Горькая любовь	346
Уманские дни Павла Григорьевича Анциферова	349
Иван Максимович Еремеев	360
Часть первая. Становление учёного	360
Часть вторая. Дела семейные	370
Часть третья. Звёздный час селекционера Еремеева	375
Часть четвёртая. Арест, переезд в Детское Село	381
Часть пятая. Работа у Николая Ивановича Вавилова	387
Часть шестая. Военные годы	395
Часть седьмая. Послевоенные годы, финал	401
Верхняячка. Личности и события	404
Часть первая. Блуменфельды и Нейгаузы	404
Часть вторая. Василий Егорович Чернов	407
Часть третья. Борис Аркадьевич Паншин	409
Часть четвёртая. Вацлав Валентинович Михалевич	418
Часть пятая. Леонтий Аврамович Головцов	421
Часть шестая. Ученики и последователи селекционера Головцова	429
Отец и сын Билинкисы	435
Мой младший брат	438

В. Л. Головцов. У обелиска близ Чёрной речки	442
Местность близ Чёрной речки	442
В Новой Деревне, у Чёрной речки	445
У Парголовской дороги, за Чёрной речкой.....	450
За Чёрной речкой, в Лесном	454
В Пушкинском сквере, у обелиска	457
Заключение	364
Перечень цитируемых источников (упрощённый)	368

Головцов Александр Леонтьевич
Феномен Анциферова

Литературно-художественное издание

Литературные редакторы: *Е. Ю. Орбец, Е. С. Степовая*
Технический редактор: *Т. А. Парфеева*
Компьютерная обработка и верстка: *Е. В. Веселовская*
Оформление обложки: *В. Л. Головцов*

Отпечатано в типографии ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский институт»
188300, г. Гатчина Ленинградской обл., Орлова роща
Зак. 285, тир. 100, уч.-изд. л. 32,8; 09.10.2014 г.
Формат бумаги 70 × 100 1/16. Печать офсетная